А.С. МАКАРЕНКО

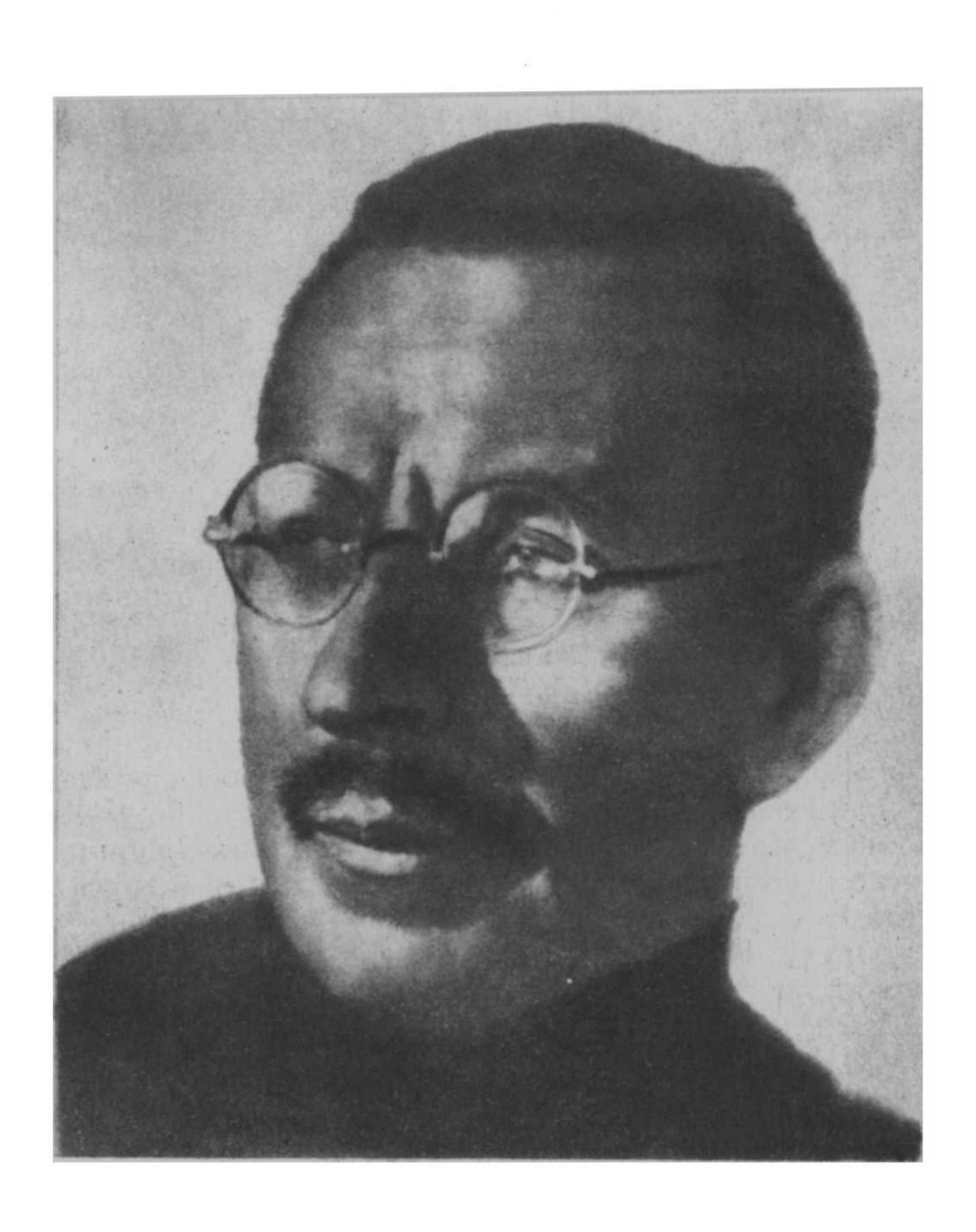
Педагогические сочинения

Том

6

А.С. МАКАРЕНКО

Педагогические сочинения



АКАДЕМИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК СССР

А.С. МАКАРЕНКО

Педагогические сочинения в восьми томах

А.С. МАКАРЕНКО

Педагогические сочинения

Том 6

Москва
«Педагогика»
1985

ББК 74.03(2)
М15

Печатается по решению Президиума Академии педагогических наук СССР

Рецензенты:
кандидат педагогических наук **Ф. А. Фрадкин**,
доктор **Эдгар Гюнтер (ГДР)**

Составители и авторы комментариев:
М. Д. Виноградова, А. А. Фролов

Макаренко А. С.
М 15 Педагогические сочинения: В 8-ми т. Т. 6 /Сост. М. Д. Виноградова, А. А. Фролов. — М.: Педагогика, 1985.— 384 с., ил.
В пер.: 1 р. 60 к.

В шестой том входят повесть А. С. Макаренко «Флаги на башнях», авторские материалы к ней, а также некоторые его рассказы, написанные в 1937—1939 гг. Дан краткий научный комментарий.
Для специалистов в области педагогики, работников народного образования.

М $\frac{4302000000-011}{005(01)-85}$ подписное

ББК 74.03(2)

От составителей

«Флаги на башнях» — художественно-педагогическое произведение, созданное в последние годы жизни и деятельности А. С. Макаренко, занимает центральное место в данном томе. Это итог творческой биографии педагога-писателя, его своеобразное литературное завещание, отразившее кульминацию выдающегося воспитательного опыта, органически связанного с периодом построения социализма в СССР.

Как и предшествующие произведения А. С. Макаренко, «Флаги на башнях» написаны на документальной основе. Действие повести относится к 1931—1932 гг., на что имеется прямое указание автора: «Началась эта история на исходе первой пятилетки».

Опираясь на реальные события, А. С. Макаренко создал произведение, в котором не только исторически верно освещается деятельность коммуны им. Ф. Э. Дзержинского, но и дается художественное обобщение ее жизни и педагогического опыта, утверждаются ведущие идеи советской педагогики и идеалы коммунистического воспитания, ярко пропагандируется общественно-политическая целеустремленность и гуманизм.

«В «Педагогической поэме»,— писал А. С. Макаренко,— меня занимал вопрос, как изобразить человека в коллективе, как изобразить борьбу человека с собой, борьбу коллектива за свою ценность, за свое лицо, борьбу более или менее напряженную. В «Флагах на башнях» я задался совсем другими целями. Я хотел изобразить тот замечательный коллектив, в котором мне посчастливилось работать, изобразить его внутренние движения, его судьбу, его окружение» (Соч.: В 7-ми т. Т. III.— М., 1950, с. 451). Педагог-художник показывает, как в идейной борьбе, в многообразной трудовой и радостной жизни детского коллектива совершается сложная работа воспитания и шлифовки характеров, как складывается личность члена социалистического общества.

В данном издании «Флаги на башнях» публикуются по тексту, вошедшему в третий том Сочинений А. С. Макаренко в семи томах (М., 1957), с включением в качестве дополнения главы «На всю жизнь», содержащейся в первом издании «Флагов на башнях» (Красная новь, 1938, № 6—8).

В приложения наряду с указанной главой входят материалы, расширяющие сведения о работе А. С. Макаренко над повестью: фрагменты некоторых глав напечатанные в первом издании произведения и дополняющие

так или иначе его содержание, «План сценария», «Характеристика персонажей». Том снабжен указателями имен и персонажей.

В том включены также рассказы А. С. Макаренко о строительстве нового, социалистического общества, о молодом поколении 30-х годов; в них раскрываются некоторые эпизоды из жизни колонии им. М. Горького и коммуны им. Ф. Э. Дзержинского, повествуется о воспитанниках этих учреждений, их дальнейшем жизненном пути. Некоторые рассказы, созданные на историческом материале, отражают размышления А. С. Макаренко об истоках нравственности, о природе героизма, культурном наследии прошлого.

В томе даны комментарии, авторские примечания выделены в тексте звездочками. Издание иллюстрируется фотоматериалами о жизни и деятельности трудовой коммуны им. Ф. Э. Дзержинского и ее выпускниках.

В сверке текстов с прижизненными изданиями А. С. Макаренко и архивными источниками приняли участие С. С. Невская и И. В. Филин, ими же составлены указатели имен и персонажей.

ФЛАГИ НА БАШНЯХ

Часть первая

1. Человека сразу видно

Началась эта история на исходе первой пятилетки.

От зимы остались корки льда, прикрытые от солнца всяким хламом: соломенным прахом, налетами грязи и навоза. Поношенный булыжник привокзальной площади греется под солнцем, а между булыжником просыхает земля, и за колесами уже подымаются волны новенькой пыли. Посреди площади — запущенный палисадник. Летом в палисаднике распускаются на кустах листья и бывает похоже на природу, сейчас же здесь просто грязно, голые ветки дрожат, как будто на земле не весна, а осень.

От площади в городок ведет мостовая. Городок — маленький, случайно попавший в географию. Многие люди о нем и совсем не знали бы, если бы им не приходилось делать пересадку на узловой станции, носящей имя города.

На площади стоит несколько ларьков, сооруженных еще в начале нэпа. В сторонке — почта, на ее дверях — желтая яркая вывеска. Возле почты скучают две провинциальные клячи, запряженные в перекосившиеся экипажи — линейки. Движение на площади небольшое — больше проходят железнодорожники с фонарями, кругами веревки, фанерными чемоданчиками. Рядок будущих пассажиров — крестьян сидит на земле у стены вокзала, греется на припеке.

В сторонке от них расположился в одиночестве Ваня Гальченко, мальчик лет двенадцати. Он грустит у своей подставки для чистки сапог и щурится на солнце. Подставка у него легонькая, кое-как сбитая из обрезков, видно, что Ваня мастерил ее собственноручно. И припасу у него немного.

У Вани чистое бледное лицо и костюм еще исправный, но и в лице и в костюме уже зародился тот беспорядок, который потом будет отталкивать добрых людей на улице и неудержимо привлекать на сцене или на страницах книги. Этот процесс байронизации Вани только-только что начался — сейчас Ваня принадлежит еще к тем людям, которых не так давно называли просто «хорошими мальчиками».

Из-за палисадника, описывая быструю, энергичную кривую, картинно

заложив руки в карманы пиджака, щеголяя дымящейся в углу рта папиросой, вышел здешний молодой человек и прямо направился к Ване. Он поддернул новенькую штанину, поместил ногу на подставке и спросил, не разжимая зубов:

— Желтая есть?

Ваня испугался, поднял глаза, ухватился за щетки, но тут же увял и растерянно-грустно ответил:

— Желтая? Нету желтой.

Молодой человек обиженно снял ногу с подставки, снова заложил руки в карманы, презрительно пожевал папиросу.

— Нету? А чего ты здесь сидишь?

Ваня развел щетками:

— Так черная есть...

Молодой человек гневно толкнул носком ботинка подставку и произнес скрипящим голосом:

— Только голову морочите! Черная есть! Ты имеешь право чистить?

Ваня наклонился к подставке и начал быстро складывать свое имущество, а глаза поднял на молодого человека. Он собрался было произнести слова оправдания, но в этот момент увидел за спиной молодого человека новое лицо. Это юноша лет шестнадцати, худой и длинный. У него насмешливо-ехидный большой рот и веселые глаза. Костюм старенький, но все-таки костюм, только рубашки под пиджаком нет, и поэтому пиджак застегнут на все пуговицы и воротник поднят. На голове клетчатая светлая кепка.

— Синьор, уступите очередь, я согласен на черную...

Молодой человек не обратил внимания на появление нового лица и продолжал с надоедливой внимательностью:

— Тоже чистильщик! А документ у тебя есть?

Ваня опустил щетки и уже не может оторваться от гневного взгляда молодого человека. Раньше Ваня где-то слышал, какое значение имеет документ в жизни человека, но никогда серьезно не готовился к такому неприятному вопросу[1].

— Ну?— грубо спросил молодой человек.

В этот печальный момент на Ваниной подставке опять появилась нога. На ней очень древний ботинок светло-грязного цвета, давно не пробовавший гуталина. Вследствие довольно невежливого толчка молодой человек отшатнулся в сторону, но толчок сопровождался очень вежливыми словами:

— Синьор, посудите, никакой документ не может заменить желтой мази.

Молодой человек не заметил ни толчка, ни вежливого обращения. Он швырнул папиросу на мостовую и, порываясь ближе к Ване, оскалил зубы:

— Пусть документ покажет!

Обладатель светло-грязного ботинка гневно обернулся к нему и закричал на всю площадь:

— Милорд! Не раздражайте меня! Может быть, вы не знаете, что я — Игорь Черногорский?

Наверное, молодой человек действительно не знал об этом. Он быстро

попятился в сторону и уже издали с некоторым страхом посмотрел на Игоря Черногорского. Тот улыбнулся ему очаровательно:

— До свиданья... До свиданья, я вам говорю! Почему вы не отвечаете?

Вопрос был поставлен ребром. Поэтому молодой человек охотно прошептал «до свиданья» и быстро зашагал прочь. Возле палисадника он задержался, что-то пробурчал, но Игорь Черногорский в этот момент интересовался только чисткой своих ботинок. Его нога снова поместилась на подставке. Ваня весело прищурил один глаз, спросил:

— Черной?

— Будьте добры. Не возражаю. Черная даже приятнее.

Ваня одной из щеток начал набирать мазь. Героическое столкновение Игоря Черногорского с молодым человеком нравится Ване, но он спрашивает:

— Только... Десять копеек. У вас есть десять копеек?

Игорь Черногорский растянул в улыбку свои ехидные губы:

— Товарищ, вы всем задаете такой глупый вопрос?

— А есть десять копеек?

Игорь Черногорский ответил спокойно:

— Десяти копеек нет.

Ваня с тревогой приостановил работу:

— А... сколько у тебя есть?

— Денег у меня нет... Понимаешь, нет?

— Без денег нельзя.

Рот у Игоря удлинился до ушей, и в глазах изобразился любознательный вопрос:

— Почему нельзя? Можно.

— Без денег?

— Ну, конечно, без денег. Ты попробуй. Очень хорошо получится.

Ваня взвизгнул радостно, потом прикусил нижнюю губу. В его глазах загорелось настоящее задорное вдохновение.

— Почистить без денег?

— Да. Ты попробуй. Интересно, как получится без денег.

— А что ж? Возьму и попробую...

— Я по глазам вижу, какой ты человек.

— Сейчас попробую. Хорошо получится.

Ваня бросает на клиента быстрый иронический взгляд. Потом он энергично принимается за работу.

— Ты беспризорный? — спросил Игорь.

— Нет, я еще не был.

— Так будешь. А в школу ходишь?

— Я ходил... А потом они уехали.

— Кто? Родители?

— Нет, не родители, а... так. Они поженились. Раньше были родители, а потом...

Ване не хочется рассказывать. Он еще не научился с пользой реализовывать в жизни собственные несчастья. Он внимательно заглядывает на потрепанные задники ботинок Игоря.

— Коробку эту сам делал?

— А что? Плохо?

— Замечательная коробка. А где ты живешь?

— Нигде. В город хочу ехать... Так денег нет... сорок копеек есть.

Ваня Гальченко рассказывает все это спокойно[2].

Работа кончена. Ваня поднял глаза и спросил с гордостью и юмором:

— Хорошо получилось?

Игорь потрепал Ваню по русой взлохмаченной голове:

— А ты пацан веселый. Спасибо. Человека, понимаешь, сразу видно[3]. Поедем вместе в город?

— Так денег нет... Сорок копеек.

— Чудак. Разве я тебе говорю: купим что-нибудь? Я говорю: поедем.

— А деньги?

— Так ведь ездят не на деньгах, а на поезде. Так?

— Так,— кивнул Ваня размышляя.

— Значит, нам нужны не деньги, а поезд.

— А билет?

— Билет — это формальность. Ты посиди здесь, я сейчас приду.

Игорь Черногорский достал из кармана пиджака какую-то бумажку, внимательно ее рассмотрел, потом подставил бумажку под лучи солнца и сказал весело:

— Все правильно.

Он показал на здание почты:

— В том маленьком симпатичном домике есть, кажется, лишние деньги. Ты меня подожди.

Он проверил пуговицы пиджака, поправил кепку и направился не спеша к почте. Ваня проводил его внимательным, чуть-чуть удивленным взглядом.

2. Три пирожка с мясом

В кустах станционного палисадника стоит шаткая скамья. Вокруг скамьи бумажки, окурки, семечки. Сюда пришли откуда-то все тот же здешний молодой человек и Ванда Стадницкая. Может быть, они пришли из города, может быть, с поезда, а скорее всего они вышли вот из-за этих самых тощих кустов палисадника. У Ванды калоши на босу ногу, старая юбчонка в клетку и черный жакет, кое-где полинявший и показывающий желтую крашенину. Ванда очень хорошенькая девушка, но заметно, что в ее жизни были уже тяжелые неудачи. Белокурые ее волосы, видно, давно не причесывались и не мылись; собственно говоря, их нельзя уже назвать белокурыми.

Ванда тяжело опустилась на скамью и сказала сонным, угрюмым голосом:

— Иди к черту! Надоел.

Молодой человек дрогнул коленом, поправил воротник, кашлянул:

— Дело ваше. Если надоел, могу уйти.

Молодой человек достал из кармана кошелек, долго в нем искал, облизнул губы, положил три монеты на скамейку около Ванды и ушел.

Держась рукой за спинку скамьи, склонив голову на руку, Ванда не то мечтательным, не то безнадежным взглядом глядела на далекие белые

облака. Потом, удобней улегшись щекой на сукно рукава, она, не мигая, засмотрелась на переплеты голых кустов палисадника. В таком положении сидела она очень долго, пока рядом с ней не уселся Гришка Рыжиков. Это угрюмый, некрасивый парень. На щеке — заживающая болячка. Фуражки нет, но рыжие волосы причесаны. Новые суконные брюки и заношенная, полуистлевшая рубаха. Вытянув ноги в тапочках и как бы любуясь ими, он спросил:

— Нет пошамать?

Не меняя позы, Ванда сказала медленно:

— Отстань.

Рыжиков ничего не сказал, но, видимо, и не обиделся. Они сидели и молчали еще несколько минут, до тех пор пока у Рыжикова не устали ноги. Он резко повернулся на скамейке. Двугривенный и два пятака свалились на землю. Не спеша Рыжиков поднял их и разложил на ладони.

— Твои?

Несколько раз подбросил деньги на руке. Сказал задумчиво:

— Три пирожка с мясом.

Продолжая подбрасывать монеты на ладони, он побрел к вокзалу.

3. Добрая бабушка

Игорь Черногорский вошел в помещение почты и огляделся. Комната была маленькая, перегороженная деревянной решеткой. В решетке два окна. У одного — длинная очередь, у другого, где надпись: «Заказная корреспонденция. Прием и выдача денежных переводов»,— ожидают всего трое посетителей.

Игорь стал позади сгорбленной, пухлой старушонки и пригляделся к «барышне» за окном. Но это вовсе и не барышня, — сухая и бледная женщина, и лет ей не меньше сорока. Игорь ощупал в кармане свою бумажку и подумал, что барышня, к сожалению, мало симпатична. Соображения о бумажке и «барышне» так его заняли, что он не заметил, как его предшественница в очереди молниеносно закончила свое дело и исчезла.

— Вам что?

Несимпатичная женщина за окном строго смотрела на Игоря.

— Здесь должен быть перевод... до востребования... Игорю Чернявину...

Она забегала сухими пальцами по краям целого отряда переводов, сложенных в ящике. Выхватила один из них, поднесла к глазам:

— Это — вы?

— Это — я.

— Это вы — Чернявин?

У Игоря в груди пробежал легкий, приятный холодок:

— Собственно говоря, это я.

Женщина посмотрела на Игоря сердито:

— Как вы странно говорите — «собственно говоря!» Вы Чернявин или нет?

— Ну, конечно, я. Какие же могут быть сомнения?

— Покажите ваш документ.

Игорь отвернулся и полез в карман. Мельком взглянул на двери. Двери открыты настежь, за ними свежее небо и прекрасный жизненный простор. Игорь протянул женщине документ. Она прочитала все от первого до последнего слова, глянула на обратную сторону, глянула на Игоря:

— Здесь написано, что вы командируетесь в областной отдел связи. А почему вы у нас получаете деньги?

— А я... так сказать, проездом.

— «Так сказать»... Сколько же вам лет?

— Восемнадцать...

— Да не выдумывайте!

Игорь улыбнулся смущенно:

— Что же я могу поделать, если я такой... моложавый...

— Я спрошу у заведующего...

Она направилась к узенькой двери в углу. За спиной Игоря о чем-то зашептались в очереди. Открытая дверь потянула его к себе неудержимо.

Оглянулся: в очереди — больше женщины... пожилой рабочий довольно сонного вида. Игорь поставил локоть на полку и принял рассеянно-скучающий вид.

— Чернявин? Вы где живете?

Не снимая с полки локтя, Игорь неохотно повернул лицо. Заведующий небрит и тоже несимпатичен.

— Что?

— Вы где проживаете? В каком городе?

— В Старосельске.

— А почему сюда адресованы деньги?

— Это не ваше дело,— произнес Игорь со скукой.

— Как это не мое дело?

— Абсолютно не ваше.

— Я в таком случае денег не выдам.

Заведующий произнес эти слова решительным голосом, но бумажка дрожит у него в руке, а глаза неуверенно присматриваются к Игорю. Тоже — физиономист!

Игорь Чернявин высокомерно улыбнулся:

— В таком случае позвольте мне жалобную книгу.

Заведующий всеми пальцами потер небритую щеку:

— Жалобную? А что вы будете записывать?

— Я запишу, что вместо денег вы предлагаете мне глупые вопросы...

— Молодой человек! — закричал заведующий.

Но закричал и Игорь:

— Глупые вопросы! Почему сюда выслали деньги? Это не ваше дело, почему! Может быть, они высланы на мои похороны. А может быть, на мою свадьбу! Я должен вам объяснять почему? Давайте или деньги, или жалобную книгу!

В очереди засмеялись. Игорь оглянулся: очередь была на его стороне. Одна из женщин сказала с горечью:

— Вот они всегда такие. Чего куражиться над бедным мальчиком. Родители, может, выслали.

Заведующий стоял, думал над бумажкой.

— Отпускай там скорей, чего нас держишь? — закричали в очереди.

— Хорошо,— произнес заведующий с угрозой,— я деньги выдам. Но я запрошу Старосельск.

— Будьте добры, синьор, запросите.

— Выдайте им,— распорядился заведующий.

И вот Игорь Чернявин стоит на крыльце. В одной руке у него деньги, в другой — старосельский документ. Игорь вытянул губы: «Родители, может, прислали...»

На душе у Игоря радостно. Над площадью бродят праздничные облака, станционный палисадник дышит полной грудью и собирается нарядиться в зелень. У стены вокзала сидят крестьяне и с удовольствием ждут поезда. Подальше над своей подставкой сидит Ваня Гальченко и смотрит в сторону Игоря. Игорь отделил белую кредитку и положил в наружный карман пиджака. Остальные деньги аккуратно задвинул подальше,— есть такой карман у самого голого тела. Он направился к Ване:

— Приветствую тебя, труженик!

Достал из наружного кармана белый кредитный билет, встряхнул им в воздухе, торжественно сказал:

— Вот тебе, мальчик, за то, что помог мне в тяжелую минуту.

Ваня испуганно вскочил с большого серого камня, на котором сидел. Его глаза удивленно заострились. Он осторожно взял бумажку. Игорь, улыбаясь, наблюдал: на деньги Ваня сначала смотрел серьезно, потом серьезно-недоверчиво, потом поднял на Игоря лукаво-понимающие глаза:

— А теперь какая минута?

— Теперь такая минута, что ты можешь купить себе гуталина — желтого, красного, зеленого и оранжевого.

Ваня радостно взвизгнул:

— А для чего зеленого?

— Ну представь себе такой случай: подходит к тебе крокодил.

Ваня пришел в восторг:

— Крокодил? И говорит: пожалуйста, у вас есть зеленая?

— Ну да. А ты отвечаешь: «А как же...»

— А почему так: то не было денег, а то сколько денег!

Ваня смотрел на Игоря серьезно, но в его внимательных серых глазах плясали настороженные веселые точечки.

Игорь ответил несколько в нос:

— Чудак. Всегда так бывает: нет денег, а потом есть. И у тебя так: сначала не было, а теперь — десять рублей.

— Получку получил?

— Нет, это бабушка узнала, что я в тяжелом положении, и прислала мне сто рублей.

— Сто рублей?

Игорь громко смеется. Смеется и Ваня. Но чрезвычайно дельный вопрос приходит ему в голову:

— У бабушки не может быть ста рублей. Бабушка ведь не работает. Это, наверно, дедушка?

— Пускай дедушка. Только знаешь что? Давай о родственниках после поговорим. А сейчас купим шамовки и подумаем, как нам добраться до города Лондона.

Ваня не стал расспрашивать и удивляться. Он деловым движением,

напрягая губы, сложил десятку и спрятал в карман. Потом расставил ноги в коротких штанишках и в исправных ботинках, пошевелил пальцами и бросил на свое производство взгляд сверху. Быстро присел, сложил в ящик щетки и коробки, прихлопнул крышку, взялся за ремень.

4. Оригинальные приключения Рыжикова

Пирожки были сочные и вкусные, но одним движением челюстей они превращались в нежный невесомый комок, который проглатывался почти без ощущения,— только аппетит просыпался по-настоящему.

На угрюмом лице Рыжикова это отразилось усиленным блеском глаз и острой внимательностью ко всему окружающему.

У кассы стояла очередь. Окно кассира было еще закрыто, но перед окном собралось уже человек двадцать.

Это была опасная провинциальная очередь тех лет — все скромные, трезвые, бедные люди. Самым выдающимся лицом в очереди был невысокого роста человек в зимней бекеше, воротник и карманы которой были обшиты серым барашком. Но за ним стояла обозленного вида худая женщина из тех, которые дрожат за свое место в очереди, как будто в этом месте уж такое большое счастье. За нею тоже женщины, и все простого звания. Деньги они зарыли под юбки или за пазухи, да и какие у них деньги? У черненькой аккуратной девчонки деньги зажаты в кулаке, крепко держит.

Эта станция и эта очередь плохо приспособлены для удачной операции. Люди здесь осторожные, деньги у них небольшие, и за деньги они держатся обеими руками. И лица у них скучные: билетов здесь на всех хватает, никто не волнуется и не может забыть о своих деньгах.

Рыжиков вспоминает вокзал большого города. Правда, там есть неудобства: милиционеры, стрелки и другие строгости. Каким-то чудом, невзирая на деловую походку Гришки и его пассажирскую физиономию, они умеют узнавать самые сокровенные мысли и даже документов не спрашивают, а говорят просто:

— Ну, молодой человек, пойдем со мной!

Зато какой там пассажир — в большом городе! Какие там волнения, какие чувства, сколько там настоящей жизни! Целый день человек бродит между кассовыми окошками, торчит перед справочным бюро, расспрашивает носильщиков, пассажиров. Целые ночи просиживает на вокзале. Кто попроще, раскладывается на полу и спит так крепко, что не только деньги, душу можно вытащить незаметно. Кто покультурнее, те, конечно, не спят, те бродят, мечтают... Билеты там покупаются дорогие, далекие, в карманах покоятся бумажники, черные, коричневые, пухлые.

Кто может быть счастливее человека, только что получившего билет в вокзальной кассе? Он стоял в очереди, он ссорился с ее нарушителями, он трепетал, ожидая, что не хватит билетов, он жадно прислушивался к невероятным разговорам и слухам. И вот он, радостный, еще не веря своему счастью, бредет в толпе по вокзальному залу и читает билет дрожащими глазами, он забыл обо всем: о жене, о начальнике, о своем чемодане, о своем бумажнике, который так берег в очереди...

Рыжиков вдруг оживился. За последней женщиной стал в очередь волосатый мужчина в стареньком пиджаке. Сапоги у него хорошие — вытяжки, на шее шарф зеленого цвета, а брючный карман приятно рисуется точным, хорошего размера прямоугольником.

Рыжиков не спеша направился к очереди и стал за пиджаком. Внимательно присматриваясь к какой-то рекламе, он повернулся к пиджаку боком, и в следующий момент его два пальца ощутили бугристый угол бумажника. Гришка потянул вверх, бумажник неслышно пошел, еще мгновение и... шершавая лапа жадно ухватила руку Рыжикова, и против его глаз очутилось испуганно-перекошенное лицо:

— Ах ты, сволочь какая! Ну, что ты скажешь?

Рыжиков рванулся в сторону — неудачно. Он закричал общепринятым обиженно-угрожающим голосом:

— Чего ты пристал? Смотри!

— Где я эту руку поймал?

— Чего ты хватаешь?

— Нет, стой, голубчик!

Неожиданным, резким движением Гришка выдернул руку и бросился к двери на перрон. Через платформу и ближайшие пути он перемахнул, почти не касаясь земли, и нырнул под товарный состав. Под другой. Присел, оглянулся. На перроне топталось несколько человек. Плеч и голов он не видел, но сразу узнал вытяжки, а рядом с ними полы серой шинели и блестящие узкие сапоги. Услышал тот же взволнованный голос:

— Ах ты, какой бандюга!

Шинельный подол пошел волнами, и начищенные сапоги двинулись вперед, спрыгнули с перрона. Рыжиков, мелькая тапочками, побежал вдоль товарных составов к стрелкам. На душе у него было тяжело, но зато аппетит прошел.

5. Завтрак в саду

В руках у Игоря две французские булки, колбаса и банка варенья. Еще на вокзале он сказал Ване:

— Здесь все пропитано железнодорожными бактериями. Давай лучше позавтракаем в саду. Там есть такая миленькая скамеечка.

Но, войдя в палисадник, они увидели на миленькой скамеечке Ванду Стадницкую. Она сидела, положив голову на руку, вытянутую по спинке скамейки. Игорь воскликнул:

— О! Это купе занято!

Он на носках обошел мечтательную фигуру Ванды, сначала подозрительно покосился на калоши, надетые на босу ногу, но когда очутился против ее открытых серых глаз, обратился к ней серьезно, без улыбки:

— Мадемуазель, вы разрешите позавтракать в вашем присутствии?

Его учтиво склоненная фигура, застегнутый до воротника пиджак и ярко начищенные ботинки произвели на Ванду приятное впечатление. Грустная, она все же разрешила себе привычно-кокетливую ужимку и даже чуть-чуть улыбнулась:

— Пожалуйста!

Игорь со сдержанным оживлением сказал:

— Мерси.

Ванда удивленно оглядела мальчиков и подвинулась на край скамейки. Облака перестали ее занимать, она занялась более прозаическим пейзажем привокзальной площади. Игорь быстро разложил на скамейке закуску, уселся на другом конце. Ваня прогремел ящиком, поставил его на землю, уселся за скамейкой, как за столом, сводя плечи в предвкушении завтрака. Игорь разрезал колбасу и спросил:

— Ваня! А как мы будем варенье есть? Пальцами?

Ваня завертел головой, оглядел палисадник:

— А мы... такие... ложечки сделаем... из дерева. Ножиком.

— У вас нет ложечки, миледи? — обратился Игорь к Ванде.

Он произнес это чрезвычайно вежливо, таким тоном, каким пользуются только самые изысканные путешественники, обращаясь друг к другу в купе международного вагона. У Ванды блеснули глаза от удовольствия, но, во-первых, очевидно было для самого неиспытанного глаза, что у нее нет никаких вещей,— она имела вид пассажира без багажа, во-вторых, от колбасы исходил чарующий запах. Ванда проглотила слюну и ответила с жеманной обидой:

— Ну что вы? Какие у меня ложечки?

— Серебряные,— приветливо пояснил Игорь.

Ванда ничего не ответила, снова протянула руку по спинке скамейки, обратилась к облакам. Но в ее глазах уже нет прежней грустной мечтательности.

Ваня держит в руке половину французской булки, он решительным рывком головы откусывает от нее большие куски, а колбасу берет с бумажки осторожно двумя грязными пальцами. Проделывая все это, он то и дело поглядывает на Ванду. Он не замечает ни ее босых грязных ног, ни безобразной копны волос. Он видит только ее нежную розовую щеку, наружный уголок глаза, выгнутые темные ресницы.

Ваня отломил горбушку, положил на нее два ломтика колбасы, протянул Ванде. Ванда не заметила этого, и Ваня вопросительно посмотрел на Игоря. Игорь ест с увлечением, работает руками, зубами, ножиком. Но быстро между делом, он кивает Ване в знак одобрения и свободной рукой треплет его по плечу. Ваня, немного поколебавшись, легонько прикоснулся к колену соседки. Она повернула к нему голову, хотела улыбнуться кокетливо, но не вышло — улыбнулась просто, благодарно и не спеша начала есть, отщипывая булку мелкими кусочками. Все это произошло в полном молчании. Покончив с нарезанной колбасой и принимаясь снова резать, Игорь спросил деловито, не глядя на Ванду:

— Вы куда едете, синьорита?

Ванда отвернулась к вокзалу, перестала жевать и сказала скучливо:

— Я не знаю.

— Поедем с нами,— предложил Ваня весело, поворачиваясь к Ванде на своем ящике.— Тебя как зовут?

— Ванда.

— О! Вот это да! Ванда!

— Это польское имя.

— Поедем! Там у него дедушка и бабушка,— Ваня иронически свер-

кал глазами и следил за Игорем, принимающим его иронию с дружеским добродушием.

Но Ванда почему-то ничего не ответила на буйную радость Вани. Она положила на скамью недоеденный кусок булки, сказала почти растерянно, опираясь руками на край скамьи:

— Я не знаю... куда поехать...

Игорь пристально глянул на нее и занялся банкой с вареньем. Оживление Вани вдруг исчезло. Он с недоумением присмотрелся к Ванде, глянул на Игоря, как будто в выражении его лица искал ответа. Игорь замычал какую-то песенку, поставил банку на скамью и сказал строго:

— Ты, Ванда, поедешь с нами, а там видно будет.

Вот теперь Ваня все понял. Но Ванда посмотрела на Игоря испуганно:

— Я не знаю...

— Ты не знаешь, а я знаю. Сейчас придет поезд,— сядем в купе, все обсудим.

Ваня воззрился на Игоря: какое купе? Ванда покорно замолчала.

В этот момент из-за кустов выглянул Рыжиков. Оглядел компанию, выдвинулся вперед, остановился, тупо засмотрелся на еду. Ванда метнула в Рыжикова ненавидящий взгляд. Игорь засмеялся:

— У тебя неприятности, Рыжиков?

Рыжиков ничего не ответил.

— Ешь,— предложил Игорь,— я всегда говорил: воровское дело самое невыгодное. Тебя сегодня били? Я видел, как ты засыпался.

— Убежал,— прохрипел Рыжиков и принялся за еду.

— И то счастье! Это ужасно глупо. У каждого человека две руки, и каждый старается схватить тебя руками,— Игорь брезгливо вздрогнул,— это глупо! Надо так делать, как я.

— Бабушка, да? — спросил Ваня.

— Бабушка — почта. Присылает тебе записочку: дорогой Игорь, будьте добры, придите, пожалуйста, и, ради бога, возьмите сто рублей. А если не придешь — вторая записочка: какое безобразие, почему вы не берете сто рублей? Пожалуйста, возьмите.

Рыжиков отвернулся обиженно:

— Записочку... Конечно, когда ты грамотный.

— А если ты неграмотный — иди работать. А то — в карман! Что может быть глупее?[4] — Игорь запустил кусок булки в банку с вареньем: — Работать — это тоже неплохо. Многие одобряют.

6. В купе

Через степь бежит длинный товарный поезд. На одной из платформ стоит накрытый брезентом трактор. На краю брезента, спускающегося с трактора, спит Ванда, свернувшись калачиком. Игорь Чернявин сидит около ее ног, обнял руками свои колени и рассеянным взглядом посматривает по сторонам. Рыжиков, расставив ноги в тапочках, стоит против него. Ваня спустил ноги с платформы и любуется степью, широкой дорогой, ползущей рядом, курганами на горизонте, первой весенней зеленью.

Выехали вчера вечером, долго укладывались спать, было холодно.

Потом залезли под брезент, копошились там и ежились, наконец заснули. Под брезентом еще и тем хорошо, что на остановках ничьи любопытные взгляды не беспокоили пассажиров и никто не мешал спать. Игорь Чернявин, засыпая, сказал:

— Это самое лучшее купе, никакой давки и тесноты, свежий воздух и никто не говорит глупостей: предъявите ваши билеты!

Утром проснулись рано и вылезли из-под брезента в хорошем настроении. Только на больших станциях снова пользовались его гостеприимством, но уже не в качестве спального места, а исключительно для того, чтобы не волновать поездной прислуги. А потом Ванде захотелось поспать на солнышке.

Рыжиков молчал, молчал, наконец спросил:

— Зачем Ванду потащил в город?

— А тебе какое дело? — Игорь прищурил на Рыжикова глаза, может быть, потому, что из-за Рыжикова над крышей соседнего вагона поднималось чистое, словно умытое, солнце.

— Значит, есть дело.

— В городе что-нибудь найдем. Работу или что...

— Ты не хочешь работать, а ей нужно?

Рыжиков сказал это в упор, он лез в ссору.

— А ей нужно,— спокойно сказал Игорь, отвернулся от Рыжикова и покровительственно посмотрел на Ванду.

— Люди все работают,— с края платформы отозвался Ваня.

Рыжиков закричал на Ваню:

— Ты, пацан, замри, пока в рожу не схватил!

Игорь произнес в нос:

— Месье, в рожу можете только с моего письменного разрешения.

Рыжиков медленно навел на Игоря через плечо угрюмо-угрожающие глаза:

— С твоего разрешения?

— И притом письменного... Подайте мне заявление...

— Какое заявление?

— О том, что вы желаете заехать ему в рожу.

Рыжиков оживился, направился к Ване:

— Интересно! Интересно, как выйдет без разрешения.

Ваня испуганно стрельнул взглядом, быстро на руках вскочил, бросился к Игорю. Рыжиков протянул руку, чтобы поймать Ваню, но как-то так случилось, что Игорь стал между ними. Рыжиков не успел даже бросить на Игоря презрительный взгляд, не успел протянуть руку для защиты. Стремительный кулак Игоря Чернявина направился как будто в лицо Рыжикова, но с ног его повалил неожиданный удар в живот. Рыжиков свалился прямо на спящую Ванду. Ванда проснулась, вскрикнула в испуге:

— Ой! Что такое? Чего ты?

Игорь спокойно улыбнулся:

— Не беспокойтесь! Рыжиков спать хочет. Уступите спальное место.

Ванда брезгливо обернулась к Рыжикову, но сейчас же и улыбнулась: вид скривившегося Рыжикова, очевидно, ей понравился.

— Ты его побил? За что?

Рыжиков приподнялся на локте, выпятил толстые губы. Рыжие космы в беспорядке спадали на лоб, почти закрывая наглые зеленые глаза.

— Ты чего скалишься? Он за тебя заступаться не будет.

Ванда покачала головой:

— А может, и будет!

— Ты...— Рыжиков вскочил на ноги, сжал кулаки.

Игорь улыбнулся, положил руку на плечо Вани, сказал в сторону, почти нехотя, скучно:

— Имейте в виду, сэр, в этом купе вы пальцем никого не тронете.

Рыжиков засунул руки в карманы, ухмыльнулся:

— Ты, наверное, не знаешь, кто она такая?

Игорь посмотрел на Рыжикова удивленно:

— А что такое?

— Ты, может, думаешь, она барышня? Сказать, какая ты есть?

— Пошел ты к черту! Жаба! Ну и говори! Все вы — сволочи!

Рыжиков обрадовался:

— Ха! Она же проститутка! Понимаешь, какое дельце?

Ванда медленно пошла к краю платформы, подняла воротник жакета, втянула в воротник встрепанную голову. Игорь двинулся к Рыжикову, но Рыжиков захохотал и, ловко перепрыгнув на другую сторону платформы, спрятался за трактором.

Ваня еле успевал следить за происходящим.

Игорь подошел к Ванде. Глядя в пол платформы, спросил:

— Верно?

Ванда быстро повернулась, ответила с прежней ненавистью:

— Ну и что ж, верно! А твое какое дело? Может, поухаживать хочешь?

Игорь покраснел, скривил рот, отвел глаза от жадного взгляда Вани Гальченко.

— Да... нет! А только... сколько ж тебе лет?

Ванда кокетливо повела головой, чуть-чуть, через плечо, задела взглядом Игоря:

— Ну и что ж? Пятнадцать.

Игорь почесал медленно затылок, грустно улыбнулся и сказал:

— Хорошо... Больше ничего, синьора, вы свободны.

Она тронулась с места, неслышно, медленно прошла к брезенту, зябко втягивая голову в воротник, опустилась на брезент и тихонько улеглась, отвернувшись к трактору.

Игорь, насвистывая, загляделся на степь. Далеко впереди встали из-за пологих холмов белые верхи зданий. Над ними нависло солнце.

Промелькнула внизу босоногая команда девушек, ноги у них были еще белые, не загоревшие. Одна из девушек что-то крикнула Игорю, другие засмеялись. Игорь проводил их скучным взглядом, отвернулся. Ваня взглянул на Ванду, осторожно прислушался к Рыжикову за трактором, стал рядом с Игорем, поднялся на носки, спросил шепотом:

— Она плачет?

Игорь ответил сурово, не глядя на Ваню:

— Неважно!

Платформу сильно качнуло на стрелках.

— Приехали,— сказал Игорь.

Через многочисленные стрелки, мимо мелькающих просветов товарных составов поезд забирал вправо, быстро проходя пассажирскую станцию. Над крышами стоявших вагонов проплыли надстройка вокзала и длинные выпуклые кровли перронов. Поезд выскочил на узкую насыпь, которая правильной кривой огибала неожиданно широкий луг у самого края города. За лугом соломенные крыши белых хат. Но снова стрелки дернули поезд, и он более осторожно начал втягиваться в широкую сеть товарных путей. Хат уже не было, на горе стояли и смотрели на поезд красные, серые, розовые дома города.

Ванда зашевелилась на брезенте, села, отвернула лицо к городу. Поезд вошел в узкую длинную перспективу других товарных поездов, очень медленно продвигался между ними.

Игорь задумался, глядя на проплывающую замасленную поверхность станционного полотна.

Сзади него что-то глухо стукнуло. Игорь быстро обернулся. На их платформе стоял, выпрямляясь после трудного прыжка и внимательно разглядывая их, стрелок железнодорожной охраны. Ванда неслышной тенью слетела с платформы.

— Это ты — Игорь Чернявин?

— Я.

— Ага! Тут у нас телеграмма... Ты получил сто рублей по подложному переводу?

Игорь влепился в стрелка восхищенным взглядом:

— Ой, и народ же быстрый! Получил, представьте! Я отказывался, понимаете...

Стрелок ухмыльнулся, кивнул:

— Идем.

Игорь почесал нос:

— Ах ты, черт! Жалко, Ванька, с тобой расставаться. Хороший ты человек! И Ванда... Вы понимаете, товарищ стрелок, некогда мне.

Ваня растерялся:

— А... куда ты?

— Я? Именем закона... арестован.

— За что?

— За бабушку.

— Идем, идем,— повторил стрелок и тронул Игоря за плечо.

Игорь взялся за борт платформы, готовясь спрыгнуть. Оглянулся на Ваню:

— А ты, Ванюшка, иди в колонию. Здесь, говорят, приличная. Имени Первого мая.

Он спрыгнул. За ним спрыгнул стрелок. Опершись руками о колени, Ваня смотрел им вслед. Он еще не мог вместить в себя это горе.

Из-за трактора вышел Рыжиков. Он улыбнулся злорадно.

— Будьте добры! Присылают записочку: дорогой Игорь, пожалуйста, возьмите сто рублей! Чистая работа! А Ванда где?

Ваня ответил испуганно:

— Не знаю.

7. На своей улице

— Куда ты пойдешь? — спросил Рыжиков, когда они подошли к остановке трамвая возле товарной станции.

Улица здесь была булыжная, покрытая угольной пылью. Из-под копыт и колес поднималось видимо-невидимо воробьев. У трамвайной остановки стояла очередь. У многих людей ботинки требовали чистки. Ваня не успел ответить: к нему подошел человек в форменной тужурке. Он добродушно кивнул к забору:

— Почистишь, что ли?

— Вам черной?

— Черной, а какой же. А то к начальству нужно, а ботинки...

Ваня осмотрелся, сесть было не на чем. Подальше он увидел старое деревянное крыльцо.

Человек, собирающийся к начальству, молча кивнул. Ваня побежал вперед, чтобы все приготовить. Когда клиент подошел, Ваня уже набирал мазь на одну из щеток...

— Э, нет. Ты раньше пыль убери.

Ваня приступил к работе. Рыжиков уселся повыше на том же крыльце и молча рассматривал улицу.

— Сколько тебе?

— Десять копеек.

— А сдача у тебя есть? С пятнадцати?

Ваня полез в карман. У него оказалось только четыре гривенника.

— Не рассчитаемся так. Ну, бог с тобой, бери лишний пятак,— сказал клиент.

Не успел клиент отойти, подошла девушка, попросила почистить туфли, потом — красноармеец. Красноармеец спросил:

— Сколько будет стоить, если вот сапоги?

Перед красноармейцем Ваня оробел. Он еще ни разу не чистил сапоги красноармейцам и не знал, сколько это стоит. Ваня поперхнулся.

— Де... десять копеек.

— Вот еще дурак,— прошептал Рыжиков, но красноармеец обрадовался, поставил ногу на подставку:

— Дешево берешь, малыш, дешево. У нас везде за сапоги двадцать копеек.

Ваня забыл спросить «вам черной?» Работал он сильно, действовал глазами, бровями и даже языком. Быстро чистить двумя щетками он еще не умел, одна щетка вырвалась у него из рук и далеко отлетела. Рыжиков громко захохотал, но щетки не поднял. Ваня сам, кряхтя, поднялся и побежал за щеткой.

Красноармеец дал Ване гривенник и сказал:

— Молодец. Дешево почистил, и блестит хорошо.

Он ушел, поглядывая на сапоги. У Вани заболели руки и спина. Опершись на локти, Ваня молча рассматривал улицу.

Дома на улице все были одинаковые, кирпичные, запыленные, двухэтажные. Между ними короткие заборы, а в заборах ворота. Почти у всех ворот стояли скамейки, на скамейках сидели люди и грызли семечки.

Ваня вспомнил, что завтра воскресенье. По кирпичным тротуарам проходили люди по двое, по трое и разговаривали негромко.

Сзади открылась дверь, и скрипучий, неприятный голос спросил:

— А вам чего здесь нужно? Беспризорные?

Ваня вскочил и оглянулся. Лениво поднялся и Рыжиков. В открытых дверях стоял человек высокий, худой, с седыми усами:

— Беспризорные?

— Нет, не беспризорные.

— Чистильщик? Ага? А резиновые набойки у тебя есть?

В ящике у Вани было только две щетки и две банки черной мази. Ваня развел руками:

— Резиновых набоек нет!

— Хо! Чистильщик! Какой ты чистильщик! Ну, допустим! А этот чего?

Рыжиков недовольно отвернулся.

— Чего ты здесь? Ночи ожидаешь?

Рыжиков прохрипел еще более недовольно:

— Да никакой ночи... Вот... знакомого встретил.

— А... знакомого!

Старик запер дверь на ключ, спустился по ступенькам. Ткнул узловатым пальцем:

— Ты — марш отсюда. Вижу, какой знакомый.

— Да я сейчас пойду. Что, и на улице нельзя остановиться? Ты, что ли, такие порядки выдумал? — Рыжиков чувствовал свою юридическую правоту, поэтому обижался все больше и больше.

Старик усмехнулся:

— Плохие здесь порядки, иди туда, где хорошие порядки. Я вот только в лавочку. Пока вернусь, чтоб тебя тут не было.

Он отправился по улице. Рыжиков проводил его обиженными глазами и, снова усаживаясь на крыльце, прогудел почти со слезами:

— Придирается! «Ночи ожидаешь»!

К ним подошел молодой человек и радостным голосом воскликнул:

— Какой прогресс! На нашей улице чистильщик! Да какой симпатичный! Здравствуй!

— Вам черной? — спросил Ваня.

— Черной! Ты всегда здесь будешь чистить?

Набирая мазь, Ваня серьезно повел плечами и сказал с небольшим затруднением:

— Всегда.

Этот клиент не спросил, сколько нужно платить, а без всяких разговоров протянул Ване пятнадцать копеек.

— Так сдачи нет.

— Ничего, ничего, я всегда буду платить тебе пятнадцать копеек. Мне только надо побыстрее.

Ваня опустил деньги в карман и снова начал рассматривать улицу. Приближался вечер, от этого на улице стало как будто чище. Ваню очень интересовал трамвай. Он много слышал об этой штуке, но никогда ее не видел, и теперь ему хотелось залезть в вагон и куда-нибудь поехать. Настроение у него было хорошее. В душе разгоралась маленькая гордость:

все проходят и видят, что на крыльце сидит Ваня и может почистить ботинки.

Рыжиков сказал:

— Ваня, знаешь что? Ты мне дай пятнадцать копеек, ладно? А я тебе завтра отдам.

— А где возьмешь?

— Это я уже знаю, где возьму. Надо пойти пошамать.

Ваня вдруг почувствовал голод. Еще утром они съели на платформе остатки вчерашнего ужина.

— Пятьдесят копеек? А у меня есть сколько? У меня есть девяносто копеек. А, я и забыл про те деньги!

— Какие «те»?

— Игорь дал... бабушкины.

Ваня развернул бумажку, посмотрел на нее грустно и спрятал обратно.

— Так дай пятьдесят копеек. Видал, сколько у тебя денег!

— Те нельзя,— сказал Ваня и дал ему сорок пять копеек, поделив пополам имевшуюся наличность.

Рыжиков взял деньги:

— А ночевать... я приду.

Ваня с тоской вспомнил: нужно еще ночевать. Почему-то мысль об этой необходимости до сих пор ему не приходила в голову. Он даже растерялся:

— А где ночевать?

— Найдем. Здесь на вокзале не позволяют.

Рыжиков деловой походкой направился вдоль по улице. Ваня снова опустился на ступеньки и загрустил. Солнце зашло за дома. Мимо Вани проходили люди, и никто не смотрел на него. На противоположном тротуаре шумела стайка детей, голос балованной девочки сказал громко:

— А вон сидит маленький чистильщик.

Еще одна девочка загляделась на Ваню, но потом кто-то ее дернул, она засмеялась и побежала к калитке. Голос взрослой женщины сказал:

— Варя, твой суп простынет. Я тебе второй раз говорю.

И балованная девочка запела:

— Первый, первый, первый!

Ваня подпер голову кулаком и посмотрел в другую сторону улицы. По ней возвращался усатый хозяин.

— Сидишь? — сказал он.— А тот где?

— Ушел,— ответил Ваня.

— Да и тебе пора домой, никто больше чистить не будет. Только ты мне завтра резиновые набойки принеси.

Ваня спросил:

— А далеко отсюда лавочка?

— А тебе зачем? Покупать что будешь? Папиросы, наверное?

— Нет, не папиросы. А где она?

— Да вот тут за углом сразу.

Ваня сложил щетки и коробки, поднял ящик и отправился в лавочку[5].

8. Ночь

Заночевали в соломе, и оказалось, что это вовсе не далеко. Нужно по той же улице пройти два квартала, перейти через переезд, потом еще немного пройти, а там уже начиналось поле. Может быть, и не настоящее поле, потому что впереди было еще несколько огоньков, но здесь, за последним домом, было просторно, шуршала под ногами трава, а чуть в стороне стояла эта самая солома. Вероятно, она стояла на пригорке, потому что отсюда хорошо был виден горящий огнями город. Совсем близко, на переезде, один фонарь горел очень ярко и сильно бил в глаза.

Ваня неохотно шел ночевать. Когда позади осталась последняя хата, он пожалел, что не поискал ночлега в городе. Но Рыжиков брел уверенно, заложив руки в карманы, посвистывая.

— Вот здесь,— сказал он.— Нагребем соломы, тепло будет. И к городу близко.

Ваня опустил ящик на землю, и не захотелось ему ложиться спать. Он начал рассматривать город. Было очень приятно смотреть на него. Впереди огни рассыпались по широкой площади, и было их очень много. Они казались то насыпанными в беспорядке, то обнаруживались в их толпе определенные линии. Выходило так, как будто они играют. Подальше начинался ряд больших домов, и во всех домах окна горели разными цветами: желтыми, зелеными, ярко-красными.

— Отчего это? — спросил Ваня.— То такие, а то такие... окна?

— Чего это? — спросил Рыжиков, наклонившись к соломе на земле.

— Окна отчего такие? Разные?

— А это у кого какая лампа. Колпаки такие, абажуры. Это женщины любят: то красный абажур, то зеленый.

— Это богатые?

— И богатые и бедные. Это из бумаги можно сделать. Бывает, абажур такой висит, а больше ничего и нет. И взять нечего. Только голову морочат...

— Украсть? — спросил Ваня.

— У нас не говорят «украсть», а говорят «взять»[6].

— Я завтра пойду к этому... к Первому мая.

— И там можно кое-что взять. Если умно.

— А зачем?

— Ну и глупый ты! Совсем глупый! Как это «зачем»?

— Пойти туда жить, а потом взять?

— А как же?

— А потом в тюрьму?

— Это пускай поймают!

— А Игоря поймали.

— Потому что дурак. На почту лазит. Да ему все равно ничего не будет: несовершеннолетний.

Рыжиков гребнул солому из стога еще раз...

— У нас на станции сторож такой... так он умер, а тот, Мишкой его зовут, так он тоже в колонии Первого мая. И он писал письмо.

— Первое мая, — Рыжиков разгреб солому, помял ее ногами, растянулся. — Ложись лучше!

Ваня замолчал и стал укладываться.

На небе горели звезды. Соломенные пряди под ними казались черными, большими конструкциями.

* * *

Проснулся Ваня рано, но день уже наступил. Солнце вставало за стогом, Ваня лежал в тени, ему стало холодно. Он вскочил, подымая за собой солому, приставшую к нему, и посмотрел на город. Город сейчас был другой. Кое-где горели ненужные уже фонари, и ярко светился тот самый фонарь возле переезда.

Город был сейчас интереснее и сложнее, но уже не был таким красивым. Впрочем, это не имело особенного значения. Все-таки там было много домов и крыш, а дальше стояло высокое белое здание с колоннами. Вот где настоящий город, и нужно пойти туда посмотреть. Заработать денег и пойти... нет, поехать в трамвае. И, наверное, в городе есть кинотеатр. А сегодня надо идти на «свою» улицу. Ваня вспомнил вчерашнего молодого человека, который так обрадовался, что завелся чистильщик на этой улице. Наверное, там сейчас много народу хочет почистить ботинки. Хорошо, что есть лишняя коробка черной мази. Ване захотелось хорошенько рассмотреть эту коробку. Он наклонился к ящику, но ящика не было. Ногой Ваня откинул солому. Оглянулся. Только сейчас он заметил, что и Рыжикова тоже нет. Ваня обошел стог, вернулся на прежнее место, скучно посмотрел на город, еще раз оглянулся, прислонился к стогу, задумался. Вдруг вспомнил, полез в карман, пошарил в нем, вывернул: и десять рублей исчезли.

Ваня сделал несколько шагов в сторону дороги. Но остановился. Собственно говоря, в город идти было нечего.

9. Козлы

Целый месяц прошел после этих происшествий.

Рано утром милиционер, человек молодой, подтянутый и добросовестный, разбудил Игоря в приемнике и сказал ему:

— Трогаем, товарищ! Ты потом выспишься, в колонии, а мне до девяти нужно назад вернуться[7].

Игорь быстро натянул на плечи свой пиджак, под которым уже имелась рубаха. Хотя это была короткая и бязевая рубаха, но Игорь умел ее желтоватый воротник кокетливо разбрасывать над воротником пиджака.

Дворники сухими метлами подметали улицы, но пыль еще неохотно взлетала над тротуарами. Утро стояло над городом ясное, прозрачное, здоровое. Игорю было приятно в такое утро идти «в новую жизнь».

Игорь не очень интересовался новой жизнью. Это у Полины Николаевны, в Комиссии по делам несовершеннолетних, за каждым словом: новая жизнь, новая жизнь! Игорь любил вообще жизнь, а какая там она, новая или старая, он не привык разбирать. Он никогда не задумывался ни над завтрашним днем, ни над вчерашним. Но сегодняшний день всегда привлекал его внимание, как еще не раскрытая страница, и ему нравилось не спеша перевертывать ее и любопытным глазом присматриваться к новым

рассказам[8]. Сегодня это тем более было приятно, что в течение всего минувшего месяца ему пришлось переворачивать очень однообразные страницы, и он начал даже привыкать к этому однообразию.

В Комиссии по делам несовершеннолетних он и раньше бывал, и в этот раз не встретил там ничего существенно нового. Давно ему известная Полина Николаевна, женщина маленькая, остроносая, казавшаяся очень умной и доброй, с грустной вежливостью расспрашивала его о родителях, об учебе и вообще о том, как он дошел до такой жизни. Расспрашивая, она уже не заглядывала, как в прошлом году, в большой лист с заглавием: «Порядок опроса», но задавала все те же вопросы, что и в прошлом году. Игорь отвечал ей тоже вежливо. Он понимал, что Полина Николаевна честно обслуживает таких, как он, получает за это небольшое жалованье, что ей будет приятно, хотя изредка, поговорить с приличным человеком. Игорь Чернявин любил доставлять людям радость, поэтому и с Полиной Николаевной он разговаривал в джентльменском тоне, тем более что это было вовсе не трудно. Полина Николаевна постукивала тупым концом карандаша по столу и спрашивала:

— Ваш отец профессор?

— Да.

— В Ленинграде?

— Да.

— Почему вы не хотите к нему возвратиться?

— Мне не нравится его характер. Он — грубый, черствый, он изменяет моей маме, я с ним жить не могу.

— Вы с ним часто ссорились, крупно говорили?

— Нет. Я с ним не желаю разговаривать.

— Вы могли бы мать пожалеть, Игорь.

— Мне очень жаль, но мать не хочет от него уйти.

— Вы, Игорь, такой культурный мальчик, до каких же пор вы будете заниматься всеми этими... приключениями?

— Полина Николаевна! Иначе не выходит. Уже два раза меня силой возвращают к отцу. Я все равно жить у него не буду.

— А если мы вас не отправим к отцу?

— Я надеюсь, что это будет очень хорошо.

— Вы бросите ваши фокусы?

— Я надеюсь.

— Почему вы надеетесь?

— А вот вы со мной поговорили.

Полина Николаевна посмотрела на него с благодарностью:

— Поможет ли вам это... мои разговоры?

— Я думаю, что ваши разговоры хорошо помогут.

— Что мне с вами делать, Игорь? Неужели только с вами одним и говорить? И другие ведь есть!

Полина Николаевна показывала карандашиком на дверь, за которой, в узком коридоре, другие мальчики ожидали своей очереди. На бледном остреньком личике Полины Николаевны, в беленьком, узком кружевном воротничке, даже в ловком, юрком карандашике, которым она действовала, — во всем чувствовалось искреннее сожаление, что не может она взять Игоря за руку и повести по трудной дороге жизни. И Игорь понимал

и сочувствовал: ей нужно заняться и другими сбившимися с пути объектами. Вероятно, это сочувствие довольно сильно выражалось на лице Игоря, потому что Полина Николаевна страдательно опустила глаза, и ее карандашик застучал по столу несколько нервно.

К ним подошел человек в белом халате. У него была беспорядочная шевелюра, начинавшаяся чрезвычайно низко, почти от самых бровей. Глазные яблоки этого человека были очень велики, они были покрыты мелкими красными жилками и почти целиком выкатывались наружу. Казалось, что этот человек в чистом белом халате везет что-то очень тяжелое и везти ему трудно. Полина Николаевна сказала устало:

— Вы, Чернявин, идите в кабинет[9]. Товарищ должен произвести некоторые исследования относительно ваших трудовых предрасположений...

Игорь Чернявин раньше уже подвергался подобным исследованиям, только тогда в белом халате был какой-то другой человек. Игорь покорно поднялся со стула, и ближайший отрезок жизненного пути (он так и не разобрал, нового или еще старого) он прошел за человеком в халате. Идти было недалеко. В небольшой комнате, обставленной белой крашеной мебелью, Игоря усадили на стул, а человек в халате сказал другому человеку в халате:

— Лабиринт Партеуса!

По спине у Игоря пробежали неприятные холодные иголочки, он притих за белым столом и начал думать о том, что действительно надо начать более спокойную жизнь. Но когда перед его глазами на столе расположился широкий картон с какими-то клетками и ходами, Игорь оживился.

Лупоглазый оперся руками на стол и сказал сухим, немного дрожащим голосом:

— Вы находитесь в центре этого лабиринта, понимаете? Вам нужно из него выйти. Вот вам карандаш, покажите, как вы будете выходить.

Игорь еще раз оглянулся на этих людей, но в общем не протестовал. Он взял карандаш и с улыбкой наклонился над лабиринтом. Повел карандаш к выходу, но скоро очутился в тупике и остановился. За большим окном что-то начало сильно хлопать. Игорь посмотрел и увидел девушку на балконе. Она тонкой палочкой колотила по развешанному на веревке ковру. Игорь снова подумал, что нужно все-таки... черт его знает. В этот момент лупоглазый вытащил картон у него из-под руки, а на место его положил другой. Это был тоже лабиринт. В одном его углу был изображен козел, вкушающий какие-то запрещенные плоды, а в другом углу — девушка с прутиком в руке. Было у нее что-то общее с той девушкой, которая работала на балконе. Игорь улыбнулся, глянул на балкон, потом сообразил: пока девушка доберется до козла, пройдет очень много времени и козел успеет полакомиться как следует. Игорь поднял лицо к человеку в халате:

— Неудобное устройство!

— Что неудобное?

— Да вот... Зачем такие дворы? Козлу тут раздолье!

— Если вы будете оглядываться, вы ничего не сделаете.

Игорь сосредоточился над картоном. У козла был очень добродушный

вид. Игорю не захотелось его прогонять.

— А знаете что? Пускай себе пасется!

— Как это так? — вскрикнул лупоглазый.

— Я думаю, что вреда будет немного. Какие-то кустики.

— Представьте себе, что там малинник.

— Не думаю. Вы напрасно беспокоитесь.

— Почему вы так разговариваете? — человек в халате с силой дернул картон.

— С флейтой будем исследовать? — спросил другой.

Старший ответил сухо:

— Нет.

Он пошел к умывальнику, а потом долго вытирал каждый палец отдельно.

Потом он вышел в дверь и уже из коридора пригласил:

— Идемте.

У столика Полины Николаевны он устало опустился на стул:

— Как? — спросила Полина Николаевна.

— Слабо. Очень слабо. Результаты нулевые. Рассеян, безынициативен, воображение отсутствует.

— Что вы говорите? У него инициативу нужно уменьшить вдвое, а вы говорите: безынициативен! Прочтите.

Она протянула довольно толстую папку. Человек в халате поднес ее к самым глазам и стал быстро вертеть головой вправо и влево, бегая по строчкам.

— Это ничего не значит, Полина Николаевна. Мы не знаем, инициатива это или подражание. Такие штуки, — он потряс папкой в руках, — вообще ничего не доказывают.

— А я вам говорю, что вы ошибаетесь. Я вас очень прошу посмотреть еще раз. Вы увидите, что вы ошибаетесь.

Лупоглазый поднялся со стула обиженный и двинулся к дверям своей комнаты.

— Хорошо!

— Что же вы сидите? — сказала Полина Николаевна Игорю.

Игорь посмотрел вслед белому халату и, когда закрылась за ним дверь, спросил доверительно:

— А для чего это, Полина Николаевна?

Она подняла на него глаза:

— Значит, нужно.

— Я не понимаю, для чего.

— Это исследование ваших способностей.

— А для чего им мои способности?

— Идите, Игорь, не спорьте.

Игорь снова вошел в комнату, молча стал у стены. Пока люди в халатах перебирали какие-то папки, ящики, карты, у него в душе скопилась густая обида. Кто-то сильной рукой подчеркнул в ней одиночество, чреду последних скудных дней, брошенного на товарных путях симпатичного Ваню, отошедшие в вечность светлые дни детства, и мать, и старые обиды: вздорный, неверный, сумасбродный отец и другие люди, жестокие и холодные.

На столе стояла длинная коробка с отделениями. Старший предложил:

— Садитесь.

Обо всем этом вспомнил Игорь Чернявин, шагая рядом с милиционером по просторным, освещенным утром тротуарам. Нет, истекший месяц был печальным месяцем. Это было скучное и глупое время. Полина Николаевна убеждала его начать новую жизнь, люди в халатах раскладывали перед ним разные картоны. Особенно стало скучно после того, как Игорь примирился со своей участью и научился выходить из всех лабиринтов, научился продевать веревку через дырочки флейты. Все эти занятия он сначала сопровождал насмешкой над самим собой, над козлами, над человеками в халатах, а потом он все упражнения проделывал с угрюмой технической серьезностью. От скуки, сделав небольшое усилие, он даже сумел понравиться людям в халатах и помогал им исследовать других ребят. Только записывать и высчитывать он не научился. Его наставники не посвящали никого в свои тайны и прятали их значение за непонятными словами: «тесты», «корреляция»[10].

Все-таки в кабинете было занятнее, чем в приемнике. Игорь не любил беспризорную, шумную и ржавую толпу, дешевое ее остроумие и низкую культуру. В кабинете же он говорил новичку с высокомерием жреца:

— Вот, синьор, пока щука не поймает эту жалкую рыбешку, вы отсюда не выйдете!

— Видите: куда мяч закатился? Доставьте его к волейбольной сетке. Перекинуть нельзя. Несите в руках. Через забор перелезть? Забудьте эти ваши уличные привычки.

Он стоял за плечом новичка и холодным взглядом наблюдал неудачные попытки исследуемого субъекта. Субъект разочарованно тянул:

— Если так играть, никогда не выиграешь.

— Вы, мистер, и не должны выиграть. Выигрываем в таком случае только мы.

Досадно только было, что в сравнении с хозяевами кабинета он выигрывал до смешного мало: бесплатный бутерброд во время завтрака. По сравнению с таким заработком предприятие на почте было все же выгоднее, хотя оно было и гораздо проще оборудовано, чем кабинет.

Сейчас Игорь с внутренним смущением вспоминал о своих легкомысленно-позорных действиях в кабинете, на которые его подвинуло дикое невезение с деньгами бабушки. Но... страницы этого прошлого были перевернуты. Сегодняшний день быстро бежал навстречу: сначала промелькнули хорошо знакомые улицы центра, потом пошли и новые места, узкая, грязная набережная, запруженная подводами базарная площадь, потом широкая, щедро накрытая небом Хорошиловка. Домики на Хорошиловке маленькие, между ними цветут сады, мимо домиков бегает трамвай, бегает хлопотливо, быстро, весело. Но вот и Хорошиловка кончилась, мостовая пошла среди молодой зелени, а трамвай побежал по шпалам, как будто это не трамвай, а поезд. И зеленые полосы, и шоссе, и трамвай — все направляются к дубовой рощице. К этой рощице пришли милиционер и Игорь. В сторону ведет просека, в просеке тоже мостовая, а через нее сетчатая с золотыми буквами вывеска:

10. Первые впечатления

Просеку милиционер и Игорь прошли быстро. Милиционер был доволен, что заканчивает свою командировку. И Игорь был доволен: впереди была «новая жизнь».

Сквозь просеку видны были крыши, да и сама просека скоро вышла в поле — настоящее пахучее поле с рожью, с цветами на межах. За полем по всему горизонту пошел лес, а к лесу прислонилась колония. На одном из зданий, на высоких флагштоках — два узких флага. Флаги какие-то особенные, узкие и длинные, такие флаги видел Игорь когда-то давно на изображениях сказочных дворцов.

Он спросил у милиционера:

— Они там живут?

Милиционер удивился:

— Само собою там, а где же им жить?

— Флаги у них какие... Скажите, пожалуйста!

— Да, флаги, это верно! Да у них все такое... чудное! А народ здесь хороший, крепко живут!

Игорь повел плечами, засунул руки в карманы и все не мог отвести взгляда от двух узких, гуляющих на ветре флагов. Флаги были на флагштоках, а флагштоки стояли на двух башенках, венчающих здание.

— У них башни, как будто крепость!

— Такое просто здание, — ответил милиционер, — никакого сравнения с крепостью не может быть.

Игорь не стал спорить. А все-таки две башни напоминали крепость, в этом заключалось и что-то приятное и что-то сомнительное, во всяком случае, в расчеты Игоря не входило жить в крепости. Но когда подошли ближе, Игорь и сам увидел, что никакой крепости нет, а стоит действительно просто здание, широкое, двухэтажное, серое; построено здание красиво, блестят на его стенах искорки, выступающие вперед «фонари» подымаются над крышей башнями, на башнях всё полощутся флаги.

Милиционер и Игорь шли по мостовой уже мимо здания, но оно отделялось от них широкой полосой цветников. Игорь давно не видел такого обилия цветов. Между цветами проходили яркие золотые дорожки, на одной из них поближе к Игорю шли две девушки, настоящие девушки, черт возьми, хорошенькие и нарядные. Одна из них, с вздернутым носиком, с веселыми, живыми глазами, взглянула на Игоря и сказала подруге — черноглазой и смуглой:

— Новенький! Посмотри какой, в пиджаке!

Игорь чуть-чуть покраснел и отвернулся. Собственно говоря, что ж тут такого, в пиджаке!

На тротуаре мимо дверей гуляет народ: и постарше, и пацаны, и девушки. У некоторых юношей начинает темнеть верхняя губа... Одеты все разнообразно, но видно, костюмы для работы: кое-где пропитаны маслом. Пацаны в трусиках, босиком. Девушки, как всегда, наряднее.

— Солидный народ, — как будто про себя сказал Игорь. Улыбнулся милиционеру, но милиционер не заметил улыбки.

В открытых настежь дверях здания стоял пацан лет тринадцати, лобастый и серьезный; среди этой спокойной, оживленной толпы он выделялся странно официальной внешностью: ботинки, суконные полугалифе, гамаши, темно-синяя гимнастерка заправлена в штаны, талия стянута узким черным поясом с пряжкой. На одном рукаве золотой вензель, широкий белый воротник ослепительно чист, хотя чуточку примят. В руках настоящая винтовка со штыком, пацан держит ее обеими руками за конец дула.

Игорь засмотрелся на эту фигуру, но развлекали его и другие впечатления. Два пацана стремглав вылетели из дверей и помчались по дорожке. Тот, который бежал сзади, закричал:

— Васька! Васька! Постой! Ключи у меня!

Игорю удалось поймать и другие слова, но они касались событий неясных, хотя, без сомнения, и драматических.

— А Алексей вызвал его и говорит: найди!

— О!

— Говорит: найди! А не найдешь — разберем на общем собрании!

— Ой-ой-ой!

Удивило Игоря еще одно обстоятельство. Идя сюда, он испытывал неприятное чувство ожидания: все на него набросятся, закидают вопросами, взглядами, шутками, а тут еще и милиционер: подробность особенная. А теперь было даже обидно: сколько народу, а у всех такой вид, как будто никакого Игоря под стражей и не существует на свете. Но в то же время нельзя было сомневаться: появление фигуры Игоря между цветников всеми отмечено, и все поставили своего рода нотабене на его фигуре, и, кажется, нотабене ироническое. Игорь подумал: «Вредный народ!» — но немедленно получил и более активные знаки внимания. По дорожке мимо него проходил черноглазый мальчик в трусиках, посвистывал, поглядывал по сторонам — видно было, что шел по какому-то определенному, нужному ему направлению, — на Игоря еще издали бросил легкий взгляд, и снова куда-то отвлекся, и тем не менее, проходя мимо Игоря, сказал:

— Дядя! А где ваш галстук?

Игорь не разобрал, что это обращаются именно к нему, и огляделся. Но тут же он догадался, что по характеру костюма проблема галстука могла возникнуть только с его, Игоря, появлением, ибо к костюмам местных жителей добавления галстука, безусловно, не требовалось. Но когда Игорь все это сообразил и бросился догонять взглядом черноглазого мальчика, то уже не мог отличить его среди других мальчиков.

Как раз в этот момент из здания вышел, тоже босоногий и тоже в трусиках, пацан лет двенадцати, хорошенький, румяный, чуть-чуть важный. Как-то особенно играючи и уверенно ступали его ноги, большие темные глаза по-хозяйски оглядывали все. Он стал на краю единственной ступени, поднял длинную, блестящую серебряным блеском трубу, быстро облизал губы и, подняв раструб трубы, заиграл. Это был сигнал[11], короткий, отрывистый, а в конце украшенный шутливо-разливчатым хвостиком. Пацан

проиграл его только один раз, опустил трубу, улыбающимися глазами посмотрел на мальчиков поближе и вдруг, сорвавшись со ступеньки, побежал. На углу здания остановился и снова проиграл тот же сигнал. Игорь не утерпел, спросил первого попавшегося:

— Что это он играл?

— Кто играл? Бегунок? А это на работу...

Через полминуты из дверей только одиночки торопливо выбегали и устремлялись следом за всеми. Остался пацан с винтовкой, и к нему обратился милиционер.

— Куда здесь? Вот привел...

Тот серьезно оглянулся на вопрос, но, видно, ничего не нашел подходящего и сказал:

— Сейчас!

Бегунок со своей трубой не спеша возвращался к дверям.

— Володька, позови дежурного бригадира[12].

Володька Бегунок сразу догадался, для чего нужен дежурный бригадир. Повернув голову, он прищурился на Игоря и, проходя в двери, почти пропел:

— Е-есть... Позове-ем...

Он ушел в здание, пацан с винтовкой теперь составлял единственную мишень для Игоря Чернявина. Игорь сказал улыбаясь:

— А если я пройду... вот, без спросу? Что же ты, будешь стрелять?

Часовой опустил глаза, но ответил басом:

— Стрелять не буду, а прикладом по башке получишь.

После этих слов он покраснел и недовольно отвернулся. Игорь рассмеялся, прицепился к часовому удивленным взглядом:

— Ух ты?!

Часовой посмотрел на Игоря исподлобья, вдруг улыбнулся, но что-то почуял справа, в прохладном полумраке вестибюля, вытянулся, винтовка моментально оказалась у его плеча. На ступеньку вышел юноша лет шестнадцати. Он одет был в такой же костюм, как и часовой, только на левом рукаве у него была красная повязка. Игорь догадался, что это дежурный бригадир, да и часовой показал на Игоря:

— Воленко! Привели...

У Воленко тонкое лицо, очень интеллигентное и бледное. Особенно строгое выражение имеет рот Воленко: у него подвижные губы, от которых, кажется, всегда можно ожидать слова осуждения.

Воленко подошел к милиционеру, мельком глянул на Игоря:

— У вас есть бумага?

Милиционер раскрыл книжку:

— Есть тут бумажонка. Вот здесь распишитесь.

Воленко расписался и возвратил книжку милиционеру:

— Все?

— Все как будто...

Игорь подал милиционеру руку, улыбнулся:

— Надеюсь, больше не увидимся?

Милиционер ответил с тонкой улыбкой:

— А кто его знает? — козырнул Воленко и отправился в обратный путь.

Воленко, до сих пор наблюдавший процедуру прощания, сказал Игорю:

— Пойдем[13].

11. Беседы культурных людей

Игорь Чернявин вошел в вестибюль и попятился. Молнией блеснула у него мысль, что случилось недоразумение: он сюда попал по ошибке. Растерянно оглянулся он на Воленко, потом снова глянул вперед. Перед ним был марш широкой лестницы, покрытой бархатной малиновой дорожкой. В конце марша — просторная площадка, дубовые двери, на них золотом на стекле написано:

Театр

А рядом с дверями в театр огромное квадратное зеркало, оно отражает следующий марш лестницы, и еще площадку, и еще зеркало, а самое главное, оно отражает бесконечную и щедрую ленту ярко-красных цветов, уставленных по всему барьеру в особых, длинных ящиках.

— Вытри ноги, — сказал Воленко и показал на большую темную тряпку, лежащую на кафельном полу.

Игорь посмотрел на свои ботинки. Никакой грязи на них не было:

— У меня чистые.

Подошел часовой с винтовкой.

— Они у тебя не чистые, а совсем грязные. Вытирай, когда тебе говорят.

Игорь пробормотал:

— Черт его знает...

Все-таки он зашаркал подошвами по темной тряпке, и только теперь понял, что тряпка потому и кажется темной, что она влажная.

— Теперь здесь, — часовой показал на трехстороннюю щетку и внимательно и строго нахмурил лицо, пока Игорь исполнял его приказание. Воленко терпеливо ожидал, стоя на третьей, верхней, ступеньке, ведущей в более высокую часть вестибюля. Игорю стало интересно:

— Синьоры, у вас все такие серьезные?

У Воленко чуть-чуть вздрогнул уголок строгого рта, он завертел вокруг пальца шнурок с ключиком на конце.

Игорь, обчищая ботинки в щетках, разглядывал часового. У того из-под тюбетейки выбегал на выпуклый лоб небольшой чубчик и закручивался крутой спиралью.

— Сколько же тебе лет?

Часовой пошевелил губами, сдержал улыбку, еще строже глянул на ноги Игоря:

— Это не твое дело, вытирай себе!

Игорь иронически дернул плечом.

— Идем, идем, — сказал Воленко.

Он двинулся влево по коридору. Вправо коридора не было, а на такой же дубовой двери таким же нарядным золотом было написано:

Столовая

Дверь эта открылась, из столовой выглянула девочка лет четырнадцати в белом халате, спросила:

— Воленко, ты ведь еще не завтракал?

— Нет. Ты мне оставь, Лена. И вот... новенькому.

— А как же, — ответила девочка и спряталась за дверью.

С одной стороны коридора были большие окна, а с другой несколько дверей и между ними в больших рамах не то стенгазеты, не то что-то другое. В конце коридора тоже дверь, и на ней тоже надпись:

Тихий клуб

Но они вошли не в эту дверь. Последняя дверь слева:

Совет бригадиров

Воленко именно эту дверь и открыл и взглядом пригласил Игоря войти. Игорь переступил порог. Солнечное сияние в двух огромных окнах ослепило его. Он прищурился, но сразу отметил особенности этой комнаты: в ней у всех четырех стен проходил неширокий диван, мягкий, но узкий. В углах комнаты он заворачивал по кривой. В правом углу на диване сидел Володя Бегунок, на голом колене держал свою трубу, натирал ее суконным обрезком. Бегунок быстро глянул на Игоря, но сказал в другой угол:

— Когда же мази купят? Говорили, говорили, аж надоело! Это бесхозяйственность, правда, Витя?

В другом углу дивана стоял маленький письменный столик, и за ним сидел тот, кого Бегунок назвал Витей. Витя поднялся за своим столиком и ответил:

— Сейчас денег мало.

— Сколько там нужно денег? Тридцать копеек. — Володя с большей силой начал натирать свою трубу и на Игоря больше не посмотрел. Очевидно, для Володи Бегунка Игорь представлял сейчас явление малозанимательное и особенно в сравнении с вопросом о мази. Но тот, кого называли Витей, заинтересовался Игорем, вышел из-за своего столика и подошел вплотную к Игорю. Он был тоже в трусиках и в парусиновой рубашке. И у него трусики были стянуты узким черным пояском. Но Витя был уже не малыш. Ему было не меньше шестнадцати лет, это был человек серьезный и бывалый, — опытный взгляд Игоря это сразу почувствовал.

У Вити быстрый, острый, сдержанно-насмешливый взгляд. Он взял из рук Воленко большой пакет и бросил его на стол:

— Из комиссии?

— Из комиссии.

Игорь вежливо ему поклонился. Витя ответил таким же вежливым поклоном, но в этом поклоне просвечивало очень тонкое передразнивание. Бегунок громко засмеялся, завалившись на диван и задирая босые ноги. Игорь оглядел всех. Витя присел к столику, взял в руки конверт, прочитал то, что было на нем написано:

— Игорь Чернявин? Много про тебя понаписывали...

Но в конверт не заглянул, снова подошел к Игорю. Последнему захотелось как можно скорее отделаться от разных вопросов:

— Написано там много, а дело пустое. Маленькая неправильность при получении денег.

Витя сказал ему в глаза, улыбаясь одними ресницами:

— Вот что, друг. Какая там у тебя неправильность, это никому не интересно[14]. Понимаешь, не интересно. А вот другой вопрос: будешь бежать или останешься?

Бегунок поднял лицо, медленно улыбнулся. Игорь огляделся. Бежать ему не хотелось, но нельзя было и сдаваться так легко. Он ответил:

— Там видно будет.

— Это верно, — сказал Витя весело. — Ну, идем к Алексею Степановичу.

Только теперь Игорь увидел, что в одном месте диван прерывался узкой дверью, и на ней тоже надпись:

Заведующий колонией

Эту дверь Витя распахнул, и Игорь неожиданно для себя очутился в кабинете. За ним прошли Витя и Воленко, а за ними и Бегунок, бросив свою трубу на диван, прошмыгнул в кабинет; прошмыгнул ловко, во всяком случае. Игорь увидел его уже возле письменного стола. Володя поставил локти на стол, на ладошках пристроил голову, глядел на заведующего.

Заведующий сидел за письменным столом и перелистывал книгу. В этом человеке не было ничего особенного: подстриженные усы, стеклышки пенсне, под машинку стриженная голова. Он поднял на Игоря глаза, и глаза у него были обыкновенные: серые, чуть-чуть холодные.

— Вот, Алексей Степанович, новичок, — Витя показал рукой на Игоря.

Игорь вежливо поклонился, и Володя Бегунок не смог удержать улыбки, да уж так и оставил улыбку надолго. По всему было видно: Алексей Степанович заметил улыбку Володи и знал ее причину, но сделал такой вид, как будто он ничего не заметил.

— Как тебя зовут?

— Игорь Чернявин.

— Ты учился в школе?

— Да. Окончил семь классов.

— Почему так мало?

Алексей Степанович с недовольным видом откинулся к спинке кресла. Его глаза холодно, осуждающе смотрели на Игоря. Но Игорь всегда был убежден, что его образование превышает среднюю необходимость в жизни, и поэтому ему показалось сейчас, что заведующий шутит. Игорь оживленно удивился и даже руками дернул вперед:

— Мало? Семь классов — это мало?

— А ты разве не знаешь? Есть восьмые группы, девятые, десятые.

— Конечно, есть, так это не для всех.

Алексей Степанович не обратил внимания на ответ Игоря. Он начал перелистывать книгу, помолчал, потом протянул скучновато:

— Та-ак... Днепрострой, что это такое?

— Как?

— Днепрострой... ты знаешь, что такое Днепрострой?
— Днепрострой? Это... это станция.
— Какая станция?
— Станция... мост и... там станция.
Бегунок восторженно пискнул в ладошки, которыми прикрыл рот...
— Виноват... там, кажется, нет моста.
Игорь видел, с каким трудом Бегунок прикрывает ладонями губы, чтобы не засмеяться. На лице Воленко не было улыбки, но еле заметно вздрагивала нижняя губа.
Алексей Степанович кивнул головой над книгой:
— Стыдно! Просто стыдно! Культурный человек! Окончил семь классов — говорит такие глупости. Надо себя больше уважать, товарищ Чернявин.
— Я забыл, товарищ заведующий...
— Что забыл?
— Забыл... вот... Днепрострой.
— Днепрострой — такая вещь, о которой нельзя забывать. Понимаешь, нельзя! А кроме того... ты сказал... старшие классы не для всех. Это тоже... не блещет остроумием.
— Я в том смысле сказал...
— Смысла мало. Такое количество смысла меня не устраивает. Мало смысла, понимаешь?
Алексей Степанович глянул Игорю в глаза, и Игорь увидел, что у заведующего нет ничего холодного, ничего скучноватого: у него было живое, требовательное лицо. Игорь ответил:
— Да, понимаю, товарищ заведующий.
— Ага! Это уже лучше. Это гораздо умнее сказано. Теперь еще один вопрос: ты хороший товарищ?
Глаза Алексея Степановича смотрели сейчас иронически, как будто в его вопросе был нескрываемый подвох. И поэтому Игорь переспросил:
— Хороший ли я товарищ?
— Да. Хороший товарищ или... так себе?
Этот вопрос, в сущности, был для Игоря легким вопросом, он ответил уверенно и охотно:
— Да, я могу сказать: товарищ я неплохой.
Алексей Степанович улыбнулся вдруг просто и дружески, и в его улыбке было что-то такое задорное, почти мальчишеское, только у детей так свободно, беззастенчиво открываются губы, у них не остается никаких узких щелей и углов.
— Молодец! Нет, знаешь, ты далеко не глупый человек, это очень приятно. Ну... хорошо. Ты познакомишься с нами ближе. Витя, у нас где место?
— Есть место в восьмой бригаде.
— Хорошо. Будешь в восьмой бригаде. Бригадир Нестеренко — человек основательный. Ты немного зубоскал, правда?
Игорь чуть-чуть покраснел.
— Немножко.
— Это ничего, а то в восьмой бригаде много серьезных. Отдохни, а там и за дело. Бежать не будешь?
Почему-то Игорю не захотелось сказать «там будет видно», но он помнил

свой ответ и посмотрел на Витю. Свободно, просто и уверенно Витя ответил за Игоря, чуть-чуть улыбаясь одними глазами:

— Нет, Алексей Степанович, он бежать не собирается.

— Добре. Значит... Воленко, действуй.

Воленко вытянулся.

— Есть!

12. Полное недоверие

Все вышли из кабинета, кроме Володи Бегунка. Володя снял локти со стола:

— Алексей Степанович!

— Ну?

— До зарезу нужно тридцать копеек на мазь.

— Тридцать копеек? Хорошо, я скажу завхозу.

Все в Володе оставалось в положении «смирно», только шея вытянулась и в глазах появилось обиженно-убедительное, страстное выражение.

— Да он не купит! Честное слово, он не купит... Он будет говорить...

— Ладно. Вот тебе тридцать копеек на мазь, а это двадцать на трамвай.

— Сейчас можно?

— Можно... до четырех часов.

Очень радостно, громко, с молниеносным салютом Бегунок сказал:

— Есть, Алексей Степанович!

Он выскочил из комнаты, потом приоткрыл дверь, просунул голову.

— Спасибо!

По коридору мимо часового Володя пролетел с предельной скоростью, но и пришлось с такой же скоростью возвратиться, чтобы спросить у часового:

— Куда дежурный пошел? Воленко?

Часовой, опираясь на свою винтовку, нахмурил брови:

— Воленко? А он туда пошел, с этим чудаком... туда.

Часовой показал направление.

Володя побежал догонять. По плиточному тротуару он повернул за угол и выбежал на широкий двор, обставленный хозяйственными постройками. В самом центре двора он увидел Воленко и Чернявина, направляющихся к кладовой. Володя, запыхавшись, обогнул их и пошатнулся, останавливаясь перед дежурным:

— Товарищ дежурный бригадир! Товарищ Захаров разрешил в город до четырех.

Воленко удивился:

— В этом костюме?

— Нет, не в этом. Я только говорю. А я надену парадный. Я сейчас надену.

Воленко отправился дальше:

— Ты переоденься и приди показаться.

У Бегунка на этот раз даже руки вышли из положения «смирно».

— Так, Воленко! Я же не какой-нибудь новенький. Другие дежурные всегда отпускают и то... доверяют. Я хорошо оденусь.

— Я посмотрю.

Володя несколько увял, опустил плечи, неохотно и сумрачно сказал «есть» и уступил дорогу[15].

Через пятнадцать минут, когда Воленко вел Игоря в баню, Володя стал перед дежурным:

— Товарищ дежурный бригадир! Я могу идти?

Воленко уже занес ногу на ступеньку, но оглянулся, внимательно осмотрел Володю, тронул его пояс, бросил взгляд на ботинки, поправил белый воротник. Румяное личико Бегунка над белым воротником сияло совершенно неизъяснимой красотой. Большие карие глаза ходили по следам взглядов дежурного и постепенно меняли выражение, переходя от смущенного опасения к победоносной гордости. Тюбетейки Воленко не тронул, но сказал возмущенно:

— Я не понимаю, что это за мода! Почему у тебя всегда тюбетейка набекрень?

Рука Володи быстро поправила тюбетейку, и глаза потеряли некоторую часть гордости.

— Зеркало у вас есть? Надо в зеркало смотреть, когда уходишь. Деньги на трамвай имеются?

— Деньги есть.

— Покажи.

— Да есть! Вот еще, Воленко, какое у тебя недоверие!

— Показывай!

Маленькая ладонь Володи расправилась у пояса, и над ней склонились две головы в золотых тюбетейках.

— Это тридцать копеек на мазь, а это двадцать копеек на трамвай.

— Только смотри, все равно узнаю: нужно покупать билет, а без билета нечего лататься*. А то я знаю: все экономию загоняете!

— Да когда же я, Воленко, загонял экономию? У тебя всегда... такое недоверие.

— Знаю вас... Можешь идти!

— Есть!

На этот раз «есть» было сказано без всякой обиды.

13. «Исплотация»

Город был большой, и самая лучшая улица в городе — улица Ленина. На этой улице, на горке, стоит белое здание с колоннами, в здании помещается театр. На улице много прекрасных витрин, но Ваня Гальченко бредет между людьми и витринами грустный. Чулки у него исчезли, голова заросла грязной, слежавшейся порослью, ботинки порыжели.

Ваня пережил плохой месяц. Тогда, у стога соломы, ограбленный и обиженный, он недолго плакал, но долго думал и не придумал ничего. Продолжал думать и потом, когда, перебравшись через переезд, прошел по

---

* *Лататься* (прост., страдательное к «латать») употребляется для обозначения поспешного бегства.

«своей» улице; со стесненным сердцем посмотрел на крыльцо, на котором вчера чистил ботинки[16].

Так начались его трудные дни.

Где находится колония им. Первого мая, Ваня никак не мог выяснить. На улицах он спрашивал встречных, но большинство отвечало незнанием, а были и такие, которые отмахивались и молча проходили дальше. К милиционерам Ваня подходить боялся. Боялся он и беспризорных и старался куда-нибудь скрыться, когда видел их приближающуюся стайку. Вообще Ваня плохо привыкал к сложности и многолюдству большого города. На той станции, откуда он приехал, все было проще и понятнее. Он спросил у молодой женщины, катящей перед собой детскую коляску:

— Где колония Первого мая? Никто не знает.

— Колония Первого мая? — женщина остановила коляску. — Я слышала. Только это далеко. Это за городом, мальчик.

— За городом? А где?

— Я не знаю. Ты спроси в наробразе.

Режущее, незнакомое слово так испугало Ваню, что он даже вздохнул. Стало вдруг очевидно, что в городе жизнь гораздо более запутана, чем ему казалось.

— А что это?

— Это учреждение, понимаешь, дом такой. Там тебе и скажут...

— Дом...

— Это на главной улице. Не забудешь? Наробраз.

— Наробраз.

— Ты на главной улице спроси. Тебе каждый покажет.

— Там написано?

— Наверное, написано.

Ваня обрадовался. Но пришлось истратить целый день на это дело. Несколько раз он прошел главную улицу. В последний раз шел медленно, останавливался перед каждым входом, от первого до последнего слова прочитывал все вывески, но такого слова «наробраз» так и не встретил. Наконец догадался спросить. Пожилой человек в шляпе показал палкой на огромный дом с просторной перед ним площадкой и сказал:

— Наробраз? А это в окрисполкоме. Это там...

Этот дом давно заметил Ваня и даже прочитал все вывески при входе. Там такой вывески «наробраз» тоже не было. Все же он поверил пожилому человеку и направился к этому дому.

Ваня еще раз просмотрел все вывески при входе в большое здание, просмотрел рассеянно, потому что хорошо знал, что наробраза там не было. Потом вспомнил, что с другой стороны подъезда на асфальтированной площадке выступает крылечко и над ним есть какая-то вывеска. Он нашел этот вход. Действительно, здесь была вывеска, и на ней написано:

Окружной отдел народного образования

Опять не то. Но в этом месте Ваня увидел нечто, не имеющее никакого отношения к наробразу, но, безусловно, важное. На асфальтированной площадке сидело целых четыре чистильщика — все мальчики. Тут же стояли люди, ожидающие свободной подставки. Одна подробность Ваню сильно

заинтересовала: стояла пятая подставка для чистки обуви, на ней лежали две щетки. Ваня заметил, как на это соблазнительное оборудование поглядывали люди, читавшие афиши, но ничего сделать не могли: работник, вероятно, отлучился надолго. Ваня подошел сбоку к самой подставке и начал наблюдать работу мальчиков. Ближайший к нему, скуластый, веснушчатый пацан лет пятнадцати, работал быстро, весело, щетки у него в руках ходили незаметно для глаза. Начищая задник, он наклонялся вперед и вбок, поглядывая на Ваню. Когда клиент снял ногу с подставки и полез в карман за кошельком, пацан дробно застучал колодками щеток по ящику и загляделся на Ваню. Глаза у него были ловкие, напористые, уверенные. Ваня смутился и двинулся уходить. Пацан крикнул:

— Ты чего здесь заглядываешь?

— Это я?

— «Это я»! Чего торчишь? Может, чистить умеешь?

— Умею.

— Врешь.

— Умею.

— А ну покажи!.. Пожалуйте, гражданин! Вот к нему! Пожалуйте, пожалуйте!

— Да, может, он не умеет?

— Я отвечаю. Если будет плохо, перечищу. Как тебя зовут?

— Ваня.

— Ванька? Садись.

Пацан энергично перемахнул к свободной подставке, открыл ящик, достал одну коробку, другую, открывал, закрывал их. В ящике находилось большое богатство: мази всех цветов, даже бесцветная, две бархотки, банка с разведенным мелом. Он выбросил малую щетку, банку с черной мазью, хлопнул рукой по подставке, сказал:

— Начинай! Видишь, сколько народу!

Ваня уселся на скамеечке, расставил ноги, с удовольствием принялся за работу. На подставке стоял хороший, новый ботинок, и над ним нависла штанина, тоже новая, дорогого сукна. Ваня начал сметать пыль с ботинка, но энергичный пацан крикнул на него недовольным голосом:

— Умеешь! Штаны подкати!

Ваня оглянулся растерянно, но скоро догадался, в чем дело. Аккуратно, не спеша, подкатил штанину, получилось хорошо. Ваня продолжал работу. Скуластый хозяин был занят своим клиентом, но все время посматривал на работу Вани, а когда клиент ушел, сделал одно замечание.

— Зачем мази много кладешь? Он не понимает, говорит: «Чисти», — а на самом деле мази не нужно. Туда, сюда — и готово. А ты намазал!

К Ване подошел новый клиент, потом еще один. Ваня работал охотно, с радостью, но руки и спина у него заболели почему-то очень скоро, и он был доволен, когда наступила передышка.

— Деньги давай! — сказал скуластый, не глядя на Ваню. — Ох ты, черт, спать хочется. У тебя есть документ?

У Вани было тридцать копеек. Ему не жалко было этих денег, но почему-то раньше ему не приходило в голову, что их придется отдавать, поэтому он немного удивился требованию и переспросил:

— Тебе деньги отдать?

— А как же? Ха! А кому ж отдавать?

Он взял тридцать копеек и небрежно бросил в свой ящик. А из ящика достал три копейки.

— На. Буду платить тебе по копейке с гривенника. Хочешь?

— Как это: по копейке?

— По копейке, хочешь? За каждого.

— Мне?

— Ну да, за работу. Нужно платить или не нужно? А документ у тебя есть?

— Какой документ?

— Без документа? Видал, тебе и по копейке много. А если спросят: какое право имеешь чистить, тогда что будет?

— А я скажу, что нету документа.

— Он скажет! Подумаешь! А он возьмет ящик, и ты пойдешь... знаешь? Юрка, посмотри за ним, а я пошамать...

Их сосед в общем ряду — Юрка — кивнул головой, ответил нехотя:

— Посмотрю.

— И посчитай, сколько он наработает.

— Считать мне некогда, сам считай.

— И не надо. Все равно, если спрячешь, найду. Все равно найду, понимаешь? — Он стоял перед Ваней и теперь, во весь рост, казался выше и основательнее. На нем были хорошие брюки навыпуск и новые ботинки. Ване стало не по себе перед его настойчивой угрозой, Ваня отвернул лицо в сторону:

— Ничего я прятать не буду.

Скуластый отправился по улице. Юрка повернул к Ване лицо, сказал недружелюбно:

— По копейке взялся! Ходит тут всякая шпана!

Ваня ничего не ответил. Юрка еще раза два посмотрел на него, задумался, плюнул с осуждением через свой ящик, сказал своему соседу слева:

— Нашел дурака. По копейке!

Подошел клиент. Юрка застучал щетками:

— Пожалуйте, гражданин! Почистим шевровые!

Но гражданину, видно, не понравилась развязность Юрки, тем более что ботинки у него были вовсе не шевровые. Он поставил ногу к Ване.

— Да он и чистить не умеет, он приблудный! Жалеть будете!

Ваня ощущал неприятную робость перед Юркой. Он нахмурил брови, механически, без увлечения закончил работу, положил гривенник в ящик. Юрка с презрением наблюдал за ним.

Последний в ряду слева, большой, неповоротливый, скучный, бросил:

— Спирька меня целое лето эксплуатировал, сволочь! Целое лето, так и то по три копейки платил.

— По пять нужно, — сказал Юрка.

Большими стаями пошли клиенты, разговоры прекратились. Ваня не успевал разогнуть спину, одна нога за другой менялись на подставке, гривенники прибавлялись в ящике. Но сейчас Ваня не испытывал прежней трудовой радости, лица клиентов его не интересовали, и он с клиентами не разговаривал. Наконец он так устал, что щетки еле двигались у него в руках, чаще стали вырываться. Возвратился Спирька с папиросой в зубах, увидел группу ожидающих, закричал весело:

— Вот пришел мастер первой категории! Пожалуйте!

Еще с полчаса все пятеро разгружали очередь. У Вани вспотел лоб и стало болеть в груди. Когда последний клиент бросил ему гривенник, Ваня даже не поднял монету, она так и осталась лежать на асфальте. Потом Спирька сказал:

— Давай выручку!

Не считая, Ваня передал ему серебро.

— Ого! Рубль шестьдесят! Здорово! А больше нет?

— Нет.

— А ну, выверни карманы.

Ваня вывернул.

— Значит, тебе шестнадцать копеек. На. Видишь, и заработал.

Юрка, положив руки на колени, обратил глаза к Спирьке. Глаза выражали негодование. Негодование выражали и другие пацаны, но только последний в ряду, неповоротливый и скучный, сказал:

— Паскуда ты, Спирька.

Спирька воинственно обернулся:

— Что ты сказал? Что ты сказал?

Последний ничего не ответил, но Юрка подтвердил с улыбкой:

— Не слыхал? Правильно сказал! Это называется, знаешь как?

— А как? А как?

— Это называется исплотация! Исплотация! Что ж ты ему по копейке! Так же только буржуи делают, исплотаторы.

Спирька гневно завертелся на асфальте, покалывал взглядами Ваню, но с наибольшим возмущением обращался к последнему в ряду:

— А по сколько ему давать? Он и чистить не умеет. А гуталину сколько изводит? Видал? А если тебе, Гармидер, жалко, так и плати ему сам. Пожалуйста, плати хоть по десять копеек.

Гармидер по-прежнему скучно смотрел в сторону и ничего не сказал. Спор поддерживал Юрка.

— Гармидер не исплотатор, у него и ящика лишнего нету.

— Ага! У него нету! И у тебя нету! Так вам хорошо говорить! А я гуталин должен покупать? А щетки стоят? А бархат стоит? А за ящик ты не платил четыре рубля, не платил? Так тебе легко!

Юрка далеко плюнул прямым, как стрела, броском.

— Мне легко, у меня свой ящик. И ты себе чисть. А второй ящик — это исплотация значит.

— Заладил, как сорока: исплотация, исплотация! Какой пионер, подумаешь! Его никто не держит, пускай себе идет куда хочет. И документа у него нет. Он поймается, а мой ящик и весь припас пропали!

Юрка еще раз далеко плюнул, поднялся, потянулся, зевнул.

— Как себе хочешь. А только мы не позволим. Плати ему по пять копеек с гривенника.

Спирька заверещал на всю улицу:

— По пять копеек?

— По пять копеек!

— По пять копеек без документа?

— Ну... если ящиком рискуешь, плати по три копейки. Гармидеру платил по три и ему по три.

Спирька вдруг неожиданно сдался, перестал кричать, захохотал, хлопнул Юрку по плечу.

— Да я и плачу ж по три. Чего ты взъерепенился?

— И плати по три.

— А по сколько ж? Это я пошутил, что по копейке. Думал, посмотрю, как он работает, а может, он убежит. Очень мне нужно: исплотация! Пускай себе чистит. Это я на смех, а вы тут целый митинг завели!

Спирька долго посмеивался, поглядывал острыми глазами на всех. Гармидер не обращал на него внимания и скучно глядел в сторону. Юрка снова уселся за свой ящик, улыбался понимающе, наконец сказал:

— Да чего ты представляешься? Что, мы не знаем? У тебя этот ящик целый месяц даром стоит. А тут нашелся пацан, другой бы обрадовался, если умный, а ты жадничаешь: по копейке.

— Вот чудаки! Жадничаю! Пошутил я, это верно. Пожалуйста: по всей справедливости расчет. Начистил ты на три гривенника, потом еще на пятнадцать гривенников.

— На шестнадцать, — поправил Юрка.

— Ну да, на шестнадцать. Значит, на девятнадцать разом. Вот тебе еще по две копейки с гривенника — тридцать восемь копеек. Целую кучу денег заработал.

Ваня в течение всей этой истории сидел неподвижно на скамейке и слушал. Его захватила неожиданная глубина проблемы, поднятой чистильщиками. Еще так недавно Ваня учился в школе, в четвертой группе. В школе говорили об Октябрьской революции, о поражении буржуев, о гражданской войне. Все это, казалось Ване, давно прошло, и вдруг он сам сделался предметом эксплуатации. Спирька в его глазах вдруг перестал быть чистильщиком, соседство с ним стало неприятным. Но когда Спирька высыпал на его руку тридцать восемь копеек, Ваня с радостью увидел и другую сторону проблемы: теперь у него было пятьдесят семь копеек, да еще до вечера оставалось много времени... Сегодня он поужинает не иначе, как замечательной влажной, вкусной колбасой с мягкой булкой. Ваня с большим удовольствием набросился на новый ботинок, очутившийся на подставке, и легко принял дополнительное требование Спирьки:

— Только ты и ящик домой отнесешь. Я тебе носить не буду.

14. Непонятное

Три недели работал Ваня у Спирьки, зарабатывал по рублю в день, а то и больше. На пищу ему хватало. Но работать приходилось много, к вечеру Ваня очень уставал, а еще нужно было и ящик относить и утром приходить к Спирьке за ящиком. К счастью, Спирька жил недалеко от товарной станции, следовательно, и от той соломы, где Ваня ночевал.

За это время Ваня ближе, чем с другими, сдружился с Юркой. Юрка был человек опытный и много понимал в жизни. Несмотря на то что он был круглый сирота, он спал не на улице, как другие, а нанимал угол у какой-то «тетки». Он очень одобрительно отнесся к намерению Вани идти в колонию им. Первого мая, но тут же и разочаровал его:

— Там хорошая колония, только тебя не примут.

— Почему не примут?

— Думаешь, так легко принимают? Тут в городе пацанов ой-ой-ой сколько хотят, а попробуй. Я тоже ходил.

— В колонию ходил?

— Ходил. Еще в прошлом году. Меня как пришпилит декохт*, а ящика у меня не было. Я и пошел. А теперь мне наплевать на них. Еще и лучше, потому — у них все-таки строго: чуть что — «есть», «есть». И пацаны там есть знакомые, а только наплевать!

Юрка и действительно плюнул артистическим своим способом:

— Проживу и без них.

— Значит, они не берут?

— Они не имеют права, а нужно в комиссию идти.

— В какую комиссию?

— Комонес называется.

— А где она?

— Комонес? А вот тут за углом сейчас. Только туда не пустят.

— В колонию?

— Нет, в комонес. Я ходил, так туда не пустили.

Все-таки Ваня улучил минутку и побежал в комонес. Это было, действительно, за углом. Окончился его визит очень быстро. Ваня успел проникнуть только в коридор, и уже через минуту он снова стоял на крыльце, а на него глядела из полуоткрытой двери лысая голова сторожа. Разговор между ними начался еще в коридоре и за самое короткое время успел дойти до большого накала. Быстро обернувшись к двери, Ваня дернул плечом и крикнул со слезами:

— Не имеете права!

Сторож никакого мнения по вопросу о праве не высказал, он выражался директивно:

— Иди, иди!

— Я хочу в колонию Первого мая!

— Мало ты чего хочешь! Здесь таких не берут.

— А каких?

— Правонарушителей берут, понимаешь?

— Каких нарушителей?

— Повыше тебя сортом. А не то, что всякий сброд: захочется ему в колонию, скажите, пожалуйста.

— А если мне жить негде?

— Это что: жить негде? Это пустяки. Это спон принимает.

— Спон? Какой спон?

— Так говорится: спон. И иди себе!

Сторож захлопнул дверь. Ваня задумался: «Спон!»

К месту работы Ваня возвращался расстроенный. Юрка еще издали увидел его и крикнул:

— А что я говорил?

Ваня присел на скамейку, взялся за щетки. Клиент уже поставил ногу. Юрка заканчивал щегольской командирский сапог и все-таки отозвался на события:

---

* *Сидеть на декохте* (жарг.) — голодать.

— Он думал, там ему сейчас: пожалуйте, товарищ Гальченко, садитесь.

Ваня ничего не сказал, а когда кончил работу, спросил:

— А он говорит, в спон какой-то идти?

— Кто говорит?

— Да там такой лысый: в спон.

— Стой, стой! Спон? О! Знаю! Это в наробразе, знаю спон. Только там... — Юрка завертел головой, и Ваня понял, что Юрка выразил предельное пренебрежение к спону.

— Чего?

— Да там... ну... туда лучше не ходи. Буза!

Спирька к подобным разговорам относился с самым холодным презрением. Он принимал и отпускал клиентов, курил, посвистывал, с кем-то перемаргивался, как будто никакого спона не существовало.

— Спон этот здесь. — Юрка кивнул на входную дверь, возле которой они сидели. — Только они здесь не берут, а говорят: иди в приемник. Буза!

Ваня на следующий день отправился в спон. Он вошел в ту самую дверь, на которую показывал Юрка, поднялся по узкой и темной лестнице и попал в такой же темный коридор. Здесь было много дверей, они открывались и закрывались, какие-то люди входили и выходили, за фанерными створками дверей гудели голоса, стучали машинки. В коридоре на деревянных диванах сидели потертые, с нечищенными ботинками клиенты и скучали. Ваня прошел весь коридор, прочитал все надписи и вернулся. У одного из сидящих спросил:

— Спон, понимаете...

— Ну?

— Какой это спон?

— Спон самый обыкновенный. Сюда иди.

Он показал пальцем на дверь. На двери Ваня прочитал:

Социально-правовая охрана несовершеннолетних

Прочитал еще раз. Ничего не понял. Обернулся.

— Это спон?

— Еще не верит, малыш. Прочитай первые буквы.

Ваня прочитал и обрадовался, теперь он все понял, действительно, это был спон. Ваня открыл дверь и вошел. В небольшой комнате сидели четыре женщины и один мужчина. Все они что-то писали. Ваня осмотрел всех и обратился к маленькой женщине с черными большими глазами.

— Здравствуйте.

Женщина посмотрела на Ваню, но продолжала держать перо в руке:

— Тебе чего, мальчик?

— Мне... спон.

— Ну да, спон, так что тебе нужно?

— Отправьте меня в колонию Первого мая.

Женщина заинтересовалась Ваней, положила ручку, ее глаза улыбнулись:

— Это ты сам придумал?

— Сам.

— Не может быть. Тебя кто-то научил.

— Никто не учил. Там, говорят, прилично.

Женщина с черными глазами переглянулась с другой женщиной, обе они улыбались, не открывая губ.

— Еще бы! Ты — беспризорный?

— Нет, еще не был.

— Так чего же ты пришел? Мы берем только беспризорных.

— Я не хочу быть беспризорным.

— Видно, ты очень неглупый мальчик.

Ваня повел головой к плечу:

— А чего ж я буду глупый?

— Это и видно. — Они опять поглядели друг на друга.

— Ну хорошо. Не мешай... — сказала одна из них.

— Я не мешаю.

— В колонию Первого мая мы не отправляем. Это комонес.

— Комонес?

— Да, комонес. Туда правонарушителей отправляют.

— Я был в комонесе. Так там выгоняют! Такой... лысый.

— У них есть кому выгонять, а у нас некому, так ты и стоишь. Я тебе сказала: не мешай!

За столом в углу поднялся молодой мужчина и сказал недовольно:

— Мария Викентьевна, сами виноваты: зачем эти разговоры? Сами вступаете с ними в прения, а потом не выгонишь. Работать абсолютно невозможно.

Он вышел из-за стола, подошел к Ване, ласково, осторожно взял его за плечи, повернул лицом к двери:

— Иди!

В коридоре Ваня еще раз прочитал надпись:

Социально-правовая охрана несовершеннолетних

Потом прочитал первые буквы. Выходило, действительно, спон. Но теперь это уже было не так понятно, как четверть часа тому назад.

Через три недели произошла новая катастрофа. К чистильщикам подошел молодой человек с портфелем и потребовал документы. В катастрофе виноват был сам Спирька. Нужно было посадить Ваню в середине шеренги чистильщиков — в таком случае, как потом объясняли опытные люди, Ваня успел бы смыться. Ваня же сидел крайним, и человек с портфелем прежде всего потребовал документы у него.

В ответ на это Ваня только похолодел. Человек с портфелем помолчал над ним и распорядился:

— Собирай свое добро.

Ваня беспомощно обратился к Спирьке, но Спирька вел себя самым странным образом: он любовался улицей, любовался всласть, его глаза смеялись от удовольствия.

— Бери ящик, чего ты оглядываешься?

— Так это не мой ящик.

— Не твой? А чей?

— Это его, Спирьки.

— Ага, Спирьки? Это ты — Спирька?

— Я! А какое мне дело?

Спирька очень честно и обиженно пожал плечом.

— Чей это ящик, ребята?

Сначала молчали, а Гармидер все-таки сказал:

— Ваньку нечего подводить. Спирькин ящик. И припас тоже его.

— Да идите вы к черту! Чего пристали, смотри! Я тебе продал ящик? Продал? Чего же ты молчишь?

— Когда ж это ты мне его продавал?

Юрка сказал примирительно:

— Засыпался, Спирька, нечего.

Человек с портфелем все понял, и судьба всей системы стала очевидной и для Спирьки. Человек с портфелем произнес после этого только одно слово:

— Идем!

Спирька выругался головокружительно, размахнулся и ударил Ваню по уху. Гармидер бросился на помощь, но Спирька успел ногой очень сильно ударить по своему ящику. Коробки с гуталином и деньги покатились по асфальту, а Спирька, заложив руки в карманы, спокойно отправился по улице. Человек с портфелем глазами искал подкрепления, но оно пришло не скоро. Юрка шепнул растерявшемуся Ване:

— Дергай!

И Ваня «дернул». Через десять минут на глухой, заросшей вербами улице он остановился. Ему казалось, что за ним погоня. Он присмотрелся к уличной дали: там никого не было, а поближе только белая собака перебегала улицу. Собака посмотрела в сторону Вани несколько подозрительно, но, когда Ваня тронулся с места, она поджала хвост и побежала скорее. Денег у Вани было двадцать две копейки, сегодняшняя выручка вся осталась в ящике.

Снова начались дни одиночества и голода. Двадцать две копейки помогли поддерживать жизнь в течение двух дней. Потом стало совсем плохо, а тут еще и небо выступило против Вани. С утра светило солнце, к двум часам собирались черные говорливые тучи, к вечеру проходила над городом гроза: ливень несколько раз с силой обрушивался на город, громовые удары били без разбору, а к ночи начинался тихий дождик и продолжался до утренней зари. Этот порядок установился на целую неделю. Ваня в своей соломенной постели промок в первую же ночь, он думал, что на второй день не будет дождя, и снова промок. На третью ночь он уже побоялся идти ночевать в солому, долго ходил по городу, пережидая дождь в подъездах и воротах домов. Так он добрался до вокзала.

На вокзале стояла тишина. В зале для ожидания только что прошла уборка. Влажный чистенький кафель с опилками, кое-где к нему приставшими, блестел под ярким электричеством, на больших диванах дремали редкие пассажиры. Двое красноармейцев закусывали. Они доставали еду из холщового мешка, стоящего между ними, и еда была вкусная: розовую французскую булку они разломили пополам, разлом этой булки был ослепительно пушистый. Шесть яиц лежало на диване, один из красноармейцев подставил широкое колено, чтобы они не скатились на пол. Другой на газетном листе потрошил и резал селедку. Кусочки селедки красноар-

мейцы осторожно брали двумя пальцами и ели. Ваня сделал к ним несколько шагов, красноармейцы посмотрели на него, один из них ухмыльнулся:

— Выходит, ты голодный?

— Денег... нету.

— Денег нету? Это плохо. Беспризорный, выходит?

— Нет... я еще...

— Ну что ж. Садись с нами, вот сюда.

Ваня сел против них на другом диване. Рядом с ним легла приятная порция: половина французской булки, два кусочка селедки и одно яйцо. Красноармейцы все это разложили перед ним молча, в своем мешке они оба хозяйничали дружно, но обходились тоже без слов, только изредка гмыкали. Стрелок железнодорожной охраны подошел к ним, показал пальцем.

— Этот с вами едет... пассажир?

Красноармеец постарше и посмуглей ответил:

— Пока... видишь, с нами едет.

Стрелок недоверчиво скосил глазом на Ванину закуску:

— Чего-то он мало соответствует.

— Ничего, подходящий. Будет соответствовать.

Стрелок отошел. Красноармейцы даже не переглянулись, продолжали закусывать. До самого конца ужина они не сказали Ване ни слова. Только когда холщовый мешок был завязан и газета с крошками и требухой брошена в сорный ящик, молодой протянул:

— Поужинали, значит.

15. Серебряный гривенник

Ваня здесь, на вокзале, и заснул, сидя на диване. Стрелок не беспокоил его до утра, потому что на противоположном диване сидели красноармейцы. Но утром, когда стрелок все-таки разбудил Ваню, красноармейцев уже не было. Стрелок молча смотрел на Ваню, а Ваня молча догадался, что нужно уходить.

Он побрел к главной улице, ему хотелось посмотреть, что теперь происходит на асфальте возле наробраза, а кроме того, он решил еще раз зайти в спон и поговорить там о колонии Первого мая.

Походка у Вани деловая, но настроение у него плохое: мужчина в споне, который сидит за самым дальним столом, бросает на жизнь довольно мрачную тень. Из магазина вышел мальчик в золотой тюбетейке — Володя Бегунок. И на тюбетейку эту, и на вензель на рукаве, и на живые темные глаза Ваня так загляделся, что даже приостановился у деревянной клетки, ограждающей молодое дерево.

Володя Бегунок держал в руке коробку мази для чистки сигнальной трубы. Стоя при выходе из магазина, он внимательно рассматривал этикетку на коробке. Потом спрятал мазь в карман, но, вынимая руку из кармана, выронил гривенник, который назначен был на обратный трамвай. Гривенник покатился под ноги Вани Гальченко. Ваня быстро наклонился, поднял монету. Бегунок выжидательно посмотрел на Ваню. Ваня протянул ему гривенник. Володя взял и несколько смущенно объяснил:

— Это у меня на трамвай. А то пешком... шагать. Шесть километров.

Ваня улыбнулся из вежливости. Собственно говоря, у Вани есть свои дела гораздо более трудные.

— Шесть километров?

— Там... — Володя показал куда-то, — колония Первого мая.

Ваня, ошеломленный, дернулся к Володе.

— Первого мая?

— Ну да.

— Ты из Первого мая? Ага? — Ваня, не сдерживая радости, засмеялся.
Володя улыбнулся, гордый своим высоким званием.

— Колонист. Видишь, — и форма первомайская.

Володя поднял локоть. На рукаве на бархатном ромбике было вышито: золотым цветом цифра «1», а серебром, через цифру, слово «Мая».

— А мне как раз...

— Ты — беспризорный?

— Нет, я еще не был беспризорный. Я все хочу... И ничего... Никто не отправляет.

Ваня говорил серьезно. Они стояли на середине тротуара, их толкали проходящие. Володя первый заметил это неудобство, нахмурил брови, взял Ваню за руку, потащил в сторону.

— Я тебе так скажу... Там у нас совет бригадиров, так он строгий. Там такие черти, бригадиры! Они скажут: а место где? А еще скажут: почему? А ты пойди в комиссию, называется комонес.

— Был я в комонесе. И в споне был. Везде я был.

— Она не хочет?

— Кто «она»?

— Там женщина такая. Не хочет?

— Она не хочет, а он тоже толкается. Говорит, это для первого сорта — право... нарушителей. А ты правонарушитель?

Володя носком ботинка застучал по выступу цоколя, опустил глаза, улыбнулся:

— Они там такое придумали: правонарушители, а только это буза, понимаешь? Это все равно. И наши так говорят: это неправильно.

Володя на секунду задумался, скучно повел взглядом по улице. Очень возможно, что поднятый вопрос был выше его сил. Брови у Володи оставались еще нахмуренными. Наконец он решительно шевельнул губами, гневно вздернул голову:

— Знаешь, что? Черт с ними! Ты приходи. В субботу. Мы попросим, я моему бригадиру скажу. У меня ох и хороший бригадир Алеша Зырянский! Ты найдешь колонию? Через Хорошиловку нужно.

— Найду.

— А ты эти десять копеек... купи булку.

Ваня взял гривенник.

— А на трамвай? Пешком?

— Вот еще: пешком! С какой стати! Поеду, только я так... бесплатно поеду.

— Без билета?

— Конечно, это нельзя, ну так что ж! Только я с пересадкой: в одном трамвае, потом в другом трамвае, а кондуктор и не увидит.

Ваня улыбнулся.

Володя строго салютнул.

Они разошлись. Ваня считал, сколько дней осталось до субботы, а Володя Бегунок вспомнил дежурного бригадира Воленко и ясно видел, что в колонию нужно идти пешком.

16. Акула Нью-Йорка

Игорь Чернявин рано закончил все процедуры: побывал у врача, в бане, в парикмахерской. В швейной мастерской с него сняли мерку. Воленко объяснил:

— Это для парадного костюма.

В кладовой в присутствии Воленко старик кладовщик выдал Игорю «школьный» костюм, спецовку, ботинки, трусики, тюбетейку и пояс. В бане Игорь переоделся, кое-что осталось у него в руках. Воленко привел его в «тихий» клуб и сказал:

— Здесь побудь до пяти часов. В спальню я тебя не могу допустить, потому что нет дома восьмой бригады — все заняты. А в обед им некогда с тобой возиться.

Игорь не был утомлен процедурами, его ничто не раздражало, а суховатая сдержанность дежурного бригадира даже немного импонировала ему. И, может быть, поэтому распоряжение Воленко его неприятно удивило:

— Я должен здесь сидеть? И не могу выйти?

— Почему? Ты можешь выйти. Только на второй этаж и в другие здания тебя еще не пустят, потому что ты еще не принят бригадой. Ты новенький, тебя никто не знает.

— Но я уже в колонистском костюме!

— Это ничего не значит. Ты здесь посиди до обеда. А после обеда пойдем в школу, там тебя проэкзаменуют.

Воленко ушел. Игорь сложил спецовку на диване и решил познакомиться с «тихим» клубом.

«Тихий» клуб представлял собой большой, красиво расписанный зал. У его стен проходил такой же бесконечный диван, как и в комнате совета бригадиров. В одном месте, в узком конце зала, диван прерывался, здесь находился небольшой помост, устланный ковриком. На помосте на мраморном пьедестале стоял бюст Сталина, и вся стена в этом месте была украшена портретами и картинами из жизни Сталина. В других частях зала тоже были портреты и картины. Игорь долго ходил и рассматривал их. Ему понравилось, что все в зале было сделано красиво и основательно: все портреты и картины были в дубовых рамах, под стеклом. Пол в «тихом» клубе был паркетный, вероятно только сегодня его натерли. Кое-где возле дивана стояли дубовые восьмигранные столики, а вокруг них полумягкие стулья.

На одной из продольных стен Игорь увидел длинный ряд небольших портретов. Были здесь изображены и пожилые, и молодые люди, и пацаны. Игорь легко узнал среди лиц, изображенных на портретах, лицо Воленко, все остальные были незнакомы.

Рассматривая все это, Игорь дошел до большого зеркала. В бане он переоделся в костюм, который Воленко называл школьным, но Игорь еще не видел себя в зеркале в этом костюме. Сейчас на него смотрел румяный молодой человек, узкий черный ремень туго стягивал поясок суконных

брюк навыпуск, темно-синяя плотной материи блуза была заправлена в брюки, ее воротник не имел пуговиц и широко раскидывался, открывая шею. Все это Игорю понравилось. Жаль только, что нижняя сорочка без воротника и ничего беленького нельзя выпустить. Жаль еще, что его остригли под машинку: голова Игоря была немного торчком и остриженная казалась чуть-чуть глуповатой. Но Игорь видел, что многие колонисты носили прическу, прическа была и у Воленко, значит, это здесь можно.

Игорь любил свое лицо. Больше всего ему нравились в нем постоянная склонность к ехидной улыбке и чистый блеск небольших, немного прищуренных глаз. Но сейчас что-то изменилось в его лице, хотя оно оставалось таким же приятным. Может быть, оно стало серьезнее, может быть, удивленнее? Игорь разобрать хорошо не мог. А все-таки в нем было что-то новое.

Игорь уселся на диван и задумался. Очевидно, придется ему жить в этой колонии им. Первого мая! Сколько времени? Год, два, три? Уходить отсюда еще не хотелось. Он провел два года «на свободе». Деньги доставались легко, попадались хорошие знакомые, но как-то так получалось, что радости от всего этого было мало. Кино, конфеты, колбаса давно перестали его удовлетворять. Больше всего надоела бездомность. Ночевки на вокзалах, в соломе, в ночлежках, в притонах были одинаково отвратительны. Самые лучшие костюмы, которые он покупал при удаче, очень быстро обращались в паскудную рвань.

Получалось несолидно. В такой же рвани щеголяло большинство, как он, «свободных» людей. Это некрасиво, это ни в какой мере не напоминало той элегантной, блещущей остроумием и удачей жизни, которая так притягательна в американских кинофильмах. Игоря раньше привлекал этот бесшабашный задор, блеск таланта и смелости, благородная борьба с сыщиками, такими же джентльменами, такими же элегантными и смелыми. Черт его знает, в жизни получалось совсем не так. Игорь мог проделывать захватывающие дух операции, но никакие сыщики против него не выступали. Обыкновенный стрелок в полном вооружении или милиционер в своей шинели один вытаскивал с вокзала или из ночлежки целую кучу таких акул Нью-Йорка. А потом нужно было разговаривать с Полиной Николаевной и ловить какого-то безобразного и, в сущности, невинного козла. Эта жизнь не обнаружила в себе ни одной привлекательной черты. Не было никаких преследований на автомобиле, завещаний, таинственных писем, трюков, блондинок с револьвером, направленным на человека в маске. Ничего не было, кроме американской мечты. Игорю сейчас не хотелось возвращаться в этот мир приключений.

А что здесь, в колонии? Как пойдет жизнь? Ему выдали спецовку, обязательно заставят работать. Он ничего не имеет против честных трудовых рук. Но сам он никогда ничего не делал, и работать ему не хотелось. А здесь, вероятно, гордятся: вот мы работаем! Надо все-таки разбираться: одному нравится, другому не нравится. Игорю не нравилось. Впрочем, можно будет попробовать. Черт его знает, может быть, из него и выйдет какой-нибудь токарь. С другой стороны, его заставят и в школу ходить. Заведующий этот, Захаров, конечно, дока. Игорь не возражал против образования, особенно против высшего образования. Но ему и раньше не нравилось учиться, не нравилась добродетельная скука учителей, их мелочная придирчивость.

Не нравилась и беспорядочно-шумная, желторотая толпа школьников.

Игорь думал долго, но не пришел ни к каким решениям. Впереди все оставалось открытым. Самым открытым был вопрос о матери. К этому вопросу Игорь давно не возвращался, так слабо его тянуло пробираться к этому страшному вопросу сквозь дебри расстояний и противоречий. Вопрос о матери — это вопрос какого-то, черт его знает, отдаленного будущего, но, пожалуй, мать была бы рада, если бы он приехал к ней в гости в парадной форме колониста и на пороге отдал сдержанный строгий салют. Это у них шикарно. Но взгляд его упал на спецовку, мирно лежащую на диване; спецовка пахнула очень сложным и скучноватым будущим.

Какие бывали блестящие, захватывающие дни, полные опасности и остроты! Бывали. А сегодня что? Он сидит в этой красивой клетке, и его стережет с винтовкой в руках какой-то сопливый Петька Кравчук. Хорошенькая акула Нью-Йорка! Эту акулу сегодня будут просто потрошить школьными перочинными ножиками.

Игорь сумрачно встретил дежурного бригадира Воленко, который пришел звать его обедать.

17. Приятный разговор

После обеда Игорь Чернявин был в школе. Его принял старик учитель. Или он здесь назывался как-нибудь иначе?

Учительская была красивая, большая и тоже с огромными окнами. Но здесь были приспущены тяжелые гардины и на полу лежали ковры. Старик учитель выбрал для разговора затененный угол, где стояли большой диван, два кресла и маленький столик.

Учитель Игорю понравился. Пиджак его застегнут на все пуговицы, очень чистый воротник рубахи, щеки гладко выбриты и седые усы привычно-умело, несколько даже кокетливо подкручены. Он напоминал Игорю профессора из американской картины. Больше всего понравился вежливый склад речи учителя. Он сказал:

— Вы Игорь Чернявин? Я вас жду. Садитесь, прошу вас.

Он тронул рукой спинку кресла, а когда Игорь сел, он расположился рядом с ним на диване и, немного склоняясь вперед, сказал:

— Меня зовут Николай Иванович. Надо с вами выяснить. Алексей Степанович говорил мне, что вы окончили семь групп, но это было, вероятно, давно: некоторые жизненные обстоятельства, так сказать, мешали вам.

Он остановил взгляд на Игоре с молчаливым вопросом. Игорь сидел прямо в кресле, сложа руки на коленях, внимательно слушал.

— Да, я два года не занимался.

— Скажите, пожалуйста, товарищ Чернявин, вы хорошо учились?

— Иногда хорошо, иногда плохо.

— Я думаю, это зависело от разных посторонних причин, способности вам не мешали?

— Да, у меня были способности...

— Разрешите, я вам предложу кое-что написать. Очень важно узнать, как у вас с грамотностью. Пожалуйста. Вот вам бумага, чернила и перо.

Что бы вам такое предложить? Ну вот, если вы не возражаете? Напишите коротко, очень коротко — вы ведь из Ленинграда? — напишите, что вам больше всего нравится в Ленинграде — улицы, мосты, может быть, парки. Это вы можете?

— Да, попробую.

— Пожалуйста, а я займусь своим делом.

Николай Иванович улыбнулся, чуть-чуть кивнул головой и присел за большим столом посреди комнаты. Игорю понравилась тема. Действительно, Ленинград было чем вспомнить. Игорь часто думал о родном городе и грустил. В Ленинграде живет мать... Да и вообще Ленинград — шикарный город, больше всего соответствующий его вкусам.

Через полчаса Игорь вручил Николаю Ивановичу исписанный лист. Николай Иванович достал большие черные очки и, вытянув губы, стал читать работу Игоря. Прочитал один раз, улыбнулся, прочитал второй раз.

— Очень хорошо. Очень грамотно и интересно. Одна ошибка, и то незначительная: колонна пишется через два эн.

— Разве?

— Да, через два, но этого в седьмом классе вы могли и не знать. А вот с математикой как?

Игорь покраснел. Ничего не ответил. Так же вежливо Николай Иванович попросил Игоря разделить дробь на дробь. Целую минуту Игорь рассматривал написанное выражение, но карандаша в руки не взял.

Николай Иванович от своего стола посмотрел на Игоря через плечо.

— Что же вы? Забыли?

— Забыл. Представьте себе, совершенно забыл.

Игорь поднялся с кресла. Он мог тоже показать пример вежливости.

— Я не буду больше затруднять вас, Николай Иванович. Писать я могу, а все остальное забыл, алгебру забыл, биологию, всякую политику. Я думаю, что... мне уже поздно учиться.

Николай Иванович зашарил по карманам, нашел очки на столе, надел их и сквозь очки посмотрел удивленно на Игоря:

— Как вы странно говорите, товарищ Чернявин! Как это можно так говорить? Какая там особенная премудрость! Забыли, это вполне естественно. Будем вспоминать. Да садитесь, чего вы вскочили.

Он снова усадил Игоря в кресло, придвинул стул, сел прямо против него и, поглаживая свои колени, поглядывая вкось на яркие окна, заговорил:

— Я вам предложу такую программу. Учебный год кончается. Сейчас нет смысла зачислять вас в школу. Мы сделаем просто: запишем вас на следующий год прямо в восьмой класс. Только летом нужно будет позаниматься. Я вам очень советую. У вас хорошие способности, нужно учиться. Вы согласны со мной?

— Я мог бы согласиться с вами. И даже... я вам благодарен, понимаете? Но, может быть, я не останусь здесь до осени. Может быть, мне в колонии не понравится.

— То есть... вы уйдете из колонии?

— Да.

Николай Иванович посмотрел на него поверх очков:

— Куда же вы уйдете?

— Там будет видно куда.

— У нас никогда не было случая, чтобы уходили. Отсюда может уйти только очень глупый, совершенно запущенный субъект. Я уверен, что вы не уйдете, товарищ Чернявин.

Этот старик, на румяных щеках которого уютными завитками шевелились седые усы, был просто прелесть. Он говорил с живым огоньком в глазах, иногда делал паузу, чтобы найти более точное выражение, и в это время его глаза быстро бросались в сторону. Он не просто болтал, он задумывался, соображал, но все это выходило у него без натуги и очень симпатично. Главным образом он говорил о значении образования, о том, какие пути лежат перед молодым человеком в Союзе, какое достоинство заключается в том, чтобы идти по этим путям, как растет личность человека в учебной работе. Он думал сейчас об Игоре Чернявине, и ни о ком другом. Он уважал Игоря Чернявина и с особым удовольствием высказывал это уважение. И именно поэтому Игорь не захотел покончить с ним разговор как-нибудь формально, хотелось и самому с такой же искренностью и честным вниманием отнестись к собеседнику. И Игорь сказал:

— Николай Иванович! Я не привык работать. Я никогда не работал.

Николай Иванович спокойно улыбнулся:

— Да, это может быть. Вы еще так мало жили, и привычек у вас мало.

— А если не привыкну?

Николай Иванович скрестил на животе пальцы и добродушно рассмеялся:

— Почему же? Это такая приятная привычка.

— Приятная?

— А как же? Очень приятная. Я вот работаю сорок лет, и, знаете, мне до сих пор нравится.

— Ну да, так вы учитель!

— О, пожалуйста! Если вы хотите быть учителем, это очень хорошо. Но многие думают, что труд учителя самый неприятный. Это, конечно, чепуха. Всякий труд очень приятная вещь. Вот вы увидите.

— Попробую, — сказал Игорь и снова поднялся.

— Попробуйте. Вам здесь помогут. У нас хорошие ребята.

— Спасибо, Николай Иванович.

— Все-таки, когда вы можете начать подготовку?

— С первого июня?

— Хорошо. Давайте с первого июня. Я вас запишу.

Игорь поклонился Николаю Ивановичу. Николай Иванович радушно, внимательно ему ответил. Володи Бегунка здесь не было, и некому было скалить зубы по поводу обычной вежливости двух воспитанных людей.

Игорь шел по двору и беспомощно оглядывался. Ему захотелось, до зарезу захотелось встретить что-нибудь такое, что его возмутило бы, вызвало бы злобу, протест, или хотя бы такое, над чем подмывало бы пошутить. Нельзя же в самом деле: с утра, с самого утра он был предоставлен самому себе, а против него стояла непонятная, уверенная и вежливая сила. В пять часов он будет принят бригадой. Неужели и бригада с таким же спокойствием будет его обрабатывать?

18. Разговор, не для всех приятный

В пять часов в «тихий» клуб пришел Воленко в сопровождении высокого массивного юноши с лицом чрезвычайно добродушным, какие бывают только у очень мягких, покладистых людей.

Воленко сказал:

— Товарищ Чернявин! Это твой бригадир Нестеренко.

Только теперь Воленко позволил себе некоторую шутливость тона и движения. Он немного иронически повел рукой и взглядом:

— Сдаю его в полном порядке: остриженный, чистый и вполне оборудованный. Спецовка вот лежит. Парадный костюм заказан. Пожалуйста!

Видимо, Воленко надоело уже возиться с Чернявиным, и он с облегчением передавал новичка бригадиру. Бригадир, понимая это, с такой же сдержанной игрой склонился перед дежурным:

— Очень благодарен, товарищ дежурный. Вы понимаете, следующий раз и я вам приготовлю.

Воленко отдал салют и удалился.

В этой церемонии, торжественной и чуть-чуть шутливой, Игорь почувствовал большую теплоту. Не вызывало сомнений, что Воленко и Нестеренко были очень дружны между собой, а сейчас в шутливых, чуть-чуть церемонных поклонах они что-то играючи подчеркивали. Нестеренко в этой игре вовсе не казался уже таким добродушным. У него был симпатичный голос, мягкого баритонного оттенка, но слышно было, что этим голосом он умеет владеть. В его обращении был небольшой привкус замедленного, украинского юмора. Но ту же выправку, какая была у Воленко, Игорь заметил и у Нестеренко.

Впрочем, как только ушел Воленко, Нестеренко оставил всякую игру.

— Ты назначен в восьмую бригаду. Бригада сейчас в сборе. Пойдем.

Он направился к двери. Игорь остановил его:

— Товарищ бригадир!

— Что такое?

Игорь взял в руки свою спецовку, так же, как и во дворе, беспомощно оглянулся на окна, не вытерпел, растянул в улыбку свой ехидный рот:

— Товарищ бригадир, вы учитесь?

— В школе?

— Да, в школе учитесь?

— Во-первых, учусь в десятом классе. А во-вторых, не называй меня на вы, товарищем бригадиром. Это у нас не нужно. Меня зовут Васей.

— Разве? А я слышал, как обращаются к Воленко: товарищ дежурный бригадир!

— Это другое дело. Дежурный бригадир — у нас большая власть. Он ведет день. Если он в повязке, с ним без салюта нельзя разговаривать.

— А зачем это нужно?

— Видишь ли?.. Вот с тобой сегодня сколько он повозился? Ты заметил? Сколько у него дела! Если каждый будет с ним рассусоливать, так он ничего не успеет. А кроме того... какие же могут быть споры с дежурным?

— А с тобой можно спорить?

Нестеренко пожал плечами:

— Со мной, конечно, можно. Только у нас это не в моде.

— К тебе не нужно с салютом?

— Иногда нужно. Потом узнаешь. Идем, бригада ждет.

Они прошли мимо часового (стоял уже другой) и поднялись по лестнице между цветов. На втором этаже проходил такой же светлый коридор, только здесь на полу был не кафель, а паркет, он так же блестел, как и в «тихом» клубе. Они остановились у двери, на табличке которой было написано:

8-я бригада

Нестеренко взялся за ручку двери, но раньше, чем открыть ее, он объяснил:

— У нас две спальни по восемь человек. Вторая спальня рядом.

Спальня была большая. В ней стояло восемь кроватей, добротных, красивых, окрашенных розовато-желтой краской. На кроватях лежали одеяла вишневого цвета. Все постели находились в идеальном порядке. На кроватях никто не сидел, никто даже не стоял рядом. Больше десятка мальчиков собралось вокруг большого стола. У стены Игорь заметил диван, очень длинный и тоже, видимо, имеющий претензию быть бесконечным, — очевидно, такие диваны в колонии любили.

При входе Игоря и Нестеренко все повернули к ним головы. Нестеренко остановился у дверей и сказал несколько торжественным голосом, в котором Игорь все же услышал оттенок сдержанной шутливости:

— Принимайте нового товарища. Рекомендую: Игорь Чернявин.

Все задвигали стульями, но не встали, а еще плотнее уселись за столом, заботливо оставляя рядом два места для вошедших. Нестеренко сел на один стул, хлопнул рукой по другому, приглашая Игоря:

— Садись.

Все вдруг притихли и с интересом ожидали, что будет дальше. Глаза у Нестеренко вспыхивали иронически:

— У нас такой обычай: когда приходит новенький, вся бригада собирается и бригадир знакомит. Так у нас в колонии пошло издавна, годков пять тому будет. И в это время бригадир должен всю правду сказать о товарищах, как он думает, брехать нельзя. Когда и ты, Чернявин, будешь бригадиром, тоже так будешь делать. Так вот видишь, они на меня и смотрят, потому знают: пощады не будет.

Все это Нестеренко говорил не спеша, добродушно, чуть-чуть окая и растягивая слова.

— Да начинай уже, Василь, довольно мучить!

Это сказал самый младший в бригаде, беленький мальчик лет четырнадцати, с тем аккуратным, чистеньким и умным лицом, какие часто бывают у природных отличников по учебе.

— Рогову невтерпеж, знает, что ругать буду.

— Ругай, только, пожалуйста, скорее.

— И еще у нас обычай, никто не должен спорить и обижаться. Какое бы слово ни сказал бригадир — каюк! А новенький, вот, скажем, ты, Чернявин, не должен воображать, а должен учиться, как правду говорить и как правду слушать нужно. Понимаешь?

Игорь Чернявин даже рот приоткрыл, и его лицо потеряло последнее выражение остроумной ехидности[17].

Нестеренко начал. Он показал на взрослого юношу, которому было не меньше восемнадцати лет. У него был низкий лоб и жесткие волосы, не признающие никакого пробора. Лицо расплывчатое, губошлепистое, а в то же время и энергичное в движении, боевое.

— Это Миша Гонтарь, слесарь по ремонту, хороший слесарь, только в школе учиться не хочет. Дошел до пятого класса, а теперь выдумал, что он уже ученый. Сдурел, приходится силой заставлять. Товарищ он хороший, прямо скажу, хоть бы и все были такие товарищи, а только неряха — никакого спасения. Ты у него с этой стороны ничему не научишься доброму. Куда ни повернется, или поломает что-нибудь, или набросает, пойдет и забудет. Ему каждый день бриться нужно, а он три дня не брился. А живет в детской колонии... Через него наша бригада по чистоте никак не может на хорошее место выйти, а бригада хорошая. Он как наденет спецовку с утра, да еще в цехе задержится, известно — слесарь по ремонту, так и в столовую в спецовке прется, а там, конечно, ДЧСК скандал устраивает, и все на бригаду. Видишь? Если Миша дежурит по бригаде, так мы к нему буксир назначаем, как к маленькому. Еще у него недостаток: строя не любит, в ногу ходить не умеет, да и костюм парадный на нем сидит, как на сундуке. Это нам, всей бригаде, конечно, очень грустно, потому что, собственно говоря, пустяк, а он никак не справится. А слесарь он хороший и товарищ тоже. Добрый и работать любит, самые пустяки остались, чтобы человеком стать. Он хочет шофером стать, а каждый шофер образованный человек должен быть. А теперь еще у него новая напасть: влюбился. Как же ему можно влюбляться, когда прическу ему всей бригадой делаем — сделать не можем.

Нестеренко все это проговорил сочно, основательно, поглядывая на товарищей, а товарищи смотрели на Мишу. Очевидно было, что в характеристике Миши все с бригадиром согласны, пожалуй, согласен и сам Миша. Он даже не протестовал против информации о влюбленности.

— Теперь дальше: Петр Акулин.

Петр Акулин не улыбнулся. Как сидел боком, так и остался сидеть. У него было худое простецкое лицо, покрытое густым деревенским румянцем. Казалось, что лицо это не способно к улыбке.

— Акулин у нас лучший токарь в колонии и в восьмом классе лучше всех учится. И аккуратист, и дисциплину знает, и комсомолец первый сорт. Будет летчиком по прошествии времени. Само собой, будет. Только корзину у нас каждый имеет, и у него есть корзина. И никто никогда не запирает, такого обычая нет в колонии. Акулин же три дня назад замок повесил, — некрасиво. Либо ты воров боишься, либо тайну какую собираешься завести, кто тебя знает, а только замки в колонии заводить не следует. Другое дело на заводе, государственное имущество должно быть заперто для порядка, а в бригаде товарищи живут, к чему здесь замок?

Акулин не обернулся к Нестеренко, одну руку положил на спинку соседнего стула, сказал невыразительно, тихо:

— Я не от товарищей замок...

— Знаем. Думаешь, у нас место свободное, новенького пришлют, а он к тебе в корзинку полезет. Конечно, полезет, если замок висит. А зачем так думать: как новенький, так и вор. Мало ли чего там у каждого было — в старой жизни! Чернявин тоже новенький, видишь, сидит с нами, так и по нему ж видно: он к товарищу в корзинку не полезет.

Акулин убрал руку со спинки стула, прохрипел:

— Сниму.

В бригаде, притаившейся в ожидании, как будто все вздохнули. На самом деле не вздохнули, а просто пошевелились.

— Дальше: Александр Остапчин — помощник бригадира восьмой бригады трудовой колонии им. Первого мая.

Уже по тому, как торжественно произнес бригадир название должности Остапчина, можно было заключить, что Остапчина в бригаде любят и относятся к нему немножно насмешливо. И сам Александр Остапчин, услышав свою фамилию, мигнул, повернулся к бригадиру, положил голову на кулаки, поставленные один на другой. У Остапчина большие карие, красивые глаза, чуть-чуть подернутые веселой, маслянистой влагой.

— Совсем человек как человек — и токарь неплохой, и в десятом классе, и помбригадира, и прочее. Настоящий человек, а только одна беда: трепач. Ох, и трепаться же любит, прямо хлебом не корми, а дай поговорить. И хоть бы дело говорил, а то язык говорит, а он за языком бегает, остановить не может и на правильную линию пустить тоже не может. И по сторонам не смотрит: свой, чужой, совсем посторонний — ему все равно; он говорит и непременно загнет куда-нибудь. Всей бригадой удержать не можем. Мечтает: прокурором буду. Так разве можно, чтобы прокурор за собой не смотрел? Прокурор если что скажет, так все к делу, да перед этим два раза подумает. А нашему Александру всегда нянька нужна, чтоб его за полы хватала.

Остапчин не смутился, не обиделся, его глаза по-прежнему смотрели на Нестеренко, улыбались дружески, но в какой-то еле заметной степени и нахально. Он как будто был даже доволен, что у него есть такой интересный недостаток, и тоном полудетского каприза возразил:

— А что я такое когда говорил?

— А помнишь, приехала к нам женщина из Наркомпроса. А ты ей такого натрепал, что она чуть не плакала.

— Правду говорил.

— Правду? Правду говорить тоже к месту нужно. Она приехала познакомиться с нашей жизнью, может, и поучиться хотела, значит, у нее где-то там натерло, а ты речь... прямо с горы: ничего вы, наркомпросовцы, не понимаете, все путаете, даром хлеб едите. Она потом спрашивает, кто это такой? А я ей, конечно, ответил: не обращайте внимания, так себе, новенький, еще не отесался.

Колонисты расхохотались. Остапчин смущенно отвернулся, но глаза его даже в этот момент не потеряли своей влажной улыбки.

— Санчо Зорин, во! Он — сам видишь, какой!

И действительно, Санчо был виден, как бывает виден насквозь ясный апрельский день. Услышав свое имя, он немедленно взобрался с ногами на стул. А бригадир сказал ему с добродушной строгостью:

— Чего ты с ногами на стул залез? Чернявин, он назначается твоим шефом, давно тебя ждет. Будет твоим шефом, пока ты получишь звание колониста. Будет тебя всему учить и на общем собрании докладывать на звание колониста. Человек он горячий, а только не всегда справедливый бывает. Если ему вожжа попадет под хвост, так никакого удержу нет. Ты на это не обращай внимания.

Игорь кивнул и засмотрелся на Зорина. А Зорин уже кивал ему, и моргал, и всем лицом рассказывал о чем-то. Лицо у него было острое, живое, быстрое. В течение одной секунды он успевал отозваться на все впечатления, всем ответить и у всех спросить. И сейчас каким-то чудом он успел показать бригадиру, что он благодарен ему за правду и постарается поменьше горячиться, что он видит любовь к себе всей бригады и отвечает ей такой же любовью, что он поможет Чернявину сделаться хорошим колонистом и что Чернявин не должен робеть. Это лицо больше рассказывало о Зорине, чем мог о нем рассказать бригадир.

Нестеренко перешел к другим, их было еще шесть человек, все юноши шестнадцати — восемнадцати лет. Нестеренко всех их признал хорошими мастерами, прекрасными товарищами и колонистами, но в каждом отметил и недостатки, отметил в упор, улыбаясь сдержанно, выбирая и округляя слова, но в то же время не скрывая и досады, требовательной и въедливой. Лиственному Сергею он приписал слишком большую любовь к чтению, послужившую причиной того, что Лиственный ходит «как сумасшедший». Широкоскулому, белобрысому, нескладному Харитону Савченко — вялость характера. Борису Яновскому, кучерявому брюнету, — наклонность к запирательству и брехне. Всеволоду Середину — пижонство, Данилу Горовому — неуязвимость характера и излишнее хладнокровие.

Все слушали бригадира молча, никто ничего не возражал, но когда он кончил, все загалдели, засмеялись, напомнили друг другу самые вредные детали характеристик и напали даже на Нестеренко с разными дополнительными вопросами. Но Нестеренко не долго их слушал:

— Чего крик подняли? Дайте же кончить. Познакомьтесь вот с Чернявиным, забыли, что ли?

Александр Остапчин закричал:

— Ты про нас можешь рассказывать, а про себя ничего не сказал? Когда я буду бригадиром, я про тебя расскажу.

— Вот я и подожду, когда ты будешь бригадиром, тогда и про меня скажешь, хотя я так полагаю, что ничего умного не скажешь. Принимайте Чернявина!

— Да уж приняли! Чернявин, руку! — Остапчин размахнулся своей рукой. — Санчо, довольно тебе там, бери человека в работу Смотри, какой хороший материал для комсомольца.

Все посмотрели на Игоря, и этим моментом Игорь воспользовался:

— Синьоры! Вы понимаете, я очень благодарен вам, что приняли меня к себе. Только вы понимаете... про вас вот товарищ бригадир все рассказал, а про себя я сам должен рассказать, правда?

Кое-кто улыбнулся. Акулин посмотрел подозрительно, Гонтарь с осуждением, Нестеренко сказал:

— У нас нет такой моды, чтобы новенький о себе рассказывал. Да тебе и нечего рассказывать. Какой ты человек, мы и сами увидим. А кроме того, не нужно говорить «синьоры». Понял?

— Понял, товарищ бригадир, виноват, товарищ Нестеренко.

— Иди сюда, Чернявин, — Санчо Зорин ожидал его в углу комнаты. — Вот твоя кровать, вот твоя тумбочка, все хозяйство. Мыло и зубной порошок получишь у помощника бригадира Остапчина. Два дня будешь отды-

хать[18], а потом за дело. Вечером я тебе что-нибудь расскажу. Ты в каком классе будешь?

— В восьмом.

— Здорово. И я в восьмом. А вообще — ты свободный гражданин! Куда хочешь!

Санчо широким жестом показал на окно. За окном было поле, а на самом горизонте виднелись постройки города.

19. Он еще сырой

Вечером Игорь Чернявин заснул не скоро. Постель была свежая, прохладная, чистая, такая постель была у него только тогда, когда он жил еще дома; заснуть в такой постели показалось ему высшим блаженством. В эту минуту ему хотелось выразить кому-то благодарность и за эту постель, и за чистое белье, и за новый симпатичный костюм, и за узкий черный пояс. Кого только благодарить? Алексея Степановича? Воленко? Восьмую бригаду? А может быть, просто Советскую власть? Но о Советской власти Игорь Чернявин имел самое сложное представление. От школы остались чисто словесные образы, от Ленинграда — неясное, забытое ощущение детства, зато в «вольной» жизни Советская власть вспоминалась — власть строгая, требовательная и настойчивая: милиционеры, стрелки, воспитатели в приемниках, люди в белых халатах. Изо всей Советской власти наиболее покладистым и безобидным существом была Полина Николаевна, но он вспоминал ее остренькое и умненькое лицо с острой неприязнью. А здесь, в колонии, он ощущал Советскую власть очень сложно, в непонятном, густом экстракте; трудно даже было разобрать, где она находилась. Конечно, Алексей Степанович, конечно, Николай Иванович. Но Санчо только что рассказывал: все эти дома наново построены на чистом поле. Все сделано наново: и цветники, и зеркала, и паркет. Санчо говорил: ничего старого, все Советская власть сделала. И по словам того же Санчо выходило, что Советская власть — это не только Алексей Степанович и учителя, но еще и они, все колонисты. Санчо так и говорил: мы сделали, мы купили, мы решили, мы постановили. Выходит так, что и сам Санчо Зорин тоже Советская власть. И Володя Бегунок!

Да... Хитро придумано: восьмая бригада даже корзинок запирать не хочет — фасон! А, черт возьми, действительно хитрый фасон, ни за что в чужую корзинку после этого не полезешь. Рыжикова бы сюда, интересно посмотреть, как он эти корзинки обчистит? Разумеется, Рыжиков — дрянь, это и говорить нечего. А все-таки здесь они здорово спелись. Сидит Алексей Степанович в кабинете, и не видно его, а кругом начальство; даже этот лобастый Петька тычет нахальными глазенками в щетку и требует — вытирай! Всякие у них обычаи, фасоны, и все это только для того, чтобы свободному человеку, Игорю Чернявину, заморочить голову.

Игорь согласен, что и кровать на сетке, и свежая простыня, и пододеяльник — хорошие вещи, но Игорь понимает и другое: такими хорошими вещами покупается покорность, особенно если человек попадается жадный на все эти удовольствия. И папаша, вероятно, на это рассчитывал, однако у папаши не вышло. Что же? Можно поспать и в хорошей постели, пускай,

но посмотрим, чем это кончится. Вот, например, работать. Николай Иванович говорит: приятная штука. А если неприятная? Ему хорошо в чистом костюме поучать там... в классе. А если они заставят доски строгать, покорно благодарю, синьоры! Допустим, не захочу. Выгонят? Интересно. Какой позор для трудовой колонии Первого мая! Одного человека — Игоря Чернявина, не какого-нибудь там бандита, а скромного интеллигента и джентльмена не смогли заставить работать. Не справились! Интересно, как они будут выгонять? Игорь Чернявин представил себе расстроенные физиономии восьмой бригады. Ох, как им будет досадно! Сколько они здесь нахитрили, вежливость какая, простыни какие, «обычаи», а купить не купили. Игорь Чернявин может прожить и без их досок. Он вспомнил некоторые свои самые остроумные комбинации. Сколько в них было вдохновения, привлекательных, забавных, неожиданных поворотов! Никакие свежие постели с ними сравняться не могут, потому что в этих поворотах — свобода.

Все-таки Игорь счастливо потянулся, вкусно свернулся калачиком и заснул, так и не разрешив противоречия приятных вещей и неприятных, хотя и гордых, мыслей.

Когда утром он открыл глаза, было уже светло. Перед этим ему снились надоедливая трубная музыка и пожар. На пожаре было много огня, шума и треска, Игорь в какой-то толпе куда-то спешил, а в уши бил настойчивый, звонкий голос:

— Слышишь? Слышишь?

Игорь открыл глаза. Перед ним стоял беленький, чистенький Рогов и звенел:

— Слышишь, Чернявин, вставай!

Рогов увидел открытые глаза Игоря и повторил уже спокойнее:

— Вставай, сейчас уборку начнем.

Другие колонисты восьмой бригады чуть-чуть суматошились, входили и выходили с полотенцами, убирали постели, взбивали подушки. Рогов мотался по спальне с белой тряпкой в руках, вытирал пыль. Он прыгал от стульев к подоконникам, заглядывал в тумбочки, подскакивал к верхней перекладине дверей, продевал руку за батареи отопления, возился у портретов, потом застыл у какой-то кроватной ножки. Игорь закрыл глаза; хороший, счастливый, теплый сон снова к нему возвратился...

— А чего этот спит?

Игорь узнал голос Нестеренко и глаз не открыл.

— Ты будил его, Рогов?

— Да, будил. Он же проснулся!

Игорю стало интересно, что эти представители Советской власти будут делать, если он не встанет? Вот просто не встанет, да и куда ему спешить? Даже по здешним «обычаям» он два дня не должен работать. Он снова услышал над собой голос Нестеренко:

— Чернявин!

Помолчал и опять:

— Чернявин!

Сильная рука легла на его плечо, плечо заходило взад и вперед. Игорь открыл глаза:

— А что?

— Давно сигнал был.
— Какой сигнал?
— Сигнал «вставать»! Тебе вчера Санчо объяснял?
Игорь повернулся на спину, улегся поуютнее, показал бригадиру свою широкую ехидную улыбку:
— Объяснял, да я не все разобрал!
— Так вот я тебе говорю: был сигнал «вставать»!
— Это несущественно, товарищ!
Нестеренко вытаращил на него большие свои серые глаза, полные удивления. Рогов натирал пол и подскочил к ним на босой ноге. Наконец, Нестеренко нашел слова, нашел с таким замедлением, что у Игоря даже смех начал срываться.
— Что ты там мелешь? Смотри: несущественно! Сейчас поверка будет!
Игорь повернулся на бок и руку подложил под щеку:
— Это тоже малосущественно.
В спальню влетел Санчо Зорин и закричал:
— Товарищ бригадир! Уборка нижнего коридора сдана мною на ять!
Но бригадир находился в таком недоумении, что не услышал рапорта; он сказал Игорю грубоватым голосом:
— А это будет существенно, если я тебя поясом потяну?
Игорь ответил спокойно:
— Это будет существенно, но незаконно.
— Ах ты, панское зелье!
Одеяло и пододеяльник куда-то полетели с Игоря. Ничем не прикрытый, он почувствовал себя в смешном положении и хотел уже вставать, но снаружи долетели звуки нового сигнала. Рогов соскочил со своей щетки и вскрикнул:
— Ой, лышенько! Уже поверка!
Он бросился к ботинкам. Все колонисты завертелись перед зеркалом, поправляя прически, сегодня они были как один одеты в школьные костюмы. Игорь знал, что вся бригада до обеда работает в школе. Приведя себя в порядок, все спешили занять место на свободном участке спальни — выстраивались в просторный ряд. Нестеренко беспомощно оглянулся, Санчо подбежал к нему:
— Да закрой ты его, ну его к черту! Сегодня Клава дежурит!
— Клава? Ну, что ты скажешь!
Нестеренко набросил одеяло на Игоря. Сообщение о Клаве и Чернявина привело в ужас. Оказаться перед девушкой в одном белье! Поэтому он охотно подхватил одеяло и закутался с головой, но оставил щель, чтобы видеть.
Нестеренко быстро обошел спальню, потрогал пальцем подоконник, заглянул под кровать, спросил:
— Санчо, не знаешь, Алексей будет на поверке?
— Алексей спозаранку в город уехал.
Из коридора влетел Рогов, шепнул: «Поверка идет!», стал на свое место в ряду. Открылась дверь, Нестеренко громко скомандовал:
— Бригада, смирно! Салют!
Игорь увидел, как ряд колонистов вытянулся, повернул головы к дверям, поднял правые руки. Нестеренко стоял отдельно против двери. Сияя золо-

том тюбетеек, вензелями на рукавах, белизной широких воротников, вошли невысокая девочка лет пятнадцати-шестнадцати и мальчик гораздо моложе ее. За ними голоногий Володя Бегунок с трубой, в парусовке, направил любопытные, загоревшиеся глаза на необычную фигуру в постели.

У дежурного бригадира Клавы Кашириной очень хорошенькое, нежное, немного полное лицо, темно-русые кудри из-под тюбетейки и ясные, хоть и небольшие, серые глаза. Она, очень серьезная, строго стояла перед высоким Нестеренко и смотрела на него вверх из-под чистенькой, розовой руки.

Нестеренко сделал шаг вперед:

— Товарищ дежурный бригадир! В восьмой бригаде трудовой колонии им. Первого мая все благополучно. Не поднялся к поверке Чернявин!

Клава бросила быстрый, по-женски лукавый взгляд на лежащего Игоря и сказала замечательно красивым, высокого серебряного тона голосом:

— Здравствуйте, товарищи!

Шеренга дружно ответила ей:

— Здравствуй!

И после этого шеренга разрушилась. Заговорили, засмеялись. Центральной фигурой сделался вдруг мальчик в повязке с красным крестом — ДЧСК — дежурный член санитарной комиссии. Сегодня в роли ДЧСК — Семен Касаткин. Ему со всех сторон говорят:

— И здесь смотрите.

— Пожалуйста!

— Будьте покойны!

Но Касаткин не улыбается. У него придирчивый взгляд, и он рыщет по всей спальне, заглядывает в корзины, щупает батареи. В руке у него чистый носовой платок, он пользуется им в качестве контрольного приспособления. Но всякий раз, когда он подносит платок к глазам, пыли на платке не обнаруживается, и восьмая бригада торжествующе «агакает». За пальцами ДЧСК и за его платком особенно напряженными глазами следит сегодняшний дежурный по бригаде Олег Рогов. От волнения его аккуратная прическа растрепалась, и ДЧСК издевательски спрашивает:

— А почему ты сегодня не причесывался?

Рогов с некоторым страхом поглядывает на Клаву и отвечает:

— Да понимаешь, беспокойства столько!

Потерявший надежду «поймать» бригаду, Касаткин задирает голову к лампочке:

— А лампочка, кажется, в мухах!

Ему отвечают хором:

— Да это разве мухи? Это точки такие! Каждое дежурство спрашивает. Стекло такое!

А Игорь Чернявин в это время крепко спит. Черт его знает, дежурство хорошенькой Клавы им абсолютно не было предусмотрено. По движению голосов Игорь чувствует, что Клава уже стоит у его постели. И если секундой раньше Игорь еще дышал, как дышит каждый крепко спящий человек, то сейчас и дышать перестал. Серебряный голос Клавы спрашивает:

— Может, он заболел? Касаткин, проверишь потом.

Касаткин отвечает негромко:

— Есть проверить!

Но Нестеренко не может забыть «это несущественно».

— Кто заболел? Чернявин? Ты послушала бы, как он перед поверкой разговаривал. А потом взял и заснул сразу.

Клава тронула плечо Игоря:

— Чернявин! Чернявин, как тебе не стыдно?

Но Игорь не дышит и в самой далекой глубине души проклинает свой вздорный характер. Он невольно, сквозь досаду, представляет себе, как это было бы красиво, если бы он сегодня, хоть и новенький, самым точным образом отсалютовал этой девушке и вместе со всеми крикнул бы ей: «Здравствуй!» Очень возможно, что она обратила бы внимание на его оригинальное лицо и ехидную улыбку. Неужели она еще будет его тормошить? С облегчением он слышит голос своего шефа Санчо Зорина:

— Да брось его, Клава! Пускай лежит. Он еще совсем сырой!

Игорь слышит, как легкие шаги удаляются от его постели. Он приоткрывает глаз, видит движение к двери и снова закрывает глаз, потому что встречает карий, веселый и все понимающий взгляд Володьки Бегунка.

20. Несправедливость

Через час Игорь Чернявин весело вошел в столовую. Только остриженная под машинку голова несколько смущала Игоря, костюм у него самый новый, пояс самый изящный, лицо у него самое интеллигентное и интересное. Заканчивала завтрак первая смена, которая должна отправиться в школу. Игорь знал, что Нестеренко на него зол, ожидаются неприятные разговоры, но, с другой стороны, его продолжала увлекать роль остроумного протестанта. С уверенной грацией Игорь проходил через просторную, светлую, украшенную цветами столовую. Скатерти сияют такой белизной, точно их сегодня переменили, или это утреннее солнце так радостно светит?

Из столовой многие уже выходили. Игорь не заметил насмешливых взглядов, направленных на него. Он знал свое место за столом и свое исключительное право на него. За этим столом, кроме Игоря, сидят Нестеренко, Гонтарь и Санчо Зорин. Действительно, Нестеренко и Санчо на своих местах, уже поели и разговаривают. За другими столами только одиночки заканчивают завтрак, а в конце столовой, возле Клавы Кашириной, вертится Володя Бегунок — самый верный признак того, что сейчас будет сигнал на работу. Но Игорь еще не работает, поэтому он весело подходит к столу и говорит свободно:

— А вот и мое местечко!

К удивлению Игоря, Нестеренко ничего укорительного на это не сказал, напротив, спросил по-своему добродушно:

— Выспался?

— Ох, и хорошо выспался! Меня будили, кажется?

— Кажется, будили.

— Я что-то там такое говорил?

— Что-то говорил.

Санчо отвернулся к окну. Откуда-то взялся возле окна Миша Гонтарь и сердито посматривает на Игоря. Нестеренко увидел подходившую к ним Клаву и вежливо приподнимается навстречу:

— Спасибо, Клава, за завтрак. Хорошо накормила.

Это Игорю нравится. Санчо ему вчера рассказывал, что существует правило — за пищу благодарить дежурного бригадира.

— Не стоит, — говорит Клава.

Она смотрит на ручные часы и кивает Володьке, следующему за нею, как тень:

— Через минуту можешь давать.

Володька проделал трубой движение, отдаленно напоминающее салют. Нестеренко говорил ему тихо:

— Вот я скажу Алешке, как ты отвечаешь. Он тебе завинтит гайку.

Володька серьезнеет, краснеет и спешит к выходу, кстати, у него и дело есть.

Нестеренко недовольно обращается к Клаве:

— Ты, Клава, распускаешь пацана. Он мне так не ответил бы!

Клава улыбается. У нее прекрасные зубы, и она еще краше в улыбке:

— Да я и не заметила. И не привыкла. Второй раз дежурю. А это кто? Ты — Чернявин?

Чернявин вежливо поклонился.

— Почему ты прикидываешься в спальне? Такой большой, а прикидывается, как ребенок.

Краска заливает лицо Игоря. Он хотел бы видеть в Клаве только хорошенькую девушку — и не в состоянии. Черт его знает, как получается, но никак он не может забыть о том, что она дежурный бригадир. Неужели шелковая повязка на руке производит такое сильное впечатление? Игорь что-то лепечет, начинает сбиваться:

— Бывает... товарищ...

— Как это так «бывает»? А чего ты в столовую пришел?

— С вашего разрешения... кушать.

— Кушать! Разве тебе не объяснили? Опоздать можно не больше, как на пять минут. Раздача кончена двадцать минут тому назад. Столовая готовится для второй смены. Тебе объяснили?

— Мне говорил товарищ Зорин, но я выпустил из виду.

— Выпустил из виду?

Не дождавшись его ответа, Клава тронулась к выходу.

Это возмутило Игоря. Она говорить с ним не хочет! Неужели они здесь воображают, что ему неизвестны советские законы?

Игорь сделал шаг вперед и очутился перед Клавой:

— Позвольте, выходит так, что вы меня лишаете завтрака?

— Вот какой ты чудак! Ты сам себя оставил без завтрака. Почему ты не пришел?

— Значит, я без завтрака?

Нестеренко сказал мечтательно, глядя в сторону:

— Это малосущественно.

Игорь взялся за спинку стула, произнес медленно, веско, так, как он разговаривал с начальником почты:

— Оставление без пищи все-таки запрещено. Мне это хорошо известно.

Зорин пришел в восторг. Быстрой рукой он дернул по своей и без того всклокоченной шевелюре и сказал звонко:

— Верно, товарищ! Ты на Клаву пожалуйся.

— Обязательно! Имейте в виду, товарищ дежурный бригадир, я буду жаловаться. Кому у вас нужно жаловаться?

В таком же тоне, с прибавкой небольшой дозы невинности, Зорин ответил:

— Общему собранию.

Нестеренко и даже Клава громко рассмеялись. Только Зорин был серьезнее:

— А ничего! Что ж тут такого? Он имеет право...

Но и Зорин не выдержал и захохотал уже в полную силу.

На дворе заиграли сигнал. Клава быстро направилась к выходу.

Игорь посмотрел ей вслед, бросил гневный взгляд на Зорина, но и сам не выдержал: улыбнулся.

21. Руслан

После «завтрака» Игорь в очень скучном настроении отправился осматривать колонию. Голод его не беспокоил. Во время своей свободной жизни он привык вкушать пищу независимо ни от каких расписаний и даже независимо от аппетита, а исключительно по обстоятельствам. Его больше задевало насилие, произведенное над ним этой смазливой девчонкой, которая не только не проявила интереса к его оригинальной наружности, но еще вздумала поучать его.

Выйдя из здания, Игорь даже с некоторым удовольствием нашел и формулу осуждения: они здесь гордятся своими порядками, салютами и вензелями; воображают себя Советской властью, а на самом деле — обыкновенные бюрократы. На своем веку Игорь насмотрелся таких бюрократов. «Скажите, пожалуйста, почему деньги присланы как раз на эту станцию?» Опоздать к завтраку можно только на пять минут, а если опоздаешь на шесть минут, сиди голодный. И они собираются воспитывать Игоря Чернявина! Кто знает, захочет ли еще Игорь Чернявин, чтобы из него тоже бюрократа сделали. И все бюрократы говорят: можешь жаловаться.

Так размышлял Игорь Чернявин, проходя по дорожке цветника. Цветы его мало радовали. Собственно говоря, можно было выйти из цветника и отправиться по дороге в город. К сожалению, у него не было никаких планов, никакого начатого дела, а во-вторых, можно уйти и завтра.

Игорь прошел цветники и свернул вправо. Здесь начинался лес. На его опушке — новое каменное здание. Оно было пристроено к глагольному концу того дома, из которого Игорь вышел, и соединялось с ним висячим закрытым мостиком. Санчо рассказывал ему об этом здании. В нем будут новые спальни, только спальни. А в старых спальнях будет школа, а в теперешней школе еще что-то такое будет. Игорь уже забыл. Вообще, строительство. Санчо, захлебываясь от восторга, называл какие-то цифры: двести тысяч, триста тысяч. Санчо в то же время и возмущался: кто-то где-то ассигнует деньги на новые спальни и на прием новых ребят, а на производство никто не хочет давать ни копейки, колонисты сами об этом должны подумать. Ребят можно набрать, а работать где? Надо развивать производство. Слово «производство» Санчо произнес с уважением, восторженно вспоминал Соломона Давидовича Блюма, но тут же и посмеивался над

ним. Вообще, у них только снаружи все это прибрано, а что на самом деле, кто их разберет. Вчера перед сном вся бригада потешалась, вспоминая какой-то стадион. И Нестеренко сказал:

— В такой колонии такой стадион! Что это такое?

Игорь прошел мимо нового здания. Оно было уже закончено, блестели стекла в оконных переплетах.

Дальше был разработан парк, проведены широкие дорожки, посыпанные песком, стояли чугунные скамьи. Санчо и об этом парке рассказывал с энтузиазмом. Подумаешь, большое дело: дорожки и гимнастический городок. Посмотрели бы они, какие гимнастические городки в Ленинграде. А то: собственными руками! И еще пруд какой-то! Довольно запутанная сеть дорожек куда-то заметно спускалась. Ага! Вот и пруд! По берегу пруда тоже идет дорожка и тоже стоят скамейки. Пруд небольшой, над ним нависли деревья, кое-где на берегу сделаны деревянные ступени.

Игорь присел на скамью, а потом подумал: почему бы ему не искупаться. Он разделся и полез в воду. Вода была прохладная, ласковая и пахла чем-то особенным, духов они напустили в пруд, что ли? Нет, это пахнет мята, все берега заросли мятой. Игорь выплыл на середину; попробовал достать дно, не достал, внизу вода была ледяная. Перевертываясь в воде, Игорь заметил движение у скамьи, где он оставил одежду. Он подпрыгнул, посмотрел, подплыл ближе. На берегу стоял, заложив руки в карманы спецовки, и смотрел на него коренастый парень, стриженный тоже под машинку, наверное, новенький. Он крикнул:

— Холодная вода?

— Хорошая.

— Полезу.

Через минуту он с разгона бултыхнулся в воду, и скоро его стриженая голова очутилась рядом с Игорем:

— Ты что, колонист? — спросил он.

— Да, в этом роде.

— Новый, что ли? Что-то я тебя не видел.

— Со вчерашнего дня.

— Ага!

— А ты?

— А я две недели.

— Тоже новый?

— Тоже.

— Ну и что?

— Удирать буду.

— Да ну?

— Честное слово. Ну их к чертям!

Он перевернулся в воде, выставил зад, подрыгал ногами:

— Холодная! Я — одеваться!

Они подплыли к берегу. Натягивая штаны, Игорь спросил:

— А тебе есть куда удирать?

— Да у меня папан в городе. Только он — сволочь. Я к нему не пойду. Я у него облигаций на пятьсот рублей стырил, так он такой хай поднял, в милицию потащил. А сам ответственный работник, как же — Заготзерно какое-то. Меня сюда и спровадили.

— Ты уже работаешь?

— А как же, приспособили. Социализм, говорят, строим. Ну и стройте!

— А почему ты сейчас гуляешь?

— Да какой там социализм! Материалу нету! Меня на шипорезный поставили. Станок, правда, мировой, так материалов нету. Да ну их...

— Как твоя фамилия?

— Фамилия у меня еще ничего: Горохов. А вот имя... Куда их головы торчали? Руслан!

Игорь рассмеялся. Горохов тоже осклабился. У него было очень простое, прыщеватое, носатое лицо, и нос был гораздо красивее всего остального. Когда он смеялся, зубы показывались разной величины и направления и даже разного цвета.

— Руслан! Я пока не читал «Руслана и Людмилу», так еще ничего, терпел, а как прочитал!.. Ты читал?

— Читал.

— С моей мордой! Руслан! Так это им, понимаешь, можно, а как ассигнаций паршивых на пятьсот рублей, так в милицию побежали!

— Я тоже, наверное, уйду, — сказал Игорь.

— У тебя тоже родители?

— Мои далеко — в Ленинграде.

— К ним пойдешь?

— Нет, к ним не пойду.

— А куда?

— А ты куда?

Они сели на скамью, глянули друг на друга, улыбнулись неохотно. Руслан задумался:

— Черт их знает... может, они и правильно...

— Кто?

— Да... эти... тут. А только нельзя так: все это ходи по правилам. По правилам и по правилам. И тащат тебя в разные стороны. И вякают, и вякают: в стрелковый кружок, в драматический кружок, в изокружок! «Учиться необходимо!» А я хотел в оркестр, так у них тут тоже правила.

— А ты говорил: удирать будешь.

— И убегу, а что ж ты думаешь? Терпеть буду? Хотел в оркестр — «подожди», в оркестр принимают только колонистов.

— Так ты же колонист?

— Черта с два! Тебе разве не рассказывали? Черта с два!

— Что-то я слышал... звание колониста...

— Звание колониста. Ты не колонист, а воспитанник. Ого! Тебе, может, и пошьют парадный костюм, так без этого... на рукаве... без знака. И наказывать тебя можно как угодно: и наряды, и без отпуска, и без карманных денег. Алексей что захочет, то и сделает. И из бригады в бригаду, и на черную работу погонит... И в оркестр нельзя.

— Черт знает что, — протянул Игорь удивленно. — И долго это так?

— Самое меньшее четыре месяца. А потом, как бригада захочет. Бригада должна представить на общее собрание, а на собрании, как по большинству решат. А на собрании известно кто — комсомольцы. Там где-то по секрету поговорят, а ты и не знаешь.

— А почему же в оркестр только колонисты?

— А кто их знает, почему? Да еще знаешь какое правило: в оркестр можно, допустим, колонисту, а из оркестра черта с два![19].

— Нельзя?

— Боже сохрани! Так уж до смерти и оставайся музыкантом. Понимаешь ты, порядки? Допустим, мне надоело — нет, играй! Все равно убегу.

Руслан отвернул обиженное лицо к глубине парка, задумался: задумался и Игорь. Слышно было, как за парком шумело машинное отделение. Какие-то еще звуки долетели оттуда: не то детские крики, не то лай собак. Потом звонко ударило один раз, другой и пошло ритмично звенеть дальше. Руслан вытянул шею, встревожился.

— Ты в какой бригаде? — спросил Игорь.

Руслан не расслышал:

— А?

— В какой ты бригаде? В первой? У Воленко?

— У Воленко. Кажется, лес привезли. Говорили, привезут.

— Воленко хороший бригадир?

— Они тут все одинаковые. Побегу. Это лес привезли.

Руслан прыгнул через кустики на соседнюю дорожку. Игорь посмотрел ему вслед: синяя куртка Руслана далеко уже мелькала между деревьями.

22. Стадион имени Блюма

Игорь тоже направился на «производственный двор», как говорили в колонии. Санчо уже рассказывал ему, что в колонии есть несколько мастерских. Недавно приехал новый заведующий производством, так уже не будут мастерские, а будут цехи: механический, литейный, машинный, сборочный и швейный. Игорь никогда не видел никакого производства и не интересовался этим делом, поэтому он ничего не понял во всех этих названиях, догадывался только, что в швейном что-то шьют. Но теперь выходило так, что и ему придется работать в каком-нибудь цехе. Он решил посмотреть, что это за «производственный двор».

Через парк, идя по тому же направлению, куда побежал Руслан, Игорь, действительно, вышел на новый двор, видно, недавно расчищенный из-под леса: кое-где стояли еще пни, а в других местах, в огромных ямах, валялись выкорчеванные могучие корневища. Двор был громадный и весь забросан, трудно было разобрать чем. Здесь было много бревен, досок, балок — все это в беспорядке, вперекос, перемешано с углем, железом разного сорта, с опилками, стружками, пустыми бочками из-под извести. Вокруг двора стояло несколько приземистых деревянных строений, похожих на сараи, но через крыши их выходили трубы, а из труб валил дым самых разнообразных оттенков и густоты, следовательно, это были не сараи. В одном из строений, более солидном, что-то делали с деревом, и дереву было, видимо, неприятно: оттуда неслись стоны и вопли самых разнообразных оттенков: тихие, гулкие, низкие звуки — звуки привычного и безнадежного протеста; звуки нервные, визгливые, раздражительные; наконец, время от времени вырывался настоящий вопль, отчаянный, душераздирающий, невыносимый. Возле этого здания стояло несколько длинных подвод, рабочие сбрасывали с них доски.

Выйдя из парка, Игорь остановился, выбирая, как легче пройти, и рядом с собой увидел группу людей: Алексей Степанович без шапки, в сапогах и в военной рубашке хаки, Витя, Клава Каширина и еще двое. Один из них полный, с брюшком, с круглой головой, выбритой начисто, а может быть, просто лысый. Игорь догадался: это и был знаменитый заведующий производством — Соломон Давидович Блюм. Он торжественно показывал рукой на широкое, приземистое, барачного типа здание, выстроенное недавно, и тем не менее производящее отталкивающее впечатление. Трудно было установить, из чего оно сделано: из обрезков, щепок, старой фанеры, глины? Покрыто оно тоже весьма странной смесью из самых различных материалов: железа, фанеры, толя, а в одном месте красовалось даже несколько рядов черепицы. Это было очень длинное здание, и именно поэтому бросалась в глаза его несуразность: здание довольно круто спускалось в сторону пруда, и его наклонная, скошенная конструкция дико противоречила всякому привычному представлению о строении.

Как будто пораженный этим внезапным величием, Захаров стоял на опушке парка, шевелил руками в карманах галифе и смеялся:

— Да-а! Я приблизительно предчувствовал нечто подобное, но... все-таки...

Витя хохотал, наклоняясь к земле:

— Вот молодец, Соломон Давидович! За неделю построил!

Клава улыбнулась сдержанно. Виктор сказал:

— Это и называется: стадион имени Блюма.

Соломон Давидович выпятил полную стариковскую губу:

— Что вы такое говорите, имени Блюма? Это плохой сборочный цех? Плохой? Да?

Захаров увидел Игоря:

— Чернявин, иди сюда.

Игорь вытянулся, красиво — это было несомненно — поднял руку и успел заметить любопытствующий взгляд Клавы Кашириной:

— Здравствуйте, товарищ заведующий!

— Здравствуй. Иди сюда. Ты ведь человек ленинградский, всякие дворцы видел. Как тебе нравится сборочный цех?

— Вот этот сарай?

— Это стадион, — повторил Виктор.

Соломон Давидович произнес спокойно:

— Пускай себе сарай, пускай себе стадион, зато в нем можно работать.

Игорь спросил:

— А он не завалится?

Блюм возмутился так серьезно, как будто он давно знал Игоря и обязан был считаться с его мнением:

— Вы слышите, что он говорит: завалится! Волончук, он завалится или не завалится?

Скучный, нескладный, состоящий из каких-то мускульных узлов инструктор Волончук — правая рука Соломона Давидовича — ответил невозмутимо, определяя судьбу стадиона с завидной беспристрастностью:

— С течением времени должен завалиться, но нельзя сказать, чтобы скоро.

— Через год завалится?

— Через год? — Волончук внимательным взглядом присмотрелся к стадиону. — Нет, через год он не завалится. Другое дело, если, скажем, дожди большие пойдут.

Блюм закричал на него:

— Кто вас про дожди спрашивает. Когда был Ной и пошли большие дожди, так все на свете завалилось. Когда человек строится, так он не может ориентироваться на всемирный потоп, а ориентируется на нормальную погоду.

Волончук спокойно выслушал гневную речь Соломона Давидовича, даже глазом не моргнул лишний раз, и уступил:

— Если хорошая погода, так ничего... выдержит.

Алексей Степанович поправил пенсне, каким-то особенным взглядом, преисполненным векового терпения, глянул на двор и тронулся вперед.

— Хорошо, посмотрим, что там внутри.

Блюм обрадовался:

— Конечно, внутри! Нам внутри работать, а вовсе не наблюдать разную красоту. Красота тоже деньги стоит, дорогие товарищи. Если у тебя нет денег, так ты бреешься один раз в неделю. И ничего.

Через скрипящие воротца, кое-как сбитые из обрезков, они вошли в здание сборочного цеха. В цехе еще ничего не было, бросался в глаза деревянный пол, отдаленно напоминающий паркет: он был составлен из многочисленных концов досок разной длины и ширины и даже разной толщины. Витя первый выразил свое восхищение внутренним устройством здания, но очень сдержанно:

— Если деталь какая упадет, так ее и не поймаешь, так покатится!

Все рассмеялись, кроме Блюма:

— А почему она будет катиться? Это теперь здесь, конечно, ничего нет. А когда будут люди, верстаки и доски, так куда она будет катиться?

Волончук серьезно оглядел все и ответил:

— Так чтобы катиться, не должна. Зацепится.

Виктор серьезно подтвердил:

— Беру свои слова обратно, если зацепится, тогда другое дело.

И теперь Блюм разгневался окончательно; короткими руками он несколько раз хлопнул себя по бедрам, на отекшем лице появилось выражение боевой готовности...

— Вам нужно делать мебель, или вам нужен какой-нибудь бильярд? Чтобы ничто никуда не катилось, пока его не ударишь палкой? Что это за такие разговоры? Мы делаем серьезное дело, или мы игрушками играемся? Вам нужны каменные цехи? А деньги у вас есть? А что у вас есть? Может, у вас кирпич есть? Или железо? Или фонды? Ваши сборщики работают под небесами, а я вам построил крышу, так вам еще не нравится, вам подавай архитекторский фасад и какие-нибудь пропилеи[20]. Вы сюда пришли, приемочная комиссия, и фыркаете губами, и говорите: стадион! А что вы мне дали? Смету, проект, чертежи, деньги? Вы дали хоть одного инженера? Что вы мне дали, товарищ секретарь совета бригадиров Виктор Торский?

Секретарь совета бригадиров Витя Торский ничего не ответил. Алексей Степанович дружески взял Блюма за локоть:

— Не сердитесь, Соломон Давидович, мы на лучшее и не рассчитывали.

Увидите, в будущем году мы построим настоящий завод, а это здание с благодарностью спалим: подложим соломки и...

— Мне очень нравится: они спалят! Здесь будет замечательный склад.

— Ну хорошо.

— Пожалуйста! Теперь есть где работать. А что бы вы делали, если бы не было этого самого стадиона имени Блюма, товарищ Торский?

— А я всегда говорил: нужно строить не спальни, а завод.

— Так видите, вы только говорили, а я построил.

— Я говорил: строить завод, а вы построили стадион.

— Товарищ Торский! Живая собака в тысячу раз лучше английского льва!

Алексей Степанович, смеясь, любовно прижал локоть Соломона Давидовича и направился к выходу. Игорь Чернявин подождал, пока все выйдут. Оглянулся на пустой стадион. Кого-то ему стало жаль. При выходе он остановился, и было ясно: жаль стало Соломона Давидовича.

23. Довольно интересная мысль

Вечером Нестеренко сказал Игорю:

— Завтра ты пойдешь на работу в сборочный цех.

— Я никогда не работал в сборочном цехе.

— А завтра будешь работать. Это значит на стадионе, а пока во дворе.

— А что я там буду делать?

— Мастер тебе покажет.

— А может, я не собираюсь быть сборщиком?

— Я тоже не собираюсь быть литейщиком, а работаю в литейном.

— Это дело твое, а я иначе думаю.

— Ты думаешь? А ты научился думать? Слышишь, Санчо? Он так думает, что он не будет сборщиком, а поэтому он не хочет работать. Ты его шеф, должен ему объяснить, если он не понимает.

Санчо с радостью согласился объяснить Игорю, хлопнул рукой по сиденью дивана рядом с собой.

— А что же? Садись, я тебе все растолкую.

Игорь сел, кисло улыбнулся, приготовился выслушать поучение. Вспомнил жалкий стадион, жалкую бедность Соломона Давидовича, стало скучно и непонятно, для чего все это нужно?

— Чего ты такой печальный, Чернявин, это очень плохо. А я знаю почему. Ты думаешь так: какие-то колонисты, где они взялись на мою голову? А я вон какой герой, Чернявин, скажите пожалуйста! Поживу у них четыре дня и пойду на все четыре стороны. Правда, ты так думаешь?

Игорь промолчал.

— А на самом деле, может, ты у нас проживешь четыре года.

— А если проживу, так что?

— Как это «что»? Если ты умный человек... Представь себе: четыре года живешь! Так сегодня ты в сборочном не хочешь, а завтра в литейном не хочешь. А потом ты скажешь, не хочу быть токарем, а хочу быть докто-

ром, давайте мне, пожалуйста, больницу, я буду лечить людей, ха! Так мы с тобой четыре года будем возиться! Ты, значит, как будто не в себе — психуешь, а мы с тобой все возимся и возимся?

Нарисованная Зориным картина заинтересовала Игоря, но заинтересовала прежде всего глубоким противоречием той ясной логической линии, которая принадлежала ему, Игорю Чернявину, и которую он мог изложить в самых простых словах. Санчо сидел рядом с ним, глаза его, как всегда, были горячи, но все-таки этот самый Санчо Зорин соображает довольно тупо.

— Ты неправильно говоришь, товарищ Зорин.

— Хорошо. Неправильно. А как правильно?

— Ты говоришь: Чернявин хочет быть доктором? А скажи, пожалуйста, почему это плохо? А разве мало людей хочет быть докторами? А вы здесь, дорогие товарищи, придумали: как себе хочешь, а иди в ваш сборочный цех. А я должен сказать: «Есть, в сборочный цех!» А вот я не хочу.

— Так кто тебе мешает, Чернявин? Разве мы тебя заставляем? Мы тебя не заставляем. Смотри, пожалуйста, — Зорин показал на окно, — заборов у нас нет, стражи нет, — никто тебя не держит и не уговаривает — иди себе!

— Мне некуда идти...

— Как некуда? Ого! Ты же говоришь, не хочу быть сборщиком, а хочу быть доктором.

— Куда же я пойду?

— Да в доктора и иди. Учиться там или как... Добивайся, пожалуйста.

— А у вас, значит, нельзя?

— А у нас тоже можно, только по-нашему.

— Сначала в сборочный цех?

— А что же ты думаешь? А если в сборочный? Думаешь, плохо?

— Я не думаю, что это плохо, а ты мне ничего не объяснил. С какой стати?

— А с такой стати: для нас это нужно. Ты у нас живешь два дня? Живешь. Шамаешь? Одели тебя, кровать тебе дали? А ты еще сегодня в столовой кричал: не имеет права! А почему? Откуда все это берется, какое тебе дело? Я — Чернявин, все мне подавайте. Я хочу быть доктором. А может, ты врешь? Откуда мы знаем? А мы тоже можем сказать: иди себе, Чернявин — доктор Чернявин, к чертовой бабушке!

— Не скажете.

— Не скажем? Ого? Ты еще нас не знаешь! Ты думаешь: уйду. А на самом деле мы тебя раньше прогоним. Для чего ты нам сдался? Мы тебя ни о чем не спросили, кто ты такой, откуда, а может, ты дернешь. Мы тебя приняли как товарища, одели, накормили и спать уложили. Так ты один, а нас колония. Ты против нас куражишься: хочу быть доктором, ты нам ни на копейку не доверяешь. Тебе нужно все доказать сразу, а почему ты вперед поверить не можешь, нам поверить?

— Кому поверить? — задумчиво спросил Игорь, чувствуя, что Санчо далеко не так туп, как ему показалось сначала.

— Как «кому»? Нам всем.

— Поверить?

— Ага, поверить. Видишь, ребята живут, и работают, и учатся, что-то

делают. Подумал бы: значит, у них какой-то смысл есть. А то ничего не видишь, кроме себя: я доктор. А какой ты доктор, если так спросить? Мы знаем, что мы — трудовая колония, это же видно, а откуда видно, что ты доктор?

Они сидели на диване в полутемной спальне, на дворе зажигались фонари, ребята куда-то разошлись. В коридоре слышались редкие шаги. Потом кто-то крикнул:

— Се-евка!

И стало очень тихо. Игорь, конечно, не был убежден словами Санчо, но спорить с ним уже не хотелось, и возникло простое, легкое желание: почему в самом деле не попробовать? Этому народу можно, пожалуй, оказать некоторое доверие. И он сказал Санчо Зорину:

— Да это я к примеру. Ты не думай, что я такой бюрократ. А ты где работаешь?

— В сборочном цехе.

— Интересно там?

— Нет, не интересно.

— Вот видишь?

— А тебе только интересное подавай? Может, с музыкой? А если неинтересное что делать, так ты не можешь?

— Неинтересное делать?

Игорь присмотрелся к Зорину. У Санчо задорно горели глаза.

— Неинтересное делать? Это, сэр, довольно интересная мысль.

24. Девушка в парке

Сигнал «вставать» Игорь услышал без посторонней помощи. Было приятно — быстро и свободно вскочить с постели, но когда он начал заправлять кровать, оказалось, что это совершенно непосильная для него задача. Он посматривал на другие кровати и все делал так, как делали и остальные, но выходило гораздо хуже: поверхность постели получалась бугристая, складка шла косо, одеяло не помещалось по длине кровати, а его излишек никуда толком не укладывался. Санчо посмотрел и разрушил его работу:

— Смотри!

Санчо работал ловко, из его техники Игорь уловил главное назидание: складка на одеяле потому получалась прямая, что с самого начала Санчо укладывал одеяло сложенным вдвое, потом отворачивал половину, складка сама выходила прямой, как стрела. Это Игорю понравилось.

— Спасибо.

— Не стоит.

У Игоря было прекрасное утреннее настроение. Вместе со всеми он салютом встретил приход дежурства. Сегодня дежурил бригадир четвертой бригады — знаменитый в колонии Алеша Зырянский, именуемый чаще «Робеспьером»[21]. И сегодня дежурные по бригадам мотались, «как соленые зайцы», а за десять минут до поверки сам Нестеренко взял тряпку и бросился протирать стекло на портрете Ворошилова и дежурному по бригаде Харитону Савченко сказал с укором:

— Ты забыл, кто сегодня дежурит по колонии?

Харитон с озабоченной быстротой заглядывал в тумбочки и под матрацы. Когда уже строились на поверку, Нестеренко спросил:

— А ногти? Ногти у всех стрижены?

Кто-то глянул на ногти и закричал:

— Да черт его знает, где ножницы наши?

Нестеренко рассердился:

— Если искать ножницы, когда сигнал на поверку играют, так, конечно, никогда не найдешь. Чернявин, у тебя как?

— Да ничего, как будто...

— Как будто не считается. Гонтарь, давай ножницы. Да куда же ты режешь? Ну что ты наделал? Эх, Мишка!

Но уже входила в спальню поверка, и Нестеренко подал команду.

Зырянский был невысокого роста, лет шестнадцати. Он хорошо сложен, строен. Обращали на себя внимание его пристальные, умные, но в то же время и веселые серые глаза. Брови у Зырянского короткие, прямые, ближе к переносице они заметнее.

Еще приветствуя бригаду, Зырянский увидел все, хотя как будто ничего не старался увидеть. Принимая рапорт, он весело смотрел Нестеренко в глаза. Он не рыскал по спальне, ничего не искал, но, уходя, сказал своему компаньону по дежурству, скромной и тихой девочке — ДЧСК:

— Отметишь в рапорте: в спальне восьмой бригады грязь.

— Да какая же грязь, Алеша?

— А это что? Натерли пол, а потом набросали ногтей? Это не грязь, по-твоему?

Нестеренко ничего не ответил. В дверях Алеша сказал:

— Нельзя заниматься туалетом только для дежурного бригадира, это, Василь, ты хорошо знаешь. Да и новенькому вашему не остригли когтей. Салютует, а лапы, как у волка.

Нестеренко был очень расстроен после поверки и все повторял:

— Ах ты, черт! Вот нечистая сила! А все ты, Мишка. Человек влюбленный, а ногти какие. И как же это можно: на паркет. Хорошо, если Захаров так пропустит рапорт. А если передаст на общее собрание?

Миша Гонтарь ничего не сказал на это. Сидя на корточках, он подбирал с полу собственные ногти.

— Я тогда прямо и скажу на собрании: это наш влюбленный Михаил Гонтарь. Честное слово, так и скажу. А еще раз случится такое неряшество, попрошу Алексея посадить тебя часа на три. И Оксане все расскажу, чтоб знала.

Гонтарь так ничего и не ответил бригадиру. Достаточно того, что ему и перед своими было неловко. Нестеренко оставил его и тем же уставшим, недовольным голосом обратился к Игорю:

— Ты идешь в сборный цех или еще будешь ногами дрыгать?

Игорь был рад, что мог утешить бригадира хотя бы в этом вопросе:

— Иду.

На производство Игорь должен был выйти после обеда, во вторую смену. Это было хорошо: все-таки оттягивалась процедура первого рабочего опыта. После завтрака Игорь решил погулять в парке и искупаться. Но как только он вступил в парк, на первой же дорожке встретил «чудеснейшее видение» — девушку.

Уже и раньше, в своей «свободной жизни», Игорь стремился понравиться девчатам и принимал для этого разные меры: заводил прическу, украшал костюм, произносил остроумные слова. Но никогда еще не было, чтобы девушка ему самому очень понравилась. Он по-джентльменски привык отдавать должное привлекательности и красоте и считал себя в некотором роде знатоком в этой области, но всегда забывал о красавицах, как только они уходили из его поля зрения. И поэтому каждую новую девушку он привык встречать свободным любопытством донжуана.

Так он встретил и девушку в парке и прежде всего должен был признать, что она «чудесна». Это слово Игорь очень ценил, гордился его выразительностью и от самого себя скрывал, что унаследовал его от отца, который всегда говорил:

— Чудесный человек!

— Чудесная женщина!

— Чудесная мысль!

Девушка, проходившая по дорожке парка, была «чудесна». Это в особенности бросалось в глаза оттого, что одета она была очень бедно и некрасиво. Не было никаких сомнений в том, что она не колонистка — колонистки всегда чистюльки. У нее было чуть-чуть смуглое лицо, очень редкого розовато-темного румянца, расходящегося по лицу без каких бы то ни было ослаблений или усилений, удивительно чистого и ровного. Ничто у нее в лице не блестело, ничто не было испорчено царапиной или прыщиком, редко у кого бывает такое чистое лицо. Из-под тонких черных бровей внимательно и немного смущенно смотрели большие карие глаза, белки которых казались золотисто-синими. Зачесанные к косе темные волосы, отливающие заметным каштановым блеском, непокорно рассыпались к вискам. Словом, девушка была действительно чудесна.

Игорь остановился и спросил удивленно:

— Леди! Где вы достали такие красивые глаза?

Девушка остановилась, отодвинулась к краю дорожки, поднесла руку к лицу:

— Какие глаза?

— У вас замечательные глаза!

Этими самыми глазами девушка сердито на него взглянула, потом наклонила покрасневшее лицо, метнулась с дорожки в сторону, на травку.

— Миледи, уверяю вас, я не кусаюсь.

Она остановилась, посмотрела на него исподлобья, строго.

— А вам какое дело? Идите своей дорогой.

— Да у меня никакой своей дороги нет. Скажите ваше имя.

Девушка переступила босыми ногами и улыбнулась:

— Вы из колонии, да?

— Из колонии.

— Смешной какой!

Она произнесла это с искренним оживлением насмешки, еще раз боком на него посмотрела и быстро пошла в сторону, прямо по траве, не оглянувшись на него ни разу.

25. Проножки

Мастер Штевель, широкий, плотный, румяный, внимательно глянул на Игоря круглыми глазами:

— Никогда не работал?

— Нет.

— Значит, начинаешь?

— Начинаю.

— Дома... хоть пол подметал?

— Нет, не подметал.

— Незначительный у тебя стаж. Ну что же... начнем. Я тебе дам для начала проножки зачищать. Работа легкая.

— Какие это проножки?

Мастер ткнул ногой в готовый стул:

— А вот она — проножка, видишь? Поставили, как была, нечищенную, с заусенцами, вид она имеет отрицательный. А теперь ты будешь зачищать, лучше выйдет стул. А то все чистили, а на проножки так смотрели: что там, проножка, и так сойдет.

Мастер был словоохотливый, но деловой: пока говорил, руки его действовали, а на подмостке перед Игорем появились куча проножек, рашпиль и лист шлиферной бумаги. Заканчивая речь, Штевель прошелся рашпилем по одной проножке, потом зашаркал по ней бумагой, полюбовался проножкой, погладил ее рукой:

— Видишь, какая стала! И в руки приятно взять. Действуй!

Пока все это говорилось и делалось, Игорю занятно было и слушать и смотреть на мастера, на проножку и на всякие принадлежности. Когда мастер, похлопав его по плечу, отошел, Игорь тоже взял в руки проножку и провел по ней рашпилем. В первый же момент обнаружилось все неудобство этой работы: проножка сама собой вывернулась из руки, а рашпиль прошелся твердым огневым боком по пальцам. На двух пальцах завернулась кожица и выступили капельки крови. Рядом чей-то знакомый голос сказал весело:

— Хорошее начало, товарищ сборщик.

Игорь оглянулся. Голос недаром казался знакомым — свой, из восьмой бригады, только из второй спальни, Середин, тот самый, которого Нестеренко упрекнул в пижонстве. У него чистое лицо и голова немного откинута назад. В руках несколько тонких пластинок для спинки стула, и Середин любовно отделывает их при помощи линейки со вставленными листками шлифера. Не успел Игорь рассмотреть их, как они полетели в кучу готовых пластинок, а рука Середина захватила уже новую порцию.

— Возьми там, в шкафчике, йод, — улыбаясь кивнул Середин. — Это ничего, все так начинают.

Игорь полез в шкафчик, нашел бинты и большую бутылку с йодом. Он смазал царапины и обратился к Середину:

— Завяжи.

— Да что ты! Зачем это? Бинт зачем? Ты еще скажешь, доктора вызвать.

— Так она течет. Кровь.

— Вся не вытечет. Намазал йодом? Ну и хорошо. И не течет вовсе, просто капелька.

Игорь не стал спорить и положил бинт обратно в шкафчик. Но пальцы все-таки болели, и он боялся взять в руку новую проножку. Все-таки взял, подержал, примерился рашпилем. Потом со злостью швырнул все это на примосток и, отвернувшись от верстака, начал рассматривать цех.

Никакого цеха, собственно говоря, и не было. К стене машинного отделения, вздрагивающей от гула станков, снаружи кое-как был прилеплен дырявый фанерный навесик. Он составлял формальное основание сборочного цеха; под навесиком помещалось не больше четырех ребят, а всего в цехе работало человек двадцать. Все остальные располагались просто под открытым небом, которое, в самой незначительной степени, заменялось по краям площадки красными кронами высоких осокорей. На площадке густо стояли примостки различной высоты и величины, сделанные кое-как из нестроганых обрезков. Некоторые мальчики работали просто на земле. На площадку эту из машинного отделения высокий чернорабочий то и дело выносил порции отдельных деталей. Деревообделочная мастерская колонии производила исключительно театральную, дубовую мебель. Детали, подаваемые из машинного отделения, были: планки спинок, сидений, ножки, царги, проножки. Собирали театральные стулья по три штуки вместе, но раньше, чем собрать такой комплект, составляли отдельные узлы: козелки, сиденья и т. д. Сборкой узлов и целых комплектов занимались более квалифицированные мальчики, между ними и Санчо Зорин. Они работали весело, стучали деревянными молотками, возле них постепенно нарастали стопки собранных узлов, а возле Зорина располагались на земле уже готовые, стоящие на ногах трехместные конструкции, еще без сиденья. Большинство же ребят занимались операциями, подобными той, которая была поручена Игорю, в руках у них ходили рашпили, зудели, посвистывали, дребезжали.

Игорь до тех пор рассматривал цех, пока Середин не спросил у него:

— Что же ты не работаешь? Не нравится?

Игорь молча повернулся к примостку, взял в руки рашпиль. В руке он ощущался очень неприятно: тяжелый, шершавый, осыпанный опилками — и все старался перевиснуть куда-то вниз. Игорь положил его и взял в руки проножку. Эта была симпатичнее. Игорь внимательно рассмотрел ее. Глаз увидел те неправильности, неровности, острые углы, которые нужно было снять, увидел и неряшливый край, вышедший из-под шипорезного станка. Вторая рука снова протянулась к рашпилю, но в это время прилетела пчела. Собственно говоря, ей абсолютно нечего было делать здесь, в сборном цехе. Игорь следил за ней и думал, что она должна понять бесцельность своего визита и улететь. Пчела, однако, не улетала, а все сновала и сновала над примостком, тыкалась, подрагивая телом, в свежие изломы дубовых торцов, а потом вдруг набросилась на раненую руку Игоря, ее соблазнила засыхающая капелька крови. Похолодев, Игорь взмахнул проножкой и обрадовался, увидев, что пчела улетела. Он перевел дух и оглянулся, и сейчас только заметил, что ему жарко, что солнце припекает голову, что шея у него вспотела. Вдруг на эту самую потную, горячую шею что-то село, мохнатое, тяжелое. Игорь взмахнул свободной рукой — огромная, зеленоватая муха нахально взвизгнула у его головы. Игорь поднял глаза и увидел, что их две — мухи, они нахально не скрывали от Игоря своих злобных физиономий. Игорь тоже обозлился и произнес неожиданно, чуть ли не со слезами:

— Черт его знает! Мухи какие-то!

И Санчо, и Середин, и другие засмеялись. Середин смеялся добродушно, закидывая голову, а Санчо — громко, на всю площадку:

— Игорь! Они ничего! Они не кусаются!

Из молодых кто-то сказал:

— А может, они думают, что это лошадь.

Игорь швырнул проножку на стол:

— К черту!

— Не хочешь? — спросил Середин.

— Не хочу.

Санчо оставил работу, подошел к нему.

— Чернявин, в чем дело?

Игорь надвинулся на Санчо разгневанным лицом.

— К черту! — кричал он. — С какой стати! Какие-то проножки! Рашпили! Для чего это мне? Цех, называется,— мухи, как собаки!

Краем глаза он видел, как Середин, не прекращая работы, неодобрительно мотнул головой, другие обернули к ним удивленные, но серьезные лица. Санчо сказал:

— А что же? Просить тебя не будем. Иди, выйти можно здесь.

— И пойду.

Не глядя ни на кого, Игорь переступил через кучу деталей. Санчо что-то сказал ему вслед, но Игорь не расслышал. Не услышал потому, что увидел перед собой неожиданное видение: та самая девушка, которую он сегодня встретил в парке, присела у корзинки, в которой лежали обрезки, но лицо подняла к нему, и на лице этом была задорная и откровенная насмешка.

26. Герой дня

День пошел вперед, жаркий, неслаженный и... одинокий. В столовой за ужином хохотали по-запорожски, а Гонтарь, который ничего и не видел, со вкусом рассказывал:

— Говорят — мухи, как собаки.

У соседнего стола звонкий пацаний голос деловито произнес:

— Безобразие! Мух надо на цепь посадить!

И за тем столом тоже хохотали.

Игорь сидел, отвернувшись к окну, злой. Нестеренко спросил:

— Значит, не будешь работать?

— Нет.

— А жить в колонии будешь?

— Меня прислали сюда, я не просил.

— Здорово! — Зорин сделался серьезным. Хохот везде прекратился. Игорь заметил несколько лиц, смотрящих на него с интересом, а может быть, даже и с уважением. Игорь почувствовал гордость, встал за столом и сказал Зорину громко, так, чтобы и другие слышали:

— Видите ли, не чувствую у себя призвания чистить ваши проножки.

И вышел из столовой.

Он был даже рад. На его лице восстановилась обычная уверенность в себе, склонность к ехидной улыбке, глаза сами собой стали сильней прищу-

риваться. Перед сигналом «спать» он гулял в парке, посмотрел волейбол. Среди других, наблюдавших игру, приметил группу девочек и между ними, рядом с Клавой Кашириной, полное, тронутое веснушками, но очень милое лицо. Девушка посмотрела на него, улыбнулась, о чем-то зашептала подруге. У нее были ярко-рыжие кудри. Игорь придвинулся ближе, и она спросила:

— Твоя фамилия Чернявин? Ты играешь в волейбол?

— Играю.

— А мух не боишься?

Девочки засмеялись, одна Клава смотрела на Игоря осуждающим взглядом, презрительно сжала красивые губы. Но Игорь не обиделся.

— Мухи мешают только в вашем сборочном цехе. Мешают этой важной работе. Тут нужно проножку чистить, а она без всякого дела.

— А ты сколько проножек зачистил?

Девочки притихли, но было видно: притихли только для того, чтобы услышать его ответ и смеяться над ним еще больше, еще веселее. Игорь не хотел потешать их:

— Я отказался от этой глупой работы. И без меня найдутся охотники чистить разные проножки, сороконожки.

— А ты что будешь делать?

Рыжая девочка спрашивала со спокойной улыбкой, приятным грудным голосом, очень теплым и без насмешки. И никто больше не хохотал. Игорь был доволен успехом: он умел вызвать к себе уважение. И на вопрос постарался ответить с достоинством:

— Я еще посмотрю: роль для меня найдется.

Впечатление было такое, какого он хотел. Девочки посмотрели на него с уважением, но Клава неожиданно сказала, отворачиваясь:

— Роль для тебя уже нашлась: шута горохового.

И тут все девочки громко захохотали, даже глаза их увлажнились от смеха. Игорю пришлось заинтересоваться волейбольной партией и отойти от них. Но в общем этот разговор его не особенно смутил. Конечно, Клава Каширина у них бригадир, конечно, она может позволить себе назвать Игоря шутом гороховым, а они будут смеяться. Но вот другая, рыжая, эта не очень смеялась. Кто она такая? Пробегающего Рогова Игорь спросил:

— Кто эт рыжая?

— Рыжая? А это Лида. Лида Таликова, бригадир одиннадцатой.

Ого, тоже бригадир, а не очень смеялась.

В спальне, когда все собрались, Игоря приятно поразило, что никто не вспоминал о его уходе из цеха, все держали себя так, как будто в бригаде ничего не случилось, каждый занимался своим делом, читали, писали. Санчо и Миша Гонтарь играли на диване в шахматы. Нестеренко разложил на полу газеты и разбирал на них какой-то странный прибор, весь состоящий из пружин и колес. Игорь ходил один по комнате и стеснялся спросить, что это за прибор. На дворе заиграли короткий сигнал, Нестеренко удивленно поднял голову:

— Да неужели на рапорты? Ох, и время ж бежит! Саша, пойди сдай рапорт, а то у меня руки.

Он расставил черные пальцы. Александр Остапчин, помощник бригадира, повертелся перед зеркалом, посмотрел на всех красивыми глазами:

— И хитрый же у вас бригадир! Это, значит, с Алексеем разговаривать насчет Мишиных ногтей?

Все улыбнулись. Нестеренко ответил хмуро:

— Ну и поговоришь, чего там. Скажешь, этот франт не успел. Да ведь ты любишь поговорить, для тебя будет... вроде прокурорская практика. А если Гонтарю попадет, тоже не жалко.

Он бросил убийственный взгляд на Гонтаря. Гонтарь крякнул и с досадой хлопнул себя по затылку.

Остапчин еще раз глянул в зеркало и выбежал из спальни. Игорь спросил:

— Товарищ Нестеренко, что это такое?

Нестеренко поднял голову, нехотя повел глазом на Игоря и махнул рукой, что, безусловно, могло обозначать только одно: отвяжись!

Игорь подошел к шахматистам. Рука Гонтаря еще лежала на затылке. Он не обратил внимания на Игоря, а, подвигая фигуру, тихо спросил:

— Как ты думаешь, Санчо, меня сейчас вызовут к Алексею?

— Тебя?

— Да, по рапорту Зырянского.

Санчо взялся за голову коня:

— По рапорту? Думаю, нет. Алексей по таким пустякам не вызывает.

— А вдруг?

— Нет. А Сашке что-нибудь скажет. А кого позовет, так, может, этого лодыря.

Санчо кивнул на Игоря. Гонтарь снял руку с затылка, отодвинул Игоря подальше.

— Отойди, свет заслоняешь.

Но Игоря заинтересовало последнее слово Зорина:

— Меня позовет? Пожалуйста! Я уже испугался, синьоры!

Игорь победоносно посмотрел на всех, но никто не обратил на него внимания.

Через пять минут в спальню ворвался Остапчин, переполненный вами, багрово-красный и явно смущенный.

— Под арест на один час! — закричал он, вытаращивая на всех глаза.

Гонтарь показал на себя пальцем:

— Меня?

— Меня, — ответил с тем же жестом Остапчин.

— Тебя? — все вскочили с мест, глаза у всех сделались задорно-круглыми. Даже Харитон Савченко совершил какое-то быстрое движение.

— Тебя? Ой!! — Нестеренко повалился спиной на пол, дрыгая в воздухе ногами, хохотал громовым хохотом. Гонтарь снова отправил руку на затылок и улыбался смущенно. Санчо обрадовался больше всех, прыгал, воздевая руки, ухватил Остапчина за руки:

— За ногти?

— Да за ногти же! Робеспьер, дрянь такая, мало того, что рапорт сдал, да еще с подробностями. После рапортов я говорю: «Алексей Степанович, Гонтаря нужно подтянуть», а он мне отвечает: «Я у вас не нанимался всех подтягивать, другое дело Чернявин, вчера пришел, а Гонтарь пять лет у вас живет». Я ему и скажи: «Зырянский придирается». Тут мне и попало, насилу вырвался. Во-первых, говорит, споры во время рапорта не допускаются,

а во-вторых, и в рапорте восьмой бригады, который ты сдавал, сказано: отмечается неряшливость колониста Михаила Гонтаря. За неумение держать себя во время рапортов и за неряшливость в бригаде — один час ареста.

Все слушали молча, широко открыв глаза. Игорь забыл о собственных делах и в увлечении сказал:

— А ты ему объяснил же?

Все на Игоря посмотрели, как на докучный посторонний предмет, но Остапчин ответил:

— Конечно, объяснил: «Есть, один час ареста».

Нестеренко снова ударился в хохот:

— Вот здорово! Хорошо, что я тебя послал.

— Я больше никогда не пойду...

Нестеренко ответил ему весело, с дружеской угрозой:

— Попробуй не пойти. Да ты и не за меня сел, а за себя. Любишь трепаться и на рапортах трепанулся. Как это можно такое говорить: дежурный придирается! Подумать только! Я удивляюсь, что ты дешево отделался, видно, сегодня Алексей добрый.

Игорю вдруг стало обидно и не по себе. Черт их разберет, что у них делается: совершенно было ясно, что Остапчин получил один час ареста незаслуженно, а настоящий виновный, Миша Гонтарь, остался безнаказанным. Наконец, было обидно и другое: почему-то все, даже Алексей Степанович, интересуются таким пустяком, как остриженные ногти Гонтаря, и никто не обращает внимания на открытый, демонстративный отказ от работы Игоря Чернявина?

Когда укладывались спать, зашел в спальню Алеша Зырянский, уже без повязки, и его почему-то встретили радостными возгласами, обступили, а сам Зырянский в изнеможении упал на диван:

— Сашка влопался! Я уверен: Алексей сейчас сидит в кабинете и смеется: Александр Остапчин пришел отдать рапорт! А между прочим, рапорт он сдает красиво, прямо лучше всех.

И Зырянский ничего не сказал об Игоре, даже не вспомнил, что он есть в спальне и что он сегодня демонстративно отказался от работы в сборочном цехе.

27. Тебе отдуваться

Утром Игорь встал вовремя и долго возился с постелью. Может быть, он и еще поспал бы, но вчера забыл спросить, кто сегодня дежурит, ему не хотелось опять оказаться в постели перед «дамой». Оказалось, что он сделал хорошо, потому что поверку принимал сам Захаров, а вместе с ним вошла дежурным бригадиром Лида Таликова. Захаров был весел, в белой косоворотке. Так же как и дежурные бригадиры, он поднял руку и сказал:

— Здравствуйте, товарищи!

Игорю показалось, что ему ответили дружнее и любовнее, чем отвечали дежурным, а в то же время чувствовалось, что Захарова и побаивались здорово. Он осмотрел спальню без придирок, ни в какие тайники не заглядывал, все это проделывал юркий и маленький ДЧСК. Алексей Степанович

все-таки попросил Гонтаря показать ногти, в этот момент Остапчин весело покраснел, но Захаров ничего не заметил. Мимо Игоря он прошел бесчувственно. Нестеренко спросил:

— Алексей Степанович, какая сегодня картина, не знаете?

— Говорят, «Броненосец Потемкин». Поехали за картиной, Лида?

— Поехали.

Уходя, Алексей Степанович глянул на лампочку под потолком, и все закричали обиженными голосами:

— Да это точечки такие! Стекло такое! Сколько говорили, никто не переменяет!

Захаров остановился в дверях:

— Чего вы кричите?

— А вы посмотрели на лампочку.

— Мало ли куда я посмотрю, так вы кричать будете?

— Мы уж знаем, как вы смотрите!

Игорь отправился завтракать. По дороге никто с ним не заговорил, а за столом Санчо и Гонтарь о чем-то громко вспоминали. Нестеренко ел молча и осматривал столовую.

В столовой в одну смену сидело сто человек. Все они сидели за небольшими столами, покрытыми белыми скатертями, и, по правде сказать, все они Игорю нравились. Хотя он и жил в колонии только четвертый день, но уже многих знал, знал ДЧСК, очень похожих друг на друга, аккуратных, въедливых и строгих мальчиков и девочек в возрасте четырнадцати-пятнадцати лет. Примелькались и другие лица. В каждом лице Игорь бессознательно отличал два характера, две линии. Что-то в каждом было свое, мальчишеское, назвать это Игорь не умел, но это были несомненная энергия, агрессивность, проказливость, боевой нрав и самостоятельный, плутовской, расторопный взгляд, от которого трудно укрыться — все более или менее знакомые типы лиц и привычек, которые Игорь и раньше наблюдал и которые ему нравились. С другой стороны, у всего этого народа, живущего в колонии, ясно были заметны и другие черты характера. Игорь отмечал их тоже бессознательно, и даже самому себе не говорил утвердительно, что черты эти — именно от колонии, но это были те черты, которые он нигде не наблюдал, которые вызывали у него симпатию и возбуждали желание сопротивляться.

Не было никаких сомнений, что вся эта публика, заседающая в столовой, составляет одну семью, очень дружную, сбитую — и гордую своей собранностью. Особенно нравилось Игорю, что за четыре дня ему не пришлось наблюдать не только драк или ссор, но даже сколько-нибудь заметной размолвки, озлобленного или вздорного тона. Сначала Игорь объяснял это тем, что все боялись Захарова или бригадиров. Может быть, и боялись, но почему-то этой боязни не было видно. Правда, дежурные бригадиры и бригадиры в спальнях давали распоряжения, не оглядываясь, не сомневаясь в исполнении, тоном настоящих начальников, видно было, что они привыкли это делать, как будто годами командовали в колонии. Но Санчо рассказывал Игорю, что большинство бригадиров все новые, что только Нестеренко и Зырянский занимают свои посты более полугода. Кроме того, Игорь заметил, что не только бригадиры, но и все остальные, обладающие какой-то крупинкой власти только на один день, распоряжаются этой властью с

уверенностью, без осторожной оглядки, а колонисты принимают эту власть как вполне естественное и необходимое явление[22]. Так держались и ДЧСК, и дежурные по столовой и по бригадам, и часовые у парадного входа.

Часовыми обыкновенно стояли малыши, те самые малыши, которые с визгом гоняли по парку, кувыркались в пруду, перекидывались на аппаратах в физкультурном городке. У них были разные лица и разные походки, разные голоса и повадки, были между ними и «вредные» пацаны, зубоскалы и насмешники, выдумщики и фантазеры, у многих бродили в голове всякие ветры. Но как только такой пацан брал в руки винтовку, он сразу становился похожим на Петьку Кравчука, встретившего Игоря в день его прибытия. Как Петька, они становились серьезны, подтянуты, старались говорить басом и были ослепительны и официальны. Обязанности были несложные: не впускать в здание посторонних и следить, чтобы все вытирали ноги. Никаких пропусков ни для взрослых, ни для колонистов в колонии не было, часовые просто на глаз хорошо знали, кого можно пропустить, а кого нельзя. А что касается вытирания ног, то в этом вопросе они все были одинаково беспристрастны и неумолимы. Игорь сам видел вчера, как такой малыш остановил Виктора Торского, пролетевшего со двора с предельной спешностью:

— Витя, ноги!

— Да спешу очень, Шурка!

Но Шурка отвернулся и даже не повторил приказания. И Виктор Торский, глава всей этой республики, только с секунду подумал и с половины лестницы возвратился к тряпке вытирать ноги, а Шурка еще и следил, как он вытирает.

Здесь, в колонии, была единая, крепко склеенная компания, а чем она склеена, разобрать было трудно. Иногда у Игоря возникало странное впечатление, как будто все они — и те, кто постарше, и пацаны, и девочки — где-то, по секрету, очень тайно договорились о правилах игры и сейчас играют честно, соблюдая эти правила и гордясь ими, гордясь тем больше, чем правила эти труднее. Иногда Игорю казалось, что и эти правила, и вся эта игра придуманы нарочно, чтобы посмеяться, пошутить над Игорем, посмотреть, как он будет играть, не зная правил. И досадно было, что вся игра проходила с таким видом, как будто никакой игры нет, как будто так и полагается и иначе быть не может, как будто везде нужно встречать дежурного бригадира салютом, везде нужно называть заброшенный кусок двора сборочным цехом и чистить в нем бесчисленное количество проножек.

И поэтому, при всей своей симпатии к этому веселому и гордому обществу, Игорь не хотел сдаваться. Он допускал, что легко дело не пройдет, что все эти добродушно-бодрые пацаны и девчата только вид такой делают, как будто никакого Игоря не существует, как будто присутствие в столовой одного лодыря и дармоеда среди такой массы трудящихся никого не раздражает. Игорь понимал, что должен наступить момент, когда они все на него набросятся и захотят заставить работать. Очень интересно, как они это сделают. Силой — не имеют права. Голодом? Тоже не имеют права. Оставят жить в колонии и позволят не работать? Едва ли. Выгонят? Им, конечно, не хочется выгонять. Посмотрим.

Игорь завтракал и любовался колонистами. Они тоже завтракали, все в школьных костюмах, свежие, чистые, разговаривали друг с другом, не-

громко смеялись, иногда гримасничали. Поглядывали на сегодняшнего симпатичного дежурного бригадира Лиду Таликову, проходившую между столами.

Вот она остановилась у соседнего стола. Смуглый мальчик поднял на нее глаза. Она спросила у него:

— Филька, ты зачем книги притащил в столовую?

Он встал за столом, ответил:

— Так, очень нужно, я хотел правило повторить.

— Тебе лень после завтрака подняться в спальню за книгами?

Филька ничего не ответил, отвернулся, и выражение у него было такое: говорить она будет недолго, потерплю.

— Что это за манера отворачиваться?

Филька обиделся:

— Никакая вовсе манера, а что ж я буду говорить?

— Чтобы этого больше не было. Нельзя учебники носить в столовую. И отворачиваться нечего.

Филька облегченно вздохнул, поднял руку:

— Есть, книг не носить.

Когда Лида удалилась, все четыре стриженые головы сблизились, пошептали, потом одна оглянулась на Лиду, снова пошептали. Лида подошла к Игорю, они обернулись тоже к Игорю.

— Чернявин, ты сегодня выходишь на работу?

Игорь открыл рот. Гонтарь сказал строго:

— Встань.

Игорь поднялся.

— Не выхожу.

— У нас не хватает рабочих рук, ты об этом знаешь?

— Я не собираюсь быть столяром.

Лида пояснила ему ласково:

— А если на нас нападут враги, ты скажешь, я не собираюсь быть военным?

— Враги, это другое дело.

И тот самый Филька, который только что отвечал перед дежурной, сказал своему столу, но сказал очень громко, на всю столовую:

— Это другое дело! Он тогда под кровать залезет.

Лида строго посмотрела на Фильку. Он улыбнулся ей проказливо и радостно, как сестре.

— Значит, не выйдешь?

— Нет.

Лида что-то записала в блокнот и отошла.

После обеда Игорь читал книгу: нашел в тумбочке Санчо «Партизаны». В спальню вошел Бегунок, вытянулся у дверей.

— Товарищ Чернявин! ССК передал: в пять часов вечера совет бригадиров. Чтобы ты пришел. Отдуваться тебе.

— Хорошо.

— Придешь или приводить надо?

Володя спросил серьезно, даже губами что-то проделывал от серьезности при слове «приводить».

— Приду.

— Ну смотри, в пять часов быть в совете.

Помолчали.

— Чего ж ты не отвечаешь?

Игорь глянул на его серьезную, требовательную мордочку, вскочил, сказал со смехом:

— Есть, в пять часов быть в совете!

— То-то же! — строго сказал Володя и удалился.

28. После дождя

В четыре часа прошла гроза. По лесу била аккуратно, весело, как будто договор выполняла, колонию обходила ударами, поливала крупным, густым, сильным дождем. Пацаны в одних трусиках бегали под дождем и что-то кричали друг другу. Потом гроза ушла на город, над колонией остались домашние хозяйственные тучки и тихонько сеяли теплым дождиком. Пацаны побежали переодеваться. Более солидные люди, переждав ливень, быстро на носках перебегали от здания к зданию. У парадного входа, с винтовкой, аккуратненькая, розовая Люба Ротштейн стоит над целой территорией сухих мешков, разостланных на полу, и сегодня пристает к каждому без разбора:

— Ноги!

— Богатов, ноги!

— Беленький, не забывай!

К пацанам, принявшим холодный душ, она относится с нескрываемым осуждением:

— Все равно не пущу.

— Да я вытер ноги, Люба!

— Все равно с тебя течет.

— Так что же мне, высыхать?

— Высыхай.

— Так это долго.

Но Люба не отвечает и сердито поглядывает в сторону. Пацан кричит кому-то в окно на втором этаже, тому, кого не видно и, может быть, даже в комнате нет, кричит долго,

— Колька! Колька! Колька!

Наконец кто-то выглядывает:

— Чего тебе?

— Полотенце брось.

Через минуту натертый докрасна пацан улыбается подобревшей Любе и пробегает в вестибюль.

В пять часов Володя проиграл «сбор бригадиров», посмотрел на дождик и ушел в здание.

К парадному входу прибрел совершенно промокший, без шапки, в истоптанных ботинках, похудевший и побледневший Ваня Гальченко. Он остановился против входа и осторожно посмотрел на великолепную Любу.

— Ты откуда, мальчик?

— Я? Я пришел сюда...

— Вижу, что ты пришел, а не приехал. А кого тебе нужно?

— Примут меня в колонию?
— Скорый ты какой. У тебя есть ордер?
— Какой ордер?
— Бумажка какая-нибудь есть?
— Бумажки нету.
— А как же? По чему тебя принимать?
Ваня развел руками и пристально посмотрел на Любу. Люба улыбнулась.
— Чего ты на дожде мокнешь? Стань сюда... Только тебя не примут.
Ваня вошел в вестибюль. Стал на мешках, засмотрелся на дождь. Глянул на Любу, быстро рукавом вытер слезы.

В этот самый момент Игорь Чернявин стоял на середине в комнате совета бригадиров и «отдувался». Народу в комнате было много. На бесконечном диване сидели не только бригадиры, сидели еще и другие колонисты, всего человек сорок. Из восьмой бригады, кроме Нестеренко, были здесь Зорин, Гонтарь, Остапчин. Рядом с Зориным сидел большеглазый, черноволосый Марк Грингауз, секретарь комсомольской ячейки, и печально улыбался, может быть, думал о чем-то своем, а может быть, об Игоре Чернявине — разобрать было трудно. За столом ССК сидели Виктор Торский и Алексей Степанович. В дверях стояли пацаны и впереди всех Володя Бегунок. Все внимательно слушали Игоря, а Игорь говорил:
— Разве я не хочу работать? Я в сборочном цехе не хочу работать. Это, понимаете, мне не подходит. Чистить проножки, какой же смысл?
Он замолчал, внимательно провел взглядом по лицам сидящих. На лицах выражались нетерпение и досада, это Игорю понравилось. Он улыбнулся и посмотрел на заведующего. Лицо Захарова ничего не выражало. Над большой пепельницей он осторожно и пристально маленьким ножиком чинил карандаш.
— Дай слово,— сказал Гонтарь.
Виктор кивнул. Гонтарь встал, вытянул вперед правую руку:
— Черт его знает! Сколько их таких еще будет? Я живу в колонии пятый год, а их, таких барчуков, стояло в этой самой комнате человек, наверное, тридцать.
— Больше, — поправил кто-то.
— И каждый торочит одно и то же. Аж надоело. Он не собирается быть сборщиком. А что он умеет делать, спросите? Жрать и спать, больше ничего. Придет сюда, его, конечно, вымоют, а он станет на середину и сейчас же: я не буду сборщиком. А чем он будет? Угадайте, чем он будет. Дармоедом будет, так и видно. Я понимаю, один такой пришел, другой, третий. А то сколько! А мы уговариваем и уговариваем. А я предлагаю: содрать с него одежу, выдать его барахло, иди! Одного выставим, все будут знать.
Зырянский крикнул:
— Правильно!
Виктор остановил:
— Не перебивай. Возьмешь потом слово.
— Да никакого слова я не хочу. Стоит он того, чтобы еще слово брать? Он не хочет быть столяром, а мы все столяры? Почему мы должны его кормить, почему? Выставить, показать дорогу.
— Его нельзя выставить, пропадет, — спокойно сказал Нестеренко.
— И хорошо. И пускай пропадает.

В совете загудели сочувственно. Высокий, полудетский голос выделился:

— Прекратить разговоры и голосовать.

Игорь навел чуткое ухо, надеялся услышать что-либо более к себе расположенное. Захаров все чинил свой карандаш. В голове Игоря промелькнуло: «А пожалуй, выгонят». И стало вдруг непривычно тревожно.

На парадном входе Люба спросила грустного Ваню Гальченко:

— Ты где живешь?

— Нигде.

— Как это «нигде»? Вообще ты живешь или умер?

— Вообще? Вообще живу, а так нет.

— А ночуешь где?

— Вообще, да?

— Что у тебя за глупый разговор? Где ты сегодня спал?

— Сегодня? Там... в одном доме... в сарае спал. А почему меня не примут?

— У нас мест нет, а мы тебя не знаем.

Ваня снова загрустил и снова ему захотелось плакать.

29. Все, что хотите...

В совете бригадиров речь говорил Марк Грингауз. Он стоял не у своего места на диване, а подошел к письменному столику, опирался на него рукой. Захаров уже очинил карандаш и на листке бумаги что-то тщательно вырисовывал. Марк говорил медленно, тихо, каждое слово у него имело значение:

— Сколько раз уже здесь говорилось, и Алексей Степанович тоже подчеркивал, — как это так выгнать? Куда выгнать? На улицу? Разве мы имеем право? Мы не имеем такого права!

Марк большими черными глазами посмотрел на Зырянского. Зырянский ответил ему задорным взглядом, понимающим всю меру доброты оратора и отрицающим ее.

— Да, Алеша, не имеем права. Есть советский закон, а закону мы обязаны подчиняться. А закон говорит: выгонять на улицу нельзя. А вы, товарищи бригадиры, всегда кричите: выгнать!

— А что же, — крикнул Гонтарь, — смотреть? Терпеть?

— Выгонять нельзя, — Грингауз нажал голосом и головой, — а, конечно, мы не можем терпеть, потому что у нас социалистический сектор, а в социалистическом секторе все должны работать. Игорь говорит: буду работать в другом месте. Тоже допустить не можем: в социалистическом секторе должна быть дисциплина. Обойди у нас всю колонию, хоть одного найдешь, который сказал бы, хочу быть сборщиком? Все учатся, все понимают: дорог у нас много и дороги прекрасные. Тот хочет быть летчиком, тот геологом, тот военным, а сборщиком никто не собирается, и даже такой квалификации вообще нет. Никаких капризов колония допустить не может, а только и выгонять нельзя.

— В банку со спиртом... посадить!

Марк оглянулся на голос. Смотрел на него, покраснев до самого вихре-

вого своего чубчика, Петька Кравчук. Покраснел, а все-таки смотрел в глаза, очень был недоволен речью Грингауза.

Витя Торский прикрикнул на Петьку:

— Ты чего перебиваешь? Залез сюда, так сиди тихо.

Марк, продолжая смотреть все-таки на Петьку, пояснил:

— Выгонять нельзя, но и оставлять его я не предлагаю. Если он не хочет подчиниться социалистической дисциплине, нужно его отправить.

Нестеренко добродушно смотрел мимо Марка:

— В какой же сектор ты его отправишь, Марк?

Громко засмеялись и бригадиры, и гости. Захаров поднял на Марка любовно-иронический взгляд.

Марк улыбнулся печально:

— Его нужно отправить куда-нибудь... в детский дом...

Петька Кравчук в этот момент испытал буйный прилив восторга.

Он высоко подскочил на диване, кого-то свалил в сторону и заорал очень громко, причем обнаружилось, что у него вовсе нет никакого баса:

— Я приветствую, я приветствую! Отправить его в наш детский сад... в этот детский сад, где пацаны... который для служащих!

Виктор Торский и сам хохотал вместе со всеми, но потом нахмурил брови:

— Петька, выходи!

— Почему?

— Выходи!

Салют, который отдал Петька, больше был похож на жест возмущения:

— Есть!

Петька вышел. За ним Бегунок. Слышно было, как в коридоре они звонко заговорили и засмеялись. Захаров что-то рисовал на своей бумажке, глаза еле заметно щурились. Володя Бегунок выскочил на крыльцо и сразу увидел Ваню Гальченко.

— Ты пришел?

Ваня обрадовался:

— Пришел, а как дальше-то?

— Стой! Я сейчас!

Он бросился в вестибюль и немедленно возвратился:

— Ты есть хочешь?

— Есть? Ты знаешь... лучше...

— Подожди, я сейчас.

Володя осторожно вдвинулся в комнату совета бригадиров. Игорь попрежнему стоял на середине, и видно было, что стоять ему уже стыдно, стыдно оглядываться на присутствующих, стыдно выслушивать предложения, подобные Петькиному. И Виктору Торскому стало жаль Игоря.

— Ты присядь пока. Подвиньтесь там, ребята. Слово Воленко.

Бегунок поднял руку:

— Витя, разреши выйти дежурному бригадиру.

— Зачем?

— Очень нужно! Очень!

— Лида, выйди. В чем там дело?

Лида Таликова направилась к выходу, Володя выскочил раньше нее.

Воленко встал, был серьезен.

— У Зырянского всегда так: чуть что, выгнать. Если бы его слушаться, так в колонии один бы Зырянский остался.

— Нет, почему? — сказал Зырянский. — Много есть хороших товарищей.

— Так что? Они сразу стали хорошими, что ли? Куда ты его выгонишь? Или отправишь? Это наше несчастье. Присылают к нам белоручек, а мы обязаны с ними возиться. Кто у вас шефом у Чернявина?

— Зорин.

— Так вот пускай Зорин и отвечает.

Многие недовольно загудели. Санчо вскочил с места.

— Ты добрый, Воленко! Вот возьми его в первую бригаду и возись!

Воленко снисходительно глянул на Зорина:

— Не по-товарищески говоришь, Санчо. У вас и так в восьмой собрались одни философы, а у меня посчитайте: Левитин, Ножик, Московченко, этот самый Руслан. У меня четыре воспитанника, а вы сразу закричали — выгнать.

Игорь теперь сидел между Нестеренко и бригадиром второй Поршневым. Ему и теплее становилось от слов Воленко, и в то же время разыгрывалась неприятная внутренняя досада — что это они его рассматривают, как букашку. Залезла к ним в огород букашка, и они смотрят на нее, будет из нее толк или не будет. Вспоминают каких-то других букашек. Никто не хочет обратить внимание, что перед ними сидит Игорь Чернявин, а не какой-нибудь Ножик или Руслан, которые все-таки не решились отказаться от работы.

У главного входа Лида Таликова смотрит на Ваню, сочувствует ему, но у нее сегодня душа дежурного бригадира, и эта душа заставляет ее говорить:

— Принять в колонию? А кто тебя знает? Может, ты все врешь.

Ваня из последних сил старался рассказать этой важной девушке что-то особенное, но слова находились все одни и те же:

— Ничего нету... и денег нету... и ночевать негде. Я был в комонесе и был в споне... там тоже... ничего нету. Нету — и все!

— А родители?

— Родители? — Ваня вдруг заплакал. Плачет он беззвучно и не морщится при этом, просто из глаз льются слезы.

Володя дернул Лиду за рукав, сказал горячо:

— Лида! Ты понимаешь? Надо его принять!

Лида улыбнулась пылающим очам Бегунка:

— Ну!

— Честное слово! Ты подумай!

— Подожди здесь, — Лида быстро ушла в дом.

Бегунок поспешил за ней, но успел еще сказать:

— Ты не робей! Самое главное, не робей! Держи хвост трубой, понимаешь?

Ваня кивнул. Собственно говоря, это он понимал, но хвост у него уже отказывался держаться трубой.

В совете бригадиров говорил Алексей Степанович. По-прежнему в руках у него остро очиненный карандаш. Говорил сурово, иногда поднимая взгляд на Игоря:

— Нельзя, Чернявин, в таких легких вопросах не разбираться. Ты пришел к нам, и мы тебе рады. Ты член нашей семьи. Ты не можешь теперь думать только о себе, ты должен думать и обо всех нас, обо всей колонии. В одиночку человек жить не может. Ты должен любить свой коллектив, познакомиться с ним, узнать его интересы, дорожить ими. Без этого не может быть настоящего человека. Конечно, тебе не нужно сейчас чистить проножки. Но это нужно для колонии, а значит, и для тебя нужно. Кроме того, и для тебя это важное дело. Попробуй выполнить норму: зачистить 160 проножек за четыре часа. Это большой труд, он требует воли, терпения, настойчивости, он требует благородства души. К вечеру у тебя будут болеть и руки и плечи, зато ты зачистил 160 проножек на 120 театральных мест. Это важное советское дело. Раньше наш народ только в столицах ходил в театр, а сейчас мы выпускаем в месяц тысячу мест, и все не хватает, а разве мы одни делаем? Какое мы важное дело делаем! Каждый месяц по всему Союзу мы ставим тысячу мест. Мы отправляем наши кресла целыми вагонами в Москву, в Одессу, в Астрахань, в Воронеж. Приходят люди, садятся в эти кресла, смотрят пьесу или фильм, слушают лекцию, учатся. А ты говоришь, тебе это не нужно. Нам же за эту работу еще и деньги платят. За эти деньги через год или два мы построим новый завод, тоже необходимый и для нас, и для всей страны. Тебя здесь противно слушать: «Я не собираюсь быть сборщиком». С нашей помощью, как член нашего коллектива, ты будешь тем, чем ты захочешь. А проножка — это мелочь. Когда у людей нет мяса, они едят ржаной хлеб и должны быть благодарны этому хлебу.

Игорь слушал внимательно. Ему нравилось, как говорил Захаров. Игорь представлял себе всю страну, по которой разбросаны проножки, это ему тоже нравилось. Игорь видел, как, затаив дыхание, слушали колонисты, которым, очевидно, не часто приходилось слышать речи Захарова. И сейчас было ясно видно, почему все колонисты составляют один коллектив, почему слово Захарова для них дорого.

В дверях стояли Лида и Бегунок. Захаров кончил говорить, посмотрел на кончик своего карандаша — и только теперь улыбнулся.

— Лида, чем ты так встревожена?

— Алексей Степанович! Мальчик там плачет, просится в колонию.

— Можно оставить переночевать, а в колонию некуда. Отправим нибудь.

— Хороший такой мальчик.

Захаров еще раз улыбнулся волнению Лиды и крякнул:

— Эх! Ну... давай сюда его.

Лида вышла, Володя вылетел вихрем. Виктор Торский вкось повел строгим всевидящим глазом:

— Говори, Чернявин, последнее слово. Только не говори глупостей. Выходи на середину и говори.

Игорь вышел, приложил руку к груди:

— Товарищи!

Он глянул на лица. Ничего не понятно, просто ждут.

— Товарищи! Я не лентяй. Вы привыкли, вам легче. А тут рашпиль, ервый раз вижу, он падает, проножки...

Зорин подсказал дальше:

— Мухи!

Все засмеялись, но как-то нехотя.

— Не мухи, а какие-то звери летают...

Зорин закончил:

— И рычат.

Под общий смех, но уже не такой прохладный, открылась дверь, и Лида пропустила вперед Ваню Гальченко. И все еще продолжая смеяться, взглянул на него Игорь. Оглянулся и вдруг, вытаращив глаза, закричал горячо и радостно:

— Да это же Ванюша! Друг!

— Игорь! — со стоном сказал Ваня и точно захлебнулся.

Игорь уже тормошил его:

— Где ты пропал?

Виктор загремел возмущенно:

— Чернявин, к порядку! Забыл, что ли?

Игорь повернул к нему лицо, все вспомнил и с разгона, протягивая руки, обратился к совету:

— Ах, да! Милорды!

Он сказал это слово так горячо, с такой душевной тревогой, с такой любовью, что все не выдержали, снова засмеялись, но глаза сейчас смотрели на Игоря с живым и теплым интересом, и не было уже в них ни капельки отчужденности.

— Товарищи! Все что хотите! Проножки? Хорошо! Алексей Степанович! Делайте что хотите! Только примите этого пацана!

— А мухи?

— Черт с ними! Пожалуйста!

Виктор кивнул на старое место:

— Сядь пока, посиди.

30. Славная, непобедимая четвертая бригада

Виктор спросил:

— Тебе что нужно?

Ваня осмотрел всех, и ему все понравилось — такой знакомой была длинная улыбка Игоря, так тепло ощущалось соседство Володи Бегунка и девушки в красной повязке. Ваня не затруднился с ответом:

— Чего мне нужно? Я, знаете, что? Я буду здесь жить.

— Это еще посмотрим, будешь или нет.

Но Ваня был уверен в своем будущем:

— Буду. Уже целый месяц все сюда иду и иду.

— Ты беспризорный?

— Нет... я еще не был беспризорным.

— Как тебя зовут?

— Ваня Гальченко.

— Родители у тебя есть?

Ваня на этот вопрос не ответил, а только головой завертел, не отрываясь от Виктора взглядом.

— Нету, значит, родителей?

— Они... они были, только взяли и уехали.

— Отец и мать? Уехали?

— Нет, не отец и мать.

— Разбери тебя. Рассказывай по порядку.

— По порядку? Отец и мать умерли, давно, еще была война, тогда отец пошел на войну, а мать умерла...

— Значит, родители умерли?

— Одни умерли, а потом были другие. Там... дядя был такой, и он меня взял, и я жил, а потом он женился, и они уехали.

— Бросили тебя?

— Нет, не бросили. А сказали: пойди на станцию, купи один фунт баранины. Я пошел и все ходил, а баранины нигде нету. А они взяли и уехали.

— Ты пришел домой, а их нет?

— Нет. Ничего нет. И родителей нету, и вещей нету. Ничего нету. А там жил хозяин такой, так он сказал: ищи ветра в поле.

— А потом?

— А потом я сделал ящик и ботинки чистил. И поехал в город.

— Та-ак, — протянул Виктор. — Как скажете, товарищи бригадиры?

Сказал Нестеренко:

— Пацан добрый, да и куда же ему деваться? Надо принять.

Кто-то несмело:

— Но у нас же мест нет?

Володя стоял у дверей:

— Вот я скажу, Торский!

— Говори.

— Мы с ним вместе будем. Вместе! На одной кровати.

Зырянский перед этим долго рассматривал Ваню, а теперь одобрительно притянул его к себе:

— Правильно, Володька, давайте его в четвертую бригаду.

Игорь встал:

— А я прошу, если можно, в восьмую. Я тоже могу уступить пятьдесят процентов жилплощади.

Володя обиженно закивал на Игоря головой:

— Смотри ты какой! Ты еще сам новенький! В восьмую! А твой бригадир молчит! А ты за бригадира?

Виктор на Володьку прикрикнул:

— Володька, это что за разговоры!

Володя отошел к дверям, но на Игоря смотрел сердитым, темным глазом, и полные губы его шевелились, продолжая что-то шептать, видно, по адресу Игоря.

Из бригадиров коротко высказывалось несколько человек, каждый не больше, как в десяти словах:

— Пока еще не разбаловался, нужно взять.

— Мальчишка правильный, видно. Берем.

— Это хорошо. Он еще не познакомился с разными там тетями, так из него человек будет. А нам отгонять его от колонии, рука ни у кого не повернется.

Клава Каширина недовольно сказала:

— И чего вы все одно и то же? Конечно, нужно принять, а только пускай Алексей Степанович скажет, как там по правилам выходит.

Ее поддержали, обернулись к Захарову, но Володя Бегунок предупредил слово заведующего:

— Вот постойте! Вот постойте! Вот я расскажу. Алексей Степанович, помните, в прошлом году пришел такой пацан, да этот, как же, Синичка Гришка, он у тебя в десятой бригаде, Илюша. А его тогда не хотели принимать. Сказали: места нету и закона такого нету. И не приняли. А он две недели в лесу жил. И опять пришел. И опять его не приняли. Сказали: почему такое нахальство, его не принимают, а он в лесу живет. И взяли его и повезли в город, в спон, еще ты возил, помнишь, Нестеренко?

— Возил, — Нестеренко улыбнулся и покраснел.

— Возил, а он от тебя из трамвая убежал. Помнишь, Нестеренко?

— Да отстань, помню.

— Убежал и начал опять в лесу жить. А потом вы, Алексей Степанович, взяли и сказали: черт с ним, давайте его возьмем. И еще тогда все смеялись.

И видно было, что тогда все смеялись, потому что и теперь по лицам заходили улыбки. А только нашелся голос и против Володькиной сентенции. Голос принадлежал бригадиру третьей, некрасивому, сумрачному Брацану:

— Много у нас воли дали таким, как Володька. Он трубач, с дежурством шляется целый день, так теперь уже и речи стал говорить на совете бригадиров. По-твоему, всех принимать? Ты знаешь, какая у нас колония?

— Знаю... Правонарушительская?

— Такая она и есть.

— И вовсе ничего подобного.

Виктор прекратил прения:

— Довольно вам!

Но Воленко считал, что вопрос поднят важный:

— Нет, Виктор, почему довольно? Брацану нужно ответить.

— Ты ответишь?

— Надо ответить. Брацан давно загибает.

— Чего загибаю?

— Говори, Воленко.

— И скажу. Ты, Брацан, так считаешь: правонарушитель — человек, а все остальные — шпана. Я не знаю, кто ты такой, правонарушитель или нет, и знать не хочу. Я знаю, что ты хороший товарищ и комсомолец. Ты что? Гордишься, что под судом был? В твоей бригаде Голотовский не был под судом, а я Голотовскому все равно не верю. И вы ему не верите: скоро год, как в третьей бригаде, а до сих пор не колонист.

Воленко кончил речь, но, видно, Брацана не убедил. Брацан, по-прежнему сердитый, сидел на своем месте.

— Слово Алексею Степановичу.

Ты, Филипп, нехорошо сделал, напрасно этот вопрос зацепил. Правонарушители — это дети, которым прежде всего нужна помощь. Советская власть так на них и смотрит. И правонарушителям этим гордиться нечем, разве можно гордиться несчастьем! И вот пришел мальчик. У него тоже несчастье, и ему тоже нужно помочь.

— А почему нашу колонию приспособили?

— Потому что в колонии прекрасно работаете и прекрасно живете. Теперь в споне кричат: «Это наша колония!» — и в комонесе кричат: «Это наша колония!» А если бы наша колония была плохая, так кричали бы другое: «Это ваша колония!» А на самом деле эта колония...

Петька Кравчук, стоящий возле дверей, закричал:

— Наша!!

Покрывая общий смех, Виктор возмутился:

— Ну что ты скажешь! Он опять здесь! Вопрос выяснен. Голосую: кто за то, чтобы принять Ваню Гальченко в четвертую бригаду?

Душа у Вани Гальченко замерла, когда поднялись руки. Только один его глаз покосился на Брацана, и поразился: Брацан улыбался ему, и лицо у него было красивое и вовсе не сумрачное.

— Единогласно. Алешка, бери его. Стойте, чего загалдели? С Чернявиным, значит, остается по-старому — сборочный цех. А кроме того, он слово дал. Закрываю совет бригадиров.

Вечером в спальне четвертой бригады весело. Алеша Зырянский поставил Ваню между коленями, расспрашивал, шутил, пугал. Потом все уселись за стол и выслушали рассказ Алеши о том, какая славная, непобедимая, боевая существует на свете четвертая бригада трудовой колонии им. Первого мая и какие в ней замечательные пацаны! Этот самый Алеша Зырянский, которого боялась вся колония, в дежурство которого все вставали на полчаса раньше, чтобы лучше приготовиться к поверке, сейчас сверкал глазами, с трудом сдерживал улыбку и откровенно рассыпал восторженные слова о четвертой бригаде.

— Не бригада, а просто пирожное! А пацаны у нас какие, Ванька! Ой, и пацаны ж, не знаю даже, кто лучше, даром что у нас самые малые собрались. На кого ни посмотри: вот тебе Тоська Таликов, ты на него только глянь: вот будет бригадир, да у него уже и сейчас сестра бригадиром одиннадцатой. А Бегунок! А Филька Шарий! А Кирюшка Новак! А Федька и Колька Ивановы! И Семен Гайдовский, и Семен Гладун! И еще Петька Кравчук![23]

На Ваню смотрели разные лица: то смуглые, то румяные, то красивые, то не очень красивые, то открыто доверчивые, то доверчивые с иронией, то веселые, то забавно-серьезные, то нахмуренные просто, то нахмуренные через силу, но все одинаково счастливые, гордые своей бригадой и бригадиром, довольные, что живут они на советском свете с честью и умеют за эту честь постоять. Потом Алеша сказал, что он будет перечислять недостатки. Алеша заявил, что он скажет только по одному недостатку на каждого, но зато этот недостаток очень важный. И сказал, что Володька важничает, Петька Кравчук задается, он там где-то был дезорганизатором, Кирюшка думает, что он самый красивый, Гайдовский думает... одним словом, недостатки у всех были одинаковые: все воображали, думали и задавались. Алеша закончил:

— Никогда не нужно себя хвалить, потому что это очень глупо и для четвертой бригады не подходит. Лучше я вас похвалю, когда придется к слову. Дежурный по бригаде!

Володя выскочил из-за стола и вытянулся перед бригадиром:

— Есть, дежурный по бригаде!

— Барахло Ванюшино!
— Есть, Ванькино барахло!
Володя торжественно поднес:
— Получи, Гальченко! Вот трусики, голошейка, тюбетейка. А это мыло. А это пояс. А это простыни, а это полотенце. А школьный костюм завтра. Идем! Там душ горячий. А кто будет Ванькиным шефом?
— Ты и будешь шефом.
— Есть! Алеша, дай машинку, мы его сейчас... — Володя показал пальцами.
В дверь заглянул Игорь Чернявин.
— К вам в гости можно?
— Можно.
— Хоть ты меня и собирался выгнать, а я на тебя не обижаюсь.
— У нас нет такой моды — обижаться.
Ваня воззрился на Игоря:
— Выгнать? За что?
— Он большой барин. А может, наследство от кого получил.
Ваня захохотал:
— От бабушки? Да?
Игорь поднял Ваню на руках:
— Смотри, Ваня! А скажи, где твой ящик?
Он поставил его на пол.
— А тот украл... Рыжиков. И десять рублей.
— А Ванда?
— Не знаю.
Володя нетерпеливо дернул Ваню за рукав.
— Идем!
Мальчики побежали по коридору. Зырянский улыбнулся Игорю:
— Не обижайся, Игорь. Это называется: горячая обработка металлов.

Часть вторая

1. Не может быть!

Колония им. Первого мая заканчивала седьмой год своего существования, но коллектив, собравшийся в ней, был гораздо старше. Его история началась довольно давно, на второй день после Октября, в другом месте, в совершенно ином антураже, среди полей и хуторов старой полтавской степи[24]. «Основателями» этого коллектива были люди ярких характеров и рискованной удачи. Они принесли с собой «с воли» много беспорядочной страсти и горячего фасона, все это было у них черномазое... собственно говоря, негодное к употреблению, ибо было испорчено орнаментами культуры, так сказать, капиталистической, с маленьким креном в уголовщину.

Небольшая группа педагогов, людей обыкновенных и добродушных, по случайной раскладке заняла этот скромный участок революционного фронта. Во главе группы был Захаров, человек тоже обыкновенный. Необыкновенным и ошеломляющим в этом зачине было одно: Октябрьская революция и новые горизонты мира. И поэтому Захарову и его друзьям задача казалась ясной: воспитать нового человека! В первые же дни выяснилось, что дело это очень трудное и длинное. Тысячи дней и ночей — без передышки, без успокоения, без радости — пришлось пережить Захарову, но и после этого до нового человека оставалось еще очень далеко. К счастью, Захаров обладал талантом, довольно распространенным на восточной равнине Европы,— талантом оптимизма, прекрасного порыва в будущее. В сущности, это даже и не талант. Это особое, чисто интеллектуальное богатство русского человека, человека со здоровой башкой и зорким глазом, умеющего различать ценности. До Октябрьской революции этим богатством души и веры спекулировали хозяева жизни, обращая веру в доверчивость, а оптимизм в беззаботность, расценивая эти качества как особые атрибуты замечательного «русского» прекраснодушия. И народная вера в разум, в цену ценностей, в истину и правду, в общем, была выведена за границы практической жизни, в область легенд, сказаний и анекдотов, приноровленных для развлечения. Оптимистической силе русского народа потом приделали тульской работы ярлычок и напи-

сали на нем с самоуничижительным юмором: «Авось, небось и как-нибудь». И осталось для оптимизма прилично нищенское место, над которым можно было и посмеяться с европейским высокомерием, и поплакать с русской тоской.

В порядке не то высокомерия, не то тоски поставили на этом самом месте беломраморный дворянский памятник и написали на нем вдохновенные слова поэта[25]:

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил, благословляя.

Это и все, что осталось от великолепного русского оптимизма к началу двадцатого века: наивность и умиление. Ибо только безгранично наивный человек не мог понять, что светит в смиренной наготе. Люди более практические ухмылялись в бороды: русский человек ограблен был весьма успешно, а по оптимизму своему даже и не обижался. И только в 1917 г. неожиданно обнаружилось, что народный оптимизм есть нечто гораздо более сильное и гораздо менее безобидное. Без всякого расчета на «авось» и «как-нибудь», чрезвычайно основательно, с настоящей деловитостью, русский народ выгнал старомодных эстетов «за Черное море», и очистилось место для новой эстетики и для нового оптимизма. Вероятно, в Западной Европе и до сих пор еще не могут понять, откуда у нас взялись простота и уверенность действия? Советский человек показал себя не только в пафосе загоревшихся глаз, не только в усилии волевого взрыва, но и в терпеливых ежедневных напряжениях, в той черной, невидной работе, когда будущее начинает просвечивать в самых неуловимых и тонких явлениях, настолько нежных, что заметить их может только тот, кто стоит у их источника, кто не отходит от них ни помышлением, ни физически. После многих дней и ночей, после самых бедственных разочарований и срывов, отчаяния и слабости наступает праздник: видны уже не мелочи и детали, а целые постройки, пролеты великолепного здания, до сих пор жившие только в оптимистической мечте. На таком празднике самое радостное заключается в логическом торжестве: оказывается, что иначе и быть не могло, что все предвидения рассчитаны были точно, основаны на знании, на ощущении действительных ценностей. И был вовсе не оптимизм, а реалистическая уверенность, а оптимизмом она называлась из застенчивости.

И Захаров прошел такой тяжелый путь — путь оптимиста. Новое рождалось в густом экстракте старого: старых бедствий, голода, зависти, озлобления — толкотни и тесноты человеческой и еще более опасных вещей: старой воли, старых привычек и старых образцов счастья. Старого обнаружилось очень много, и оно не хотело умирать мирно, оно топорщилось, становилось на пути, наряжалось в новые одежды и новые слова, лезло под руки и под ноги, говорило речи и сочиняло законы воспитания.

Старое умело даже писать статьи, в которых становилось на защиту советской педагогики.

Было время, когда это старое в самых новых выражениях куражилось и издевалось над работой Захарова и тут же требовало от него чудес и подвижничества. Старое ставило перед ним сказочно глупые загадки, формулируя их в научно-нежных словах, а когда он совсем не по-сказочному изнемогал, старое показывало на него пальцами и кричало:

— Он потерпел неудачу!

Но пока происходили все эти недоразумения, протекали годы. Было уже много нового, над чем хорошо следовало задуматься. Со всех сторон, от всех событий в стране, от каждой печатной строки, от всего чудесного советского роста, от каждого живого советского человека приходили в колонию идеи, требования, нормы и измерители.

Да, все пришлось иначе назвать и определить, новой мерой измерить. Десятки и сотни мальчиков и девочек вовсе не были дикими звереньшами, не были они и биологическими индивидами. Захаров теперь знал их силы и поэтому мог без страха стоять перед ними с большим политическим требованием:

— Будьте настоящими людьми!

Они с молодым, благородным талантом принимали эти требования и хорошо знали, что в этом требовании больше уважения и доверия к ним, чем в любом «педагогическом подходе». Новая педагогика рождалась не в мучительных судорогах кабинетного ума, а в живых движениях людей, в традициях и реакциях реального коллектива, в новых формах дружбы и дисциплины. Эта педагогика рождалась на всей территории Союза, но не везде нашлись терпение и настойчивость, чтобы собрать ее первые плоды.

Старое цепко держалось на земле, и Захаров то и дело сбрасывал с себя отжившие предрассудки. Только недавно он сам освободился от самого главного «педагогического порока»: убеждения, что дети есть только объект воспитания. Нет, дети — это живые жизни, и жизни прекрасные, и поэтому нужно относиться к ним, как к товарищам и гражданам, нужно видеть и уважать их права и обязанности, право на радость и обязанность ответственности. И тогда Захаров предъявил к ним последнее требование: никаких срывов, ни одного дня разложения, ни одного момента растерянности! Они с улыбками встречали его строгий взгляд: в их расчеты тоже не входило разложение.

Наступили годы, когда Захарову уже не нужно было нервничать и с тревогой просыпаться по утрам. Коллектив жил напряженной трудовой жизнью, но в его жилах пульсировала новая, социалистическая кровь, имеющая способность убивать вредоносные бактерии старого в первые моменты их зарождения.

В колонии перестали бояться новеньких, и Захаров потушил в себе последние остатки уважения к эволюционной постепенности. Однажды летом он произвел опыт, в успехе которого не сомневался. В два дня он принял в колонию пятьдесят новых ребят. Собрали их прямо на вокзале, стащили с крыш вагонов, поймали между товарными составами. Сначала они протестовали и «выражались», но специально выделенный «штаб» из старых колонистов привел их в порядок и заставил спокойно ожидать

событий. Это были классические фигуры в клифтах*, все они казались брюнетами, и пахло от них всеми запахами «социальной запущенности». Ближайшее будущее представлялось им в тонах пессимистических, дело было летом, а летом они привыкли путешествовать — единственное качество, которое сближало их с английскими лордами. То, что произошло дальше, Захаров называл «методом взрыва», а колонисты определяли проще: «Пой с нами, крошка!»

Колония встретила новеньких на вокзальной площади, окруженная тысячами зрителей, встретила блестящим парадом, строгими линиями развернутого строя, шелестом знамен и громом салюта «новым товарищам». Польщенные и застенчивые, придерживая руками беспомощные полы клифтов, новенькие заняли назначенное для них место между третьим и четвертым взводами.

Колония прошла через город. На привычном фоне первомайцев новенькие и на себя и на других произвели сильное впечатление. На тротуарах роняли слезы женщины и корреспонденты газет.

Дома, после бани и стрижки, одетые в форменное платье, румяные, смущенные до глубин своей юной души и общим вниманием, и увлекательной придирчивостью дисциплины, новенькие подверглись еще одному взрыву. На асфальтовой площадке, среди цветников, были сложены в большой куче их «костюмы для путешествий». Политое из бутылки керосином, «барахло» это горело буйным, дымным костром, а потом пришел Миша Гонтарь с веником и ведром и начисто смел жирный мохнатый пепел, подмаргивая хитро ближайшему новенькому:

— Вся твоя автобиография сгорела!

Старые колонисты хохотали над Мишиным неповоротливым остроумием, а новенькие оглядывались виновато: было уже неловко.

После этой огневой церемонии[26] начались будни, в которых было все что угодно, но почти не было пресловутой перековки: новенькие не затрудняли ни коллектив, ни Захарова.

Захаров понимал, что здоровая жизнь детского коллектива законно и необходимо вытекает из всей советской действительности. Но другим это не казалось таким же законным явлением. Захаров теперь мог утверждать, что воспитание нового человека — дело счастливое и посильное для педагогики. Кроме того, он утверждал, что «испорченный ребенок» — фетиш педагогов-неудачников. Вообще он теперь многое мог утверждать, и это больше всего раздражало любителей старого.

Старое — страшно живучая вещь. Старое пролезает во все щели нашей жизни и очень часто настолько осторожно, умненько выглядывает из этих щелей, что не всякий его заметит. Нет такого положения, к которому старое не сумело бы приспособиться. Казалось бы, что может быть священнее детской радости и детского роста? И все это утверждают, и все исповедуют, но...

Приезжает в колонию человек, ходит, смотрит, достает блокнот и еще не успел вопрос поставить, а глаза его уже увлажняются в предчувствии романтических переживаний.

— Ну... как?

---

* *Клифт* (жарг.) — пиджак, куртка.

— Что вам угодно?
— Как вы... вот... с ними... управляетесь?
— Ничего... управляемся.
— Э... э... расскажите какой-нибудь случай... такой, знаете, потруднее.
Захаров с тоской ищет портсигар:
— Да зачем вам?
— Очень важно, очень важно Мы понимаем... перековка... конечно, они теперь исправились, но... воображаю, как вам трудно!
— Перековка...
— Да, да! Пожалуйста, какой-нибудь яркий случай. И, если можно, снимок... Как жаль, что у вас нет... до перековки.
Захаров роется в памяти. Что-то такое очень давно, действительно, было... вроде перековки. Он смотрит на любопытного романтика и про себя соображает: как легче отделаться — доказывать ли посетителю, что никакой перековки не нужно, или просто соврать и рассказать какой-нибудь анекдот. Второе, собственно говоря, гораздо легче.
В подобных недоразумениях было для Захарова много трагического. А еще трагичнее вышло, когда приехали к нему приятели из Наркомпроса.
Они видели людей, машины, цветы, рассмотрели цифры и сводки. Вежливо щурились на предметы реальные и вежливо мычали над бумагой. Захаров видел по их лицам, что они просто ничему не поверили.
— Это беспризорные?
— Нет, это колонисты.
Володя Бегунок на диване неслышно хихикнул.
— А... вот этот мальчик! Был беспризорный?
Володя встал, бросил на Захарова секретный, дружеский взгляд:
— Я колонист четвертой бригады.
— Но... раньше, раньше ты был беспризорным?
Почему-то Володе стало неудержимо смешно, он быстро посмеялся в угол дивана. Отвечать все же нужно:
— Я... забыл.
— Как это забыл? Забыл, что ты был беспризорным?
— Угу...
— Не может быть!
— Честное слово!
Володя сказал это с искренней убедительностью, но им показалось, что мальчик над ними издевается, и это было вполне возможно, если принять во внимание, что здесь все в чем-то сговорились.
Приятели уехали расстроенные. Редко им приходилось встречать такой единодушный заговор. А разве в таком случае можно установить, где правда, а где очковтирательство. Во всяком случае, у Захарова чересчур уж благополучно.
— Не может быть!
— И если даже так, где же борьба? Где же самая педагогика? И где, наконец, беспризорные? Откуда он набрал этих детей?
У этих людей никогда не было оптимизма.

2. Ваня

Только один месяц прошел после совета бригадиров, памятного для Вани на всю жизнь. Над колонией стоял июнь — жаркий, солнечный. Школьный костюм Вани лежал в тумбочке. Бригадир четвертой никому не разрешал надевать школьных костюмов.

— Вам, пацанам, только и погулять теперь в трусиках, вроде как солнечная ванна... — говорил он.

И Ваня и другие члены четвертой бригады ходили в трусиках и голошейках, а в парадных случаях добавочно к трусикам наряжались в просторную, блестяще отглаженную «парусовку», одежду полноценную, с рукавами, воротником и карманом на груди. На ноги при этом надевались голубые носки и «спортсменки», а на голову — золотая тюбетейка. В этом костюме пацаны имели вид великолепный.

Ваня быстро входил в колонистскую жизнь, все ему нравилось в ней и было ему по плечу. Он отказался от своего законного права погулять два дня и на второй день после приема пошел работать в литейный цех шишельником. Литейный цех помещался в старом каменном сарае. В одном углу здесь стоял литейный барабан, в другом — работали шишельники. Литейный цех отливал из меди масленки. Ване нравилось, что они важно назывались «масленки Штауфера». Нравилось Ване и то, что масленки Штауфера были очень нужны для разных заводов — без них ни один станок не мог работать: так, по крайней мере, утверждала вся четвертая бригада. Ваня нарочно выбегал смотреть, как полная подвода, нагруженная небольшими ящиками, отправлялась на вокзал. В ящиках лежали масленки, никелированные, совсем готовые, завернутые в бумагу.

Масленки были разных размеров, от двадцати до восьмидесяти миллиметров в диаметре, таких же размеров делались и шишки. С первого же дня Ваня стал входить в работу. Конечно, техника ему давалась не сразу. Бывало, что шишка развалится у него в руках, когда, проткнув ее песчаное тело тонкой проволокой, он укладывал шишки на фанерный лист, чтобы отправить их в сушилку. Но уже через неделю он научился деревянным молотком придавать шишке определенную плотность в форме, научился сообщать песку необходимую влажность, осторожно вынимать шишку из формы и протыкать проволокой и если еще не умел делать ста шишек за четыре часа, то шестьдесят выходило у него свободно. Соломон Давидович платил ребятам по копейке за каждую шишку: Филька, Кирюшка и Петька говорили, что это очень мало[27].

Но не одни шишки владели Ваниной душой. Каждый день приносил что-либо новое. Перед каждым днем он останавливался, чуть-чуть задыхаясь от силы новых впечатлений, оглядывался на новых друзей и требовал от них разъяснений.

Например, оркестр. Все пацаны четвертой бригады преклонялись перед оркестром, многое о нем рассказывали, умели напевать «Марш милитэр» и марш из «Кармен», а «Смену караула» напевали на такие слова:

Папа римский вот-вот-вот
Собирается в поход.

Видно, шляпа — этот папа, —
Ожидаем третий год.

А после этого следовало тараканье, очень сложное и красивое. Но в настоящих тайнах оркестра разбирались немногие: Володя Бегунок, Петька Кравчук и Филька Шарий, потому что Володя играл на второй трубе, Петька на пиколке[28], а Филька был самый высокий класс — первый корнет. Ване тоже захотелось играть на чем-нибудь, но приходилось ожидать, пока он получит звание колониста: воспитанников в оркестр не принимали. А пока наступит этот счастливый момент, Ваня не пропускал ни одной сыгровки. Услышав сигнал «сбор оркестра», он первым приходил в тот класс, где оркестр обыкновенно собирался. В первые дни дежурные по оркестру старались его «выставить», но потом к нему привыкли, так уже и считали, что Ваня Гальченко — будущий музыкант. В оркестре Ване все нравилось: и блестящий белый хор инструментов — с серебром, как уверял Володя Бегунок, — целых тридцать штук, и восемь черных кларнетов, и хитрые завитки тромбонов, и пульты, и строгость полного, веселого старика-дирижера Виктора Денисовича, его язвительные замечания.

— Ты был в цирке? — обращается Виктор Денисович к «эсному басу»[29], Данилу Горовому, после очередного недоразумения с си-бемоль.

— Был,— отвечает Горовой и краснеет.

— Был? Видел — морской лев на трубе играет?

Данило Горовой, массивный, с могучей шеей, славный кузнец колонии, молча облизывает огромный мундштук своего баса. Виктор Денисович сердито смотрит на Горового; подняв лица от своих мундштуков, смотрят на Горового и все сорок музыкантов. Виктор Денисович продолжает:

— Так это же морской лев! Морской лев, а как играет!

Горовой подымает недовольный взгляд на дирижера. Известно всей колонии, что он не отличается остроумием, но не может он молчать сейчас, не может оставить без возражения обидного намека на морского льва. Морской лев — у него даже ног нету, а голова собачья. И Горовой с пренебрежением отводит глаза от дирижера и говорит тихо:

— Как он там играет!

После этого радостно заливаются смехом и музыканты, и Виктор Денисович, и Ваня Гальченко, и сам Данило Горовой. Чей-то голос прибавляет к смеху одинокую реплику:

— Морской лев си-бемоль тоже не возьмет, Виктор Денисович!

Но Виктор Денисович уже серьезен. Он холодно смотрит через головы оркестра, стучит тоненькой палочкой по пульту:

— Четвертый номер. Тромбоны, не кричите! Раз... два!

Ваня замирает рядом с малым барабаном, в его уши вливается прекрасная сложная музыка. Но оркестр притягивает его не только музыкой. В колонии говорили, что оркестр, существуя пять лет, ни разу не отдувался на общем собрании. Старшиной оркестра ходил Жан Гриф, высокий, черноглазый юноша из девятой бригады. Ваня и смотреть на него остерегался, а не то то разговаривать... Если же смотрел, так только тогда, когда Жан выделывал какое-нибудь соло на своем коротеньком корнете, и ничего, кроме нот и палочки дирижера, не видел.

Но и оркестр не поглощал целиком душу Вани Гальченко. Замирала его душа и на физкультурной площадке. С таким же почтением смотрел он на Перлова, у которого голова всегда победоносно забинтована: о нем гремит слава отчаянного форварда. Затаив дыхание, Ваня слушал рассказы о величественных матчах волейболистов. Славились и городошники. Их капитан Круксов говорил:

— В нашей команде «письмо» выбивают с одного удара.

— Ну, это врешь, положим, «письмо» не выбьют.

— Выбиваем. Как «не выбьют»? А про «аэроплан» и говорить нечего. У наших пацанов хоть и не сильный удар, а зато как повернет, каждым концом зацепит.

А в коридоре главного здания висел еще и ребусник[30]. Ваня подолгу останавливался перед ним, прочитывал сотни его потрясающих вопросов, картин, загадок, чертежей, труднейших математических формул. Нарисовано окно, в окно смотрит девочка, а внизу вопрос:

— Сколько этой девочке лет?

Потом еще вопрос: где можно построить такую избу, чтобы все ее четыре стены смотрели на юг? И тут же нарисована симпатичная избушка, а на ней флаг.

За спиной Вани стоит Семен Гайдовский; он человек серьезный:

— Это пятая серия, она теперь так висит — для красоты; уже решили и уже премии получили. А когда будет осень, Петр Васильевич повесит новую. Я в прошлую зиму четыре тысячи очков заработал на ребуснике.

Познакомился Ваня и с Петром Васильевичем, фамилия у которого была странная: Маленький. А на самом деле он был страшно большой, самый высокий человек в колонии и худой-худой. У него были и ноги худые, и шея худая, и нос худой, а все-таки это был веселый, неутомимый человек. Самое же главное — он был какой-то «не такой», как говорили пацаны. Они рассказывали о нем много смешных историй, но в то же время стаями, обуреваемые сложнейшими планами, проектами и начинаниями, ходили за ним. Видно, у Маленького был приметливый глаз. Уже на второй день он увидел Ваню, пробегавшего через двор, и закричал:

— Эй, пацан! Паца-ан!

Ваня задержался.

— А иди сюда!

— А чего?

У Маленького оыли такие длинные ноги, что он сделал только три шага и очутился возле Вани:

— Новенький?

С высоты, с неба, смотрело на Ваню носатое, худое лицо. Под носом что-то такое растет — не то усы, не то как будто нарочно; глаза ярко-голубые, напористые.

— Новенький? Зовут как? Ваня Гальченко? Ты перемет умеешь делать?

— Перемет?

— Перемет — рыбу ловить? Не умеешь? А радиоприемник? Тоже не умеешь? А может, ты стихи пишешь? А что же ты умеешь делать?

Ваня был смущен многими вопросами, но ему захотелось не ударить лицом в грязь, и он сказал, подняв лицо и прищурив один глаз:

— А я сделал ящик.

— Какой ящик?
— Ботинки чистить...
— Сам делал?
— Сам.
— И чистил?
— Чистил.
— Щеткой намазывал?
— Ага, маленькой такой, а потом большой.
— А! Видишь? Значит, мы с тобой завернем.
— Кого?
— Не кого, а дело завернем. Гребной автомобиль! Ваня Гальченко? Кажется, ты человек деловой.

И, больше не сказав ни слова, Маленький сделал в сторону несколько шагов и исчез между двумя зданиями. Через цветник он, кажется, просто перешагнул.

Это было интересно. Гребной автомобиль! Ваня расспросил всю четвертую бригаду, но никто не знал, что такое гребной автомобиль. Слух о том, что Петр Васильевич Маленький собирается с Ваней делать гребной автомобиль, сильно взбудоражил четвертую бригаду. Оказалось, что у колонистов четвертой бригады были свои планы на Маленького: с теми в воскресенье он идет рыбу ловить в каком-то таинственном озере в десяти километрах, с другими затевает сложную игру, с третьими отвоевал у совета бригадиров комнату и в ней устраивает что-то.

— А кто он такой? — спросил Ваня.
— Петр Васильевич? А... он... он — никто.
— Почему никто?
— Он считается учитель, так это он учит по черчению в старших группах, а так он никто, просто себе...

Через неделю Ваня встретил Маленького в лесу. Он ходил между деревьями, заглядывал на их вершины, но Ваню сразу узнал:

— Ага! Ваня! Гребной автомобиль — замечательная вещь. Мы с тобой завтра сядем и поговорим.

Но завтра Петр Васильевич заболел, и говорили, что он заболел туберкулезом. Известие об этом с большой печалью повторялось в четвертой бригаде. И не столько таинственный гребной автомобиль, сколько сам Петр Васильевич запомнился Ване: такой большой, быстрый и занимательный и так печально заболевший туберкулезом, тоже таинственной и, кажется, смертельной болезнью...

Но, по совести говоря, больше всего нравилась Ване самая жизнь в четвертой бригаде. Было здесь по-дружески тепло, интересны были все ребята, и в такой строгости держал всех Алеша Зырянский. Каждый день хотелось Ване поскорее закончить работу и вернуться в чистую, уютную спальню, слушать, говорить, смеяться, жить[31]. Хотелось, чтобы Алеша что-нибудь приказал, даже самое трудное, и чтоб салютнуть и сказать ему:

— Есть!

3. Старые и новые счеты

Игорь Чернявин каждый день работал — зачищал проножки. Руки его были покрыты ссадинами и царапинами, и рашпиль по-прежнему вызывал отвращение. Игорь не скрывал своего отрицательного отношения к работе над проножками, но считал себя обязанным ее выполнять, потому что дал слово в совете бригадиров. Однако он скрывал свой панический страх перед пчелами и мухами и с осторожным вниманием поглядывал на них, когда они прилетали к его верстаку. К счастью, через неделю после начала работы Игоря сборочный цех был переведен в помещение стадиона. Как ни плохо шла работа над проножками, Игорь к концу четырехчасового рабочего дня сдавал Штевелю тридцать проножек, а за это количество полагалось в день заработка девяносто копеек. Штевель утверждал, что такой молодой человек, как Игорь, должен сдавать в день, по крайней мере, сотню проножек.

Работа в цехе отнимала всего четыре часа после обеда. Все остальное время проходило гораздо симпатичнее. Утром Игорь шел в школу, и там в одном из классов Николай Иванович полчаса или час занимался с ним. Николай Иванович был по-прежнему всегда чисто одет, чрезвычайно вежлив и прост. За это время Игорь познакомился и с другими учителями и учительницами и заметил, что все они отличаются такой же безукоризненной вежливостью и так же чисто одеваются. Вообще учителя здесь были какие-то «не такие», да и от всей школы, помещавшейся в отдельном здании, исходил приятный запах: в школе было солидно, чисто, приветливо и даже несколько торжественно.

Понравилась Игорю и библиотека. Она помещалась рядом с «тихим» клубом. Книг в ней было много, книги все были переплетены, стояли в порядке на полках до самого потолка, а у широких дверей с перекинутой поперек полочкой всегда собиралась очередь читателей. Библиотекой заведовала древняя старушка Евгения Федоровна, но копошились с книгами, выдавали, принимали, записывали, чертили, рисовали и мазали рекомендательные списки три колониста, и между ними главную роль играла Шура Мятникова, тонкая, очень стройная девушка. У нее смуглое лицо и большой рот.

— Прочитал? Или картинки посмотрел? — спрашивала она, и при этом в лице ее была шутливая и серьезная очень живая игра...

Игорь всегда любил читать. Бродячая жизнь отвлекла его от книг, и сейчас он с новой жадностью набросился на чтение. Проснувшись утром, приятно было вспомнить, что в тумбочке лежит книга. Вечером Нестеренко не позволял долго читать и тушил свет в одиннадцать часов. Игорь приспособился просыпаться раньше сигнала «вставать» и часок почитать в постели. Именно с этого утреннего чтения начался день, который потом до самого вечера был наполнен выдающимися происшествиями.

Еще с вечера Нестеренко сказал Игорю:

— Завтра ты дежуришь по бригаде.

Дежурный по бригаде должен был вставать в шестом часу, чтобы к поверке успел закончить уборку. Игорь проснулся рано, но вспомнив о «Таинственном острове», который лежал в его тумбочке, не вспомнил о дежур-

стве. Когда прозвенел сигнал и поднялась вся бригада, Нестеренко только ахнул:

— Что же ты со мной делаешь?

Игорь бросился к тряпкам и щеткам, но было уже поздно. Поверка застала спальню в беспорядке и Чернявина в разгаре работы. Не повезло еще и в том отношении, что поверку принимал сам Захаров. Он строго нахмурился, холодно рассматривал спальню, холодно сказал: «Здравствуйте товарищи», небрежно выслушал рапорт и спросил:

— Кто дежурит?

Игорь улыбнулся смущенно:

— Я.

— Получи один наряд.

Игорь так же смущенно улыбнулся и услышал шипение Нестеренко:

— Да отвечай же, как следует! Что это такое?

Игорь обрадовался выходу из мучительного положения, вытянулся:

— Есть, один наряд, товарищ заведующий!

После поверки Нестеренко долго еще читал Игорю нотации, по-старушечьи детально разбирал недостатки его характера и барского воспитания.

— Даже книга, даже книга, святая вещь, и та тебя с толку сбивает, а если ж ты повстречаешься с какой сволочью, что тогда будет!

Но другие товарищи не сильно осуждали. Санчо Зорин даже одобрил:

— Это хорошо, Нестеренко, чего ты испугался? Боевое крещение! Ты посуди: какой же из него будет человек, если он ни одного наряда не получит?

И Нестеренко не выдержал, улыбнулся:

— Это, конечно, верно, а только и бригаде неприятность.

В тот же день дежурил по бригаде Ваня Гальченко. У него дело прошло гораздо благополучнее и даже со славой. Все еще спали, а Ваня стоял на подоконнике и мыл стекла, тихонько насвистывая. За окном распускалось утро, внизу, в цветнике, возились с поливкой, горели на солнце окна в здании школы. Володя Бегунок давно захватил свою трубу и пошел будить дежурного бригадира Илюшу Руднева из десятой бригады. Скоро во дворе он заиграл сигнал побудки.

Продолжая работать, Ваня лукаво посмотрел на спящих товарищей. Отвечая сигналу, Филька о чем-то заговорил во сне. У окна зашуршали шаги. Снизу, из сада, Володя спросил тихо:

— Спят?

Ваня кивнул.

Через минуту тихонько приоткрылась дверь, в щель продвинулся раструб трубы. Сигнал раздался страшно громко. Алеша Зырянский мгновенно вскочил с постели, но Володи уже не было.

— Вот чертенок! Ну, я его поймаю! Ваня! Какой же ты молодец, даже окна помыл.

Ваня, краснея, выслушивает похвалу бригадира и еще сильнее натирает стекло. В двери снова просовывается серебряный раструб. Зырянский вспыхивает и крадется к дверям, но дверь распахивается. Володя налетает на Алешу, вскакивает верхом на его живот, обнимает его руками, ногами и трубой и орет:

— Ребята! Бей бригадира!

С постелей вскакивают Филька, Петька, оба Семена, и подымается общая возня. Стоя на подоконнике, Ваня громко смеется. В дверь заглядывает невысокий, собранный, хорошенький мальчик — дежурный бригадир Руднев, улыбается и спрашивает:

— Встаете?

После завтрака Игорь увидел Ваню:

— Ванюша, как дела?

— О! Здорово, понимаешь! Сегодня будет благодарность в приказе!

— Да ну! За что?

— А за дежурство по бригаде.

— За дежурство? Ох ты, черт! И я получил.

— Благодарность?

— Нет, один наряд. Говорят, хорошего колониста не бывает без наряда.

— А кто это говорит?

— А это мой шеф говорит, Санчо Зорин.

— Это у тебя такой шеф? Вот у меня шеф, так шеф — Володька![32]

Лето — школа не работает, и в парке народу много. Кто идет к пруду, кто к гимнастическому городку, а кто на скамьях расположился поуютнее и читает книжку. Игорь с книжкой — причиной утреннего скандала — направился в самый далекий и тенистый уголок. На запущенной дорожке он третий раз в жизни встретил «чудесную» девушку с карими глазами. Она очень спешила, идя ему навстречу, быстро перебирала загоревшими ногами, волосы у нее были еще мокрые после купания. Девушка подняла на Игоря глаза, такие, как и раньше, прекрасные, с золотисто-синим блеском, но не смутилась, что-то вспомнила, задорно улыбнулась.

Игорь стал на ее дороге. Она отступила назад и руку подняла к лицу.

— Не бойтесь, мисс, не бойтесь. Скажите только ваше имя.

— А на что вам?

— Я хочу с вами познакомиться, а меня зовут Игорь.

— Ну так что?

— Ничего, конечно, особенного. Просто — Игорь.

Девушка попыталась обойти его сбоку. Юбчонка на ней была поношенная.

— Скажите ваше имя, миледи, я же больше ни о чем не прошу.

Девушка остановилась, поднесла кулачок к губам:

— Вы... мух боитесь.

Игорь вдруг вспомнил, при каких бедственных обстоятельствах он встретил эту девушку в последний раз, и покраснел. Она заметила его смущение, опустила руку, двинулась вперед. Игорь уступил ей дорогу. Она быстро оглянулась на него, сверкнула зубами:

— А меня зовут Оксана!

Игорь всплеснул руками:

— Боже мой, какое имя! Оксана!

Но девушка была уже далеко, только ноги ее светло и быстро мелькали на запущенной дорожке.

— Чего ты? — окликнули Игоря сзади. Игорь оглянулся. Это был Всеволод Середин. Сын старого инженера, он и в колонии старался не терять «интеллигентности» — по-пижонски крепко сжимал склонные к улыбке губы, как-то особенно высоко задирал голову.

— Ты не знаешь, что это за девчонка? Она ведь не колонистка!

Середин ответил с небольшим возмущением:

— Какая там колонистка! Прислуга!

— Не может быть?!

— Почему не может быть?

— Прислуга?

— Ну да, прислуга. Здесь за прудом дача... дом просто. Она там прислуга.

— А кто же там хозяин?

— Там не хозяин, а черт его знает... адвокат какой-то.

— А ты откуда знаешь?

— Ты спроси у Гонтаря. Он в эту девчонку влюблен.

— Влюблен? Да ну?

— Еще как влюблен. Он для нее и прическу сделал. Он тебе ребра поломает.

Игорь тронул Середина за рукав:

— Сэр! Дело не в ребрах. Дело, понимаешь... если он адвокат, так почему она так одевается?

— Я не знаю. Гонтарь думает, что он ее для огорода держит. Свои овощи, понимаешь, только не сам работает, а занимается эксплуатацией — Оксана работает. Батрачка. А ей только пятнадцать лет. Сволочь!

Середин смотрел на Игоря умным, спокойным взглядом, и слово «сволочь» особенно сочно звучало в его культурном выговоре.

Они направились к главному зданию. Игорю хотелось еще расспросить Середина об Оксане. Дежурный бригадир Руднев стоял на крыльце с блокнотом в руках. Увидев Игоря, он сказал:

— Чернявин! У тебя есть один наряд. Вот эту дорожку нужно подмести и посыпать песком. Работы здесь на полчаса, а у тебя как раз один наряд. Сдашь мне к обеду.

Игорь не забыл стать смирно:

— Есть, выполнить один наряд, сдать к обеду.

Но забыл спросить, чем нужно подметать и где взять песок. Руднев ушел. Игорь осмотрелся. И Середина уже не было возле него.

Через полчаса Игорь работал на дорожке. В руках у него были три гибких прутика, и как он ни царапал ими дорожку, они не в силах были зацепить мелкий сор. Проходивший мимо Нестеренко остановился:

— Это наряд?

— Да.

Откуда-то взялся Ваня Гальченко. Нестеренко пренебрежительно надул полные щеки:

— Так... кто же это... прутиком?

— А чем?

— Что ты за человек? Веник сделай!

Нестеренко еще с секунду молча смотрел на Игоря, неодобрительно пожал плечами, ушел. Игорь оглянулся на Ваню, покраснел, Ваня убежал.

Игорь задумался. Еще царапнул два раза. Собственно говоря, против наряда он ничего не имел, но дайте же орудия производства! На дорожке были мелкие веточки, два-три старых окурка, лепестки цветов. Вся эта мелочь никак не хотела поддаваться прутику. Игорь еще раз беспомощно ог-

лянулся и увидел Ваню. Ваня бежал к нему вприпрыжку, и в руках у него был великолепный веник.

— Ваня! Вот спасибо! Где ты такой веник достал?

— А нарвал. Сколько хочешь!

— Давай я буду сам.

— Ты подметай, а я пойду песку принесу.

Через двадцать минут Игорь и Ваня заканчивали работу, посыпая дорожку из одного ведра. Захаров вышел из-за угла здания:

— Гальченко, помогаешь?

— Это так... немножко... Он все

— Ты — хороший товарищ!

Ваня поднял голову, но Захаров уже ушел. У него была тонкая талия и хорошие, блестящие сапоги.

— Новенького ведут, — сказал Игорь.

Ваня посмотрел вдаль по шоссе. Действительно, было видно, что один из идущих — милиционер.

— Меня тоже с милиционером. А нехорошо с милиционером.

Ваня не ответил, деловым взглядом осмотрел работу.

— Надо здесь досыпать, а то получилась лысина.

— А куда мы песок денем? Остаток?

— Давай на этой дорожке приберем. Она маленькая.

Игорь не возразил. Они в десять минут убрали небольшую поперечную дорожку. Игорь взял ведро и направился к главному входу, где как раз дежурный бригадир Руднев расписывался в книге милиционера. Пока друзья подошли к ним, милиционер уже козырнул и направился в город.

— Товарищ дежурный бригадир, наряд выполнил.

— Сейчас посмотрю, вот только этого сдам Торскому.

Игорь посмотрел на новенького и остолбенел: перед ним стоял Гришка Рыжиков. Ваня Гальченко, глядя на Рыжикова, давно уже задохнулся в удивлении и даже рот открыл. Рыжиков развязно улыбался, но заговорить не решался. Заговорил Игорь:

— Этого гада в колонию? Я его сейчас с лица земли сотру!

Руднев протянул руку, чтобы остановить, но Игорь уже схватил Рыжикова за воротник.

— Ограбить такого пацана!

— Да пусти, — захрипел Рыжиков, цепляясь своими грязными пальцами за пальцы Игоря.

Игорь уже занес кулак другой руки над головой Рыжикова, но в этот момент Руднев с силой схватил Игоря за пояс и повернул к себе:

— Товарищ Чернявин! К порядку!

Игорь не мог не оглянуться на этот окрик, а, оглянувшись, увидел сразу и белый воротник, и золотисто-серебряный вензель, и яркий шелк повязки. Он выпустил Рыжикова и стал «смирно». Руднев посмотрел на Рыжикова, как показалось Игорю, с гадливостью, но Игорю сказал сурово, негромко и властно:

— В колонии нельзя сводить старые счеты, товарищ Чернявин!

И в тоне этого мальчика, в его сведенных насильно бровях, в ясном взгляде, в том уважении, с которым было сказано слово «товарищ», Игорь почувствовал нечто совершенно непреодолимое. Он поднял руку:

— Есть, не сводить старые счеты, товарищ дежурный бригадир!

Руднев уже уводил Рыжикова в дом. Игорь никак не мог прийти в себя, но о Рыжикове уже забыл: он только сейчас почувствовал, как это удивительно, что он мог с такой готовностью подчиниться маленькому Рудневу...

Ваня вышел из оцепенения и трепыхнулся рядом с ним...

4. Дружба на всю жизнь

Ваня заметил Володю Бегунка на другом конце двора и побежал рассказать ему о своем несчастье. Прибытие Рыжикова как будто закрыло солнце, светившее над колонией. Мрачные тени легли теперь на все эти здания, и на лес, и на пруд, и даже на четвертую бригаду. Рыжиков в колонии — это было оскорбительно!

Володя нахмурил брови, напружинил глаза, расставив босые ноги, терпеливо выслушал взволнованный Ванин рассказ:

— Так это тот самый, который тебя обокрал? Так чего ты сдрейфил?

— Так он же теперь в колонии! Он теперь все покрадет!

— Ха! — Володя показал на Ваню пальцем. — Испугался. Обкрадет! Думаешь, так легко обокрасть? Пускай попробует! А ты думаешь, тут мало таких было? Ого! Сюда таких приводили, прямо страшно.

— А где они?

— Как где? Они здесь, только они теперь уже не такие, а совсем другие.

Они пошли в парк. Ни они, ни Игорь Чернявин не видели, как к главному зданию подкатил легковой автомобиль. Из него вышли две женщины и с ними — Ванда Стадницкая. Дежурный бригадир Илюша Руднев, выбежавший к ним навстречу, бросил быстрый взгляд на Ванду и увидел, какая она красивая. Сейчас у Ванды волосы совсем белокурые, чистые, они даже блестят, и на волосах — синий берет. И на ногах не хлюпающие калоши, а чулки и черные туфли. И лицо у Ванды сейчас оживленное, она оглядывается на своих спутниц. Официальный блеск дежурного бригадира Ванда встречает дружеской улыбкой.

К сожалению, в настоящий момент Руднев не может ответить ей такой же улыбкой. Он поднимает руку и спрашивает с приветливой, но настороженной вежливостью:

— Я дежурный бригадир колонии. Скажите, что вам нужно.

Полная, с ямочками на щеках, с пушистыми черными бровями, видно, веселая и добрая женщина, так засмотрелась на хорошенького Руднева, что не сразу даже ответила. Засмеялась.

— Ага, это вы такой дежурный. А нам начальника нужно.

— Заведующего?

— Ну, пускай заведующего.

— По какому делу?

— Ну что ты скажешь — она обернулась к другой женщине, такой же полной, но солидно, немного даже строго настроенной. — Значит, обязательно вам сказать?

— Да.

— Хорошо. Мы привезли к вам девушку... вот... Ванду Стадницкую.

А сами мы из партийного комитета завода им. Коминтерна. И письмо у нас есть.

Руднев показал дорогу:

— Пожалуйте.

Часовой у дверей, тоненький белокурый Семен Касаткин, чуть заметным движением глаз спросил Руднева и получил такой же еле ощутимый ответ[33].

Руднев открыл дверь в комнату совета бригадиров, но отступил, пропуская выходящих. Ванда подняла глаза: вдруг побледнела, слабо вскрикнула, повалилась на окно:

— Ой!

Рыжиков, нахально улыбаясь, прошел мимо. Руднев сказал ему:

— Подожди здесь, я сейчас. Пожалуйте. Витя, это к Алексею Степановичу.

Все обернулись к Ванде, предлагая ей пройти, но Ванда сказала, опустив голову:

— Я никуда не пойду.

Рыжиков стоял на отлете, руки держал в карманах, смотрел с необъяснимой насмешкой. Виктор опытным глазом оценил положение.

— Руднев, забирай его!

Руднев, ухватив за рукав, повернул Рыжикова лицом к выходу. Витя пригласил:

— Заходите.

— Никуда я не пойду. — Ванда еще ниже опустила голову, а когда Рыжиков скрылся в вестибюле, она с опозданием бросила ему вдогонку ненавидящий взгляд, потом отвернулась к открытому окну и заплакала.

Женщины растерянно переглянулись. Витя мягко подтолкнул их в комнату:

— Посидите здесь, а я с ней поговорю.

Женщины послушно вышли. Витя закрыл за ними дверь, потом осторожно взял Ванду за плечи, заглянул в лицо:

— Ты этого рыжего испугалась? Ты его знаешь?

Ванда не ответила, но плакать перестала. Платка у нее не было, она размазывала слезы рукой.

— Чудачка ты! Таких хлюстов бояться — жить на свете нельзя.

Ванда сказала в угол оконной рамы:

— Я его не боюсь, а здесь все равно не останусь.

— Хорошо. Не оставайся. Машина ваша стоит. А только можно ведь зайти в комнату?

— Куда зайти?

— Да вот к нам.

Ванда помолчала, вздохнула и молча направилась к двери. В комнате совета бригадиров она хотела задержаться, но Витя прямо провел ее в кабинет к Захарову.

Алексей Степанович удивленно посмотрел на Ванду, Ванда отступила назад, вскрикнула:

— Куда вы меня ведете?

— Поговорите там, Алексей Степанович, женщины... две...

Захаров быстро вышел, Ванда испуганно глянула ему вслед, упала на широкий диван и на этот раз заплакала с разговорами:

— Куда вы меня привели? Все равно не останусь. Я не хочу здесь жить!

Она два раза бросалась к двери, но Витя молча стоял на дороге, она не решилась его толкнуть. Потом она тихо плакала на диване. Витя видел в окно, как ушел в город автомобиль, и только тогда сказал:

— Ты зря плачешь, теперь все будет хорошо.

Она притихла, начала вытирать слезы, но вошел Захаров, и она снова зарыдала. Потом вскочила с дивана, сдернула с себя берет, швырнула его в угол и закричала:

— Советская власть! Где Советская власть?

Стоя за письменным столом, Захаров сказал:

— Я Советская власть.

И Ванда закричала, некрасиво вытягивая шею:

— Ты? Ты — Советская власть? Так возьми и зарежь меня! Возьми нож и зарежь, я все равно жить больше не буду.

Захаров не спеша, основательно уселся за столом, разложил перед собой принесенную бумажку, произнес так, как будто продолжал большой разговор:

— Эх, Ванда, мастера мы пустые слова говорить! И у меня вот... такое бывает... А покажи, какая у тебя беретка. Подними и дай сюда.

Ванда посмотрела на него тупо, села на диван, отвернулась.

Витя поднял берет, подал его Захарову.

— Хорошая беретка... Цвет хороший. А наши искали, искали и не нашли. Интересно, сколько она стоит?

— Четыре рубля, — сказала Ванда угрюмо.

— Четыре рубля? Недорого. Очень хорошенькая беретка.

Захаров, впрочем, не слишком увлекался беретом. Он говорил скучновато, не скрывал, что берет его заинтересовал мимоходом. Потом кивнул, Витя вышел. Ванда направила убитый взгляд куда-то в угол между столом и стеной. Поглаживая на руке берет, Захаров подошел к ней, сел на диван. Она отвернулась.

— Видишь, Ванда, умереть — это всегда можно, это в наших руках. А только нужно быть вежливой. Чего же ты от меня отворачиваешься? Я тебе зла никакого не сделал, ты меня не знаешь. А может быть, я очень хороший человек. Другие говорят, что я хороший человек.

Ванда с трудом навела на него косящий глаз, угол рта презрительно провалился:

— Сами себя хвалите...

— Да что же делать? Я и тебе советую. Иногда очень полезно самому себя похвалить. Хотя я тебе должен сказать: меня и другие одобряют.

Ванда наконец улыбнулась попроще:

— Ну так что?

— Да что? Я тебе предлагаю дружбу.

— Не хочу я никаких друзей! Я уже навидалась друзей, ну их!

— Какие там у тебя друзья! Я уже знаю. Я тебе предлагаю серьезно: большая дружба и на всю жизнь. На всю жизнь, ты понимаешь, что это значит?

Ванда пристально на него посмотрела:

— Понимаю.

— Где твои родители?

— Они... уехали... в Польшу. Они — поляки.

— А ты?

— Я потерялась... на станции, еще малая была.

— Значит, у тебя нет родителей?

— Нет.

— Ну так вот... я тебе могу быть... вместо отца. И я тебя не потеряю, будь покойна. Только имей в виду: я такой друг, что если нужно, так и выругаю. Человек я очень строгий. Такой строгий, иногда даже самому страшно. Ты не боишься? Смотреть я на тебя не буду, что ты красивая.

У Ванды вдруг покраснели глаза, она снова отвернулась, сказала очень тихо:

— Красивая! Вы еще не знаете, какая.

— Голубчик мой, во-первых, я все знаю, а во-вторых, и знать нечего. Чепуха там разная.

— Это вы нарочно так говорите, чтобы я осталась в колонии?

— А как же... Конечно, нарочно. Я не люблю говорить нечаянно, всегда нарочно говорю. И верно: хочу, чтобы ты осталась в колонии. Очень хочу. Прямо... ты себе представить не можешь.

Она подняла к нему внимательные, недоверчивые глаза, а он смотрел на нее сверху, и было видно, что он и в самом деле хочет, чтобы она осталась в колонии. Она показала рукой на диван рядом с собой.

— Вот садитесь, я вам что-то скажу.

Он молча сел.

— Знаете что?

— Возьми свою беретку.

— Знаете что?

— Ну?

— Я сама очень хотела в колонию. А меня тут... один знает... Он все расскажет.

Захаров положил руку на ее простоволосую голову, чуть-чуть провел рукой по волосам:

— Понимаю. Это, знаешь, пустяк. Пускай рассказывает.

Ванда со стоном вскрикнула:

— Нет!

Посмотрела на него с надеждой. Он улыбнулся, встряхнул головой:

— Ни за что не расскажет.

В кабинет ворвался Володя Бегунок, остолбенел перед ними, удивленно смутился:

— Алексей Степанович, Руднев спрашивает, не нужно ему новенькую девочку... тот... принимать?

— Не нужно, Клава примет. Пожалуйста: одна нога здесь, другая там, позови Клаву.

— Есть!

Володя выбежал из кабинета, а Ванда прилегла на боковинке дивана и беззвучно заплакала. Захаров ей не мешал, походил по комнате, посмотрел на картины, снова присел к ней, взял ее мокрую руку:

— Поплакала немножко. Это ничего, больше плакать не нужно. Как зо-

вут того колониста, который тебя знает?

— Рыжиков.

— Сегодняшний!

Влетел в комнату Володя, снова быстро и с любопытством взглянул на Ванду, что не мешало ему очень деловито сообщить:

— Клава идет! Сейчас идет!

— Ну, Володя! Вот у нас новая колонистка! Видишь, какая грустная? Ванда Стадницкая.

— Ванда Стадницкая? Вот здорово! Ванда Стадницкая?

— Чего ты?

— Да как же! А Ванька собирается в город идти... искать тебя. И я тоже.

— Ваня? Гальченко? Он здесь?

— А как же! Гальченко! Вот он рад будет! Я позову его, хорошо?

Захаров подтвердил:

— Немедленно позови. И Рыжикова.

— Ну-у! Тогда и Чернявина нужно...

— Ванда, ты и Чернявина знаешь?

Ванда горько заплакала:

— Не могу я...

— Глупости. Зови всех.

В дверях Володя столкнулся с Клавой Кашириной.

— Алексей Степанович, звали?

— Слушай, Клава. Это новенькая — Ванда Стадницкая. Бери ее в бригаду и немедленно платье, баню, доктора, все и чтобы больше не плакала. Довольно.

Клава склонилась к Ванде:

— Да чего же плакать? Идем, Ванда...

Не глядя на Захарова, пошатываясь, торопясь, Ванда вышла вместе с Клавой.

Через десять минут в кабинете стояли Игорь, Ваня и Рыжиков. Торский и Бегунок присутствовали с видом официальным. Захаров говорил:

— Понимаете, что было раньше, забыть. Никаких сплетен, разговоров о Ванде. Вы это можете обещать?

Ваня ответил горячо, не понимая, впрочем, какие сплетни может сочинить он, Ваня Гальченко:

— А как же!

Игорь приложил руку к груди:

— Я ручаюсь, Алексей Степанович.

— А ты, Рыжиков?

— На что она мне нужна? — сказал Рыжиков.

— Нужна или не нужна, а языком не болтать!

— Можно, — Рыжиков согласился с таинственной снисходительностью.

На него все посмотрели. Вернее сказать — его все рассмотрели. Рыжиков недовольно пожал плечами.

Но в комнате совета бригадиров разговор на эту тему был продолжен. Игорь Чернявин настойчиво стучал пальцем по груди Рыжикова:

— Слушай, Рыжиков! То, что Алексей говорит, — одно дело, а ты запиши, другое запиши... в блокноте: слово сболтнешь, привяжу камень на шею и утоплю в пруду![34]

5. Литейная лихорадка

В спальнях, в столовой, в парке, в коридорах, в клубах — между колонистами всегда шли разговоры о производстве. В большинстве случаев они носили характер придирчивого осуждения. Все были согласны, что производство в колонии организовано плохо. На совете бригадиров и на общих собраниях въедались в заведующего производством Соломона Давидовича Блюма и задавали ему вопросы, от которых он потел и надувал губы:

— Почему дым в кузнице?

— Почему лежат без обработки поползушки, заказанные заводом им. Коминтерна?

— Почему не работает полуревольверный?

— Почему не хватает резцов?

— Почему протекает нефтепровод в литейной?

— Почему перекосы в литье?

— Почему в механическом цехе полный базар? Барахла накидано, а Шариков целый день сидит в бухгалтерии, не может никак пересчитать несчастную тысячу масленок?

— Когда будут сделаны шестеренки на станок Садовничего, клинья к суппорту[35] Поршнева, шабровка[36] переднего подшипника у Яновского, капитальный ремонт у Редьки?

Колонисты требовали ремонта станков, ходили за ремонтными слесарями, ловили во дворе Соломона Давидовича, жаловались Захарову, но к станкам всегда относились с презрением:

— Мою соломорезку сколько ни ремонтируй, все равно ей дорога в двери. Разве это токарный?

Соломон Давидович обещал все сделать в самом скором времени, но остановить станок и начать его ремонт — на это не был способен Соломон Давидович. Это было самоубийство — остановить станок, если он еще может работать. Станок свистел, скрипел, срывался с хода, колонисты со злостью заставляли его работать, и станок все-таки работал. Работали соломорезки, работали суппорты без клиньев, работали изношенные подшипники. «Механический» цех ящик за ящиком отправлял в склад готовые масленки, около сборочного цеха штабелями грузили на подводы театральные кресла. Швейная мастерская выпускала исключительно трусики из синего, коричневого и зеленого сатина, но выпускала их тысячами, и на каждой паре трусиков зарабатывал завод три копейки. В колонии не было денег, но на текущем счету колонии все прибавлялись и прибавлялись деньги. Среди колонистов находились люди с инициативой, которые говорили на собраниях:

— Соломон Давидович деньги посолил, а спецовок прибавить, так у него не выпросишь.

Соломон Давидович возражал терпеливо:

— Вы думаете, если завелась там небольшая копейка, так ее обязательно нужно истратить? Так не делают хорошие хозяева. Я ни капельки не боюсь за вас, дорогие товарищи: тратить деньги вы всегда успеете научиться и можете всегда добиться очень высокой квалификации в этом отношении. А если нужно беречь деньги, так это не так легко научиться. Если ты не будешь терпеть, так ты потом будешь хуже терпеть. Я дал сло-

во Алексею Степановичу и вам, что мы соберем деньги на новый завод, так при чем здесь спецовки? Потерпите сейчас без спецовок, потом вы себе купите бархатные курточки и розовые бантики.

Колонисты и смеялись и сердились. Смеялся и Соломон Давидович. Смотрели все на Захарова, но и он смотрел на всех и улыбался молча. И трудно было понять, почему этот человек, такой напористый и строгий, так много прощает Соломону Давидовичу, — правда, и колонисты прощали ему немало.

Самым скандальным цехом был, конечно, литейный. Это был кирпичный сарай с крышей довольно-таки дырявой. В сарае стоит литейный барабан. В круглое отверстие на его боку набрасывается «сырье», винтовочные патроны, оставшиеся от ружей старых систем, измятые, покрытые зеленью и грязью. Не брезговал Соломон Давидович и всяким другим медным ломом. Из того же круглого отверстия выливается в ковши расплавленная медь. К барабану приделана форсунка, а под крышей в углу — бак с нефтью. Все это оборудование далеко не первой молодости — продырявлено и проржавлено.

Система барабана, форсунки[37] и бака, в сущности, очень проста и не заключает в себе ничего таинственного, но мастер-литейщик Баньковский, бывший кустарь и бывший владелец барабана, имеет вид очень таинственный: ему одному известны секреты системы.

В литейной кипит работа. У столика шишельников работают малыши. Все они одеты в поношенные спецовки, очевидно, раньше принадлежавшие более взрослому населению колонии: брюки слишком велики, они целыми гармониями укладываются на худых ногах пацанов, рукава слишком длинны.

На полу литейной расположены опоки[38], возле которых копаются формовщики — колонисты постарше: Нестеренко, Синицын, Зырянский. У одной из стен старая формовочная машина, на ней работает виднейший специалист по формовке, худой, серьезный Круксов из седьмой бригады.

Литейная полна дыму. Он все время пробивается из барабана, из литейной он может выходить только через дырки в крыше. Каждый день между мастером Баньковским и колонистами происходят такие разговоры:

— Товарищ Баньковский! Нельзя же работать!

— Почему нельзя?

— Дым! Куда это годится? Это же вредный дым — медный!

— Ничего не вредный. Я на нем всю жизнь работаю.

Через щели в крыше, через окна и двери дым расходится по всей колонии и в часы отливки желтоватым, сладким туманом гуляет между зданиями. Молодой доктор, сам бывший колонист, Колька Вершнев, лобастый и кучерявый, бегает из кабинета в кабинет, стучит кулаками по столам, потрясает томиком Брокгауза — Ефрона[39] и угрожает, заикаясь:

— Я п-пойду к п-прокурору. Литейная л-лихорадка! Вы з-знаете, что это т-такое? П-прочитайте!

Этого самого доктора Алексей Степанович давно знает. Он морщит лоб, снимает и надевает пенсне:

— Призываю тебя, Николай, к порядку. Прокурор нам вентиляции не сделает. Он закроет литейную.

— И п-пускай закрывает!

— А за какие деньги я тебе зубоврачебное кресло куплю? А синий свет? Ты мне покою уже полгода не даешь. Синий свет! Ты обойдешься без синего света?

— В каждой п-паршивой амбулатории есть с-синий свет!

— Значит, не обойдешься?

— Так что? Будем т-травить п-пацанов?

— Надо вентиляцию делать. Я нажимаю, и ты нажимай. Вот сегодня комсомольское.

На комсомольском собрании Колька размахивает Брокгаузом — Ефроном и вспоминает некоторые термины, усвоенные им отнюдь не в медицинском институте:

— З-занудливое п-производство т-такое!

И другие комсомольцы «парятся», вздымают кулаки. Марк Грингауз направляет черные, печальные глаза на Соломона Давидовича:

— Разве можно допустить такой дым, когда вся страна реконструируется?

Соломон Давидович сидит в углу класса на стуле — за партой его тело поместиться не может. Он презрительно вытягивает полные, непослушные губы:

— Какой там дым?

— Отвратительный! Какой! И вообще нежелательный! И для здоровья неподходящий!

Это говорит Похожай, чудесно-темноглазый, всегда веселый и остроумный.

Соломон Давидович устанавливает локоть на колено и протягивает к собранию руку жестом, полным здравомыслия:

— Это же вам производство. Если вы хотите поправить здоровье, так нужно ехать в какой-нибудь такой Крым или, скажем, в Ялту. А это завод.

В собрании подымается общий галдеж.

— Чего вы кричите? Ну хорошо, поставим трубу.

— Надо поручить совету бригадиров взяться за вас как следует.

Теперь и Соломон Давидович рассердился. Опираясь на колени, он тяжело поднимается, шагает вперед, его лицо наливается кровью.

— Что это за такие разговоры, товарищи комсомольцы? Совет бригадиров за меня возьмется! Они из меня денег натрусят или, может, вентиляцию? Я строил этот паршивый завод или, может, проектировал?

— У вас есть деньги.

— Это разве те деньги? Это совсем другие деньги.

— Вы «стадион» проектировали!

— Проектировал, так что? Вы работаете сейчас под крышей. Вы думаете, это хорошо делают некоторые комсомольцы? Он смотрит на токарный станок и говорит: соломорезка! Он не хочет делать масленки, а ему хочется делать какой-нибудь блюминг. Он без блюминга жить не может!

— Индустриализация, Соломон Давидович!

— Ах, так я не понимаю ничего в индустриализации! Вы еще будете меня учить! Индустриализацию нужно еще заработать, к вашему сведению. Вот этим вот местом! — Соломон Давидович с трудом достал рукой до сво-

ей толстой шеи. — А вы хотите, чтобы добрая старушка принесла вам индустриализацию и вентиляцию.

— А трубу все-таки поставьте!

— И поставлю.

— И поставьте!

Расстроенный и сердитый Соломон Давидович направляется в литейный цех. Там его немедленно атакуют шишельники, и Петька Кравчук кричит:

— Это что, спецовка? Да? Эту спецовку Нестеренко носил, а теперь я ношу? Да? И здесь дырка, и здесь дырка!

Соломон Давидович брезгливо подымает ладони:

— Скажите, пожалуйста, дырочка там! Ну что ты мне тыкаешь свои рукава? Длинные — это совсем не плохо. Короткие — это плохо. А длинные — что такое? Возьми и подверни, вот так.

— Ой, и хитрый же вы, Соломон Давидович!

— Ничего я не хитрый! А ты лучше скажи, сколько ты шишек сделал?

— Вчера сто двадцать три.

— Вот видишь? По копейке — рубль двадцать три копейки.

— Это разве расценка — копейка! И набить нужно, и проволоку нарезать, и сушить.

— А ты хотел как? Чтобы я тебе платил копейку, а ты будешь в носу ковырять?

Из дальнего угла раздается голос Нестеренко:

— Когда же вентиляция будет? Соломон Давидович?

— А ты думаешь, тебе нужна вентиляция, а мне не нужна вентиляция? Волончук сделает.

— Волончук? Ну! Это будет вентиляция, воображаю!

— Ничего ты не можешь воображать. Он завтра сделает.

Вместе с Волончуком, молчаливым и угрюмым и, несмотря на это, мастером на все руки, Соломон Давидович несколько раз обошел цех, долго задирал глаза на дырявую крышу.

Волончук на крышу не смотрел:

— Трубу конечно, отчего не поставить. Только я не кровельщик.

— Товарищ Волончук. Вы не кровельщик, я не кровельщик. А трубу нужно поставить.

Ваня Гальченко работал в литейном цехе, и ему все нравилось: и таинственный барабан, и литейный дым, и борьба с этим дымом, и борьба с Соломоном Давидовичем, и сам Соломон Давидович. Не понравилось ему только, что Рыжиков был назначен тоже в литейный цех — на подноску земли.

6. Петли

Ванда Стадницкая с трудом привыкала к пятой девичьей бригаде. Она как будто не замечала ни нарядности и чистоты спальни, ни ласковой деликатности новых товарищей, ни вечернего их щебетания, ни строгого порядка в колонии. Молча она выслушивала инструктивные наставления Клавы Кашириной, кивала головой и скорее отходила, чтобы по целым часам стоять у окна и рассматривать все одну и ту же картину: убегающую дорожку пар-

ка, ряд березовых вершин и небо. В столовой она боком сидела на своем месте, как будто собиралась каждую минуту вскочить и убежать, ела мало, почти не поднимая взгляда от тарелки. И новое школьное платье, которое она получила в первый же день: синяя шерстяная юбка в складку и две миленькие батистовые блузки — очень простой и изящный наряд, который ей шел и делал ее юной, розовой и прекрасной, — и блестящие вымытые волосы — ничто ее не развлекало и не интересовало.

В швейной мастерской, которая помещалась в одной из комнат в здании школы, Ванде предложили было серьезную работу, но оказалось, что она ничего не умеет делать. Тогда ей поручили метать петли. Эту работу обычно выполняли самые маленькие, таких в бригаде было около полдюжины: бойкие, веселые, тонконогие, у них по углам спальни водились куклы. Но и петли Ванда метала очень плохо, медленно, лениво. Старшие молча наблюдали, неодобрительно поглядывали друг на друга, показывали, поправляли. Ванда покорно выслушивала их замечания, на время уступала им работу, скучно посматривала боком, как ловкая, юркая игла мелькает между розовыми опытными пальчиками.

Однажды Ванда пришла а мастерскую, когда уже давно стучали машинки. Не отрываясь от работы, Клава спросила:

— Ванда, почему ты опоздала?

Ванда не ответила.

— А вчера ты ушла раньше времени. Почему?

Неожиданно Ванда заговорила:

— Ну что же, и скажу. Не буду работать: не хочу.

— Не будешь работать? А как же ты будешь жить?

— Ну и пусть. Проживу без ваших петель.

— Стыдно, Ванда. Надо учиться. Мы все с петель начинали.

Ванда бросила работу. В горле у нее стояли рыдания, она дико оглядела комнату:

— Куда мне до вас! Петлями начинали! А я кончу петлей!

Она вышла из комнаты, хлопнула дверью.

Вечером она лежала, отвернувшись к стене, ужинать не пошла. Девочки посматривали на ее белокурый, нежный затылок испуганными глазами. Клава сводила брови и что-то шептала про себя.

Утром, когда Ванда одна гуляла по спальне, к ней пришел Захаров. При виде его она покраснела и поправила юбку.

Он улыбнулся грустно, сел у стола:

— Что случилось, Ванда?

Ванда не ответила, продолжала смотреть в окно. Он помолчал.

— В столярной хочешь работать? Там интересно: дерево!

Она быстро повернулась к нему.

— Ой, какой же вы человек. Такое придумали: в столярной!

— Хорошо придумал. Ты вообрази: в столярной!

— Будут смеяться.

— Напротив. Первая девушка в нашей колонии пойдет в столярную. Честь какая! А то девчата все считают: их дело тряпки. Неправильно считают.

Ванда задорно взметнула ресницы:

— А что же вы думаете? И пойду. В столярную? Пойду. Сейчас?

— Идем сейчас.

— Идем. — Он повернулся и, не оборачиваясь, пошел к двери, она вприпрыжку побежала за ним и взяла его под руку:

— Это вы нарочно придумали?

— Нарочно.

— У вас все нарочно?

— Решительно все,— сказал он, смеясь.— Я тут еще одну вещь придумал.

— Скажите. Про меня?

— Про тебя.

— Скажите, Алексей Степанович!

Он наклонился к ее уху, прошептал таинственно:

— Потом скажу.

Ванда ответила ему таким же секретно-задушевным шепотом:

— Хорошо.

7. Коромысло

После работы Игорь решил погулять в окрестностях колонии. Взяв с собой книгу, он прошел парк и вышел на плотину. Слева блестел пруд, а справа между двумя скатами холмов в заросшем камышами овраге еле-еле пробивалась речушка. На вершине противоположного холма стояла дача, по белой стене к черепичной крыше поднимались простодушные побеги «крученого паныча», пестрели его синие, лиловые и розовые колокольчики. У самого дома возвышался ряд тополей, за ними темнел приземистый садик. По эту сторону домика деревьев не было, небольшая площадка огорожена была плетнем, на площадке расположился огород. Огород был не такой, как у крестьян: между грядами проложены были дорожки, и кое-где стояли деревянные диванчики.

Игорь заглянул через плетень. На огороде никого не было, только у одного из диванчиков лежала большая рыжая собака. Увидев Игоря, она поднялась, зарычала, потянулась и побежала к дому. Присмотревшись к огороду, Игорь заметил, что ближайшие грядки были политы и у самого плетня, накренившись на кочке, стояла пустая лейка. «Где же они воду берут?» — подумал Игорь, и в этот же момент увидел калитку в плетне, привязанную к нему старой проволокой. Проследив дальше, он увидел, что вниз к речке спускается узенькая, хорошо протоптанная тропинка, а в конце тропинки, у самых камышей, медленно поднимается с двумя ведрами на коромысле Оксана. Ведра были большие, свежеокрашенные в зеленый цвет; по тому, как слабо они раскачивались на коромысле, было видно, как они тяжелы. Это было заметно и по тому, с какими осторожностью и напряжением делала Оксана маленькие шаги.

Игорь быстро сбежал и схватил дужку ближайшего к нему ведра. Оксана пошатнулась от толчка, подняла к нему испуганные глаза:

— Ой!

— Я тебе помогу.

— Ой, не надо! Ой, не трогайте!

Игорь даже не знал, что у него в запасе имеется такая сила. Одной рукой

он шутя поднял вверх выгнутое плоское коромысло, подхватил его другой рукой. Оксана еле успела выскочить из-под заходивших вокруг них ведер и коромысла. Выскочила и рассердилась:

— Кто тебя просит? Чего ты пристал?

— Леди! Никто не имеет права...

Договорить было трудно: коромысло вертелось на его плече, как на шарнире. Игорь попробовал остановить его, но стряслась другая беда, тяжесть руки перевесила всю систему, одно ведро пошло к земле, другое нависло почти над головой. Оксана уже смеялась:

— Ты не умеешь, без привычки трудно. Поставь на землю. Вот прицепился, что ты будешь делать! Поставь на землю.

Игорь уже сам догадался, что поставить ведро на землю надо. Оксана заговорила с ним на «ты». Ему было весело.

— Дорогая Оксана! Это правильная мысль — поставить их на землю. К черту это допотопное изобретение. Как оно называется?

— Да коромысло ж!

— Коромысло? Получите его в полное ваше распоряжение.

Он взял ведра в руки, потащил в горку. Нести было так тяжело, что он не мог даже говорить. Оксана шла сзади и волновалась:

— И где ты взялся со своей помощью? Поставь ведра, тебе говорю.

Но когда Игорь поставил ведра у самого плетня, она глянула на него из-под дрожащих ресниц и улыбнулась:

— Спасибо.

— Разве можно такое... носить? Это же черти, а не ведра. Это кровожадная эксплуатация!

— А как же ты хочешь? Без воды сидеть? Огород пропадет без воды.

— Культурные люди в таких случаях водопровод устраивают, а не носят на этих самых коромыслах.

— А у нас вся деревня на коромыслах носит. Тут совсем близко. И вода добрая, ключевая.

Оксана уже хозяйничала на огороде. Она легко подняла ведро, отлила воды в лейку и пошла по узкой меже между грядами картофеля. Игорь любовался ее склоненной головкой, на которой рассыпались к вискам темно-каштановые волосы. Она бросила на него взгляд искоса, но ничего не сказала.

— Давай я тебе помогу.

— У нас другой лейки нету.

— А ты мне эту отдай.

— Ты не умеешь.

— Почему ты так стараешься? Ему барыши, ироду, а ты работаешь. Твой хозяин — он эксплуататор.

— Все люди работают, — сказала Оксана.

— Твой хозяин работает?

— Работает.

— Он эксплуататор, твой хозяин. Он имеет право держать батрачку? Имеет право?

— Я не батрачка. И он не хозяин вовсе, вы все врете. Он хороший человек, ты такого еще и не видел. И не смей говорить, — проговорила Оксана с обидой и сердито посмотрела на Игоря.

Она перевернула пустую лейку, на стебли растений упали последние струйки.

— Картошка всем людям нужна. Ты любишь картошку?

На этот вопрос Игорь почему-то не ответил[40].

— Ты ел когда-нибудь свою картошку?

Вопрос ударил Игоря с фронта, а с тылу ударил другой вопрос:

— Я не помешал? Может, я помешал, так сказать?

Оглянувшись, Игорь увидел Мишу Гонтаря. Миша был в парадном костюме, но этот костюм не украшал Мишу. Белый широкий воротник находился даже в некотором противоречии с его физиономией, в настоящую минуту выражавшей подозрительность и недовольство.

Оксана ответила:

— Здравствуй, Михайло. Ничего, не помешал.

Игорь саркастически улыбнулся:

— Миша ревнует.

Оксана гневно удивилась. Разгневался и Гонтарь:

— Ты, Чернявин, зря языком!

У самой дачи молодой женский голос позвал:

— Оксана! Скорее беги сюда, скорее!

Оксана поставила поливалку на землю и убежала.

Колонисты помолчали, потом Гонтарь постучал носком ярко начищенного ботинка в плетень и сказал со смущенным хрипом:

— А только ты сюда не ходи, Чернявин!

— Как это: «не ходи»?

— А так, не ходи. Нечего тебе здесь делать.

— А если я здесь найду для себя работу?

— Какую работу? Он найдет работу!

— А, например, картошку поливать.

— Я тебе говорю: не ходи!

Игорь склонился над плетнем:

— Сейчас подумаю: ходить или не ходить?

Миша вдруг закричал:

— Иди отсюда к черту! Найди себе другое место и думай!

Игорь отступил от плетня, с ехидной внимательностью посмотрел на Гонтаря:

— Милорд! Как сильно вы влюбились!

Светло-серые, широко расставленные глаза Гонтаря засверкали. Он замотал головой так, что его жесткие патлы рассыпались по лбу и по ушам.

— Это такие, как ты, влюбляются, барчуки!

Игорь демонически захохотал и побежал вниз, к пруду.

8. Каждому свое

В первой бригаде Рыжикова встретили сдержанно. Мало доверия внушала его мясисто-подвижная физиономия, зеленоватые глаза. Дошел до первой бригады и рассказ о том, как Игорь Чернявин, старый знакомый Рыжикова, вместо приветствия сразу сгреб его и стал душить. Воленко был недоволен назначением Рыжикова в его бригаду, ходил к Виктору Торскому спорить,

перечислял фамилии: Левитин, Руслан Горохов, Ножик, а теперь еще и Рыжиков. Но Виктор Торский ничуть не был поражен этим списком:

— Ты думаешь — у тебя одного? Пожалуйста, в восьмой: Гонтарь, Середин, Яновский, прибавился Чернявин. В десятой: Синичка, Смехотин, Борода, а бригадир какой — ребенок, Илюша Руднев. А у тебя, подумаешь, Ножик! Ножик хороший мальчишка, только фантазер. Зато актив у тебя какой: Колос, Радченко, Яблочкин, Бломберг. Пожалуйста, возьми себе Чернявина, а Рыжикова отдай.

Воленко подумал-подумал и ушел молча.

Рыжикову он сказал на первом бригадном собрании, после того как сухо и коротко познакомил его с бригадой:

— Слушай, Рыжиков. Я знаю, ты не привык к организованному трудовому коллективу. Я тебе советую: привыкай скорее, другой дороги для тебя все равно нет.

Рыжиков ничего не ответил. Он уже начинал разбираться в организованном трудовом коллективе. Назначенный к нему шефом кучерявый, курносый, умный и уверенный Владимир Колос, ученик десятого класса и член бюро комсомольской ячейки, не любил длинных разговоров и нежностей. Он сказал Рыжикову:

— Я твой шеф, но ты не воображай, пожалуйста, что я тебя за ручку буду водить. Ты не ребенок. Я тебя насквозь вижу и еще под тобой на полметра, и все твои мысли знаю. В голове у тебя уборка еще не произведена как следует. Ты этим делом и займись. Колония живет... все видно, хитрого ничего нет. Смотри и учись. А если не захочешь, значит, ты человек очень плохой.

Рыжиков подумал, что Колос тоже насквозь виден, и поэтому ответил с чувством.

— Ты будь покоен, я буду учиться.

— Посмотрим, — сказал Колос небрежно и ушел.

А на другой день Рыжиков подружился с Русланом Гороховым. Руслан первый подошел к нему:

— В литейную назначили?

— В литейную.

— Землю таскаешь?

— Таскаю.

— Правильно. Остригли?

— Остригли.

— Все по правилам. Будешь жить?

Рыжиков обиженно отвернулся:

— С ума я сошел — тут жить!

Рыслан захохотал, показывая свои разнообразные зубы, и пригласил Рыжикова погулять в лесу. После прогулки Рыжиков вдруг сделался веселым парнем, со всеми заговаривал по делу и без дела, острил, вертелся возле Воленко. Игорь был очень удивлен, когда Рыжиков остановил его посреди цветника.

— Чернявин, а ты все на меня злишься?

Игорь посмотрел на него недружелюбно, но вспомнил дежурного бригадира Илюшу Руднева:

— Я на тебя не злюсь, а только ты паскудно поступил с Ваней.

— Да брось, Игорь, чего там «паскудно»! Ему все равно было в колонию идти, а мне жить нужно было. Мало ли что?

— А здесь... останешься?

— Я вот с тобой хочу поговорить: жить или не жить? Ты как?

Поведение Рыжикова было непонятно. С одной стороны, задумчивая серьезность и доверие к товарищу, советом которого он, видимо, дорожил. С другой стороны, Рыжиков явно показывал, что человек он бывалый и себе цену знает. Он поминутно сплевывал, поднимал брови, небрежно скользил взглядом по цветникам, — этот взгляд говорил, что цветами его не купишь. В этой игре было что-то приятное для Игоря, напоминающее прежнюю свободу «жизненных приключений». И он ответил Рыжикову, не поступаясь своей славой человека бывалого.

— У меня свои планы, а только я воровать не буду.

Рыжиков еще раз одобрительно сплюнул.

— Каждому свое.

Они вошли в вестибюль. С винтовкой стоит маленькая, кругленькая Лена Иванова, с веселым безбровым лицом. Она посторонилась, пропуская входящих, нахмурилась, разглядывая действия Рыжикова. Рыжиков остановился на мокрой тряпке, докуривал папиросу, часто затягиваясь. Лену он не замечал.

— Здесь нельзя курить, — сказала громко Лена.

Рыжиков не спеша рассмотрел Лену, пустил ей в лицо струйку дыма.

Лена прикрикнула на него:

— Ты чего хулиганишь? Здесь нельзя курить, тебе говорю.

Рыжиков с неспешной развязностью повернулся к Игорю:

— Вот такие они все! Легавые!

Он сплюнул с досадой.

Лена вздрогнула так, что весь ее парадный костюм пришел в движение, и сказала тоном приказа:

— Вытри!

— Что?

Лена показала пальцем:

— Вытри! Ты зачем плюнул? Вытри!

Рыжиков усмехнулся, повернулся к ней боком и вдруг провел рукой по ее лицу снизу вверх:

— Закройся, юбка!

Лена крепко сжала губы и с неожиданной силой толкнула его своей винтовкой. Рыжиков рассвирепел:

— Ах! Ты так?

Игорь схватил его за плечо, повернул круто:

— Эй!

— Ты тоже легавый?

— Не тронь девчонку!

— А чего она прямо в живот, сволочь!

Лена отбежала к лестнице, крикнула звонко:

— Как твоя фамилия? Говори, как твоя фамилия?

На площадке лестницы у зеркала показалась Клава Каширина — дежурный бригадир. Лена приставила винтовку к плечу. Рыжиков тронул Игоря локтем:

— Идем, начальство ползет.

Он сказал Лене, уходя на двор:

— Я тебе еще задеру юбку.

Они вышли из здания.

Спустившись вниз, Клава вопросительно посмотрела на Лену. Лена одной рукой молча вытерла слезы, не оставляя положения «смирно».

9. Юридический случай

Они разговаривали в парке. Рыжиков, Руслан и Игорь.

— Ты это зря девчонку тронул, — говорил Руслан.

— А что? Всякая мразь — начальство?

— Тебя сегодня вызовут на общем собрании.

— Ну и что?

— Выведут на середину.

— Пускай попробуют.

— Выведут.

— Посмотрим.

По Рыжикову было видно, что он на середину, пожалуй, и не выйдет. Игорю это нравилось.

— А это интересно: не выйдешь?

— Сдохну, а не выйду.

— Это здорово! Вот будет потеха!

Рыжиков до вечера ходил по колонии с видом независимым. Случай в вестибюле уже не был секретом, на Рыжикова посматривали с некоторым интересом, но разобрать было трудно, что это за интерес.

Общее собрание открылось в восемь часов, после ужина. В тихом клубе на бесконечном диване все колонисты не умещались, хотя и сидели тесно. На коврике вокруг бюста Сталина и на ступеньках помоста гнездами расположились малыши, на весь зал блестели их голые колени. Девочки заняли один из углов тихого клуба, но отдельные их группки были и среди мальчиков.

Малыши на помосте оставили небольшое место для ораторов. Председатель, Виктор Торский, сидит на самой верхней ступеньке, спиной опираясь на мраморный пьедестал, малыши и председателя облепили, как мухи. На краю помоста стоит Соломон Давидович и держит речь:

— Я очень хорошо понимаю, что трусики шить — не большая приятность. Но зато трусики приятно надеть, особенно на курорте, а вы этого, товарищи, не учитываете. А если вы здесь не захотите шить трусики, и другие не захотят, и никто не захочет, — так кто же будет шить трусики? И везде так. Вы спрашивали каменщиков, когда они строили для вас дом? Вы ничего не спрашивали. А может, вы спрашивали кровельщиков или плотников? А кто вам печет хлеб, так вы тоже не спрашивали, приятно им или, может, неприятно. А вы сидите и считаете: вот мы, колония Первого мая, так мы такие хорошие, лучше всех, мы не желаем шить трусики и не желаем делать масленок и театральную мебель, а мы желаем шить какие-нибудь фраки и делать швейные машины и какую-нибудь там мебель рококо или Людовика Семнадцатого. За обедом вы едите мясо,

а это мясо ходило на четырех ногах, с хвостом и ело траву, и такие самые мальчики и девочки за ним смотрят и вовсе не называются колонистами-первомайцами, а называются просто пастухами. Так все довольны, а только вы недовольны: у вас паркет, цветы, школа, музыка, кино, четыре таких цеха, а вам все мало, вам подавай заграничное оборудование по последнему слову техники, и вы будете делать паровозы и аэропланы, а может, блюминги, которые вам не дают покоя. Пускай из вас кто встанет и скажет, что я говорю неправильно. Я хотел бы посмотреть, как он это скажет.

Сохраняя на лице задорную, расплывшуюся чуть не до самого затылка улыбку, Соломон Давидович сошел с помоста и уселся на диване, где пацаны ревниво сохраняли для него место. Но, усевшись и сложив на большом животе руки, он еще раз обвел взглядом собрание и увидел улыбки колонистов, то недоверчивые, то смущенные, то задорно-убежденные. И Соломон Давидович сказал Захарову, сидящему неподалеку от него на том же диване:

— Что ты скажешь? Они все-таки по-своему думают.

Захаров загадочно улыбнулся и показал глазами на очередного оратора.

К помосту вышел Санчо Зорин и еще не начал говорить, а уже занес кулак.

— Соломон Давидович! До чего хитрый! Каждый день девчата делают тысячу трусиков, прибыли тридцать рублей в день. А в месяц девятьсот рублей, а в год десять тысяч. Так это ничего. А как девчата захотели кройке поучиться, так он сейчас и каменщиков вспомнил, и пастухов, и паровозы. А мы что? Разве мы говорим? Мы очень благодарны каменщикам. А что касается пастухов, так при социалистическом хозяйстве много пастухов не нужно, а будет стойловое кормление. А если вы хотите знать, так я и сам был пастухом, что ж, тоже работа, только у кулака, конечно. А теперь я столяр и хочу быть ученым и буду — вот увидите. Так что? При Советской власти — каждый может! И паровозы может строить, и блюминги. Теперь нет такого, что вот ты пастух, так и издохнешь возле коров. Попас, попас немного, а потом и в вуз. Видите, как? И поэтому я предлагаю: если девочки хотят — взять им инструктора, чтобы кройку показывал. А может, им пригодится? А только меня удивляет, почему это девчата все за свою швейную держатся. И очень одобряю, хвалю прямо: новенькая к нам приехала, Ванда Стадницкая. Она в сборочном цехе. Молодец, прямо молодец, она и комсомольцам покажет, как нужно работать, даром что еще не умеет.

Ванда спряталась в гуще пятой бригады и лицо пристроила за чьим-то плечом, чтобы общее собрание не увидело ее румянца.

С другой стороны зала Чернявин и Руслан на диване. а впереди них на стуле веселым героем уселся Рыжиков; слушает — не слушает, а разглядывает всех нахальными глазами, даром что никого еще не знает. Чуть-чуть вкось на том же диване Миша Гонтарь.

Руслан сказал тихо:

— А про тебя, кажется, забыли, Рыжиков, — везет!

— Один черт!

Гонтарь повернул к ним голову, сказал поучительно:

— Ничего, голубчики, не забыли. Все знают.

— Наплевать, — сказал Рыжиков.

— Ты не очень плюй. Вот попаришься на середине.
— А я выйду?
— Не выйдешь? А потом что будет?
— А что будет?
— Дорогой! Мне тебя загодя жалко. Лучше выйди!
— Испугал!
— Друг! Лучше испугайся сейчас.
Игорь даже рукой по колену хлопнул:
— Интересно! Ты не выходи, Рыжиков, покажи им.
Гонтарь печально улыбнулся:
— Эх, люди, люди! Я и сам таким был... дураком.
Проголосовали вопрос об инструкторе кройки, и Виктор Торский спросил:
— Клава, что в рапортах?
Рыжиков, Игорь, Руслан вытянули шеи. Гонтарь прошептал с торжеством кудесника, предсказание которого начинает сбываться:
— Пожалуйте бриться!
Клава ответила:
— В рапортах все благополучно. Только в первой бригаде плохо: Рыжиков не подчинился дневальной Лене Ивановой и оскорбил ее.
Клава передала Торскому бумажку. Он молча пробежал ее, кивнул головой:
— Угу... Рыжиков!
В зале стало тихо. Рыжиков ответил с бодрым, склонным к остроумию оживлением:
— А что такое?
Все лица неслышно повернулись к Рыжикову. Торский показал глазами:
— Выходи на середину.
Рыжиков неловко, но достаточно бодро повозился на стуле:
— Никуда я не пойду.
Те же лица, только что смотревшие на него с благодушным интересом, вдруг заострились, легкий шум пробежал в зале и затих. Торский удивленно спросил:
— Как это не пойдешь?
Рыжиков в подавляющей оглушительной тишине отвалился назад и руку развесил на спинке стула:
— Не пойду, и все!
В зале как будто взорвалось. Кричали в разных местах, пацаны на помосте звенели дискантами, чего-то требовали. Рыжиков заставил себя посмотреть туда — к нему были обращены горячие, гневные лица. Вырывались возгласы:
— Ха! Он не пойдет!
— Пойдешь, милый!
— Встань, чего ты развалился?
— Какой такой Рыжиков?
— Ух ты! Ирой какой!
Зырянский поднялся с места, сделал шаг вперед. Торский приказал резко:
— Зырянский! На место!

Зырянский мгновенно опустился на диван, но все в нем по-прежнему стремилось вперед. Общий крик загремел на несколько тонов выше:

— Смотреть на него!?

— Да я его сам!

— Ломается!

— Выходи!

Игорь не успевал оборачиваться... Рыжиков хотел что-то сказать, лицо уже приготовил нахальное, нечаянно приподнялся. Гонтарь одной рукой принял его стул, другой подтолкнул к середине.

Очутившись на свободном, блестящем пространстве, Рыжиков не сразу понял то, что произошло. Но он чувствовал, что силы его исчезают. Недовольно пожав одним плечом, он проворчал что-то, вероятно ругательство, засунул руки в карманы, но, глянув перед собой, нечаянно увидел Зырянского. Тот, сидя на диване, весь подался вперед и, встретившись взглядом с Рыжиковым, гневно и угрожающе стукнул себя кулаком по колену. В зале захохотали. Рыжиков вздрогнул, не понимая причины хохота, и, совсем растерявшись, машинально подвинулся к чистой, холодной, как пустыня, середине зала. Но руки у него оставались в карманах, ноги в какой-то нелепой балетной позиции. Как будто подчиняясь дирижерской палочке, прогремел общий весело-требовательный крик:

— Стань смирно!

У Рыжикова уже не было сил сопротивляться. Он приставил ногу, выпрямился, но одна рука еще в кармане. И тогда в тишине раздался негромкий, повелительно-нежный голос председателя:

— Вынь руку из кармана.

Рыжиков для приличия повел недовольным взглядом поверх голов сидящих и руку из кармана вынул. Игорь не удержался:

— Синьоры! Он готов!

— Чернявин! К порядку!

Рыжиков, действительно, готов и поэтому старается не смотреть на колонистов. У колонистов два выражения: у одних еще остывает гнев, у других улыбка — выражение победы. Торский поставил деловой вопрос:

— Ты первой бригады?

Рыжиков прохрипел, по-прежнему глядя поверх голов:

— Первой.

— Дай объяснение, почему не подчинился дневальной и оскорбил ее.

— Никого я не оскорблял. Она сама меня двинула.

Быстрый, легкий смех пробежал в «тихом» клубе.

— Никого не оскорблял? Ты провел рукой по лицу.

— Ничего подобного. А кто видел?

Смех повторился, но уже более долгий. Улыбнулся и Торский. Смеялся, поддерживая сложенными руками живот, Соломон Давидович; Захаров поправил пенсне. Торский пояснил:

— Какой ты чудак! Нам не нужны свидетели.

Рыжиков сообразил, что колонисты уже устроили из него потеху. Но он слишком хорошо знал жизнь и знал, какое важное значение имеют свидетели:

— Вы мне не верите, а ей верите.

И как всегда в минуту юридической правоты, у него нашлось обиженное

выражение лица и небольшое дрожание в голосе. Было только странно, что и этот ход, считавшийся у понимающих людей абсолютно неуязвимым, был встречен уже не смехом, а хохотом, раздольным и жизнерадостным. Рыжиков обозлился и закричал:

— Чего вы смеетесь? А я вам говорю: кто видел?

Очевидно, это было настолько завлекательно, что ребята и смеяться не могли, боясь расплескать полную чашу наслаждения. Они увлеченно смотрели на Рыжикова и ждали. Торский снова охотно пояснил:

— А если никто не видел? Можно оскорблять человека, если никто не видит?

Это была очень странная мысль, с такими мыслями Рыжиков никогда еще не встречался. Он помолчал, потом поднял глаза на председателя и сказал убедительно и просто:

— Так она врет. Никто же не видел!

Игорь Чернявин поднялся на своем месте. Торский и другие вопросительно на него посмотрели. Игорь сказал:

— Рыжиков несколько ошибается. Я, например, имел удовольствие видеть, как он мазнул ее по лицу.

Рыжиков быстро оглянулся:

— Ты?

— Я.

— Ты видел?

— Видел!

Теперь смех получился недоброжелательный, осуждающий. Эстетическое наслаждение кончено: в последнем счете неприятно смотреть на человека, который обиженным голосом требовал свидетеля, а свидетель сидел с ним рядом.

Зырянский протянул руку:

— Дай слово.

— Говори.

— Что тут разбирать? Откуда такой взялся? Рыжиков! Как ты смеешь не подчиняться нашим законам? Как ты смеешь возить лапой по лицу девочки? С какой стати? Говори, с какой стати?

Зырянский шагнул к Рыжикову. Рыжиков отвернулся.

— Выгнать. Немедленно выгнать! Открыть дверь и... иди! А он еще свидетелей ищет. Мое предложение, взять и...

— Выгнать, — подсказал кто-то.

Зырянский улыбнулся на голос:

— Вы, конечно, не выгоните, у вас добрые души, а только напрасно.

Зырянский жестом пригласил говорить Воленко, своего постоянного оппонента. Воленко не отказался.

— Рыжиков в моей бригаде. Человек, прямо скажу, тайный какой-то, и все с Русланом вместе.

— А я причем? — крикнул Руслан.

— О тебе тоже когда-нибудь поговорим. А все-таки я думаю, что из Рыжикова толк будет. Он не то, что какой-нибудь барчук. Конечно, прошлым мы не интересуемся, а все-таки пусть он скажет, где его отец.

Торский спросил:

— Рыжиков, ответь... Можешь сказать?

— Могу. Купец был.
— Умер?
— Нет.
— А где он?
— Не знаю.
— Совсем не знаешь?
— Убежал куда-то.
Воленко продолжал:
— Выгонять не нужно. Наказать следует, а в колонии нужно оставить. Посмотрим, может, из него еще советский человек выйдет.
Встал Захаров:
— Я думаю, что и наказывать не нужно. Человек еще малокультурный.
Рыжиков недовольно отозвался:
— Чего я там малокультурный?
— Малокультурный. Ты еще не понимаешь такого пустяка — плюешь. За тобой же прибирать нужно: мыть. А ведь в этом вопросе совсем нетрудно сообразить. Надо, чтобы первая бригада научила Рыжикова необходимой культуре. Хватаешь девочку за лицо. Так делают только самые дикие люди, а ведь ты совсем не такой дикий, учился, окончил три группы. Предлагаю оставить без наказания, а Лене выразить сочувствие от имени общего собрания.
Собрание закончилось быстро. Зырянский снял свое предложение. Торский сказал Рыжикову:
— Можешь идти. Да смотри за собой.
Рыжиков тронулся с места.
— Подожди. Салют общему собранию.
Рыжиков улыбнулся снисходительно и поднял руку.
— Лена, общее собрание выражает тебе сочувствие и просит тебя забыть об этом деле.
На лестнице, по дороге к спальням, Рыжиков приостановился и сверху вниз глянул на Игоря:
— Ты что же, Чернявин, легавишь?
— А когда я легавил?
— Когда легавил? Ты видел? Свидетель! Какое тебе дело?
Игорь хлопнул себя по бокам:
— Ах ты, черт! Действительно. А то разве ты стоял на середине? Я смотрю, стоит какой-то рыжий. Думал, кто другой. Значит, ты вышел на середину?
Руслан раскатился смехом на всю лестницу. Рыжиков презрительно смотрел на Игоря до тех пор, пока их не догнал снизу Владимир Колос. Он хлопнул Рыжикова по плечу:
— Поздравляю. Это, брат, важно: первый раз на середине. Теперь дело пойдет. А все-таки перед собранием стоять нужно смирно.

10. Поцелуй

Раз в неделю в большом театральном зале колонии, в котором стояло четыреста дубовых кресел собственного завода, бывали киносеансы. На

кино приходили служащие с семьями, девушки и парни с Гостиловки, знакомые из города. Киносеансы не требовали от колонистов добавочных хлопот. С утра отправлялся в город на линейке колонист из девятой бригады Петров 2-й, с младенческого возраста преданный киноидее, решивший и всю остальную жизнь посвятить этому чуду XX в. Петров 2-й прожил от рождения шестнадцать лет и был убежден, что за это время он постиг всю мудрость жизни. Она оказалась очень простой и приятной: человек должен быть киномехаником, даже если для этого нужно выдержать экзамен. Но Петрова 2-го бюрократы, конечно, не допускали к экзамену раньше восемнадцати лет, и поэтому Петров 2-й ненавидел бюрократов, к которым он ездил раз в неделю, чтобы выписать и получить очередную картину. Будучи вообще человеком добродушным, вежливым и даже вяловатым, Петров 2-й, выписывая комплект жестяных круглых коробок, ухитрялся наговорить столько неприятных вещей кинематографическим бюрократам, что они постепенно дошли до остервенения. В один прекрасный день они целой толпой в составе трех человек нагрянули в колонию и констатировали, что картину «пускает» не настоящий киномеханик, обладающий всеми правами, а тот самый шестнадцатилетний Петров 2-й, который раз в неделю приходил к ним с пустым мешком и обвинял их в бюрократизме. Петров 2-й и сейчас не полез в карман за словами, но дело кончилось грустно: колония была оштрафована на пятьдесят рублей, аппарат опечатан, написан очень длинный акт, содержащий множество бюрократических требований. Общественное мнение колонии стояло, разумеется, на стороне Петрова 2-го, так как для всех было ясно, что шестнадцатилетний возраст не мешает человеку быть гением в той или иной области.

Общественное мнение, однако, кое в чем обвиняло и самого Петрова 2-го. Зырянский Алеша в своей речи на общем собрании выразил это так:

— Петрова 2-го следует тоже взгреть. Разве с бюрократами можно бороться в одиночку? Нужно было привезти их на общее собрание и тут поговорить.

Теперь, после поражения политики Петрова 2-го, главная беда состояла в том, что под выходной день нечего было показать публике, а публика уже привыкла приходить в колонию под выходной день. Выход из положения был найден, конечно, Петром Васильевичем Маленьким.

Петр Васильевич предложил поставить пьесу. Драмкружок в колонии и зимой работал плохо, а летом и совсем рассыпался: ни у кого не было охоты тратить летние вечера на репетиции. Да и зимой даже самые активные члены драмкружка в глубине души предпочитали кино. Но сейчас кино было исключено из жизни бюрократическим актом и не могло возродиться, пока вся кинобудка с ног до головы не оденется асбестом, пока не появится в будке совершеннолетний киномеханик.

Петр Васильевич кликнул клич. Охотников нашлось не так много, поэтому были привлечены к драматической затее и новички. Чернявин должен был играть третьего партизана, нашлись роли и для Вани Гальченко и Володи Бегунка. Репетиции прошли успешно и быстро, декорации леса и барской усадьбы сделаны были в естественном стиле: лес — из сосновых веток, а усадьба — из фанеры.

В день спектакля, когда уже костюмы были привезены и публика начала

собираться, Игорь заглянул в парк и на первой же скамье увидел одинокую Оксану. Он очень ей обрадовался. Его настроение было повышено в предчувствии сценического успеха. Оксана же сегодня была красивее всех девушек мира: на ней была замечательно отглаженная розовая кофточка, а в руках васильки.

— Оксана! Какая ты сегодня красивая!

Девушка испуганно отодвинулась от него, а когда Игорь сделал к ней движение, она вскочила и попятилась от него по дорожке.

— А еще колонист! Разве так можно?

— Оксана! У тебя такие глаза!

Оксана поднесла руку к глазам, в руке были васильки.

— Уходи! Я тебе говорю, уходи от меня!

Но Игорь не ушел. Он сделал к ней широкий шаг и одним движением обнял ее шею, руки и васильки. Он никогда потом не мог вспомнить, поцеловал он ее или не поцеловал: она пронзительно вскрикнула, отстраняя его, — цветы попали ему в глаз, и стало больно...

— Чернявин! — сказал кто-то гневно.

Он оглянулся: серые ясные глаза Клавы Кашириной смотрели на него, ее нежное лицо покраснело пятнами.

— Ты можешь так обижать девушку?

Больше от смущения, чем от наглости, Игорь прошептал:

— Наоборот...

Клава в крайнем и безудержном гневе притопнула ногой:

— Вон отсюда! Ступай, сейчас же найди дежурного бригадира Воленко и расскажи ему все. Понял?

Игорь ничего не понял и бросился по дорожке к зданиям. Но, как быстро он ни покинул место происшествия, он успел услышать глухие звуки рыданий. Оглянуться он побоялся.

11. Веселая собака

Игорь прибежал в театральную уборную не помня себя. Во-первых, стало совершенно очевидно, что он, Игорь Чернявин, влюблен в Оксану, просто втрескался, как идиот. Такого несчастья с ним еще не случалось, а сейчас оно наступило... Все признаки налицо: только влюбленные могут так набрасываться с поцелуями. Во-вторых, он предвидел страшный вопрос на общем собрании.

— Чернявин, дай объяснение...

Он бежал через парк и через двор, страдал и краснел, и все вспоминались ему и брови, и глаза, и васильки, черт бы их побрал; рядом с ними вспоминался и Воленко. Ни за какие тысячи Игорь ничего ему не расскажет. Общее собрание, Игорь стоит посредине, все заливаются хохотом... пацаны, пацаны с голыми коленями!

Стремительно открыв дверь в театр, специальный вход для актеров, Игорь налетел на Воленко. Воленко глянул на него строго — впрочем, он всегда смотрел строго, — Игорь посторонился и вспотел.

— Где ты пропадаешь, Чернявин? Иди скорее.

В актерской уборной происходило столпотворение. Захаров, Маленький

и Виктор Торский гримировали актеров. Некоторые занимались примериванием костюмов: партизаны, командиры, офицеры, женщины. Виктор Торский, в рясе и в поповском парике, сказал Игорю:

— Чернявин, скорее одевайся. Третий партизан?

— Третий. Черт его знает, понимаете, никогда партизаном не был...

— Чепуха! Чего там уметь! Будешь партизан, и все. А у тебя и морда подходящая, кто это тебя смазал?

Игорь давно уже чувствовал, что у него напухает правый глаз.

— Да... Зацепился...

— Бывает... за чужой кулак зацепишься. А выйдет, как будто в бою. Веревкой, веревкой подвяжись. Онучи вот, а вот лапти.

Игорь уселся на скамью надевать лапти.

— Как их... никогда лаптей не носил...

Поручик — Зорин туго стягивает поверх старенькой хаковой гимнастерки парадный офицерский пояс:

— А, думаешь, я когда-нибудь погоны носил? А теперь приходится.

Игорь склонился над сложной своей обувью, задумался над двумя длинными веревками, привязанными к лаптю. Первый партизан — Яновский, невыносимо рыжебородый, но с бровями ярко-черными, задирает ногу:

— Видишь, как? Видишь?

Собственно говоря, Игорь не видит, потому что в дверях уборной стоит Клава Каширина и смотрит на Игоря. Игорь наморщил лоб и занялся веревкой. Клава посмотрела на него и ушла.

Петр Васильевич Маленький, в длинном генеральском сюртуке с красным воротником, показал на свободный стул:

— Садись, Чернявин. Кого играешь?

— Третий партизан.

— Третий? Угу. Мы тебя сделаем такого... вот эта бороденка. Совсем бедный мужик, даже борода не растет. Намазывайся.

Игорь начал намазываться желтоватой смесью. Петр Васильевич натянул на его стриженую голову взлохмаченный грязный парик, и на Игоря глянуло из зеркала смешное большеротое лицо.

По этому странному лицу Петр Васильевич заходил карандашом.

— Витька, а где мои ордена? — спросил он у Торского.

— Сейчас Рогов принесет. Там еще звезды не высохли, а лента вон висит.

Он показал на голубую широкую ситцевую ленту, висящую на гвоздике.

Захаров тоже посмотрел на ленту:

— Лента лишняя. Это же гражданская война. И звезды... не нужно.

Виктор изумленно глянул на Захарова:

— Какой же генерал, если без звезды? И лента... насилу у девчат выпросил.

— Голубая лента, выходит, андреевская, такие ленты только важные сановники носили[41].

Маленький снял с гвоздика ленту, перекинул через собственное плечо:

— Ничего, Алексей Степанович, публике понравится. Только вы, ребята, когда хватать будете, полегче. А то с прошлой репетиции домой пришел... просто избитый.

Яновский улыбнулся:

— Ну а как же с генералом? Цацкаться?

Хлопнула дверь, в уборную вбежали Ваня и Бегунок. Бегунок закричал:

— Хорошо? Алексей Степанович, хорошо?

И на нем и на Ване надеты вывороченные полушубки. Володя опустился на четвереньки, натянул на голову собачью остромордую маску и залаял, прыгая к сапогам Захарова и захлебываясь от злости. Ваня проделал то же, уборная наполнилась собачьим лаем и хохотом зрителей. У Вани выходило лучше, он умел выделывать особенные нетерпеливо-обиженные взвизгивания, а потом снова заливался высоким испуганным тявканьем.

Виктор закричал: — Да хватит! Вот эти пацаны! Когда еще спектакль, а они уже три дня бегают по колонии, на всех набрасываются.

Алексей Степанович улыбнулся:

— По шерсти если считать, больше похожи на медвежат. Но, я думаю, сойдет. Раз генерал в андреевской ленте, собаки должны быть страшные.

И Володя и Ваня, довольные репетицией, на четырех ногах убежали на сцену.

Через полчаса начался спектакль. Виктор усадил «собак» за кулисами и сказал:

— Только вы так: полайте, а потом промежуток сделайте. Чтобы и другие могли слово сказать. Поняли?

— Есть! — ответили «собаки» и с угрожающим видом притаились в дебрях помещичьего сада.

На сцене все готово. Генералы и вообще буржуазия сходятся в дом. Окно открыто, дом освещен, за окном они усаживаются на совещание. Поп поместился прямо против окна, крикнул:

— Готово.

Занавес пошел вправо и влево. В зале кто-то не выдержал:

— Смотри: Витя Торский!

На него шикнули, стало тихо; против открытого окна, рядом с худющим генералом, сидит не Витя Торский, а отец Евтихий, что немедленно и выяснилось из разговоров буржуазии и генералитета.

На сцену из-за деревьев пробираются партизаны. Между ними и Игорь Чернявин. Партизаны крадутся к окну, а часть должна пробраться в дом. Двое располагаются у самого окна, поднимают винтовки, готовясь выстрелить. И вот они выстрелили: наступила самая увлекательная минута. За окном, в доме, выстрелы и свалка, крики, визги, женский плач. Из-за кулис выскочили две собаки, очень похожие на медвежат, с злобным лаем набросились на партизан. В зале все знали, что это Володька и Ванька, но борьба на сцене так захватывала, всем так хотелось, чтобы партизаны победили, что и собаки стали собаками и даже вызывали к себе враждебное чувство.

Игорь Чернявин, третий партизан, с головой всклокоченной и с жидкой кущеватой бороденкой, возится с попом и кричит:

— Попался, пузатый черт!

Непривычная глубина зрительного зала, заполненная сотнями человеческих глаз, мелькание золотых эполет, орденских звезд и голубой ленты, огромный крест, сделанный из картона, захлебывающийся собачий лай под ногами, шипение Вити Торского: «Не хватай за крест» — все это так оглушило Игоря, что он вдруг забыл вторую свою реплику. Суфлер в будке разрывался на части и что-то подавал свистящим, злым шепотом, но Игорь

так и не мог вспомнить эту фразу и кричал все одно и то же:

— Попался, пузатый черт!

Эта реплика вдруг перестала работать — попа повели в плен. Третий партизан должен падать раненным от выстрела худенького поручика. Самый выстрел давно прогремел за сценой, поручик давно тыкал пугачом в живот Игоря, а Игорь растерялся и снова начал:

— Попался, пу...

Он вдруг услышал из зала взрыв смеха и подумал, что это смех по поводу его возгласа. А может быть, имела значение и веревка на лапте. С самого начала боя она начала развязываться, потом Игорь почувствовал, что на нее наступают, наконец его нога выпрыгнула из лаптя. Игорь дрыгнул босой ногой и тут только вспомнил, что ему давно полагается падать, тем более что и Зорин зашипел на него:

— Да падай же, Чернявин!

Собаки продолжали бешено лаять, но с одной из собак тоже происходило что-то странное: она добросовестно выполняла свои обязанности, бросалась на упавшего третьего партизана и даже одной рукой дернула за его лапоть, но между собачьими звуками у нее стали проскакивать звуки настоящего мальчишеского смеха. Видно было, что собака старается прекратить это явление, но смех все более и более, все победоноснее вторгался в ее игру, и наконец собака расхохоталась самым неудержимым звонким способом, каким всегда смеются мальчики в веселые минуты. С таким хохотом собака и убежала за кулисы, но собачью честь сохранила — убежала все-таки на четырех ногах.

Игорь лежал раненый и никак не мог разобрать, что такое происходит. Он слышал высокий, звонкий смех рядом с собой, слышал смех в зале, ему казалось, что это смеются над ним, над его босой ногой и слишком поздним падением.

Когда закрылся занавес, Игорь вскочил и выбежал за кулисы. За первым же деревом он натолкнулся на Клаву и Захарова. Они стояли вдвоем и о чем-то серьезно беседовали. Игорь похолодел и кинулся в сторону. Мысль о том, что нужно бежать из колонии, молнией пронеслась у него, но в этот момент налетел Витя Торский.

— Что же ты бросил, — сказал он, протягивая лапоть, — надевай скорей!

Игорь вспомнил, что его актерский путь далеко не закончен, что предстоит еще три акта сложных партизанских действий. Он поспешил в уборную и там встретил общий радостный хохот. Ваня Гальченко, совершенно обескураженный, сидел в углу, может быть, он даже плакал перед этим, его щеки вымазаны были в саже. Рядом с ним Володя Бегунок катался по скамье и не мог остановить смеха:

— Ты пойми, ты пойми, Ванька! Собака смеется человеческим голосом. Вот это так собака!

Петр Васильевич Маленький сдирал с себя орденские знаки. Один он успокаивал Ваню:

— Ничего, Гальченко, ты не грусти. Хорошая собака всегда умеет смеяться, только, конечно, не так громко.

12. Таинственное происшествие

Володя Бегунок хохотал до тех пор, пока в уборную не пришел Захаров. Он подошел к Ване, теплой, мягкой рукой поднял за подбородок его голову:

— Гальченко, ты плакал, что ли?

— Он смеялся, — сказал Володя, — это такая собака, она сначала смеется, а потом плачет.

Ване было грустно. Он с таким счастливым азартом готовился к спектаклю, он так хорошо научился лаять — гораздо лучше Володьки, а теперь он опозорен на всю жизнь, он не представляет себе, с какими глазами он покажется в бригаде, в колонии. И все из-за этого Игоря, который выскочил из своего лаптя и который ни за что не хотел падать. Санчо Зорин только что ругал Игоря за это:

— Что это такое: я в тебя стреляю, а ты стоишь, как баран, и еще кричишь. Надо же иметь соображение.

Петр Васильевич на это добродушно отозвался:

— Ты, Санчо, не придирайся. Соображение иметь — это очень трудная штука.

— Ничего не трудная.

— Трудная. Ты сам сейчас не имеешь соображения: «стоишь, как баран»! Почему ты думаешь, что если в барана стрелять, так он не будет падать? Ты ошибаешься, баран у нас не считается самым упрямым животным. Ты, наверное, хотел сказать: осел.

Под добродушным взглядом голубых глаз Петра Васильевича Зорин смутился и машинально подтвердил:

— Ну да, как осел.

Все засмеялись тому, как остроумно Петр Васильевич «купил» Зорина. А Петр Васильевич так же добродушно положил руку на его плечо:

— Дорогой мой, осел тоже свалится.

Санчо рассердился:

— Да ну вас...

Все эти разговоры и шутки уменьшили было Ванино горе, но сейчас под ласковой рукой Алексея Степановича оно снова закипело, и снова Ванина черная рука потянулась к щеке. Алексей Степанович сказал строго:

— Гальченко, это мне не нравится. За то, что ты хохотал в собачьей должности, на тебя никто не обижается. Бывают такие положения, когда никакая собака не выдержит, даже самая злая. А вот за то, что ты слезы проливаешь, я, честное слово, дам тебе два наряда. Володька, сейчас же ступайте мыться. Молодец, Ваня! Ты замечательно играл собаку.

Сбросив с себя не только собачью одежду, но и человеческую, в одних трусиках они побежали через парк. Никакого горя не оставалось в Ваниной душе[42]. Володя бежал рядом с ним, вглядывался в темную дорожку и успевал вспоминать:

— Ты не думай. Я в прошлом году наступил на свой аэроплан. Три недели делал, а потом наступил. И так было жалко, понимаешь. Я лег на подушку и давай реветь. А тут он в спальню. Ну, так что это с тобой! Это пустяк. А на меня он как закричит! Как закричит: «К черту с такими колонистами! Не колонист, а банка с водой! Два наряда!» Ой-ой-ой! И пошел, сердитый та-

кой. Да еще и дежурный бригадир Зырянский попался: «Вымоешь вестибюль». Я мыл, мыл, а он пришел, Зырянский, и говорит: «Не помыл, а напачкал; сначала мой, не принимаю работы». Так я три часа мыл. Вот как было.

— А ты потом ревел? После этого хоть раз?

— После наряда?

— Ну да...

— Да что ты! А если он узнает, так что? Он тогда... ого... он тогда со света прямо сживет и на общее собрание. Теперь рюмзить... если даже захотел, так как же ты будешь без слез? Я вон заиграл в прошлом лете сигнал «вставать» в четыре утра, так такое было... ой, ты себе представить не можешь. Разбудил всех, а дежурство еще раньше. Чего мне такое показалось на часах, я и сам не знаю. И все встали, и уборку сделали, а потом дежурный как посмотрел на часы... И то не плакал.

Володя вдруг остановился:

— Смотри!

Слева вспыхивал огонек, ярко освещал кирпичную стену, лица каких-то людей. Потом потухал и снова вспыхивал.

— Кладовка, — шепнул Володя.

— Какая кладовка?

— Кладовка. Производственная кладовка. Пойдем.

Мальчики пригнулись и, ступая на пальцы, побежали к кладовке. Здесь парк не был расчищен, было много кустов, их ноги тонули в мягкой, прохладной травке. У последних кустов они остановились: производственный двор Соломона Давидовича был освещен одним фонарем, кирпичный сарай-кладовка стоял в тени стадиона. Снова огонек. Было ясно видно — кто-то зажигал спички.

Ваня прошептал в испуге:

— Рыжиков!

— Верно, Рыжиков. А другой кто? Стой, стой! Руслан! Это Руслан! Это они добираются! Тише!

Слышно было, как Руслан сказал напряженным шепотом:

— Да брось свои спички! Увидят!

Голос Рыжикова ответил:

— Кто там увидит? Все в театре.

Они завозились возле замка, слабый металлический звук долетел оттуда.

Володя шепнул:

— Отмычка. Честное слово, они обкрадут и убегут.

С замком, видимо, что-то не ладилось. Рыжиков чертыхался и оглядывался. Володя сказал, наклонившись к самому уху Вани:

— Давай закричим.

— А как?

— Знаешь, как? Я буду кричать: держите Рыжикова. Потом ты... нет... Давай вместе, только басом...

— А потом бежать.

— А потом... потом они нас все равно не поймают.

Ваня хотел даже громко засмеяться, так ему понравилось это предложение:

— Ой, ой, Володя, Володя! Давай будем кричать, знаешь, как? Только

тихо, только тихо. Будем так говорить: Рыжиков, выходи на середину!

— Давай, давай, только разом.

Володя поднял палец. Они сказали басом, пугающим, игровым голосом:

— Рыжиков, выходи на середину.

Их слова замечательно явственно легли на всей площадке производственного двора, мягко, отчетливо ударились в стены и отскочили от них в разные стороны. Там, у кладовки, очевидно, даже не разобрали, откуда они идут, эти страшные слова. Рыжиков и Руслан бросились бежать как раз к тем кустам, за которыми стояли мальчики. Володя и Ваня еле-еле успели отскочить в сторону.

Руслан глухо прошептал:

— Стой!

Рыжиков остановился, в его руках еще звенели отмычки. Руслан сказал тем же дрожащим шепотом:

— Какая это сволочь кричала?

— Идем в театр, а то узнают.

— Все твои спички. Говорил, не нужно...

Они быстро направились к главному зданию.

Володя запрыгал:

— Здорово! Вот потеха!

— Теперь нужно сказать Алеше, — сказал Ваня.

— Не надо. Алешка сейчас же хай поднимет и на общее собрание. Сейчас же скажет: выгнать.

— И пускай! И пускай!

— Да, чудак! Их все равно не выгонят. Они скажут, а какие доказательства? Мы гуляли. И все равно не выгонят. Давай лучше за ними смотреть. Интересно! Они про нас не знают, а мы про них знаем.

13. Вам письмо[43]

На другой день утром Игорь Чернявин проснулся в плохом настроении. Лежал и думал о том, что из колонии необходимо бежать, что нельзя с таким делом стать на середине. Дежурила Клава Каширина. Одно ее появление на поверке заставило Игоря лишний раз вспомнить вчерашний ужасный вечер. Но Клава с веселой, девичьей строгостью сказала: «Здравствуйте, товарищи», снисходительно пожурила Гонтаря за плохо вычищенные ботинки, Гонтарь дружески-смущенно улыбнулся ей, улыбнулась и вся бригада, в том числе и Игорь Чернявин. Трудно было не улыбаться: на сверкающем полу горели солнечные квадраты, дежурство в парадных костюмах тоже сияло, голос у Клавы был, наверное, с серебром, как и корнеты оркестра. И Игорь снова поверил в жизнь — не может Клава ябедничать, должна она понимать, как человек может влюбиться. Игорь весело отправился завтракать. Многие колонисты, даже из чужих бригад, встретили его приветливо, вспоминали и неумирающего третьего партизана, и веселую собаку. Нестеренко за столом тоже сиял добродушно-медлительной радостью: собственно говоря, вчерашний спектакль, о котором сегодня так много говорят, был сделан силами восьмой бригады, даже новенький — Игорь Чернявин — и тот играл.

К столу быстро подошел Володя Бегунок, вытянулся, салютнул:
— Товарищ Чернявин!
Игорь оглянулся:
— А что?
— Вам письмо!
В руке Володиной у пояса вздрагивает аккуратный, основательный белый конверт.
— Откуда письмо? Это, может, не мне?
— Вот написано: «Товарищу Игорю Чернявину».
— Местное, что ли?
Володя сдержанно улыбнулся:
— Местное.
— От кого?
— Там, наверное, тоже написано.
— Что такое?
Игорь вскрыл конверт. И его стол и соседние столы были заинтересованы. Володя стоял по-прежнему в положении «смирно», но его глаза, щеки, губы, даже голые колени улыбались.
Игорь прочитал скупые, короткие строчки на большом белом листе:
«Товарищ Чернявин.
Прошу тебя сегодня вечером, после сигнала «спать», прийти ко мне поговорить.

А. Захаров».

Игорь прочитал второй раз, третий, наконец покраснел, что-то холодное пробежало сквозь сердце.
Санчо Зорин привстал, заглянул в письмо, положил руку на плечо Игоря:
— Ну, Чернявин, я к тебе в долю не иду.
У Игоря еще больше похолодело в груди. Нестеренко, не выпуская стакана с чаем из одной руки, другую молча протянул к Игорю, взял письмо, прочитал:
— Д-да. А за что это, не знаешь?
Володя перестал улыбаться:
— Все понятно?
Нестеренко на него глянул свирепо:
— Володька! Убирайся!
— Есть, убираться!
Убираясь, Володя все-таки бросил на Игоря и на всю восьмую бригаду намекающе-кокетливый взгляд.
— За что, не знаешь? — повторил вопрос Нестеренко.
Игорь опустился на стул, с опаской глянул на Гонтаря:
— Да... наверное, девчонка эта...
— Ага! Девчонка? Послушаем!
Тихонько, чтобы не слышали другие столы, заикаясь, не находя слов, краснея и бледнея, Игорь рассказал о вчерашнем несчастном случае в парке. И закончил:
— И больше ничего не было.
Нестеренко недолго размышлял:
— Влетит. Алексей за такие дела... ой-ой-ой!
Гонтарь с самого начала рассказа смотрел на Игоря прищуренными, пре-

зрительными глазами, а сейчас наклонился ближе, чтобы не слышали другие столы, и сказал Игорю в лицо:

— Видишь, какой ты гад! А ты этой девчонки, понимаешь, и мизинчика не стоишь. Жалко, что тебя Алексей вызывает, а то я подержал бы тебя в руках...

Нестеренко и Зорин ничего на это не сказали, наверное, были согласны с тем, что Чернявин — гад. И с тем, что его стоит подержать в руках.

Игорь склонился к тарелке:

— Ну его к черту! Уйду.

Нестеренко откинулся на спинку стула, задумчиво закатал под пальцем крошку хлеба:

— Нет, не уйдешь. Алексей знает: если бы ты мог уйти, он бы тебе письма не написал, а затребовал бы с дежурным бригадиром.

Гонтарь сказал с прежним презрением:

— Да и кто тебе даст убежать? Думаешь, бригада? Ты об этом забудь.

После завтрака Игорь в тоске бродил по парку, по двору, наконец, по коридору. Он рассчитывал, что Захаров будет проходить мимо и с ним поговорит. Но Захаров не выходил из кабинета, а к нему все проходили и проходили люди: то Соломон Давидович, то бухгалтер, то Маленький, то какие-то из города, то Клава. Клава не замечала его.

По дорожкам цветника гуляет Ваня. Володя Бегунок сзади набежал на него, обхватил руками. Повозились немного, и Володя зашептал:

— А ты знаешь? Чернявина в кабинет... Алексей... вечером в кабинет. Ой, и попадет же. Он эту... Оксана там такая... поцеловал.

— Поцеловал?

— Три раза, в саду!

— Прямо так поцеловал? И все?

— А тебе мало? Это, знаешь, очень строго запрещается. Один раз поцеловать и то попадет. А по три раза!

— И что же ему будет?

— Я к нему в долю не иду!

В коридоре главного здания Игорь-таки дождался Захарова. Алексей Степанович проходил не спеша, очевидно отдыхал. Он приветливо ответил на салют Игоря:

— Здравствуй, Чернявин.

Но не остановился, ничем не показал, что он состоит некоторым образом в переписке с Игорем.

— Алексей Степанович, я получил записку. Нельзя ли сейчас[44].

— Нет, почему же... Я просил вечером...

— Для меня, видите ли... удобнее сейчас.

— А для меня удобнее вечером.

И снова Игорь бродит по парку, по двору, по «тихому» клубу. Бежать ему не хочется. Бежать будет неблагородно: получить такое вежливое письмо и бежать. Успокоительные мысли приходят в голову: что с ним сделает Захаров? Под арест посадить не посадит, под арестом сидят только колонисты. Наряды? Пожалуйста, хоть десять нарядов. Чепуха! Успокоительные мысли приходили охотно и были убедительны, но почему-то не успокаивали. До сигнала «спать» оставался еще обед, потом работа в сборочном цехе, потом ужин, потом два часа свободных, потом рапорты брига-

диров, потом уже сигнал «спать». Это сигнал, спокойный, умиротворенно-красивый, сейчас предчувствовался, как нечто ужасное. И слова сигнала, которые колонисты часто напевали, услышав трубу:

Спать пора, спать пора, ко-ло-нис-ты,
День закончен, день закончен трудовой...—

эти слова не подходили к тому, что ожидало Игоря после сигнала.

За обедом колонисты не говорили с Игорем, и он был рад этому: яснее становилось положение, уже не было охоты оправдываться и защищаться. Хотелось только, чтобы скорее все окончилось.

Но после работы в обсуждении положения приняла участие вся бригада. Самое длинное слово сказал Рогов. Его слово в особенности звучало веско, потому что к своим словам он ничего не прибавил мимического, в нем не было ни злобы, ни презрения:

— Попадет тебе здорово. Это и правильно. Оксана — батрачка, надо это понимать, а ты сидишь здесь на всем готовом, да еще и целоваться лезешь... конечно, свинья!

Вечером, когда уже забылся ужин, когда возвратился Нестеренко с рапортов и Бегунок прогуливался во дворе со своей трубой, отношение к Игорю стало душевнее и мягче. Наконец пропел сигнал.

Зорин подошел к Игорю:

— Ну, Чернявин, собирайся.

Нестеренко сказал медленно, похлопывая по столу ладонью:

— Я так надеюсь, что ты все обдумал как следует.

Игорь грустно молчал. Зорин взял его за пояс:

— Ты, дружок, духом не падай. Алексей — он такой человек, после него, как после бани.

— Мы, Санчо, его проводим, ладно? — сказал Нестеренко.

Они спустились вниз. В вестибюле сидел Ваня Гальченко. Он улыбнулся. Посмотрел, как они направились по коридору в кабинет, и побежал за ними. В комнате совета бригадиров никого не было. Из кабинета открылась дверь, вышли Блюм и Володя Бегунок.

Володя сказал:

— Иди сейчас, Чернявин.

Игорь двинулся к дверям:

— Он злой?

— О! Такой, честное слово, из носа огонь, из ушей дым идет!

Володя сделал страшное лицо, топнул на Игоря ногой. И Блюм и Зорин рассмеялись, Ваня, напротив, готов был принять это сообщение с полной серьезностью. Нестеренко поднял руку:

— Иди, сын мой. Давай я тебя благословлю.

Игорь открыл дверь.

Захаров сидел за столом. Увидев Игоря, кивнул на стул:

— Садись.

Игорь сел и перестал дышать. Захаров оставил бумаги, потер одной рукой лоб:

— Я тебе должен что-нибудь говорить, или ты сам все понимаешь?

Игорь вскочил, положил руку на сердце, но ему стало стыдно этого движения, бросил руку вниз:

— Алексей Степанович, все понимаю... Простите!

Захаров посмотрел Игорю в глаза, посмотрел внимательно, спокойно. И сказал медленно, немного сурово:

— Все понимаешь? Это хорошо. Я так и думал, что ты человек с честью. Значит, завтра ты сделаешь все, что нужно?

Игорь ответил тихо:

— Сделаю.

— Как же ты сделаешь?

— Как. Я... не знаю. Я буду говорить, просить, чтобы простила... Оксана.

— Так... Ну, что же... правильно. До свидания. Можешь идти.

Игорь, легкий от радости, салютнул, быстро пошел к дверям, но у дверей остановился:

— Вам потом... доложить, Алексей Степанович?

— Нет, зачем же... Я и так знаю, что ты это сделаешь. Зачем же докладывать.

Игорь забросил руку на затылок и скинул ее вниз уже тогда, когда очутился в комнате совета бригадиров. Все смотрели на него выжидательно, а он как будто никого и не видел.

Ваня крикнул:

— Ну что? Ну что?

Нестеренко присмотрелся к Игорю:

— Перевернул?

Игорь тряхнул головой:

— Ну и человек! Ну его к черту!

Он остановился, удивленный, посреди комнаты:

— Понимаете, он мне ничего не говорил!

— А ты сам все говорил?

— А я сам все говорил.

— Хорошо, если ты умное говорил.

— Представьте, я говорил довольно умное.

Зорин сверкнул глазами:

— Это он правильно! Почему это так, товарищи? Я и сам замечал: живешь так... обыкновенно, а попадешь в кабинет, как будто сразу поумнеешь. Стены, что ли, такие?[45]

— Наверное, стены, — согласился Нестеренко добродушно-лукаво.

14. Филька

Пришел август: прозрачные вечера и яблоки на третье по выходным дням. Колонисты перебрались в новые спальни — в новых спальнях места больше. В новой спальне кровать Вани стоит рядом с кроватью Фильки Шария, нового Ваниного друга. Сдружились они на работе в литейном цехе, но характеры у них разные.

Филька Шарий очень боевой человек, знающий себе цену, уверенный, что со временем он будет киноактером. В сущности, он был очень проказлив. Он был убежден в том, что суть жизни состоит в приключениях, сложных и смелых. Но Филька целых пять лет, с восьмилетнего возраста, жил

в колонии, был одним из немногих старожилов и шел одиннадцатым номером по списку старых колонистов. Это обстоятельство, бывшее для Фильки постоянным источником гордости, одновременно мешало Фильке отдаваться своим естественным склонностям к проказам. Он не мог представить себе, что он стоит «на середине» и отдувается перед какими-то новичками, которые, в сущности, ничего и не видели в жизни: не видели и пустого поля на месте нынешней колонии, не жили в деревянном бараке, не работали на картошке и не присутствовали при организации оркестра, в котором Филька играет на первом корнете.

По всем этим причинам Филька проказить-то проказил, но очень хорошо ощущал ту границу, где оканчивались проказы допустимые и начинались, так сказать, «серединные». Филька боялся только «середины», Захарова он не очень боялся. Любил поговорить с ним, всегда вступал в спор, оправдывался до последнего изнеможения и сдавался только тогда, когда Захаров говорил:

— Что же? Значит, ты со мной не согласен? Перенесем вопрос на общее собрание.

Алексей Степанович насквозь видел Фильку, но и Филька насквозь видит Алексея Степановича. Филька прекрасно понимает, что прав он, Филька, а не Захаров, но Захаров — заведующий и может перенести вопрос на общее собрание. Филька смотрит на Захарова исподлобья, решительно отказывается отвечать на его улыбку и наконец говорит низким альтом:

— Как что, так сейчас же общее собрание. Вы имеете право наказать, и все.

Захаров, конечно, ломается:

— Ты старый колонист. Как я могу тебя наказывать, если ты считаешь себя правым? Перенесем вопрос на собрание.

Тогда Филька отворачивается, размышляет. Но что может дать размышление, если общее собрание все равно должно стать на сторону Захарова? И Филька сдается окончательно:

— Разве я говорю, что я прав?

— Да, мне показалось.

— Я совсем не говорю, что я прав. Я, конечно, виноват.

— Ты полчаса спорил.

— Никаких там полчаса... может, пять минут.

— Хорошо. Получи один час ареста за то, что обливал водой в коридоре, и один час ареста за то, что споришь, когда на самом деле считаешь себя виноватым.

Филька хмурит брови[46]. Но сила солому ломит, и Филька, не поднимая бровей, поднимает руку:

— Есть, час ареста и еще час ареста.

В этой сложной формуле Захаров улавливает осуждение своих действий, но улыбается по-прежнему:

— Можешь идти.

Филька не спеша, разочарованно поворачивается и очень медленно бредет к дверям. Захаров еще раз может видеть, что Филька не признает его справедливости.

В выходной день или в свободный вечер Филька вручает свой узенький

черный пояс дежурному бригадиру и останавливается перед столом Захарова:

— Под арест прибыл.

У Фильки брови нахмурены, губы чуть-чуть вздрагивают, но в глазах улыбка. Захаров говорит:

— Пожалуйста.

Филька усаживается на диване и берет в руки очередной номер «Огонька». Он очень жалеет, что нет близко кинооператора и никто не снимет замечательный кадр: «Филька под арестом». Но это сожаление чисто артистическое, а на самом деле Филька очень любит старую колонистскую традицию, по которой считается неприличным после того, как наложено наказание и сказано в ответ «есть», заводить какие-нибудь споры или выпрашивать прощение. Захаров тоже почитает эту традицию и никогда не предложит Фильке свободу на час раньше. Он не хочет, чтобы Фильку обвиняли товарищи в том, что он «выпросился».

Таким образом, Филька и заведующий в момент выполнения приговора находятся в единодушном настроении. Они могут в полном согласии провести вместе два часа. Их мирным отношениям вполне соответствует правило, запрещающее арестованному разговаривать с кем-нибудь, кроме заведующего. Они и разговаривают между собой о том, о сем — о литейном цехе, о Соломоне Давидовиче, о новом здании, о бригадных делах, а также и о международном положении. Сидя на диване, положив ногу на ногу, перелистывая журнал, Филька высказывает свои мнения по всем этим вопросам; острых вопросов, касающихся его лично, он не подымает. А такие вопросы есть, в них не всегда Филькино мнение сходится с мнением Захарова. Например, драматический кружок. Откуда-то набираются актеры, разные Чернявины и Зорины, которые играют партизан и поручиков, а Фильке иногда предлагают роль пионера, а большею частью и ничего не предлагают, а просто говорят: подрасти. Он должен подрастать, он, Филька Шарий, который еще два года назад ездил в Москву без разрешения к директору кинофабрики. Правда, директор тоже сказал «подрасти!». Кроме того, по возвращении Фильке пришлось стоять на середине, и Алеша Зырянский решительно возражал против его принятия в колонию. Но все-таки... все-таки Филька действительно играет, а не просто ходит по сцене и вякает за суфлером.

С Ваней Филька сдружился и потому, что учил Ваню шишельному делу, и потому, что Ваня — новенький и признает Филькин авторитет — и колонистский и артистический. Филька снисходительно простил ему выступление в роли собаки; для новенького... что ж... и эта роль хороша. Попробовали бы предложить эту роль Фильке.

В литейном цехе продолжается борьба с дымом. Соломон Давидович, как ни вертелся, довел-таки это дело до скандала. На совете бригадиров, собравшемся экстренно в обед, Зырянский сказал:

— Постановить: раз нет вентиляции — пацанов в литейной с работы снять. И больше ничего!

Соломон Давидович закричал:

— Как снять? Как снять? Что вы говорите? А кто будет делать шишки?

— Все равно снять. Пускай там Нестеренко, и Синицын, и Круксов страдают, а пацанов снять.

И как ни убеждал, как ни обещал, как ни обижался Соломон Давидович, а совет бригадиров постановил: малышей из литейного цеха снять немедленно. Соломон Давидович прибежал в кабинет Захарова, терпеливо пережидал, пока разойдутся посетители, и, оставшись наедине, спросил с укором:

— Как же вы так молчите? Вот они взяли и постановили. Ну, а теперь что?

— Я и сейчас молчу, Соломон Давидович.

— Ну и что?

— Ну и ничего.

— Конечно, слово — серебро, а молчание — золото, но нельзя же молчать, если какие-то мальчишки разрушают целое большое дело.

Вошел Витя Торский с листом бумаги:

— Приказ о снятии шишельников.

Захаров молча подписал. Витя подмигнул Соломону Давидовичу и вышел. Соломон Давидович закричал:

— Вы подписали?

— Подписал.

— Снятие шишельников?

Он не дождался ответа — выбежал. Быстро, задыхаясь, пробежал мимо часового, по дорожке цветников, мимо «стадиона» и кузницы, хлопнул окованной дверью механического цеха и вторгся в деревянную конторку Волончука:

— Товарищ Волончук, где же труба?

— Какая труба?

— Как, какая? Вентиляция, черт бы ее побрал!

— Так железа же нет!

— Железа нет? Я должен принести вам железо?

— Я и сам принесу! Так его нету!

Соломон Давидович запрыгал перед Волончуком, разгневался:

— Нету? Нету? Идем! Идем, я покажу вам железо.

Волончук удивленно поднял скучные глаза.

— Идем! — кричал на него Соломон Давидович.

Соломон Давидович со скоростью ветра пролетел через двор. Волончук делал за ним двухметровые шаги и не успевал. На углу машинного цеха отвалился нижний конец водосточной трубы. Соломон Давидович на ходу оборотился к Волончуку, показал пальцем:

— Это вам железо?

Пока медлительный Волончук посмотрел на железо, пока собрался посмотреть на Соломона Давидовича, тот был уже далеко. Волончук снова начал делать шаги длиною в два метра.

У крыши старого сарая давно отвернуло бурей лист железа. И на этот лист показал пальцем Соломон Давидович и закричал гневно:

— Это вам железо?

И на это железо так же медленно посмотрел Волончук и ничего не возразил, потому что это действительно было железо.

Наконец Соломон Давидович подлетел к куче всякого хлама. На верху кучи лежала прогоревшая, проржавевшая, выброшенная печка-буржуйка.

И в сторону буржуйки ткнул пальцем Соломон Давидович и сказал саркастически:

— Может, вы скажете, что это не железо?

Волончук поднял глаза на буржуйку да так и остался стоять. Разгневанный Соломон Давидович давно скрылся в недрах стадиона, а Волончук все стоял и смотрел. Потом он глянул в ту сторону, куда убежал начальник, злобно плюнул и опять вперил взгляд в буржуйку. В таком положении и застал его Виктор Торский, проходящий мимо, и спросил:

— Товарищ Волончук, чего вы здесь стоите?

Не оборачиваясь, Волончук мотнул головой и ухмыльнулся пессимистически:

— Это, говорит, вам железо.

Витя Торский засмеялся и пошел дальше.

Соломон Давидович пролетел сборный цех, потом машинный цех, потом швейный цех, потом другие цехи, везде отдавал нужные распоряжения, спорил, огрызался, доказывал, но был весел, остроумен и напорист. Такой же жизнерадостный, сделав полный круг, он влетел в комнату совета бригадиров, потный и задыхающийся, упал на диван, положил руки на живот и сказал Вите Торскому:

— Можете ваш приказ отменить. Что у нас за люди, объясните мне, пожалуйста? Вдруг сегодня такие разговоры: для вентиляции нету железа. Так я им сейчас показал столько железа, что его хватит на сто вентиляций.

Витя Торский поднял одну бровь, но Соломон Давидович уже улетел. К вечеру у него было хорошее настроение. Он деятельно занимался в своей конторке: перебирал ордера, наряды, что-то подсчитывал. Вошел мастер литейного цеха Баньковский, стал у дверей. Соломон Давидович спросил энергично:

— Сколько сегодня отливка?

— Четыреста масленок.

— Почему так мало?

— Завтра совсем не будет.

— Как это не будет?

— Шишельники сегодня ушли. Говорят — приказ. И завтра, сказали, не придут.

— Какие шишельники? Вот эти самые — Гальченки разные, Мальченки! Так они же пацаны. Что вы, не можете с ними поговорить?

— Да, с ними поговоришь. А на завтра ни одной шишки.

— А вы не можете сами сделать?

— Все сам да сам. Я и начальник цеха, и мастер, и литейщик... и шишельник. Спасибо вам. И барабан мой.

— Барабану вы можете спокойно сказать: ауфвидерзейн.

— Как это так?

— А так: завтра оценю барабан как представляющий по качеству лом. И заплачу вам пятнадцать процентов.

— Соломон Давидович!

— Отоприте литейную! Сейчас придут шишельники.

Соломон Давидович знал, куда нужно обращаться: он отправился прямо в четвертую бригаду. Там в спальне он нашел Фильку и сказал ему:

— Ты же понимаешь, это ваши деньги и ваше производство. Это не мое производство. Может, ты воображаешь, что ты какой-нибудь там паршивый шишельник? Так это неверно. Вы сегодня ушли, завтра не будет отливки, и будут стоять литейщики, токари, никелировщики и упаковщики. И мы не выпустим тысячу масленок, легко сказать: тысяча машин без масленок, а мы теряем пятьсот рублей чистой прибыли. Разве ты не понимаешь?

— Я понимаю.

— Ну вот: ты — хороший мальчик. Возьми этого Петьку, Кирюшку, Ваньку, Семена и так далее и приходите в литейную.

— Так... приказ.

— Что такое приказ?.. Сейчас же литья нет, дыма нет, никого нет. До сигнала «спать» успеете сделать тысячу шишек.

— Все равно... приказ.

— Ах, какой ты...

И уговорил Соломон Давидович Фильку. Через полчаса открылась дверь в пустую литейную и в нее вошли: Соломон Давидович, Филька, Ваня Гальченко, Петька Кравчук и Кирюша Новак. Остальных Филька не нашел. В литейной Соломон Давидович тихо спросил:

— Вас никто не видел?

— Нет, никто, — так же шепотом ответил Филька.

Шишельники немедленно приступили к работе. Глухо застучали по песку деревянные молотки, больше никаких звуков не было, никто не разговаривал, не делился впечатлениями. Но через час дверь в литейную распахнулась и голоногий Володька вытянулся на пороге:

— Товарищи колонисты! Распоряжение заведующего колонией!

Блюм скривил лицо, замахал на Володю руками:

— Какие там еще распоряжения? Потом скажешь. Видишь, люди работают!

Володя завертел головой:

— Эге. Это дело серьезное. Всем товарищам: Шарию, Гальченко, Кравчуку и Новаку немедленно отправиться под арест в обычном порядке!

Филька замер на месте:

— Ох, ты черт! На сколько часов?

— Не на сколько часов, а до общего собрания.

Все четверо застыли. Кто-то выронил молоток. Филька косо посмотрел на Соломона Давидовича:

— Я говорил!

Володя Бегунок, уступая дорогу, сказал серьезно:

— Пожалуйте, товарищи.

Четверо молча гуськом вышли. Бегунок на пороге прищурился на Соломона Давидовича и тоже убежал. Соломон Давидович сказал:

— Какой испорченный мальчик!

15. Четыре тысячи оборотов

Это было дело серьезное: четверо обвиняемых стояли на середине без поясов — они считались арестованными.

Перед этим они два тяжелых часа просидели в кабинете Захарова. Дежурный бригадир Нестеренко входил и выходил, что-то негромко сообщал Алексею Степановичу, на арестованных даже не глянул.

Обычно эти часы от ужина до рапортов — самые людные часы и в кабинете, и в комнате совета бригадиров. А сейчас, как сговорились: никто в кабинет не заходит, а если и заходит, то строго по делу. И сам Алексей сегодня «не такой»: он что-то там записывает, перелистывает, считает, на входящих еле-еле поднимает глаза и говорит сквозь зубы:

— Хорошо!

— Все! Можешь идти!

Арестованным за все это время он не сказал ни слова. Володе он сказал:

— Блюма! Срочно!

И Володя как-то особенно отвечает «есть» шепотом.

Блюм пришел подавленный, краснолицый, на арестованных не посмотрел, сел и сразу вытащил из кармана огромный платок — пот его одолевал. Захаров заговорил с ним сухо:

— Товарищ Блюм. Литейную я закрываю на неделю. Заказ на десять тысяч масленок литья из нашего сырья и по нашим моделям я уже передал Кустпромсоюзу.

Соломон Давидович хрипло спросил:

— Боже мой! По какой же цене?

— Цена с нашей доставкой два рубля.

— Боже мой! Боже мой! — Соломон Давидович встал и подошел к столу: — Какой же убыток! Нам обходится в шестьдесят копеек!

— Я дал распоряжение кладовщику сейчас начать отправку в город моделей и сырья.

— Но вентиляцию можно поставить за два дня! А вы закрыли на неделю!

— Я так и считаю: первые три дня вентиляцию будете ставить вы; я уверен, что она будет сделана плохо, я ее не приму. После этого четыре дня вентиляцию будет ставить инженер, которого я приглашу из города.

— В таком случае, Алексей Степанович, я ухожу.

— Куда уходите?

— Совсем ухожу.

— Я всегда этого боялся, но теперь перестал бояться.

Соломон Давидович перестал вытирать пот, и рука его с огромным платком застыла над лысиной. И вдруг он оскорбился, забегал по кабинету, захрипел:

— Ага! Вы хотите сказать, что Блюм может убираться к черту и тогда все будет хорошо? По вашему мнению, Блюм уже не может управлять таким паршивым производством. А если у Блюма на текущем счету триста тысяч, так это, по-вашему, не стоит ломаного гроша. Вы пригласите инженера, который все спустит на разные вентялиции и фигели-мигели. Я не против вентиляции, хотя сколько людей работали без вентиляции, пока ваш Колька не придумал литейную лихорадку. Очень бы я хотел посмотреть, кого здесь в колонии лихорадило, кроме этого Кольки-доктора. А теперь будем ставить вентиляцию, а через год все равно эту литейную развалим.

Он еще говорил долго. Захаров слушал, склонив голову к бумагам, слушал до тех пор, пока Соломон Давидович не уморился.

А после этого он сказал:

— Соломон Давидович, я знаю, вы преданы интересам колонии, и вы хороший человек. А поэтому извольте принять мои распоряжения к исполнению. Все!

Соломон Давидович развел короткими руками:

— Это, конечно, все, но нельзя сказать, чтобы это было мало для такого старика, как я.

— Это советская норма, — сказал Захаров и кивнул головой.

— Хорошенькая норма! — Блюм за неимением других свидетелей обернулся к дивану.

На диване, вытянувшись, сидели четверо арестованных. Из них только Филька взирал на Захарова с выражением пристального осуждения. Остальные тоже смотрели на Захарова, но смотрели просто потому, что были загипнотизированы всем случившимся и с грустной покорностью ожидали дальнейших событий. У Петьки спиральный чубик на лбу стоял сейчас дыбом. У Кирюши Новака круглое глазастое лицо блестело в слезном горе. Все они были в спецовках, в том костюме, в каком застала их катастрофа. Блюм ушел печальный. Уходя, сказал:

— Я надеюсь, я могу не быть на этом... общем собрании.

— Можете не быть.

В дверь заглянул Нестеренко:

— Даю на рапорта, Алексей Степанович!

— Давай!

Через полминуты за окнами прозвучал короткий, из трех звуков, сигнал. Одиннадцать бригадиров и ДЧСК собрались еще через минуту. Все выстроились в шеренгу против стола Захарова. Филька потянул за рукав Ваню, арестованные тоже встали. Один за другим подходили бригадиры к Захарову, говорили, салютуя:

— В первой бригаде все благополучно!

— Во второй бригаде все благополучно!

Но этого не мог сказать Алеша Зырянский. В шеренге он стоял расстроенный и суровый, такой же подошел и к Захарову:

— В четвертой бригаде серьезное нарушение дисциплины: колонисты Шарий, Кравчук и Новак и воспитанник Гальченко не подчинились приказу по колонии и вечером вышли работать в литейный цех. Вашим распоряжением передаются общему собранию.

Захаров выслушал его рапорт так же спокойно, как и рапорты других, так же поднял руку, так же тихо сказал:

— Есть.

Рапорт Зырянского дословно повторил дежурный бригадир Нестеренко.

Приняв рапорты, Захаров сказал:

— Давайте собрание!

Володя Бегунок со своей трубой выбежал из кабинета. Бригадиры вышли вслед за ним.

Сигнал на общее собрание всегда игрался три раза: у главного здания, на производственном дворе и в парке. После трех раз Бегунок возвращался снова к главному зданию и здесь играл уже не целый сигнал, а только его последнюю фразу. Во время этой фразы Витя Торский обыкновенно открывал собрание. Поэтому в колонии было принято на общее собрание собираться

бегом, чтобы не остаться за дверью в коридоре.

Большинство колонистов приходили в «тихий» клуб до сигнала.

Ваня Гальченко и его товарищи, сидя на диване в кабинете, горестно вслушивались в привычное чередование звуков: слышали шум шагов в коридоре, молчаливыми, грустными глазами проводили Алексея Степановича, который тоже ушел на собрание.

Они не имели права сейчас войти в «тихий« клуб занять место среди товарищей — их должен привести дежурный бригадир[47].

Стало тихо. Очевидно, Витя открыл собрание. Петька вздохнул:

— Влопались!

Ему никто не ответил. Кирюша быстро вытащил платок, высморкался и посмотрел на потолок.

Еще прошло пять минут. Из «тихого» клуба донесся взрыв смеха. Филька метнул взгляд в сторону «тихого» клуба: в этом смехе таилась какая-то надежда. Только через десять минут в дверь заглянул Нестеренко:

— Прошу вас...

Филька взглянул на его лицо: ничего, вежливый, официальный камень.

Гуськом вошли в «тихий» клуб. Нестеренко повел их прямо на середину. В общей тишине сказал кто-то один:

— Рабочий народ! В спецовках!

Смех пробежал быстрый, легкий. В нем не столько шума, сколько дыхания. И снова стало тихо, и Филька понял, что придется плохо.

Витя Торский начал мучительно спокойно:

— Колонисты Шарий, Кравчук и Новак и воспитанник Гальченко, дайте объяснение, почему вы не подчинились приказу и пошли работать в цех. Только нечего рассказывать, как Соломон Давидович уговорил и как вы уши развесили. Это мы знаем. А вот по главному вопросу: как вы посмели не подчиниться приказу колонии? Приказ, как у нас полагается, вы слушали стоя. Ты, Филя, старый колонист, одиннадцатый по списку, давай объяснения первым.

Но раньше, чем Филя открыл рот, попросил слова Владимир Колос.

— Товарищи, я считаю, тут кое-что нужно выяснить. Невыполнение приказа через час после объявления, да не в одиночку, а целой группой — большое дело, и это все понимают. Самое меньшее, что им грозит, это лишение звания колониста, перевод в воспитанники. А раньше за такие дела мы из колонии выставляли. Так?

Большинство из собрания ответило:

— Так...

— А как же?

Колос продолжал:

— Только вопрос: кто должен отвечать? Здесь стоит воспитанник Ваня Гальченко, который в колонии всего два месяца. Он отвечать не может. Его нужно немедленно отпустить и не считать его вины никак. С ним было три колониста, из них Филька самый старый. Но нужно еще вызвать на середину бригадира четвертой Алексея Зырянского, моего друга, между прочим.

Владимир Колос сел на место. Его речь произвела впечатление ошеломляющее. Стало так тихо в зале, что слышно было, как дышат пацаны на середине. Зарянский сидел у самой трибуны на ступеньках, низко опустив голову.

Председатель не знал, как поступить с предложением Колоса. Он оглядел зал, бросил тревожный взгляд на Захарова и, очевидно, оттягивая время, сказал:

— Насчет Вани Гальченко вопрос поставлен правильно. Его нужно немедленно отпустить. Есть возражения?

Никто не сказал ни слова: Ваня Гальченко сейчас никого не волновал: что там — новенький малыш!

— Товарищ Нестеренко! Ваня Гальченко может уходить. Иди, Ваня!

Ваня понял, что с него обвинение снято, но странно было, что это его не обрадовало. Уходя, он оглянулся на середину. Там оставались три его товарища. Он вспомнил, что звание колониста получит только через два месяца. Но пока он оглядывался, Лида Таликова потянула его за руку:

— Ваня, уходи, пока цел!

Она усадила его рядом с собой. Ваня помнил ее со знаменательного дня своего приема, и он улыбнулся ей благодарно. Потом его глаза снова устремились на середину: говорил Филька, говорил громко, обиженно:

— Неправильное предложение сделал Колос. Неправильно! Алеша не может отвечать на середине. Алеша пускай отдувается в совете или с своего места, а на середину ему нельзя выходить. Я сам за себя отвечаю, и Новак, и Кравчук. А мы виноваты, только смотря как. Другое бы дело, пошли для своего интереса. А мы пошли для колонии. Потому, на завтра не было ни одной шишки. А приказ мы не разобрали, думали, это когда дым, а вечером не было дыма, думали, что ж, можно пойти...

Фильку слушали серьезно, но ни одного звука одобрения никто не произнес.

Он закончил речь, нахмурился, провел взглядом вокруг и вздохнул.

Не такой народ колонисты, чтобы их можно было запутать на слове. И Филька в этом убедился немедленно. Брали слово и старшие, и помоложе, и бригадиры, и просто колонисты. Филька вдруг услышал много такого, о чем он думал только сам с собой по строгому секрету.

— Сейчас на общем собрании Филька ведет себя безобразно. Да, безобразно, нечего на меня посматривать. Самое главное — врет, вы понимаете, врет общему собранию: он живет в колонии пять лет, а тут не разобрал приказа. А почему тайно пошли работать? Почему об этом не сказали дежурному бригадиру? Когда у нас такое было, чтоб малыши работали по вечерам?

— Филька — единоличник. Давно это знаем. А только он умеет: туда, сюда, хвостом вильнет, смотришь, обошел всех. И Алексей Степанович к нему имеет слабость: под арестом часто держит, а на общее собрание вот за два года первый раз.

— На Фильку посмотреть внимательно: киноартист, как же! А собаку играть — куда тебе, такая знаменитость будет собаку играть. Ему давай большевика самого главного. А какой он большевик? Он приказа не понял. И пускай Жан Гриф скажет, как он в оркестре. Пускай скажет.

И Жан Гриф говорил. Он, действительно, похож на француза, хотя в колонии все знают, что раньше его звали Иван Грибов, только доказательств никаких нет, — Жан Гриф, и все. Он смуглый, тонкий, изящный — будущий дирижер.

— Филя дисциплину в оркестре не нарушает, но бывает так: что такое наблюдается — не слышно первых корнетов? А это, видите ли, Филя обидел-

ся, не дали ему соло, а Фомину дали. Извольте догадаться. А он сидит, держит корнет и даже, представьте, щеки надувает. А бывают и такие эпизоды. Приходим играть концерт в медицинском институте. Филя заявляет: у меня болит в груди, вы понимаете, в груди; грудь у него такая больная сделалась, играть не могу! А заменить его некем: у него одна фраза, помните, такая — в «Веснянке» Лысенко[48]. Болит в груди. Доктора, что ли, звать? Хорошо, что я догадался, пересадил его на другой стул. Спрашиваю: будешь играть? Ничего, говорит, как-нибудь потерплю, — и даже лицо сделал такое жалобное. А на самом деле просто место ему не понравилось, не видно из публики, какой он красивый.

Филя смотрел куда-то в глубь паркета, шевелил пальцами опущенных рук, немного щурился: не ожидал он от Жана Грифа такой речи — очень нужна ему, Филе, публика!

Поднялся Марк Грингауз — секретарь комсомольской ячейки:

— Я не думаю, что можно поставить Зырянского под люстрой. Зырянский хороший бригадир и колонист. Если в бригаде бывают случаи, он может раньше ответить перед советом бригадиров или перед комсомольской организацией, а нельзя бригадира по всякому случаю вытаскивать на середину. Это Владимир загнул; и такого у нас никогда не бывало. Выходили и бригадиры, но только за личную вину.

Витя спросил:

— По вопросу о Зырянском больше никто не скажет? Я голосую. — Только две руки поднялось за выход Зырянского. Филя вздохнул громко — самая большая опасность прошла.

А потом заговорил Захаров. Он встал на своем месте, положил руки на спинку стула, на котором сидел Бегунок. В его словах была убедительная теплота, даже когда он произносил суровые слова. Филя повернул к нему лицо и смотрел, не отрываясь, до самого конца его речи: сегодня был не такой вечер, чтобы можно было не соглашаться со словами Захарова. И некоторые места этой речи Филе, безусловно, понравились. Например, такие:

— ...Колония Первого мая заканчивает седьмой год. Я горжусь нашей колонией, и вы гордитесь. В нашем коллективе есть большая сила и большой хороший разум. Впереди у нас радостно и светло. Сейчас у нас на текущем счету триста тысяч рублей. Государство нам поможет, потому что мы заслужили помощь: мы любим наше государство и честно делаем то, что нашей стране нужно, — учимся правильно, по-советски жить. Скоро мы начнем строить новый завод.

...Я всегда горжусь тем, что мы с вами гордо пережили тяжелые времена, когда у нас не хватало хлеба, когда у нас бывали вши, когда мы не умели правильно жить. Пережили с честью потому, что верили друг другу, и потому, что у нас была дисциплина... Среди нас есть люди, которые считают: дисциплина — это очень хорошо, это приятная вещь. Но так только до тех пор, пока все приятно и благополучно. Чушь! Не бывает такой дисциплины! Приятное дело может делать всякий болван. Надо уметь делать неприятные вещи, тяжелые, трудные. Сколько у вас таких найдется, настоящих людей?

Захаров остановился, требуя ответа. И кто-то не выдержал, ответил горячо:

— Много таких найдется, Алексей Степанович!

Захаров не удержался в суровом напряжении, улыбнулся детской своей улыбкой, посмотрел на голос:

— Ну, конечно, это правильно: у нас много таких найдется, а... вот, — он обратился к середине, — вот стоят. Как о них сказать? Хорошие они люди или плохие? Кирюша, Кравчук и Шарий. Здесь их чересчур сильно ругали, даже называли единоличниками. Это не так. Филя не единоличник, справедливый человек, трудящийся, колонии нашей предан, а в чем беда? Беда в том, что колонисты начали шутить с дисциплиной. Дисциплина, они думают, это такая веселая игра: хочу играю, хочу не играю — выслушали приказ, наплевали и пошли в цех. Скажите, пожалуйста, товарищи колонисты, можно ли шутить с токарным станком?

Кто-то крикнул:

— Ого!

— Нельзя шутить! Нельзя вместо детали нос или руку подложить под резец. Значит, нельзя. А пускай из машинного скажут: можно шутить с ленточной пилой или циркуляркой? Или с шипорезным, на котором работает Руслан Горохов? Руслан, как по-твоему?

Прыщеватое лицо Руслана покраснело, он застеснялся, но был доволен вопросом:

— Хорошие шутки: четыре тысячи оборотов шпинделя!

— Нельзя! А с дисциплиной, значит, можно? Ошибка! Дисциплина у нас должна быть железная, серьезная... Согласны с этим?

Колонисты вдруг зааплодировали, улыбались, смотрели на Захарова воодушевленными глазами — для них не было сомнений в том, какая у них была дисциплина.

Захаров продолжал:

— Дисциплина нужна нашей стране потому, что у нас мировая героическая работа, потому, что мы окружены врагами, нам придется драться, обязательно придется. Вы должны выйти из колонии закаленными людьми, которые знают, как нужно дорожить своей дисциплиной... А Филька? Я очень хорошо отношусь к Фильке, хотя он все норовит со мной поспорить. Ну, так это я, у меня все-таки нет четырех тысяч оборотов в минуту.

Снова кто-то сказал вполголоса:

— Ого!

Зал вдруг закатисто рассмеялся. Даже те, которые стояли на середине, не смогли удержаться от улыбки. Захаров поправил пенсне:

— Общее собрание — это серьезное дело. Шутить нельзя, товарищ Шарий, и товарищ Кравчук, и товарищ Новак. Это вы должны хорошо запомнить.

Виктор Торский приступил к голосованию:

— У нас есть только одно предложение: снять с них звание колониста. Только на какое время? Я предлагаю на три месяца. Тебе последнее слово, товарищ Шарий.

Филька сказал:

— Алексей Степанович правильно говорил: с дисциплиной так нельзя обращаться. И я так больше никогда не буду, вот увидите. Как там ни будет: хоть накажете, хоть не накажете — все равно. А мое такое мнение, что можно и без наказания. Я не какой-нибудь новенький. Тут не в том дело, на

сколько месяцев значок снимете. А что ж? Я пять лет колонистом. Мое такое мнение.

— А ты как думаешь, товарищ Новак?

— И мое такое мнение.

Петька Кравчук все собрание стоял, опустив глаза, вздрагивая ресницами, изредка поглядывая на председателя и незаметно вздыхая. У него было выражение разумной философской покорности: душой он целиком на стороне собрания, но обстоятельства поставили его на середину, и он до конца готов мужественно нести испытание. Петька сказал:

— Как постановите, так и будет.

— Значит, есть только одно предложение.

— Есть второе предложение.

— Пожалуйста.

Встал Илья Руднев, бригадир десятой, самый молодой бригадир в колонии:

— Для такого старого колониста, как Филя, снять значок—очень тяжелая вещь. Его проступок большой, но позорного он ничего не сделал. Однако оставить без наказания нельзя. И для Фильки опасно, и для других всех пацанов. Пацаны, они... так... любят, когда им гайку подкручивают. Я и сам недавно был таким. И кроме того, это не пустяк — невыполнение приказа. Я живу в колонии три года, и такого случая ни разу не было. И виноваты не только Филька, а и Кирюшка, и Петро, чего там, не маленькие, по тринадцать лет, и все — колонисты. Всех нужно взгреть как следует. Я предлагаю: выговор перед строем.

Руднев говорил немного краснея, он еще не привык к своему бригадирскому авторитету. Говорил тихо, очень культурно, смягчая улыбкой самые решительные свои слова. Его речь была поддержана возгласами одобрения.

Витя поставил на голосование первым такой вопрос: наказывать или не наказывать? Единодушно все подняли руки за наказание. Второй вопрос: наказывать одинаково или по-разному? Единогласно постановили: одинаково. Потом голосовали за предложение о снятии звания колониста, оно собрало только 65 голосов. И наконец, за предложение Руднева подняли руки 122 человека, в том числе и Захаров.

Расходились с собрания серьезные, чуть-чуть взволнованные. Ваня Гальченко догнал Петьку в коридоре, Петька был расстроен[49].

В спальне четвертой бригады было печально, все сошлись, ожидали Зырянского. Но он пришел, как всегда, веселый, бодрый, деловой:

— Подкачала наша бригада! Но... никакой паники! Наша бригада всетаки хорошая. А это вам урок. Теперь держись!

А еще через час все перестали вспоминать о тягостных событиях вечера. Были и другие новости — уже веселые. Ремонт кинобудки был закончен, и завтра пойдет картина. Петров 2-й говорил, что будет «Потомок Чингисхана».

Эту картину давно ожидали, давно слышали о ней хорошие отзывы знатоков.

И действительно, на другой день Петров 2-й привез из города «Потомка Чингис-хана». Правда, Петров 2-й уже теперь не киномеханик, а только помощник киномеханика, но это даже к лучшему.

— Даже лучше, — говорил Петров 2-й, — я теперь под руководством Мишки еще скорее экзамен выдержу.

Таким образом, как ни поворачивали разные бюрократы судьбу Петрова 2-го, она все же благоволила не к ним, а к Петрову 2-му.

Четвертая бригада залезла в зал задолго до начала сеанса, еще и распорядители в голубых повязках не стояли у дверей. Уселись все в один ряд, и Зырянский кое-что вспомнил о Чингис-хане. Потом сошлась вся колония, прошел между рядами Захаров с дежурным бригадиром и сказал:

— Начинайте, я буду в кабинете.

Свет потух, застрекотало сзади, в аппаратной заструился над головами широкий туманный луч, на экране родились события. И все члены четвертой бригады совершенно забыли о неприятных историях, о четырех тысячах оборотов шпинделя. Они жили там, в далеких степях, они переживали борьбу, которая там шла и которая им предстоит в жизни...

После перерыва пошла вторая часть, потом третья, самая захватывающая. И как раз в середине третьей части, в тишине и сумраке зала, раздался голос дежурного бригадира Похожая:

— Четвертая бригада в полном составе с бригадиром срочно к заведующему в кабинет!

Зырянский шепнул:

— Спокойно! Быстренько!

Они прошмыгнули в проходе, на них оглянулись, кто-то спросил у Похожая:

— Что случилось?

— Ничего особенного! Смотрите дальше!

В кабинет они вбежали, как набегает теплая волна на берег. Захаров взял в руки фуражку:

— Четвертая? Все здесь?

— Все!

— Горит стружка за сборным цехом. Я думаю — управимся без пожарной. Ведра взять на кухне. Без паники и шума! Я тоже туда иду.

Зырянский поднял руку:

— Кравчук, бери вот этих четырех — и за ведрами, остальные — за мной.

Они бегом выскочили из здания в прохладу вечера. Повернули за угол и увидели зарево: на поверхности старой слежавшейся стружки расползался приземистый, тихонький, коварный огонь. Было тихо. Четвертая бригада с Захаровым во главе долго поливала огонь из ведер, копошилась в глубинах стружки лопатами и вилами. Когда все было кончено, Захаров сказал:

— Спасибо, товарищи!

Все, радостные, побежали в зал. Шла последняя часть. Четвертая бригада шепотом рассказывала, как она потушила пожар, и ей все завидовали.

16. Отдых

Соломон Давидович стоически перенес остановку литейного цеха на три дня. Правда, он немного похудел за эти дни. По колонии ходили даже слухи, что Соломон Давидович болен, хотя этим слухам и не сильно верили. Но слухи имели основание. Однажды Соломон Давидович, набегавшись по своим цехам и накружившись вокруг молчаливого литейного цеха, забежал

в больничку к Кольке-доктору. Этот визит, конечно, доказывал, что Соломон Давидович болен: хотя он как будто и не обладал способностью ненавидеть, но его чувства в отношении к Кольке-доктору скорее всего напоминали ненависть, так как именно Колька-доктор придумал литейную лихорадку. Из больнички Соломон Давидович вышел с душой умиротворенной, но со здоровьем еще более расстроенным. Он говорил старшим колонистам в комнате совета бригадиров:

— Николай Флорович сказал: сердце! И не волноваться — в противном случае у вас будут чреватые последствия.

Несмотря на все это, через три дня на крыше литейного стояла высокая труба, сделанная из нового железа. Колонисты посматривали на трубу с сомнением. Санчо Зорин говорил:

— Она все равно упадет. Будет первая буря, и она упадет.

Соломон Давидович презрительно выпячивал в сторону Зорина нижнюю губу:

— Скажите, пожалуйста! Упадет! От бури упадет! Подумаешь, какой Атлантический океан!

Но в этот же день Волончук укрепил трубу четырьмя длинными проволоками, и после этого колонисты ничего уже не говорили, а Соломон Давидович нарочно пришел в комнату совета бригадиров посмеяться над колонистами:

— Где же ваши штормы? Почему они замолчали? Теперь уже ваш барометр не предсказывает бурю?

Ванда Стадницкая, проходя по двору, тоже поглядывала на трубу и слабо улыбалась: в пятой бригаде девочки умели пошутить, вспоминая Соломона Давидовича и его вентиляцию. И в жизни Ванды вопрос о литейной лихорадке уже приобрел некоторое значение: на общем собрании Ванда чуть не плакала, увидев на середине Ваню Гальченко[50].

Когда Ванда пришла первый раз на работу на стадион, мальчики встретили ее очень приветливо, уступили ей лучший верстак у окна, наперебой показывали, как нужно держать рашпиль, как убирать станок, выписывать наряд, как обращаться с контролем.

Сначала Ванда зачищала верхние планки для спинок, а потом Штевель обратил внимание на ее аккуратную работу и поручил ей более ответственное дело. В готовых комплектах перед самой полировкой обнаруживались трещинки, занозинки, впадинки. Из клея и мелких дубовых опилок Ванда составляла тугую смесь и деревянной тоненькой лопаточкой накладывала ее на дефектные места, а потом протирала шлифером. После полировки эти места совершенно сравнивались с остальной поверхностью. Работа эта не давала никакой квалификации, но о ней Ванда никогда и не думала. Было очень приятно сдавать приемщику совершенно готовый к полировке комплект и знать, что это она сделала его таким.

К колонистам Ванда относилась ласково, сдержанно, была молчалива. Она еще не успела хорошо рассмотреть, что такое колония, и не вполне еще поверила, что колония вошла в ее жизнь. Ванда хорошо видела, что колония совсем не похожа на то, что было у нее раньше, но что было раньше, крепко помнилось и снилось каждую ночь. Иногда даже Ванде казалось, что ночью идет настоящая жизнь, а с утра начинается какой-то сон. Это не тревожило ее, раздумывать над этим было просто лень. Она любила утро

в колонии — дружное, быстрое, наполненное движением, шумом, звонкими сигналами, встревоженной торопливостью уборки, шуткой и смехом. И Ванда в этом утреннем вихре любила что-нибудь делать, помочь дежурному по бригаде, исполнить поручение бригадира. И еще больше любила вдруг наступавшую в колонии тишину, всегда ошеломляющий и неожиданный блеск дежурства и строгой бодростью украшенный привет:

— Здравствуйте, товарищи!

Любила Ванда и белоснежную чистоту столовой, и цветы на столах, и цветы во дворе, и короткий перерыв под солнцем у крыльца, перед самым сигналом на работу. А вечером любила тишину в спальне, парк, короткий, захватывающий интерес общих собраний.

Но людей Ванда еще не научилась любить. Мальчики были деликатны, внимательны, но Ванда подозрительно ожидала, что эта деликатность вдруг с них спадет и все они окажутся теми самыми молодыми людьми, которые преследовали ее на «воле». Да и сейчас в толпе этих мальчиков нет-нет — и промелькнет лицо Рыжикова. Одним из самых опасных казался ей в первые дни Гонтарь, низколобый, с губами немного влажными. Но, когда она узнала, что Гонтарь влюблен в Оксану, она сразу увидела, что, напротив, у Гонтаря очень доброе и хорошее лицо.

И девчонки были подозрительны. Это были не просто девочки, а у каждой было свое лицо, свои глазки, бровки, губки, и каждая казалась Ванде чистюлькой, себе на уме, кокеткой по секрету, в каждой она чуяла женщину — и никому из них не доверяла. У девчонок в шкафах было кое-какое добро: материя, белье, коробочки с катушками, ленточки, туфельки. А у Ванды ничего не было, и на кровати лежала только одна подушка, в то время когда у других девочек было почему-то по две-три подушки. Все это вызывало и зависть, и подозрение, и очень хотелось найти у девчонок побольше недостатков.

По своему характеру Ванда не имела склонности к ссорам, и поэтому ее подозрительность выражалась только в молчаливости и в одиноких улыбках. Но она могла и взорваться, и сама с тревогой ожидала какого-нибудь взрыва и не хотела его.

Однажды Захаров спросил у Клавы:

— Как Ванда?

— Ванда? Она все отделяется... Послушная... так... но все думает одна.

— Подружилась с кем-нибудь?

— Ни с кем не подружилась. Очень медленно привыкает.

— Это хорошо, — сказал Захаров. — Быстрее и не нужно. Вы ей не мешайте и не торопите. Пускай отдохнет.

— Я знаю.

— Умница.

И незаметно для себя Ванда действительно отдохнула. Реже стала вспоминать бури своей жизни, а сниться ей начали то сборочный цех, то общее собрание, а то вдруг взяла и приснилась Оксана.

Ванда иногда встречала Оксану в парке или в кино, но стеснялась подойти к ней и познакомиться, да и Оксана держалась в сторонке, тоже, вероятно, из застенчивости. Ванда знала, что Оксана — «батрачка», прислуга, что в нее влюблен Гонтарь и что Игорь Чернявин поцеловал ее в

парке, а потом ходил просить прощения. При встрече Ванда всматривалась в лицо Оксаны. В этом лице, в смуглом румянце, в несмелых карих глазах, в осторожном взгляде, который она успевала поймать, Ванда умела видеть отражение настоящих человеческих страданий: Оксана была батрачка.

17. Свежий воздух

Игорь Чернявин часто начал поглядывать на себя в зеркало. Он получил уже парадный костюм, хотя еще и без вензеля. Обнаружилось, что у него стройные ноги и тонкая талия. Ему казалось, что он смотрит на себя в зеркало для того, чтобы посмеяться: какой благонравный колонист, работает в сборочном цехе, зачищает проножки, поцеловал девушку — попало! Извинился, как полагается джентльмену. Через неделю он, безусловно, выдержит экзамен в восьмой класс, а еще через месяц должен получить звание колониста. Похвальное поведение, — никогда не мог подумать. И вот что странно: от этого было даже приятно.

С каждым днем начинал Игорь ощущать в себе какую-то новую силу. Друзей у него еще не было, да, пожалуй, они не особенно были ему нужны. Зато со всеми у него приятельские отношения, со всеми он может пошутить, и все отвечают ему улыбками. Он уже приобрел славу знаменитого читателя. Когда он приходит в библиотеку, Шура Мятникова встречает его как почтенного заказчика, аппетитно поглядывает на полки, чертовски красивым движением взлетает на лестницу и говорит оттуда:

— Я тебе предложу Шекспира. Как ты думаешь?

Она смотрит на него сверху лукаво и завлекающе. Очень уж ей хочется улучшить библиотечный паспорт Шекспира, до сего времени сравнительно бедный. И Игорь радуется, может быть, ему импонирует Шекспир, а может быть, и оттого, что Шура Мятникова на верхней ступеньке лестнички кажется ему сестрой — разве такая сестра плохой подарок судьбы?

Игорь уносит под мышкой огромный том Шекспира, на него по дороге с уважением смотрят пацаны — им ни за что не дадут такую большую, красивую книгу, — а Владимир Колос, повстречавшись с ним, говорит:

— Покажи! Шекспира читаешь? Хвалю. Молодец, Чернявин. Довольно, понимаешь, тащиться шагом...

Владимир Колос — высокая марка, он создал колонию, и он будет потом учиться в Московском авиационном институте. Игорь с настоящим увлечением открывает в спальне Шекспира, и оказывается — совсем неплохо. Он читает «Отелло» и хохочет. Отелло страшно напоминает Гонтаря.

— Михайло! Про тебя написано!

— Как это про меня?

— А вот тут описан один такой ревнивец.

— Рассказывай, описан!

— Точь-в-точь — ты!

— Ты напрасно воображаешь, Чернявин, что я ревнивец. Ты ничего не понимаешь. Тебе только целоваться нужно.

Гонтарь хитрый. Он уверен, что Игорю нужно только целоваться. А что

нужно самому Гонтарю — неизвестно. Однако в восьмой бригаде хорошо знают, куда метит Миша Гонтарь: зимою он поступит на шоферские курсы, получит где-нибудь машину и будет ездить. Захаров обещал устроить для него квартиру, и тогда Миша женится на Оксане. Об этом адском плане знала вся колония, даже пацаны четвертой бригады, но Гонтарь таинственно улыбался — пускай себе болтают. Гонтарь делал такой вид, будто его планы гораздо величественнее. Ребята с ним не спорили. Миша — хороший человек. Планы Гонтаря были известны всей колонии, до некоторой степени были известны, конечно, и самому Гонтарю... но планы Оксаны никому не были известны и, кажется, не были известны и самому Гонтарю. У колонистов были острые глаза, гораздо острее, чем у Миши. Оксана приходила на киносеансы; днем она появлялась с корзинкой — за щепками. Перед вечером, когда на пруду наступал «женский час», приходила купаться, — достаточно для того, чтобы опытный глаз мог увидеть: собирается она быть женой шофера Гонтаря или не собирается.

Все хорошо знали, что Оксана — батрачка, все знали, что ее эксплуатирует какой-то адвокат, которого ни разу в колонии не видели, все сочувствовали Оксане, но в то же время заметили и многое другое: особенную, спокойную бодрость Оксаны, молчаливое достоинство, неторопливую улыбку и умный взгляд. От нее никогда не слышали ни одной жалобы. А самое главное: никогда не видели ее вдвоем с Мишей на прогулке, имеющей, так сказать, любовную окраску: ведь всегда видно, любовная эта прогулка или так. Что-то такое было у этой девушки свое, никому еще не известное, о чем Гонтарь не имел никакого представления.

В конце августа, в выходной день, под вечер, в спальне, по случайному совпадению, Игорь и Гонтарь одновременно занялись туалетом. Миша долго причесывал свои волосы. Игорь начистил ботинки. Миша поглядывал подозрительно на сверкающие ботинки Игоря, на новую складку на брюках, но молчал. Игорь же, как более разговорчивый, спросил:

— Куда это ты собираешься, любопытно знать?

— А ты за мной проследи, если такой любопытный.

— Прослежу.

Помолчали.

Потом Игорь снова:

— Парадную гимнастерку ты не имеешь права надевать.

— А может, я иду в город. Сейчас подойду к дежурному бригадиру, так и так, имею отпуск.

— Ах, ты в город? Хорошо!

— А на парадную я только посмотрел, может, измялась.

— Как будто нет...

— Как будто нет.

Снова помолчали. Но Гонтарь хорошо разобрал, как старательно Игорь расправил носовой платок в грудном кармане. Не утерпел и тоже спросил:

— А ты куда собираешься?

— Я? Так... пройтись. Люблю, понимаешь, свежий воздух.

— Скажите, пожалуйста, свежий воздух! В колонии везде свежий воздух.

— Не скажите, милорд. Все-таки эта самая литейная... такой, знаешь, отвратительный дым...

Игорь пренебрежительно махал рукой возле носа. Это аристократическое движение возмутило Гонтаря:

— Напрасно задаешься! Сегодня выходной день, и литейная не работает.

— Сэр! У меня такое тонкое обоняние, что и вчерашний дым... не могу выносить.

Таким образом, Гонтарь убедился, что Игорь настойчиво хочет как можно дальше уйти от литейной. И убедившись, Гонтарь оставил шутливо-подозрительный тон и сказал значительно:

— Знаешь что, Чернявин? Я все-таки тебе не советую!

— Ты, Миша, не волнуйся.

Из спальни вышли вместе. Вместе прошли парк и подошли к плотине. Гонтарь спросил:

— Куда ты все-таки идешь?

— Я гуляю по колонии. Имею право?

— Имеешь.

Гонтарь был человек справедливый. Поэтому он молчал до тех пор, пока они не перешли плотину. А когда перешли, Гонтарь уже ни о чем не спрашивал:

— Ты дальше не пойдешь!

— Почему?

— Потому. Ты куда направляешься?

— Гулять.

— По колонии?

— Нет, около колонии. Имею право?

— Имеешь, а только...

— Что?

— Чернявин! Я тебе морду набью!

— Какие могут быть разговоры о морде в такой прекрасный майский вечер!

— Чернявин! Не трепись про майский вечер. Теперь нет никакого мая, и ты думаешь, я ничего не понимаю. Дальше ты все равно не пойдешь.

— Миша, я знаю японский удар! Страшно действует!

— Японский. А русский, ты думаешь, хуже?

Миша Гонтарь решительно стал на дороге, и пальцы его правой руки, действительно, стали складываться по-русски.

— Миша, неловко как-то без секундантов.

— На чертей мне твои секунданты! Я тебе говорю: не ходи!

— Ты — настоящий Отелло. Я все равно пойду. Но первый я не нанесу удара. Я не имею никакой охоты стоять на середине да еще по такому делу: самозащита от кровожадного Отелло.

Упоминание о середине взволновало Гонтаря. Он оглянулся и... увидел Оксану в сопровождении довольно пожилого гражданина в широких домашних брючках и в длинной косоворотке. На голове у гражданина ничего не было, даже и волос, лицо было бритое, сухое и довольно симпатичное. Игорь и Гонтарь поняли, что это и есть эксплуататор, поэтому его лицо сразу перестало казаться симпатичным. Оксана шла рядом с ним. На ее ногах были сегодня белые тапочки, а в косе белая лента. Не могло быть сомнений, что сегодня она прелестней, чем когда-либо. Колонисты пропусти-

ли их к плотине. Гонтарь сумрачно поднял руку для приветствия, отсалютовал и Игорь. Оксана опустила глаза. Лысый решил, что почести относятся к нему, и тоже поднял руку, потом спросил:

— Товарищи колонисты! Скажите, Захаров у себя?

Гонтарь ответил с достоинством:

— Алексей Степанович всегда у себя.

Оксана прошла вперед на плотину. Мужчины двинулись вслед за ней. Лысый гражданин сказал:

— Хорошо вы живете в колонии! Такая досада, что мне не пятнадцать лет. Эх!

Он, действительно, с досадой махнул рукой.

Гонтарь недоверчиво повел на него хитрым глазом: здорово представляется эксплуататор.

До самых дверей главного здания они так и шли втроем за Оксаной и разговаривали о колонии. Гонтарь держался как человек, которого не проведешь, отвечал вежливо, с дипломатической улыбкой, но вообще не увлекался, старался не выдать ни одного секрета и скрыл даже, сколько масленок делают в день, — сказал:

— Это бухгалтерия знает.

А за спиной гражданина подмигнул Игорю.

Впрочем, Гонтарь охотно вызвал дежурного бригадира:

— Вот они — к заведующему.

Целых полчаса Игорь и Гонтарь мирно гуляли в пустом коридоре. Гонтарь не выдержал:

— Интересно, чего это они пришли?

Володя Бегунок куда-то помчался стремглав и возвратился с Клавой Кашириной. Потом лысый гражданин прошел мимо них и вежливо поклонился:

— До свиданья, товарищи.

Игорь и Гонтарь переглянулись, но никто не высказал никакого мнения.

Наконец из кабинета вышли Клава и Оксана. Оксана шла впереди и немного испуганно глянула на юношей. Но Клава сияла радостью. Она с шутливой манерностью поклонилась и сказала своим замечательным серебряным голосом:

— Познакомьтесь: новая колонистка Оксана Литовченко.

Они еще долго смотрели вслед девушкам, а потом глянули друг на друга.

Игорь сказал:

— Милорд, могу я теперь пойти подышать свежим воздухом?

Но теперь и Гонтарь был в ударе:

— Чудак, я же тебе русским языком говорил, что по всей колонии воздух хороший!

Они захохотали на весь коридор. Часовой посмотрел на них строго, а они смеялись до самой спальни, и только в спальне Гонтарь заявил серьезно:

— Ты, конечно, понимаешь, Чернявин, что теперь всякие романы кончены.

— Я-то понимаю, а вот понимаете ли вы?

Но Гонтарь посмотрел на него высокомерно:
— Дорогой товарищ! Я по списку колонистов четвертый!

18. Вот это — да!

В спальне пятой бригады сидит на стуле Оксана, до самой шеи закутанная простыней. Вокруг нее ходит Ванда с ножницами, стоят девочки и улыбаются. У Оксаны хорошие волнистые волосы с ясным каштановым отливом:

— Я тебе сделаю две косы. У тебя хорошие будут косы, ты знаешь, какие замечательные будут косы! Вы ничего, девочки, не понимаете: разве можно стричь такие косы? Надо только... подрезать, тогда будут расти.

Глаза у Ванды горят отвагой. Она закусывает нижнюю губу и осторожно подрезывает кончики распущенных волос. Оксана сидит тихонько, только краснеет густо.

Ванда квалифицированным жестом парикмахера сдергивает с нее простыню. Оксана несмело подымается со стула:

— Спасибо.

Ванда бросила простыню на пол, вдруг обняла Оксану, затормошила ее.

— Ах ты, моя миленькая! Ты, моя родненькая! Ты, моя батрачечка!

Девочки взволнованно засмеялись, Оксана подняла на них карие глаза, улыбнулась немного лукаво. Клава сказала:

— Довольно вам нежничать! Идем к Алексею.

Ванда спросила задорно:

— Чего к Алексею?

— Поговорить ему нужно.

— И я пойду.

— Идем.

Были часы «пик», когда у Торского и у Захарова народу собиралось множество. Только у Торского можно сидеть сколько угодно на бесконечном диване, сколько угодно говорить и как угодно смеяться, а в кабинете Захарова можно все это проделывать вполголоса, чтобы не мешать ему работать. Впрочем, бывали и здесь отступления от правила в ту или другую сторону: то сам Захаров заговорится с ребятами, смеется и шутит, а то вдруг скажет сурово:

— Прошу очистить территорию на пятьдесят процентов!

Он никогда не позволял себе просто выдворить гостей.

Девочки вошли в комнату совета бригадиров. Их встретило общее изумление. Оксана в колонистском костюме! Какая новость! Только Володю Бегунка никогда нельзя было изумить. Он открыл дверь кабинета и вытянулся с жестом милиционера, регулирующего движение:

— Пожалуйте!

Захаров встал за столом, гости его тоже притихли, пораженные.

— Ну что же... хорошая колонистка. Ты училась в школе?

— Училась в седьмом классе.

— Хорошо училась?

— Хорошо.

Игорь Чернявин, сидящий на диване, сказал весело:

— Только ты, Оксана, посмелее будь. А то ты какая.. деревенская.

Ванда оглянулась на него оскорбленно:

— Смотри ты, городской какой!

Захаров поправил пенсне:

— Хорошо училась? Если умножить двенадцать на двенадцать, сколько будет, Чернявин?

— А?

— Двенадцать на двенадцать умножить, сколько?

Игорь поднял глаза и быстро сообразил:

— Сто четыре!

— Это по городскому счету или по деревенскому?

За Игорем следило много возбужденных глаз. Головы гостей склонились друг к другу, уста их шептали не вполне уверенные предположения, но Игорь еще раз посмотрел на потолок и отважно подтвердил:

— Сто четыре!

Захаров печально вздохнул:

— Видишь, Оксана, милая? Так и живем! Приедет к нам такой молодой человек из города и гордится перед нами, говорит: сто четыре. А того и не знает, что недавно один американский ученый сделал такое открытие: двенадцать на двенадцать будет не сто четыре.

Девушки смотрели на Игоря с насмешкой, ребята заливались на диване, но Игорь еще раз проверил и наконец догадался, что Захаров просто «покупает» его. И в присутствии Оксаны Игорь захотел показать настойчивость души, которую нельзя так легко сбить разными «покупками». Правда, Ваня Гальченко, сидящий рядом, толкал его в бок, и этот толчок имел явный математический характер, но Игорь не хотел замечать этого:

— Американцы тоже могут ошибаться, Алексей Степанович. Бывает так, что русские сто очков вперед американцам дают.

— Оксана, видишь? Самый худший пример искажения национальной гордости. Игорь дает американцам сто четыре очка.

Оксана не выдержала и рассмеялась. И тут обнаружилось, что она вовсе не стесняется, что она умеет смеяться свободно, не закрываясь и не жеманясь. Потом она обратилась к Игорю с простым вопросом:

— А как ты считаешь?

— Да как считаю: десять на десять сто, дважды два — четыре, сто четыре.

Оксана изумленно посмотрела на Захарова. Захаров развел руками:

— Ничего не скажешь! Правильно! Сто да четыре будет сто четыре. Признаем себя побежденными, правда, Оксана?

Захарова перебил общий возбужденный крик. Колонисты покинули теплые места на диване, воздевали руки и кричали разными голосами:

— Да он неправильно сказал! Неправильно! Алексей Степанович! Тоже считает! Кто же так считает, Чернявин? Сто четыре!

Старшие мудро ухмылялись. Захаров расхохотался:

— Что такое, Игорь? И русские против тебя? Хорошо! Это вы там на свободе разберете. Клава, кто будет шефом у Оксаны?

— Я хотела назначить Марусю, но вот Ванда... А Ванда еще не колонистка.

Ванда выступила вперед, стала рядом с Оксаной, сказала серьезно:

— Алексей Степанович! Я не колонистка! Только...[51].

Захаров внимательно посмотрел в ее глаза. Гости притихли и вытянули шеи.

— Так... Это очень важно! Значит, ты хочешь быть ее шефом?[52]

— Хочу.

Наступило общее молчание. Ванда оглянулась на всех, встряхнула головой:

— И пускай все знают: я ее защищаю.

Захаров встал, протянул Ванде руку:

— Спасибо, Ванда, хороший ты человек.

— И вы тоже!

Теперь только ребята дали волю своим чувствам. Они бросились к Оксане, окружили ее, кто-то протянул звонко:

— Вот это — да!

Поздно вечером, когда уже все спали, Захаров прибрал на столе, взял в руки фуражку и спросил у Вити Торского:

— Да, Витя, откуда ребята взяли, что Оксана батрачка?

— Все колонисты так говорят.

— Почему?

— Говорят — батрачка, у адвоката прислуга. Только такая прислуга, на огороде. А разве нет?

— Оксана Литовченко — дочь рабочего-коммуниста. Он умер этой зимой, а мать еще раньше умерла. Оксану и взял к себе товарищ Черный, не адвокат вовсе, а профессор советского права; они вместе с отцом Оксаны были на фронте.

— А почему она в огороде работала?

— А что же тут такого, работать в огороде? Она сама и огород завела, значит, любит работать. Разве только батраки работают?

Торский хлопнул себя по бокам:

— Ну что ты скажешь! А у нас такого наговорили: эксплуататор.

— Наши могут... фантазеры!

— Надо на собрании разъяснить.

Захаров надел фуражку, улыбнулся:

— Нет, пока не надо. Никому не говори. Само разъяснится.

— Есть, никому не говорить!

Захаров вышел в коридор. В вестибюле горела дежурная лампочка. Часовой поднялся со стула и стал «смирно».

— До свиданья, Юрий!

— До свиданья, Алексей Степанович!

Захаров направился по дорожке мимо литеры Б. Во всех окнах было уже темно, только в одном склонилась голова девушки. Голос Ванды сказал оттуда:

— Спокойной ночи, Алексей Степанович!

— Почему ты не спишь, Ванда?

— Не хочется.

— А что ты делаешь?

— А так... смотрю.
— Немедленно спать, слышишь!
— А если не хочется?
— Как это не хочется, если я тебе приказываю?
Ванда ответила, смеясь:
— Есть, немедленно спать!
Из-за ее плеча голова Клавы:
— С кем ты разговариваешь, Ванда? Алексей Степанович, вы скажите ей, чтобы она не мечтала по ночам. Сидит и мечтает. С какой стати!
— Я не мечтаю вовсе. Я просто смотрю. А только я больше не буду, Алексей Степанович.
— Клава, тащи ее в постель!
Девушки завозились, пискнули, скрылись. И это окно стало таким же, как и все остальные.

19. Счастливый месяц август

Было сделано по секрету: вдруг Зырянский приказал четвертой бригаде надеть после ужина парадные костюмы. Удивительно было, что никто в бригаде не спросил, почему. О чем-то перешептывались и пересмеивались, и Ваня по этой причине шепотом спросил у Фильки:
— А зачем? Скажи, зачем?
И Филька ему шепотом ответил:
— Одно дело будет... Стр-рашно интересно!
А когда проиграли сигнал на общее собрание, Алеша Зырянский построил всех в одну шеренгу и гуськом повел в зал. В вестибюле их ожидал Володя Бегунок со своей трубой и тоже занял место в шеренге впереди всех, рядом с Зырянским. В «тихом» клубе их встретили улыбками, зааплодировали. И четвертая бригада не расселась на диване, а построилась перед бюстом Сталина, лицом к собранию. Потом пришли вдвоем и весело о чем-то между собою разговаривали, лукаво посмотрели на четвертую бригаду Захаров и Витя Торский. Витя открыл собрание и сказал:
— Слово предоставляется бригадиру четвертой бригады товарищу Зырянскому.
Зырянский встал впереди своей шеренги и громко скомандовал:
— Четвертая бригада, смирно!
И сказал такую речь:
— Товарищи колонисты, собрание колонистов четвертой бригады в составе четырнадцати человек единогласно постановило просить общее собрание дать нашему воспитаннику Ивану Гальченко звание колониста. Иван Гальченко — хороший товарищ, честный работник и веселый человек. Подробно о нем скажет его шеф — колонист Владимир Бегунок. Гальченко, пять шагов вперед!
Ваня, смущенный и краснеющий, встал рядом с бригадиром. Володя тоже вышел вперед и очень сдержанно, официальным голосом рассказал кое-что о Ване. Ваня живет в бригаде только три месяца, но за это время можно все увидеть. Ваня ни с кем никогда не ссорится, никогда нигде не опоздал, всякую работу делает хорошо, быстро и всегда веселый. Он ни к кому не подлизывается, ни к бригадиру, ни к дежурному бригадиру,

ни к старшим колонистам. Теперь в один рабочий день он делает восемьдесят шишек, и все довольны. Каждый день читает «Пионерскую правду», знает про Октябрьскую революцию, про Ленина и также хорошо знает, как побили Деникина, Юденича и Колчака. Еще знает про Днепрострой, про коллективизацию, про кулаков. Это он все хорошо знает. Он говорит, когда выйдет из коммуны, так сделается летчиком в Красной Армии; только он не хочет быть бомбардировщиком, а хочет быть истребителем. Это он так говорит, а, конечно, это еще будет видно. Колонию Ваня очень любит. Знает все правила и законы колонии, уже выучил строй и хочет играть в оркестре. Вот он... какой! И я был его шефом, а только мне было совсем не трудно. Потом взял слово Марк Гringауз и сказал, что комсомольская организация поддерживает просьбу четвертой бригады. Ваня за три месяца доказал, что он заслужил первомайский вензель. И очень стыдно тем бригадам, где есть воспитанники старше, чем по четыре месяца.

Сказали короткие слова и другие колонисты. Все подтвердили, что Ваня Гальченко заслужил почетное звание. Клава Каширина прибавила:

— Хороший колонист! Ваня всегда в исправности, очень вежливый, все у него в порядке и, безусловно, наш человек, трудящийся.

И Алексей Степанович поднялся, подумал и развел руками:

— Моя обязанность, вы знаете, и привычка тоже — придираться все. А вот к Ване... не могу придраться. Только боюсь, четвертая бригада, вы там его не перехвалите, не забалуйте. И ты, Ваня, если тебя хвалят, старайся не очень верить... все-таки... больше от себя самого требуй. Знаешь, нет хуже захваленного человека. Понял?

Ваня был как в тумане, но ясно видел, чего хочет Захаров, и кивнул задумчиво.

Когда высказались все ораторы, Витя Торский сказал:

— Голосуют только колонисты! Кто за то, чтобы Ване Гальченко дать звание колониста, прошу поднять руки!

Целый лес рук поднялся вверх. Ваня стоял рядом с бригадиром и радовался, и удивлялся.

— Принято единогласно! Прошу встать!

Еще более удивленный, Ваня увидел, как все встали, в дальнем углу дивана отделился и через блестящий паркет направился к четвертой бригаде Владимир Колос, первый колонист по списку.

Владимир Колос держал в руках бархатный ромбик, на котором нашиты золотом и серебром буквы вензеля.

— Ваня Гальченко! Вот тебе значок колониста. Теперь ты будешь полноправным членом нашего коллектива. Интересы колонии и всего Советского государства ты будешь ставить впереди своих личных интересов. А если тебе потом придется стать на защиту нашего государства от врагов, ты будешь смелым, разумным и терпеливым бойцом. Поздравляю тебя!

Он пожал Ване руку и вручил ему значок. Весь зал зааплодировал, Алеша Зырянский взял Ваню за плечи. В это время Торский закрыл общее собрание, и все окружили нового колониста, пожимали ему руки и поздравляли. И Алексей Степанович тоже пожал руку и сказал:

— Ну, Ваня, теперь держись! Покажи значок! Лида, я по глазам вижу, ты ему пришить хочешь...

— Очень хочу!

Золотая голова Лиды склонилась к Ване.

— Идем к нам!

В первый раз зашел Ваня в спальню одиннадцатой бригады. Девочки окружили его, усадили на диван, угощали шоколадом, расспрашивали, смеялись, потом он снял блузу, и Лида Таликова собственноручно пришила значок на левый рукав.

Когда он снова нарядился, девочки завертели его перед зеркалом. Шура Мятникова наклонилась из-за его плеча к зеркалу и засмеялась: зубы у нее белые, большие и ровные.

— Смотри, какие мы красивые!

А когда прощались, все кричали:

— Ваня, приходи в гости, приходи![53]

Шура Мятникова растолкала всех:

— Честное слово, я его в библиотечный кружок запишу! Мне такой нужен деловой человек. Пойдешь ко мне в кружок, пойдешь?

Ваня поднял глаза. Он не был смущен, он не был задавлен гордостью, нет, он был просто испуган и очарован счастьем, которое свалилось на него в этот вечер, и он был все же очень слабо подготовлен к этому и не знал еще, какой величины счастье может выдержать человек. У этих девочек были замечательные лица, они казались недоступно прелестными, в их оживлении, в их чудесных голосах, в чистоте и аромате их комнаты, даже в шоколаде, которым они угостили Ваню, было что-то такое трогательное, высокое, чего никакой человеческий ум понять не может. Ваня ничего и не понимал. Он дал обещание работать в библиотечном кружке.

А ведь это было только один из вечеров этого счастливого месяца августа. Сколько же было еще таких дней и вечеров!

Вдруг стало известно, что Колька-доктор остался очень недоволен сделанной вентиляцией и потребовал немедленного перевода всех малышей-шишельников в другой цех. В кабинете Захарова Соломон Давидович произнес речь, в которой обращал внимание Кольки-доктора на свое старое сердце:

— Вы как доктор хорошо понимаете: если мне будут ежедневные неприятности с этой самой трубой, то даже самое здоровое сердце не может выдержать...

Колька-доктор сердито поморгал глазами на Соломона Давидовича:

— Ерунда! Сердце здесь ни при чем!

Вся эта лечебно-литейная история кончилась тем, что совет бригадиров поставил на эту работу старших колонистов, в том числе и Рыжикова, а малышей перевел в токарный цех. Столь необыкновенное и непредвиденное благоволение судьбы так потрясло четвертую бригаду, что она вся целиком охрипла на несколько дней.

Токарь! В каких сказках, в каких легендах рассказано о токаре? Пожалуйста: и баба-яга костяная нога, и золотое блюдечко, и наливное яблочко, и разговорчивый колобок, и добрые зайцы, и доброжелательные лисички, и Мойдодыр, и Айболит — вся эта компания предлагает свои услуги. Хорошим вечером можно широко открыть глаза и унестись воображением в глубину сказочного леса, в переплеты нехоженых дорожек, в просторы тридесятых стран. Это можно, это допустимо, этого никому не жалко, и взрослые люди всегда очень довольны и щедры на рассказы.

А попробуйте попросить у них обыкновенный токарный станок, не будем уже говорить, коломенский или московский, а самый обыкновенный — самарский! И сразу увидите, что это еще более невозможная радость, чем шапка-невидимка. Куда тебе: токарный станок! Шишки — пожалуйста, шлифовка планок в сборочном цехе — тоже можно, а токарный станок по металлу — нет, никогда никто не предложит.

И вдруг: Филька — токарь, Кирюшка — токарь, Петька Кравчук — токарь и Ваня Гальченко, еще так недавно знавший только технологию черного гуталина, — тоже токарь! Токарь по металлу! Слова и звуки, говорящие об этом, чарующей музыкой расходятся по телу, и становится мужественным голос, и походка делается спокойнее, и в голове родятся и немедленно тут же разрешаются важнейшие вопросы жизни. И глаза по-новому видят, и мозги по-новому работают. Швейный цех — тоже цех, скажите, пожалуйста! Или сборный стадион! Только теперь стало понятным, как жалки и несчастны люди, работающие на стадионе и называющиеся «деревообделочниками». Впрочем, были и такие слова, которых новые токари старались не слышать. Например, когда привезли самарские станки, Остапчин Александр, помощник бригадира восьмой, сказал при всех:

— Где вы этих одров насобирали, Соломон Давидович? Это станки эпохи первого Лжедимитрия.

Соломон Давидович, как и раньше бывало, презрительно выпятил губы:

— Какие все стали образованные, прямо ужас: теперь всем подавай эпоху модерн! Пускай себе и Димитрия, и Ефима, а мы на этих станках еще хорошо заработаем.

И слова Соломона Давидовича были понятны пацанам, а слова Остапчина проходили просто мимо и терялись.

Наступил полный славы и торжества день, когда четвертая бригада расположилась у токарных станков и впервые правые руки новых токарей взялись за ручки суппортов. Ноги чуть задрожали от волнения, глаза вонзились в масленки, зажатые в патронах. Соломон Давидович стоял рядом, и сердце его, старое, больное сердце, было утешено:

— Хэ! Чем плохие токари! А то зазнаётся народ! Давай им эрликоны[54], давай калиброванную работу. А это по-ихнему — обдирка!

Кто там зазнаётся, что такое эрликоны, какой смысл в калиброванной работе, — ни Филька, ни Кирюша, ни Ваня не интересовались. По их воле работали или останавливались настоящие, роскошные, чудесные токарные станки, из-под резца курчавилась настоящая медная стружка, стопки настоящих масленок ожидали механической обработки, тех масленок, которых с таким нетерпением ждут все советские заводы.

В том же самом августе произошли и другие события, не менее замечательные. Начала работать школа. Ваня Гальченко сел на первой парте в пятом классе. В этом классе размещалась почти вся четвертая бригада, она же токарный цех. Но в том же классе на последней парте сел и Миша Гонтарь. Еще в начале августа он выражал пренебрежение к школе:

— На чертей мне этот пятый класс, когда я все равно поступаю на шоферские курсы!

Рядом с Мишей Гонтарем сидел Петров 2-й. И для него пятый класс

был не нужен — что в пятом классе могут сказать о киноаппарате или, допустим, об умформере[55]. Но Алексей Степанович сказал на общем собрании:

— Предупреждаю — чтобы я не слышал таких разговоров: «Зачем мне школа, я и так ученый». Кто не хочет учиться добровольно, того, так и знайте, буду выводить на середину. Если же кто мечтает о курсах шоферов или киномехаников, все равно, с двойками ни на какие курсы не пущу, забудьте об этом и думать... А вообще имейте в виду: кто не хочет учиться, значит плохой советский гражданин, с такими нам не по дороге.

Миша Гонтарь, хмурый, сидит на последней парте и морщит лоб. Кожа на лбу все собирается и собирается в горизонтальные складки, и они дружно подымаются до самой прически. Но когда входит учитель и начинается урок, складки на Мишином лбу делаются вертикальными. Когда пятый класс единогласно выбрал Мишу старостой, он вышел перед классом и сказал:

— Предупреждаю: раз выбрали, чтоб потом не плакали! Так и знайте — за малейшее буду выводить на середину. Кто не хочет учиться добровольно, того будем заставлять. Как постоит голубчик смирно да похлопает глазами, он тогда узнает, за что учителя жалованье получают. Имейте это в виду, я не такой человек, который будет шутить.

В пятом классе хорошо знали биографию Миши Гонтаря, в особенности были известны его прошлые неудачи в школе. Но сейчас перед классом стоял уже не Миша Гонтарь, а староста. Поэтому ни у кого не возникло сомнения в его правоте, да и физиономия у Миши выражала совершенно искреннее и при этом неподкупное негодование.

В восьмом классе Игорь Чернявин. Хочется ему учиться или не хочется, он еще хорошо не знает, но впереди него сидят рядом Ванда и Оксана, и потому классная комната делается уютной и лицо молодого учителя симпатичней[56].

20. Крейцер

Сентябрь начался блестяще. В юношеский день — первое сентября — Ваня первый раз стал в строй колонистов. В парадных костюмах, сверкая вензелями, белыми воротниками и тюбетейками, выстроились колонисты в одну линию, а справа поместился оркестр. Ваня знал, что по строю он считается в шестом взводе, в котором были все малыши. Взводный командир шестого взвода, белокурый, тоненький Семен Касаткин, которого Ваня иногда видел на поверке в повязке ДЧСК и привык считать обыкновенным колонистом, оказался вдруг совсем необыкновенным. Когда проиграли сигнал, называвшийся «по взводам», и когда все сбежались к широкой площадке против цветника, у этого Семена Касаткина откуда-то взялись и строгий взгляд, и громкий голос, и боевая осанка. Он стал лицом к своему взводу и сказал с уверенной силой:

— Довольно языками работать! Гайдовский!

И стало тихо, и все смотрели на командира внимательными глазами, смотрел и Гайдовский.

— Равняйтесь!

Ваня уже знал, что после сигнала «по взводам» только власть дежурного бригадира остается в силе, все остальное исчезает, нет ни бригадиров, ни совета бригадиров, а есть строй, т. е. шесть взводов и седьмой музвзвод, а во главе их командиры, которых никто не выбирает, а назначает Захаров. И с этими командирами разговоры коротки — нужно слушать команду, и все.

Ваня стоял третьим с правого фланга, таким он пришелся по своему росту в шестом взводе. Равняясь и посматривая на строгого командира, Ваня видел, как вышел Захаров в такой же колонистской форме, с вензелем, только не в тюбетейке, а в фуражке. Он стал, прямой и строгий, перед фронтом, медленно провел глазами от оркестра до последнего пацана на левом фланге шестого взвода, и фронт замер в ожидании. Голосом непривычно резким, повелительным Захаров подал команду:

— Отряд!.. Под знамя... Смирно!

Он обернулся спиной к фронту, замер впереди него с поднятой рукой. И все колонисты вдруг выпрямились и взбросили вверх руки. В оркестре взорвалось что-то новое, торжественное и очень знакомое. Ваня не успел сообразить, что это такое играют. Он тоже держал руку у лба и смотрел туда, куда смотрели все. Из главных дверей, маршируя в такт музыке, вышла группа. Впереди с поднятой в салюте рукой дежурный бригадир Лида Таликова, за нею в ряд трое: Владимир Колос, первый колонист, несет знамя, а по сторонам два колониста с винтовками на ремнях. Знамя колонии им. Первого мая Ваня видел первый раз, но кое-что о нем знал. Знаменщик Колос и его два ассистента не входили ни в одну из бригад колонии, а составляли особую «знаменную бригаду»[57], которая жила в отдельной комнате. Это была единственная комната в колонии, которая всегда запиралась на ключ, если из нее все уходили. В этой комнате знамя стояло на маленьком помосте у затянутой бархатом стены, а над ним был сделан такой же бархатный балдахин.

Колос нес знамя с изумительной легкостью, как будто оно ничего не весило. Золотая верхушка знамени почти не вздрагивала над головой знаменщика, тяжелая, нарядная, украшенная золотом волна алого бархата падала прямо на плечо Колоса.

Знаменная бригада прошла по всему торжественному, застывшему в салюте фронту и замерла на правом фланге. В наступившей тишине Захаров сказал:

— Колонисты Шарий, Кравчук, Новак, — пять шагов вперед!

Вот когда наступил момент возмездия за сверхурочную работу на шишках! Серьезный Виктор Торский вышел вперед с листом бумаги и прочитал, что такому и такому за нарушение дисциплины колонии объявляется выговор. Филька стоял как раз впереди Вани, и Ваня видел, как пламенели его уши. Церемония кончилась, Захаров приказал провинившимся идти на места, Филька стал в строй и устремил глаза куда-то, вероятно, в те места, где находилась в его воображении справедливость.

Но Захаров уже подал какую-то новую очень сложную команду, и вдруг ударил марш, и что-то произошло с фронтом. В нескольких местах фронт переломился, Ваня опомнился только тогда, когда колонна по восьми в ряд уже марширова̀ла по дороге. Ваня сообразил, что он идет в первом ряду своего взвода. Перед ним одинокий командир Семен Касаткин, а

дальше — море золотых тюбетеек и далеко-далеко — золотая верхушка знамени. Касаткин, не изменяя шага, оглянулся и сказал сердито:

— Гальченко, ногу!

Пока дошли до первых домиков Хорошиловки, Ваня совершенно освоился в строю. Он очень легко управлялся с «ногой» и еще легче держал равнение в длинном ряду. Все это было не только легко, но и увлекательно. На тротуарах Хорошиловки собирались люди и любовались колонистами. А когда вышли на главную улицу города, оркестр зазвучал громче и веселее. Колонна проходила между густыми толпами публики, и теперь только Ваня понял, до чего красив строй первомайцев. А потом они вошли в нарядную линию демонстрации, встретили полк Красной Армии и отсалютовали ему, прошли мимо девушек в голубых костюмах, мимо физкультурников с голыми руками, мимо большой колонны разноцветных, оживленных школьников. На колонистов все смотрели с радостью, приветствовали их, улыбались, удивлялись богатому оркестру, а женщинам больше всего нравился шестой взвод, самый молодой и самый серьезный[58].

Вечером на общее собрание приехал Крейцер. Он редко приезжал в колонию. У него широкое бритое лицо, улыбающиеся глаза и рассыпающаяся на лбу прическа. Крейцера колонисты любили. То, что он председатель облисполкома, имело большое значение, но имело значение и то, что Крейцер ничуть не задавался, разговаривал простым голосом и смеялся всегда охотно, если было действительно смешно. И сегодня он пришел на собрание, когда его никто не ожидал. Колонисты только на одну секунду, пока отдавали салют, посерьезнели, а потом заулыбались, заулыбался и Крейцер:

— У вас весело, товарищи!

— А что ж... Весело!

Он широкими шагами направился к трибуне, но не дошел, хитро прищурился, остановился на той самой середине, которая многим уже причинила столько неприятностей:

— А вы знаете, что? Я приехал вас похвалить. У вас дела пошли, говорят.

Ему ответили с разных концов «тихого» клуба:

— Дела идут!.. А вы подробно скажите!

— Могу и подробнее. Вас со сметы сняли. Вы знаете, что это значит? Это значит, что вы живете теперь не на казенный счет, а на свой собственный — сами на себя зарабатываете. По-моему, это здорово.

Колонисты ответили аплодисментами.

— Поздравляю вас, поздравляю. Только этого мало!

— Мало!

— Мало! Надо идти дальше! Правда?

— Правда!

— Производство у вас плохое, сараи.

Одинокий голос подтвердил:

— Стадион!

— Вот именно, стадион, — радостно согласился Крейцер и сейчас же нашел глазами Соломона Давидовича, — слышите, слышите, Соломон Давидович?

— Я уже давно слышу.

— Вот... и станки...
— Не станки, а козы!
— Козы! Правильно!
Он уселся между пацанами на ступеньках помоста и вдруг посмотрел на собрание серьезно:
— А знаете, что? Давайте мы настоящий завод сделаем. А?
— Как же это? — спросил Торский.
Крейцер надул губы:
— Смотри ты, не понимает, как же! Построим, станки купим!
— А пети-мети?
— А у вас есть пети-мети — триста тысяч! Есть?
— Мало!
— Мало! Нужно... нужно... миллион нужно! Маловато... это верно.
Филька крикнул:
— А вы нам одолжите...
— Вам? Одолжить? Невыгодно, понимаете, вам нужно одолжить семьсот тысяч, а у вас своих только триста! А знаете что? Ребята! Стойте.
Он по-молодому вскочил на ноги:
— Дело есть! Факт! Есть дело! Слушайте! Я вам дам четыреста тысяч, а вы сами заработайте триста. Соломон Давидович, сколько нужно времени, чтобы у вас еще триста прибавилось?
Соломон Давидович выдвинулся вперед, пошевелил пальцами, пожевал губами:
— С такими колонистами, как у нас, — очень хорошие люди, я вам прямо скажу, — нужно не так много — один год!
— Всего?
— Один год, а может, и меньше.
Крейцер глянул на сдержанно улыбающегося Захарова:
— Алексей Степанович, давайте!
Захаров откровенно зачесал в затылке:
— Давно об этом думаем. Только за год не заработаем: оборудование у нас, нечего скрывать, дохлое, еле держится.
Соломон Давидович, кряхтя, поднялся со стула:
— Оно, разумеется, держится на ладане, как говорится, но, я думаю, как-нибудь протянем.
— Вот я скажу, вот я скажу.
Это вытягивал вперед руку Санчо Зорин.
— Вот я скажу: что мы заработаем триста тысяч за год, это, считайте, как дома. И все ребята скажут так.
— Заработаем, — подтвердили с дивана.
— А если вы нам поможете, — будет новый завод. Только какой завод, вот вопрос. Но это отдельно. А только я предлагаю так: если мы так заработаем, да еще вы нам поможете, так это через год будет, а потом еще строиться целый год, значит, два года пройдет, — жалко. Теперь смотрите, везде пятилетку делают за три года, а то и за два с половиной, а нам чего ж? Правда? А я предлагаю: давайте прямо сейчас начинать, сколько там у нас есть денег, начинать же можно, а чего они будут лежать. А вы тоже... знаете... как бы это сказать...
— Тоже сейчас дать?

— Ну не сейчас... а вообще!

Санчо так умильно посмотрел на Крейцера, что никто не мог уже удержаться от смеха, да и другие смотрели на Крейцера умильно, и он закричал Захарову, показывая пальцем:

— Смотрят, смотрят как! Ах, чтоб вас!.. Есть! Есть, пацаны! Сегодня даю четыреста тысяч!

Захаров вскочил, размахнулся рукой, что-то крикнул. Крейцер принял его рукопожатие с таким же молодым восторгом, кругом кричали, смеялись, все сорвались с дивана. Торский закричал:

— К порядку, товарищи!

Но Крейцер безнадежно махнул рукой:

— Какой там порядок. Завод строим, Витька!

Но Витька и сам понимал, что сегодня можно и не заботиться о слишком образцовом порядке.

21. Механические слезы

Новый завод, о котором пока мало можно было сказать, вскружил голову всей колонии...

Во время обеда в столовую влетел Виктор Торский.

Секретарь совета бригадиров, член бюро комсомольской организации, он обладал очень солидным характером, но тут он вбежал, взлохмаченный, возбужденный, и заорал, воздевая руки:

— Ребята! Такая новость! И сказать не могу!

Он действительно задыхался, и было видно, что говорить ему трудно.

Все вскочили с мест, все поняли: произошло что-то совершенно особенное — сам Витя Торский кричит, себя не помня.

— Что такое? Да говори! Витька!

— Крейцер... подарил нам... полуторку... новую полуторку! Автомобиль!

— Врешь!

— Да уже пришла! Во дворе! И шофер есть!

Витя Торский еще раз махнул рукой и выбежал. Все бросились в дверь, на столах остались тарелки с супом, по ступеням загремели ноги; те, кто не успел к двери, кинулись в радостной панике к окнам.

На хозяйственном дворе, действительно, стояла новая полуторка. Колонисты облепили ее со всех сторон, часть четвертой бригады полезла в ящик. Гонтарь, человек богатырского здоровья, и тот держался за сердце. У кабинки стоял черномазый тоненький человек и застенчиво смотрел темным глазом на колонистов. Зырянский закричал на него:

— Ты механик?

— Шофер.

— Фамилия?

— Воробьев.

— Имя?

— Имя? Петр.

— Ребята! Шофера Петра Воробьева... кача-ать!!!

Это было замечательно придумано. На Воробьева прыгнули и сверху, из ящика, и снизу, с земли. Заверещали что-то, похожее на ура. Воробьев успел испуганно трепыхнуться, успел побледнеть, но не успел даже рта открыть. Через мгновение его худые ноги в широких сапогах замелькали над толпой. Когда поставили его на землю, он даже не поправил костюм, а оглянулся удивленно и спросил:

— Что вы за народ?

Гонтарь ответил ему с наивысшей экспрессией, приседая почему-то и рассекая ладонью воздух:

— Мы, понимаешь ты, товарищ Воробьев, народ советский, настоящий народ... наш... и ты будь покоен!

Члены четвертой бригады и вместе с ними Ваня Гальченко не придавали большого значения переговорам и выражениям чувств. Осмотрев ящик, они полезли к мотору, установили систему, марку, чуть поспорили о других системах, но единогласно заключили, что машина новая, что в сравнении с ней все станковое богатство Соломона Давидовича, в том числе и токарные самарские станки, никуда не годится.

Идеальный новый завод и реальная новая полуторка сильно понизили их уважение к токарным станкам. Недавний их восторг по поводу приобщения к великой работе металлистов повернулся по-новому. Даже Ваня Гальченко, человек весьма сдержанный и далеко не капризный, недавно пришел в кабинет Захарова в рабочее время. Он старался говорить по-деловому, удерживать слезы — и все-таки плакал.

— Смотрите, Алексей Степанович! Что же это такое?.. Шкив испорчен... Я говорил, говорил...

— Чего ты волнуешься? Шкив нужно исправить.

— Не исправляют. А он говорит: работай! Так нельзя работать.

— Идем.

Переполненный горем, Ваня прошел через двор за Захаровым. Ваня уже не плакал. Войдя в механический цех, он обогнал Алексея Степановича и подбежал к своему станку.

— Вот, смотрите.

Ваня вскочил на подставку и пустил станок. Потом отвел вправо приводную ручку шкива — деревянную палку, свисающую с потолка. Станок остановился.

— Я смотрю, но ничего не вижу.

Вдруг станок завертелся, зашипел, застонал, как все станки в механическом цехе. Захаров поднял голову: палка уже опустилась, передвинулась влево — шкив включен.

Захаров засмеялся, глядя на Ваню:

— Да, брат...

— Как же я могу работать? Остановишь, станешь вставлять масленку в патрон, а он взял и пошел. Руку может оторвать...

За спиной Захарова уже стоял Соломон Давидович. Захаров сказал:

— Соломон Давидович! Это уже... выше меры...

— Ну, что такое? Я же сделал тебе приспособление!

Ваня полез под станок и достал оттуда кусок ржавой проволоки:

— Разве это такое приспособление?

На концах проволоки две петли. Ваня одну надел на приводную палку, а другую зацепил за угол станины. Станок остановился. Ваня снял петлю со станины, станок снова завертелся, но петля висела перед самыми глазами. Сзади голос Поршнева сказал:

— Последнее слово техники!

Соломон Давидович оглянулся агрессивно на голос, но Поршнев добродушно улыбается, его глаза под густыми черными бровями смотрят на Соломона Давидович с теплой лаской, и он говорит:

— Это, честное слово, не годится, Соломон Давидович.

— Почему не годится? Это не последнее слово техники, но работать можно.

— Работать? Ему станок нужно останавливать раз пять в минуту, когда же ему привязывать, отвязывать... А тут петля болтается, лезет в суппорт.

Соломон Давидович мог сказать только одно:

— Конечно! Если поставить английские станки...

Откуда-то крикнули:

— А это какие?

С другого конца ответили:

— Это не станки. Это называется коза!

Захаров грустно покачал головой:

— Все-таки... Соломон Давидович! Это производит впечатление... отвратительное.

— Да что за вопрос! Сделаем капитальный ремонт!

Захаров круто повернулся и вышел. Соломон Давидович посмотрел на Ваню с укоризной:

— Тебе нужно ходить жаловаться. Как будто Волончук не может сделать ремонт.

Но из-под руки Соломона Давидовича уже показалась смуглая физиономия Фильки:

— Когда же будет капитальный ремонт?

— Нельзя же всем капитальный ремонт! По-вашему, капитальный ремонт — это пустяк какой-нибудь? Капитальный ремонт — это капитальный ремонт.

— А если нужно!

— Тебе нужно точить масленку. Что ж ты пристал с капитальным ремонтом? Волончук возьмет гаечку и навинтит.

— Как, гаечку? Здесь все шатается, суппорт испорчен!

— Ты не один в цехе. Волончук поставит гаечку, и он будет работать.

Действительно, через пять минут Волончук приведен был в действие. Он приблизился к Фильке с деревянным ящиком в руках, а в этом ящике всегда много чудесных лекарств для всех станков. Филька удовлетворенно вздохнул. Но Соломон Давидович недолго наслаждался благополучием. Уже через минуту он налетел на Бориса Яновского:

— Стоишь?

Борис Яновский не отвечает, обиженно отворачивается. Есть такие вещи, которые могут вывести из терпения даже Соломона Давидовича. Он гневно кричит Волончуку:

— Это безобразие, товарищ Волончук! Чего вы там возитесь с какой-то

гайкой? Разве вы не видите, что у Яновского шкив не работает? По-вашему, шкив будет стоять, Яновский будет стоять, а я вам буду платить жалованье?

Продолжая рыться в своем чудесном ящике, Волончук отвечает хмуро:

— Этот шкив давно нужно выбросить.

— Как это выбросить! Выбросить такой шкив? Какие вы богатые все, черт бы вас побрал! Этот шкив будет работать еще десять лет, к вашему сведению! Полезьте сейчас же и поставьте шпоночку!

— Да он все равно болтает.

— Это вы болтаете! Сию же минуту поставьте шпоночку!

Волончук задирает голову, чешет за ухом, не спеша приставляет лестницу и лезет к шкиву:

— Вчера уже ставили...

— То было вчера, а то сегодня. Вы вчера получали ваше жалованье и сегодня получаете.

Соломон Давидович тоже задирает голову. Но его дергает за рукав Филька:

— Так как же?

— Я же сказал: тебе поставят гаечку.

— Так он туда полез...

— Подождешь...

И вдруг из самого дальнего угла отчаянный крик Садовничего:

— Опять пас лопнул! Черт его знает, не могут пригласить мастера!

И Соломон Давидович, по-прежнему мудрый и знающий, по-прежнему энергичный, уже стоит возле Садовничего.

— Был же шорник. Я говорил — исправить все пасы. Где вы тогда были?

— Он зашивал, а сегодня в другом месте порвалось. Надо иметь постоянного шорника!

— Очень нужно! Шорники вам нужны, а на завтра вам смазчик понадобится, а потом подавай убиральницу.

Садовничий швыряет на подоконник ключ и отходит.

— Куда же ты пошел?

— А что же мне делать? Буду ждать шорника.

— Это такое трудное дело сшить пас? Ты сам не можешь?

Все-таки развеселил Соломон Давидович механический цех. И Садовничий смеялся:

— Соломон Давидович! Это же пас. Это же не ботинок!

Садовничий имел право так сказать, потому что он когда-то работал у сапожника.

22. Слово

Какой будет новый завод, не знал даже Захаров. Но все знали, что нужно за год заработать триста тысяч «чистеньких». А это было не так легко сделать, потому что колонию «сняли со сметы», приходилось все расходы покрывать из заработков производства Соломона Давидовича. Неожиданно для себя самого Соломон Давидович сделался единственным источником,

который мог дать деньги. Раньше других пострадал от этого Колька-доктор, которому так и не удалось приобрести синий свет. Потом девочки пятой и одиннадцатой бригад, давно запроектировавшие новые шерстяные юбки, вдруг поняли, что шерстяных юбок не будет. В библиотеке сотни книг связали в пачки, приготовив для переплета, а потом взяли и эти пачки развязали. Петр Васильевич Маленький просил на гребной автомобиль сто рублей, Захаров сказал:

— Подождем с гребным автомобилем.

На общем собрании Захаров объяснил коротко:

— Товарищи! Надо подтянуть животы, приготовьтесь.

Все были согласны подтянуть животы, и ни у кого это не вызвало возражений. Даже в спальнях о подтягивании животов говорили мало. В четвертой бригаде преимущественное внимание уделяли делам механического цеха. Теперь нужно было зарабатывать триста тысяч, а станки плохие — вот основная тема, которую деятельно разбирали в четвертой бригаде. И в других бригадах страшно беспокоились: на чем, собственно говоря, можно заработать триста тысяч? Выходило так, что не на чем заработать, а между тем оказалось, что уже на другой день после приезда Крейцера выпуск масленок увеличился в полтора раза. Как это произошло, не понял и Соломон Давидович. Он несколько раз проверил цифры, выходило правильно: в полтора раза. Даже Захарову он не сообщил о своем открытии, подождал еще день, другой, выпуск все подымался и подымался. Но подымался и крик в цехе против всяких неполадок, а потом не стало хватать литья. Ясно было, что нужно увеличить число опок. На общем собрании об этом говорили несколько раз во все более повышенных тонах; наконец разразился и скандал. Зырянский начал как будто спокойно:

— А теперь с опоками. Опоки старые, дырявые, и не хватает их. Тысячу раз, тысячу раз обещал Соломон Давидович: завтра, через неделю, через две недели. А посмотрите, что утром делается? Токари не успели кончить завтрак, а некоторые даже и не завтракают, а бегом в литейную. Каждый захватывает себе масленки, а кто придет позже, тому ничего не остается, жди утренней отливки, жди, пока остынет. Какая это техника?

И вот еще новость: Зорин, вовсе и не металлист, а деревообделочник, тоже взял слово:

— Соломону Давидовичу жалко истратить на опоки тысячу рублей.

А если план трещит, так что?

Соломон Давидович потерял терпение:

— Дай же слово! Что это такое, в самом деле! С опоками этими, что я сам не понимаю, что ли? Опоки будут скоро. Сделаем.

С места крикнули:

— Когда? Срок.

— Через две недели.

Зырянский хитро прищурился:

— Значит, будут к пятнадцатому октября?

— Я говорю: через две недели, значит, будут к первому октября.

— Значит, к пятнадцатому октября обязательно?

— Да, к первому октября обязательно.

В зале начали улыбаться. Тогда Соломон Давидович стал в позу, протянул вперед руку:

— К первому октября, ручаюсь моим словом!

В зале вдруг прокатился смех, даже Захаров улыбнулся.

Соломон Давидович покраснел, надулся, он уже стоит на середине зала:

— Вы меня оскорбляете! Вы имеете право оскорблять меня, старика? Вы! Мальчишки!

Стало тихо, неловко. Что будет дальше? Но Зырянский тоже придвинулся к середине и, повернув к Соломону Давидовичу серьезное лицо, сдвинул брови:

— Никто вас не хочет оскорблять, Соломон Давидович. Вы утверждаете, что опоки будут готовы к первому октября. А я утверждаю, что они не будут готовы и к пятнадцатому октября.

Он остановился перед Блюмом, не опуская глаз. Соломон Давидович покрасневшими глазами оглядел собрание, вдруг повернулся и вышел из зала. В наступившей тишине Марк Грингауз возмущенно сказал:

— Нельзя, Алексей! Разве так можно с человеком? Он ручается словом.

Теперь покраснели глаза и у Зырянского. Он резко взмахнул кулаком:

— И я ручаюсь словом! Если я окажусь не прав, выгоните меня из колонии.

— А все-таки ты не прав, — неожиданно прозвучал голос Воленко.

— Это еще будет видно.

— А я тебе говорю: ты все равно не прав. И нечего тут спорить, мы все хорошо знаем — опоки не будут готовы к первому октября.

— Вот видишь!

— И ничего не вижу. А сейчас Соломон Давидович верит, понимаешь, верит, что они будут готовы. И он старается: это не то, что он врет. А ты, Алеша, сейчас же... на тебе! Взял и обидел! Такого старика.

— Я не обидел, а я с ним спорю.

— Спорить — одно дело, а обижать — другое дело. И я не допускаю, чтобы ты нарочно...

— Да брось ты, Воленко. У нас идет вопрос об опоках, о деле, а ты все со своей добротой. У тебя все хорошие, и никого нельзя обижать. А по-моему иначе: нужны опоки — давай опоки, говори дело: когда будут готовы, а зачем морочить голову всей колонии? Зачем?

Собрание с большим интересом следило за этим разговором. По выражениям лиц трудно было разобрать, на чьей стороне колонисты. Выходило так, что и Зырянский прав, и обижать нельзя, в самом деле. Игорь Чернявин сидел на диване между Нестеренко и Зориным, и ему хотелось тоже взять слово и высказать свою точку зрения. Но он еще не привык говорить на собраниях, а кроме того, ему не вполне было ясно, какая у него точка зрения. Ему всегда было жалко Соломона Давидовича, на которого все нападали, у которого все требовали и который с самого утра до сигнала «спать» «парился» в колонии, но, с другой стороны, Игорь до конца понимал постоянную, придирчивую воркотню колонистов по адресу «производства» Соломона Давидовича. В самом деле, если даже взять

сборочный цех: сейчас весь двор завален лесом, но какой это лес? Где-то достал Соломон Давидович по дешевке, конечно, несколько грузовиков дубовых обрезков. Это безусловно последний сорт: дуб сучковатый, с прослоями, и на каждой проножке трещинка. Эти трещинки и дырочки от сучков нужно просто обходить еще в машинном отделении, но Руслан Горохов ругался и рассказывал, что, наоборот, Соломон Давидович требовал, чтобы никаких обрезков не было. А на кого надежда в таком случае? На Ванду. Ванда все замажет своим чудесным составом, но нельзя же, в самом деле, чтобы все кресло состояло из Вандиной смеси. Игорь Чернявин вдруг решился и протянул руку. Торский дал ему слово, удивленные глаза со всех сторон воззрились на Игоря: он еще воспитанник, а уже просит слова!

Игорь храбро поднялся, но как только открыл рот, так и почувствовал, какое это трудное дело — говорить на общем собрании!

— Товарищи! Разве это правильно, скажите, пожалуйста, берет Ванда Стадницкая просто опилки, будьте добры... не угодно ли вам получить театральное кресло? Попробуйте взять в руки, например, проножку, посмотрите, пожалуйста...

— Говори по вопросу, — остановил Торский.

— А?

— Что ты нам о проножках, ты говори по вопросу о выступлении Зырянского.

— Ну да! Я же и говорю. Надо войти все-таки в положение. Войдите в положение, будьте добры.

— В чье положение? — спросил с места Зорин.

Игорь мельком поймал его вредный взгляд и храбро взмахнул рукой. Черт его знает, жест вышел такой неуклюжий, какой бывал у Миши Гонтаря: рука прошлась, правда, очень энергично, но как будто не в ту сторону, куда следует, а потом остановилась где-то против живота и с самым дурацким видом торчала в неудобном, деревянном положении. Игорь даже посмотрел на нее, но тут же, хоть и мельком, увидел чью-то коварную девичью улыбку. Во всяком случае, нельзя же просто молчать! В этот момент почему-то вспотел его лоб, Игорь вытер его рукавом и неожиданно для себя довольно громко вздохнул. Легкий-легкий, еле слышный смех быстро прошумел и улетел куда-то за стены «тихого» клуба. Игорь поднял глаза, прислушался, еще раз вздохнул и... сел на место.

Теперь все рассмеялись громко, Игорь рассердился. Он снова вскочил и закричал:

— Да чего тут смеяться! Пристали к человеку: опоки, опоки! Думаете, ему легко, Соломону Давидовичу? Сами говорите — триста тысяч заработать за год, а без Соломона Давидовича черта с два заработаете! Вы еще чай пьете...

— А вы? — крикнул кто-то.

— Да и я, а что ж? Мы еще чай пьем, а он уже в город бежит, а прибежит обратно, так на него со всех сторон... скажите, будьте добры, разве это жизнь? А я уважаю Соломона Давидовича, честное слово, уважаю!

И, удивительное дело, вдруг колонисты захлопали. В первый момент Игорь даже не поверил своим ушам: ворвались в его речь непривычные посторонние звуки, оглянулся: аплодируют, аплодируют ему, Игорю

Чернявину, хотя лица улыбаются по-прежнему иронически. Игорь залился краской, махнул рукой, захотелось куда-нибудь спрятаться от смущения, но тяжелая рука Нестеренко легла на колено:

— Молодец, Игорь, молодец, ты хороший человек![59]

Игорь услышал голос Захарова. Захаров сразу начал с его фамилии.

— Чернявин сказал то, что все мы думаем. Опоки — важная вещь, Зырянский прав. А человек еще важнее, друзья! Воленко, я уважаю тебя за то, что ты выступил на защиту старика. Я думаю, что пришла пора поговорить о Соломоне Давидовиче как следует. Только то, что я скажу, прошу держать в секрете. Вы это можете?

Захаров, улыбаясь, оглядел собрание: все лица утверждали одно: разумеется, они могут, эти двести колонистов, они способны что угодно сохранить в секрете. Кто-то подозрительно посмотрел на девочек, но кто-то из девочек ответил решительным протестом:

— Ты чего смотришь? Я вот за твой язык не ручаюсь...

— Мой язык? Ого!

Захаров понял, что в секрете он может быть уверен.

— Я вижу: вы не расскажете Соломону Давидовичу, это очень хорошо. Так вот — давайте договоримся. Мы должны требовать от него порядка, мы должны добиваться и капитального ремонта, и хорошего качества продукции, и новых опок. Это мы должны. Но давайте договоримся. Мы все это будем делать в дружеском тоне, во всяком случае, совершенно вежливо. Имейте в виду: вежливость — для некоторых трудная вещь, нужно учиться быть вежливым. Не нужно так думать: если человек вежливый, значит — он шляпа. Ничего подобного. Вот, например, можно закричать, замахать руками, засверкать глазами: «Убирайся вон, такой, сякой, подлец!» — а можно очень вежливо сказать: «Будьте добры, уходите отсюда».

Последнюю фразу Захаров сказал действительно с чрезвычайной вежливостью, даже поклонился чуть-чуть, но непреклонный нажим этой просьбы был так убедителен и так уверен, что общее собрание не выдержало: зашумело, засмеялось, кто-то сказал:

— Так это, если свои!

— Совершенно верно. Я про своих и говорю. А если чужие — тоже дело не в ругательстве, а в силе. Винтовка лучше всякой ругани. Но ведь Соломон Давидович человек свой, это мы хорошо знаем, и Чернявин хорошо сказал. Наше производство старенькое, кустарное, и работать на нем трудно, и управлять им тоже нелегко. Все понятно, ребята?

Собственно говоря, все было понятно. Только Зырянский уходил из «тихого» клуба с недовольным лицом и все повторял:

— Вот посмотрим, как он к первому октября сделает!

Зато Чернявин взлетел по лестнице радостный: он сказал довольно хорошую речь, первую речь в колонии, и Захаров с ним согласился. А то они, в самом деле, думают, что Чернявин обыкновенный новенький. Пожалуйста, воспитанник Чернявин? Давно уже было не по себе Чернявину. Ваня Гальченко хороший пацан, но он пришел в колонию через месяц после Игоря, а ему уже дали значок. В восьмой же бригаде никто не подымал вопроса о Чернявине. К нему относились хорошо, признавали его начитанность, признавали справедливость его суждений по многим вопросам

жизни, но ни одна душа не заикнулась о том, чтобы Чернявина представить на общее собрание и сказать: так и так, ничего себе человек: живет, работает, учится. Неужели все помнили несчастный поцелуй в парке перед спектаклем? Или отказ от работы в самые первые дни?

И — удивительное дело — не успел Чернявин об этом подумать, как Нестеренко сказал:

— Я так полагаю, хлопцы, что довольно Чернявину ходить воспитанником. Может, конечно, у него и есть разные фантазии, но я так думаю, что это само пройдет. А чего в нашей бригаде воспитанники будут торчать? Какое твое мнение, Санчо?

А Санчо, тоже хитрая тварь, закричал удивленным голосом:

— Да я давно так думаю! Чего, в самом деле!

23. В жизни все бывает

Крейцер приехал вместе с толстым человеком, водил его по колонии, все показывал, а больше всего показывал пацанов и говорил:

— А вот этот... Вы такого видели? Кирюшка, а ну иди сюда... как живешь?

Кирюшка мог бы кое-что рассказать о своей жизни, но посмотрел на толстяка, и охота у него пропала. У толстяка было бритое, выразительное лицо, только в данный момент оно ничего не выражало, кроме брезгливости, да и то сдержанной.

— Вы еще, дорогой, ничего не понимаете, — сказал Крейцер.

Толстяк ответил стариковским басом:

— Я — инженер, Михаил Осипович, и не обязан понимать всякую романтику.

— Хэ, — коротко засмеялся Крейцер, — ты, Кирюша, оказывается, существо романтическое.

Кирюша моргнул в знак согласия и убежал. Володя трубил «совет бригадиров», а потом спросил у Кирилла:

— Чего он тебе говорил, старый?

— Непонятное что-то! Говорит — я инженер!

В комнате совета бригадиров еле-еле поместились. Каким-то ветром разнеслось по колонии, что приехавший инженер будет говорить о новом заводе. И Ваня Гальченко одним из первых занял место на диване. Было много и взрослых: пришли учителя, мастера, даже Волончук залез в угол и оттуда поглядывал скучно и недоверчиво.

Крейцер прищуренным глазом оглядел колонистов, перемигнулся с Захаровым и сказал:

— Так вот, ребята. Дело у нас начинается. Познакомьтесь — это инженер Петр Петрович Воргунов. Насчет нового завода у нас с ним есть план, интересный план, очень интересный, у нас, там, в городе, этот план понравился, будем делать такой завод — завод электроинструмента. Петр Петрович, пожалуйста.

Инженер Воргунов занял весь стол Вити Торского. Он не посмотрел на колонистов, не ответил взглядом Крейцеру; вид у него был тяжеловато-хмурый. Большая голова с редкими серыми волосами поворачивалась

медленно. Он открыл небольшой чемоданчик и достал из него хитрую блестящую машинку, похожую на большой револьвер. С некоторым трудом он взвесил ее на руках и начал говорить голосом негромким, отчужденным, видно, что по обязанности.

— Это — электросверлилка, значит, работает электричеством. Вот шнур, включается в обыкновенный штепсель...

Он включил, сверлилка в его руках вдруг зажужжала, но движение вследствие быстроты не было видно и лишь угадывалось.

— Как видите, она работает прямо в руках, и это очень удобно, можно сверлить дырки в любом направлении. Чрезвычайно важный инструмент, в особенности при постройке аэропланов, в саперных работах, в кораблестроении. Но она может работать и как стационар, на штативе, штатива я с собой не привез. Если вы немного понимаете в электричестве, вы догадаетесь, что внутри нее должен быть электроякорь, я потом его покажу. Бывают и другие электроинструменты, которые тоже нужно делать на будущем заводе... э... в этой колонии: электрошлифовалки, электропилы, электрорубанки. До сих пор электроинструмент у нас в Союзе не делался, приходилось покупать в Австрии или в Америке. У меня в руках австрийская.

Потом Воргунов очень легко, как будто даже без усилий, разобрал электросверлилку и показал отдельные ее части, коротко перечислил станки, на которых эти части нужно делать, и названия станков были все новые, среди них упоминались и токарные. Закончил так:

— Цехи будут: литейный, механический, сборочный и инструментальный. Если что-нибудь непонятно, задавайте вопросы.

Он опустил сверлилку на стол, на сверлилку опустил глаза и терпеливо ждал вопросов. Сделанное им сообщение было слишком ошеломительно, слишком захватило дух у присутствующих, трудно было задавать еще какие-либо вопросы. Однако Воленко спросил:

— Наша литейная не годится?

Вопрос этот имел характер совершенно неприличный, все присутствующие укоризненно посмотрели на Воленко. Воргунов, не подымая глаз, ответил:

— Нет!

Зырянского это не смутило:

— Вот вы сказали... точность... точность при обработке. Какая точность?

— Одна сотая миллиметра.

Зырянский сел на место и приложил руку к щеке:

— Ой-ой-ой!

Все засмеялись, даже Захаров, даже Волончук, не засмеялся только один Воргунов, он начал укладывать сверлилку в чемоданчик.

— А мы... сможем... это сделать?

Воргунов сжал губы, посмотрел куда-то через головы и ответил сухо:

— Не знаю.

Глаза у колонистов странно закосили, неловко было смотреть друг на друга. Но встал Захаров, сделал шаг вперед — и тоже опустил глаза: видно было, что он зол.

— А я знаю! И товарищ Крейцер знает! И вы знаете, колонисты.

Эти сверлилки нужны нашей стране, нашей Красной Армии, нашему Воздушному Флоту. Товарищ Воргунов, какой выпуск запроектирован?

— Норма — пятьдесят штук в день.

— Значит, мы будем делать сто штук в день. И будем делать лучше австрийцев.

Он с вызывающим лицом повернулся к инженеру, но инженер по-прежнему холодно смотрел на свой чемоданчик. Чей-то звонкий голос раздался из самой гущи, расположившейся у дверей:

— Будем делать!

Михаил Гонтарь сделал лицо добродетельное, серьезное, какое бывает у мудро поживших стариков:

— Я читал недавно в одной книжке: люди такое придумали — по телеграфной проволоке будут портреты посылать. А сверлилку, наверное, легче все-таки сделать. Или, скажем, комбайн и то делают, я сам видел в Ростове. И я так думаю: если хорошо взяться, так почему не сделать? Конечно, чтобы литейная была хорошая.

На Воргунове все эти правильные мысли никак не отразились. Витя Торский, удивленно разглядывая его, закрыл совет.

Через несколько минут Воргунов стоял посреди кабинета Захарова, наклонив голову, точно бодаться собрался:

— Я не понимаю этих нежностей. Я не ангел и не институтка, и никакие дети меня не умиляют, раз дело идет о производстве. Нет, не умиляют. Я говорю прямо: стройте завод — дело хорошее, а только рабочих придется искать.

Крейцер удивленно округлил глаза:

— Да постойте, Петр Петрович. А эти... ребята... по-вашему...

Воргунов пожал плечами:

— Михаил Осипович! Портачей и без них довольно.

Соломон Давидович протянул возмущенные руки:

— Вы их еще не знаете! Они работают... как звери, работают!

— Ну, вот видите: как звери! Мне нужны не звери, а знающие люди.

Он надел на голову шапку, взял в руки чемодан:

— Так я воспользуюсь вашей машиной, Михаил Осипович. До свиданья. — И вышел.

Все смотрели ему вслед. Крейцер сказал с увлечением.

— Вы видите? Это же прелесть! Замечательный человек!

Но Соломон Давидович Блюм, кажется, не заметил этого восхищения:

— Как вам это нравится? Он зверей не любит. Вы видели что-нибудь подобное?

Захаров смеялся громко, как мальчик.

А в это время в спальне четвертой бригады большинство ребят уже спали. Только Зырянский читал в постели книгу да Володя и Ваня на соседних кроватях посматривали еще друг на друга. Ваня вдруг приподнялся на локте:

— Одна сотая миллиметра! Володька! Это не может быть, правда?

Володя ответил задумчиво:

— В жизни все бывает.

Зырянский повернул к ним лицо:

— Пацаны, спать!

Пацаны, балуясь, заснули.

24. Вспомним старину...

Воргунов увез с собой австрийскую сверлилку, но ее увлекательный образ остался в памяти.

По правде сказать, колонисты не умели разговаривать на подобные темы. Спорили о том, останется ли швейная мастерская или не останется, пригодятся ли для нового завода самарские токарные или не пригодятся, нужно ли разваливать стадион или не нужно. Несколько девочек обратились в совет бригадиров с просьбой перевести их в механический цех. В совете бригадиров горячо приветствовали это начинание, но в четвертой бригаде отнеслись к нему с завистливым недоверием. Петька Кравчук воинственно поводил своим чубиком и говорил:

— Ой, и хитрые же девчата! Конечно, потом скажут: вот девчата такая редкость, скажите, пожалуйста, работали на токарных станках, давайте их поставим на самые лучшие станки, а про нас скажут: эти еще маленькие, пускай себе шишки делают. Особенно если дыма не будет.

В четвертой бригаде с Петькой соглашались: казалось, что вторжение взрослых девочек в механический цех сильно может понизить токарные заслуги пацанов. Но это беспокоило только до тех пор, пока у токарных станков рядом с пацанами не стали девочки.

Перешли работать в механический цех и Ванда с Оксаной. На совете бригадиров Соломон Давидович заикнулся было, что в важной роли составителя опилочной смеси в сборочном цехе Ванда незаменима. Ванда заявила, что она хочет работать вместе с Оксаной. Подобный аргумент, высказанный всяким другим, вызвал бы только смех, но, так как речь шла об Оксане и Ванде, никто не смеялся, и, наоборот, именно этот аргумент решил дело.

Дружба Оксаны и Ванды была замечена всей колонией, и все молчаливо признали, что в этой дружбе есть что-то особенное. Толком никто не знал, в чем состоит это особенное, да и секреты их дружбы нигде не были оглашены. Подруг привыкли видеть всегда вместе: в столовой, в школе, а теперь и на производстве. И часы отдыха они посвящали друг другу. В парке, в театре, на площадке они всегда показывались рядом, создавая чрезвычайное неудобство для всех желающих оказать особое внимание одной из них. И Михаил Гонтарь, и Игорь Чернявин, каждый в отдельности и каждый про себя, весьма осуждали такую дружбу и оправдывали ее только в те моменты, когда замечали расстроенную физиономию соперника. Что было особенно возмутительно, так это то, что Ванда и Оксана на глазах у других почти никогда даже не разговаривали друг с другом. Было видно, что простая, молчаливая и немного серьезная близость совершенно их удовлетворяет, но было видно и другое: в другой, таинственной обстановке — может быть, в спальне, может быть, в глухом уголке парка — эти девочки находили о чем поговорить, и все вопросы у них разрешены,

и все для них ясно. Поэтому они могут с горделивым спокойствием в присутствии посторонних помалкивать. У Оксаны лицо было оживленнее и внимательнее к окружающему, чем у Ванды. Сохраняя свою дружескую преданность, она умела оглянуться по сторонам, посмотреть лукаво или внимательно, прислушаться к тому, что происходит рядом. Ванда, напротив, не интересовалась окружающим: в ее душе всегда проходила какая-то своя занятная жизнь, и только к ней она присматривалась, чуть-чуть напрягая брови.

Колония все больше и больше нравилась Ванде. Все понятнее становились в ее глазах люди, но приближаться к ним в простом и искреннем порыве она еще не привыкла. Все секреты колонии постепенно раскрылись перед ней. Одним из первых раскрылось, почему у девочек много подушек. Этот секрет оказался очень простым и даже веселым. Знали о нем почему-то только девочки, мальчики всегда склонны были становиться в тупик перед этим замечательным явлением и даже подозревать хозяйственную часть в несправедливости. Секрет заключался в следующем: один раз в шестидневку происходила перемена постельного белья, при этом мальчики, снимая наволочку, совершенно не обращали внимания на несколько пушинок, приставших к наволочке. Пушинки летали в комнате, падали на пол и выметались дежурным в коридор. Дежурные по коридорам должны были вымести дальше. Но им никогда не приходилось это делать. Рано утром, еще до первого сигнала, девочки собирали эти пушинки. Вот по этой причине подушки у девочек все полнели и полнели, и наступал момент, когда нарождалась новая подушка. У мальчиков, наоборот, подушки все худели и худели, и наступал момент, когда завхоз с недовольным видом констатировал это необъяснимое явление и приходил к заключению, что нужно снова покупать перо для набивки подушек. А так как мальчиков было гораздо больше, чем девочек, то этот процесс имел довольно бурный характер. Скоро и у Ванды образовался небольшой запас перьев и пушинок, который она бережно хранила в носовом платке в своей тумбочке. Это было обыкновенное житейское дело, и если можно было кого презирать, то исключительно мальчишеский народ, не способный справиться с таким пустяком, как подушка.

В тумбочке Ванды тоже начало кое-что заводиться. Как и все колонисты, она получала на заводе зарплату. Ее заработок в месяц к концу октября достигал ста двадцати рублей. Бóльшая часть этих денег оставалась в колонии на восстановление расходов на пищу, десять процентов передавалось в фонд совета бригадиров, который имел специальное назначение — помощь выпускаемым и бывшим колонистам. На руки приходилось получать рублей двадцать — двадцать пять — огромная сумма, которую трудно было истратить, пока у Ванды мало было желаний. Но с приходом Оксаны и для этих денег нашлись пути. Захотелось вдруг сладкого, потом привлекательными показались шелковые чулки, затем — так радостно было сделать Оксане подарок. И в тумбочке Ванды тоже появились отрезок батиста, коробочка с разной мелочью, а впереди замаячили ручные часики, такие, как были у Клавы Кашириной. Часики, впрочем, отодвигались все дальше и дальше, ибо находились расходы более неотложные и посильные, а в вестибюле все равно висели большие часы, по которым всегда можно было узнать время, если нет терпения ожидать трубного сигнала.

В конце октября, в выходной день, Ванда получила отпуск: Оксана в это время уже увлеклась биологическим кружком и все толковала о каком-то африканском циклозоне. В биологическом кружке работал и Игорь Чернявин. Собственно говоря, африканский циклозон[60] мало его интересовал, еще меньше занимали его морские свинки и многочисленные птичьи клетки, но в этом кружке почему-то симпатично и весело и было много оснований для остроумного слова и много простой «черной» работы, которую Игорь производил с особенной радостью, если его работу наблюдала Оксана. Во всяком случае, биологический кружок имел то преимущество, что никакого прямого отношения он не имел к устройству автомобиля и к правилам уличного движения, — появление Миши Гонтаря в этом кружке было абсолютно невозможно.

Оксана осталась работать в кружке, а Ванда одна отправилась в город. Пройдя по лесной просеке, она села в трамвай и доехала до главной улицы. На дворе стоял ясный октябрьский день. В форменном черном пальто, со значком на берете, Ванда гордо пошла по улице: люди посматривали на нее с уважением — эта красивая белокурая девушка была членом славной Первомайской колонии! Главная улица начиналась бульваром, на нем происходило неспешное праздничное движение. Ванда со строгой точностью обходила длинные ряды прогуливающихся, и ей было приятно видеть, как в этих рядах вспыхивали любопытно-завистливые взгляды, как молодые люди старались уступить ей дорогу. Иногда, обойдя ряд, она слушала произнесенное шепотом слово:

— А все-таки... молодцы эти первомайцы: и походка у них особенная.

Здесь, на праздничной улице, было даже приятнее, чем в колонии. Здесь ни одна душа ничего не знала о Ванде Стадницкой. Она несла на своих плечах, на белокурых вьющихся волосах всю чистоту и гордость своей молодости, всю чистоту и гордость своей колонии, и поэтому она легко и четко ставила черную туфельку на асфальт тротуара, было приятно ощущать, как свободно и ловко ступает сильная нога, как в таком же сильном покое дышит грудь, как уверенно смотрят глаза.

— Наше вам...

Это сказали сзади, как будто нагло, коварно и сильно ударили палкой по голове. Она ощутила, как что-то бесформенное и безобразно-отвратительное проснулось во всем ее теле.

Перед ней стоял колонист: такая же черная шинель, и значок в петлице, и даже выправка чем-то напоминает колонию, но эти немигающие зеленые глаза...

— Ты куда? — спросил Рыжиков.

Ванда с трудом проглотила воздух, застрявший в горле, на короткий срок проснулась в ней прежняя неукротимая злоба, глаза блеснули... но она вспомнила, что вокруг них движется улица, что она такая же колонистка, как он:

— Я? Купить кое-что... для себя и для Оксаны. А ты?

— А я так... погулять...

Он пошел рядом с ней, и вид у него сегодня, честное слово... приличный: шинель застегнута на все пуговицы, черная кепка сидит с уверенной строгостью.

— Теперь ты... в токарном работаешь?

— В токарном.
— Не бабское дело.
— А какое бабское?
— У вас свое дело... все равно... ничего не выйдет... — Он передернул губами, и колонист куда-то слетел с него, как будто Рыжиков мгновенно переоделся на ее глазах.

Ванда все-таки помнила, что она на улице, и поэтому сказала шепотом, не меняя ничего в лице:

— Уходи от меня... уходи!
— Да ты не сердись. Чего ты? Уже и пошутить нельзя. А знаешь что?
— Ну?
— Зайдем в ресторан.

Она ничего не ответила, ее ноги с разгону несли ее в одном направлении с ним.

Он сделал молча несколько шагов, потом опустил глаза и сказал тихо:

— Выпьем...

Она спросила с нескрываемой силой презрения:

— А... потом что?

Он засмеялся беззвучно, передернул плечами — старым блатным манером:

— А потом... А потом видно будет. Может, вспомним старину... А?

Они долго молчали, идя рядом. На перекрестке он показал глазами на вход в подвальный ресторан и прошептал просительно:

— Зайдем, вспомним старину...

Ванда оглянулась и, чуть-чуть склонившись к нему, прошептала с силой, глядя прямо в его глаза:

— Дурак! Заткнись со своей стариной. Идиот! Сволочь![61]

Он отскочил в сторону и изогнулся в привычно нахальной позе:

— Чего ты? Чего ты задаешься? А то смотри: узнают в колонии!

Кто-то неподалеку оглянулся на его крик. Ванда густо покраснела и быстро ушла в переулок; Рыжиков замер у входа в ресторан.

25. Ничего плохого

Рыжиков чувствовал себя в колонии, в общем, прекрасно. Большей частью был весел, разговорчив, всегда встревал в беседы бригадного актива о колонистских делах и высказывался довольно умно. В литейном цехе он завоевал одно из самых первых мест и в последнее время работал на формовке. Мастер Баньковский высоко ценил его способности и энергию. Небольшое столкновение было у Рыжикова с Нестеренко, который в самой категорической форме потребовал, чтобы Рыжиков не употреблял матерных выражений. Авторитета Нестеренко Рыжиков не признал и ответил ему:

— Много вас тут ходит... еще ты будешь меня учить.
— Хорошо. Поговоришь об этом с бригадиром.
— И поговорю; подумаешь, испугал!

Вечером Воленко, действительно, спросил у него:

— Рыжиков, Нестеренко рассказывал...

Рыжиков страдательно скривился:

— Воленко! Ничего там такого не было. Конечно, когда опок не хватает, конечно, зло берет, понимаешь, ну я и сказал...

— У нас этого нельзя, Рыжиков, я тебе несколько раз говорил.

— Я понимаю. Думаешь, я не понимаю? Привычка такая у меня, привык...

— Так отвыкай. Разве трудно отвыкнуть?

— А ты думаешь, легко? Если бы на свободном времени, а когда зло берет, с этими опоками: сколько раз говорил, углы испорчены, проволокой связаны, как же не того... не выругаться?

— Вот ты дай мне обещание, что будешь сдерживаться.

— Воленко, я тебе даю обещание, а иногда, понимаешь, зло такое берет.

Воленко нажимал на Рыжикова, но понимал, что тому трудно отвыкнуть от старых привычек. Вообще Рыжиков дисциплину держал хорошо, а самое главное — считался одним из передовых ударников литейного цеха. Он уже и зарабатывал: в последнюю получку у него чистых осталось на руках до пятидесяти рублей. Он показал эти деньги Воленко и спросил у него:

— Как ты думаешь, что купить на эти деньги?

— Зачем тебе покупать? У тебя все есть. А ты лучше положи их в сберкассу. Будешь выходить из колонии — пригодятся.

Только в школе у Рыжикова дела шли плохо. Он сидел в четвертой группе, на уроках спал, домашних заданий не выполнял и с учителем только потому не ссорился, что побаивался старосты, сурового, непреклонного Харитона Савченко.

Прибавилось у Рыжикова и приятелей. Правда, Руслан Горохов делал такой вид, что ему некогда погулять и поговорить о том, о сем, а кроме того, Руслан учился в шестом классе, к нему приходили другие шестиклассники делать уроки. Рыжиков готов был с подозрением отнестись к разным урокам, но не мог не признать, что шестой класс нечто весьма почетное и, может быть, там действительно нужно учить уроки. С Русланом Гороховым спешить было нечего, это был человек свой. Находились и другие. Левитин Севка, например, был даже удобнее для дружбы, чем Горохов, так как был моложе Рыжикова года на два и признавал его авторитет с некоторым даже любовным подобострастием. Левитин отличался грамотностью, очень много читал и любил рассказывать разные истории, вычитанные в книгах. Иногда он из города приносил какие-то особенные книги о приключениях, прятал их в тумбочке и показывал только Рыжикову. Главной отличительной особенностью Севки была его ненависть к колонии. Даже Рыжиков не мог понять, за что Севка так злобится на колонию, но любил выслушивать его жалобы и намеки. У Севки полное лицо и толстые губы, и, когда он говорит, лицо и губы становятся влажными, от этого его слова кажутся еще более злобными.

Севка презирал все колонистские порядки, дисциплину, форму колонистов, чистоту в колонии, работу на производстве. Он был уверен, что Блюм украл десятки тысяч рублей и теперь хочет украсть еще больше на

постройке завода. А Захаров старается потому, что хочет получить орден, и, конечно, получит, раз на него работает больше двухсот колонистов. Севка знал, какие учительницы с какими учителями «гуляют», и рассказывал самые жуткие подробности об этих делах. Один раз Рыжиков не утерпел и возразил Севке:

— А ты врешь... Этот... Захаров, чего там, просто воображает. А красть в колонии — не думай, что так легко. Бухгалтерия есть, и проверки бывают разные.

Но Левитин только рукой отмахнулся с презрением. Он побывал во многих детских домах, так в одном доме все открылось и заведующий под суд пошел. А в другом доме все крали. А его, Левитина, отец до сих пор в тюрьме сидит, кассиром был, и тоже все считали: вот честный человек, а потом как засыпался — тридцать тысяч тю-тю! Напрасно Рыжиков воображает, что дураков на свете много. Если можно украсть, так каждый украдет, а только стараются вид такой делать, что они честные.

Рыжиков не мог вполне согласиться с Севкой. Он лучше знал жизнь и лучше понимал людей. Конечно, украсть каждый может и каждому приятно ни за что, даром, заиметь деньги или барахло. А только разная шпана все равно так и жизнь проживет в бедности, а красть не пойдет, потому что боится. Они думают так: лучше черный хлеб есть, а не попасть в тюрьму. А крадут только самые смелые люди, которые ничего не боятся и которым на тюрьму наплевать. И Рыжиков как умел гордился своей исключительностью и бесстрашием. С легким презрением он думал, что и Левитин — шпана и украсть не способен, а только разговаривает. Тем не менее с ним поговорить было почему-то приятно.

Однажды Рыжиков и Севка остались в спальне вдвоем. Севка сказал по обыкновению обиженным голосом:

— Это справедливо? Ванда здесь живет два месяца, так ей уже станок дали. А я в столярной! Справедливо это?

Рыжиков ухмыльнулся:

— Мало что Ванда! Значит, умеет понравиться!

— А почему я не могу понравиться?

Рыжиков расхохотался:

— Ты, куда тебе? Ты знаешь, чем Ванда занималась до колонии?

— Ну?

Хоть и никого не было в спальне, кроме них, а Рыжиков наклонился к Севкиному уху и зашептал.

— Врешь!

— Честное слово! Я ж ее знаю!

— Вот так история! Ха!

Севка очень обрадовался секрету, но Рыжиков невыразительно и скучно пожал плечами:

— Только что ж тут такого? Тут ничего такого нет. Мало ли что...

— А смотри... прикинулась... Никто и не думает!

— Ничего плохого нет, — повторил Рыжиков.

26. Технология гнева

В начале ноября в колонии шла напряженная подготовка к празднику. А готовиться было и некогда, рабочие дни загружены были до отказа. Каждый дорожил минутой, и каждая минута имела значение. В один из вечеров Люба Ротштейн из одиннадцатой бригады нашла записку. Эта записка лежала в книге, которую Люба только что принесла из библиотеки. Люба быстро прочла записку и вскрикнула:

— Ой, девочки! Ой, какая гадость! Лида!

Лида Таликова взяла из ее рук листик бумаги. Написано было аккуратным курсивом:

«Надо спросить Ванду Стадницкую, чем она занималась до колонии и как зарабатывала деньги».

В это время в нижнем коридоре возвращался из библиотеки Семен Гайдовский. Название книги, которую он только что получил, было настолько завлекательно, что хотя он и наметил основательно книгу эту читать во время праздников, но уже сейчас он медленно бредет по коридору и рассматривает картинки. Из книги выпала бумажка, Гайдовский не заметил этого и побрел дальше. Записку поднял Олег Рогов и прочитал:

«Хлопцы! За дешевую цену можете поухаживать за Вандой Стадницкой, опытная барышня!»

— Где ты взял это?

— Чего?

— Записку эту?

— Я не знаю... какую записку?

— Обронил... ты обронил.

— Может, из книги?

— А книга откуда?

— Это я сейчас взял в библиотеке. А что там написано?

Рогов не ответил и бросился в комнату совета бригадиров.

— Смотри, что у нас делается!

Виктор Торский сидел за столом, и перед ним лежало несколько таких же записок.

— Я уже полчаса смотрю. Это четвертая записка.

Через некоторое время Торский поставил у дверей Володю Бегунка и засел с Зырянским и Марком Грингаузом. Зырянский, впрочем, недолго заседал. Он быстро пробежал все записки и сказал уверенно:

— Это Левитин писал.

Марк спросил:

— Ты хорошо знаешь?

— Это Левитин. Он со мной на одной парте. Его почерк. И помнишь, он на Марусю в уборной написал? Помнишь?

— Да как же он подложил?

— А как же? Очень просто: член библиотечного кружка.

Виктор ничего не сказал, послал Володю позвать Левитина. Севка пришел, скользнул взглядом по запискам, разложенным на столе, ловко не заметил внимательных суровых глаз Торского, спросил с умеренной почтительностью:

— Ты меня звал?

— Твоя работа? — Торский кивнул на стол.
— А что такое?
— Ты не видишь?
— А что такое?

Левитин наклонился над столом. Зырянский круто повернул его за плечо:

— Читать еще будешь?
— Вы говорите — моя работа, так я должен прочитать?
— Должен! Ты и писать должен, ты и читать должен? На одного много работы!
— Не писал я это.
— Не ты?
— Нет.

Зырянский горячо взглянул через стол, словно выстрелил в Левитина. Тот с трудом отвел глаза; было видно, как дрожали у него ресницы от напряжения. Зырянский прошептал что-то уничтожающее и резко обернулся к Виктору:

— Давай совет, Виктор!
— Сейчас будет и совет.

Прошло не больше трех минут, пока Витя побывал у Захарова. В течение этих трех минут никто ни слова не сказал в комнате совета бригадиров. Марк Грингауз отвернулся к окну, Зырянский опустил глаза, чтобы не давать своей ненависти простора. Левитин прямо стоял против стола, немного побледнел и смотрел в угол. Захаров вошел серьезный, молча пробежал одну записку за другой, последнюю оставил в руке и холодно-внимательно присмотрелся к Левитину.

— Хорошо, — сказал он очень тихо и ушел к себе. Левитин побледнел еще сильнее.

Витя крикнул к дверям:

— Бегунок!
— Есть!
— Сбор бригадиров!
— Есть!

В спальне пятой бригады Ванда Стадницкая рыдала, уткнувшись в подушку. Девочки собрались у стола и перешептывались растерянно. В спальню вбежала Клава Каширина. Ни лица ее, ни голоса нельзя было узнать:

— «Совет» играют! Я его удавлю! Своими руками! Если его не выгонят... Идем, Ванда!

Ванда подняла голову:

— Я не пойду!
— Что! Сдаваться Левитину? Как ты смеешь? А что твоя подшефная скажет?

Ванда села на кровати, быстро вытерла слезы, нахмурила брови:

— Оксана, ты скажи: идти разве?

Оксана вдруг улыбнулась, улыбнулась просто и весело, как улыбаются девушки, когда у них на душе хорошо:

— Пойдем. А почему не пойти! Посмотрим, какой там гадик. Пойдем.

Правая бровь Ванды удивленно изогнулась. Кто-то из девочек сказал:

— Умойся только. Пусть не воображает, что ты плакала.

В совете бригадиров было сегодня необычно. Во-первых, Торский безжалостно выставил всех пацанов и они большой кучей стояли в коридоре и по выражению выходящих и входящих старались понять, что такое происходит в совете. Володя Бегунок стоял у дверей и никого не впускал, кроме бригадиров. Только перед Вандой и Оксаной он отступил, и пацаны поняли, что Бегунок кое-что знает. Но когда дверь окончательно закрылась и они спросили Володю о причинах тревоги, Володя серьезно ответил:

— Нельзя говорить.

Через несколько минут выглянул Виктор и приказал:

— Бегунок, Рыжикова!

Володя поставил у дверей Ваню Гальченко, а сам побежал за Рыжиковым. Рыжиков прошел в дверь быстро, не глядя на пацанов.

В это время в совете гудело общее возмущение. Многие даже не могли сидеть на диване, а стояли у председательского стола тесной кучкой. Слова никто не брал, и Виктор не следил за порядком прений. Зырянский держал руку на собственном горле, он почти задыхался:

— Не могу! Видеть не могу! Ты еще запираешься! Какое это имеет значение? Выгоним, все равно выгоним! И признаешься — выгоним, и не признаешься — выгоним!

Левитин стоял не на середине, а в углу, и никто не требовал, чтобы он стал «смирно». Ноги у Левитина сделались слабыми, одной рукой он неудобно держался за спинку дивана. Смотрел вбок, в стену. Зырянский не находил слов, только в глазах мобилизовалась вся его ненавидящая душа.

Воленко спросил Левитина:

— А откуда ты знал? Кто тебе сказал?

Левитин пошевелил толстыми губами, но слов никаких не вышло. Тогда он широко открыл рот, зевнул, как рыба, выброшенная на берег, и с трудом, неясно произнес:

— Я ничего не знал, и я ничего... не писал.

Ванда сидела между девочками в противоположном углу. Она покраснела, сказала хрипло:

— Витя, дай слово!

Все обернулись к ней, подошли ближе. Она сделала несколько шагов вперед, не отрываясь взглядом от Левитина, и остановилась прямо против него, заложив руки за спину. Левитину было неудобно, он крепче оперся на диван, еще больше отвернулся к стене. Ванда сказала тихо, с трудом выбирая слова, с трудом преодолевая гнев:

— Ты! Слышишь? Моя жизнь... как ты написал! Ты написал... ну и что же? Все равно, пускай знают! Здесь товарищи! Пускай знают! А только в другом... дело. Кто меня довел до такой жизни?! Такие люди... понимаешь... такие, как ты! Такие, как ты... такие, как ты...

Последние слова Ванда произносила в забытье, уже оглядываясь по сторонам, с трудом подавляя рыдания. Потом она бросилась к дверям, но Нестеренко сильной рукой перехватил ее по дороге, и она, не разбирая, заплакала на его плече. Ее слезы никого не испугали и не удивили.

Нестеренко спокойно сказал Левитину:

— Слыхал, паскуда? Ванда замечательно сказала. Ты написал, а мы Ванду теперь еще больше уважаем. Она наша сестра, понимаешь ты, гад? А тебя мы выгоним. Будь покоен, выгоним и через полчаса забудем, как тебя звали.

Зырянский перебил его:

— Сейчас! После совета! Я сам тебя выведу на дорогу. Ты со мной еще глаз на глаз поговоришь!

Лида Таликова стояла рядом с Зырянским, говорила задумчиво, как будто для себя:

— Никогда так не голосовала, а сейчас буду голосовать: выгнать! Ты в нашу жизнь... Тебя нужно раздавить... башмаком.

Зырянский не мог больше выносить прений. Он подошел вплотную к Левитину:

— Довольно! Противно! Ты не писал? Скажи еще раз!

Левитин молчал. И молчали все бригадиры. Хорошенький Илья Руднев беспомощно оглянулся на Захарова — нужно было что-то делать. Но неожиданно раздался голос Рыжикова:

— Я скажу... Торский...

— Да, да, я для того тебя и позвал.

— Я скажу: конечно, Левитина нужно выгнать. Конечно: сидит и пишет. Ему нужно чужую жизнь заедать!

Левитин с силой повернулся в углу:

— Да ты же мне и сказал!

— Ага! — крикнул кто-то один, но все лица поддержали этот возглас.

Рыжикова он не смутил, Рыжиков знал жизнь и умел разговаривать с людьми. Только выражение лица Игоря Чернявина немного смущало его, но Игорь Чернявин потом. Рыжиков даже добродетельно улыбнулся.

— Я тебе сказал как товарищу. И я тебе сказал, что тут ничего плохого нет. Говорил?

— Да... ты это говорил.

— Я тебе как товарищу... А ты... нагадить тебе нужно! Я тебе сам говорил, ничего плохого нет! Два раза говорил...

Рыжиков разошелся. Рыжиков благородно вскрывал событие. Но откуда-то вдруг появилось против его лица перекошенное лицо Игоря:

— Брось! Помнишь, я тебе сказал: утоплю. Забыл? Забыл?

Рыжиков отступил, испуганный. Чернявин шел на него. Кто-то взял Игоря за локоть, но он нетерпеливо сбросил чужую руку:

— Здесь совет, тебя не судят! А только я тебе этого не прощу! Никогда! Я тебя, все равно... ты свое получишь. — Игорь в знак еще большего подтверждения кивнул головой и вышел из комнаты. Рыжиков посмотрел на всех, но все смотрели на него отчужденно. Он сел на диван.

Торский сказал:

— Тебе здесь нечего рассиживаться, убирайся!

Рыжиков спешно прошел к двери, Ванда брезгливо посторонилась. Когда дверь закрылась за ним, Нестеренко протянул:

— Да-а! Все понятно!

Торский поставил вопрос:

— Так что будем делать с этим... с Левитиным?

Зырянский бросил на Левитина небрежный взгляд, махнул рукой:

— Да ну его к черту! Стоит о нем говорить! Я предлагаю наказание: оставить без обеда завтра. Он и то будет плакать и клянчить: дайте пообедать!

В совете рассмеялись. Захаров сказал серьезно:

— Нельзя так издеваться над человеком! Я решительно протестую. Выгнать — это другое дело! А что вы в самом деле: оставить без обеда. У Левитина есть тоже свое достоинство. Иногда наказать человека значит выразить уважение к нему.

Сумрачный бригадир третьей Брацан не понял Захарова:

— Не бойтесь, Алексей Степанович! Никто его без обеда не оставит. Ты не волнуйся, Левитин: будешь обедать. И выгонять его не следует, пускай живет, и кормить его, конечно, нужно. А только я об одном прошу: Левитин, сделай для меня одолжение: когда будем идти на демонстрацию седьмого ноября, не становись с нами в строй, посиди дома. И для тебя спокойнее, и нам будет как-то... приятнее. Потому... мы идем под знаменем, а тебе... какое тебе дело до нашего знамени?

Поршнев сказал, как всегда, добродушно и тепло:

— Я дежурю седьмого. Куда-нибудь... я его... пристрою. Дежурным по кухне, хочешь, Левитин?

Это был последний удар презрения, который свалил Левитина на диван. Он забился в мягкий его угол и заплакал негромко, заплакал для себя, не обращая внимания на то, что происходит в совете. На его склоненную фигуру посмотрели с секунду, и Виктор Торский объявил:

— Все! Можно расходиться. Объявляю заседание совета бригадиров закрытым.

Все двинулись к дверям, но Левитин вскочил с дивана и, обливаясь слезами, заорал:

— Товарищи! Накажите как-нибудь. Товарищи, нельзя же так! Товарищи! Алексей Степанович! Накажите как-нибудь!

Никто на него не посмотрел. Только пацаны из коридора вторглись в комнату и, удивленные, окружили Левитина. Он снова упал на диван и зарыдал отчаянно громко, приговаривая что-то.

Захаров прикрикнул на пацанов:

— Марш отсюда! До чего народ любопытный!

Они исчезли мгновенно. Захаров положил руку на плечо Левитина:

— Идем! Не нужно так убиваться! Иди сюда, я тебе назначу наказание.

Левитин перестал рыдать и, всхлипывая, побрел за Захаровым в кабинет.

27. Кто что любит

На второй день праздника Захаров в тишине работал в кабинете. Пришли в кабинет Володя Бегунок и Ваня Гальченко и сели тихонько на диване. Захаров посмотрел на них, ничего не сказал, что-то подсчитывал на большом листе.

Володя наклонился к уху приятеля:

— Все равно не скажешь...

— Нет, скажу.

— Слабо́ тебе сказать.

— Нет, не слабо́.

— А чего ж ты сидишь и не говоришь?

— А я еще скажу.

— Посидишь и уйдешь.

Ваня быстро поднялся, подошел к столу Захарова. Захаров не обратил на него внимания. Ваня подошел ближе, коснулся стола животом и положил руки на его край. Потом вкось посмотрел на Володю, покраснел. Захаров, не прекращая работы, спросил:

— Ну?

— Алексей Степанович! Тот... сегодня ж восьмое ноября?

— Восьмое.

— А новых опок еще не сделали.

Захаров улыбнулся, посмотрел на Ваню:

— Не сделали.

— Значит, Алеша правду говорил?

— Выходит, так...

Ваня что-то еще хотел сказать, но... не выдержал, бросился к двери. Володя снялся с якоря на диване, в дверях Ваня обернулся:

— Значит, Соломон Давидович не сдержал слова?

Захаров покачал головой. Мальчики захлопнули дверь.

Авторитетное подтверждение Захарова было необходимо ввиду крайне противоречивых толкований, распространенных в четвертой бригаде. Находились такие, вроде Кирюшки Новака, которые утверждали, что вопрос о слове, данном Соломоном Давидовичем в свое время, снят с очереди. Этому оппортунистическому течению в четвертой бригаде способствовало то обстоятельство, что на производстве почему-то стало очень мирно. Станки по-прежнему хрипели и останавливались, пасы и шкивы по-прежнему выходили из строя по нескольку раз в день, но колонисты заявляли об этом Соломону Давидовичу вежливо, терпеливо выслушивая его обещания. Нужно, впрочем, сказать, что Соломон Давидович теперь не столько обещал, сколько разводил руками и говорил нежно:

— Вы же понимаете, дорогие товарищи!

Намечались и другие линии примирения между колонистами и Соломоном Давидовичем. В конце декабря предстоял годовой праздник — день открытия колонии. Теперь, после годовщины Октября, началась развернутая подготовка к этому празднику. Петр Васильевич Маленький напомнил как-то на общем собрании, что по старой колонистской традиции все к этому празднику должно быть сделано руками колонистов. Выходило так, что без Соломона Давидовича обойтись будет трудно. Работала уже праздничная комиссия, составленная из представителей всех бригад. От восьмой бригады в эту комиссию вошел Игорь Чернявин, от четвертой бригады — Ваня Гальченко, от пятой — Оксана. Ваня в это время играл уже в оркестре, правда, только во втором, учебном составе. Ему был поручен второй корнет. Но не было никаких надежд, что к празднику он успеет пройти всю учебную программу второго корнета. Поэтому Ваня значительную часть души мог отдать подготовке к празднику.

На первом же заседании комиссии выяснилось, что без помощи Соломона Давидовича вечер самодеятельности устроить будет трудно. И комиссия постановила: выделить для переговоров наиболее искушенных в дипломатии товарищей. Таковыми оказались, по общему признанию, Игорь Чернявин и Шура Мятникова, которая даже в библиотеке умела каждому выбрать книгу по вкусу.

У Соломона Давидовича Игорь начал:

— У нас будет вечер самодеятельности...

Соломон Давидович перебил его:

— Вам нужно сделать декорации? Я уже согласен. Так, чтобы не испортить доски, пожалуйста! А когда будет вечер?

— Через полтора месяца.

— Это очень хорошее дело. Очень хорошее начинание. Я сам с удовольствием принял бы участие.

— Соломон Давидович! Давайте! Давайте, и все!

— Я и декламировать могу. И танцевать. Давайте я вам такой гопак станцую, пальчики оближете, хэ-хэ! Я вам покажу молодость, черт возьми!

— С Оксаной?

— А что же вы думаете: если Оксана, так я испугался?

— По рукам!

— По рукам!

Соломон Давидович рассмеялся весело, а Игорь побежал порадовать комиссию. Маленький очень одобрил результаты его посольства:

— Во-первых, это будет оригинально: Соломон Давидович тоже участвует, а во-вторых — мы получим и доски, и фанеру, и бязь, и бумагу, и лампочки, и всякие сценические эффекты.

Еще через неделю Игорь предложил в комиссии более подробный план участия Соломона Давидовича. Его проект был встречен взрывами хохота. Маленький с горящими глазами слушал подробности:

— Шикарно! Только... догадается.

— Ни за что на свете!

Ваня сказал:

— Убиться можно!

Оксана была смущена смелостью проекта:

— Игорь, не нужно так делать.

— Оксана! Это будет замечательно. Замечательно! И Соломон Давидович доволен будет. Очень будет доволен.

Маленький подтвердил:

— Будет доволен! Эт-то... шикарно!

Когда Игорь отправился к Соломону Давидовичу, Ваня увязался с ним, только Игорь предупредил его:

— Глаза! Глаза у тебя — прямо невозможно! Спрячь глаза.

Ваня спрятал глаза, как умел, т. е. в разговоре с Соломоном Давидовичем прикрывал их рукой. Другого способа спрятать глаза Ваня еще не знал.

Предложению Игоря Соломон Давидович обрадовался:

— Монолог Бориса Годунова?

— Пушкина!

— Нет, вы говорите ясно: Бориса Годунова или Пушкина? Нельзя же смешивать!

— «Борис Годунов» — сочинение Пушкина.

— Так и нужно говорить во избежание недоразумений. Так это я должен объявить: «Борис Годунов» — сочинение Пушкина?

— Нет, вы не беспокойтесь, это конферансье объявит.

— Тем лучше. Борис Годунов — это такой полководец?

— Царь.

— Допустим, не царь, а бывший царь. Я что-то такое помню. Его кто-то зарезал такой.

— Нет, это он зарезал... царевича Димитрия.

— Ну, я же знаю. Какие-то у него были там неприятности... Хорошо, я прочитаю.

— И гопак.

— С Оксаной?

— С Оксаной.

— Только... нужно ходить на репетицию. Разве у меня есть время ходить?

— Не нужно, Соломон Давидович, на репетиции. Мы хотим, чтобы это было для всех сюрпризом, понимаете, для всех... Мы так... потихоньку... прорепетируем.

— Будьте покойны!

— Так вот мы вам принесли.

— Что это такое?

— А это слова!

— Ага, слова! Так чистенько написано. Кто это такой так хорошо пишет?

— А это Ваня Гальченко.

— Это ты так хорошо написал? А почему ты все улыбаешься? У тебя такой веселый характер?

— У него всегда такой характер, Соломон Давидович, — сказал Игорь и ущипнул Ваню за ногу. — Ваня несколько изменил характер.

— Будьте покойны, — сказал Соломон Давидович на прощание. — Я не подведу. А то вы думаете: Соломон Давидович — это давай сырье, давай станки, давай опоки, давай ремонт, все давай, давай! Вот вы увидите.

Подготовка к празднику пошла полным ходом. Но полным ходом пошли и другие дела. В один из выходных дней состоялась закладка нового завода. На краю площадки, против цветников, уже несколько дней копали котлованы. Колхозные подводы свозили кирпич и складывали его аккуратными стопками. На закладку приехал Крейцер, а с ним еще много людей, между ними был и толстый инженер Воргунов. Крейцер всем показывал колонию, только Воргунов ничего не захотел смотреть, сидел в кабинете Захарова и говорил:

— Закладка — это еще не дело. Это марафет. Наши вообще не могут без марафета. — Кто это «наши», Петр Петрович?

— Наши — русские!

— Вы не любите русских?

— Я люблю борщ с чесноком, а с русскими я предпочел бы работать как следует.

— Вот и хорошо: поработаем вместе.

— Посмотрим. Только... товарищ Захаров, неужели и вы серьезно думаете, что ваши... мальчики способны будут справиться с таким заводом?

— Совершенно серьезно.

— Так... Ну хорошо, пока нужно торжествовать...

Колонисты в парадных костюмах выстроились на площадке и вынесли знамя с обычным торжеством. Воргунов стоял возле котлована и ухмылялся. Крейцер спросил у него:

— Понравилось все-таки?

— Да, понравилось. Это их дело, хорошо! Музыка, стройно, красиво. А только при чем здесь завод электроинструмента? Нельзя смешивать!

— Смешаем, Петр Петрович. Музыку с заводом, и вас еще прибавим полную порцию!

Воргунов снова надул губы:

— Нет, уж увольте: я стар для таких забав, Михаил Осипович!

На дне котлована, на кирпичном ложе, уложили большую грамоту, в которой было написано, когда и кем закладывается новый завод. Укладывали эту грамоту, придавили ее кирпичом и закрыли известкой два человека: самый старый и самый молодой представители Советской власти в колонии: Крейцер и Ваня Гальченко.

В этот день Ваня Гальченко был дневальным от десяти до двенадцати вечера. Он стал на пост в момент сигнала «спать». Еще через полчаса затихло движение на лестнице. Ваня потушил свет в коридорах, крепче стянул пояс на шинели и заходил по вестибюлю, переставляя винтовку, широким шагом. В половине двенадцатого Захаров окончил работу. Проходя мимо Вани, он спросил:

— Спать не очень хочешь?

— Хоть до утра стоять, — ответил Ваня.

— Ну молодец! Спокойной ночи! Ты кому сдаешь дневальство?

— Володе Бегунку.

— А сигналы кто завтра?

— Сигналы Петька будет.

— Хорошо...

Захаров ушел. Когда до смены оставалось десять минут, тихо открылась дверь и рыжая голова просунулась в щель, зеленые глаза смотрели на Ваню подозрительно.

— А я... из города. Погулял... немного.

Зацепив за дверь, Рыжиков пролез в вестибюль, пошатнулся перед Ваней, бессильно взмахнул рукой:

— Отметь... пожалуйста... в рапорте. Отметь! Все равно, так и отметь: Рыжиков опоздал на три часа. Опоздал, ну так что же!

Он полез по лестнице, именно полез, потому что часто спотыкался и хватался рукой за ступени. Ваня испуганно смотрел ему вслед.

Когда прибежал сверху Володя в шинели, туго стянутой в талии, Ваня зашептал страстно:

— Рыжиков... пьяный пришел, понимаешь!

— Рыжиков! Да ну!

— Пьяный, совсем пьяный, так шатается и падает все.

— Попадет! Его все равно выгонят...

— А если он скажет: кто видел?
— Ты завтра должен сдать рапорт дежурному бригадиру.
— А если он скажет: вранье!
— Против рапорта не поспорит!

28. Плакат-план

В конце ноября выпал снег. Малыши долго отмечали это событие радостными кликами и воздеваниями рук. В парке перебрасывались снежками и строили крепость, но потом оказалось, что строительного материала для крепости еще очень мало: это был первый слабенький снежок, он мало подходил для постройки крепости. Поэтому малыши перенесли свое внимание на пруд: он должен замерзнуть, и тогда в колонии будет каток. Миша Гонтарь в эту эпоху приобрел большое значение для пацанов: он прекрасно делал пластинки для коньков. Другие слесари тоже умели делать такие пластинки, но они были завалены заказами из других бригад, а Миша Гонтарь в качестве старосты пятого класса специализировался на пацанах из четвертой бригады. Коньки были выданы по три пары на бригаду, но четвертой бригаде повезло: все маленькие номера перешли к ней, другие бригады все были большеногие. Кроме этих общественных коньков были еще и собственные у отдельных старожилов, а у Фильки даже две пары. Алеша Зырянский предложил все коньки обратить в бригадные, указывал на то обстоятельство, что ноги у пацанов растут быстро и прошлогодние коньки все равно не подходят. Таким образом, в четвертой бригаде оказалось около десятка пар коньков — такое количество с избытком покрывало потребность. Но, к сожалению, пруд не замерзал. Берега пруда покрыты снегом, а поверхность пруда дышит свободной водой и по-летнему отражает в себе облака. Знатоки уверяли, что раньше льда должно появиться «масло», но сколько пацаны ни смотрели, «масла» никакого не появлялось.

День в колонии сделался «вечерним»: вставали, завтракали, начинали работу при электричестве, только обедали при солнце, а потом снова зажигались фонари и лампочки. Утром стало труднее просыпаться, появились охотники спать до «без пяти минут поверка». Особенно страдали старшие, которым до завтрака нужно было еще и побриться. Гладко выбритые и пахнущие одеколоном, они приходили в столовую с виноватым видом и старались не смотреть в глаза дежурному бригадиру. Все это были ветераны колонии, и дежурные бригадиры ограничивались нахмуренными бровями. Конечно, в дежурство Алеши Зырянского приходилось бриться до поверки, но Алеша дежурил два раза в месяц, и казалось, что при таких условиях жить вообще можно. Конец такой сносной жизни наступил неожиданно, в дежурство Илюши Руднева. Не теряя своего постоянно милого, расположенно-внимательного выражения, Руднев во время поверки произвел демонстративную атаку: приказал ДЧСК отметить в рапорте всех небритых. Это мероприятие, исключительное по своей новизне, произвело очень сильное впечатление, и, как только окончилась поверка, очень многие забегали по коридорам с мыльницами в руках. Игорь Чернявин с того дня, как получил звание колониста, также считал для себя обязательным

уничтожение бороды и усов. Очень возможно, что с этим делом можно было и подождать, но, во-первых, бритва — это солидно; во-вторых, в детской колонии как-то неудобно показывать щетину; в-третьих, щетина у Игоря была рыжеватая, а после первого бритья она приобрела совершенно несимпатичный вид. Напуганный действиями Руднева, Игорь тоже захватил бритву, полотенце и мыльницу и полетел в умывальную. Внизу играли сигнал на завтрак. В литере Б, в умывальных и в спальнях раздавался бритвенный скрип и обильно текла молодая кровь — результат неопытности и быстроты темпов. Руднев — самый молодой бригадир, и опоздать на завтрак в его дежурство, хотя бы и на пятнадцать минут, до сих пор не считалось предприятием невыполнимым. Но сегодня он показал крепкие зубы на поверке, трудно было предсказать, какие зубы он покажет во время завтрака. Успокаивало одно: не решится этот пацан оставить без завтрака около трех десятков стариков. Действительность оказалась и печальнее, и хитрее. Руднев, правда, не решился на прямое нападение, но о чем-то быстро переговорил в кабинете Захарова. Во всяком случае, Захарову пришло в голову изучить плакат-план первого квартала, висящий в вестибюле, при самом входе в столовую. Изучение этого плаката Захаров начал ровно через пять минут после сигнала на завтрак. Он стоял перед плакатом, заложив руки за спину, и внимательно читал его цифры, которые даже пацаны четвертой бригады давно знали на память. Минут через десять по ступеням лестницы зашумели быстрые шаги ветеранов колонии, успевших к этому моменту уничтожить не только щетину, но и следы крови на лицах. Ни одной секунды замешательства или растерянности они себе не позволили. Ловкие ноги направили их не в столовую, а в выходную дверь, ловкие руки подскочили в салюте:

— Здравствуйте, Алексей Степанович!

— Здравствуйте, Алексей Степанович!

— Здравствуйте, Алексей Степанович!

Захаров поневоле должен был отвернуться от плаката, чтобы отвечать на приветствия. Игорь Чернявин с верхней площадки еще видел, как поток колонистов уносился в выходную дверь, но, когда он сам поравнялся с Захаровым, сказал слово приветствия, ни один мускул не потянул его к столовой: было совершенно очевидно, что путь имеется только на выход и дальше — в цех. Во дворе он влетел в веселую толпу товарищей, которым теперь оставалось единственное наслаждение: встречать последних опаздывающих, наблюдать сложную игру на их лицах и хохотать вместе с ними. Потом вышел на крыльцо Захаров и сказал:

— Хороший будет день... теплый... Где это ты обрезался, Михаил?

Миша Гонтарь стрельнул глазами на толпу колонистов и ответил с достоинством:

— Бриться приходится, Алексей Степанович.

— А ты безопасную заведи. И удобнее, и скорее.

На крыльцо выходили и закончившие завтрак. Вышел и Нестеренко, Захарова не заметил:

— Мишка, а почему ты не... Здравствуйте, Алексей Степанович. А почему ты не... не того... не подождал меня?

Миша Гонтарь не умел так быстро отвечать на некоторые вопросы. Захаров поправил пенсне и ушел в здание.

Игорь Чернявин тоже стоял в толпе колонистов и сочувствовал Нестеренко, который чуть-чуть не влип со своим вопросом. Но Нестеренко уже освоился с положением:

— Вот какое дело!! Постойте, и я буду дежурить, я тоже... придумаю вам, панычи.

А когда на крыльцо вышел дежурный бригадир Илья Руднев, у него было такое выражение, как будто он в этом деле никакого участия не принимал. Удивленным голосом он спрашивал:

— Не завтракали? А почему?

В следующие дни даже самые почтенные «старики» спешили на завтрак вместе с пацанами и, проходя мимо плаката-плана, поневоле оглядывались на его цифры. Цифры были такие:

План первого квартала:

Металлисты:

Масленки	235 000 штук
	235 000 рублей

Деревообделочники:

Столы аудиторные	1400 штук
Столы чертежные	1250 "
Стулья	1450 "
Табуретки чертежные	1450 "
	180 000 рублей

Швейный цех:

Трусики	25 000 штук
Шаровары	8 870 "
Юнгштурмы	3 350 "
Ковбойки	4 700 "
	70 000 рублей
	Всего 485 000 рублей

План был очень трудный, и колонисты восторгались:

— Вот это план так план!

Старики одни знали, что восторгаться можно только до первого января, а потом придется плохо. Но четвертая бригада была уверена, что и после первого января будет интересно. В комсомольской ячейке заседали по вечерам и приставали к Соломону Давидовичу с разными вопросами. Но теперь Соломон Давидович не «парился», а старался подробнее рассказать, как обеспечено выполнение плана. Это была эпоха мирных отношений. Недавно на общем собрании Соломон Давидович сказал:

— Ваше желание, товарищи первомайцы, выполнено: сегодня сданы новые опоки.

Одинокий голос спросил:

— А какое сегодня число?

И другие голоса охотно ответили:

— Третье декабря.

— Какое это имеет значение? — сказал Соломон Давидович. — Важно, что у вас есть опоки, а всякие формальности не имеют значения.

Колонисты смеялись и шумно аплодировали Соломону Давидовичу. Многие хохотали, спрятавшись за спины товарищей. Глаза четвертой бригады тревожно устремились на Алешу Зырянского: может быть, он что-нибудь скажет на тему о справедливости и святости данного слова? Но Алеша Зырянский тоже аплодировал и смеялся. Соломон Давидович был растроган аплодисментами. Он высоко поднял руку и произнес звонко:

— Видите: что можно сделать для производства, я всегда сделаю.

Эти слова вызвали новый взрыв оваций и уже совершенно откровенный общий хохот. Смеялся и Захаров, смеялся и сам Соломон Давидович. Даже Рыжиков смеялся и аплодировал. Рыжиков был доволен, что все так мирно кончается, а кроме того, он был формовщик, и опоки для него имели большое значение. Правда, в прошлом месяце было много неприятностей у Рыжикова — после случая с Левитиным даже Руслан Горохов однажды зарычал на него с глазу на глаз:

— Ты от меня отстань, слышишь? Отстань! Я и без тебя проживу.

А потом пришлось похлопать глазами на совете бригадиров после рапорта дневального Вани Гальченко. Но и это прошло. Было неприятно, что бригадиры как-то неохотно высказывались о Рыжикове, и Зырянский выразил, вероятно, общую мысль:

— Темный человек и плохой — Рыжиков. Однако подождем. И не из такого дерьма людей делали. У нас впереди завод, триста тысяч, у нас впереди большая жизнь, а он в городе водку пьет и пьяный приходит в колонию. Какой это человек? Только и того, что говорить умеет! Так и попугая можно выучить. Только попугай водки пить не будет. Посмотрим. Но... Рыжиков, имей в виду: настанет момент — костей не соберешь!

Рыжиков вертелся на середине, прикладывая руки к груди, обещал и каялся, старался делать серьезное и убедительное лицо. И Воленко снова выступил в его защиту:

— Надо все-таки понимать: Рыжиков привык к такой жизни, сразу отвыкнуть не может. Надо подождать, товарищи. Наказывать его нет смысла, он еще ничего в наказании не понимает. А вот вы увидите, вот увидите!

В общем, совет бригадиров ничего не постановил, а так и отпустили Рыжикова со словами: «Посмотрим».

Рыжиков после этого ходил скучным шагом, ни с кем не заговаривал, но в литейном работал «как зверь». Соломон Давидович очень хвалил Рыжикова:

— Если бы все работали так, как Рыжиков, у нас было бы не триста тысяч накоплений, а по меньшей мере полмиллиона. Золотые руки!

29. Борис Годунов

Праздник прошел великолепно. Было много гостей, был устроен великолепный ужин, в колонии было тепло, приветливо и счастливо. До трамвай-

ной остановки, через всю просеку, прошла линия костров, которыми заведовал Данила Горовой. Между кострами гости проезжали на машинах и проходили пешком. В дверях их встречали дежурные, вручали билет в театр и приглашение к столу от имени какой-либо бригады.

Колонисты показывали гостям свои спальни, клубы, классы, показывали и объясняли плакат-план первого квартала, но цехов не показывали. А гвоздем вечера был сложный и веселый дивертисмент. Выступали и певцы, и чтецы, и акробаты. Малыши показали свою постановку, которая называлась: «Путешествие первомайцев по Европе».

В этой постановке участвовал и Ваня Гальченко, но главная роль принадлежала Фильке Шарию. Филька изображал Макдональда[62]. Это было чрезвычайно интересное представление. И гости и колонисты много аплодировали, когда малыши выстроились один за другим гуськом, свет на сцене потух, а в руках у актеров зажглись электрические фонарики. Оркестр заиграл «Поезд». Под звуки этой музыки малыши-первомайцы уехали в свое путешествие. Они в пути имели любопытные встречи с Пилсудским[63], с Муссолини, с Макдональдом и другими «деятелями». Каждый хвастал перед ними своими делами, но первомайцев обмануть трудно: они прекрасно умели рассмотреть, что делается в Западной Европе.

Большое впечатление произвело выступление Соломона Давидовича. Он вышел на сцену в новом коричневом костюме. Конферансье Санчо Зорин объявил:

— Соломон Давидович прочитает отрывок из «Бориса Годунова» Пушкина, под редакцией Игоря Чернявина.

Крейцер, сидящий в первом ряду, наклонился к уху Захарова:

— Как это Пушкин под редакцией Чернявина?

— Каверза, конечно.

Соломон Давидович нахмурил брови и произнес выразительно:

Достиг я высшей власти,
Шестой уж месяц царствую спокойно.

Крейцер произнес сквозь зубы:

— Подлецы!

Соломон Давидович читал:

Мне счастья нет. Я думал свой народ
В цехах на производстве успокоить...

Многие колонисты встали. На их лицах еще молчаливый, но нескрываемый восторг. Сидевшая рядом с Захаровым учительница Надежда Васильевна улыбалась мечтательно. Захаров опустил веки и внимательно слушал. У Крейцера блестели глаза, он даже шею вытянул, наблюдая, что происходит на сцене. Соломон Давидович с большой трагической экспрессией очень громко читал:

Я им навез станков, я им сыскал работу.
Они ж меня, беснуясь, проклинали!

Колонисты не выдержали: редко кто остался на месте, они приветствовали чтеца оглушительными аплодисментами, их лица выражали настоящий эстетический пафос.

Соломон Давидович не мог не улыбнуться, и его улыбка еще усилила восхищение слушателей. С нарастающим чувством он продолжал, и зал затих в предвидении новых эстетических наслаждений:

Кто ни умрет, я всех убийца тайный:
Ускорил я трансмиссии кончину,
Я отравил литейщиков смиренных!

Трудно стало что-нибудь разобрать в наступившей овации: громкий смех потонул в бешеных аплодисментах, что-то кричали колонисты. Крейцер хохотал больше всех, но сказал Захарову:

— Надо этих редакторов взгреть все-таки! Разве так можно?

Соломон Давидович, сияя покрасневшим лицом, радостной лысиной и новым костюмом, протянул руку к залу:

— Дайте же кончить!

Колонисты закусили губы. Соломон Давидович сделал шаг вперед, положил руку на сердце, закатил глаза:

И все тошнит, и голова кружится,
И мальчики нахальные в глазах.
И рад бежать, да некуда. Ужасно!
Да, жалок тот, у кого денег нет!

Он кончил и скромно опустил глаза. Но такую сдержанную, хотя и актерскую, позу недолго можно было выдержать. В ответ на буйный восторг публики Соломон Давидович тоже расцвел улыбкой, потом гордо выпрямился, поднял вверх палец и только после этого начал кланяться, ибо публика все продолжала кричать и аплодировать. Наконец закрылся занавес.

В антракте Соломон Давидович пробрался к первому ряду, гордо отвечал на приветствия колонистов, улыбаясь снисходительно, пожал руку Крейцеру:

— Ну как? Какие овации!

— Слушайте, Соломон Давидович! Вас надули эти подлецы!

— Как надули!

— Они вам подсунули другие слова.

— Другие слова! Не может быть. Вот же у меня слова.

— Ай, ай, ай! Вот... прохвосты! Смотрите, этот самый Борис Годунов говорит исключительно о производственных делах колонии им. Первого мая.

— В самом деле?

— А как же: «Я им навез станков, я отравил литейщиков». Это не Борис Годунов, это вы, Соломон Давидович! И нахальные мальчики...

— А Пушкин, значит, не так написал?

— Я думаю: у Пушкина мальчики кровавые, а здесь нахальные.

— А вы знаете: они-таки, действительно, нахальные! А как у Пушкина про литейщиков?

— Про ваших литейщиков? Какое ему дело? Он же умер сто лет назад.

Соломон Давидович искренне возмутился:

— Ах, какое нахальство! Я сейчас пойду! Я им скажу!

Соломон Давидович бросился за кулисы. Кое-кто попытался убежать от него, но он поймал Игоря Чернявина, главного редактора.

— Как же вам не стыдно, товарищ Чернявин?

— А что такое?

— Пушкин совсем не так написал.

— Мало ли чего? А вы знаете, что Мейерхольд[64] делает?

— Какой Мейерхольд?

— Московский.

— У него тоже производство?

— И еще какое! У нас хоть немного похоже на Пушкина, а у него так совсем не похоже. Такая мода!

— Мода, конечно, это неплохо, но причем здесь литейщики?

— А как же! Вы думаете, при Борисе Годунове литейщиков не было? А кто ружья делал, как вы думаете?

— Они ружья могли делать, но, может быть, у них такого дыма не было?

— Какой там не было! Разве они знали, что такое вентиляция?

— Они могли и не знать.

— Хорошо получилось, Соломон Давидович! Вы смотрите, как всем понравилось. Скоро вам танцевать.

— Я боюсь теперь танцевать. Написано гопак, а может, это тоже, как Мейерхольд.

— Честное слово, гопак!

Соломон Давидович рассмеялся, взмахнул кулаком:

— А, черт его дери! Давайте гопак.

Соломон Давидович возвратился к Крейцеру и успокоил его:

— Я их поругал, но они говорят: теперь все так делают. Мейерхольд какой-то из Москвы, так он тоже так делает. Такая мода как будто.

Крейцер обнял Соломона Давидовича, усадил рядом с собой:

— Верно! А в общем хорошо!

Через четверть часа Соломон Давидович в украинском казачьем костюме, в широченных штанах и в сивой шапке по-настоящему «садил» гопака на сцене. Легкая, тоненькая Оксана еле успевала удирать от его подкованных сапог. Теперь колонисты аплодировали без всякой каверзы: не могло быть сомнений, что Соломон Давидович классный танцор. В его стариковской удали, в размашистой, смелой присядке было много вполне уместного юмора и любви к жизни. Колька-доктор после танца прыгнул на сцену и сказал громко:

— Видели? Пусть теперь ко мне не ходит с сердцем!

Соломон Давидович засмеялся грустно:

— Он не хочет понимать разницу: запорожцы эти самые умели танцевать гопак до самой смерти, и у них ничего не делалось с сердцем. А вы назначьте их заведовать производством, и вы увидите, сколько у вас прибавится пациентов!

30. Кража

Через день после праздника Игорь Чернявин утром сбежал вниз в раздевалку, чтобы взять свое пальто. Колышек № 205 встретил его неожиданной пустотой: пальто не было. Рядом натягивал свое пальто Миша Гонтарь.

— Миша, моего пальто нет.

— Как это «нет»?

— Вот мой номер пустой.

— Перепутал кто-нибудь. Ты поищи.

Игорь в обеденный перерыв пересмотрел все пальто: на изнанке воротника в каждом пальто был вышит номер, но двести пятого не было. Он сказал об этом дежурному бригадиру Брацану. Дежурный посмотрел на него с досадой:

— Что же, по-твоему, украли или как?

— Я обыскал всю вешалку.

— Надо еще раз посмотреть. Куда оно может деться?

Брацан отвернулся от него недовольный. Но после работы он сам нашел Игоря и спросил его сумрачно:

— Нет пальто?

— Нет.

— У Новака тоже нет из четвертой бригады.

— Украли?

Брацан ничего не сказал, видно было, что это слово ему не нравилось.

Вечером Игорь пошел на рапорты бригадиров. Брацан рапортовал:

— Товарищ заведующий! Прошлой ночью с вешалки украдено два пальто — Чернявина и Новака.

Захаров, как всегда, спокойно поднял руку, ответил: «Есть!» И все присутствующие салютовали рапорту дежурного бригадира «в обычном порядке». Но что-то такое было особенное в сегодняшней процедуре рапортов: в лицах не было веселой бодрости, чувствовалось, что последний рапорт не восстановит дружеской непритязательности отношений, колония не перейдет к обычному вечернему настроению, никто не улыбнется и не будет острить. Действительно, приняв последний рапорт, Захаров быстро опустился на стул, выдернул из папки какую-то бумажку, подперев голову рукой, стал читать, читать внимательно, как будто бы один остался в кабинете. А в кабинете стояли три десятка колонистов и, не шевелясь, молча смотрели на него. Нестеренко шепотом спросил Брацана:

— Какие у тебя подозрения?

К вопросу Нестеренко прислушались, но все знали, что пальто исчезли и похититель следов не оставил. Брацан, однако, был дежурным, он обязан был отвечать за свой день и, следовательно, обязан ответить на вопрос Нестеренко.

Брацан это понимал, и он ответил громко:

— От двенадцати до восьми дневалило четыре человека, все колонисты, конечно, из них подозревать никого нельзя. Лобойко, Грачев, Соловьев и Толенко — все из моей бригады. Я за них ручаюсь: не уйдет, не заснет никто. А теперь другое: из раздевалки нельзя пройти иначе, как мимо

дневального. Значит, в окно, в форточку. А как? Форточки там очень маленькие, пальто трудно продвинуть, очень трудно, я сегодня пробовал. Специалист делал.

— Как ночевали сегодня? — спросил Захаров, не подымая глаз от бумаги.

— Проверял. Ночевали в порядке. И дневальные говорят: никто ночью не выходил из здания, а последний пришел из города Зырянский, в одиннадцать часов, был в командировке, по вашему распоряжению. Такое дело... если бы пропало одно пальто, сказали бы... обязательно сказали: забыл где-нибудь. А то два пальто, из разных бригад. Чернявин Новака мало знает.

— Торский! Секретный совет, сейчас, здесь, у меня.

— Есть.

В кабинете остались только бригадиры. Когда ушел последний колонист, Захаров откинулся на спинку кресла:

— Так... Говорите, что думаете.

Торский первый развел руками, сидя на диване в гуще других:

— Говорить трудно. И подозревать опасно, никаких оснований. Я составил сегодня список, за кого нельзя еще ручаться. Что ж... выходит девятнадцать человек... не стоит и объявлять: два пальто того не стоят. Один вор, а восемнадцать на всю жизнь обидеть можно. Просто беда... ни одного вопроса никому нельзя задать. Например, спросить, не выходил ли куда-нибудь ночью...

— Нельзя никого спрашивать, — подтвердил Захаров недовольно.

— Нельзя, я и говорю.

— Вот я скажу, — Зырянский придвинулся на край дивана. — Вот я скажу. Первое: пальто украдены не ночью, а утром, когда все одевались. Это человек нахальный сделал. Просто взял и надел чужое пальто, при всех, может, и Чернявин его встретил, когда в раздевалку входил. А если бы попался, отговорка легкая: по ошибке надел, ничего такого.

— Так не одно пальто, а два.

— Два. Только моего Новака пальто три дня висело, он его не надевал, в цех без пальто перебегал, мои пацаны любят так делать. Значит, Новака раньше, может, еще позавчера украли, а никто и не знал.

— Ты отчасти прав, — начал Нестеренко, но Зырянский сурово на него оглянулся:

— Постой, я не кончил. Второе: пальто это и сейчас в колонии, у кого-нибудь на квартире или в деревне, только я думаю, что не в деревне, а здесь, у служащих, а может, из строительных кто-нибудь за Каина работает. Это не иначе. В город пальто не понесешь: и видно будет, и время требуется; в рабочий день нельзя, а в выходной наших много бывает на дороге в город. Оба пальто здесь и сейчас, на нашей территории.

Все молчали. Зырянский был, пожалуй, совершенно прав. Только Нестеренко выразил маленькое сомнение:

— Ты отчасти прав, Алексей, а только у Чернявина пальто с правого фланга, а у Новака, наоборот, с левого. Ты говоришь: надел и вышел, это может быть: надел и вышел, а возвратился без пальто, у нас многие без пальто бегают, тут не разберешь. А только... как же с размерами?

Одно дело Чернявина надеть пальто, а другое дело — Новака. Выходит так, что работало двое. — Двое не может быть,— сказал тихо Воленко.

— Почему не может быть?

— Не может быть. У нас таких компаний нет. Одиночек можно подозревать, а таких компаний, чтобы вдвоем крали, у нас нет.

— Воленко правильно говорит, — согласился Торский. — Это один. А как он вынес, черт его знает, а только безусловно, вроде как Зырянский говорит. Воленко, как ты думаешь насчет твоего Рыжикова?

Была названа первая фамилия. У бригадиров лица стали внимательнее. Воленко на минуту задумался:

— Из моей бригады можно кого-нибудь другого подозревать, Горохова, к примеру, или Левитина. Только Левитин в последнее время другим занят; Алексей Степанович наложил на него наказание за те записки, помните, в течение месяца расчищать дорожки в саду. Он этим делом очень увлекается, хочет, чтобы его простили, старается здорово, он красть не пойдет. Горохов как будто больше всего думает о своем шипорезном, а теперь план новый повесили, так у него в голове только и стоит: косой шип, прямой шип, да еще какое-то приспособление делает, чтобы сразу больше концов запускать в машину. Скажите, разве в таком положении человек может украсть? Не может.

— Горохов не украдет, — сказал просто Торский.

— А Рыжиков? Рыжиков — пожалуйста, у Рыжикова совести, как у воробья. Но зато Рыжикову не нужно. Он сейчас зарабатывает больше всех в колонии. В последнюю получку у него осталось чистых семьдесят рублей. Он положил в сберкассу пятьдесят, а книжку мне отдал, чтобы не растратить. Он только об одном и думает, как бы заработать больше... Для чего ему красть? Да Рыжиков еще и новый, никого не знает, а без Каина обойтись невозможно.

— Будь покоен, — сказал Брацан. — Это ты не знаешь, а Рыжиков знает, что ему нужно.

— Да нет, рано ему знать, — протянул Нестеренко.

— Хорошо, это по первой бригаде. А у тебя, Левка?

Бригадир второй, Поршнев, счастливый был человек, может быть, самый счастливый в колонии. У него всегда добродушно-красивое настроение, всегда он доволен жизнью, никогда еще «не парился», и за какое дело ни возьмется, дело у него в руках тоже начинает улыбаться. И сейчас он только плечами пошевелил:

— Да... откуда ж у меня? У меня все народ... верный.

— За всех ручаешься?

— Да... чего за них ручаться? Они сами... поручиться за кого угодно... могут. Вы же знаете.

Поршнева все любили в колонии особой, добродушной, спокойной любовью. Приятно было на него смотреть и следить за ленивой волной радости, которая всегда играла в его неторопливом взгляде, в движении черных, тенистых бровей, в улыбчивом подрагивании полных, хорошо напряженных губ. А глядя на Поршнева, вспоминали и вторую бригаду: семнадцать мальчиков, как будто нарочно собравшихся в бригаде. Им всем по шестнадцать лет, все они одного роста, все более или менее хороши собой и постоянно заняты делом и делом этим оживлены.

Почти вся вторая бригада работала в машинном цехе на фуговальных, рейсмусных и других станках. И производство у них говорливое, задорное и в то же время по-настоящему деловое.

— Да,— сказал Нестеренко.— Во второй бригаде некому.

По остальным бригадам были кандидаты на подозрение; но тот чтением увлекается, у того первый корнет занимает половину души, у третьего — модельный кружок, у четвертого — дружба с Маленьким, у пятого — дружба с Колькой-доктором, у шестого — пятерки по географии. Пятая же и одиннадцатая бригады даже не позволили вспоминать о них по такому оскорбительному поводу.

И когда кончили просмотр последней, десятой бригады, просмотр очень короткий, потому что Руднев согласился подозревать только себя и помощника бригадира, в совете стало тепло и радушно, а Захаров сказал:

— Черт возьми! Какие люди у нас хорошие, просто прелесть, а не люди!

Бригадиры обрадовались, засмеялись, теснее уселись на диване, как будто до утра собирались просидеть здесь в кабинете. Нестеренко потирал руки от удовольствия:

— У нас люди, Алексей Степанович, мировые.

Захаров встал за столом, швырнул на окно какую-то бумажку, придавил ее рукой и задумался:

— Значит, так: один человек... завелся! Один. Я думаю, не нужно его искать. Две шинели — это пустяк. Посмотрим, что будет дальше. Может быть, это его последняя кража. Прошу вас об этой краже не говорить в бригадах. Сделайте такой вид, будто кражи никакой не было. Согласны?

— Согласны, Алексей Степанович.

— Просто привык человек, — Захаров снисходительно улыбнулся.— Витька, распорядись, чтобы завтра же были выданы шинели Чернявину и Новаку.

В бригадах не спал ни один человек, все ожидали возвращения бригадиров. Воленко пришел в спальню серьезный.

— Ну как, нашли? — спросил Садовничий.

— Мы... о других делах... больше.

— Не нашли?

— Да как же ты найдешь? Кто-то один...

— Один... черт бы его побрал. Ой, поймать бы!

Рыжиков стоял посреди спальни, заложил руки в карманы, весело пыхнул улыбкой:

— Это все зарплата виновата.

— Почему? — заинтересовался Садовничий.

— Я вот много зарабатываю, а другому завидно.

Руслан Горохов внимательно посмотрел на Рыжикова:

— А кто... тебе завидует?

— Да есть такие, что и на столовую не зарабатывают: Горленко, Толенко, Васильев и эти самые Гальченки, Бегунки...

Горохов прищурился:

— Ты на Бегунка думаешь?

Рыжиков не любил таких пристальных взглядов:

— Да нет, я не думаю.

Он не спеша отправился к своей постели. Руслан перевернулся на месте, провожая его взглядом.

— Чего смотришь? — вдруг оглянулся Рыжиков.

— Очень... ты мне... нравишься! — пробурчал Руслан. — Хороший ты человек!

Воленко опустил глаза, поднял, посмотрел внимательно на Рыжикова, на Руслана, что-то тревожное дрогнуло у него в губах.

31. «Дюбек»

В четвертой бригаде были души впечатлительные и непреклонные: они не могли допустить, чтобы два пальто остались неотомщенными[65].

Никто в колонии не знал, какие совещания состоялись в недрах четвертой бригады, никто не заметил ее операций, кроме... Захарова, дежурные бригадиры, может быть, и заметили, но исключительно с точки зрения своих дежурных (державных) интересов. Раньше члены этой славной «непобедимой» бригады щеголяли двумя особенностями. С одной стороны, их глотки отличались самой неумеренной склонностью к forte. Даже секретные разговоры они проводили так оглушительно, что трудно было разобрать, о чем говорит каждый. Иногда они напрягали глаза до самой таинственной конспиративной выразительности, но глотки их все равно удержать было невозможно. Люди постарше, если им нужно кого-нибудь позвать, сначала оглядываются, имеется ли поблизости нужное лицо. Пацаны были против такой безрассудной траты дорогой зрительной энергии и не менее дорогого времени, тем более что в их распоряжении всегда находится этот оглушительно-универсальный инструмент — глотка. И поэтому приглашение нужного лица совершалось очень просто: нужно выйти на площадку лестницы или на центральную дорожку парка и благим матом заорать, прищуривая глаза и даже приседая от напряжения:

— Володька-а-а!!!

Потом прислушаться и, если никто не отвечает, снова закричать еще более противно:

— Воло-о-одька!

Вблизи этот призыв воспринимался довольно ясно: зовут какого-то Володьку. Но как раз вблизи звуки призыва не имели практической цели, данный Володька должен находиться где-то далеко, в таких местностях, куда призыв доносился в самой неопределенной форме:

— О-о-а-а!

И тем не менее эти почти условные звуки производили всегда самое полезное действие. В колонии было десять или пятнадцать Володек, но узнавал свое имя только один, тот самый, которого в эту минуту звали. Остальные, находившиеся в данный момент на территории колонии, только морщились. Дежурные бригадиры очень преследовали подобную форму связи, особенно если она употреблялась в коридорах или на площадках лестницы.

Это — с одной стороны. С другой стороны, пацаны всегда были склонны к некоторому сепаратизму. Дежурные бригадиры имели основания относиться к этому явлению подозрительно. Излишний сепаратизм всегда

грозил окончиться либо разбитым стеклом в оранжерее, либо изорванным костюмом, либо другой какой-либо каверзой. Для дежурного было ясно, что в основании сепаратных действий лежит всегда сущий пустяк: муравьиная куча, соловьиное гнездо, старое колесо, брошенное кучером где-нибудь на заднем дворе, обнаруженная свалка консервных коробок. Подобные причины вызывали бешеную деятельность пацанов, крики в разных концах двора... Возбужденные глаза, настороженные уши, открытые рты, предельные скорости, визгливые протесты и долгие восторженные крики где-нибудь за углом — все это не могло не тревожить дежурных бригадиров. Вся колония помнит, как в начале прошлой весны бригадир седьмой Вася Клюшнев отсидел пять часов под арестом за невнимательное дежурство. У Захарова в кабинете Вася не отрицал, что среди пацанов еще с утра наблюдался какой-то ажиотаж, после обеда они много кричали и переносились от одного дома к другому и вокруг домов с такой быстротой, что невозможно было разобраться, кто, собственно, участвует в этой тревоге. Но Вася подумал, что это обычный пустяк, вроде муравьиной кучи, а потом оказалось, что дело было гораздо серьезнее: вся операция была крикливой до тех пор, пока протекала ее земная стадия. А когда все ее участники полезли на крышу, их неугомонные глотки каким-то чудом были приведены к молчанию. В полной тишине, почти не делясь впечатлениями, пацаны сбросили с крыши жилого дома для служащих, с высоты трех этажей, кошку конторщика Семенова, кошку дорогую — сибирскую. Этот акт не был вызван ни жестокостью, ни мстительностью, ни пустым любопытством — в основе его лежала научная экспертиза: из салфетки был сделан довольно добротный парашют, кошка поместилась в двух уютных петлях, из них она, конечно, не могла выпасть. Вечером все участники этого опыта стояли перед Захаровым с виноватыми лицами, но в глубине души не разделяли его возмущения. Захаров смотрел на них сердитыми глазами. Он сказал:

— Я решительно не могу допустить такого дежурства. Это безобразие, это раззявство, это полная неспособность держать в руках день! Товарищ Клюшнев, я не ожидал от тебя такой беспомощности! Получи пять часов ареста!

На глазах у «парашютистов» расстроенный Вася Клюшнев принял пять часов ареста, поднял руку и сказал «есть». Тогда Семен Гайдовский сделал слабую попытку правильно осветить событие. Он произнес отчаянным дискантом:

— Алексей Степанович! Так салфетка нашлась! Она уже нашлась! И мы выстираем!

Захаров, однако, нисколько не обрадовался тому, что салфетка нашлась. Он как будто даже забыл, что салфетка была тайно взята на кухне — обстоятельство, считавшееся самым опасным во время проектирования операции. Нет, Захаров на салфетку не обратил внимания:

— Что это такое? Целый десяток колонистов прется на крышу трехэтажного дома! Для чего? Какая цель? Сбросить оттуда эту несчастную кошку!

У пацанов радостно загорелись глаза: Алексей Степанович преувеличивает несчастье! Какое несчастье?! Семен Гайдовский закричал на весь кабинет:

— Да Алексей Степанович! Алексей Степанович! Вы не знаете! Она ничего! Она благополучно приземлилась!

И все пацаны закричали:

— Приземлилась!!! Она даже не мявчала! Разве она падала? Она ничуть не падала! Она же на парашюте!! Она приземлилась на четыре ноги... и тот... побежала... взяла и побежала!

Все предполагали, что лицо Захарова просияет при этом радостном известии, все смотрели с ожиданием на его лицо, но... оно не просияло. Этот человек не способен был упиваться достижениями парашютизма. Он поправил пенсне и спросил в упор:

— У кошки был парашют. А у вас был? Кто из вас был с парашютом? Кто?

Только в этот момент пацаны поняли, какое преступление они совершили: полезли на крышу, не вооружившись парашютами. Оказывается, Захаров кое-что понимает в парашютизме. К сожалению, он не принял во внимание, что для человека требуется парашют очень большой, салфетка для этого дела не подходит.

Конечно, после этого случая никто больше не влезал на крышу, но всегда подвертывались другие случаи. Дежурные бригадиры именно к этим случаям и относились подозрительно и поэтому терпеть не могли сепаратных начинаний четвертой бригады.

В последние дни в колонии вдруг стало тихо, никто не звал оглушительным дискантом Володьку, нигде не собирались стайки пацанов и никуда с тревожным щебетанием не перелетали. И каток успел замерзнуть, на катке сияли электрические фонари. Колонисты скользили на коньках то по стремительной прямой, то по кругу, то взявшись за руки, то в одиночку. Даже дежурные бригадиры иногда становились на коньки, их красные повязки далеко были видны и по-прежнему внушали уважение.

А четвертой бригаде было некогда. Володя Бегунок при всяком удобном случае вылетал из кабинета и обязательно встречал недалеко когонибудь из четвертой бригады. Говорили они при встрече или не говорили, может быть, только, как муравьи, шевелили невидимыми усиками, этого никто не знал, но после встречи расходились в разные стороны с задумчивыми глазами, расходились не спеша, чуть-чуть шевеля бровями. Со стороны казалось, что ничто в жизни их особенно не интересует, что они живут самоуглубленной жизнью. Но на всех путях колонии они торчали по двое, по трое, тихонько совещались и еще тише присматривались к чему-то. На вешалке, особенно по утрам, всегда чьи-нибудь глаза рыскали между одевающимися. Давно забыто было обыкновение перебегать в цех без пальто. Напротив, четвертая бригада усвоила привычку без конца одеваться и раздеваться, и дневальные, кто постарше, недовольно говорили:

— И чего вы шныряете взад и вперед? Оделся — и гуляй себе.

Захаров, может быть, заметил нечто таинственное в четвертой бригаде, а может быть, и не заметил, а иначе как-нибудь узнал, но и у него откуда-то появилась привычка прогуливаться по двору, по коридорам, заходить в раздевалку, и почти каждый раз приходилось ему встречаться с тем или другим представителем четвертой бригады. Он отвечал на салют

сдержанным движением руки и проходил дальше. Его провожали серьезные, внимательные взгляды. Ваня Гальченко и Филька вечером не пошли на каток, а прохаживались на главной дорожке парка и поглядывали в сторону колонии, как будто поджидали кого-нибудь. Мимо них пробегали колонистки и колонисты с коньками, легкомысленный народ, жадный на развлечения. Не спеша проходили старшие. Лида Таликова по-приятельски положила руку на плечо Вани и спросила:

— Чего ты такой скучный, Ваня?

Трудно было не улыбнуться Лиде, но и улыбка вышла у Вани деловая:

— Ничего не скучный. Это мы гуляем.

Оживились глаза и у Фильки, и у Вани, когда из-за угла литеры Б показался Рыжиков. Он даже похорошел, этот Рыжиков: есть особый шик в том, как он идет в новом белом свитере, без шапки. Его ноги ступают широко, и он весь немного покачивается; это походка человека, довольного жизнью. Рыжие волосы подстрижены коротко, от этого голова Рыжикова кажется более элегантной, и лицо у него теперь стало чистое. Рыжиков не спешит, он закуривает папиросу. Филька и Ванька без всякой торопливости направились на боковую дорожку, Рыжиков их не заметил. Он прошел вниз и небрежно швырнул в сугробик большую белую коробку.

Когда он скрылся за деревьями, Филька поднял коробку, Ваня тоже устремил на нее глаза:

— Это папиросы. Написано как?

— «Дюбек».

— Хорошая какая коробка.

Через полчаса в клубе они нашли Маленького. Филька, играя коробкой в руках, спросил небрежно:

— А сколько стоит такая коробка?

— О, это очень дорогие папиросы! Эта коробка стоит пять рублей!

Ваня не мог выдержать, закричал на весь клуб:

— Пять рублей! За одну коробку?

Филька был человек бывалый, он не закричал:

— А что ж ты думаешь? «Дюбек» — это, ты думаешь, пустяк?

— Ой-ой-ой!

Маленький ушел в библиотеку. Ваня сказал:

— Он! Это он, и все!

— Украл?

— Украл и продал.

— А если он больше всех зарабатывает?

— Больше всех? А сколько он получает? Тридцать рублей? Да? Тридцать рублей?

— Тридцать, а может, и сорок.

— Так все равно, а папиросы одни стоят пять.

— А вот давай узнаем. Давай узнаем: он в первой бригаде?

— В первой.

— А ты спроси, ты всех знаешь; ты спроси, какие папиросы курит Рыжиков?

— А зачем?

— А если никто не знает, значит Рыжиков прячет и никому не говорит. Он так... потихоньку... курит и не хвастается. А ты спроси.

Филька в тот же вечер выяснил: никто в первой бригаде не знает, какие папиросы курит Рыжиков. Филька, как хороший актер, спрашивал умеючи. Просто ему интересно было выяснить, какие папиросы любят в первой бригаде. После ужина Ваня выслушал рассказ Фильки и зашептал громко:

— Видал? И никто не знает. А хочешь, я покажу тебе представление?

— Представление? Где?

— А где-нибудь.

Они долго ходили по колонии, и Ваня никак не мог показать представление. Коробка лежала у него в кармане так же терпеливо, как терпеливо Филька ожидал представления.

Перед общим собранием в «тихом» клубе начал собираться народ. Рыжиков пришел один и сел на диван, вытянув ноги. Ваня толкнул локтем Фильку. Друзья раза два прошли мимо Рыжикова, он не обратил на них внимания, рассматривал свои ноги и чуть-чуть насвистывал. Филька и Ваня сели рядом с ним. Рыжиков глянул на них косо и подогнул ноги под диван: в руках Вани была коробка с надписью «Дюбек». Ваня повертел ее в руках и прищурил глаза. Потом открыл и выжидающе замер над ней, внутри коробки крупно синим карандашом написано:

А мы знаем.

Рыжиков сверкнул зелеными глазами, встал, крепко надавил рукой на Ванино плечо, толкнул его к спинке и ушел в дверь, заложив руки в карманы. Ваня ухватился за плечо и скривился:

— Больно... черт!

Филькино лицо загорелось:

— Это он! Ваня, ты знаешь, это он! Идем! Идем к Алексею...

Они побежали в кабинет. Но в кабинете было много людей, бригадиры собирались к рапортам. Захаров был весел, шутил, сказал Торскому:

— Ты сегодня не волынь с общим собранием. Вечер хороший.

А на общем собрании Торский прочитал приказ:

«Объявляется благодарность воспитаннику Рыжикову за образцовую ударную работу в литейном цехе».

И Филька и Ваня расстроились, покраснели. Они смотрели на Рыжикова и не узнавали его: он сиял гордостью и смущением, улыбался с достоинством, и не было в нем ничего нахального, это был товарищ, заслуживший благодарность в приказе.

Часть третья

1. Боевая сводка

Зима прошла.

В комсомольском бюро и в совете бригадиров до полуночи засиживались и думали... Марк Грингауз говорил речь:

— Вы представляете себе: мы делаем сверлилки! Вы видели, какие сверлилки? Сверху у них полированный алюминий, а в середине у них точность до одной сотой миллиметра. И притом это же импорт! Вы понимаете, импорт! Это разве легко сказать — выпрашивать у австрийцев сверлилки для наших авиазаводов, для наших саперных и инженерных частей! Вы представляете, как это получается, если саперам нужно делать переправу, а у них нет электрической сверлилки. Или, допустим, нужно строить танк, а у нас в руках черт знает что вместо сверлилки! А теперь возьмите — аэропланы. Я видел аэроплан, так я знаю, сколько там нужно провертеть дырок, и неужели нужно вертеть австрийской сверлилкой, когда можно вертеть нашей, первомайской! Надо войти в положение наших рабочих! Надо понимать — вот это и называется нуждой, о которой без слез и говорить невозможно. До чего обидно покупать сверлилки у австрийцев, да еще за такую неприятность платить настоящим золотом. Вот это — нужда, это и я понимаю, и вы понимаете!

Разумеется, это все понимали. И поэтому в словах Воленко, сказанных на бюро, были слова всех одиннадцати бригад:

— Мы не должны беспокоиться, что колонисты не поймут. У нас семьдесять девять комсомольцев и сто девяносто, имеющих значок колониста! Как же они могут не понять? У нас два ужина — в пять часов и в восемь часов. Давно уже все недовольны: с какой стати два ужина, прямо времени не хватает ужинать. Допустим, первый ужин больше похож на простой чай. Все равно, а сколько хлеба съедают за этим чаем? И все колонисты очень недовольны. Нужно уничтожить первый ужин и не отнимать времени у колонистов. Потом мясо. Это давно уже доказано, что мясо вредно для здоровья, если его много есть, от этого бывает подагра, и Колька так говорит. И я считаю — достаточно три раза в неделю мяса, а в другие

дни — вредно. И не нужно к маю шить новые парадные. Самое главное — у нас хороший строй, красивый, если и старые парадные надеть, все равно всем понравится. Износились белые воротники, новые сшить — нужно сто пятьдесят рублей. Ну что же? Давайте без белых воротников, форма и так останется, главное — вензель. И ботинки новые не нужно покупать, а можно купить всем «спортсменки» — гораздо дешевле и куда легче.

И еще много таких нашлось предметов в колонистской смете, уничтожение которых было и для красоты хорошо, и для здоровья.

Захаров утвердил все сокращения расходов, предложенные комсомольцами. Колонисты были глубоко уверены в том, что к концу года они соберут не триста тысяч, а гораздо больше.

В вестибюле, при входе в столовую, половина стены была еще с середины зимы занята огромной диаграммой, изготовленной Маленьким и художественным кружком. Возле диаграммы целый день толпился народ, потому что она забирала за живое.

На диаграмме был изображен фронт, настоящий боевой фронт. Наступление шло снизу. Там красная узкая лента изображала могучие силы колонистских цехов, разделенные на три армии: центр — металлисты, левый фланг — деревообделочники и правый фланг — девочки в швейном цехе. Каждая армия занимала по фронту больший или меньший участок в полном соответствии с величиной годового плана.

Центр — металлисты, конечно, составляли главные силы: годовой план производства масленок выражался очень солидной цифрой — миллион штук — миллион рублей. На левом фланге участок был меньше — деревообделочники должны были за год выпустить продукции на 750 тысяч рублей, а швейный цех, значительно обессиленный отливом людей к токарным станкам, имел план только в 300 тысяч. Таким образом, правый фланг занимал сравнительно небольшой участок фронта.

Наступление на диаграмме направлялось кверху. Вверху во всю неизмеримую ширину ватманского листа нарисован был чудесный город: вздымались к небу трубы и башни, и, чтобы уже никаких сомнений не было, по верхнему краю листа протянулась надпись:

ПЕРВЫЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА
ТРУДОВОЙ КОЛОНИИ ИМ. 1 МАЯ

Узкая красная лента проходила довольно низко, а чудесный город стоял высоко, добраться к нему было нелегко: нужно было пройти огромные пространства ватмана, а по ним справа налево, как ступени трудного года, расположились прямые горизонтали дней. Ох, как много этих дней в году и как медленно нужно преодолевать их бесконечную череду! И каждый день имел свое название, названия были красивой славянской вязью выписаны слева и справа, подымаясь узкими колонками. На уровне чудесного города было написано:

31 декабря!!!

Да, так было написано — с тремя восклицательными знаками. Легко сказать: 31 декабря, когда сейчас только конец марта и между мартом и декабрем каких только нет месяцев!

Когда эта замечательная диаграмма, украшенная рамкой из золота и кармина, первый раз появилась в вестибюле, колонисты были поражены ее сложностью и годовым размахом. В общем понимали, что нужно добраться до чудесного города и кто первый доберется, тот и поставит флаг на одной из башен города. Другие подробности были не вполне понятны. Через несколько дней с диаграммой освоились как следует и научились переживать дневные изменения в ней. Фронт, изображенный узкой красной лентой, медленно подвигался кверху. Каждый день рядом с ватманом появлялся на кнопках небольшой листок бумаги, в нем содержалась боевая сводка на сегодняшнее число.

Продвигался на диаграмме не только боевой фронт коммунаров. Синим шнурком изображен был и враждебный фронт: все хорошо знали, что главный враг колонистов — это медленное течение времени. Положили бы на сутки сто рабочих часов, вот тогда было бы дело! А кроме того, находились и другие враги: плохой материал, плохие станки, плохой инструмент.

25 марта боевая сводка гласила:

«Вчера наблюдалось затишье. Центр выпустил продукции на 3300 рублей и вышел на линию 29 марта, находясь впереди черты сегодняшнего дня на четыре перехода. Левый фланг — столяры — по-прежнему стоит на линии 15 марта, с этого дня они не выпустили продукции ни на одну копейку. Зато правый фланг продолжает преследование разбитого противника: девочки ведут упорные бои на позициях 18 апреля, обходя синих с фланга. На этом участке синие в беспорядке отступают, захвачено на один день 1800 настоящих рублей...

Наши постоянные успехи на правом фланге, несмотря на отставание столяров, вынудили противника по всему фронту отвести свои войска на линию 26 марта — это значит, что вся колония по выполнению плана идет на один день впереди».

Ваня Гальченко и другие металлисты четвертой бригады любили по вечерам постоять перед диаграммой и полюбоваться успехами центра. Видно было, что синим плохо приходится под ударами литейщиков и токарей. Правда, у девчат было нестерпимо завидное положение: на правом фланге красная лента далеко вылезла вперед, в самом деле — на линию 18 апреля, когда сегодня только 25 марта! Девочки не останавливались перед диаграммой, а поглядывали на нее быстренько, пробегая мимо, — они стеснялись любоваться своими головокружительными достижениями. Пацаны оглядывались на девочек с деланным равнодушием. Лена Иванова и Люба Ротштейн остановились только для того, чтобы посмотреть, как мучаются от зависти металлисты. Ваня сказал:

— Девчонкам хорошо — что там... трусики!

Лена подняла перчатку:

— Как ты смеешь говорить: «девчонки»!

— Я ничего не говорю, я только... вообще трусики!

— Скажите, пожалуйста: «вообще»! А ты умеешь шить трусики?

Ваня Гальченко оглянулся на товарищей: в присутствии мужчин ему задают такой оскорбительный вопрос.

— Ха! Я буду шить трусики!

Ваня покраснел, потому что, действительно, разговаривать с ними трудно: с одной стороны, они все-таки девчонки и шьют трусики, с другой стороны, даже эти тринадцатилетние Лена и Люба стоят себе и посмеиваются, а в прическах у них ленточки, нарочно привязали, чтобы быть

красивее. И черные чулки, и черные туфельки, и глаза, блестящие и хитрые, все у них не такое, и все у них задается. Ваня пробурчал дополнительно:

— Трусики шить это... ваше дело.

— Скажите, пожалуйста: наше дело! Просто ты не умеешь. А Ванда и Оксана все равно на токарном станке умеют, видишь?

Ваня отвернулся от диаграммы, захотелось выбежать во двор и там поискать менее волнующие впечатления. Ванда и Оскана делали за четыре часа по сто двадцать масленок, так почему? Соломон Давидович дал им самые лучшие станки, и ремонт у них делают всегда и первую очередь, и резцы у них лучше, и другие несправедливости. А только разговаривать о них не стоит, уже один раз разговаривали, и потом пришлось стоять перед Захаровым и молча помаргивать глазами, когда он говорил:

— Удивительное дело, откуда берется такое хамство? Чем вы можете гордиться перед девочками? Носы вытираете рукавом? Или еще чем? Сплетнями занимаетесь? Пересудами? Как сороки — соберетесь и языки в ход: у девочек станки лучше, у девочек резцы лучше... Раньше говорили: женщины занимаются сплетнями, а теперь выходит — мужчины!

Тогда незаметно вздыхали и соглашались с Захаровым. А потом все равно: как просил Петька Кравчук исправить патрон, разве исправили? А как поплакала Ванда над смятым своим ключом, так ей через час Волончук новый ключ нашел. И Ваня с расстроенным видом направляется к выходу, но навстречу ему громкий спор старших: Чернявин и Поршнев.

— Масленка! Ну, что такое масленка, синьор? Кусок плохой меди, у которого вы обдираете бока.

Поршнев улыбается ласково:

— Ты читал сводку? Три тысячи триста таких кусков! План! А у вас что? Стоите на линии пятнадцатого марта! Ужас! На линии пятнадцатого марта!

— Стоим! Чертежный стол, ты имеешь какое-нибудь понятие о чертежном столе? Это масленка? Масленку вставил в патрон — она сама делается, через минуту взял, выбросил готовую, — вообще дрянь! А стол нужно делать неделю, да не одному человеку, а пятерым, шестерым. Вот выпустим партию, что вы запоете?

И Ваня снова стоит перед диаграммой. Ваня не может выслушивать подобную чепуху: сама делается! И Ваня поет перед диаграммой:

— Не выпустили продукции ни на одну копейку...

Игорь слышит это пение. Ванька Гальченко — его друг закадычный — и тот допекает!

Игорь говорит:

— Хочешь пари, Поршнев, что через неделю мы будем впереди вас?

— Нет, — спокойно говорит Поршнев, — не будете.

— Хочешь пари?

— Пари нельзя: будете волноваться, спешить, браку наделаете!

Ваня громко хохочет: сильный удар нанес Поршнев, очень сильный. В прошлом месяце целую партию аудиторных столов забракова-

ла контрольная комиссия, тогда сам Штевель отдувался на общем собрании, а Чернявин сидел и помалкивал. И поэтому сейчас Игорь смущенно поводит плечами и говорит неуверенно:

— Конечно, это не масленка!

2. Отказать

Еще в начале зимы Игорь катался на лыжах с Ваней. В лесу их догнал Рыжиков. Ваня убежал вперед. Игорь сказал с каким-то намеком:

— Тебе опять благодарность в приказе?

Рыжиков ответил:

— Нужна мне благодарность, подумаешь!

Рыжиков не хотел разговаривать с Игорем. Что такое Игорь Чернявин, в самом деле? Рыжиков побежал вперед, обгоняя Ваню, он ловко зацепил его лыжей и опрокинул в снег. Ваня забарахтался в сугробе, Рыжиков стоит над ним и смеется. Ваня как будто даже не обиделся, сказал тихо:

— Ты меня не цепляй, тут дорог много.

Но Игорь налетел разгневанный, ни слова не сказал, а вцепился в горло, Рыжиков вверх ногами полетел в снег и в полете слышал:

— Я тебя, кажется, предупредил? В следующий раз я на тебе живого места не оставлю!

Рыжиков был так ошеломлен, что даже не поднялся из снежного праха, злыми глазами смотрел на Игоря. Игорь поклонился.

— Извините, сэр, я, кажется, вас побеспокоил?

Он побежал дальше, Ваня устремился за ним, потом приостановился.

— Ты, Рыжиков, будь покоен. Я за это не сержусь. Пожалуйста! Есть другие дела.

— Какие там дела? — спросил Рыжиков с угрозой.

Игорь ожидал, оглянувшись, и Ваня никого не боялся:

— Такие дела!

— Какие... такие?

— А потом увидишь!

Рыжиков повернулся и укатил в глубь леса. Никаких дел... таких... и никакого права у них нет. Рыжиков в последнее время царем сделался в литейном цехе, Баньковский, отлучаясь куда-нибудь, доверял ему барабан. Нестеренко ушел в механический цех, а формовочную машинку передали Рыжикову. Воленко часто похлопывал Рыжикова по плечу и хвалил:

— Хорошо, Рыжиков, хорошо! Мастер из тебя выйдет замечательный, человеком будешь! А вот только в школе...

— Да поздно уже мне, Воленко, учиться.

И Воленко, и вся первая бригада уверяли Рыжикова, что учиться не поздно. И Рыжиков начал было сидеть над уроками по вечерам, симпатии первой бригады он не хотел терять. В первой бригаде были собраны заслуженные колонисты: Радченко Спиридон — могучий, большой, разумный помощник мастера машинного цеха, Садовничий — худощавый,

высокий, начитанный и образованный, Бломберг Моисей — лучший ученик десятого класса, Колесников Иван — правая комсомольская рука Марка Грингауза, редактор стенгазеты и художник — все это были виднейшие комсомольцы в колонии. Были в первой бригаде и подростки, только что вышедшие из бурного пацаньего века, начинающие уже солидную колонистскую карьеру, с серьезными выражениями лиц, с прекрасными прическами: Касаткин, Хроменко, Гроссман, Иванов 5-й, Петров 1-й. Даже Самуил Ножик начинал выходить в ряды актива и очень важную роль играл в литературном и в модельном кружках. В колонии не было обычая давать прозвища товарищам, но Ножика все-таки чаще называли по прозвищу, а не по имени. Давно уже, года два назад, Ножик пришел в колонию и с первого дня всех поразил добродушно-веселой формой протеста. Он ничего и никого не боялся и после того, как отказался дежурить по бригаде, ответил на письменную просьбу Захарова широкой, размашистой, косой резолюцией: «Отказать». Захаров хохотал на весь кабинет, читая эту резолюцию, потом позвал Ножика и еще хохотал, сжимая руками его плечи:

— Какая ты все-таки прелесть, товарищ Ножик!

Ножик был действительно прелесть: всегда улыбающийся, свободный.

— Ну хорошо, — сказал Захаров, отсмеявшись. — Ты, конечно, прелесть, а только два наряда получи за такую резолюцию.

И Ножик хитро нахмурился и сказал «есть».

И после того много еще у Ножика бывало всяких остроумных проказ, они сильно портили настроение у бригадиров первой, но не вызывали неприязни к Ножику. А потом и Ножик привык к колонии, сдружился с ребятами и остроумие свое обычно рассыпал в каком-нибудь общем деле. Все-таки прозвище «Отказать» осталось за ним надолго.

В первые дни своего пребывания в колонии Рыжиков пытался подружиться с Ножиком, но встретил увертливо-ласковое сопротивление.

— Ты что, за колонию все стоишь, да? — спрашивал Рыжиков.

Ножик заложил руку между колен, поеживался плечами:

— Я ни за кого не стою, я за себя стою.

— Так чего ж ты?

— Что «я»?

— Чего ты стараешься?

— А мне понравилось...

— И Захаров понравился?

— О! Захаров очень понравился!

— За что ж он тебе так понравился?

— А за то... за одно дело.

— За какое дело?

Хитрые большие глаза Ножика обратились в щелочки, когда он рассказывал, чуть-чуть помахивая круглой головой:

— Одно такое было дело, прямо чудо, а не дело. Он мне тогда и понравился. У нас свет потух, во всей колонии потух, во всем городе даже, там что-то такое на станции случилось. А мы пришли в кабинет и сидим — много пацанов, на всех диванах и на полу сидели. И все рассказывали про войну. Захаров рассказывал, и еще был тот... Маленький, тоже рассказывал. А потом Алексей Степанович и говорит:

— До чего это надоело! Работать нужно, а тут света нет! Что это за такое безобразие!

А потом посидел, посидел и говорит:

— Мне нужен свет, черт побери!

А мы смеемся. А он взял и сказал, громко так:

— Сейчас будет свет! Ну! Раз, два, три!

И как только сказал «три», так сразу свет! Кругом засветилось! Ой, мы тогда и смеялись, и хлопали, и Захаров смеялся, и говорит:

— Это нужно уметь, а вы, пацаны, не умеете!

Ножик это рассказал с хитрым выражением, а потом прибавил, открыв глаза во всю ширь:

— Видишь?

— Что ж тут видеть? — спросил пренебрежительно Рыжиков. — Что ж, по-твоему, он может светом командовать?

— Нет, — протянул весело Ножик. — Зачем командовать? Это просто так сошлось. А только... другой бы так не сделал.

— И другой бы так сделал.

— Нет, не сделал. Другой бы побоялся. Он так подумал бы: я скажу раз, два, три, а света не будет. Что тогда? И пацаны будут смеяться. А, видишь, он сказал. И еще... как тебе сказать: он везучий! Ему повезло, и свет сразу. А я люблю, если человеку везет.

Рыжиков с удивлением прислушивался к этому хитрому лепетанию и не мог разобрать, шутит Ножик или серьезно говорит. И Рыжиков остался недоволен этой беседой:

— Подумаешь, везет! А тебе какое дело?

— А мне такое дело: ему везет, и мне с ним тоже везет. Хорошо! Это я люблю.

Последние слова Ножик произнес даже с некоторым причмоком.

Теперь и Ножик сделался видной фигурой в колонии, и Ножик вместе с другими членами первой бригады относился к Рыжикову хорошо. Только один Левитин избегал разговаривать с Рыжиковым и смотрел на него недружелюбно. Ну и пускай себе, что такое из себя представляет Левитин? Левитин такая же шпана, как и Ваня Гальченко. А Чернявин... Чернявин, еще посмотрим.

Зимой же, только позднее, Рыжикову еще раз пришлось поговорить с Чернявиным. Это произошло на дороге в город, куда Рыжиков отправился погулять. В конце просеки он догнал Игоря с Ваней Гальченко, и в тот же момент всем троим пришлось посторониться: из города шла полуторка. Рядом с шофером в кабинке сидела Ванда. Она высунулась из окна, весело кивнула головой. Ваня крикнул:

— Ванда, откуда это ты?

— Мы за досками ездили, — ответила Ванда.

Из-за ее плеча выглядывало смуглое остроносое лицо шофера Воробьева. Они проехали в колонию. Рыжиков проводил их взглядом:

— Напрасно это дозволяют! Чего она с ним ездит?

И Ваня спросил:

— А чего, нельзя?

— А хорошо это девочке с шофером путаться!

— Она не путается, — сказал Ваня с обидой. — Она ничуть не путается.

— Много ты понимаешь!

— Он больше тебя понимает, — сказал Игорь строго, и Рыжиков предпочел отодвинуться от Игоря подальше.

— Какой ты все-таки... смердючий, — продолжал Игорь, — я тебе советую уходить из колонии.

Рыжиков тогда ничего не сказал, поспешил в город. Но сейчас, к концу зимы, Игорь, пожалуй, не скажет, что Рыжиков смердючий. Симпатии Ванды к шоферу были замечены всей колонией. Шофер Петр Воробьев пользовался общей любовью. Он был молчалив, много читал. Вся кабинка у Петра Воробьева наполнена книжками. Они лежат и на сиденье, и вверху, в карманах на потолке и в карманах боковых. Воробьев читал и в кабинке, и в свободное время где-нибудь на стуле, даже Игоря Чернявина перегнал в читательской славе. И этот самый Петр Воробьев, такой читатель, такой серьезный, такой худой и черномазый человек, безусловно, влюбился в Ванду. Они часто сидели рядом в «тихом» клубе, Ванда в свободное время ездила в кабине полуторки, а потом Петр Воробьев вздумал даже на коньках кататься. И он катался с Вандой и по обыкновению помалкивал. Рыжиков мог торжествовать: все колонистское общество забеспокоилось по поводу этой любви, неожиданно свалившейся на колонию.

Михаил Гонтарь сказал однажды Игорю:

— А я говорю: Ванда влюблена в Воробьева!

— Неправда!

— Правда! Меня не обманешь! О! Я сразу вижу!

И действительно: один раз Игорь, разбежавшись на коньках, поравнялся с парочкой. Они не заметили его приближения, и Игорь услышал:

— Ты его боишься, Ванда?

— Зырянского? А кто же его не боится?[66]

Ванда имела основания бояться Зырянского. Через несколько дней Игорь катался вместе с Зырянским, и Зырянский сказал:

— Не могу я больше на это смотреть!

Он издали увидел парочку и побежал к ней. Игорь не отстал. Ванда круто повернула и улетела от своего друга, оставив его одного разговаривать с Зырянским. Воробьев, на что уже человек серьезный, и тот смутился, очутившись перед гневными глазами Алеши:

— Петро! Я тебе говорю: брось!

— Да в чем дело? — растерянно сказал шофер и опустил глаза.

— Брось, говорю! Нечего девочке голову морочить! Если еще раз увижу вдвоем, вытащу на общее собрание.

Воробьев пожал плечами, быстро глянул на Алешу, снова опустил глаза:

— Я не колонист...

— Я тебе покажу, кто ты такой. Если ты работаешь в колонии, ты не имеешь права мешать нашей работе. Я тебе серьезно говорю.

— Я ничего такого не делаю...

— Мы разберем, ты не сомневайся! Ты влюблен в нее?

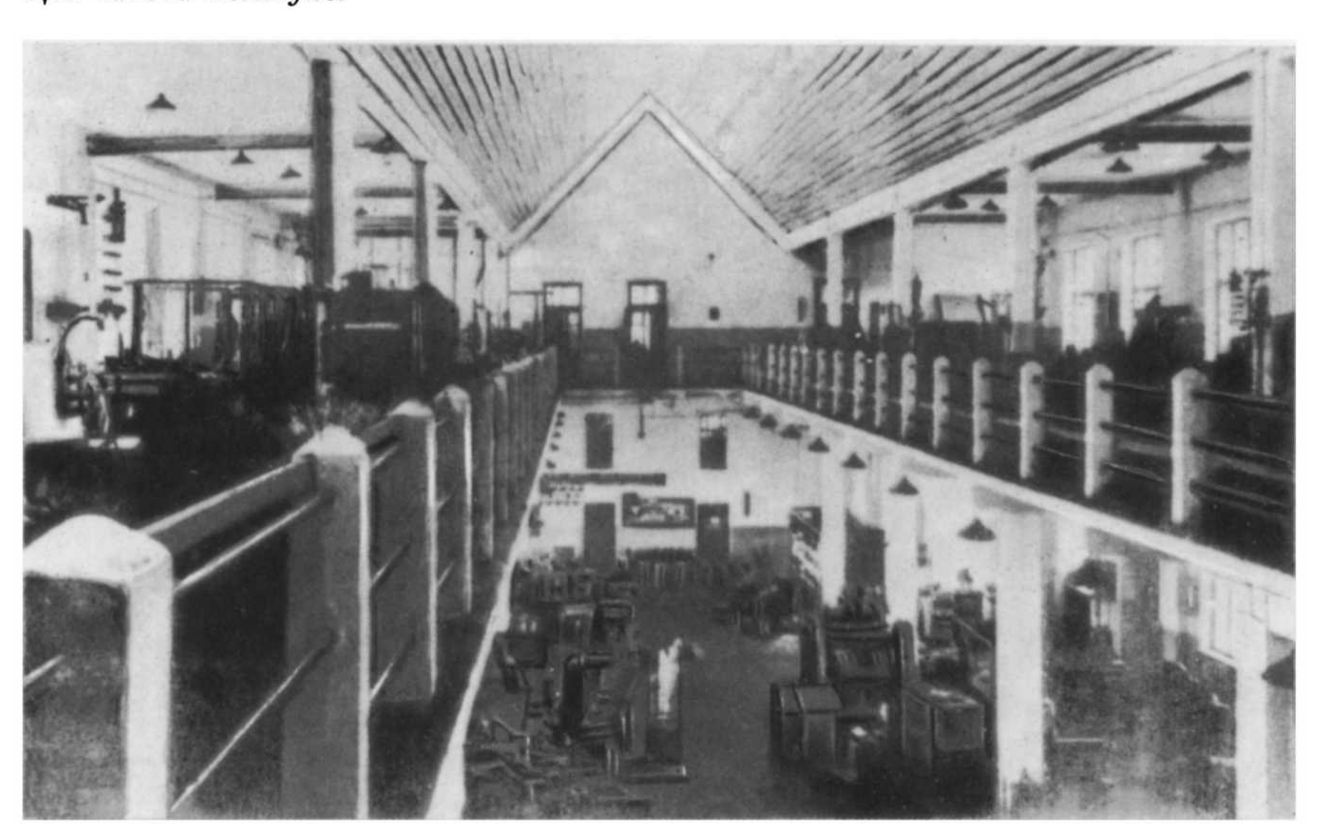
— Да откуда вы взяли, что я влюблен?

— А раз не влюблен, так какое ты имеешь право приставать к ней?

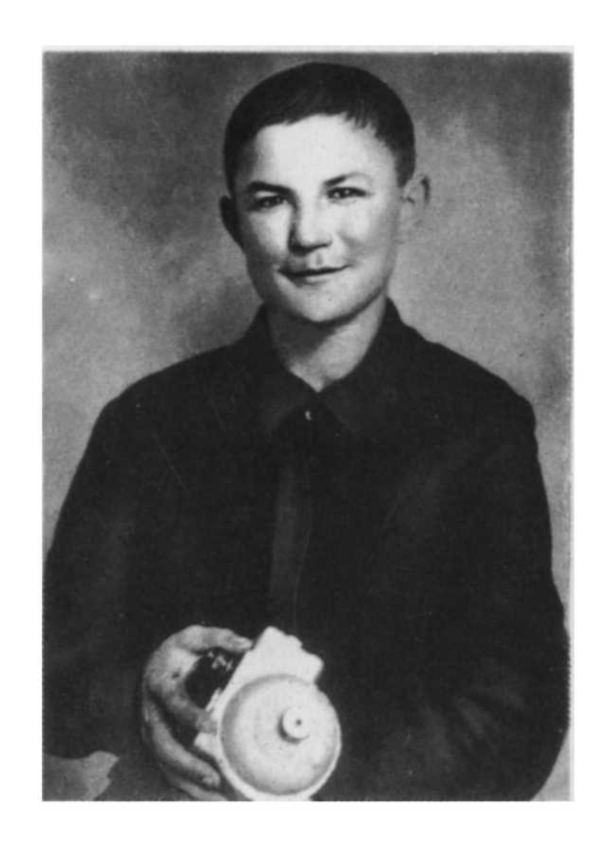
Петр Воробьев повозил правым коньком по льду и спросил с некоторой иронией:

Главное здание трудовой коммуны им. Ф. Э. Дзержинского с флагами на башнях; правое крыло — построенный в 1931 г. завод электросверл (1933)

Цех завода коммуны

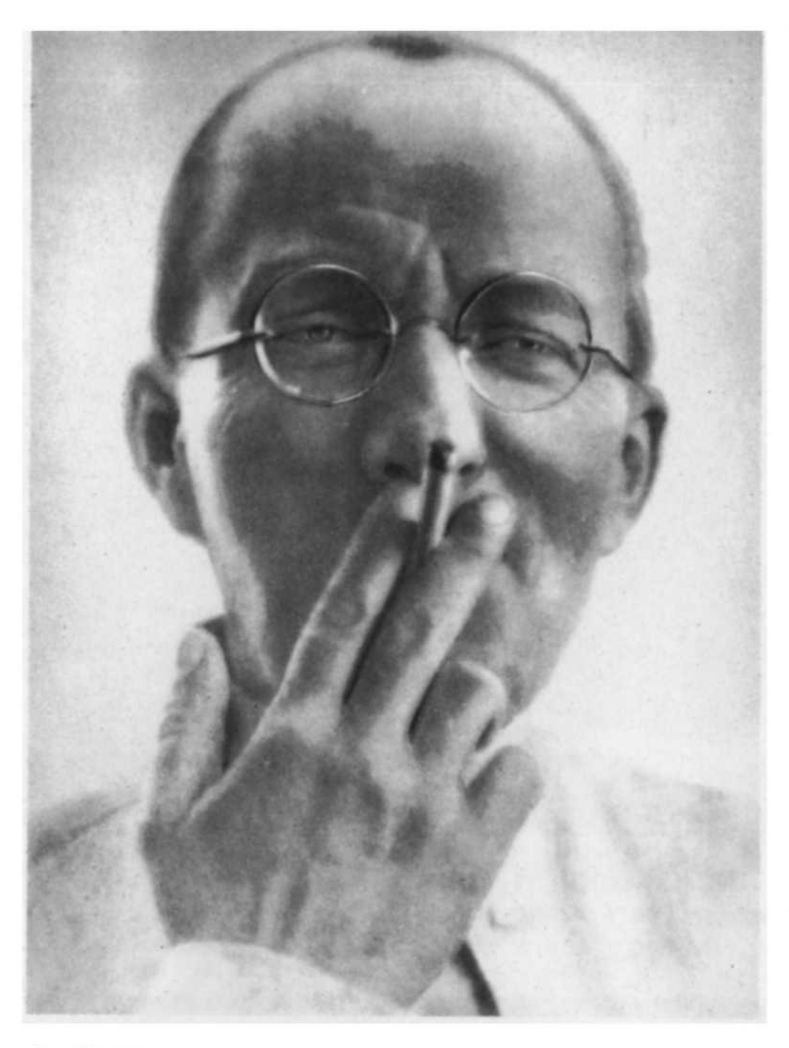


Бюро комсомольской организации коммуны

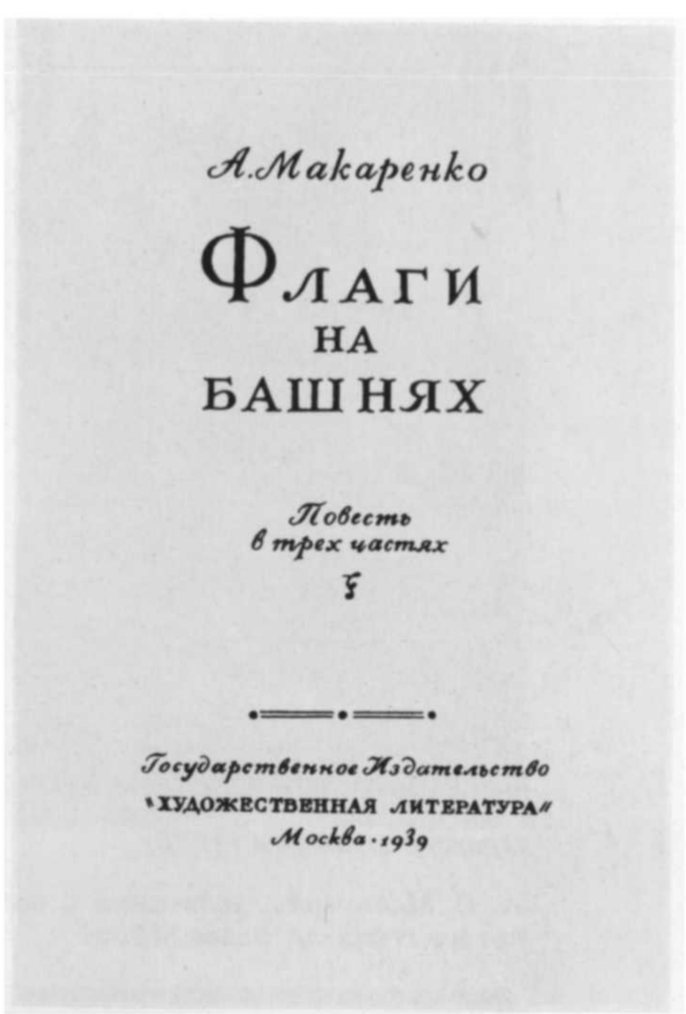


Коммунар И. Ткачук с электрошлифовалкой

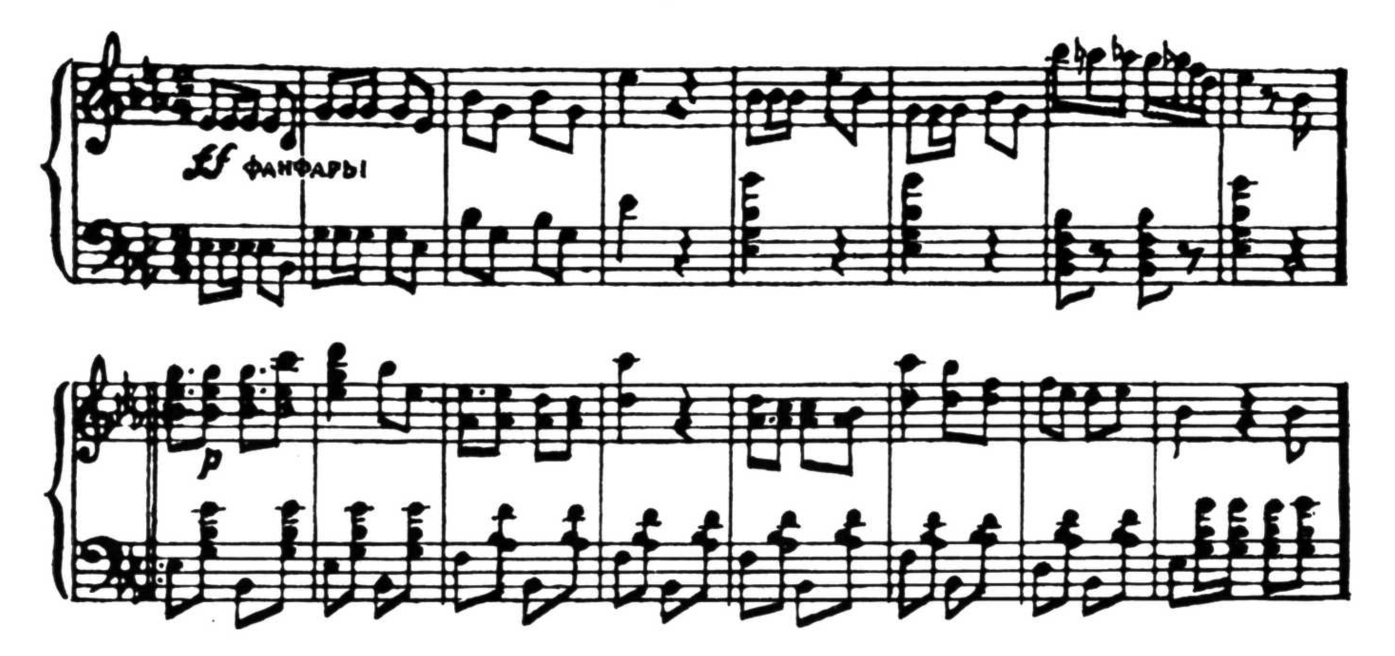
Коммунар Ф. Борисов, впоследствии инженер (погиб в Великую Отечественную войну)



А. С. Макаренко (1938)



Обложка первого издания «Флагов на башнях»

Ноты марша «Дзержинец» (отрывок). Муз. В. Левшакова

Оркестр коммуны (1933)

А. С. Макаренко, работники и воспитанники коммуны на пароходе во время путешествия по Волге (1933)

Коммунары на работе в колхозе (Кавказ, 1933)

Колонна коммуны на празднике в г. Харькове

Коммунары дзержинцы (слева): А. Гуляев (впоследствии рабочий-фрезеровщик, погиб в Великую Отечественную войну); А. Ященко (впоследствии работница Харьковского завода «ФЭД»); З. Клямер (впоследствии рабочий завода в Ленинграде, участник Великой Отечественной войны) — 1935 г.

А. С. Макаренко с группой выпускников Харьковского юридического института, бывших воспитанников коммуны

Педагог коммуны Т. Д. Татаринов (второй слева в первом ряду, впоследствии заслуженный учитель школы РСФСР) и выпускники-коммунары

Врач коммуны Е. И. Ройтенберг (1941 г., погиб в Великую Отечественную войну)

Воспитанница коммуны Г. Красникова, старший контролер Харьковского завода «ФЭД» (1952)

Воспитанник коммуны В. Ф. Шапошников (в центре), народный судья (1952)

Воспитанник коммуны И. И. Яценко, участник Великой Отечественной войны, инженер-подполковник (1976)

— Ну хорошо... а если того... допустим, влюблен?

Зарянский даже присел от негодования:

— Ага! Допустим, влюблен! Мы тебя как захватим с твоей любовью, в зеркало себя не узнаешь!

Петр Воробьев комично повел удивленным пальцем справа налево и опять направо:

— Значит: влюблен — нельзя, не влюблен — тоже нельзя! А как же?

Зырянский опешил на самое короткое мгновение: надо было указать Воробьеву точное место, все равно, какие чувства и в каких размерах помещаются в его шоферской душе.

— Не подходи! Близко не подходи! Ванда — не твое дело!

Петр Воробьев задумался:

— Не подходить?

— Не подходи...

— А к кому можно подходить?

— Можешь... ко мне подходить.

Трудно угадать, как отнесся Петр Воробьев к проекту такой замены Ванды Алексеем Зырянским. Во всяком случае, он еще подумал и сказал:

— Странно у вас как-то... товарищи!

И все-таки, сколько ни смотрели потом пацаны, а не видели Ванды рядом с шофером: ни в клубе, ни в кабинке, ни на катке. Беспокоило их только одно: почему Ванда ходит такая веселая, даже поет, даже в цехе поет. И Петр Воробьев как будто повеселел, разговорчивее сделался, может быть, даже румянее.

3. Занимательная арифметика

В апреле пришло много каменщиков и стали быстро строить новый завод. Не успели ребята опомниться, как уже под второй этаж начали подбираться леса на постройке. Здание строилось громадное, с разными поворотами, вокруг постройки моментально образовался целый город непривычно запутанных вещей: сараев, бараков, кладовок, бочек, складов, ям и всякого строительного мусора. Старшие колонисты приходили сюда по вечерам и молча наблюдали работу, а четвертая бригада не могла так спокойно наблюдать: тянуло на леса, на стены, на переходы, нужно было поговорить с каждым каменщиком и посмотреть, как он делает свое дело. Каменщики охотно разговаривали и показывали секреты своего искусства. Но чем выше росли леса, тем меньше становилось разговоров: все темы были в известной мере исчерпаны, зато на постройке образовалось так много интереснейших уголков! И теперь каменщики были недовольны:

— И чего это вас тут носит нелегкая. Свалишься, и кончено!

— Не свалюсь.

— Свалишься и костей не соберешь.

— Соберу...

— Убьешься, плакать по тебе будут.

— Никто не будет плакать.

— Родные будут...

— О! Родные!

— Товарищи жалеть будут.

— Товарищи не будут плакать, дядя, марш похоронный сыграют, а чего плакать?

— Ну и народ же... Марш отсюда, пока я тебя лопатой не огрел!

— Лопатой, это, дяденька, брось! А я и так уйду. Думаешь, очень интересно?

Уходить нужно было не столько потому, что прогоняли, сколько по другим причинам: много дела и в других местах и нужно наведаться к диаграмме, не повесили ли новую боевую сводку?

«Положение на фронте на 15 апреля

Правый фланг — девочки, выполняя ежедневно программу на 170—180 процентов, с боем прошли линию 17 мая и ведут дальнейшее наступление на отступающего в беспорядке противника.

Боевой штаб фронта постановил: отметить героическую борьбу правого фланга за новый завод и поставить на этом фланге красный революционный флаг.

Центр продолжает нажимать на синих и сегодня вышел на линию 21 апреля, идя впереди сегодняшнего дня на шесть переходов.

Только на левом фланге продолжается позорное затишье, столяры по-прежнему стоят на линии 15 марта, отставая от сегодняшнего дня на целый месяц.

Несмотря на это, под напором центра, и в особенности правого фланга, противник перевел свои силы даже и на левом фланге на линию 20 апреля: общий план колонии идет с перевыполнением на четыре дня.

Девчата впереди! Привет девчатам! Поздравляем пятую и одиннадцатую бригады!»

У диаграммы толпа, трудно пробиться к стене, приходится подскакивать или нырять под локтями. Ваня закричал:

— Столяры! Ужас!

Бегунок поддержал в таком же стиле:

— Убиться можно!

Игорь Чернявин лучше бы не подходил — другие столяры ведь не подходят. Он подошел только потому, что состоял при боевом штабе в качестве редактора боевой сводки, и ему всегда интересно было прочитать свой собственный текст. Все-таки приходилось защищаться, хотя и старыми методами, давно уже опороченными:

— Что вы понимаете, синьоры? Тоже — токари! Ты сделай чертежный стол!

Ваня взялся руками за уши:

— Кошмар, и все! Так и написано: «отставая от сегодняшнего дня на целый месяц».

Горохов из-за спин обиженно загудел:

— Да ты посуди: ведь стол за один день не сделаешь! Чего ты пристал?

— Убиться можно! — повторил Бегунок. — Страшно смотреть на этот левый фланг! Левый фланг! А вот девчата молодцы, правда, Ванда?

— Я не девчонка. Я металлист.

Даже новенький, недавно прибывший в шестую бригаду, красноухий, веснушчатый Подвесько и тот смотрит на диаграмму и, может быть, завидует правому флангу, на котором так изящно стоит маленький красный флажок. А может быть, он и не завидует: бригадир шестой Шура Желтухин очень недоволен своим пополнением и говорил в совете:

— Ох, и чадо мне дали, Подвесько этот, придется повозиться!

Апрельский день куда больше, и сумерки до чего приятные. Вчера как будто была еще зима, и пальто висели на вешалке, и окна были закрыты, а сегодня в цветниках старый немец-садовник даже пиджак сбросил и работает в одном жилете, и в парке расчищают дорожки сводные бригады, по одному от каждой постоянной, и на подоконниках сидят целые компании и заглядывают вниз на просыхающую землю.

А все-таки и в апреле бывают неприятности. Казалось, все благополучно в колонии и можно забыть таинственно исчезнувшие пальто, как вдруг в один день: в шестой бригаде у самого бригадира украдены десять рублей, прямо с кошельком, ночью, из брючного кармана, а в театральном зале исчез большой суконный занавес, стоимость которого несколько сот рублей. Захаров ходил как ночь, угрюмый и неприветливый и, говорят, сказал кому-то:

— Честное слово, собаку вызову!

Пацаны этому поверили и с особенным вниманием осматривали каждую собаку, пробегающую через территорию колонии. Но Захаров собаку не вызвал, а поставил вопрос на общем собрании. Колонисты сидели на собрании опечаленные и молчаливые и даже слова не просили. Один Марк Грингауз говорил речь:

— Стыдно и обидно, товарищи! Стыдно в городе сказать кому-нибудь, что в колонии им. Первого мая можно безнаказанно украсть занавес со сцены. Надо обязательно выяснить этот вопрос, надо всем смотреть. А мы ушами хлопаем, у нас из-под носа скоро денежный ящик сопрут.

Зырянский не выдержал:

— Денежный ящик не сопрут, он стоит в вестибюле, и там часовой день и ночь ходит. Разве в том дело? Что же нам, бросить работу и всем стать часовыми возле каждой тряпки? Вы подумайте, какая это продажная гадина действует. Она не хочет рыскать по городу, потому что там везде все заперто и везде сторожа ходят и милиция. Она сюда прилезла, товарищем прикинулась, все ходы и выходы знает, с нами за одним столом ест, работает, спит, разве от нее убережешься? Разве можно смотреть? За кем? Что же теперь, каждого колониста подозревать, замки повесить, часовых поставить? Я не умею смотреть, не умею, но говорю: вот этими руками, вот этими самыми руками, я эту гадину когда-нибудь...

Зырянский не мог докончить, слов у него не находилось, чтобы рассказать, что он сделает «этими руками».

Потом попросил слова Рыжиков. На прошлой неделе ему дали звание колониста. Рыжиков, впрочем, не потому взял слово, что он колонист, а потому, что он кое-что знает. Он так и начал.

— Я, товарищи, кое-что заметил. Вчера возвращаюсь из города, в отпуске был, вижу: этот пацан новенький идет через лес и все оглядывается. Я его и остановил: покажи, говорю, карманы. Он, хэ, туда-сюда, да я его сгреб и все из карманов... как бы это сказать... вытрусил. Вот все здесь у меня, смотрите.

Рыжиков из своего кармана выгрузил много всякого добра: полплитки шоколада, карандашик-автомат, альбомчик «Крымские виды», билет в кинотеатр и два медовых пряника. Подвесько вытащили немедленно на середину. Уши Подвесько от этого отяжелели и сделались больше.

— Что? Так что? Я взял, да? Я взял?

— Ты это купил? — спросил Торский.
— Конечно, купил.
— А деньги откуда?
— А мне сестра прислала... в письме... все видели.
И тут со всех сторон подтвердили: действительно, на днях Подвесько в письме получил три рубля. Подвесько стоял на середине и показывал всем свое добродетельное лицо. Торский уже махнул рукой в знак того, что он может покинуть середину, но Захаров вмешался:
— Подвесько, а ты воду пил в городе? С сиропом?
— Пил...
— Два стакана?
— Ну два.
— Два, так, а пряников... вот этих... ты сколько съел? Четыре?
Подвесько отвернулся от Захарова и что-то прошептал.
— Что ты там шепчешь? Сколько ты съел пряников?
— И не четыре совсем.
— А сколько?
— Три.
— А какая цена такому прянику?
— Двадцать копеек.
— Ты в город на трамвае ехал?
— На трамвае.
— И билет покупал?
— А как же!
— И обратно?
— И обратно.
— А сколько стоит альбомчик?
Подвесько задумался:
— Я забыл: или сорок пять, или пятьдесят пять.
Несколько голосов с дивана немедленно закричали:
— Сорок пять копеек!
— А шоколад?
— Я уже забыл... кажется...
И снова несколько голосов закричали:
— Восемьдесят копеек! Такой шоколад «Тройка» — восемьдесят копеек!
И дальше Захаров обратился уже к дивану:
— Карандашик?
— Сорок копеек! Такой карандашик сорок копеек!
— Так. А на билете в кино написано: тридцать пять копеек. Правильно, Подвесько?
Подвесько без особого оживления сказал:
— Правильно!
— Выходит, что ты истратил три рубля тридцать пять копеек. Правильно?
— Правильно.
— У тебя было три рубля, где же ты еще взял тридцать пять копеек?
— Я нигде не брал тридцать пять копеек. Я истратил три рубля, которые сестра прислала.

— А тридцать пять копеек?
— Я этих не тратил.
— А сколько ты купил конфет?
— Конфет? Каких конфет?
— А тех... в бумажках? Ты купил четыреста грамм?
Подвесько снова отвернулся и зашептал. Руднев подскочил к середине, наставив ухо к шепчущим устам Подвесько.
— Он говорит: двести грамм.
— Что-то у тебя денег много получается,— улыбнулся Захаров.
Подвесько энергично потянул носом, провел рукавом по губам и засмотрелся на потолок. Руднев, стоя рядом, стал ласково его уговаривать:
— Ты прямо скажи, голубок, где ты набрал столько денег? А?
— Я нигде не набирал. Было три рубля.
— Так покупок у тебя больше выходит. Больше, понимаешь?
Подвесько этого не хотел понимать. У него было три рубля, все видели, как он получил их в конверте, Подвесько не хотелось покидать эту крепкую позицию.
— Может, ты меньше покупал?
Подвесько кивнул с готовностью. В самом деле, он мог сделать меньше покупок, ровно на три рубля, это его в совершенстве устраивало.
— Может, ты не покупал целого шоколада? Может, ты половинку купил? Там же половинка осталась?
— Угу.
— Половинку купил?
Подвесько снова кивнул.
Общее собрание рассмеялось, этот человек не представлял никаких загадок. И таким же ласковым голосом Руднев спросил:
— Ты прямо ночью полез в карман, взял кошелек, правда?
И теперь Подвесько с готовностью кивнул, потому что ему, собственно говоря, понравилась намечающаяся ясность положения.
Торский почесал за ухом, посмотрел, улыбаясь, на Захарова.
— Иди на место, Подвесько! Ты еще, наверное, красть будешь.
Подвесько вдруг заострил глаза. В словах Торского ему почудился какой-то обидный намек. Торский повторил:
— Красть еще будешь, правда?
Подвесько вдруг просиял:
— Честное слово, нет. Это последний раз.
— Почему же последний?
— Не хочется.
— Угу. Ну, добре. Будем наказывать, товарищи?
Подвесько затоптался на середине — очень уж весело смотрели на него колонисты. Воленко поднялся на своем месте:
— Да бросьте возиться с этим... чудаком! Это хорошо Рыжиков сделал, что проверил у него карманы, а то на других думали бы. Подвесько обязательно еще раза два сопрет что-нибудь, за ним смотреть нужно...
Подвесько приложил кулачок к груди и вытянул шею к Воленко:
— Товарищ Воленко! Честное слово, больше никогда не буду!
— Посмотрим, а только отпусти его, Виктор, чего он середину протирает. Десять рублей — на занавес. Да и Подвесько, что такое,— лежало

плохо десять рублей, не заперто, он и стащил. Он думает, если замка нет, значит, возьми и купи себе шоколаду. А занавес — другое дело! Когда мы теперь соберем на занавес? Вот Первого мая праздник, а у нас и сцену закрыть нечем. Тут не Подвесько орудовал. Тут, понимаете, настоящий враг, да и не один. Такой занавес на руках в город не отнесешь, да и продать нелегко. В этом случае серьезный человек работал, большая сволочь! Вот кого найти нужно.

Прения по этому вопросу затянулись. Никто не высказывал никаких подозрений, но сходились в общем гневном утверждении: нужно найти врага и уничтожить. Все чувствовали, что враг этот и сейчас, вероятно, сидит на диване и слушает, при нем приходится решать вопрос о том, что нужно предпринимать. И поэтому всем показалось приятным предположение, высказанное Брацаном: не может быть, чтобы колонист пошел на такое дело, а у нас теперь живет в колонии двести человек строительных рабочих, и какой там народ, никто хорошо не знает. Они ходят в кино, они видели занавес, наверное, у них есть такая шпана. Залезли хоть бы и через окно и стащили. Им и продать легче, а может быть, просто поделили, костюмы сошьют.

На собрании сидел и строительный техник Дем, очень похожий на кота, усы у него торчком и все шевелятся. Дем попросил слова и сказал:

— Очень может быть, товарищи колонисты, очень может быть. Народ со всех сторон пришел. Я всех еще хорошо не знаю. Каменщики, конечно, не возьмут, за них я, можно сказать, ручаюсь. А вот чернорабочие, кто его знает, можно сказать, не могу ручаться.

Все это так было похоже на правду, что даже Захаров задумался и с надеждой посмотрел на Дема...

4. Первое мая

Все шло в колонии прежним строгим порядком. В шесть часов утра играл Володя Бегунок побудку:

Ночь прошла, вставайте, братья,
Наступает новый день.
Бросьте лень,
За мотор,
За верстак и за топор!
Нам
Встать пора к трудам!

И уже при весеннем утреннем солнце просыпается колония, шумит в спальнях и коридорах, затихает на поверку, наводняет вдруг столовую и потом разбегается по цехам и классам; чуть-чуть звенит рабочая тишина дня. В обед снова слышится смех, снова жизнь кажется искристой и шумной. И так до вечера, когда в классах собираются кружки, в парке отдыхающие, пацаны носятся, долетают звуки оркестра — сыгровка. И деловые, и дружеские, и серьезные, и зубоскальные движения как будто тонкими ниточками соединяются в руках строгого, подтянутого дежурства, которое все знает, все видит, всему дает направление и размах. И, может быть, в душе

дежурного бригадира всегда отражается и та глубоко спрятанная молчаливая тревога, которая у каждого возникает, когда он вспоминает ограбленный театр колонии. Может быть, потому о занавесе не говорят и не вспоминают, как не говорит о нем и дежурный, проверяя уборку в театре каждое утро.

Счастливым, душевным, ясным торжеством пролетели дни Первого мая. В городе колония прошла мимо трибуны вслед за войсками, прошла прекрасной взводной колонной с общим салютом, и оркестр играл «Военный марш» Шуберта. На трибуне радовались привету первомайцев, каждому взводу сказали отдельное приветствие, и видно было по выражению лица Крейцера, что он гордится своей колонией.

Ваня играл уже в оркестре. Второй корнет, на котором все приходится выделывать «эс-та-та», его, конечно, не удовлетворял, было завидно, что другие играют на первых корнетах и кларнетах, у них интересные, сложные «фразы», а у Вани никаких фраз, только «эс-та-та». Но такова уж судьба всех музыкантов: сначала они играют на вторых корнетах, а потом на первых.

Второго мая в колонию приехала целая группа военных — все командиры, и один даже с ромбом. Они осматривали колонию, ужинали с колонистами, а вечером были на спектакле. Перед спектаклем было общее собрание, бюст Сталина стоял на сцене, украшенный цветами. Когда оркестр проиграл на балконе три марша, Захаров подал команду, и знаменная бригада внесла знамя. Пока шло торжественное общее собрание, знамя стояло рядом с бюстом Сталина и возле знамени — два часовых с винтовками. Ваня ходил стоять к знамени вместе с Бегунком, стоять было и сладко и страшновато: а вдруг у Вани что-нибудь не так выходит.

Главный командир сделал доклад о международном положении, а в конце доклада сказал:

— Мы приветствуем вашу колонию еще и потому, что она поднимает на свои молодые плечи замечательное дело: завод электроинструмента. Красная Армия с гордостью примет вашу продукцию: она будет гордиться тем, что вашими руками сделаны эти машинки, которые мы сейчас импортируем из-за границы, конечно, в недостаточном числе, и платим за них золотом. Это прекрасно, что ваши молодые руки будут производить эти машинки, которые так нужны для обороны страны и которые избавят нас от импорта! А потом ваши руки возьмут винтовки, вы тоже будете в Красной Армии, будете стоять на защите нашей великой страны. И прямо вам скажу, думаю, что со мной согласны и все мои товарищи, присутствующие здесь: нам нравится, как вы живете, у вас счастливая дисциплина, красивая дисциплина, у вас замечательный почет красному нашему знамени, у вас все делается вовремя, с полным сознанием. Это правильно, и мы вас за это благодарим.

Ване приятно было слушать эти слова, и он воображал, как придет и его время, и он тоже будет в Красной Армии, и у него будет в руках винтовка — пусть попробует кто-нибудь подумать, что Ваня не сумеет защищать свою страну.

Он так заслушался командира, что забыл даже пораньше пройти в уборную. Дежурный бригадир шепнул ему:

— Тебя Маленький ищет.

Ваня побежал в уборную, моментально оделся, Маленький его намазал, привязал к плечам крылышки и дал в руки пальмовую ветку. Пьеса была написана Захаровым и называлась «Рэд Арми», что значит по-английски — Красная Армия. Ваня играл роль Мира. У него была трудная роль. Еще труднее была роль у Фильки Шария, который доказал-таки, что никто лучше него не сможет сыграть японского генерала.

На сцене было много всяких буржуйских генералов, они увешаны были оружием с ног до головы и все ссорились, то из-за угля, то из-за денег, а бедный Мир ходил между ними и просил:

— Дядя, дайте копеечку.

Генералы издевались над Миром и морили его голодом, а только во время драк прятались за него и кричали:

— Мы за мир!

Потом Мир окончательно изнемог и решил, что нужно как-нибудь заработать себе на хлеб. У него появляются ящик для чистки обуви и щетки. Публика в зале сильно хохотала, когда Ваня начинал чистить сапоги разным генералам и спрашивал их предварительно: «Вам черной?» Ваня эту фразу вставил по собственному почину, и Захарову она очень понравилась. Все-таки и работа по чистке генеральской обуви не поправила жизни Мира. А в это время за пограничным столбом росла и росла сила Красной Армии, все прибавлялось и прибавлялось страха у фашистов. И тогда Мир, радостный, перебрался через границу. Наступила для Мира хорошая жизнь, его приодели в новую рубашку и научили стрелять из пулемета. И только тогда стало тихо на сцене, и фашисты притихли и скалили зубы на красноармейцев.

Ваня очень удачно изображал Мир. Он умел и громко плакать, и хорошо чистить ботинки, и с радостным оживлением защищать себя рядом с Красной Армией. После спектакля его познакомили со старшим командиром, тот поставил его между колен и сказал:

— Ваня Гальченко! Молодец! Это вы правильно показали: только Красная Армия защищает мир, это правильно. А эти все вояки только и думают, как бы пограбить. Знаете что? А нельзя ли так устроить, чтобы вы к нам приехали, показали вашу пьесу! А?

Ваня даже сомлел на секунду от этих слов, побежал за кулисы и рассказал всем, какое предложение сделал ему командир. А потом и Захаров пришел за кулисы, и командиры. Было решено, что в ближайший выходной день драмкружок поставит свою пьесу в Доме Красной Армии.

И действительно, через неделю приехали автобусы и повезли оркестр и драмкружок в Дом Красной Армии. Всем зрителям очень понравилась пьеса. Оркестр играл вторую рапсодию Листа и «Фауста», и «Кармен», и «Кавказские этюды»[67], и «Гопак» Мусоргского, и еще одну вещь, которая всех развеселила — «Забастовка музыкантов». Она состояла в следующем.

Виктор Денисович, дирижер, подымает палочку, а музыканты начинают галдеть: не желаем играть, уморились, до каких пор играть! Так как действительно сыграли уже много, публика поверила искренности протеста, многие, конечно, и смутились таким поведением музыкантов, но раздались и отдельные возгласы:

— Отпустите детей, надо же им отдохнуть! В самом деле замучили!

В первом ряду сидел тот самый командир с ромбом и улыбался. Виктор Денисович сказал публике:

— Вы не обращайте внимания! У них, действительно, плохая дисциплина, но я их хорошо держу в руках. Пожалуйста: я буду дирижировать стоя к ним спиной, а они будут играть как тепленькие и ни одной ошибки не сделают.

Публика притихла перед таким оригинальным состязанием дирижера и оркестра. Но один голос все-таки крикнул:

— Отпустите ребят, не нужно их мучить!

— Они привыкли,— сказал Виктор Денисович.

Командир с ромбом громко захохотал. Виктор Денисович обратился к волнующемуся оркестру и сказал свирепым голосом:

— Марш «Походный»!

Музыканты, подавленные такой строгостью, заворчали, но подняли трубы. В публике даже привстали, чтобы лучше рассмотреть, как дирижер усмиряет своих музыкантов. Виктор Денисович повернулся к оркестру спиной и поднял палочку. И действительно, все замерло и в зале и на сцене. Дирижер взмахнул палочкой — и загремел веселый «Походный марш». Палочка бодро ходила над плечом дирижера, а его лицо гордо смотрело на публику. Но Филька Шарий первый встал со стула, махнул рукой, дескать, не буду больше играть, и ушел за кулисы. За ним с таким же протестующим жестом ушел Жан Гриф, потом Данило Горовой со своим басом. Музыканты уходили один за другим, но марш продолжался, и Виктор Денисович делал умильное лицо, наслаждаясь музыкой. Такое же лицо было у него и тогда, когда на сцене остались трое: Ваня, выделывающий «эс-тата», завывающий тромбон и большой барабан.

Публика до слез хохотала над дирижером и совсем изнемогла, когда ему пришлось дирижировать одним барабаном. Только теперь все поняли, в чем состоял секрет номера. Виктор Денисович оглянулся в панике и тоже бросился удирать.

Собственно говоря, этот номер не имел музыкального значения, но именно он окончательно сроднил публику с колонистами. Все смеялись, вызывали музыкантов, а потом со смехом повели их и актеров ужинать. Только поздней ночью были поданы автобусы, и, тепло провожаемые хозяевами, колонисты уехали домой. В эту ночь пришлось мало спать: рабочий день все равно начинался в шесть часов.

5. Штыковой бой

«Положение на фронте на 10 мая

Наш краснознаменный правый фланг энергично преследует разбитого противника. Сегодня девочки вышли на линию 30 июня, закончив план второго квартала.

В центре продолжается нажим металлистов. Выполняя и перевыполняя программу, металлисты вышли на линию 25 мая, идя впереди сегодняшнего дня на 15 переходов.

Левый фланг стоит на месте — на линии 15 марта. Но получены сведения из самых авторитетных источников (от Соломона Давидовича), что на левом фланге готовится решительная атака».

«Положение на фронте на 12 мая

Правый фланг, выполняя программу третьего квартала, вышел на линию 3 июля. Центр продолжает давление на синих, сегодня бои идут на семнадцать переходов впереди сегодняшнего дня на линии 29 мая.

На левом фланге сегодня не прекращается пушечная пальба — столяры полируют партию мебели».

«Положение на фронте на 14 мая

После кровопролитного штыкового боя наш славный левый фланг наголову разгромил синих, прорвал их фронт и бешено преследует. Взято в плен: 700 штук аудиторных столов, 500 чертежных столов, 870 стульев. Все пленные отполированы и сданы заказчику. Синие бегут, славные наши столяры сегодня вышли на линию 20 мая, идя впереди сегодняшнего дня на шесть переходов. Этот исторический бой имеет важнейшее значение: деморализованный противник по всему фронту находится очень далеко, наши части не могут его догнать! Колонисты, поздравляем вас с победой!»

Какие изменения произошли на диаграмме! Далеко-далеко отошла синяя линия врагов. У девочек она уже приближается к чудесному городу. Ваня Гальченко сегодня не может гордиться только своим «центром». Его захватывают общий успех колонии и красота кровопролитного штыкового боя у столяров. Ваня мечтательно всматривается в линию фронта, и его глаза ясно видят, как под синим шнурком прячутся японские и другие генералы, как оттуда смотрят их злые глаза. Ваня громко смеется:

— Ага! Побежали, смотрите!

Сегодня у диаграммы много столяров. Правда, их фланг еще отстает от других, но какой бой! На стадионе не помещается мебель, огромная площадь вокруг стадиона заставлена столами и стульями. Пока они не были собраны, легко было разместить их на стадионе. А когда собрали, они распухли и вылезли из стадиона.

Первый раз остановился перед диаграммой и Соломон Давидович. До сих пор он несколько презирал эту забаву мальчишек и высказывался так:

— Что там они... пускай себе играются. Какой-нибудь Борис Годунов!

Но сейчас и он стоит перед ватманом и внимательно слушает объяснения Игоря Чернявина. Потом спрашивает:

— Если я правильно понимаю, здесь имеются какие-то враги. Чего им здесь нужно, в колонии?

— Они мешают нам работать, Соломон Давидович, прямо под руки лезут.

— Что вы скажете! Кто же такие нахалы? Это, наверное, новенькие!

— Есть и старые, есть и новые. Кто спер занавес, неизвестно, но я думаю, что это из старых.

— А какое отношение имеет занавес к производственной части?

— А плохой лес? Если бы у нас был хороший лес, мы вышли бы по меньшей мере на линию 10 июня, видите?

Соломон Давидович подумал:

— Если бы у вас был хороший лес... с хорошим лесом каждый дурак выйдет на какую угодно линию и будет кричать, как болван. Но, во-пер-

вых, кто вам даст хороший лес, если вы не состоите на плановом снабжении, а, во-вторых, потребителю все равно, из какого леса кресло, лишь бы оно было хорошее кресло и имело вид приличный. Какие же еще у вас враги?

— Станки плохие...

— Тоже называется — враг!

— А как же! На хорошем станке...

— Что вы мне рассказываете: на хорошем станке! А кто будет работать на плохих станках? По-вашему, их нужно выбросить?

— Выбросить.

— Если такие станки выбрасывать, вам амортизация обойдется в копеечку, к вашему сведению. А где вы возьмете триста тысяч?

— Амортизация? А что это за зверь?

— Это, я вам скажу, зверь, который лопает деньги. Это тоже враг!

Появление на арене спора нового зверя, конечно, смутило Игоря. Но Соломона Давидовича уже окружили комсомольцы. Владимир Колос не испугался амортизации:

— Это еще неизвестно, кто больше лопает, амортизация или плохое оборудование. Я считаю, что за две смены мы теряем ежедневно из восьми рабочих часов три часа на разные неполадки.

— Правильно,— подтвердил Садовничий.

— Больше теряем,— сказал Рогов.

— Плохое оборудование — это выжимание соков,— с демонстративным видом заявил Санчо Зорин.

Соломон Давидович вертелся между юношами и не успевал в каждого говорящего стрельнуть возмущенным взглядом.

— Как они все хорошо понимают! Какие соки? Причем здесь соки? Из вас кто-нибудь выжал сок? Где этот сок, покажите мне, я хочу тоже посмотреть, может, этот сок для чего-нибудь пригодится!

— Щели замазывать!

Санчо Зорин смеялся в глаза, но у него не было неприязни к Соломону Давидовичу. Он даже ласково завертел в руках пуговицу старого пиджака Соломона Давидовича и сказал:

— Не из меня сок, а вообще. Вот я вам объясню, вот я вам объясню, вот послушайте.

— Ну хорошо, послушаю.

— Вы знаете генеральную линию партии?

— Любопытно было бы посмотреть, как я не знаю генеральной линии партии...

— Что партия говорит? Что? Из кожи вылезти, а создать металлургию, понимаете, металлургию, тяжелую промышленность! Средства производства! А не то, как разные там оппортунисты говорят: потухающая кривая и разные такие глупости. Из кожи вылезти, а давайте средства производства — металл, станки, машины. Вот!

— При чем здесь соки!

— Вы лучше нас знаете, Соломон Давидович. Старая Россия не имела средств производства, а работали разве мало? Мало, да?

— Порядочно-таки работали!

— А жили, как нищие, правда? А почему? Были плохие средства про-

изводства. Соки выжимали, а штанов не было. А когда будут хорошие машины, так куда легче. Хорошо будет жить! А на что это похоже: вы работаете от шести утра до двенадцати ночи. Видите? Не мои соки, а ваши...

Соломон Давидович задумался, губу выпятил на Зорина. Потом вздохнул, улыбнулся грустно:

— Это, конечно, вы правильно говорите, товарищ Зорин, но только я уже не дождусь, когда будут хорошие средства производства. Потухающая кривая — это, конечно, гадость, как я понимаю. Я боюсь, что моей кривой не хватит до металлургии.

Санчо с размаху обнял Соломона Давидовича:

— Соломон Давидович! Хватит! Честное слово, хватит! Вы посмотрите, вы только посмотрите!

У Соломона Давидовича пробежала по морщинистой щеке слеза. Он улыбнулся и с досадой смахнул ее пальцем.

— Чертова слабость, между нами говоря!

— Ничего, а вы посмотрите на фронт. Штыковой бой, легко сказать! А вот этот... новый завод! Чепуха осталась! «И враг бежит, бежит, бежит!»

— Может быть, он и бежит, а только посмотрим, куда еще мы выйдем с этим самым новым заводом. Расходы большие, ах, какие расходы! Сто каменщиков, легко сказать!

— Выйдем! Знаете, куда выйдем? Ой, я вам сейчас как скажу, так вы умрете, Соломон Давидович!

— Это уже и лишнее, товарищ Зорин!

— Нет, нет, не умрете! Мы выйдем на генеральную линию! Во!

— Что вы говорите? Каким образом мы так далеко выйдем?

— А что мы будем делать? Что? Электроинструмент!

Комсомольцы вдруг закричали все, захлопали Зорина и Соломона Давидовича по плечам:

— Санчо молодец! Электроинструмент — это и есть средства производства!

— А трусики?

— А ковбойки?

— А стулья?

Но Соломон Давидович тоже воспрянул духом:

— Не думайте, товарищи, что я ничего не понимаю в политике! И не морочьте мне голову! Стулья! Конечно, если сидеть на стуле и объясняться в любви, так это никакого отношения не имеет к производству и даже мешает. Ну а если человек сядет на стул и будет что-нибудь шить, так это уже производство. А чертежный стол? А масленка? Мы не такие уже оппортунисты, как некоторые думают. Но только и без штанов нельзя.

— Нельзя!

— Без штанов если человек, так вы знаете, как он называется?

— Нищий.

— Нет, хуже. Он называется прогульщик!

Шумной, галдящей, веселой толпой они вышли на крыльцо. Соломон Давидович погрозил пальцем:

— Вы хитрые со стариком разговаривать, а цветочки, цветочки любите.

Колонисты хохотали и обнимали Соломона Давидовича:

— Дело не в цветочках, дело в плане. Цветочкам свое место, а металлургии свое.

6. Лагери

15 мая начали строить лагери. Когда это слово «лагери» первый раз прокатилось в колонии, оно даже не произвело особенного впечатления, так мало ему поверили: легко сказать, лагери! Самые легковерные люди говорили:

— Ты что-то съел сегодня за завтраком?

Однако в совете бригадиров Захаров, как будто нечаянно, произнес:

— Да! Я и забыл, нам еще нужно поговорить по одному вопросику, мы получаем двадцать палаток, так вот...

Потом Захаров посмотрел на бригадиров и увидел, что они задохнулись от неожиданного удара. Он замолчал и позволил Нестеренко издать первый звук:

— Лаг... Черт... Да не может быть!

Палатки подарил тот самый военный с ромбом, которому так понравилась игра Вани Гальченко. Палатки были старенькие, выбракованные, пришлось даже заплаты положить кое-где, но... какие все-таки красивые палатки! Некоторые знатоки из четвертой бригады утверждали, что это палатки командирские, и им с удовольствием верили, другие, тоже из четвертой бригады, пытались утверждать, что это не палатки, а «шатры», но к такому утверждению все относились с сомнением.

Было намечено за парком красивое место для лагеря. Двадцать палаток решили ставить в одну линию, а какой бригаде на каком месте строиться, должен был решить жребий. На столе у Торского лежат одиннадцать билетов, Торский предложил бригадирам подходить по порядку номеров и тянуть свое счастье. Клава Каширина попросила слова:

— Пятая и одиннадцатая бригады просят дать им крайние места.

— Это почему такое? Каждому крайнее место приятно.

— А чем для тебя приятно?

— Раз для вас приятно, значит, и для нас приятно.

— Девочкам нужны крайние места.

— Да почему?

— Нам неудобно между мальчишками.

Раздались недовольные голоса:

— Это капризы! С какой стати: как девочка, так и всякие фокусы!

Клава серьезно нажимала:

— Мы просим крайние места.

Санчо Зорин не пропускал ни одного совета. Он и сейчас ввязался:

— Я предлагаю из принципа не давать им крайних мест.

— Из какого принципа?

— А из какого принципа вам нужны крайние места? Это значит, ты боишься: мальчики вас покусают.

— Не покусают, а девочки любят чистоту.

Тут и другие бригадиры возмутились. С каких это пор монополия на чистоту принадлежит девочкам? Клава рассердилась:

— Вам что, неряхам? В каких трусиках в цех идете, в таких и спите.
— Как там мы ни спим, а палатки вам по жребию!
— Мы тогда останемся в спальнях, — сказала Клава.
— В спальнях? — кто-то грозно подвинулся на диване. — В спальнях?
— А что же вы думаете? В спальнях и останемся. Если нам нужно переодеваться или еще что, так мы будем между мальчишками?
— Здесь нет мальчишек, — сказал хмуро Зырянский. — Есть колонисты, и все! И нечего разные тайны заводить в колонии. По жребию.
Ничего не могли поделать девчата, пришлось тянуть жребий. Может быть, надеялись на счастливый жребий, — не повезло: вытянули третье и восьмое места.
Завхоз выдал каждой бригаде крохотную порцию бракованного леса — для «ящиков». Мальчики возмущались:
— Степан Иванович, как же так без арифметики? Габариты какие? Четырнадцать метров на четырнадцать метров, а нары нужно из чего-нибудь сделать?
— Управитесь.
— Вы нас толкаете на преступление, Степан Иванович!
— Ничего, рискую! Посмотрим, какие вы сделаете преступления? У меня вы ничего не сопрете, предупреждаю.
— Хорошо, мы построим одни ящики, а спать будем прямо на земле, воспаление легких, чахотка, вам же хуже!
— Я потерплю. Думаешь, чахотке приятно иметь с тобою дело?
— Заболеем!
— Хорошо, рискую!
Совет бригадиров постановил: каждая бригада обязана лагери сдать семнадцатого. А время для работы по лагерям оставалось только вечером. Поэтому перед ужином на лагерной площадке, как на базаре: двести с лишним человек с топорами, пилами, веревками. Беспокойства, шума, заботы видимо-невидимо, но все же бросилось в глаза: девочки строятся на крайних десятом и одиннадцатом местах, и никто им не препятствует. Бригадир девятой Похожай, на что уже веселый человек, а и тот возмутился. Спрашивает:
— На каком основании вы здесь строитесь?
Девочки тоже плотничают, хохочут, дело у них с трудом ладится, но Похожаю ответили:
— Любопытный стал, товарищ Похожай. Иди себе...
— Я официально спрашиваю.
— Официально спроси у дежурного бригадира.
Похожай не поленился, нашел дежурного бригадира Руднева:
— Как это вышло? Почему девчата на крайнем месте строятся?
— А это очень просто. Они поменялись местами с четвертой и восьмой бригадами.
— Поменялись? С четвертой?
Побежал Похожай к Зырянскому:
— Почему ты поменялся с девчатами?
Зырянский поднял лицо от шершавой доски, которую прилаживал для полочки в палатке:
— По добровольному соглашению.

— А что ты говорил в совете?

— А в совете я говорил, чтобы они жребий тянули.

— А теперь ты, выходит, соглашатель.

— Нет, Шура, я настоял на том, чтобы они тянули жребий. Они и тянули. А то они вообразят такое! Подумаешь, девчата! Они девчата, давай им крайние места. Принципиально!

— Как же так, принципиально? А зачем же ты поменялся?

— А по добровольному соглашению. Хочешь, я и с тобой поменяюсь. Хочешь, у меня теперь третье место, а у тебя пятое. Могу поменяться с девочками, с мальчиками, все равно, с товарищем меняюсь, здесь ничего соглашательского нет.

Похожай махнул на Алексея рукой, но захотел еще проверить, как Нестеренко себя чувствует. Нестеренко ничего особенного в вопросе Похожая не увидел, ответил с замедленной своей обстоятельностью:

— Ага, я, конечно, поменялся, потому что они просили, да и нам с краю не хочется.

— А на совете?

— Чудак, так то же совсем другое дело! Там вопрос был, понимаешь, насчет равноправия. А поменяться? Почему ж? Вон Брацан с Поршневым тоже поменялся. Дело вкуса.

Похожай очень расстроился, отошел к парку, почесал за ухом, а потом улыбнулся и сказал вслух:

— Сукины сыны! А может... может и правильно! Ну что ты скажешь!

Вечером к Захарову пришел строительный техник Дем и сказал:

— Там колонисты досточки... строительные досточки берут для лагеря, кто пять, кто десять... Так вы бы сказали, что так нехорошо делать. Досточек, правда, не жалко, а учет нужен. Колонисты, знаете, хорошие мальчики, а все-таки учет необходим.

Молодой завхоз Степан Иванович прикинулся возмущенным:

— Душа из них вон, отнимите!

Дем замурлыкал, улыбаясь одними усами:

— Да как же я отниму, обижаться будут.

— Посмотрите, Степан Иванович, — распорядился Захаров.

Степан Иванович отправился в карательную экспедицию и возвратился с победой и с пленником:

— Хоть бы кто тащил, а то Зырянский! Другие бригады взяли по пять-шесть досточек, а этот целый воз!

Захаров сказал коротко:

— Алексей — объяснение...

— Объясню: это не кража. Лагери снимем — доски возвратим. Записано, сколько взяли, можно проверить.

— А почему так много?

— Так... для четвертой бригады и для одиннадцатой.

— Угу...

— Нельзя, надо помогать беднейшему крестьянству. Вы нам дали малую пайку, Степан Иванович, так пацаны достанут, а девочки стесняются.

— Стесняются?

— Да... что ж... Они еще не догнали мужчин в этом отношении.

Захаров серьезно кивнул головой:

— Вопрос исчерпан. Запишите, товарищ Дем, я подпишу. Осенью возвратим.

Вечером семнадцатого Захаров с дежурным бригадиром принял постройку лагерей. Он не забраковал ни одной палатки. Палатки стояли в один ряд, и на каждой трепыхался маленький флажок. Отдельно возле парка стояла палатка совета бригадиров, в которую переселился и Захаров. Михаил Гонтарь заканчивал проводку электричества. Проиграли сигнал «спать», никто спать не захотел, все ожидали, когда загорится свет. И Захаров ходил из палатки в палату, и везде ему нравилось. Потом вдруг все палатки осветились, колонисты закричали «ура» и бросились качать Мишу Гонтаря. Хотели качать и Захарова, но он погрозил пальцем. Тогда решили качать бригадиров. Перекачали всех, кроме Клавы и Лиды, а девочки сказали:

— Мы сами своих бригадиров, не лезьте!

Девочки долго хохотали, потом завесили палатку, там по секрету что-то кричали и еще хохотали и пищали невыносимо, выскочили оттуда красные. Пацаны четвертой бригады долго стояли возле этой палатки и так и не могли выяснить, качали девочки своих бригадиров или нет. Филька высказал предположение:

— Они не качали. Они не подняли их, а может, и подняли, так потом положили на землю и разбежались.

Эта гипотеза очень понравилась всей четвертой бригаде. Успокоились и пошли посмотреть, что делается в палатке Захарова. Там стоял стол, и Захаров работал, сняв гимнастерку. Это было совершенно необычно. Пацаны долго смотрели на Захарова, а потом Петька сказал:

— Алексей Степанович, почему это спать не хочется?

Захаров поднял голову, прищурился на пацанов и ответил:

— Это у вас нервное. Есть такая дамская болезнь — нервы. У вас тоже.

Пацаны задумались, тихонько выбрались из палатки Захарова, побежали к своей палатке. Зырянский недовольным голосом спросил:

— Где вы шляетесь? Что это такое?

Они поспешно полезли под одеяла. Филька поднял голову с подушки и сказал:

— Это, Алеша, нервы — дамская болезнь!

— Еще чего не хватало, — возмутился Зырянский, — дамские болезни! В четвертой бригаде! Спать немедленно!

Он потушил свет. Пацаны свернулись на постелях и смотрели в дверь. Видны были звезды, слышно, как звенят далекие трамваи в городе, а на деревне собаки лают так симпатично! Ваня представил себе Захарова в галифе и в нижней рубашке, и Захаров ему страшно нравился. Ваня подумал еще, какие это нервы, но глаза закрылись, нервы перемешались с собачьими голосами, и куда-то все покатилось в сладком, замирающем, теплом счастье.

7. Сердце Игоря Чернявина

Школа заканчивала год. Колонисты умели, не забывая о напряженных делах производственного фронта, забывать об уставших мускулах. Каждый в свою смену с головой погружался в школьные дела.

В школе было так же щепетильно чисто, как и в спальнях, лежали дорожки, везде стояли цветы, и учителя ходили по школе торжественно и говорили тихими голосами.

Подавляющее большинство колонистов любило учиться и отдавалось этому делу с скромной серьезностью — каждый понимал, что только школа откроет для него настоящую дорогу. Колония успела сделать уже несколько выпусков, в разных городах были студенты-колонисты, а из фонда совета бригадиров студентам выплачивались дополнительные стипендии по пятидесяти рублей[68]. Многие из бывших колонистов были в военных и летных школах.

На праздничные и на летние каникулы студенты и будущие летчики приезжали в колонию. Старшие встречали их с дружеской радостью, младшие — с благоговейным удивлением. И сейчас ожидали их приезда и разговаривали о том, в какой бригаде остановится тот или другой гость. Путь этих старших был соблазнительным и завидным, и каждому колонисту хотелось подражать старшим.

Игорь Чернявин школой увлекся нечаянно. Сначала повезло по биологии, а потом открылись в нем какие-то замечательные способности литературные. Новая учительница Надежда Васильевна, очень молодая, комсомолка, прочитала одно сочинение Игоря и сказала при всем классе:

— Игорь Чернявин... очень интересная работа, советую обратить серьезное внимание.

Игорь улыбнулся саркастически: вот еще не было заботы — обращать внимание! Но незаметно для него самого литературные тексты и свои и чужие — писательские — стали ему нравиться или не нравиться по-новому. Вдруг так получилось, что над любым заданием по литературе он просиживал до нестеренковского протеста. По другим предметам брел кое-как до тех пор, пока однажды Надежда Васильевна не подсела к нему в клубе:

— Чернявин, почему у вас так плохо стало с учебой?

— По литературе? — удивился Игорь.

— Нет, по литературе отлично. А по другим?

— А мне неинтересно... знаете, Надежда Васильевна.

Она вздернула верхнюю полную губу:

— Если по другим предметам плохо, то вам и литература не нужна.

— А вдруг я буду писателем?

— Никому такой писатель не нужен. О чем вы будете писать?

— Мало ли о чем? О жизни, например.

— О какой же это жизни...

— Понимаете, о жизни...

— О любви?

— А разве плохо о любви?

— Не плохо. Только... о чьей любви?

— Мало ли о чьей...

— Например...

— Ну... человека, любит себе человек, влюблен, понимаете?

— Кто? Кто?

— Какой-нибудь человек...

— Какого-нибудь человека нет. Каждый человек что-нибудь делает, ра-

ботает где-нибудь, у него всякие радости и неприятности. Чью любовь вы будете описывать?

Игорю стыдно было говорить о любви, но, с другой стороны, вопрос поднят литературный, ничего не поделаешь...

— Я еще не знаю... Ну... мало ли, чью. Например, учитель влюбился, бывает так? — Бывает, учитель... учитель какого предмета?

— Например, математики.

— Видите, математики. Как же будете описывать, если вы математики не знаете? Наконец, не только же любовь — тема. Жизнь очень сложная вещь, писатель должен очень много знать. Если вы ничего не будете знать, кроме литературы, то вы ничего и не напишете.

— А вы вот... знаете... только литературу.

— Ошибаетесь. Я знаю даже технологию волокнистых веществ, кроме того, я знаю хорошо химию, я раньше работала на заводе и училась в техникуме. Вы должны быть образованным человеком, Игорь, вы все должны знать. Горький все знает лучше всякого профессора.

Незаметно для себя Игорь заслушался учительницу. Она говорила спокойно, медленно, и от этого еще привлекательнее казалась та уверенная волна культуры, которая окружала ее слова. На другой день Игорь нажал и на всех уроках активно работал. Понравилось даже, прибавилось к себе уважения, Игорь твердо решил учиться. И вот теперь, к маю, он выходил отличником по всем предметам, и только Оксана Литовченко не уступала ему в успехах. Прозевал как-то Игорь тот момент, когда переменился его характер. Иногда и теперь хотелось позлословить, показаться оригинальным, и, собственно говоря, ничего в нем как будто не изменилось, но слова выходили иные, более солидные, более умные, и юмор в них был уже не такой. И однажды он спросил у Санчо Зорина:

— Санчо, знаешь, надо мне в комсомол вступить... Давай поговорим.

— Давно пора, — ответил Зорин. — Что ж? У тебя никакой дури не осталось. Мы тебя считаем первым кандидатом. А как у тебя... вот... политическая голова работает?

— Да как будто ничего. Я к ней присматривался — ничего, разбирается.

— Газеты ты читаешь, книги читаешь. Это не то, что тебя... натягивать нужно. Пойдем поговорим с Марком. Игорь начал ходить на комсомольские собрания. Сначала было скучно, казалось, что комсомольцы разговаривают о таких делах, в которых они ничего не понимают. В самом деле, Садовничий делает доклад о семнадцатом съезде партии! Какой может сделать доклад Садовничий, если он только и знает то, что прочитал в газетах? Садовничий, действительно, начал рябовато, Игорь отмечал для себя неоконченные предложения, смятые мысли, заикание. Но потом почему-то перестал отмечать и незаметно для себя начал слушать. Как-то так получалось, черт его знает: Игорь тоже читал газеты, но кто его знает, решился ли бы Игорь сказать те слова, которые очень решительно произносил Садовничий.

— Конечно, мы не захватили старой жизни, но зато остатки и нам пришлось расхлебать. Царская Россия была самой отсталой страной, а сейчас мы знаем, что семнадцатый съезд Коммунистической партии подвел итоги. Мы закончили пятилетку в четыре года и не с пустыми руками: Магнитогорск есть? Есть. А Кузбасс есть? Тоже есть. А Днепрогэс, а Харьковский тракторный есть? Есть. А кулак есть? А кулака нет! Наши ребята кулака

хорошо знают, многие поработали на кулака, а сейчас кулак уничтожен как класс, а мы построили первое в мире социалистическое земледелие, основанное на тракторном... тракторном парке, а также и комбайны. Мы знаем, как троцкисты говорили и как говорили оппортунисты. Каждый коммунар на своей шкуре их хорошо понимает: если поступать по-ихнему, то тогда все вернется по-старому. А такие пацаны, как мы, опять будем коров пасти у разной сволочи... извините, у разной мелкой буржуазии, которая хочет иметь собственность и всякие лавки и спекуляцию. Колония им. Первого мая не пойдет на такую провокацию. Конечно, каждый колонист хочет получить образование, а все-таки мы будем делать электроинструмент и развивать металлообрабатывающую промышленность. А что пояс подтянуть придется, так это не жалко, ничего нашему поясу от этого не сделается, потому что мы граждане великой социалистической страны и знаем, что к чему. Вот я вам сейчас расскажу о постановлениях семнадцатого съезда Коммунистической партии большевиков, а вы сразу увидите, как все делается по-нашему, а не по-ихнему.

Игорь слушал и все понимал наново. Еще лучше стал он понимать, когда заметил в соседнем ряду Оксану Литовченко. В том, как слушала она, было что-то трогательное: вероятно, Оксана забыла, что она хорошенькая девушка, что многим хочется полюбоваться ее лицом, она сидела чуть склонившись вперед, заложив руки между колен, отчего еще теплее собирались складки темной юбки и отчего притягательнее становилась мысль, что Оксана — сестра и товарищ. Так склонившись, она неотрывно, не моргая смотрела на сцену, слушала оратора Садовничего, а Игорю стало до очевидности ясно, что Оксана лучше понимает то, что говорит Садовничий, и глубже переживает. И Игорь тихонько отвернул от нее лицо и нахмурил брови. Ему страшно захотелось, чтобы он, Игорь Чернявин, всегда был настоящим человеком. Он долго, внимательно и доверчиво слушал Садовничего и наконец понял, что Садовничий комсомолец, а Игорь еще нет. И тогда, посмотрев на зал, он подумал, что с такой компанией можно идти очень далеко, идти честно и искренно, так же, как говорит Садовничий, как слушает Оксана.

Часто, оставаясь наедине, Игорь думал о том, что он, безусловно, любит Оксану. Игорю нравилось так думать. Он много прочитал книг за этот год в колонии и научился разбираться в тонкостях любви. Слово «влюблен» казалось уже ему мелким и недостойным словом для выражения его чувств. Нет, Игорь именно любит Оксану. Иногда он сожалел, что эта любовь прячется где-то в груди, и сам черт не придумает, как ее оттуда можно вытащить и показать. Ему нравилась история Ромео и Джульетты, он ее прочитал два раза. Те места, в которых высказываются слова любви, он перечитывал и думал о них. Может быть, если бы пришлось, Игорь нашел бы еще более выразительные слова, но ему не хотелось умирать вместе с Оксаной где-нибудь среди мертвецов. С этой стороны «Ромео и Джульетта» ему не нравилась. Он находил много непростительных глупостей в действиях героев трагедии, во всяком случае, было одно несомненно: эти герои были очень плохие организаторы — в самом деле, придумать такой девушке дать снотворное средство, а потом хоронить! Интересно, что такого же мнения был Санчо Зорин, которого Игорь заставил почитать «Ромео и Джульетту»:

— Чудаки какие-то... эти... Лоренцо — старый черт, а с таким пустяком не справился, кого-то послал, а того не впустили — на объективные причины сворачивает. Вот если бы он знал, что ему за это отдуваться на общем собрании, так он бы иначе действовал. И Ромео твой шляпа какая-то. Мало ли чего? Кто там в ссоре и кто там не позволяет. Раз ты влюбился, так какое кому дело — женись, и все!

Игорь смотрел на Санчо свысока. Санчо понятия не имеет, что значит влюбиться, нет, не влюбиться, а полюбить. Женись, и все! Дело совсем не в женитьбе, а жениться вовсе не обязательно, Игорю жениться не хотелось. Во-первых, потому, что нужно кончать школу, во-вторых, потому, что даже представить трудно, какой хай поднялся бы в колонии, если бы Игорь обратился в совет бригадиров... Ха!

Игорь никому не говорил о своей любви, и Оксана, может быть, ни о чем не догадывалась. Странное дело: пока Оксана жила у этого самого... адвоката, ничуть не страшно было демонстрировать свое исключительное к ней внимание. С того дня, как она стала колонисткой, Игорь боялся с нею разговаривать даже об африканском циклозоне, с которым она возилась в биологическом кружке и который, между прочим, всем надоел. Потом Оксана вступила в комсомол, и в ее лице появились новые черты — самостоятельности и покоя. От всех девочек она отличалась удивительно приятным соединением бодрости, быстроты и в то же время мягкой, внимательной тишины. Она несколько раз уже выступала на общих собраниях, и как только она получала слово, в зале все начинали выглядывать из-за соседей, чтобы лучше видеть Оксану. Произнося речь, она умела с особенной мягкой стремительностью поворачивать голову то к одному, то к другому слушателю, смотреть ему в глаза, чуть-чуть улыбаясь, убеждать, внушать ласково, просто уговаривать. И каждый такой объект неизменно заливался краской, а Оксана спешила обратиться к другому. В таком стиле она произнесла однажды речь о необходимости помочь соседнему колхозу в прополке картофеля:

— Мои товарищи! Как же вы не поможете людям, если у них еще не устроено? У них трудное время, они еще коллективно не привыкли робыть, а вы привыкли, так как же вы не поможете? Мы сильные люди, последователи Ленина, кажу вам, товарищи, пойдем и поможем, с музыкой пойдем, не в том только дело, сколько мы картошки пройдем прополкой, а в том, что и они глазами побачут, как красиво и богато можно жить при социализме. А потом они к нам придут, может, в чем помогут, а может, и так потанцуют с нами та посмеются. Вот я вам и говорю: дорогие хлопцы и девчата, не нужно так говорить, чем мы там поможем, а решайте по-хорошему.

Она красиво говорила, Оксана, в особенности мило выходили у нее украинские редкие срывы и нежное «л» в таких словах, как «прополка» или «хлопци». И хотя никто и не думал возражать против помощи, но всем казалось, что это Оксана их убедила. И потом на колхозном поле все смотрели на Оксану, как на хозяйку, радовались ее оживлению, и только пацаны не могли иногда удержаться и докладывали Оксане с серьезными лицами, но с итальянским прононсом:

— Наша славная четвертая бригада уже прополола!

Они бросали на нее проказливые взгляды, но далеко не прочь были с радостью принять от Оксаны ласковую улыбку и ласковый ответ:

— От и добре, хлопци!

Игорь не обладал такой смелостью, какая была у пацанов. Он иногда разговаривал с Оксаной о классных и колонистских делах, но, если никого не было третьего, не позволял себе острить и больше всего боялся, как бы Оксана не заметила, что он может покраснеть. Зато, если собиралась целая группа колонистов и колонисток, Игорь острил на полный талант. Он тогда уверял слушателей, что африканского циклозона обязательно украдет Рыжиков, украдет, зажарит и слопает. Бывало, что и Рыжиков стоит тут же и слушает, а потом хохочет вместе со всеми, как и полагается хорошему товарищу. Игорь был доволен вниманием товарищей, но истинной наградой за остроумие могла быть только улыбка Оксаны. Она и улыбалась всегда, но Игорь понимал, что эта улыбка — мелочь, из приличия. Досадно было, что, улыбаясь, Оксана обращалась немедленно с каким-нибудь посторонним вопросом к соседке-подружке. И получалось как-то очень прохладно: остроумие Игоря признавалось, как одно из самых обыденных приятных явлений, вроде хорошей погоды. Только один раз Оксана пришла в настоящее восхищение и хотя смеялась недолго, но посмотрела на Игоря взглядом... буквально любовным. Это вышло после того, как все хвалили красоту прошедшего мимо дежурного бригадира Васи Клюшнева, а Игорь сказал, воспользовавшись недавними впечатлениями восьмого класса:

— Он похож на Дантеса, хотя с Пушкиным не знаком.

Вася Клюшнев был хороший бригадир, но по литературе у него были очень плохие дела.

8. Мертвый час

Когда окончились школьные занятия, Захаров сказал на общем собрании:

— Дела наши идут хорошо. Завод строится, скоро начнут прибывать станки, план мы выполняем, а на текущем счету прибавляются деньги. И в коллективе у нас более или менее благополучно, если не считать печального события с театральным занавесом. Сейчас вы будете отдыхать от школьных работ, но полных каникул в этом году мы устроить не можем, все колонисты это понимают. Все-таки нужно подумать и о здоровье. Николай Флорович сейчас скажет об этом.

А потом на трибуну вышел Колька-доктор и такого наговорил, что колонисты только шеи вытягивали от удивления. Во-первых, нужно восстановить пятичасовой чай, во-вторых, всеобщий и самый подробный медицинский осмотр, в-третьих, какие-то особые купанья, в-четвертых, мертвый час после обеда, в-пятых, в-шестых и т. д. Еще Колька-доктор не кончил, а со всех сторон посыпались возражения: для Кольки новый завод, очевидно, не представляет никакого интереса. Колька хочет, чтобы деньги растрачивались на разные пятичасовые чаи, которые все равно пить некогда, а потом, что это такое за новость: мертвый час? Что колонисты — больные люди или какие-нибудь отдыхающие, все равно никто на этом самом мертвом часе спать не будет. Сейчас оканчиваем работу в четыре часа, а то будем оканчивать в пять, а потом чай пить, а когда жить? По-Колькиному выходит: спать, чаевать, ходить к доктору, так это называется жизнь? А если в во-

лейбол или еще что, так некогда, потому что Колька будет все лечить и лечить...

Колька все эти возражения слушал со злым лицом и снова взял слово:

— К-какие некультурные л-люди! Ч-черт его з-знает, ч-чепуху к-какую...

И давай доказывать. Где-то навыдирал цифр разных, выходило по-Колькиному, что уничтожение «первого ужина» не составило никакой экономии: сколько раньше проедали, столько и теперь проедают. И теперь за ужином лопают так, что повар в ужас приходит!

— Ничего подобного!

— К-как ничего подобного? А п-пускай Алексей Степанович с-скажет!

Никогда не бывало, чтобы Захаров смущался, а теперь смутился, посмотрел на Кольку сердито, махнул рукой:

— Да... Николай! Как это никакой экономии? Экономия есть все-таки... все-таки меньше идет на пищу!

Колька даже зарычал:

— Меньше? Меньше? А я скажу, ничуть не меньше. Я в-вот в б-бухгалтерии все в-взял: т-то-же с-самое! Сколько ели, столько и едят. А т-только неправильно, нужно в пять ч-часов чай.

Захаров вдруг рассмеялся, сел на место с таким видом, как будто с этим Колькой вообще разговаривать не стоит. Колонисты бросили вопрос о «первом ужине», а напали на мертвый час. Выходило так, что Колька напрасно затевал все эти фокусы.

Зырянский лучше всех сказал:

— Все знают, как мы уважаем дисциплину. А только как ты меня, Николай, можешь заставить спать? Даже и глаза закрою, откуда ты узнаешь, что я сплю? А если мне спать не хочется? Ничего не выйдет.

Но Колька изменил тон, что-то такое начал говорить медицинское, об организме, о нормах сна. И Захаров в этом деле поддержал доктора:

— Ребята! Против мертвого часа даже неприлично как-то возражать. Неужели мы с вами такие некультурные люди, ничего не понимаем? Мертвый час нужно ввести. Это будет очень полезно. Мало ведь спите. Сигнал «спать» играем в десять, а все равно после сигнала еще час проходит, пока заснете, а некоторые читатели, например Чернявин, так и до двенадцати ухитряются.

После таких разговоров неловко было провалить проект мертвого часа. С ворчанием и с натянутыми лицами подняли руки за мертвый час и уходили с собрания недовольные. Оглядывались и спрашивали:

— Так это с какого дня? Завтра? Вот еще придумали, честное слово!

На другой день в приказе услышали: мертвый час после обеда в обязательном порядке! Колька прошел через столовую с гордым видом, тоже организатор, мертвый час организовал!

После обеда в лагерях Володька Бегунок играл сигнал «спать». Светит жаркое солнце, энергия бурлит в каждом кусочке тела, а Володька играет сигнал «спать». И все смотрели на Володьку с осуждением. Но Захаров пошел по палаткам, и вид у него был такой серьезный, что никто не сказал ни слова.

Захаров сидел в своей палатке и прислушивался. Какой же это мертвый час, если по всему лагерю стоит говор, просто лежат в постелях и стараются тихонько разговаривать, а тихонько разговаривать не умеют, смеются же

обыкновенно — громко. И у девочек громкий шепот и смех, а в четвертой бригаде возня, сопенье, такое впечатление, как будто там боксом занимаются. Захаров напал на какую-то одну бригаду:

— Постановили? Чего это разошлись? Сказано: мертвый час, — значит, спи. Прекратите разговоры!

Говорил он напористо, вот-вот кому-нибудь наряд или что-нибудь подобное всыплет. Самые разговорчивые люди сомкнули уста. Захаров послушал-послушал — тишина. Он возвратился в палатку, где сидел за столом и что-то записывал дежурный бригадир Воленко.

— Через четверть часа пройдешь посмотришь, — сказал Захаров.

— Есть.

— Честное слово, придется кого-нибудь из бригадиров под арест посадить...

Воленко ничего не сказал, он тоже разделял общее мнение, что мертвый час плохо придуман. Захаров сидел в палатке и ревниво прислушивался. Тишина стояла изумительная, даже ночью такой тишины не бывало. Захаров тоже вытянулся на постели, расправил плечи, сказал тихо:

— Чудаки! Такое добро, а они еще... топорщатся.

— Времени жалко, — так же тихо ответил Воленко.

— Ничего... А смотри, спят, — значит, нужно.

И на это Воленко ничего не ответил, вышел из палатки. Легкий шум его шагов моментально пропал в общей тишине. Возвратился Воленко скоро, присел к столу, у дежурного бригадира всегда найдется дело.

— Спят? — спросил Захаров.

— Спят.

Через несколько минут в палатку заглянул Колька-доктор, хитро подмигнул на лагери и зашептал:

— В-видите? Г-говорил... с-спят как м-миленькие!

Колька с довольным видом, на носках прошел вдоль палаток. Долго прислушивался возле некоторых, но возвратился счастливый:

— Р-раз для организма н-нужно... организм с-сам з-знает...

Он тоже присел на нары к столу, но говорить боялся: в мертвый час разговаривать не полагается. Он сидел, посматривал на часы-ходики. Захаров шепнул:

— Как медленно время тянется! За работой — другое дело!

Колька кивнул в знак согласия.

За пять минут до конца мертвого часа Воленко вытащил откуда-то Бегунка. Володя пришел свежий и радостный, лукавые его глаза не могли оторваться от Кольки-доктора, но трубу свою он все-таки нашел быстро. Воленко посмотрел на часы и сказал:

— Давай, Володя!

Володя по обыкновению своему салютнул трубой и выскочил на площадку. Высокий и раздольный сигнал побудки вдребезги разнес мертвую тишину, но с первым звуком сигнала в лагерях произошло что-то странное, Захаров испуганно вскочил с кровати: это была ни на что не похожая смесь из криков «ура», аплодисментов, торжествующих воплей, хохота и многих других совершенно невыносимых знаков восторга. Слышно было, что и девочки приняли участие в этой какофонии. Захаров выглянул из палатки: даже солидные колонисты кричали «ура» и воздевали руки, па-

цаны носились по лагерю как бешеные, Колька-доктор высунул наружу покрасневшее лицо:

— Вот... м-мерзавцы! Они не с-с-спали!

Возле «штабной» палатки моментально собралась толпа. А Володька с самым наивным видом ходит по линии и повторяет сигнал побудки. Захаров поправил пенсне:

— Видите, как хорошо! Отдохнули, поспали, теперь со свежими силами можно и за работу.

Колонисты смеялись откровенно, но никто не возразил против того, что, действительно, поспать после обеда очень полезно.

На другой день мертвый час начался без инцидентов. Только через десять минут Захаров поймал Ваню Гальченко и Фильку в разгаре самой увлекательной игры: выкатившись из палатки под задним ее полотнищем, они попеременно придавливали друг друга к земле и торжествовали победу. Никаких слов они в это время, конечно, не произносили, потому что был мертвый час, но дыхание их и другие какие-то звуки, не то звуки угрозы, не то выражение торжества, разносились по всему лагерю. Захаров стоял над ними и укорительно смотрел. Филька первый заметил опасность, сделал серьезное лицо и недовольно поднялся с Ваньки. У него было такое выражение, как будто ни для кого не составляло сомнений, что он ни в чем не виноват, а виноваты какие-то зловредные силы, против которых Филька ничего не мог поделать, хотя отрицал их с самого начала. Ваня испугался без всякого притворства, смотрел Захарову в глаза и в замешательстве ожидал возмездия.

Захаров обратился к Фильке:

— Здорово! Будешь оправдываться, конечно?

Этот прозрачный намек Филька пропустил мимо ушей.

— Почему же ты не споришь? — шепотом продолжал Захаров.

Филька таким же шепотом ответил:

— А чего же оправдываться, все равно я буду виноват.

— И я так думаю. Вон там стоит дневальный, ему нельзя воспользоваться мертвым часом. Пойди подежурь за него, а он пусть поспит.

Из-за угла палатки был виден Семен Гайдовский, стоявший с винтовкой под деревянным грибом. Филька посмотрел на Семена и сказал хмуро:

— Семен тоже спать не хочет.

— Откуда ты знаешь?

— Так никто не хочет.

— Но вы больше всех не хотите, я вижу. Стань на дневальство до конца мертвого часа.

— Так не один же я.

— Хорошо, разделите. Одним словом, снимите Семена с дневальства.

И Филька и Ваня одновременно подняли руки и прошептали: «Есть». Захаров ушел к себе, и снова над лагерем повисла сонная тишина. На этот раз многие колонисты действительно спали — при самом большом упрямстве не так долго можно молча пролежать с открытыми глазами.

Ваня встал на дневальство первым. В первую минуту ему показалось, что жизнью можно наслаждаться и под деревянным грибком, с винтовкой в руках. Но сонный покой лагеря был такой сочный, так единодушно объединялся с жарким солнцем, что Ване скоро стало скучно. Он поднял

винтовку одной рукой и потихоньку побрел по границе лагеря. Посмотрев влево, он вдруг заметил, что из-под тыльной части третьей в ряду палатки торчат чьи-то голые ноги. Ваня остановился и продолжал смотреть. Ноги лежали неподвижно, можно было подумать, что их обладатель тоже придается мертвому часу, но по неуловимому колебанию белого полотнища палатки можно было догадаться, что человек что-то делает. Через минуту и ноги заерзали по траве и вытащили из-под палатки сначала прикрытый трусиками зад, потом голую спину, и наконец вылезла рыжая голова. Рыжиков смотрел на Ваню сначала пристально, потом сонно-небрежно, потом совсем забыл о нем и стал смотреть на небо. А в это время его руки снова протянулись по земле и скрылись в палатке. Ваня подошел к нему с винтовкой:

— Чего ты здесь лежишь?— спросил он глухим шепотом.

— А тебе какое дело?— шепотом ответил и Рыжиков.

— Это палатка десятой бригады, а почему ты здесь лежишь?

Небрежным движением Рыжиков вытащил руки из-под борта и потянулся сладко:

— А так... люблю на открытом месте... поспать.

— Иди отсюда,— приказал Ваня.

Рыжиков вдруг по-настоящему проснулся. Ослепшими от сна глазами он осмотрелся:

— Смотри ты куда закатился! От... смотри ты!

Он нехотя поднялся на ноги и побрел к палатке первой бригады, что-то бормоча и оглядываясь во все стороны. Может быть, он надеялся увидеть те таинственные силы, которые незаметно перенесли его к чужой палатке. Ваня удивленно смотрел ему вслед, а когда он скрылся, Ваня быстро присел, поднял борт палатки и заглянул внутрь. В десятой бригаде все спали. На земле у самого борта лежали чьи-то брюки, а рядом с ними черненький с замочком кошелек.

Ваня опустил борт и озабоченно поспешил к своему посту.

9. Сердитый дед

В четвертой бригаде все прибавлялось и прибавлялось хлопот и впечатлений, не говоря уже о делах, но души не уставали все перемалывать. Уставали к вечеру только ноги, Филька, впрочем, уверял: это оттого, что босиком.

Каменщики давно закончили стены и перешли к новым делам: гараж, фундаменты для станков, какая-то сложнейшая сушилка в новой большой литейной. На стенах ходили плотники и кровельщики. Дем бегал по колонии расстроенный, каждому встречному жаловался:

— Дефицитное дело, кругом дефицит: плотники — дефицит, бетонщики — дефицит, чернорабочие — тоже, представьте себе, дефицит!

Даже четвертой бригаде Дем рассказал о всеобщем дефиците и еще прибавил:

— Вы понимаете, товарищи колонисты, до чего разбаловался народ. У нас срочное дело, а они все на Турбинстрой! Обязательно им подавай Турбинстрой, все туда хотят, потому... конечно... там и спецовку дают...

Четвертая бригада не успевала зародить в своих душах сочувствие Дему: Турбинстрой — легко сказать — Турбинстрой! Что-то неопределенно торжественное и величественное возникало при этом слове, и пацаны спрашивали Дема:

— А где это?

Дем шевелил пушистыми усами, и круглые глазки страдальчески щурились на пацанов:

— Да везде: вот сейчас нужно вагранку...[69]

— Нет, где этот... Турбинстрой?

И только в этот момент Дем соображал, что он напрасно разговаривает с мальчишками. Они способны задавать ему глупые вопросы о Турбинстрое, который для Дема имел только одно значение: он отвлекал рабочую силу. И Дем бежал дальше, а пацаны продолжали жить с еще более ошеломленными душами, ибо к Турбинстрою вдруг прибавилась вагранка. Это слово давно мелькало в мире, самое замечательное и самое металлическое слово, оно даже встречалось в стихотворениях, но его роскошь всегда казалась роскошью недоступной. А теперь Дем произнес его с невыносимой будничной миной, он сказал, что нужно... вагранку!

Каждый день прибывают станки. Их привозит Петро Воробьев на своем грузовике, они запакованы в аккуратные ящики. Соломон Давидович, пребывающий обычно в каком-нибудь дальнем производственном захолустье, одним из последних узнает о прибытии грузовика. Поэтому он, испуганный, выбегает из-за угла здания и на бегу в ужасе воздевает руки и кричит:

— Что вы делаете? Что вы делаете?!

Он врывается в толпу вокруг полуторки, и некогда ему поднять руку к старому сердцу, некогда перевести дыхание:

— Немедленно слезьте с грузовика! Это вам не какая-нибудь коза, это вам «Вандерер»!

Четвертая бригада всегда прибегает к станкам первая и всегда отвечает Соломону Давидовичу:

— Мы разгрузим, Соломон Давидович, мы разгрузим!

Соломон Давидович выпячивает гордо нижнюю губу:

— Как вы можете такое говорить? Кто это вам позволит разгружать импортное оборудование? А куда это старшие подевались?

Но уже и старшее поколение спешит к полуторке: Нестеренко, Колос, Поршнев, Садовничий. И Соломон Давидович обращается к ним почти как к равным:

— Будьте добры, товарищ Нестеренко, вы же понимаете: это универсально-фрезерный «Вандерер», удалите отсюда этих мальчиков.

Нестеренко делает движение бровями, пацаны слетают с грузовика и терпеливо наблюдают, пока на руках старших огромный ящик с «Вандерером» мягко сползает с платформы. Широкая дверь склада с визгом раскрывается, в руках у старших появляются ломы и катки, теперь для всех найдется дело. Когда пацаны бросаются к лому, Нестеренко досадливо морщится, но потом его досада принимает приемлемые формы:

— Да шо вы там сделаете вашими руками! Животами, животами! Наваливайся животами.

И четвертая бригада в полном составе дрыгает ногами, морщит лбы и

носы. Сорокапудовый ящик приподнимается ровно настолько, чтобы подложить каток. Нестеренко смеется:

— Сколько на килограмм идет этого пацанья? Наверное, десяток!

Когда ящик с «Вандерером» скрывается в полутемном складе и кладовщик вкусно гремит засовами и замком, четвертая бригада спешит к новым делам и по дороге спорит:

— Это фрезерный!

— Понимаешь ты, фрезерный! Не фрезерный, а универсально-фрезерный!

— Это по-ученому универсально, а так просто фрезерный!

— Ох! Сказал! Просто! Есть вертикально-фрезерный, а есть горизонтально-фрезерный, а это универсально!

— Вот смотрите! Какой фрезеровщик! Вертикально! А ты и не понимаешь, как это вертикально!

— Вертикально! А что, нет?

— А как это вертикально? Ну скажи!

— Вертикально — это значит вот так, видишь?

Грязноватый палец торчит перед носами слушателей, потом он торчит в горизонтальном положении.

— А универсально?

— А универсально это... как-то еще...

— Вот так?

— И не так вовсе...

— А может, так?

— Чего ты, Колька, задаешься? Так, так... Я тебе говорю «универсально», а ты пальцем крутишь. Не веришь, так спроси у Соломона Давидовича.

Однако и Соломону Давидовичу некогда и четвертой бригаде некогда. Не успели поспорить о «Вандерере», как пришли еще более знаменитые станки: «Цинциннати», «Марат», «Рейнекер», «Людвиг Леве» и маленькие, совсем маленькие токарные, которые Соломон Давидович называл «Лерхе и Шмидт», а четвертая бригада считала, что благозвучнее будет называть «Легкий Шмидт». Каждый станок приносил с собой не только странные имена, но и множество новых спорных положений. Вокруг шлифовальных спор разгорелся на целую неделю, и Зырянский однажды вечером закатил выговор всей бригаде:

— Чего вы спорите! С утра кричите, говорить из-за вас нет никакой возможности!

— А чего он говорит: шлифовальный, чтоб блестело! Разве для этого шлифовальный? Это для того, чтобы точность была, а блестит совсем не от этого.

Прибывали и инженеры. Разобраться в них было труднее, чем в станках. Один Воргунов был ясен. Сразу видно, что он — главный инженер. Он тяжелой, немного угрюмой, немного злой поступью проходит мимо пацанов, и кто его знает, нужно с ним здороваться или не нужно? Ни на кого он не смотрит, никому не улыбается, а если и удается послушать его беседу с кем-нибудь, так она всегда с громом и молнией. Недавно он посреди двора поймал молодого пижонистого инженера Григорьева и кричал:

— К чертовой матери, понимаете? Вы сказали через три дня будут чертежи? Где чертежи?

Григорьев прижимал руки к груди и пискливым голосом оправдывался:

— Петр Петрович, не пришли еще гильдемейстеры! Не пришли, чем я виноват!

А Воргунов наклоняет тяжелую голову, дышит злобно и хрипит:

— Это невыносимо! На Кемзе восемнадцать гильдемейстеров! Сейчас же поезжайте и снимите габариты. Чтобы фундаменты были готовы через неделю!

— Петр Петрович!

— Через неделю, слышите?

Последние слова Воргунов произносил таким сердитым рыком, что не только Григорьев пугался, но и пацанам становилось страшно. Они смотрели на Воргунова сложным взглядом, составленным из опасения и неприязни, а он оглядывался на них, как на досадные мелочи, попадающиеся под ноги. Витя Торский рассказывал, что в кабинете Захарова по вечерам часто происходили стычки между Воргуновым и другими. В этих стычках участвовал Соломон Давидович, для которого нашествие инженеров казалось затеей слишком дорогой, и он не всегда мог удержаться от укорительных вздохов:

— Каждую копеечку, каждую копеечку с каким потом, с каким трудом зарабатывали. А теперь приехали на готовое и пожалуйста: пуф-ф-ф! пуф-ф-ф! — конструкторское бюро, кондуктора, измерительные приборы, лаборатория, инженеры! Сколько инженеров! Ужас!

Воргунов выслушивал эти слова с миной ленивого презрения и отвечал вполголоса:

— Обыкновенная провинциальная философия! Копить деньги по копеечке, это мы мастера. И, наверное, вы их в чулок прятали, Соломон Давидович?

— Вы получаете наши деньги из Государственного банка, так почему вы говорите про чулок?

— Отстаньте, прошу вас, с вашими деньгами. Я строю завод не для вас, а для государства.

— Государство само собой, а колонисты само собой. Вы строите завод для колонистов, к вашему сведению. И если вам не угодно их замечать...

— Эх, да ну вас, тут с фундаментами несчастье! Да! Иван Семенович! Где вы этого идиота нашли, черный такой? Вы ему поручили наметить сталь?

Молодой инженер Иван Семенович Комаров поднял к Воргунову встревоженное лицо:

— Да, наметить серой и желтой краской!

— Ну, так он ее выкрасил с одного конца до другого!

Комаров побледнел, вскрикнул что-то и выбежал из кабинета. Воргунов усталыми глазами зарылся в широкой записной книжке, вдруг нахмурился, что-то прошептал свирепо и вышел вслед за Комаровым.

— Какой сердитый дед! — сказал Торский.

Захаров ответил, не прекращая своей работы:

— Он не сердитый, Витя, но страстный.

— К чему у него страсть?
— У него страсть... к идее!

10. Здорово кричит

Боевые сводки по-прежнему выходили ежедневно, и ежедневно Игорь Чярнявин находил новые краски, чтобы изобразить в словах боевые подвиги колонистского народа. С тех дней, когда приняли его в комсомол, в боевых сводках стали встречаться и такие строки:

«Наш краснознаменный правый фланг в борьбе за индустриализацию страны и за усиление нашей обороноспособности сегодня нанес новый удар отступающему противнику...»

«Товарищи колонисты! Наши победы на фронте все закрепляются и закрепляются. Сегодня прибыли в колонию токарные «Красные пролетарии», целых шесть штук. Наши старшие товарищи сделали эти станки, чтобы помочь нам окончательно разбить нашу техническую отсталость!»

«Товарищи бойцы! Видели вчера «Самсон Верке» — шлифовальные с магнитным столом? В нашей стране еще не умеют делать таких станков, но завтра будут уметь! Догнать и перегнать! Электроинструмент тоже сейчас не делают в Союзе, но завтра будут делать в нашей колонии. Наш враг — наша техническая отсталость — сегодня отступил под напором наших сил на линию 12 августа. Еще одно, два усилия, и мы сделаем смертельный прорыв в рядах противника — мы подорвем его капиталистическое производство, освобождая нашу страну от импорта электроинструмента!»

«Колонисты, читайте газеты! Вы узнаете, какие победы совершаются рабочим классом нашей страны. Наш фронт — только маленький участочек социалистического фронта, но и на маленьком участке очень важно продвигаться вперед. Сегодня левый фланг — столяры — продвинулись вперед на целых 28 дней. Да здравствуют столяры, славные бойцы социалистического наступления!»

Хотя «боевая сводка» выпускалась от имени штаба соревнования, но все колонисты хорошо знали, что душой этого штаба был Игорь Чернявин. И колонисты были очень довольны его работой. Они встречали Игоря улыбкой и говорили: «Здорово!»

Иногда рядом со «сводками» Игорь вывешивал дополнительный лист, на котором были и портреты, и чертежи, и рисунки, и карикатуры. В комсомольском бюро косо посмотрели на это дело:

— Этот материал нужно в стенгазету давать, а не в сводку, а то стенгазета дохнет, а ты все в свою сводку. Нельзя же смотреть только с своей колокольни!

Игорь подчинился, но иногда трудно было удержаться. В девятой бригаде Жан Гриф и Петров 2-й, а в седьмой бригаде Круксов и раньше страдали некоторым зазнайством, а теперь они объединились в маленькую оппозицию. Круксов был главой, поэтому колонисты все это движение прозвали круксизмом. Круксисты, правда, вполне исправно и добросовестно работали на своих местах, но в вечерних разговорах распространяли такое

мнение: завод электроинструмента напрасно затеяли, такие заводы должен строить Наркомтяжпром, а у колонистов другие есть дела: у Петрова 2-го — кино, у Жана Грифа — музыка, а у Круксова — физкультура. Игорь Чернявин целую ночь просидел с Маленьким, а на утро «сводка» появилась в прекрасной рамке.

О круксистах в этом листке ничего не было сказано, но была очень хорошо нарисована заставка, было изображено: стоит чудесный город с башнями, у стен города идет жестокий бой: под красным знаменем идут ряды за рядами и скрываются в дыму взрывов, в свалке штыковой атаки. Нетрудно узнать в этих рядах под красным флагом ряды колонистов, у них белые воротники и вензеля на рукавах. А сзади, между идиллическими кустиками, стоит обоз. На подводах сидят люди. Один держит в руках киноаппарат, другой большую трубу, третий футбольный мяч. Лица этих людей выписаны чрезвычайно добросовестно, нетрудно узнать и Петрова 2-го, и Жана Грифа, и Круксова.

Конечно, возле листа целый день стояла и хохотала толпа, раздавались более или менее остроумные замечания, вносились дополнительные предложения. На общем собрании вся тройка круксистов заявила решительный протест. Круксов говорил:

— С какой стати Чернявин как ему захочется, так и пишет? Когда я был в обозе? У меня перевыполнение плана по станку на тридцать процентов, а если иногда скажешь что-нибудь такое, так это слова.

— Тебе за слова и попало,— ответил на это Торский,— а за что ж тебе попало?

— За слова, конечно,— сказал Круксов,— а только нельзя ж так...

Круксов полагал, что ему попало слишком сильно. Но на самом собрании ему и другим попало еще сильнее. Зырянский дорвался по-настоящему:

— За такие слова нужно с работы снимать. Вам не нужен завод? Не нужен? А вы посчитайте, раззявы, сколько у рабочего класса до революции было кинотеатров, а сколько своих оркестров, а сколько физкультуры. Посчитайте, олухи! Вам дали в руки такое добро, а вы не понимаете, кто это вам дал. А если у нас не будет заводов, таких заводов — во, каких заводов, так от вашей музыки и физкультуры рожки одни останутся. Я предлагаю — снять с завода, направить на черную работу, пусть попробуют!

Петров 2-й испугался больше всех:

— Товарищи, товарищи! Разве я что-нибудь говорил против завода? Вот увидите, как я буду работать! Вот увидите!

И Круксов каялся и просил все слова ему простить, и еще просил, чтобы перестали колонисты говорить «круксизм», разве можно так оскорблять?

После этого случая авторитет Игоря Чернявина сильно укрепился среди колонистов, да и сам Игорь только теперь понял, какое важное дело он совершает, выпуская свои «боевые сводки».

Производство Соломона Давидовича доживало последние дни. «Стадион» торчал на земле черный от перенесенной зимы, и во время большого ветра его стены шатались. В механическом цехе беззастенчиво перестали говорить о капитальных и других ремонтах. Трансмиссии стали похожи на свалку железного лома, были перевязаны ржавыми хомутами, а кое-

где даже веревками. Токарные «козы» на глазах рассыпались, суппорты перекашивались, патроны вихляли и били. Но колонисты уже не приставали к Соломону Давидовичу ни с какими жалобами. Молча или со смехом кое-как связывали разлагающееся тело станка и снова пускали его в ход. К этому времени руки токарей сделались руками фокусников: даже Волончук, искушенный в разных производственных тонкостях и отвыкший вообще удивляться, и тот иногда, пораженный, столбенел перед каким-нибудь Петькой. В течение четырех часов Петька стоял перед станком, как некоторая туманность, настолько быстро мелькали его руки и ноги, настолько весь его организм вибрировал и колебался в работе. И Волончук говорил, отходя:

— Черт его знает... Шустрые пацаны!

Крейцер однажды приехал в колонию и зашел в механический цех. Он остановился в дверях, широко открыл глаза, потом открыл еще шире, вытянул губы и наконец произнес как будто про себя:

— Подлый народ! До чего дошли!

На него оглянулись несколько лиц, сверкнули мгновенными улыбками. Крейцер прошел дальше, поднял голову. Над ним вращалась, вздрагивая, трансмиссия, заплатанные, тысячу раз сшитые ремни хлопали и скрежетали на ней, потолок дрожал вместе со всей этой системой, и с потолка сыпались последние остатки штукатурки. Крейцер показал пальцем и спросил:

— А она не свалится нам на голову?

Он остановил встревоженно-удивленные глаза на Ване Гальченко. Ваня выбросил готовую масленку, вставил новую, дернул приводную палку, между делом повертел головой,— значит, нет, не свалится. Крейцер беспомощно оглянулся. К нему не спеша подходил Волончук.

— Не свалится эта штука?

Волончук не любил давать ответов необоснованных. Он тоже поднял голову и засмотрелся на трансмиссию. Смотрел, смотрел, даже чуть-чуть сбоку заглянул, скривил губы, прищурил глаза и только после этого сказал:

— По прошествии времени свалится. А сейчас ничего... может работать.

— А потолок?

— Потолок? — Волончук и на потолок направил свое неспешное исследовательское око:

— Потолок слабый, конечно, а только не видно, чтоб свалился. Это редко бывает, потолок все-таки... он может держать, если, конечно, балки в исправности.

— А вы балки давно смотрели?

— Балки? Нет. Я по механической части.

Крейцер влепился в Волончука влюбленным взглядом, растянул рот:

— Ну?

Пришел Соломон Давидович и объяснил Крейцеру, что можно построить еще десять новых заводов, пока наступит катастрофа, что если даже она наступит, то балка не прямо свалится на голову работающих, а сначала прогнется и даст трещину. Крейцер ничего не сказал и направился в сборочный цех. Здесь не было никакого потолка — работали во дворе. Игорь Чернявин сейчас уже не зачищает проножки, а собирает «козелки» чертежных столов — работа самая трудная и ответственная. Свет-

лые, прямые волосы у него растрепались, щека вымазана, но рот по-прежнему выглядит иронически. Цепким движением он берет в руки нужную деталь, быстро бросает на нее критический взгляд, двумя ловкими мазками накладывает клей, моргнул, и уже в его руках не помазок, а деревянный молоточек, а тем временем шип одной части вошел в паз другой, неожиданный сильный удар молотком, и снова в руках деталь, и опять молоток замахивается с угрозой. Руки Игоря ходят точным, уверенным маршем, взгляды еле-еле прикасаются к дубовым заготовкам, но вдруг деталь летит в кучу брака, и Игорь, продолжая работу, кричит Штевелю:

— Синьор! Опять шипорезный половину шипа вырывает! Сегодня две дюжины поперечных планок выбросил. Какого они ангела там зевают?

Игорь замечает Крейцера и салютует. Крейцер отвечает спокойным движением и спрашивает:

— Как поживает левый фланг?

— Металлистов обогнали, Михаил Осипович!

— Все-таки до конца года не выдержите.

— Мы выдержим! Стадион не выдержит. И металлистам плохо. Они не выдержат. Надо скорее новый завод.

— Скорее! А триста тысяч?

— Мы сейчас на линии 19 августа. Через три месяца выполним годовой план. А по плану у нас четыреста тысяч прибыли, да еще экономия есть.

Крейцер смотрит на Игоря, как на равного себе делового человека, думает, потом грустно оглядывается, произносит с явным вздохом:

— Три месяца... Боюсь... Не протянете.

— У нас кишки хватит, а у станков не хватит...

— То-то...кишки...

А у четвертой бригады было еще одно дело.

Ваня в тот же вечер рассказал о странном мертвом часе у Рыжикова. Четвертая бригада выслушала его сообщение с остановившимся дыханием. Зырянский хмурил брови и все дергал себя за ухо. В тот вечер постановили шума не подымать, а продолжать наблюдение. Только Володя Бегунок требовал немедленных действий. Он оборачивался загоревшим лицом к членам четвертой бригады.

— Уже наблюдали-наблюдали, и пьяным видели, и коробку папиросную показывали, и сейчас поймали, а теперь опять наблюдать. А он все будет красть и красть. А я говорю: давайте завтра на общем собрании скажем...

— Ну и что? — спрашивал Филька.

— Как что?

— А он скажет: заснул прямо на свежем воздухе, и все.

— А почему рука была под палаткой?!

— А чем ты докажешь? А он скажет: мало где рука бывает, если человек спит.

— А голова?

— А чем ты докажешь?

— А Ванька видел.

— Ничего Ванька не видел. Ноги отдельно видел, голову отдельно, а кошелек отдельно.

— А тебе нужно все вместе обязательно?

— А конечно! А как же? Надо, чтобы кошелек был вместе, в руках чтобы был.

Зырянский сказал:

— Вы, пацаны, не горячитесь. Так тоже нельзя — бац, на общем собрании: Рыжиков — вор! Мало ли что могло померещиться Ванюшке? А может, он совсем не вор. Хоть раз поймали его? Не поймали. Вот Рыжиков, так он, действительно, поймал тогда Подвесько, это и я понимаю. Поймал и привел на общее собрание со всеми доказательствами. А вы с чем придете? Скажете, коробку нашли папиросную? А над вами посмеются, скажут, охота вам по сорным кучам лазить и коробки разные собирать. А теперь Ваня увидел — спит Рыжиков, и в палатке кошелек лежит. Мало ли что лежит в палатке, так это значит, если кто проходит мимо палатки, значит вор? Да?

Трудно было возражать против этого, и Бегунок уступил.

Но в колонии снова покатилась волна краж, мелких, правда, но достаточно неприятных: то кошелек, то ножик, то новые брюки, то фотоаппарат, то еще что. Все это исчезало тихо, бесшумно, без каких бы то ни было намеков на следы. Вечером дежурный бригадир докладывал Захарову о пропаже, Захаров, не изменяясь в лице, отвечал «есть» и даже не расспрашивал об обстоятельствах дела. И бригадиры расходились без слов, и в спальнях колонисты старались не говорить о кражах. Но и в спальнях и среди прочих забот не забывали колонисты о несчастье в колонии: все чаще и чаще можно было видеть остановившийся, чуть прищуренный взгляд, осторожный поворот головы к товарищу. И Захаров стал шутить реже.

В июне начали пропадать инструменты: дорогие резцы из «победита», штанген-циркули, десятки масленок, — масленки медные. Соломон Давидович без всяких предупреждений попросил слова и сказал на общем собрании:

— Я по одному маленькому делу. Удивляет меня, старика: вы такие хорошие работники и советские люди, вы на собраниях говорите о каждой пустяковинке. Интересуюсь очень, почему вы ничего не говорите о кражах? Как же это можно: боевое наступление на фронте, правый фланг теснит противника, строим новый завод, дорогие товарищи, и... вы только представьте себе, на своем заводе крадем инструменты! Вы сколько говорили о плохих резцах, а теперь у нас хорошие резцы, так их крадут. Вот товарищ Зорин сказал: плохие станки — это враги. Допустим, что враги. А тот, кто крадет инструмент, так это кто? Почему вы об этих врагах не говорите?

Соломон Давидович, протягивая руки, оглядел собрание грустными глазами:

— Может быть, вы не знаете, что значит достать «победитовые» резцы?

— Знаем, — ответил кто-то один. Остальные смотрели по направлению к Соломону Давидовичу, но смотрели на его ботинки, стариковские, истоптанные, покрытые пылью всех цехов и всех дорожек между цехами.

Соломон Давидович замолчал, еще посмотрел удивленными глазами на собрание, пожал плечами, опустился на стул. Что-то хотел сказать Захарову, но Захаров завертел головой, глядя в землю: не хочу слушать! Витя Торский тоже опустил глаза и спросил негромко.

— Товарищи, кто по этому вопросу?

Даже взглядом никто не ответил председателю, кое-кто перешептывал-

ся с соседом, девочки притихли в тесной кучке и молчали и краснели; Клава Каширина гневно подняла лицо к подруге, чтобы подруга не мешала ей слушать. Торский похлопывал по руке рапортами и ожидал. И в тот момент, когда его ожидание становилось уже тяжелым и неприличным, Игорь Чернявин быстро поднялся с места:

— Соломон Давидович совершенно правильно сказал! Почему мы молчим?

— Ты про себя скажи, почему ты молчишь?

— Я не молчу.

— Вот и хорошо, — сказал Торский. — Говори, Чернявин.

— Я не знаю, кто вор, но я прошу Рыжикова дать объяснения.

— В чем ты обвиняешь Рыжикова?

Игорь сделал шаг вперед, на одну секунду смутился, но с силой размахнулся кулаком:

— Все равно! Я уверен, что я прав: я обвиняю его в кражах!

Как сидели колонисты, так и остались сидеть, никто не повернул головы к Чернявину, никто не вскрикнул, не обрадовался. В полной тишине Торский спросил:

— Какие у тебя доказательства?

— Есть доказательства у четвертой бригады. Почему молчит четвертая бригада, если она знает?

Четвертая бригада, восседающая, как всегда, у бюста Сталина, взволнованно зашумела. Володя Бегунок поднял трубу:

— Вот я скажу...

— Говори!

Теперь и во всем собрании произошло движение: четвертая бригада — это не один Чернявин, четвертая бригада, наверное, кое-что знает. Володя встал, но Зырянский раньше его сказал свое слово:

— Торский! Здесь есть бригадир четвертой бригады!

— Извиняюсь... Слово Зырянскому! — И Зырянский встал против Игоря, затруднился первым словом, но потом сказал твердо:

— Товарищ Чернявин ошибается: четвертая бригада ничего не знает и ни в чем Рыжикова не обвиняет!

Игорь побледнел, растерялся, но вдруг вспомнил и нашел в себе силы для насмешливого тона:

— Алексей, кажется, Володя Бегунок иначе думает.

— Володя Бегунок тоже ничего не знает и ничего иначе не думает.

— Однако... пусть он сам скажет.

Зырянский пренебрежительно махнул рукой.

— Пожалуйста, спросите.

Володя снова встал, но был так смущен, что не знал, положить ли свою трубу на ступеньку или держать ее в руке. Он что-то шептал и рассматривал пол вокруг себя.

— Говори, Бегунок, — ободрил его Торский, — что ты знаешь?

— Я... Уже... вот... Алеша сказал.

— Значит, ты ничего не знаешь?

— Ничего не знаю, — прошептал Бегунок.

— О чем же ты хотел говорить?

— Я хотел говорить... что я ничего не знаю.

Торский внимательно посмотрел на Володю, внимательно смотрели на него и остальные колонисты. Торский сказал:

— Садись.

Володя опустился на ступеньку и продолжал сгорать от стыда: такого позора он не переживал с самого первого своего дня в колонии.

Игорь продолжал еще стоять у своего места.

— Больше ничего не скажешь, Чернявин? Можешь сесть...

Игорь мельком поймал горячий, встревоженный взгляд Оксаны, сжал губы, дернул плечом:

— Все равно: я утверждаю, что Рыжиков в колонии крадет! И всегда буду говорить! А доказательства я... потом представлю!

Игорь сел на свое место, уши у него пламенели. Торский сделался серьезным, но недаром он второй год был председателем на общем собрании:

— Такие обвинения мы не можем принимать без доказательств. Ты, Рыжиков, должен считать, что тебя никто ни в чем не обвиняет. А что касается поведения Чернявина, то об этом поговорим в комсомольском бюро. Объявляю общее...

— Дай слово!

Вот теперь собрание взволнованно обернулось в одну сторону. Просил слова Рыжиков. Он стоял прямой и спокойный, и его сильно украшала явно проступающая колонистская выправка. Медленным движением он отбросил назад новую свою прическу — и начал сдержанно:

— Чернявин подозревает меня потому, что знает мои старые дела. А только он ошибается: я в колонии ничего не взял и никогда не возьму. И никаких доказательств у него нет. А если вы хотите знать, кто крадет, так посмотрите в ящике у Левитина. Сегодня у Волончука пропало два французских ключа. Я проходил через механический цех и видел, как Левитин их прятал. Вот и все.

Рыжиков спокойно опустился на диван, но этот момент был началом взрыва. Собрание затянулось надолго. Ключи были принесены, они, действительно, лежали в запертом ящике Левитина, и это были те ключи, которые пропали сегодня у Волончука. Левитин дрожал на середине, плакал горько, клялся, что ключей он не брал. Он так страдал и так убивался, что Захаров потребовал прекратить расспросы и отправил Левитина к Кольке-доктору. Он и ушел в сопровождении маленькой Лены Ивановой — ДЧСК, пронес свое громкое горе по коридору, и мимо дневального, и по дорожкам цветников.

— Здорово кричит, — сказал на собрании Данило Горовой, — а только напрасно старается.

Данило Горовой так редко высказывался и был такой молчаливый человек, что в колонии склонны были считать его природным голосом эс-ный бас, на котором он играл в оркестре. И поэтому сейчас короткое слово Горового показалось всем выражением общего мнения. Все улыбнулись. Может быть, стало легче оттого, что хоть один воришка обнаружен в колонии, а может быть, и оттого, что воришка так глубоко страдает: все-таки другим воришкам пример, пусть видят, как дорого человек платит за преступление. И наконец, можно было улыбаться и еще по одной причине: кто его знает, что там было у Рыжикова в прошлом, но сейчас Рыжиков очень благородно и очень красиво поступил. Он не воспользовался случаем

отыграться на ошибке Чернявина, он ответил коротко и с уважением к товарищу. И только он один уже второй раз вскрывает действительные гнойники в коллективе, делает это просто, без фасона, как настоящий товарищ.

Собрание затянулось не для того, чтобы придумывать наказание Левитину. Марк Грингауз в своем слове дал прениям более глубокое направление. Он спросил:

— Надо выяснить во что бы то ни стало, почему такие, как Левитин, которые давно живут в колонии и никогда не крали, вдруг — нá тебе: начинают красть? Значит, в нашем коллективе что-то не так организовано? Почему этот самый Левитин украл два французских ключа? Что он будет делать с двумя французскими ключами? Он их будет продавать? Что он может получить за два французских ключа и где он будет их продавать? А скорее всего тут дело не только в этих двух ключах. Пускай Воленко скажет, он бригадир одной из лучших бригад, в которой столько комсомольцев, пускай скажет, почему так запустили Левитина? Выходит, Левитин не воспитывается у нас, а портится. Пускай Воленко ответит на все эти вопросы.

Воленко встал опечаленный. Он не мог радоваться тому, что Рыжиков невинен. Левитин тоже в первой бригаде. И Воленко стоял с грустным лицом, которое казалось еще более грустным оттого, что это было красивое строгое лицо, которое всем нравилось в колонии. Он был так печален, что больно было смотреть на него, и пацаны четвертой бригады смотрели, страдальчески приподняв щеки.

— Ничего не могу понять, товарищи колонисты. Бригада у нас хорошая, лучшие комсомольцы в бригаде. Кто же у нас плохой? Ножик раньше все шутил, теперь Ножик правильный товарищ, и мы его ни в чем, ни в одном слове не можем обвинить. Левитин? После того, случая, помните, нельзя узнать Левитина. Учебный год Левитин закончил на круглых пятерках, читает много, серьезным стал, аккуратным, в машинном цехе — пускай Горохов скажет — на ленточной пиле никто его заменить не может. Я не понимаю, не могу понять, почему Левитин начал заниматься кражами? Левитин, скажи спокойно, не волнуйся, что с тобой происходит?

Левитин уже возвратился от доктора и стоял у дверей, направив остановившийся взгляд на блестящую паркетную середину. Он не ответил Воленко и все продолжал смотреть в одну точку. Глаза четвертой бригады были переведены с Воленко на Левитина; да, тяжелые события происходят в первой бригаде!

Торский подождал ответа и сказал негромко:

— Ты, Левитин, действительно, не волнуйся. Говори оттуда, где стоишь.

Левитин вяло приподнял лицо, посмотрел на председателя сквозь набегающие слезы, губы его зашевелились:

— Я не брал... этих ключей. И ничего не брал.

Колонисты смотрели на Левитина, а он стоял у дверей и крепко думал о чем-то, снова вперив неподвижный взгляд влажных глаз в пустое пространство паркета. Может быть, вспомнил сейчас Левитин недавний день, когда в «боевой сводке» написано было:

«...на нашем левом фланге воспитанник Левитин на ленточной пиле выполнил сегодня свой станковый план на 200 процентов...»

Колонисты смотрели на Левитина с недоуменным осуждением: не жалко

ключей — не пожалел человек самого себя! Игорь Чернявин крепко сдвинул брови, сдвинула брови и четвертая бригада. Воленко, опершись локтем на колено, пощипывал губу, Захаров опустил глаза на обложку книги, которую держал в руке. На Захарова бросали колонисты выжидательные взгляды, но так ничего и не дождались.

Когда колонисты разошлись спать, Захаров сидел у себя и думал, подперев голову рукой. Володя Бегунок проиграл сигнал «спать», просунул голову в дверь и сказал печально:

— Спокойной ночи, Алексей Степанович.

— Подожди, Володя... Знаешь, что? Позови ко мне сейчас Левитина, но... понимаешь, так позови, чтобы никто не знал, что он идет ко мне.

И сейчас Володя не мотнул небрежно рукой, как это он всегда делал, а вытянулся, салютнул точно, как будто в строю:

— Есть, чтобы никто не знал!

Левитин пришел с красными глазами, покорно остановился перед столом.

Володя спросил:

— Мне уйти?

— Нет... Я прошу тебя остаться, Володя.

Володя плотно закрыл дверь и сел на диван. Захаров улыбнулся Левитину:

— Слушай, Всеволод! Ключей ты не брал и вообще никогда ничего и нигде не украл. Это я хорошо знаю. Я тебя очень уважаю, очень уважаю, и у меня к тебе просьба. Я хочу, чтобы ты был сильным человеком. Я тебя прошу: не падай духом. Тебя обвинили, это очень печально, но... вот увидишь, это потом откроется, а сейчас, что ж... потерпим. Это даже к лучшему, понимаешь?

У Левитина в глазах сверкнуло что-то, похожее на радость, но он так настрадался за сегодняшний вечер, что слезы не держались в его глазах. Они покатились тихонько, глаза смотрели на Захарова с благодарной надеждой:

— Понимаю, Алексей Степанович! Спасибо вам... только... все меня вором будут считать...

— Вот и пускай считают! Пускай считают! И ты никому не говори, ни одному человеку не говори, о чем я тебе сказал. Полный секрет. Я знаю, ты знаешь и Володька. Володька, если ты кому-нибудь ляпнешь, я из тебя котлет наделаю!

На эту угрозу Володя ответил только блеском зубов. Левитин вытер слезы, улыбнулся, салютнул и ушел. Володя собрался еще раз сказать: «Спокойной ночи!» — но неслышно открылась дверь и взлохмаченная голова Руслана Горохова прохрипела:

— Алексей Степанович, можно?

— Заходи.

Руслан был в ночной рубашке и сразу размахнулся кулаком. Кажется, он хотел что-то сказать при этом движении, но ничего не сказал, кулак даром прошелся по воздуху. Он снова взмахнул, и опять ничего не вышло. Тогда он обратил прыщеватое суровое лицо к дивану:

— Пусть Володька смоется.

— Ничего... Володька свой человек.

И теперь поднятый кулак уже не напрасно прошелся сверху вниз:

— Вы понимаете, Алексей Степанович? Это... липа!

Володька громко захохотал на диване. Захаров откинулся назад, тоже смеялся, глядя на удивленного Руслана, потом протянул ему руку:

— Руку, товарищ!

Руслан схватил захаровскую руку шершавыми лапищами и широко оскалил зубы. Захаров поднял палец другой руки:

— Только, Руслан, молчок!

— Понимаю: молчать!

— Секрет!

— Секрет!

— Никому!

— А... Володька? Он... такой народ...

— Володька? Ты его еще не знаешь. Володька — это могила!

Могила на диване задрала от восторга ноги. Руслан еще раз взмахнул кулаком и сказал:

— Спокойной ночи, Алексей Степанович! Липа, понимаете, липа!

11. Разгром

Приняв дежурство по колонии в десять часов вечера, бригадир первой Воленко сменил часовых в лагере и в вестибюле, проверил сторожей на производственном дворе и у кладовых, прошел по палаткам для порядка и еще раз заглянул в главное здание, чтобы просмотреть меню на завтрашний день. В вестибюле он мельком глянул на стенные круглые часы и удивился. Они показывали пять минут одиннадцатого.

— В чем дело? — спросил он дневального.

— Остановились. Уже приходил Петров 2-й и лазил туда, сказал — завтра утром исправит.

— А почему не сегодня?

— Он взял запаять что-то...

— А как же завтра с подъемом?

— Не знаю.

Воленко задумался, потом отправился в палатку к Захарову:

— Алексей Степанович, у нас беда — часы испортились.

— Возьми мои.

Захаров протянул карманные часы.

— Ой, серебряные!

— Подумаешь, драгоценность какая — серебро!

— А как же: серебро! Спасибо!

Утро встретило колонистов на удивление свежим солнечным сиянием. Колонисты щурились на солнце и нарочно дышали широко открытыми ртами, а потом все разъяснилось: часы испортились, и Воленко наудачу поднял колонию на полчаса раньше. Воленко был очень расстроен, на поверке приветствовал бригады с каким-то даже усилием. Нестеренко ему сказал:

— Ну что такое: на полчаса раньше. Это для здоровья совсем не вредно.

Но Воленко не улыбнулся на шутку. После сигнала на завтрак, когда колонисты, оживленные и задорные, пробегали в столовую, он стоял на

крыльце и кого-то поджидал, рассматривая входящих рассеянным взглядом. Зырянский пришел из лагеря одним из последних. Воленко кивнул в сторону: — Алеша, на минутку.

Они отошли в цветник.

— Что такое?

— Часы... пропали... Алексея, серебряные.

— У Алексея?

— Он мне на ночь дал... наши стали.

— Украдены? Ну?!

— Нет нигде.

— Из кармана?

— Под подушкой были...

— А ты... все в столовой? Сейчас же обыск! Идем!

В кабинете Воленко подошел к столу, Зырянский остался у дверей.

— Алексей Степанович! У меня взяли ваши часы.

— Кто взял? Зачем?

Воленко с трудом выдавил из себя отвратительное слово:

— Украли.

Захаров нахмурил брови, помолчал, сел боком:

— Пошутил кто-нибудь?

— Да нет, какие шутки? Надо обыскать.

В кабинет вошли Зорин и Рыжиков. Рыжиков с разгону начал весело.

— Алексей Степанович, Зорин партию столов в город... Я обратно привезу медь.

Зырянский с досадой остановил его:

— Да брось ты с медью! Никто никуда не поедет.

— Почему?

Захаров встал за столом:

— Часы того не стоят. Нельзя обыск. Кого обыскивать?

Воленко ответил.

— Всех!

— Чепуха. Этого нельзя делать.

— Надо! Алексей Степанович!

Рыжиков испуганно оглянулся:

— А что? Опять кража?

— У меня... часы Алексея Степановича...

Захаров повернулся к окну, задумчиво посмотрел на цветники:

— Если украдены, никто в кармане держать не будет. Зачем всех обижать?

Зорин шагнул вперед, гневно ударил взглядом в заведующего:

— Ничего! Все перевернуть нужно! Всю колонию! Надоело!

— Обыскивать глупо. Бросьте!

Рыжиков закричал, встряхивая лохмами:

— Как это глупо? А часы?

— Часы пустяшные... Пропали, что ж...

Рыжиков с гневом оглянулся на товарищей:

— Как это так глупо? Как это так пропало? Э, нет, значит, он себе бери и продавай, а потом опять будут говорить, что Рыжиков взял, чуть что — сейчас же Рыжиков? До каких пор я буду терпеть?

Зырянский неслышно открыл дверь кабинета и вышел. Часовым сегодня стоял Игорь Чернявин. Зырянский приказал:

— Чернявин, стань на дверях столовой, никого не выпускать!

— Почему?

— Это другое дело — почему. Я тебе говорю.

— Ты не дежурный.

— Э, черт!

Он быстро направился к кабинету, ему навстречу вышел Воленко.

— Прикажи ему стать здесь!

— Я не хочу дежурить!

— Не валяй дурака!

— Я не буду дежурить!

— Идем к Алексею!

Воленко снова остановился перед столом Захарова, над белым воротником парадного костюма его побледневшее лицо казалось сейчас синеватым, волосы были в беспорядке, строгие, тонкие губы шевелились без слов. Наконец он произнес глухо:

— Кому сдать дежурство, Алексей Степанович?

— Слушай, Воленко...

— Не могу! Алексей Степанович, не могу!

Захаров присмотрелся к нему, потер рукой колено:

— Хорошо! Сдай Зырянскому!

Воленко отстегнул повязку, и, против всяких правил и обычаев колонии, она закраснела на грязном рукаве Алешиной спецовки. Но, по обычаю, Захаров поднялся за столом и поправил пояс. Воленко вытянулся перед заведующим и поднял руку:

— Первой бригады дежурный бригадир Воленко дежурство по колонии сдал!

Зырянский с таким же строгим салютом:

— Четвертой бригады дежурный бригадир Зырянский дежурство по колонии принял.

Но как только Захаров сказал «есть», Зырянский опрометью бросился из кабинета. Теперь уже с полной властью он еще издали закричал дневальному:

— Дневальный! Стань на дверях, никого из столовой!

Чернявин увидел повязку на рукаве Зырянского:

— Есть, товарищ дежурный бригадир!

На быстром бегу Зырянский круто повернул обратно.

— Алексей Степанович, я приступаю к обыску.

— Я не позволяю.

— Ваши часы? Потому? Да? Я приступаю к обыску.

— Алеша!

— Все равно я отвечаю.

Захаров поднял кулак над столом:

— Что это такое? Товарищ Зырянский!

Но Зырянский закричал с полным правом на гнев и ответственность:

— Товарищ заведующий! Нельзя иначе! Ведь на Воленко скажут!

Захаров опешил, посмотрел на Воленко, сидящего в углу дивана, и махнул рукой.

— Хорошо!

В двери столовой уже билась толпа. Нестеренко стоял против Чернявина и свирепо спрашивал:

— Черт знает что! Почему, отвечай! Кто нас арестовал?

— Не знаю, дежурный бригадир приказал.

— Воленко?

— Не Воленко, Зырянский.

— А где Воленко?

— Не знаю.

— Арестован?

— Не знаю. Кажется, отказался дежурить.

На Зырянского набросились с подобными же вопросами, но Зырянский был не такой человек, чтобы заниматься разговорами. Он вошел в столовую, как настоящий диктатор сегодняшнего дня, поднял руку:

— Колонисты! К порядку!

И в полной тишине он объяснил:

— Товарищи! У Воленко ночью украдены серебряные часы Алексея Степановича. Бегунок!

— Есть!

— Передать в цеха: начало работы откладывается на два часа.

— Есть!

В подавленном, молчаливом отчаянии колонисты смотрели на дежурного бригадира.

Зырянский стал на стул. Было видно по его лицу, что только повязка дежурного спасает Зырянского от безудержного ругательного крика, от ярости и злобы.

— Надо повальный обыск! Ваше согласие! Голосую...

— Какие там голосования!

— О чем спрашивать!

— Скорее!

— Давай! Давай!

— Замолчать! — закричал Зырянский.

— Бригадиры! Сюда! Четвертая бригада, обыскать бригадиров. Остальные, отступить!

Хоть и все согласились на обыск, а краснели и бригадиры, и члены четвертой бригады, когда на глазах у всей колонии зашарили пацаньи руки в карманах, за поясами, в снятых ботинках. Но молча хмурились колонисты, молча подставляли бока; нужно отвечать всем за того, кто еще не открытый, притаившийся здесь же в столовой, возмущающийся вместе со всеми, — с какой-то черной целью — неужели из-за денег? — регулярно сбрасывал на голову колонии им. Первого мая целые обвалы горя.

Два часа продолжался позор. Зырянский со свирепой энергией разгромил спальни, кладовые, классы, библиотеку, заглянул во все щели и в зданиях и во дворе. В десять часов утра он остановился перед Захаровым, уставший от гнева и работы:

— Нигде нет. Надо в квартирах сотрудников!

— Нельзя!

— Надо!

— Не имеем права, понимаешь ты? Права не имеем!

— А кто имеет право?
— Прокурор. Да все равно, часы уже далеко.
Зырянский закусил губу, он не знал, что дальше делать.
Вечером над разгромленной колонией стояли раздумье и тишина. Говорить было не о чем, да, пожалуй, и не с кем. С кем могла говорить колония им. Первого мая? Ведь в самом теле колонии сидело ненавистное существо предателя.
Колонисты встречались друг с другом, смотрели в глаза, грустно отворачивались. Редко, редко где возникал короткий разговор и терялся в пустоте.
Рыжиков сказал Ножику:
— Это из нашей бригады.
— Из нашей, — ответил Ножик. — А кто?
— А черт его знает!
И в восьмой бригаде сказал Миша Гонтарь Зорину:
— А того... Воленко обыскивали?
— Миша! Ты дурак, — ответил Зорин.
— Я не такой дурак, как ты думаешь. Никто ведь не знал, что у Воленко часы.
— Все равно, ты дурак.
Гонтарь не обиделся на Санчо. При таких делах нетрудно и поглупеть человеку.
И в палатке четвертой бригады Володя Бегунок сказал Ване:
— Это не Воленко.
— А кто?
— Это Дюбек.
— Рыжиков? Нет!
— Почему нет? Почему?
— Володя, ты понимаешь? Рыжиков, он вор, ты понимаешь? Он... возьмет и украдет. А это, с часами, нарочно кто-то сделал, понимаешь, нарочно!

12. Под знаменем

В июле старики, окончившие десятый класс, начали готовиться к поступлению в вузы. Поэтому и Надежда Васильевна не поехала в отпуск, а осталась работать со «студентами», как их называли колонисты, несколько предупреждая события. Настоящие студенты, поступившие в прошлые годы в разные вузы, человек около тридцати, еще в июне съехались в колонию и поставили для себя три палатки, не с того края, где девочки, а с противоположного. Настоящие студенты хотели работать на производстве, чтобы помочь колонии, но Захаров и совет бригадиров не согласились на это: у студентов была большая трудная работа зимой, а теперь им нужно отдохнуть. Захаров каждого рассмотрел, заставлял и юношей и девушек поворачиваться перед ним всеми боками, некоторым говорил:
— Никуда не годится, дохлятина какая-то, а не студент. Запиши его на усиленное питание!
Студенты возражали:

— Так никогда экономию не сделаете, Алексей Степанович.

— А вот мы тебя откормим, это и будет экономия.

Но студенты нашли для себя кое-какую работу. Иногда они дежурили по колонии, и в таких случаях находился для них и парадный костюм. Другие работали у садовника, третьи помогали Соломону Давидовичу по снабжению, а некоторые занимались с будущими студентами, потому что Надежде Васильевне было одной трудно.

Между прочими готовились в вуз и Нестеренко и Клава Каширина. Комсомольское бюро постановило освободить Нестеренко и Клаву от обязанностей бригадиров, чтобы у них оставалось время для подготовки.

На общем собрании должны были состояться выборы новых бригадиров пятой и восьмой бригад. И вот тут оказалось, что жизнь вовсе не такая скучная особа, как некоторые думают. Восьмая бригада единогласно выставила своим кандидатом Игоря Чернявина, а пятая бригада — так же единогласно Оксану Литовченко! Игорь никогда не думал, что так близко от него стоит высокий пост бригадира. Когда в восьмой бригаде Нестеренко открыл заседание и предложил называть кандидатов в бригадиры, вся бригада, как будто сговорившись, повернула лицо к Игорю, и Санчо Зорин сказал:

— У нас давно уже решено: больше некому — Игорь Чернявин!

Когда это «давно» было решено, почему об этом Игорь ничего не знал, так и не удавалось выяснить. Игорь с жаром протестовал, протестовал очень искренне, потому что испугался: бригадиру мороки по горло, а дежурить по колонии — благодарю покорно. Воленко уже додежурился, теперь мрачный ходит, и нужно за ним смотреть. Игорь указал и на Санчо Зорина, и на Всеволода Середина, и на Яновского Бориса, и на старого колониста Михаила Гонтаря, и на Савченко Харитона, и на Данилу Горового, наконец, есть помощник бригадира Александр Остапчин, ему в особенности уместно принять управление восьмой бригадой от Василия.

Нестеренко выслушал слова Игоря спокойно и так же спокойно рассмотрел предложенный им список.

— Санчо горячий очень, ему нельзя быть бригадиром восьмой, он всем нервы испортит, тай годи. Александр Остапчин хороший помощник, это верно, а если бригадиром станет, из-под ареста не вылезет, трепачом был, трепачом и остался. Данило Горовой, конечно, хороший товарищ и колонист, а только пока от него слова дождешься, там всякое дело сбежит, не поймаешь. Яновский будет добрым бригадиром, а только политической установки в нем мало, все больше о своей прическе думает. И Середин будет хорошим бригадиром со временем, пусть подождет, авторитета в колонии еще не завоевал. А что касается Миши Гонтаря, так Миша Гонтарь — шофер, оканчивает курсы завтра и сразу на машину. Его линия уже к концу приходит, и бригадирства с него как с козла молока, хотя, дай господи, царица небесная, каждому такого хорошего товарища и такого человека хорошего. Рогов — молокосос. Нет, это правильно решила бригада — Игорь Чернявин бригадир, да и какого нам нужно рожна: и мастер хороший, и комсомолец на отлично, и общественник. Только ты, Игорь, держи бригаду спокойной рукой, любимчиков чтобы не было, на помощника не особенно полагайся. Бригадир должен быть веселый и все видеть, и не париться без толку, и не трепаться лишнее. И рука должна быть креп-

кая, власть — это тебе не пустяк, как там ни говори, а все равно Советская власть. Скажем, приезжал к нам Эррио — французский министр. А я дежурил по колонии. Вот ты сообрази: я — дежурный по колонии, а за моей спиной кто? Весь Союз! Наври я что-нибудь, не так сделай, никто не скажет — Нестеренко виноват, а скажут: видишь, как у них в Союзе плохо все делается. Я и то заметил — за Эррио этим целая куча ходит, так и смотрят, так и смотрят. Нет, Игорь, власть бригадира должна быть крепкая. А что касается дежурного бригадира, так и говорить нечего. Ты забудь, какой там у тебя природный характер: может, ты добрый, а может, мягкий, а может, ленивый или забывчивый. Нет, если повязку надел, забудь, какой ты там есть: ты отвечаешь за колонию; Воленко вон на что добрый человек, а в дежурстве у него не покуришь. На что я — старый друг Воленко, пришли в колонию вместе, полтора года спали на одной постели, когда бедно было, а смотри: один раз я подошел к нему и спросил насчет обеда что-то, а он это посмотрел на меня так... прямо, как собака, и голос у него такой... «Товарищ Нестеренко, не умеешь говорить с дежурным бригадиром! Приставь ногу, чего ты танцуешь!» Я сначала даже не понял, а потом и одобрил: правильно, дежурный бригадир служит целой колонии, и баста! Эх, Воленко, Воленко! Хороший какой колонист, а пропал, ни за копейку пропал! И бригада первая — уже не бригада! Видишь, виноват тут, собственно говоря, Воленко: всем верит, все у него хорошие, всех защищает, вот и посадили бригаду. Безусловно, вор в бригаде, а думать не на кого, и сам Воленко ничего не знает.

В комсомольском бюро кандидатуру Игоря поддержали так же единодушно, как и в бригаде. А когда наступило общее собрание, так только и было ответа, что аплодисменты, взял слово один Зырянский:

— Такие бригадиры, как Нестеренко, редко, конечно, встречаются, разве вот из Руднева вырастет такой же. Но и Чернявин хороший материал для бригадира. Вопрос, как его бригада выдержит: чтобы не распустился, не зазнался, не заленился, не заснул. Но восьмая бригада — старая бригада, нужно будет — поможет. А что касается Оксаны Литовченко, так это, прямо скажу — находка. Предлагаю голосовать за Оксану и Игоря!

Ни одна рука в собрании не поднялась против предложенных бригадами кандидатур. И сейчас же после этого дежурный бригадир подал команду:

— Под знамя встать, смирно! Салют!

Игорь и не видел, что возле бюста Сталина давно уже стоят шесть трубачей и четыре малых барабана. Это они развернули над собранием торжество знаменного салюта, и Ваня Гальченко теперь уже знал, в чем настоящая его прелесть: знаменный салют — это сигнал на работу, оркестрованный старым дирижером Виктором Денисовичем.

Когда знаменная бригада выстроилась против бюста Сталина, вышел к знамени Захаров и Игорь понял, что он должен делать. Рядом с ним стояла Оксана — рядом с ним! Это было счастливое предзнаменование: под нарядным, таинственно священным красным стягом они действительно рядом начинают свой жизненный путь! И как это здорово — они начинают его с трудной и почетной службы славному коллективу первомайцев! Игорь не умел плакать, и поэтому слезы кипели у него в сердце, а у Оксаны — честное слово, у Оксаны слезы были в глазах, ах, ка-

кие все-таки эти женщины! Да что — женщины, если старый бригадир Нестеренко и тот чего-то моргает и моргает, а рапорт Захарову отдал тихо и с хрипом:

— Товарищ заведующий! Восьмую бригаду трудовой колонии им. Первого мая Игорю Чернявину сдал в полном порядке!

О, нет! Игорь Чернявин имеет больше оснований волноваться, чем Нестеренко, но он отдаст рапорт весело и звучно, как и полагается бригадиру. И Игорь показал всем, как нужно рапортовать заведующему. Звонко, со строгим лицом, подняв руку на уровень лба, сказал Игорь Чернявин под знаменем:

— Товарищ заведующий! Восьмую бригаду трудовой колонии им. Первого мая от колониста Василия Нестеренко принял в полном порядке!

Потом передавали пятую бригаду. Конечно, у этих девочек столько нежности в голосе, у Клавы столько серебра, у Оксаны — столько теплоты и волнения! И все-таки у них, у девчат, это был не настоящий рапорт, а так... разговор по душам с заведующим, уместный больше наедине, в кабинете, чем в торжественном зале под бархатным знаменем перед двумястами строгих, замерших в салюте колонистов.

13. Дела серьезные

Только первая бригада продолжала молчаливо корчиться в страданиях. Кто-то в колонии, может быть нарочно, придумал: часы взяли не колонисты, просто часовой прикорнул перед рассветом, а мало ли народу ходит во дворе. Но этой версии никто не верил, и первая бригада верила меньше всех. В бригаде вдруг стали жить единоличным способом. У каждого находились свое дело и свои интересы: кто в вуз готовится, у кого начинаются матчи, Левитин не выходил из библиотеки, Ножик всегда торчал в четвертой бригаде и, наконец, подал в совет бригадиров заявление о переводе к Зырянскому. Трудно было разбирать такое заявление, и Торский отнесся к делу формально: спросил у Воленко, спросил у Зырянского, получил ответы, что возражений нет, и Ножик в тот же вечер перебрался к Алеше.

Члены первой бригады приходили в палатку поздно и молча лезли под одеяла, а утром встречали дежурство с хмурой серьезностью и сурово отвечали на приветствие дежурного бригадира:

— Здравствуй!

Но так было в первой бригаде. Вся остальная колония жила полной жизнью, и для этой жизни хватало радости. На новом заводе кое-где стояли уже станки на фундаментах, в новой, огромной литейной монтировали вагранку для литья чугуна, а тигель для меди давно уже поместился в кирпичной яме. Многие колонисты начали уже примериваться к новым рабочим местам, в комсомольском бюро шли закрытые заседания по вопросу о кадрах. Говорили, что Воргунов прежнюю гнет линию: «Колонисты не справятся с таким производством». За это на Воргунова злобились, Воргунов с колонистами никогда не вступал в беседу, но колонисты знали каждое его слово, даже не относящееся к заводу.

В колонии жило несколько десятков сотрудников: учителей, учетных

работников, мастеров, служащих, теперь к ним прибавились инженеры и техники. Дом ИТР стоял далеко за парком, и колонисты бывали там редко, но очень хорошо знали жизнь этого дома, прекрасно изучили характер каждой семьи, были осведомлены о ее горестях, радостях, согласиях и ссорах. Молодые инженеры Комаров и Григорьев еще не сталкивались с колонистами в деле, но многие особенности их характеров и деловых качеств были уже нанесены на неписаные личные карточки. Комаров был человек серьезный, скупой на слово, большой работяга, человек с достоинством и гонором, но в то же время и душевный, без пристрастия заинтересовавшийся колонией и колонистами. Кроме того, он влюбился в учительницу — комсомолку Надежду Васильевну. Григорьев колонистам не мог нравиться. Самая его внешность почему-то вызывала сомнения, хотя, казалось бы, ничего неприятного в его внешности нельзя было найти: он носил полувоенный костюм, который мог бы очень соответствовать колонистскому стилю и все-таки не соответствовал. Колонисты на третий день прозвали его так: «Очки, значки и краги». Действительно, все это у него было, и значки отнюдь ничего позорного в себе не заключали, обыкновенные значки: осоавиахимовские, мопровские, а один из значков изображал земной шар, очевидно имеющий какое-то отношение к Григорьеву. Григорьев не любил колонистов, может быть, это он настраивал и Воргунова, хотя именно у Воргунова он еще ни разу не заслужил доброго слова. В старом здании школы была выделена группа комнат, где до поры до времени помещалось управление новым заводом. Окна в этих комнатах были открыты, и колонисты часто слышали, как попадало Григорьеву от Петра Петровича. Кроме того, Григорьев тоже был влюблен в Надежду Васильевну. Еще не было известно, в кого влюбится Надежда Васильевна, для колонистов было бы приятнее, если бы она влюбилась в Комарова. Любовь, конечно, дело далеко не простое, в самой колонии любовь и всякие поцелуи были решительно запрещены. Предание утверждало, что такое запрещение было вынесено когда-то очень давно одним общим собранием. С тех пор прошло много лет, но все хорошо знали, что такое постановление было, всегда свято соблюдалось, значит, и дальше его нужно так же свято соблюдать. Это историческое постановление имело не только практический смысл. В известной мере оно проливало теоретический свет на вопросы любви, лучи этого света невольно падали и на любовь двух инженеров.

К сожалению, все события в этой сфере не имели определенных форм, о них трудно рассказать. Колонист Самуил Ножик стоял утром в вестибюле на дневальстве, а вечером, в палатке четвертой бригады, когда все уже лежали в постелях и только бригадир Алеша заканчивал дежурство по колонии, Ножик рассказывал:

— Я стою на часах, а Надежда Васильевна пришла и давай читать книжку и все меня спрашивает, приходил Соломон Давидович или не приходил. Я говорю: не приходил еще, а скоро, наверное, придет. Она сидит и все читает и читает. А потом пришел Комаров. Здравствуйте, здравствуйте! А чего он пришел, кто его знает. А потом говорит Надежде Васильевне: мне нужно с вами поговорить. Понимаете, ему нужно! А Надежда Васильевна сказала: поговорите раньше с западным вокзалом, узнайте, когда из Москвы приходит вечерний поезд. Он звонил, звонил,

а она все недовольна и недовольна. А потом он перестал звонить, сел на диван и опять начал: мне нужно с вами поговорить. Она и спрашивает: о чем? А он и отвечает: об одной вещи, ха, да, об одной вещи! И надо ж вам такое дело: тут Воргунов ка-ак войдет, ой, ой, ой! А Надежда Васильевна — о, она храбрая — сейчас же к нему: Петр Петрович, Петр Петрович, вы знаете, сегодня колонисты на культпоход идут. А он говорит: а вы знаете, сверлильные поставили черт знает где? Ох! И строгий же, черт! А Надежда Васильевна ничуть не испугалась, мне, говорит, дела никакого нет до ваших сверлильных, а он говорит, а мне никакого дела нет до ваших нежностей. О! А потом взял и давай Комарова есть: нечего вам тут разговаривать об одной вещи, так и сказал, об одной вещи, а идите и поправляйте, потому что это животное — так и сказал, животное — сверлильные сволок на фундаменты для шлифовальных! Это он про Григорьева. И он потащил Комарова, не успел тот, понимаете, об одной вещи. И только они ушли, тут на́ тебе: «Значки, очки и краги» пришел и так это к Надежде Васильевне: здрасьте, здрасьте, я вам билет достал, и еще так сказал: на «Федора Ивановича» какого-то. Только он это с билетом, как опять Воргунов! Во! Вот была полировка, так да! Григорьев, это виль-виль, туда-сюда, да куда ж ему отвертеться? Почему опаздываете? Почему сверлильные сволокли на шлифовальные?! Это вредительство! Это идиотство! Черт бы вас побрал! А Григорьев, что ему делать, при Надежде Васильевне такие слова! Он говорит: Петр Петрович, нельзя же, нельзя так ругаться при посторонних. А Петр Петрович ка-ак закричит: к чертовой матери посторонних! Вас ожидают на заводе, а вы здесь с посторонними! Так значки как дернет, только пыль столбом! Во! Прогнал! Прогнал и говорит Надежде Васильевне, только так говорит, вежливо: вы меня простите, вы меня, пожалуйста, извините, а только через вас все молодые инженеры испортились. Через вас испортились. О! А Надежда Васильевна будто и не понимает: разве испортились, да не может быть! А что ж теперь делать? А Воргунов: как что делать, вы сами должны знать, что делать! Надежда Васильевна и сказала на это: я уже догадалась, догадалась: их нужно пересыпать нафталином. Ой-й-й! (Ой-й-й! — закричала, конечно, вся четвертая бригада, ноги ее задрались высоко над одеялами.)

— А дальше? — спросил кто-то, когда овация закончилась.

— А дальше Воргунов видит, что не его берет, так он рядом сел, вытер свою лысину и так даже печально говорит: у нас, у русских, неправильно, а надо так правильно: чтобы было видно — здесь любовь, а здесь дело, говорит, чтобы было разделение, понимаете, разделение. Это у русских, а еще говорит: дело нужно делать, а они любви намешают, намешают и на свидание бегают, а дело, говорит, дохнет. Вычита́л, вычита́л. Надежда Васильевна обещала: теперь не буду с инженерами о любви говорить, а только буду про фрезы, про болванки, про вагранку.

— И все?

— Нет, не все. Воргунов на это не согласился. Даже обиделся немного: не нужно про болванку, не нужно! Разговаривайте про соловьев и про воробьев, а про болванку не нужно, не ваше дело. Он был все недоволен.

— И все?

— Это все. А дальше уже неинтересно. Пришел Соломон Давидович,

а Надежда Васильевна сказала ему: хотите билеты на «Федора Ивановича»?[70] А Соломон Давидович сказал: не нужно таких билетов, я и так знаю, он зарезал царевича Димитрия, а я не люблю такого: с какой, говорит, стати взять и зарезать мальчика, это, говорит, если человек серьезный, так он никогда такого не сделает, чтоб мальчика зарезать. Производство, говорит, — это другое дело. И он не захотел билетов.

Любовь захватывала колонию и с другого края. Шофер Петька Воробьев и Ванда снова начали попадаться на скамейках парка в трогательном, хотя и молчаливом уединении. Молчаливость, впрочем, не была в характере Ванды. Ванда сильно выросла и похорошела в колонии и целый день где-нибудь щебетала: то в цехе, то в спальне, то в столовой. А когда в колонию приехала в гости группа польских коммунистов, вырученных Советской властью из тюрем Польши, Ванда выпросила у бюро, чтобы ей поручили организовать ужин для гостей и колонистов, и с этой задачей блестяще справилась: ужин был богатый, вкусный, блестел чистотой и цветами, и гости, очень тепло принятые колонистами, в особенности благодарили хозяйку ужина Ванду Стадницкую. А Ванда сказала им:

— Я — полька, а смотрите, как мне хорошо здесь. У нас всем хорошо, и русским, и украинцам, и евреям, у нас и немец есть, и киргиз, и татарин. Видите?

Когда же гости уехали, Ванде пришлось утешать младших девочек: Любу, Лену и других. Они выбрали из гостей самого худого, очень за ним ухаживали, старались получше угостить, а потом они узнали, что этот самый худой — член местного городского Мопра, и были очень расстроены, даже плакали в спальнях. Ванда сумела их утешить и объяснить, что дело вовсе не в худобе. Ванду любили в колонии и девочки и мальчики, и всем было очень не по себе, когда все чаще и чаще начали встречать ее с Петром Воробьевым. Зырянский уже хотел поговорить с Петром, но события в колонии были так серьезны, что Алеше некогда было думать о Петре Воробьеве. В заседании совета бригадиров Торский развернул бумажку и сказал:

— Есть заявление: «В совет бригадиров. Прошу меня отпустить домой, так как мать моя, в Самаре, очень нуждается и просит меня приехать. Воленко».

В совете тишина. Головы опущены. Воленко стал у дверей, тонкий и строгий. Торский подождал и спросил тихо:

— Кто по этому вопросу?

Захаров сказал:

— Я хочу несколько вопросов Воленко. Что с матерью?

— Она... нуждается.

— Ты раньше получал от нее письма?

— Получал.

— Раньше ее положение было лучше?

— Да.

— А что теперь случилось?

— Ничего особенного не случилось... но мне нужно к ней поехать.

— Но ведь ты перешел в десятый класс.

— Что ж... придется отложить.

Воленко отвечает сухо, только из вежливости поднимает голову, смотрит на одного Захарова и снова чуть-чуть склоняет ее.

И снова тишина, и снова Торский безнадежно предлагает говорить.

Наконец услышали Филькин ленивый дискант:

— А письмо от матери он может показать?

Воленко вкось взглянул на Фильку:

— Что я, малыш или новенький? Письмо я буду показывать!

— Бывает разное...— начинает Филька, но Воленко перебивает его. Немножко громче, чем следует, но совершенно спокойно, совершенно уверенно и совершенно недружелюбно он говорит совету бригадиров.

— Чего вы от меня хотите? Я вас прошу отпустить меня домой, потому что мне нужно. Разрешение бюро имеется.

Марк подтвердил:

— Бюро не возражает.

Торский еще осмотрел совет. Сжалился над ним Илья Руднев, по молодости, наверное:

— Странно все-таки, чего тебе домой приспичило. Дом какой-то завелся, то не было этого самого дома...

Воленко с последним усилием сдержал себя.

— Голосуй уже, Торский!

— Дай слово!

— Говори!

И Зырянский сказал хорошие слова, но сказал, избегая встречаться взглядом с Воленко:

— Чего ж тут думать? Воленко хороший колонист и товарищ. Не верить ему нельзя. Если он говорит, значит, нужно. Мать нельзя бросать. Пускай едет, надо его выпустить, как полагается для самого заслуженного колониста: полное приданое, костюмы, белье, из фонда совета бригадиров выдать по высшей ставке — пятьсот рублей.

И больше никто звука не проронил в совете, даже Зорин, даже Нестеренко, старый друг Воленко.

Торский сделался суровым, нахмурил брови:

— Голосую. Кто за предложение Зырянского?

Подняли руки все, только Филька, хоть и не имел права голоса в совете, а сказал сердито:

— Пусть покажет письмо.

Воленко быстро поднял руку в салюте, сказал очень тихо «спасибо» и вышел. В совете стало еще тише. Зырянский положил руки на раздвинутые колени, смотрел пристально в угол, и у него еле заметно шевелились мускулы рта, оттого что он крепко сжал зубы. Нестеренко склонил лицо к самым ногам, может быть, у него развязалась шнуровка на ботинке. Руднев покусывал нижнюю губу, Оксана и Лида Таликова забились в самый угол и царапали пальцами одну и ту же точку на диванной обивке. Один Чернявин, новый бригадир восьмой, оглядывал всех немного удивленным взглядом, хотел что-то сказать, но подумал и увидел, что сказать ничего нельзя.

Вечером Захаров вызвал к себе Воленко. Он пришел такой же отчужденный и вежливый. Захаров усадил его на диван рядом с собой, помолчал, потом с досадой махнул рукой:

— Нехорошо получается, Воленко. Куда ты поедешь?

Воленко смотрел в сторону. На его лице постепенно исчезла суровая вежливость, он опустил голову, произнес тихо:

— Куда-нибудь поеду... Союз большой.

Он вдруг решительно повернул лицо к Захарову:

— Алексей Степанович!

— Говори!

— Алексей Степанович! Нехорошо получается, вот это самое главное. Думаете, я ничего не понимаю? Я все понимаю: пускай там говорят, а может, сам Воленко часы взял! Пускай говорят! Я знаю: старики так не думают... а может, и думают, это все равно. А только... почему в моей бригаде... такая гадость! Почему? Первая бригада! У нас... в колонии... такое время... такая работа! И везде... везде люди как теперь работают. А что ж получилось? Или Левитин, или Рыжиков, а может, и Воленко, а может, Горохов, а может, вся бригада из воров состоит... И все в моей бригаде, все в моей бригаде. Думаете, этого ребята не видят? Да? Все видят. Я дежурю, а на меня смотрят... и думают: тоже дежурит, а у самого в бригаде что делается. Не могу. Я, значит, виноват...

Воленко говорил тихо, с трудом, каждое слово произносил с отвращением, страдал и морщился еле заметно.

— Нельзя... нельзя мне оставаться. Товарищи, конечно, ничего не скажут и не упрекнут, потому что... и сами не знают... А понимаете... чувство, такое чувство! Вы не бойтесь, Алексей Степанович, не бойтесь. Я не пропаду. А может, иначе буду теперь... смотреть. Вы не бойтесь...

Захаров молча сжал руку Воленко выше локтя и поднялся с дивана. Подошел к стулу, погладил его лакированную боковинку:

— Так... я за тебя не боюсь. В общем правильно. Человек должен уметь отвечать за себя. Ты умеешь. Правильно. Это... очень правильно! В общем, ты молодец, Воленко. Только не нужно мучиться, не нужно... Все!

На другой день Воленко пришел проститься к Захарову. Он был уже в пальто с деревянной некрашеной коробочкой под мышкой.

— Прощайте, Алексей Степанович, спасибо вам за все.

— Хорошо. Счастливо тебе, Воленко, пиши, не забывай колонию...

Захаров пожал руку колониста. По-прежнему стройный и гордый, Воленко глянул в глаза Захарова и вдруг заплакал. Отвернулся в угол, достал носовой платок и долго молча приводил себя в порядок. Захаров отвернулся к окну, уважая мужество этого мальчика. Неожиданно Воленко вышел, сверкнув в дверях последний раз некрашеной деревянной коробкой.

Его никто не провожал. Он шел по дороге один. Только, когда он подходил к лесу, за ним стремглав полетел Ваня Гальченко. Он нагнал Воленко уже в просеке и закричал:

— Воленко! Воленко!

Воленко остановился, оглянулся недовольно:

— Ну?

— Слушай, Воленко, слушай! Ты не обижайся. Только вот что: дай нам твой адрес, только настоящий адрес!

— Кому это нужно?

— Нам, понимаешь, нужно, нам, четвертой бригаде, всей четвертой бригаде. И еще Чернявину, и еще другим.

— Зачем?

— Очень нужно! Дай адрес. Дай! Вот увидишь!

Воленко внимательно посмотрел в глаза Вани и слабо улыбнулся:

— Ну хорошо.

Он полез в карман, чтобы найти, на чем написать адрес. Но Ваня закричал:

— Вот, все готово! Пиши!

У Вани в руках бумажка и карандаш.

Через минуту Воленко пошел через просеку к трамваю, а Ваня быстро побежал в колонию. В парке его поджидала вся четвертая бригада.

— Ну что? Дал?

— Дал. Только он не в Самару поехал. Не в Самару. Он в Полтаву поехал... В Полтаву, и все!

14. Мещанство

Вестибюль — это не просто преддверие главных помещений колонии. В вестибюле было очень просторно, нарядно, и украшали его цветы, и украшал его часовой в парадном костюме. В вестибюле стояли мягкие диванчики, и на них хорошо было посидеть, подождать приятеля. Для этого лучшего места не было, так как в вестибюле пересекались все пути колонистов. Через него шли дороги к Захарову, в совет бригадиров, в комсомольское бюро, в столовую, в клубные комнаты и в театр. И раньше, чем попасть туда, каждый хоть на минуту задерживался в вестибюле, чтобы поговорить со встречным, а поговорить всегда было о чем. В таком случайном порядке однажды утром собрались в вестибюле Торский, Зырянский и Соломон Давидович. Последним пришел шофер Петро Воробьев и сказал:

— Здравствуйте.

Зырянский кивнул в ответ, но слова произнес, не имеющие никакого отношения к приветствию:

— Слушай, Петро, я с тобой уже разговаривал, а ты, кажется, наплевал на мои слова.

В этот момент вбежал в вестибюль бригадир девятой Похожай. Похожай страшный охотник до всяких веселых историй, и поэтому его заинтересовали слова Зырянского:

— Это кто наплевал на твои слова? Петька? Это интересно!

— Он наплевал, как будто я ему шутки говорил. Чего ты пристал к девочке?

Воробьев начал оправдываться.

— Да как же я пристал?

— Ты здесь шофер и знай свою машину. Рулем крути сколько хочешь, а голову девчатам крутить — это не твоя квалификация. А то я тебя скоро на солнышке развешу.

Соломон Давидович с мудростью, вполне естественной в его возрасте, попытался урезонить Зырянского:

— Послушайте, товарищи! Вы же должны понимать, что они влюблены.

— Кто влюблен? — заорал Зырянский.

— Да они: Воробьев и товарищ Ванда. А почему им не влюбиться, если у них хорошее сердце и взаимная симпатия?

— Как это «влюблены»? Как это «сердце»! Вот еще новости! Я тоже

влюблюсь, и каждому захочется! Ванде нужно школу кончать, а тут этот принц на нее глаза пялит! Эти соображения Зырянского были так убедительны, что Витя Торский вышел наконец из своего нейтралитета:

— Действительно, Петро, ты допрыгаешься до общего собрания.

Перед лицом этой угрозы Воробьев даже побледнел немного, но не сдался:

— Странные у вас, товарищи, какие-то правила: Ванда взрослый человек и комсомолка тоже. Что же, по-вашему, она не имеет права?..

Все, что говорил и мог говорить Воробьев, вызывало у Алеши Зырянского самое искреннее возмущение:

— Как это — взрослый человек! Она колонистка! Права еще придумал!

Торский более спокойно пояснил влюбленному:

— Выходи из колонии и влюбляйся сколько хочешь. А так мы колонию взорвем в два счета.

Зырянский смотрел на Воробьева, как волк на ягненка в басне.

— Вас много найдется охотников с правами!

Соломон Давидович слушал, слушал и тоже возмутился:

— Но если бедная девушка полюбила, так это нужно понять!

Зырянский и Соломону Давидовичу объяснил:

— Они только этого и ждут, до чего вредный народ...

— Кто это?

— Да влюбленные! Они только и ждут того, чтобы их поняли. Это вредный народ! Тут у нас завод строится, план какой трудный, с Воленко, смотрите, что получилось, а им что? Они себе целуются по закоулкам. Целуешься, Воробьев? Говори правду!

— Да честное слово...

— Целуются, им наплевать. И до чего нахальство доходит, еще в глаза смотрят, мы их должны понимать! Жалеть! Ах, они влюбились!

Соломон Давидович рассмеялся:

— И они правы, к вашему сведению. Это же довольно трудная операция — если человек влюбится.

Воробьев грустно опустил голову. Зырянский еще раз сказал:

— Так и знай, будете стоять на середине: ты и Ванда.

И убежал вверх по лестнице.

Похожай добродушно положил руку на плечо влюбленного:

— Ты, Петр, с ними все равно не сговоришься. Это, понимаешь ты, не люди, а удавы. Ты лучше умыкни!

— Как это?

— А вот, как раньше делалось: умыкни! Раньше, это, знаешь, подведут лошадей к задним воротам, красавица, это, выйдет, а такой вот Петя, который втрескался, в охапку ее и удирать.

— А дальше что? — спросил Торский.

— А дальше... мы его нагоним, морду набьем, Ванду отнимем. Это очень веселое дело!

Соломон Давидович проект Похожая выслушал с улыбкой:

— Зачем ему на лошадях умыкивать? Это совсем старая мода. У него же машина. И на чем вы его догоните? Другой же машины нету. И они вполне в состоянии прямо в загс! И покажут вам на общем собрании справку, вы еще салютовать будете как миленькие. В это время прибыли в вестибюль новые персонажи, и Соломон Давидович произнес более прозаические слова:

— Однако глупости побоку. Едем, товарищ Воробьев, а то плакали наши наряды.

Продолжение этого разговора произошло через неделю. Был выходной день. Вся колония культпоходом ходила на «Гибель эскадры»[71]. Возвратились к позднему обеду, часов в пять вечера. Колонистам очень понравилась пьеса, а кроме того, вообще было приятно промаршировать через город со знаменем, с оркестром, в белых костюмах. И Захаров возвратился повеселевшим, и Надежда Васильевна смеялась и шутила, как девочка, — в общем, вышел прекрасный выходной день. Когда разошелся строй, все колонисты побежали по спальням переодеваться, умываться, готовиться к обеду. А в вестибюле скучал одинокий дневальный Новак Кирилл, который очень любил театр и которому из-за дневальства пришлось остаться без культпохода. В этот самый момент в открытые двери заглянул Петр Воробьев, испугался строгого вида дневального и грустно отвернулся к цветникам. Только через две минуты из вестибюля вылетел, уже в трусиках, Ваня Гальченко.

— Ваня, голубчик, иди сюда, — позвал Воробьев.

Ваня остановился:

— А тебе чего? Наверное, Ванду позвать?

— Ванюша, дорогой, позови Ванду!

— А покатаешь?

— Ну а как же, Ваня!

— Есть, позвать Ванду!

— Да чего ты кричишь?

— Товарищ Воробьев, все равно все знают. Я позову, позову, не бойся!

Ваня полетел вверх по лестнице, а Петр Воробьев остался рассматривать цветники. Ванда выбежала в белом платье, румяная, красивая, все как полагается. Воробьев зашептал трагическим голосом:

— Ванда, знаешь что?

Оказалось, впрочем, что, несмотря на свою красоту, Ванда тоже страдает:

— У меня в голове такое делается! Ничего не знаю! Уже все хлопцы догадываются. Прямо не знаю, куда и прятаться.

Воробьев сложил руки вместе и приложил их к груди:

— Ванда, едем сейчас ко мне!

— Как это так?

— Прямо ко мне домой!

— Да что ты, Петр!

— Ванда! А завтра в загс, запишемся, и все будет хорошо!

— А здесь как же? А завод?

— Ванда. Разве ж Захаров тебя бросит или что? Едем!

— Ой! А ребята как?

— Да... черт... никак! Просто едем! Честное слово, хорошо. Мне ребята и посоветовали.

— Ну!

— Это... честное слово.

— Да они ж прибегут за мной!

— Куда там они прибегут! Они даже не знают, где я живу. Едем!

— Вот... как же это? А я в белом платье!

— Ванда. Самый раз. На свадьбу всегда в белом полагается. И мать будет рада, она уже все знает...

Ванда приложила к горячей щеке дрожащие пальцы:

— А знаешь, Петя, верно! Ой, какой ты у меня молодец!

— Чудачка! Ведь шофер первой категории!

— А увидят?

— Вандочка! Ты же понимаешь, на машине, кто там увидит?

— Сейчас ехать?

— Сейчас!

— Ой!

— Ну, скорей, вон машина стоит, садись и...

— Подожди минуточку, я возьму белье и там еще что...

— Так я буду ожидать. А ты им записочку оставь. Все-таки знаешь... ребята хорошие.

— Записочку!

— Ну да. Они, как там ни говори, а смотри, какую красавицу сделали. Напиши так, знаешь: до скорого свидания и не забывайте.

— Напишу.

Ванда убежала в здание, а Воробьев остался в цветнике, и его томление распределилось теперь между несколькими пунктами: между Вандой, которую нужно ожидать, между полуторкой, которая сама ожидала их, и между Зырянским, которого ожидать не следовало, но который всегда мог появиться в самую ответственную минуту.

В это время очень близко, в вестибюле, молодой инженер Иван Семенович Комаров находился также в положении ожидающего. Во всяком случае Зырянский, выглянувший из столовой, задал такой вопрос:

— Вы кого-нибудь здесь ожидаете? Или позвать можно?

Инженер Комаров ответил в том смысле, что он никого не ожидает и звать никого не нужно, но в словах Зырянского он почувствовал совершенно излишнюю откровенность и грустно отвернулся к открытым дверям. В двери было видно, как шофер Воробьев наслаждается цветником, но инженер Комаров не обратил на него внимания. Зато Алеша Зырянский увидел и шофера Воробьева, и лицо Ванды, вдруг мелькнувшее на верхней площадке лестницы и немедленно исчезнувшее. И Алеша Зырянский сказал возмущенным голосом:

— О! Влюбленные уже забегали! Никакого спасения!

Инженер Комаров густо покраснел и все-таки нашел в себе силы обратиться к Зырянскому с холодным вопросом:

— Товарищ колонист! Я вас не понимаю!

Занятый своими наблюдениями, Зырянский ответил с некоторой досадой:

— Влюбленные! Что ж тут непонятного!

Комаров почувствовал самый незначительный озноб от простоты Алешиного объяснения, но Алеша и дальше объяснил:

— Если им волю дать, этим влюбленным, жить нельзя будет. Их обязательно ловить нужно.

Трудно предсказать, чем мог окончиться этот разговор, если бы не вошла в вестибюль Надежда Васильевна. Она тоже разрумянилась в походе и тоже была в белом платье, все как полагается.

— Алеша все влюбленных преследует. Если вы влюбитесь, Иван Семенович, старайтесь Алеше на глаза не попадаться. Заест.

Зырянский смущенно улыбнулся и сказал, уходя в столовую:

— Влюбляйтесь, не бойтесь.

— Я вас ожидаю, — сказал Комаров.

Надежда Васильевна села на диванчик и подняла к инженеру лукавое лицо. — А для чего я вам нужна? Насчет инструментальной стали?

— Как?

— А может быть, вам нужно знать мое мнение об установке диаметрально-фрезерного «Рейнеке-Лис»?

— Вы все шутите, — произнес инженер, очевидно, намекая на то, что есть на свете и серьезные вещи.

— Я не шучу. Но я имею разрешение говорить с молодыми инженерами только о воробьях и о соловьях.

— От кого разрешение?

— От вашего Вия.

— От Вия? Кто это, позвольте...

— Это у Гоголя, Иван Семенович, в одной производственной повести говорят: «Приведите Вия!» — это значит: пригласите самого высокого специалиста. У вас тоже есть такой Вий.

— Ах, Воргунов!

— Так вот... Вий распорядился, чтобы с молодыми инженерами я говорила только о разных птичках.

— Распорядился? Не может быть!

— Как «не может быть»? Это потому, что молодые инженеры оказались скоропортящимися. Ужасное качество: вас можно перевозить только скорыми поездами вместе с другими скоропортящимися предметами: молоком, сметаной.

Кирилл Новак с большим любопытством слушал этот разговор. Больше всего ему понравилось, что Воргунов похож на Вия. Кирилл Новак недавно прочитал повесть о Вие, и теперь стало ясным, что Воргунов действительно похож на Вия. Кирилл Новак с увлечением представил себе, как он расскажет о таком открытии четвертой бригаде, но в этот момент произошли события, способные дать еще более богатый материал для сообщения четвертой бригаде. Сверху быстро сбежала Ванда с порядочным узелком в руках и, еле-еле выговаривая слова, обратилась к Надежде Васильевне:

— Надежда Васильевна, миленькая, передайте эту записочку Торскому.

— А ты куда это с узелком?

— Ой, Надежда Васильевна, уезжаю!

— Куда?

— Уезжаю! Совсем! Говорить даже стыдно: к Пете уезжаю!

Ванда чмокнула Надежду Васильевну и выбежала из вестибюля. Только теперь Кирилл Новак понял, какое событие разыгралось перед его глазами, и заорал благим матом в столовую:

— Алеша! Алеша! Ванда...

Зырянский вырвался из столовой, но было уже поздно. Он видел, как тронулась в путь полуторка, и мог только сказать:

— Ах ты... уехала, честное слово, уехала! Она с узелком была? Да?

— С узелком. Да вот записка к Торскому.

— Записка? Все, как в настоящем романе! Вот мещане! Ах ты, черт! «Торский, я люблю Петю и уезжаю к нему и выхожу замуж. Спасибо колонистам за все. До скорого свидания».

15. Бригадир первой

Заметно или незаметно, а пришел август, такой самый август, как и в прошлом году. Уже холодно стало спать в палатках, но Захаров тоже спал, и неудобно было поднимать вопрос о переходе в здание, а то Захаров еще скажет, как это было раньше в подобных случаях:

— Если холодно, можно ватой вас обложить, тогда будет теплее...

В прошлом году август был счастливым месяцем, и в этом году все было еще лучше приспособлено для счастья, если бы не первая бригада.

Первая бригада! Первая бригада выбрала вместо Воленко бригадиром Рыжикова! Они думали, в первой бригаде: вот они выберут Рыжикова, а никто ничего не заметит. Как же это можно не заметить, если каждый вечер только и разговору было в четвертой бригаде, что об этих самых выборах. Разговаривали больше пацаны. Алеша Зырянский слушал с хмурым выражением, задумывался. Было о чем задумываться. Что такое сделалось с колонистами, что случилось в комсомоле, почему Захаров все соглашается и соглашается. Почему первая бригада выдвигает Рыжикова, а комсомольское бюро поддерживает? А Захаров что сказал на общем собрании? Захаров сказал:

— Я не возражаю против кандидатуры Рыжикова. Я надеюсь, что в роли бригадира Рыжиков еще лучше проявит свои способности.

А Марк Грингауз что говорил?

— Все мы знаем, что в первой бригаде тяжелое положение. Пять лучших комсомольцев уходят в вузы, значит, придут пять новеньких, с ними тоже работа нелегкая. Рыжиков показал себя энергичным человеком, мы уверены, что он поставит бригаду на должную высоту. Работник он хороший, бригадир будет энергичный. Все знают, что он и Подвесько вывел на чистую воду, и Левитина поймал с ключами... В это время Левитин закричал с места:

— Я не брал ключей! Не брал!

Марк Грингауз подождал, пока головы снова повернутся к оратору, и продолжал:

— Мы знаем, что в колонии многие против Рыжикова, многие никак не могут простить ему прошлое. А сколько у нас таких товарищей, у которых прошлое, так сказать, подмоченное! Если я начну называть фамилии, так будет очень долго. А теперь они комсомольцы, и студенты, и кто хотите. Конечно, тут дело доверия. А поэтому бюро разрешает комсомольцам голосовать как им угодно. Большинство покажет...

Рыжиков фертом ходил по колонии: куда тебе — знаменитый литейщик! Баньковский, мастер, без Рыжикова и шагу ступить не может, даже свой несчастный барабан начал ему доверять, хотя этому барабану три дня до смерти осталось. Рыжиков — аккуратист, Рыжиков — веселый парень, Рыжиков ворам спуску не дает в колонии. Нет, четвертую бригаду не так легко провести. Может быть, колонистам некогда, у колонистов и новый завод, и фронт, и умирающие станки, и школа опять на носу, и любовные неприятности с разными Петьками и Вандами. Но у четвертой бригады нашлось время, чтобы крепче подумать о Рыжикове. И бригадир четвертой, Алеша Зырянский, встал на собрании и сказал:

— По вопросу о кандидатуре Рыжикова в бригадиры первой наша бригада поручила сказать Володе Бегунку.

Колонисты поняли, почему не бригадир будет говорить, а Бегунок. Все узнали в этом ходе робеспьеровскую руку Алеши. Все помнят, как не так еще давно Володя Бегунок что-то хотел сказать, а дисциплина бригадная треснула тогда Володю по голове, он сидел на ступеньках перед бюстом Сталина и краснел, сжимая в руках свою трубу. И Зырянский хитрый: сейчас все должны понять, что и тогда и теперь он согласен с Володей, что бригада Володю ни в чем не обвинила, что только по причинам дипломатическим четвертая бригада не может поднять настоящий скандал.

Поэтому, когда Володя встал, чтобы говорить, колонисты улыбнулись понимающими улыбками: упрямство четвертой бригады давно известно. Володя сказал, сохраняя на лице выражение холодной вежливости по отношению к Рыжикову и тонкого намека по отношению к собранию:

— Четвертая бригада ничего не имеет против колониста Рыжикова, но считает, что для первой бригады и для колонии можно найти более достойную кандидатуру. Поэтому четвертая бригада будет голосовать против Рыжикова.

Торский с удивлением посмотрел на Володю, и этот взгляд был для всех понятен: откуда у Бегунка такие шикарные выражения? Торский спросил:

— Значит, четвертая бригада считает, что Рыжиков недостоин звания бригадира?

Володя чуть-чуть улыбнулся углом рта и ответил Торскому:

— Нет, четвертая бригада вовсе не так считает. Ничего подобного! Он тоже достойный, а только надо еще достойнее. Видишь?

Теперь Володя улыбнулся полностью, что вполне соответствовало одержанной им дипломатической победе. Но Торский не унимался:

— Хорошо. Раз так, так почему четвертая бригада не предложит своего кандидата?

Кто их знает, может быть, четвертая бригада заранее готовилась к вредным вопросам Торского, Бегунок не долго думал над ответом:

— Мы можем предложить... пожалуйста... кого только угодно... сколько есть колонистов, какого угодно колониста.

— Только не Рыжикова?

— Да, за всех будем «за» голосовать, а за Рыжикова будем «против» голосовать.

Общее собрание было восхищено мудрыми ответами Володи Бегунка, хотя в этих ответах было много и чепухи. Для того чтобы ее обнаружить, Торский задал еще один вопрос:

— Значит, все колонисты могут быть бригадирами, только Рыжиков не может?

Володя обошелся без слов. Он просто задумчиво кивнул.

— И ты можешь быть бригадиром первой или, например, Ваня Гальченко?

У всех загорелись глаза. Хотя и важный вопрос разбирался на собрании, но колонисты всегда любили острые положения. В самом деле, как Бегунок вывернется?

И что ты скажешь, вывернулся! Правда, чмыхнул по-мальчишески, совершенно забыв о своей дипломатической миссии, но сказал громко, и когда начал говорить, то был даже чересчур серьезен:

— Я не говорю, что я буду таким замечательным бригадиром или там Ванька Гальченко, а только... все-таки лучше Рыжикова.

Торский зажмурил глаза и зачесал пальцами у виска, колонисты засмеялись, Брацан сказал хмуро:

— Да довольно с ним... вот затеяли с пацаном представление!

Володя Бегунок услышал, покраснел, обиделся:

— И вовсе не с пацаном, а вся четвертая бригада.

Четвертая бригада сидела на ступеньках у бюста Сталина и посмеивалась довольная: ее представитель здорово сегодня действует! А когда Витя Торский предложил поднять руки, кто за Рыжикова, четвертая бригада, сложив руки на коленях, рассматривала собрание насмешливыми глазами.

— Кто против?

Четырнадцать рук поднялось у бюста Сталина, и еще несколько рук в других местах. Против голосовали: Игорь Чернявин, Оксана, Шура Мятникова, Руслан Горохов, Левитин, Илья Руднев, еще несколько человек.

— Против двадцать семь голосов, — сказал Торский. — Только непонятно, как голосуют Чернявин и Руднев. Выходит так, что вы голосуете не со своими бригадами.

Чернявин на это ничего не сказал, а Руднев ответил спокойно:

— Да, меня Бегунок сегодня сагитировал.

Руднев сказал это действительно спокойно. Никто не улыбнулся его словам. И хотя только двадцать семь голосов было против Рыжикова, а впечатление у всех осталось нехорошее. Еще никогда таких выборов в колонии не было. И когда принесли знамя и временный бригадир первой Садовничий вытянулся перед Захаровым, было не совсем удобно салютовать этой передаче. В четвертой бригаде Филька шепнул Зырянскому:

— Ой, Рыжикову салютовать?!

Зырянский шепотом же и ответил:

— Не Рыжикову, а общему собранию и знамени[72].

Так Рыжиков стал бригадиром. Через неделю он дежурил по колонии, и Ваня Гальченко, стоя на дневальстве, вытягивался «смирно», когда Рыжиков проходил мимо.

16. Спасибо за жизнь!

Гораздо приятнее окончилось дело с Вандой. Конечно, ее бегство из колонии было тяжелым ударом и оставленная Вандой записка помогала мало. Хуже всего, что нашлись философы, которые стали говорить:

— И чего там перепугались? Ну влюбились, поженились, что ж такого?

Зырянский таким отвечал с пеной у рта:

— Ничего такого? Давайте все переженимся! Давайте!

— Чудак, так влюбиться же нужно. Ты влюбись раньше!

— Ого! Влюбиться! Думаешь, это трудно? Вот увидите, через три месяца все повлюбляются! Вот увидите.

Похожай успокаивал Зырянского:

— И зачем ты, Алеша, такое несоответствующее значение придаешь? Не всякий же имеет полуторку. Без полуторки все равно не выйдет.

И Соломон Давидович успокаивал:

— Вы, товарищ Зырянский, не понимаете жизни: любовь — это же

не по карточкам! Вы думаете, так легко влюбиться? Вы думаете, пошел себе и влюбился? А квартира где? А жалованье где? А мебель? Это же только идиоты могут влюбляться без мебели. И, насколько я понимаю, у колонистов еще не скоро будет сносная мебель.

— Да, вы вот так говорите, а потом возьмете и умыкнете колонистку!

— Товарищ Зырянский! Для чего я буду ее увозить, если своих четыре дочки, не знаешь, как замуж выдать.

Зырянскому не везло или Ванде, но пришла она в колонию в выходной день, а дежурным бригадиром был в этот день... Зырянский. Колонисты жили уже в спальнях. Ванда вошла в вестибюль в послеобеденный час, когда все либо в спальнях сидят, либо в парке прячутся. На дневальстве стоял Вася Клюшнев, похожий, как известно, на Дантеса. Ванда оглянулась и сказала несмело:

— Здравствуй, Вася!

Клюшнев обрадовался:

— О Ванда, здравствуй!

— Пришла проведать. К девочкам некого послать?

— Да ты иди прямо в спальню. Там все.

— А кто дежурный сегодня?

— Зырянский.

Ванда повалилась на диванчик, даже побледнела:

— Ой, как не повезло!

— Да ты не бойся, иди, что он тебе сделает?

Но в этот момент Зырянский вышел из столовой вместе с Бегунком:

— А! Вы чего пожаловали?

— Нужно мне, — с трудом ответила Ванда.

— Скажите, пожалуйста, «нужно». Убежала из колонии, значит, никаких «нужно»!

Из столовой выбежали две девочки и запищали в восторге. Потом на этот писк выбежали еще две и тоже запищали, вырвалась оттуда же Оксана и, конечно, с объятиями:

— Ванда! Ой! Вандочка, миленькая!

Зырянский пришел в себя и крикнул:

— Я вас всех арестую! Она убежала из колонии!

Оксана удивленно посмотрела на Зырянского:

— Убежала! Что ты выдумываешь. Не убежала, а замуж вышла!

Володя Бегунок смотрел, смотрел и тоже бросился к Ванде на шею:

— Вандочка! Ах, милая, ах, какая радость! Она замуж вышла!

— Убирайся вон, чертенок! — закричали на Володю девушки.

Зырянский все-таки был в повязке.

— Колонистки, к порядку!

Это был привычный призыв дежурного бригадира, и девочки смущенно смолкли.

— Нечего ей здесь околачиваться! Я ее не пущу никуда. Раз убежала из колонии, кончено! И из-за чего? Из-за романа!

Ванда наконец тоже подняла голос:

— Как это убежала? Что я, беспризорная, что ли? Я целый год в колонии!

— Год в колонии. Тем хуже, что ушла, как... по-свински, одним словом!

Для тебя донжуаны лучше колонистов?

— Какие донжуаны?

— Петька твой — донжуан!

И Володя Бегунок пропел со своей стороны:

— Дон Кихот Ламанчакский.

— Какой он донжуан? Мы с ним в загсе записались!

— В загс тебе не стыдно было пойти, а в совет бригадиров стыдно. Убежала и целый месяц носа не показывала! Товарищ Клюшнев! Я не разрешаю пропускать ее в спальни. Клюшнев приставил винтовку к ноге:

— Есть, не пропускать в спальни!

Зырянский гневно повернулся и ушел в столовую. Бегунок побежал в кабинет.

— Вот ирод! — сказала Оксана. — Что же теперь делать? Вася, ты не пропустишь?

Вася грустно улыбнулся:

— Что вы? Приказание дежурного не только для меня, а и для вас обязательно.

Но в этот момент в коридор вышел Захаров, девочки бросились к нему:

— Алексей Степанович! Вот пришла Ванда, а Зырянский не пропускает ее в спальни!

Захаров обрадовался Ванде не меньше девочек. Он поцеловался с нею, пригладил ей прическу:

— Как это можно? Такой дорогой гость! Алеша!

Зырянский стал в дверях столовой.

— Алеша! Как же тебе не стыдно!

— Наш старый обычай — беглецов в колонию не впускать!

— Какие там беглецы! Пропусти.

Зырянский нахмурил брови, принял официальный вид:

— Есть, товарищ заведующий! Товарищ Клюшнев, пропусти ее по приказанию заведующего колонией!

Захаров засмеялся, повертел головой, обнял Ванду за плечи, шутя, галантным жестом показал девочкам дорогу, и все они отправились в кабинет. Сидели они там долго, и Володя Бегунок потом рассказывал в четвертой бригаде:

— Там одни девчата, понимаете, собрались, так они все по-своему, все по-своему. И Алексей Степанович ничего такого... не ругал, а только все спрашивал, какая квартира, да какая там старуха, да какой Петька. А Ванда все одно и то же отвечает: ах, какой замечательный Петя, и какая замечательная старуха, и какая замечательная квартира! А потом, понимаете, прямо подошла так... к Алексею Степановичу и давай обнимать... за шею, все обнимает и обнимает и ревет. Потеха! Все замечательное, все замечательное, а на весь кабинет плачет. И она плачет, и другие девочки слезы вытирают, потеха...

— А дальше?

— А дальше Алексей Степанович говорит: Володька, убирайся отсюда, до чего ты распустился! Я и ушел.

— А за что?

— Я... честное слово, я так просто смотрел... больше ничего.

— А чего ж она плакала?!

— А разве их разберешь? Она все благодарила, благодарила. А потом так стала посредине кабинета и как скажет: «За жизнь! Спасибо за жизнь!»

Филька посмотрел серьезными своими глазищами и сказал:

— Это она правильно: спасибо Алексею есть за что, это правильно. А только вот непонятно: почему сейчас же реветь? Если «спасибо», так при чем тут слезы? Он, наверное, выговаривал ей за что-нибудь?

— Нет, ни чуточки не выговаривал. Он так... знаете... совсем такой добрый был, ничуть не сердитый.

Вечером был совет бригадиров. На совет пришел и Петя Воробьев, и много пацанов сбежалось из четвертой бригады, и удивило всех присутствие Воргунова. Он сел на диване рядом с колонистами и слушал внимательно. Торский дал слово Ванде; Ванда осмотрела всех особенно взволнованным взглядом, слезы дрожали у нее в голосе, когда она говорила:

— Дорогие колонисты! Я у вас только год пожила, а я вам по правде скажу: нет у меня другой жизни, только этот год и есть. И я всю жизнь буду вас вспоминать и все буду вам спасибо говорить и Советской власти, аж пока не помру. И вы простите мне, что я полюбила Петю, а вам ничего не сказала, я боялась, и стыдно было. Вы простите, и Петю простите, он же тоже, как колонист все равно. И выпустите меня, как колонистку, с честью, и работать чтоб можно было мне на новом заводе, хоть токарем, а может, и еще чем. И Петро Воробьев сказал, несмело, правда, и все краснел и поглядывал на Зырянского:

— Я вот... не оратор. Тут не в словах дело, а в человеке. Вы не думайте, я все понимаю и не обижаюсь. Это, конечно, хорошо, что у вас строго, я понимаю, оттого и Ванда... такая хорошая...

— Понравилась? — спросил Зырянский.

— А как же! Я люблю Ванду, прямо здесь говорю, и вы не беспокойтесь, я на всю жизнь люблю...

— Как хорошо, — прошептала Оксана, наклонившись к уху Лиды Таликовой. Лида сочувственно кивнула головой.

Зырянский все-таки попросил слова:

— Ванда и Петро поступили нехорошо. Может, там они и действительно на всю жизнь, а только кто их знает? А другим, может, на короткое время захочется, а откуда мы знаем? Так тоже нельзя допускать. Дисциплина где будет, если всем таким влюбленным волю дать? Должны были в совет бригадиров заявить, а мы посмотрели бы, комиссию выбрали бы, проверить, как и что. А то взяли, сели в грузовик и поехали. Это верно, что так у древних делали. Я предлагаю за то, что вышла замуж без...

И вот тут Воргунов сказал первое свое слово к колонистам:

— Без благословения родителей.

Не только Зырянский, все колонисты опешили от этого неожиданного нападения, все повернули лица к Воргунову, а он сидел между ними массивный и как будто недовольный и смотрел прямо на Зырянского:

— Я говорю: без благословения того... совета бригадиров. Но это все равно. За такие дела родители раньше проклинали.

Зырянский обрадовался человеческому голосу Воргунова.

— Проклинать не будем, а под арест посадить Ванду и Петра... часов на десять следует.

Филька крикнул откуда-то из дальнего угла: — Правильно!

Воргунов нашел Фильку взглядом, перегнулся в его сторону всей тяжелой своей фигурой: — Это ты говоришь «правильно», а откуда ты знаешь?

— Так и так видно!

— А мне вот не видно.

— Мало ли чего, — сказал Филька возможно более низким голосом, — вы еще недавно в колонии.

И вот тут увидели колонисты, что Воргунов умеет смеяться, да еще как! У него и живот смеется, и плечи, а рот он открывает широко и смеется басом. А потом он спросил Фильку, но уже строгим голосом:

— Ты думаешь, и я сделаюсь таким кровожадным зверем, как Зырянский?

— А как же? Если у нас поживете... А только, может, вы убежите раньше.

Воргунов опять хохотал, ему нравился Филька. Колонисты торжествовали по другому поводу: просто было приятно, что наконец этот отчужденный главный инженер заговорил и даже засмеялся.

Совет бригадиров окончился весело. Правда, Зырянский не снял своего предложения, но за него поднялись только две руки, да и то одна рука была Филькина, который не имел права голоса, потому что не был еще бригадиром. Совет бригадиров постановил выпустить Ванду с честью, дать приданое, выбрать комиссию, оставить на работе токарем, а в следующий выходной день всем советом пойти к Воробьеву и посмотреть, как он живет, может, чем-нибудь и помочь придется. Ванда уходила из совета счастливая, даже о своем Пете забыла, так тесно окружили ее девочки.

А вечером Ванда зашла проститься с четвертой бригадой. Зырянский встретил ее приветливо, усадил на стул, спросил:

— Ты на меня не сердишься?

— Ой, милые мои мальчики, мне с вами так трудно расставаться, что и сердиться некогда. Живите хорошо, не забывайте про меня. И спасибо вам, что были товарищами, спасибо.

Володя Бегунок внимательно и серьезно слушал Ванду, но успел посмотреть и на Фильку. У Фильки в глазу что-то блеснуло подозрительно, и Володя воспрянул каверзным своим духом. Но Филька нахмурил брови и сказал довольно важно, самым обыкновенным, ничуть не растроганным голосом.

— Мы... что ж... мы и будем хорошими товарищами. Это ты не беспокойся, Ванда. А только ты напрасно слезы... чего ж тут плакать?

Ванда вытерла глаза, улыбнулась и набросилась на Ваню Гальченко. Она расцеловала его при всех, и Ваня испуганно смотрел на нее, а потом только опомнился:

— Да что ж ты меня одного целуешь? Ты тогда и со всеми попрощайся.

И после этого вся четвертая бригада загалдела и полезла целоваться. Пожимали Ванде руки и говорили:

— Ты к нам приходи... в гости... В четвертую бригаду... приходи.

И Ванда перестала проливать слезы, а смеялась и обещала приходить. Может, потом и плакала где-нибудь, но четвертая бригада того не видела. А в самой четвертой бригаде все попрощались с Вандой весело, и ни один колонист и не подумал плакать.

17. Флаги на башнях

Постройка корпусов завода была закончена, и, как всегда это бывает, именно теперь скопилась такая масса работы, что, казалось, ее невозможно когда-нибудь переделать. Кое-где стояли на фундаментах станки, другие станки еще прибывали и прибывали, и ставить их было негде: то фундамент не готов, то подсыпка не сделана. Колонистский двор, как ни берегли его, обратился все-таки в хаос. На новых зданиях стоят леса, везде разбросаны бараки, сараи, остатки досок, щебень, просто обломки кирпича, зияют известковые ямы, валяются разбитые носилки, куски фанеры, куски рогожи, и все это присыпано вездесущим строительным прахом, от которого нет спасения уже и в главном здании.

А рядом с новым заводом, «возникающим в хаосе» стройки, умирает старое производство Соломона Давидовича, и вокруг него распространяется такой же хаос, только это хаос умирания.

В конце августа наступающие цепи колонистов вышли на линию 1 ноября, это в среднем по колонии; правый фланг, девочки, «теснили отступающего в панике противника» на линиях двадцатых чисел декабря, но все равно завод Соломона Давидовича умирал. Токарные «козы» выбывали из строя одна за другой, в машинном отделении деревообделочного цеха было не лучше. Стадион, заваленный хламом обрезков, бракованных деталей, массой дополнительной приблудной дряни, представлял настолько отвратительное зрелище, что Захаров категорически запретил с наступлением холодов возвращаться на стадион для работы. Раза два на стадионе почему-то начинались пожары. Их легко тушили, оставались черные пятна обугленных участков, от этого стадион казался еще печальнее. Соломон Давидович говорил колонистам:

— Можно все перенести: можно перенести производственные неполадки, можно перенести новый завод, но нельзя переносить еще и пожары! Разве можно для моего сердца такие нагрузки? С какой стати?

Колонисты утешали Соломона Давидовича:

— Он все равно сгорит — стадион. Так и знайте, Соломон Давидович, он все равно сгорит.

— Откуда вы так хорошо знаете, что он сгорит?

— А это все колонисты говорят.

— Мне очень нравится: все колонисты говорят. Разве они не могут говорить что-нибудь другое?

— Про стадион? А что ж про него говорить? Это старый мир, Соломон Давидович! Его все равно нужно подпалить.

Соломон Давидович и обижался, и тревожился. Теперь он выдумал для себя моду приходить по вечерам к Захарову и дремать на диване. Захаров спрашивал его:

— Почему вы не спите, Соломон Давидович?

— Новое дело, хвороба его забрала б!

— Какое дело?

— Очень смешное, конечно, дело: пожара ожидаю.

— На стадионе?

— Ну а где же?

— Так почему вы думаете, что пожар случится в то время, когда вы

не спите? Ведь загореться может и под утро?

— Это совсем другое дело: под утро! Никто не скажет: «Стадион загорелся, а Соломон Давидович спозаранку спать лег». А если я лягу и в двенадцать часов, так это будет прилично, как вы думаете?

— Это будет прилично.

— Ну вот, я и посижу у вас до двенадцати.

В конце августа приехал Крейцер, пробежал по цехам Соломона Давидовича, зашел к Захарову и сказал:

— Скажите этому вашему Володьке, пускай играет сбор бригадиров.

— Да ведь рабочее время.

— Все равно. Предлагаю немедленно прекратить работу. По-вашему, можно еще работать в этом самом механическом и на стадионе?

— Совсем нельзя.

— Давайте совет бригадиров!

— Даем!

Удивленные бригадиры и все колонисты в самый разгар рабочего времени услышали «сбор бригадиров». Никому не пришло в голову, что этот короткий, из трех звуков, сигнал наносит последний удар старому производству Соломона Давидовича.

Заседание продолжалось недолго. Крейцер предложил все силы колонистских бригад перебросить на строительство, чтобы скорее привести в порядок новый завод и начать на нем работу. Колонисты встретили это предложение овацией. Воргунов и предложение и овацию выслушал с недоверчивой тревогой, присматривался к ребятам и задал только один вопрос:

— И леса они будут разбирать?

Бригадиры ответили недоуменными взглядами: они не поняли, в чем сущность вопроса, а Воргунов смотрел на них и не понимал их недоуменных взглядов. Соломон Давидович с осуждением пыхнул губами:

— Пхи! Леса разбирать! Если вы им предложите разобрать самого черта, так они разберут, к вашему сведению, и все сложат в порядке: лапы отдельно, копыта отдельно, а рожки и хвостик тоже отдельно. Вы можете спокойно произвести инвентаризацию.

Воргунов повернул к нему голову и произнес с сарказмом:

— Черта мне не приходилось, но думаю, что это все-таки легче, чем леса.

— Ошибаетесь. Черт, вы думаете, он себе будет сидеть и смотреть, как его разбирают? Он же будет кусаться!

Этот оригинальный спор разрешил Захаров:

— И Соломон Давидович и Петр Петрович запоздали с проблемой: и бог и черт давно разобраны и сложены в музеях. А леса мы разберем, Петр Петрович!

Воргунов сделал движение всем телом, которое обозначало, что он посмотрит, как колонисты разберут леса.

На другой день у диаграммы штаба соревнования особенно толпился народ. Боевая сводка гласила:

«Положение на фронте на 29 августа

Вчера наш краснознаменный правый фланг нанес последний удар противнику: годовой план швейного цеха выполнен полностью, девочки после короткого штурма взяли правые башни города, на башнях развевается Красный флаг СССР.

Враг, потерявший всякую надежду на победу, приступил к эвакуации города. Надеемся, что завтра, несмотря на выходной, наши части левого фланга и центра вступят также в город».

На диаграмме, действительно, было видно: на правой башне развевается красный флаг. Это замечательное событие так долго ожидалось, что просто глазам не верилось, когда оно наступило.

Четвертая бригада в продолжение целого дня ходила смотреть на диаграмму: действительно, на башнях стоит маленький, узенький красный флаг и на нем написано: СССР. И на диаграмме было еще видно, как из города разбегаются враги: они были совсем не синие, они оказались черненькие, мелкие, довольно противные. Петр Васильевич Маленький нарисовал их тушью, и, видно, много времени ушло на эту работу, потому что врагов было очень много.

За ужином прочитали приказ. Было коротко сказано:

«Пятой и одиннадцатой бригадам прибыть на общее собрание в строгом порядке. Оркестру и знаменной бригаде быть в распоряжении дежурного бригадира».

И вечером на общем собрании состоялось торжество. Девочки вошли в парадных костюмах, их встретили знаменным салютом, а потом поздравляли и вообще хвалили. Конечно, у девочек не было таких «коз» и такого леса, как у мальчиков, но все-таки нельзя было отрицать, что они здорово поработали, и поэтому никто из мальчиков им не завидовал, а, напротив, все радовались и смотрели на девочек сияющими глазами.

На поздравление отвечала Оксана Литовченко. Игорь с гордостью слушал ее речь. Он гордился тем, что только он один понимал, какая это прелесть — Оксана! Никто другой не мог так хорошо сказать, как Оксана:

— Вот что я вам скажу, дорогие мои товарищи! Кто ж это и когда мог думать, что придут девчата в такую красивую комнату, а сорок хлопцев на серебряных трубах заиграют тем девчатам почет? А сами те хлопцы, которые играли и которые под знаменем нашим стоят, они вместе с нами, и Соломоном Давидовичем, и с новым нашим главным инженером Петром Петровичем, и с другими людьми, а самое главное — с Алексеем Степановичем, и с другими, которых здесь нет, а которые сейчас на работе, и с учителями нашими, и с мастерами, и с рабочими — все как один человек послухали, что нам сказала партия большевистская, и что говорил нам Ленин... И послухали и работали как герои, а не как наймиты, и сделали сколько тысяч и сотен тысяч столов, и стульев, и масленок, и чертежных столов, и трусиков, и ковбоек; сделали и людям послали на потребу. И вот сейчас мы завоевали для себя и для нашей страны новый завод, такой завод, который будет делать машинки, будем делать для Красной Армии, бо Красная Армия теперь должна не только пулями, а и машинами побивать врагов. И не для одной Красной Армии, а и для тех, кто мосты строит, и для тех, кто дома строит и дороги, и для всех трудящихся. И никто из колонистов, ни один человек не ховался в обозе, как говорит товарищ Киров, самый первый друг и помощник товарища Сталина, а только один, может быть, гад и до сегодняшнего дня живет между нами, и еще не покарала его наша рука. И вчера еще пропадали инструменты на заводе. Видели, как черненькие разбегаются из нашего

города, которых нарисовал штаб соревнования? Такой же черненький и между нами живет. И девчата просят вас, товарищи колонисты: не нужно нам покоя, и не нужно нам никакой радости, пока не найдем его и не... не арестуем. И девчата еще просят, чтоб такое торжество устроить тогда, когда найдем его, какого еще торжества не было у нас!

Вот какую речь сказала Оксана, и все слушали ее и забыли, кто на каких станках работал, кто на правом, а кто на левом фланге, а кто в центре. Сразу вспомнили и театральный занавес, и часы, серебряные часы Захарова, и прошлогодние пальто, и много всякого инструмента и добра, пропавшего в колонии. И вспомнили Воленко. И все согласились с ней, что, когда они найдут этого гада,— такой нужно праздник устроить в колонии, какого еще никогда не было. А когда она кончила, все подумали, что ничего отвечать не нужно на такую речь — все понятно и все одинаково думают. Но только взял слово для ответа... Воргунов. С каких это пор Воргунов просит слова на общем собрании? Что такое сделалось с Воргуновым.

Воргунов, кряхтя, полез на ступеньки к бюсту Сталина. Он не хотел говорить просто с места, он хотел говорить по-настоящему. И колонисты с большим интересом смотрели, что будет дальше делать Воргунов. А он стал прямо против знаменной бригады, сразу поднял палец:

— Оксана Литовченко — так зовут эту девушку, которая вот говорила, — бригадир пятой бригады! Так вот я, старик, старый инженер, кланяюсь низко и говорю: молодец Оксана Литовченко! Она говорила о самом главном: черненькие гадики ползают у нас под руками на каждом шагу и мешают работать. Я вам правду скажу: ехал я к вам и думал: э, что там, балуются с ребятами, какой там завод. Я не люблю подлизываться, и к вам не подлизывался и не буду подлизываться. А теперь присмотрелся, прямо говорю: с вами и мне по дороге. Скорее давайте приведем в порядок новый завод и скорее давайте работать. Черненьких всяких будем кипятком вываривать, вместе будем, хорошо?

Колонисты с радостью аплодировали старому инженеру: прибавилась еще подмога на боевых участках их фронта. А Воргунов продолжал:

— А только на работе я человек строгий. Не скажу: страшно строгий, но так... не полегче Алексея Степановича!

— Подходяще! — закричали колонисты.

— Подходяще? Тогда по рукам. И вы будете меня слушаться.

— А вы нас?

— Вас слушаться? Да, что ж, пожалуй, иногда и придется!..

Воргунов смеялся, стоя возле бюста Сталина, а колонисты смеялись, стоя вдоль дивана. Смеялись и в оркестре, и знаменная бригада, и четыре строевые шеренги девочек.

На другой день боевая сводка объявила:

«Враг покинул стены нового города. Наши части по всему фронту вступили в город. Наши красные флаги развеваются на всех башнях. Последние силы врага залезли на территорию строительства и прячутся между бочками и ящиками в лесах и в кучах мусора. Часть засела на старом стадионе. Постановлением совета бригадиров решено в течение сентября выбрать их из последнего убежища, чтобы к празднику 7 Ноября не осталось в колонии ни одного врага».

18. Что такое энтузиазм

Воргунов считал: как раз будет хорошо назначить один месяц для приведения в порядок территории строительства, старых и новых зданий. Воргунов, вероятно, правильно рассчитал, что энергия одиннадцати бригад чего-нибудь стоит. Но уже 31 августа общее собрание постановило:

«1. При таком положении заниматься в школе все равно невозможно. Начало учебных занятий перенести на 15 сентября, с тем чтобы зимних вакаций не устраивать.

2. Работать без сигнала «кончай работу», а сколько влезет.

3. Работать по ответственным бригадным участкам.

4. Закончить работу к 15 сентября».

1 сентября все бригады вышли на работу сразу после завтрака — в одну смену. Этого Воргунов не ожидал. Он рассчитывал на 100 человеко-дней в сутки да еще сбрасывал 35 процентов на «детскую поправку». Но уже в конце первого дня увидел, что в его распоряжении полных восьмичасовых двести человеко-дней, а что касается поправки на малолетство, то здесь вообще трудно было что-нибудь разобрать. Во многих местах работа имела, безусловно, детский характер.

Строительная площадка вдруг приобрела новый вид. И раньше на ней работало до двухсот строителей: плотников, столяров, штукатуров, рабочих. И сейчас они были на своей работе, строительный организм остался тот же. А колонисты как будто даже и не изменили ничего существенно. Эти мальчики и девочки и меньше знают, и меньше у них физической силы, но зато они как кровь в организме. Как кровь, они стремительны и вездесущи. Они пропитывают своим участием, словом, смехом, требованием и уверенностью каждый участок работы, везде копошатся их подвижные фигурки, что-то тянут, кряхтят, кричат, потом забеспокоятся вдруг, как воробьи, целой стаей срываются и уносятся на новую линию, где требуется помощь.

В самом корпусе, там, где почва идет под уклон, работают девочки. Их бригадам выпала трудная работа: высыпка. Сюда нужно поднести тысячи носилок земли, и пока этого не будет сделано, нельзя настилать полы, нельзя устанавливать фундаменты для станков.

Где-то на каком-то секретном совещании, девочки постановили работать бегом. В первый день этот способ всех поразил, но ребята говорили:

— Упарятся, куда ж там!

Но бегом девочки работали и на другой день, и на третий, а потом уже стало ясно: они не только не умариваются, а, пожалуй, просто привыкают работать бегом. И тогда между ребятами пошли другие разговоры:

— Смотри ты: и с пустыми носилками бегом, и с полными бегом!

Воргунова эти детские темпы начали уже и тревожить. Он все чаще и чаще заходит в здание и смотрит. Мимо него пролетает пара за парой и хохочут:

— Здрасьте, Петр Петрович! Как мальчишки там, не гуляют?

Вместе с колонистами работают и учителя и инструкторы. Пожилая инструкторша швейного цеха тоже бегает за девочками и застенчиво и счастливо протестует:

— Меня, старуху, загоняли, подлые девки. Им, понимаешь, это удобно:

легкие они, а мне куда там за ними. Правда, они все-таки придерживают, когда со мной.

На готовой уже площадке, у почти сложенного фундамента, сидит на земле старик каменщик и смеется беззубым ртом.

— В жизни ничего такого не видел: это я тебе вот что скажу: до чего упорный народ! И все смеются... Смотришь, смотришь, аж зло берет; эх, коли мне помолодеть бы! Уж я пробежался бы, смотри какую и перегнал бы! Ох!

Он вдруг вскакивает и бросается вдогонку за Леной Ивановой и Любой Ротштейн.

Четвертой бригаде поручена работа специальная: они бьют щебень для бетона. Кирпичные остатки рассеяны по все территории строительства, и они исчезают под молотками пацанов, как огонь под струей из брандспойта. Не успеешь оглянуться, а пацаны уже на новом месте сидят на корточках, постукивают молотками и, по обыкновению, спорят:

— Строгальный, если постель ходит, а если резец ходит, так это называется шепинг! Ох, там шепинг один стоит маленький, называется «Кейстон»!

— Шепинг — это тоже строгальный.

— Нет, строгальный — это если постель ходит.

— О! Постель! Какая постель!

— А так говорится!

— А потом ты еще скажешь: одеяло ходит! А потом скажешь: простыня ходит!

— Вечно спорите, — говорит Брацан, поглядывая на набитый щебень. — Давайте щебень на площадку.

— А чем будем давать? В руках, да?

— А носилки где?

— Девчата забрали, у них не хватает.

— Так беги, возьми у девчат.

— Ох, возьми, так они тебе и дадут! А с ними спорить, все равно в рапорт попадешь, а они, конечно, правы! И вчера набрехали, я даже ничего не говорил, а они сказали: грубиян!

Бригада Брацана на одном из самых почетных мест: асфальтовые тротуары! Раза три в день к колонии подъезжает автомобиль с котлом, в котором варится асфальт. По всей территории колонии протянулись сотни метров широкой дорожки. Сейчас она кое-где уже готова. В других местах только выкопаны земляные ящики, и бригада Брацана засыпает их щебнем и бетонирует.

У главного заводского корпуса бригада Похожая убирает леса. Разборка лесов — такая приятная работа, что из-за нее чуть не поссорились в совете бригадиры, пришлось тянуть жребий. А когда счастливый удел разбивать леса выпал девятой бригаде, Похожай прямо с совета побежал к главному корпусу, и за ним побежала вся бригада. Воргунов больше всего беспокоится о девятой бригаде. Он стоит внизу и кряхтит от беспокойства. Сегодня разбирают леса в том месте, где здание делает поворот и где примостки и переходы чрезвычайно перепутаны. Двадцатиметровое бревно застряло и торчит в паутине лесов почти вертикально. Колонисты облепили его своими телами и стараются вытащить. Жан Гриф стоит на самой верхней

доске и размахивает кузнечным молотом. На этот молот и поглядывает Воргунов, он еще не слышал никогда, чтобы леса разбирали при помощи кузнечного молота. Жан Гриф с оглушительным звоном пускает молот на соседний участок примостков, оттуда срывается несколько досок, и сам Жан пошатывается на своем узком основании. Сидящие пониже прячут головы, чтобы пролетающие вниз предметы их не зацепили. Воргунов переходит на «ты».

— Что ты делаешь? Что ты делаешь, безобразник?

— А что? — удивленно спрашивает Жан Гриф и заглядывает вниз. И вся девятая бригада смотрит сверху на Воргунова и старается понять, чего ему нужно.

Но Воргунов уже забыл о сокрушительном молоте Жана Грифа. Его внимание привлек маленький Синицын: по вертикально торчащему бревну он ползет вверх и держит в зубах веревку. Воргунов поднял обе руки и закричал, насколько позволял ему кричать низкий, хрипящий голос:

— Куда ты полез? Куда тебя черт несет?

Синицын тоже смотрит сверху на Воргунова и тоже спрашивает:

— А что?

— Слезай сейчас же! Слезай, такой сякой, тебе говорю!

Бригадир девятой — Похожай — тоже сидит на верхних примостках и бузит:

— Пускай лезет! А то мы здесь до вечера провозимся. Он веревку привяжет и больше ничего.

— Да ведь бревно не укреплено! Бревно не укреплено!

— А куда ему падать? — спрашивает Похожай. — Мы, двенадцать человек, дергали, и то не падает.

Но спор не имеет значения. Синицын уже на верхушке бревна и привязывает веревку. Воргунов следит за ним немигающими глазами.

— Идемте, идемте, скажите что-нибудь. У меня волосы дыбом! Что они делают! Что они делают!

Губы у Дема дрожат, и смешно шевелятся пушистые усы. Воргунов посмотрел по направлению его руки и увидел картину, действительно волнующую: на деревянной крыше сарая стоят человек пятнадцать и поют:

— И туда! И сюда! И туда! И сюда!

Они ритмически раскачиваются, и вместе с ними раскачивается на слабых ногах вся конструкция сарая. Раскачивается все больше и больше, трещат ее кости, начинают выпирать сквозь деревянные бока какие-то колья и концы досок. Воргунов побежал и что-то закричал колонистам. Но поздно: здание сарая рухнуло, тучи пыли и древесного пороха взлетели вверх, раздался страшный сложный треск, и в этом порохе и в этом треске провалились, кажется провалились сквозь землю, все пятнадцать колонистов.

На секунду затихли их голоса, потом раздается смех, визг, обыкновенная возня мальчиков. Сарая нет, а на земле лежит плоская груда всякого деревянного хлама, и из-под нее один за другим вылезают колонисты. Дем схватился за голову, убежал. Воргунов остановился, достал носовой платок, вытер лысину. Мальчики все вылезли из-под обломков, и все начали смотреть на следующий сарай. Маленький ушастый Коротак закричал что-то и выбежал вперед. Вот он уже на крыше сарая и торжествует.

Воргунов теперь уже не кричит. У него спокойные басовые нотки приказа:

— Эй, на сараях! Какая бригада?

— Десятая, — отвечает несколько голосов.

— Где бригадир?

— Есть бригадир, товарищ Воргунов!

Перед Воргуновым стоит Илья Руднев, невинными глазами смотрит на главного инженера и ожидает распоряжений. Тем же спокойным басом Воргунов говорит:

— Черт бы вас побрал, что это такое в самом деле!

— А что?

— Вы бригадир десятой? Ваша фамилия?

— Руднев.

— В качестве заместителя заведующего я, кажется, имею право вас арестовать.

Глаза Руднева удивленно настораживаются:

— За что?

— Кто это вам показал такой способ разборки?

— А чем плохой способ? Уже третий сарай повалили. Еще два осталось.

— Я решительно запрещаю, понимаете, запрещаю!

Руднев умильно смотрит в глаза Воргунова:

— Товарищ Воргунов! Давайте уже и эти два повалим. Все равно.

— Я не разрешаю.

— Что там... два сарая!

— Вы еще возражаете? Отправляйтесь на один час под арест. Немедленно!

— Есть, один час под арест, — салютует Руднев и, обернувшись к своей бригаде, кричит:

— Перлов, прими бригаду, я выбыл из строя!

Коренастый, широкоплечий Перлов тоже салютует:

— Есть, принять бригаду!

Он немедленно отдает распоряжение по десятой бригаде:

— Некогда ворон ловить. Бери его штурмом!

Десятая бригада полезла на крышу. И Воргунов сдался: он положил руку на плечо Руднева и произнес жалобно:

— Руднев, голубчик, прекратите! Нельзя такой способ!

— А как?

— Руднев, прекратите немедленно, они же шатаются, уже шатаются!

— Да вы не обращайте внимания!

Но Воргунов наконец взбеленился. Он кричал, ругался, приказывал и добился-таки своего: десятая бригада слезла с сарая. Потом в совете бригадиров Руднев в порядке самокритики говорил:

— Конечно, у нас наблюдалась непроизводительная трата энергии: два сарая разбирали два дня, когда можно было повалить их за пятнадцать минут, если применить рационализацию.

В конце площадки восьмая бригада валит лишние деревья, чтобы расширить цветники перед новыми зданиями. Здесь тоже рационализация: Игорь и Санчо распиливают толстый ствол поваленного дуба, а Данило Горовой сидит на стволе и благодушествует. К работающим подошел Захаров, и Данило покраснел и обратился к нему с жалобой.

— Вот новый бригадир, Алексей Степанович! Работать не дает.

Игорь оставляет пилу и дает объяснение заведующему:

— Абсолютно необходимая мера, Алексей Степанович! В данной обстановке Данилу нельзя рассматривать как двигатель! Ни в коем случае. Данилу нужно рассматривать как пресс, принимая во внимание его вес и спокойный характер. Другой колонист не мог бы усидеть на месте, пока мы пилим, а Данило усидит.

— Угу, — Захаров кивает головой. — Правильно. А как вы используете другие качества Данилы?

— Следующее качество: вес. Видите, Данило сидит на этом конце. Данило, улыбнись! Нам легче пилить, потому что этот дуб такой проклятый, как схватит пилу, ничего иначе не выходит.

— А может, выгоднее было бы товарища Горового использовать как дополнительную силу, тогда двое бы из вас пилили, а третий отдыхал.

— Абсолютно невыгодно. Пробовали: коэффициент полезного действия катастрофически падает.

Данило Горовой послушал-послушал и начал сползать со ствола.

— Ох, Алексей Степанович! Видите, внесли разложение в нашу трудовую семью!

Захаров засмеялся и ушел. Издали оглянулся и увидел: Игорь и Санчо пилят, а Данило сидит на стволе.

Всех бригад в колонии одиннадцать, и у каждой бригады ответственное поручение. И каждой бригаде должен уделить внимание Воргунов, и везде беспокоят его слишком «детские» темпы. За рабочий день накричится главный инженер, наволнуется, потом бредет к Захарову и говорит:

— Ну его... знаете... удивляюсь вам, как вы можете работать с этим народом!

А вечером Воргунов заскучал. Скучал, скучал, ходил между своими объектами, а потом не вытерпел, отправился в спальни. Пришел в девятую бригаду, сел на стул и сказал:

— Товарищ Похожай, вытащили то бревно?

— Какое бревно?

— А торчало такое... высокое.

— То, которое на углу, или то, которое возле литейного, или то, которое сзади?

Воргунов молча вытер лысину и успокоился:

— Ага... значит, три бревна, ну... бог с ними. А вы хорошо здесь живете. Чистенько и весело, наверное.

А потом они заспорили об энтузиазме. Похожай сказал:

— Вот как возьмемся за новый завод, Петр Петрович, с энтузиазмом возьмемся!

— Это как же... с энтузиазмом.

— А по-комсомольскому!

— Ага!

— А вы в энтузиазм не верите?

— Что это такое — верить? Я или знаю что-нибудь, или не знаю.

— А энтузиазм вы знаете?

— Энтузиазм знаю, как же. Но вот, например, вы геометрию знаете?

— Знаем.

— Какая формула площади круга?

— Пи эр квадрат.

— Как можно эту формулу изменить при помощи энтузиазма?

— Ну, так это само собой! Энтузиазм совсем не для того, чтобы формулы портить.

— А вот вы сегодня испортили не одну формулу.

— Когда мы испортили?

— А вот, когда леса разбирали.

— А какие ж там формулы?

— Там на каждом шагу формулы. Если бревно стоит, оно на что-нибудь опирается. Есть определенные законы сопротивления материалов и т. д. По этим законам есть и советский закон: нельзя так разбирать леса. А вы, как папуасы, полезли, полезли, веревку в зубах потащили. А Руднев со своей бригадой как сараи валил? Сколько он формул испортил? А формулы портить, сами говорите, нельзя.

Девятая бригада закричала, возмутилась, сейчас же нашлись и возражения:

— А на войне как? А если на войне. Тоже формулы?

— А как же?

— По формулам? На войне?

— Ребятки мои! Война — это дело серьезное: умирать ты обязан за Родину? Вот тебе и первая формула? Правильно? Ага! Замолчали! А глупо умирать ты имеешь право?

— Как это глупо?

— А вот так: вылезешь просто на окоп и начнешь руками размахивать, а тебя и ухлопают! Имеешь право?

— Это если кто захочет...

— Ничего подобного. Никто не имеет права этого хотеть. Ты боец, ты нужен, не имеешь права! Ага? Замолчали. Ну, до свидания. Завтра я вам не позволю формулы портить.

Поднялся и ушел. А девятая бригада посмотрела ему вслед, и Похожай сказал:

— Смотри ты какой? Он против энтузиазма!

— Да нет, он не против!

— Как не против?

— Против.

— Нет, не против.

И пошел из девятой бригады этот вопрос гулять по всей колонии. Все и на работе и во время отдыха старались разрешить его как можно правильнее.

Пока происходили эти теоретические изыскания по вопросу об энтузиазме, работа на строительстве шла в прежних темпах и Воргунову не всегда удавалось отстоять свои формулы. К 15 сентября строительную площадку нельзя было узнать: обнажились прекрасные горизонтали зданий, клумбы и дорожки нарядной лентой окружили их; в цехах среди блестящих новизной полов аккуратными рядами строились станки. Кое-где продолжали еще работать штукатуры, и жизнь для них наступила тяжелая. При входе на завод стали часовые с винтовками, и улеглись на полу сухие и влажные тряпки.

— Товарищи, вытирайте ноги.
— Ась?
— Ноги вытирайте.
— Это я?
— Вы. Пожалуйста, вот тряпка.
— Да я — штукатур, дорогой!
— Все равно.
— Да где ж такое видано, чтоб штукатуры вытирали ноги?
— Значит, видано.

Штукатур трет подошвы, привыкшие никогда нигде не вытираться, и, пораженный, рассматривает часового. А потом штукатуры ходили жаловаться к Воргунову и Захарову. Воргунов ответил им:

— И ты вытирал?
— Вытирал.
— И не умер?
— Да что ж там умереть...
— Ну и хорошо.

А Захаров сказал:

— Ничего не могу поделать. Они и меня заставляют.
— Да ну? И тебя!

Так ничего и не вышло.

15 сентября на общем собрании Воргунов докладывал об окончании работ, очень хвалил все колонистские бригады, а про формулы ничего не сказал. После собрания спросил у него Похожай:

— Все-таки отвечайте, есть энтузиазм или нету?

Воргунов хитро отвернулся:

— Это еще иначе называется, друзья: это честность, это любовь, это душа! Душа у вас есть?
— Душа? Должна быть...
— То-то ж! Вот это и есть энтузиазм!

19. На новом заводе

Еще раньше уехали и старые и новые студенты. Их провожали торжественно, говорили речи под знаменем, эскортировали всем строем до вокзала, и на вокзале кое-кто даже поплакал, конечно не четвертая бригада.

Плакали больше девочки, которым было жалко расставаться с Клавой Кашириной, но и восьмой бригаде и другим не так легко было проводить Нестеренко, и Колоса, и Садовничего, и Гроссмана.

А на место уехавших прибыли новые. Были здесь и семейные, и «с воли», и из-под ареста, и мальчики, и девочки. В день их прибытия Игорь Чернявин был дежурным бригадиром. Вспомнил он тот день, когда Воленко принимал его, и радостно стало и грустно: где теперь Воленко?

Новеньким лафа теперь в колонии. Уже замки висят на старых цехах Соломона Давидовича, и осенняя поросль — до чего шустрая! — начала уже прикрывать старые дорожки, протоптанные колонистами. Стадиону так и не удалось сгореть. Пришли рабочие и в несколько дней разбросали это замечательное сооружение. И никто о нем не пожалел, даже Соломон Давидович вздохнул свободно и перестал ожидать пожара.

Соломон Давидович назначен сейчас начальником отдела снабжения и сбыта. В день назначения он благодарил колонистов за боевую и героическую работу на старом производстве, вспоминал, с каким напряжением, с каким страданием заработали они шестьсот тысяч на новый завод, говорил, что он никогда в жизни не забудет этот прекрасный год. И прослезился Соломон Давидович, и не стеснялся слез, и никто не упрекнул его за слезы. А потом воспрял духом и даже так сказал:

— Раньше я думал, что у меня потухающая кривая. А теперь скажу вам, товарищи колонисты, пока сердце бьется, не может быть потухающей кривой. Правильно сказал Санчо Зорин, что эту кривую оппортунисты выдумали.

Поздно вечером в кабинете Захарова Соломон Давидович уже забыл о старом производстве, а с большим энтузиазмом готовился к новому своему делу: снабжению и сбыту. И сказал Захарову:

— Со щитом или под щитом, а снабжение у нас будет неплохое, к вашему сведению.

Захаров обнял Соломона Давидовича и только незначительное изменение предложил к его боевому кличу:

— Надо говорить «со щитом или на щите», Соломон Давидович. Так греки говорили.

— А «под щитом» — они не говорили?

— Нет, не говорили, Соломон Давидович.

— Под щитом, значит, им было без надобности?

— Совершенно верно. Так говорили греки, когда отправлялись на войну. Со щитом вернусь, — значит, с победой. На щите, — значит, принесут меня убитым. Со щитом или на щите.

Соломон Давидович внимательно прислушался к этой исторической справке и усомнился.

— Если я правильно понимаю, для нас подходит только со щитом, а на щите для нас абсолютно не подходит. Какой же смысл может быть для отдела снабжения на щите?

— Пожалуй.

— Тогда скажем так: со щитом или с двумя щитами! Это вполне приемлемо для отдела снабжения.

С таким исправленным классическим лозунгом Соломон Давидович и ринулся в новый бой. К его услугам скоро появилась легковая машина — газик, и на газике шофер — Миша Гонтарь.

Да, новеньким лафа сейчас в колонии! Они сразу пошли на новый завод, с первого же дня попали в такое место, которое иначе нельзя назвать, как земным раем!

17 сентября двести с лишком колонистов вошли в стены завода. Каждому было выбрано прекрасное место — кому в механическом цехе, кому в литейном, кому в сборочном, кому в инструментальном.

Механический цех помещался в первом этаже. Второго этажа, собственно говоря, нет, но есть балкон второго этажа, который проходит по всем четырем стенам огромного зала и не мешает этому залу освещаться с крыши. В механическом цехе стоит полсотни прекрасных станков, и советских, и заграничных: токарные, револьверные, шлифовальные, строгальные, зуборезные, фрезерные, сверлильные, долбежные. Каждый станок прекрасен,

каждый по-своему наряден: у одного сияют никелированные части, другой солидно скромен в матовых отблесках стали, третий умен и изящен, как дипломат, четвертый красив в неповторимо привлекательных линиях своего черного зеркального тела. Маленький шепинг «Кейстон» еще жирно покрыт масляной желтоватой смесью. За ним ухаживают, его обмывают и наряжают Филька Шарий и Ваня Гальченко — новые его владетели.

Первыми завертелись токарные станки «Комсомольцы» и «Красный пролетарий». На них целиком перешли третья и десятая бригады. Через день начали работать револьверные — здесь Зырянский, Поршнев, Садовничий, Яновский и другие ветераны колонии. Скоро заработали тигли в литейном и в механическом цехе появились блестящие алюминием части кожуха сверлилки: верхний щит, нижний щит, станина. Эти же блестящие детали скоро завертелись и в патронах токарных и револьверных.

На станках теперь требуется точная работа, а колонисты еще не искушены в точности, и поэтому они осторожны, как в лаборатории. Два раза в минуту берет колонист шаблон или штанген и проверяет деталь в работе. Верхний этаж — сборочный цех — почти целиком отдан девочкам и пацанам, здесь больше всего требуются их ловкие руки. До целой сверлилки еще очень далеко, но «узлы» уже начали собираться, и в девичьих руках заходили первые якори.

После школы в аудиториях и школьных кабинетах занимаются группы, организованные комсомолом для лучшего проникновения в тайны производства. Тайн этих немало, работа каждой детали представляет очень сложную задачу, разрешение которой связано и с характером станка, и с комплектом многих приспособлений. В сборке то и дело выясняется, что эту операцию нужно производить не так, а иначе, что многие детали лучше штамповать, чем точить. В электросверлилке целая система шестеренок, а с ними хлопот больше всего. Целую неделю ходил черный как уголь, угрюмый и неповоротливый инженер Беглов вокруг зуборезного «Марата». Вместе с Семеном Касаткиным они с замиранием сердца ожидали выхода очередной шестеренки, а когда шестеренка родилась — ее еще теплое тельце дрожит на ладони Беглова, — Касаткин чуть не со слезами смотрит на ладонь инженера и говорит:

— Опять на концах съело...

— Съело.

— А давайте на модуль один попробуем!

Беглов смотрит в лицо Семена, но видит не серые большие глаза, а исписанный цифрами листок бумаги, на котором он ночью высчитывал работу фреза модуль ноль семьдесят пять сотых.

— Нет... давай еще разок пройдемся этим чертом.

— Все равно не выйдет, — говорит Семен Касаткин, но покорно пускает свой сложный станок, и снова они стоят над станком и с замиранием сердца ожидают.

По цехам заходили контролеры: Мятникова, Санчо Зорин, Жан Гриф. В руках у них шаблоны, образцы и прочая точная механика. Между колонистами поселилось и прижилось новое слово «сотка». На втором этаже завертелся круглошлифовальный «Келенбергер», на который Александр Остапчин и Похожай распространили весь запас любви и заботы, какой только может поместиться в душе колониста. Шлифовка валиков и здесь

производилась сначала с ежеминутной проверкой шаблоном. Через две недели Похожай научился слово «сотка» произносить без всякого почтения.

— Что прикажете? Снять на полсотки? Есть, товарищ инструктор...

Похожай пускает станок и чуть-чуть склоняется к нему: его глаза, его нервы, его пятые, шестые и десятые чувства — все сосредоточилось на подсчете бесконечно малых движений станка,— и вот хитрый, удирающий, неуловимый момент пойман. Похожай выключает станок и протягивает инструктору деталь!

— Есть на полсотки, товарищ инструктор! Получайте.

Завод разворачивается: уже в кладовых некоторые полки заполнены деталями, уже стружек стало выметаться из цехов полные ящики, уже в совете бригадиров стали поругивать деревянные модели и просили молодого инженера Комарова дать объяснения. Комаров пришел с розоватым оттенком на обычно бледных ланитах и отбивался:

— Все, что можно было сделать в инструментальном цехе, сделано. Осталось еще сорок приспособлений, они будут готовы через неделю. Лимитирует сталь номер четыре, которую Соломон Давидович обещал...

Колонисты слушают Комарова, верят ему и уважают его, а все-таки спрашивают:

— Почему, когда привезли сталь номер четыре, так она два дня лежала в кладовой, а потом только догадались ее выписать?

— А почему чертежи кондуктора для детали сто тринадцатой с ошибкой?

Комаров краснеет еще больше и посматривает на Воргунова, а Петр Петрович говорит:

— Ага? Что ж вы на меня смотрите? Вы на них смотрите!

Филька Шарий сидит, как обыкновенно, на ковре и тоже высказывается:

— Это потому все, что Иван Семенович слишком много внимания... это... слишком много внимания Надежде Васильевне...

— Филька, — возмущается Торский, — что это такое, в самом деле! Всегда тебя выгонять нужно из совета!

Филька надувает губы и отворачивает лицо: он еще не помнит, чтобы к нему относились справедливо. Но и у Комарова положение после Филькиного выступления не из легких. Он быстро перебирает в руках инструментальные бумажонки и бормочет...

— Я не могу... такие разговоры... Я назначен работать, а не выслушивать...

Бригадиры дипломатически смотрят на окна, у Оксаны чуть-чуть вздрагивают губы. Захаров поправляет пенсне.

Вечером Комаров пришел к Захарову с заявлением об уходе. Захаров положил заявление перед собой и разглядывает почерк Комарова недоверчивым взглядом:

— Это не нужно, Иван Семенович!

— Как не нужно? Какое они имеют право... в личные дела...

— Да что ж тут такого? В наших личных делах нет ничего позорного. Все знают, что вы влюблены в Надежду Васильевну, все вам сочувствуют, радуются, а Филька, конечно, ничего не понимает в этих делах.

Комаров после этого случая дней десять ходил по колонии мрачный и старался не встречаться с Надеждой Васильевной. Через десять дней

у него опять было столкновение с советом бригадиров, только уже по другому вопросу: совет хотел колониста Редьку перевести в механический цех. Комаров долго возражал против этого, а потом из себя вышел:

— Так и знайте: заберете у меня Редьку — ухожу с завода!

И смотрел после этих слов на бригадиров злой и бледный. Бригадиры удивились, а Филька произнес:

— А что ж? Он правильно говорит! С какой стати!

Совет бригадиров уступил, а вечером Захаров сказал Комарову:

— Видите, отстояли дело, ваш верх.

Комаров улыбнулся и прямо от Захарова пошел в гости к Надежде Васильевне.

Очень трудно в той части горизонта, где помещается сфера Соломона Давидовича, — там всегда толпятся грозовые тучи. Деньги все истрачены на строительство и оборудование, старый завод закрылся, новый еще не выпускает продукции. И Соломон Давидович «парится».

— Сколько угодно есть предложений. Дадут какой угодно аванс, только подпишите договор на сверлилки.

— Сверлилок еще нет, — отвечает Захаров.

— Но будут же, или они никогда не будут?

— Первые сверлилки будут, вероятно, плохие.

— Какое это имеет значение, плохие или хорошие, но их продать можно?

— Их продать нельзя.

— Алексей Степанович, говорите такие слова тому, у кого хорошие нервы, а у меня очень плохие нервы. Как это так: нельзя продать готовую продукцию?

Захаров молчит, и Соломон Давидович страдальчески вздыхает:

— Разве я теперь человек? Я теперь угорелая лошадь!

Новый завод, как и всякое настоящее дело, оказался трудным. Заедало то в одном месте, то в другом, таинственные секреты открывались там, где, казалось, все безоблачно и все предначертано. И не только нервы Соломона Давидовича иногда гуляли, но и в четвертой бригаде начинало дебоширить беспокойство, то самое беспокойство, которое иначе еще называется чувством ответственности. Новый завод колонисты воспринимали как небывалое и невиданное счастье, выпавшее на их долю[73]. Если они знали, что Октябрьская революция принесла людям новую жизнь, то для них эта новая счастливая жизнь была неотделима от завода электроинструмента. И поэтому так страстно хотелось, чтобы скорее выходили сверлилки, чтобы скорее приехали за ними представители Красной Армии и промышленности, чтобы как можно скорее Советское правительство издало приказ, запрещающий ввоз электросверлилок из-за границы.

Игорь Чернявин получил самый лучший станок на заводе — плоскошлифовальный «Самсон Верке». Он стоит в углу механического цеха рядом с шепингом «Кейстон». Игорь Чернявин рассказывал товарищам:

— Этот станочек — самое симпатичное существо на свете. С ним даже разговаривать можно, такой он симпатичный.

Игорь и в самом деле разговаривал со станком, особенно когда приходил по утрам. Станок, действительно, у Игоря занятный: плоский предмет, который нужно шлифовать, ничем не прикрепляется к доске, а просто

Игорь тронет выключатель сбоку, и деталь пристает к столу, как будто они из одного куска вырезаны.

— Магнитный стол, — говорит Игорь. — Магнитный стол — это вам не какой-нибудь дореволюционный патрон[74].

И все-таки Игоря постиг удар. В маленьком шкафчике, в самом станке, стоял флакон особого, дорогого машинного масла, которое с большим трудом добывал Соломон Давидович исключительно для этого станка. И вот однажды утром пришел Игорь в цех, открыл шкафчик, а флакона не увидел. Может быть, Игорь забыл поставить его в шкафчик. Игорь обыскал станок, задумался, произнес тревожно:

— Синьор! Я вчера смазывал ваши части и поставил флакон в шкафчик! Куда вы его задевали?

Но шлифовальный молчал, и было видно по выражению его лица, что он тоже расстроен происшествием. Рядом на «Кейстоне» работал Филька. Игорь подозрительно посмотрел на Фильку и на шепинг, но у обоих выражение было самое добродетельное. Игорь целый день искал свое масло, так и не нашел. Подобные случаи перестали удивлять колонистов.

Кражи в колонии продолжались. С открытием нового завода они сосредоточились на инструментах. Не было дня, чтобы не пропадало что-нибудь возле того или другого станка: микрометр, штанген, приспособление, ключи, дорогие резцы. Захаров отдал приказ — после конца работы все сдавать в кладовую, кроме необходимых «текущих» вещей, приписанных к данному станку, а такие вещи запирать под замок в тумбочках. Это не помогло, потому что и из тумбочек, из-под замка, вещи все равно пропадали. Заведующий инструментальной кладовой, бывший литейщик Баньковский, только и делал, что составлял акты на пропавшие инструменты, приносил к Воргунову на подпись и говорил:

— Тут... в этой колонии, воров... половина. Вот увидите, они все раскрадут.

Воргунов неохотно, морщась, подписывал акты, отворачивался от Баньковского, а потом шел к Захарову:

— Что делать? Нельзя же работать! Микрометры — ведь дорогая вещь, их не так легко достать.

Захаров молча выслушивал, круто поворачивался на стуле, опирался руками на колени: на одну ногу кулаком, на другую ногу локтем, закусывал нижнюю губу. Воргунов следил за ним и спрашивал:

— Как вы думаете, сколько воришек есть в колонии?

Захаров отвечал, не меняя позы.

— Петр Петрович, воришки есть, конечно, но наши воришки — люди с чувством и сердцем, они на заводе красть не будут.

— А кто крадет? Кто? Я сплю и дрожу: если будут украдены фрезы, мы остановимся надолго. Таких фрезов во всем городе нет, они никому не нужны, кроме нас, а сделать фрез, вы знаете, что это значит?

Говорят, если у человека на лице родимое пятно, то он к этому привыкает. Кражи в колонии были тоже неприятным родимым пятном, которое искажало светлое человеческое лицо коллектива, но привыкнуть к нему колонисты все-таки не могли. Игорь несколько дней искал свое масло, другие искали свои микрометры и штангены, но думали все уже не о своих

обиженных станках, а о большом всеобщем горе, о всеобщем бессилии коллектива.

Игорь еще искал свое масло, когда перед обедом в кабинет Захарова пришел дежурный бригадир Рыжиков и забыл даже стать как следует.

— Алексей Степанович, новая кража: все фрезы с зуборезных, до одного!

— Что?

— Ни одного фреза не осталось — восемнадцать штук!

Захаров снял пенсне, положил на стол, крепко прижал пальцы к глазам, потом долго натирал ладонями щеки, наконец сказал:

— Есть!

— Обыск нужно, Алексей Степанович.

— Не нужно... обыска.

Рыжиков вздохнул, молча поднял руку и вышел.

20. Враги

В пять часов вечера Филька и Ваня Гальченко вышли из кабинета Захарова. Володя Бегунок трубил сбор бригадиров. Рыжиков услышал сигнал и удивился: почему трубят без ведома дежурного бригадира? Он пошел к Захарову.

— Ах, да, — сказал Захаров, — ты извини, срочно нужно. Я все равно хотел тебе сказать, ты задержи ужин, потом поужинаем.

Но раньше, чем собрались бригадиры, Игорь Чернявин стал перед Захаровым:

— Я знаю: масло сперли Филька и Ванька. И я прошу: вы их построже допросите.

— Но ведь у тебя нет доказательств?

— Если бы были доказательства, я вас не беспокоил, а прямо в совет бригадиров. А вы их хорошенько допросите. Они работают рядом на «Кейстоне» и сперли.

В кабинете сидели Воргунов, Соломон Давидович и Надежда Васильевна. Игорь не стеснялся их присутствия, теперь было все равно, никого нельзя жалеть и ни с кем считаться. Захаров почему-то улыбался и явно не сочувствовал Игорю:

— Что же я могу сделать?

— Их нужно в работу взять, Алексей Степанович. Я позову.

— Позови.

Звать было недолго. Игорь открыл дверь в комнату совета и сказал:

— Эй вы, ступайте сюда.

Очевидно, обвиняемые прекрасно догадались, кому нужно «ступать сюда». Филька и Ваня вошли в кабинет, аккуратно салютнули Захарову. Ваня тихонько присел на диване и сразу засмотрелся на потолок. Филька стал перед столом, готовый разговаривать с Захаровым. Захаров поправил пенсне и спросил голосом средней строгости.

— Чернявин вот... обвиняет вас в том, что вы взяли у него флакон масла.

Филька поднял глаза к Игорю:

— Мы взяли масло? Чудак какой! Ничего мы не брали.

— А я говорю: вы взяли.

У Фильки замечательная мимика: она убедительна, серьезна, пышет здоровьем.

— Ты посуди, Игорь, для чего нам твое масло? У нас свое есть!

— У меня было особенное, дорогое!

— Ах, особенное? Очень жаль! Где оно у тебя стояло?

— Да чего ты прикидываешься? Где стояло! В станке, в шкафчике!

Филька даже головой помотал от сильной впечатлительности:

— Воображаю, как тебе жалко!

— Смотрите, он еще воображает! Вы на это масло давно зубы точили.

— Мы и не знали, что оно у тебя есть. Правда же, Ваня, не знали?

Ваню этот разговор, кажется, совсем не интересовал. Ваня больше разглядывал кабинет, это вполне устраивало его, так как избавляло от необходимости встречаться с разными взглядами Соломона Давидовича, Воргунова... Так же, рассматривая кабинет, Ваня завертел головой, значит, действительно они не знали ничего про масло. Игорь закричал:

— Вот распустились! Стоит и брешет: не знали! А сколько вы ко мне приставали: дай помазать! Приставали?

Филька добродушно согласился:

— Ну... приставали.

— И что же?

— Да... ничего... Что же? Не даешь, и не надо.

— А сколько раз вы просили Соломона Давидовича купить вам такого масла? Чуть не со слезами: купите, купите! Что ты теперь скажешь?

Действительно, что теперь скажет Филька? Этот вопрос всех заинтересовал: Захаров даже вперед подался и положил голову на кулаки. Филька повел носом и руку поднял для более убедительного жеста:

— А что ж тут такого? Просили. Ни с какими слезами только, а просили.

— А вот уже четыре дня не просите и не вякаете! А?

Филька отвернулся и прошептал:

— И не вякаем, а что ж?

— А почему это?

— Да до каких же пор приставать? Не покупает — и не надо! Тебе купил, а нам не покупает. Значит, он к тебе особую симпатию имеет!

Блюм не выдержал нейтралитета на своем диване:

— Ах, какой вредный мальчишка!

Ваня не повернул головы, мало ли что могут сказать люди. Но Филька оглянулся и неожиданно для всех подарил Соломона Давидовича очаровательной улыбкой. Соломон Давидович пригрозил ему пальцем.

— А мажете вы как? — приставал дальше Игорь.

Этого удара Филька, пожалуй, и не ожидал. Ваня тоже вытянулся на диване и навострил уши. Пришлось Фильке снова обиженно отворачиваться:

— Обыкновенно, как...

— Я знаю. Встаете, еще вся колония спит, и в цех. Через окно. Филька мажет, а Ванька на страже стоит. Что, не так?

Захаров теперь не выпускал Филькиных глаз, а это было очень неудобно. Хоть на кого так смотреть все время... И Филька не стал вдаваться в подробности, а ответил коротко:

— Мажем, как нам удобнее.

А Ваня Гальченко с дивана поддержал его звонким советом:

— И ты можешь раньше всех вставать и мазать.

Игорь беспомощно развел руками. Соломон Давидович подумал, что нужно зайти с другой стороны:

— Вы такие хорошие мальчики...

Но Захаров перебил его доброе намерение. Не снимая головы с кулаков, он сказал медленно: — Убирайтесь вон! Нахалы!

Одновременно Филька и Ваня подняли руки. Салют вышел радостный, и только на долю Игоря пришлась самая незначительная порция вредного, дразнящего взгляда. Мальчики, подталкивая друг друга, выбрались из кабинета. Все захохотали громко, только Игорь был недоволен:

— Ну что ты будешь с ними делать?

Соломон Давидович утешил Игоря:

— Я вам, товарищ Чернявин, еще куплю такого масла. А они пускай уже мажут. Они же влюблены в свой «Кейстон».

Воргунов посмеивался над Игорем:

— Так вы ничего не выяснили с маслом, товарищ Чернявин?

С ними выяснишь! У меня с ними хорошие отношения, вот они и пользуются. Когда вымажут весь флакон, сами скажут, а теперь ни за что! Им масло отдавать не хочется. И где они его прячут, интересно знать, я у них уже в спальне смотрел.

— При них?

— А что ж, церемониться с ними буду?

— Да. Это... молодцы! Это... Ах, фрезы мне покою не дают...

В дверь заглянул Баньковский:

— Меня в совет звали, Алексей Степанович?

— Да, очень важный вопрос, прошу

— О фрезах?

— И о фрезах поговорим.

Баньковский скрылся, Воргунов спросил:

— О фрезах совет?

Захаров вышел из-за стола:

— Надеюсь, что фрезы сегодня будут у вас на столе, Петр Петрович.

Володя Бегунок открыл дверь:

— Совет бригадиров собрался, Алексей Степанович.

Торский, несколько удивленный экстренностью совета, открыл заседание.

— Слово Алексею Степановичу.

Захаров оглядел своих бригадиров и обычных гостей:

— У меня слово будет короткое. Я только прошу предоставить слово для доклада Филе Шарию.

— Для доклада? Филька докладчик?

— Да, товарищ Шарий докладчик, и по самому важному вопросу; правда, я не знал, что к этому важному вопросу прибавилось еще и масло товарища Чернявина, но все равно, прошу внимательно выслушать докладчика.

Филька важно поднялся, как полагается докладчику, вышел к столу Торского, заметил слишком веселый взгляд Лиды Таликовой, опустил на одно мгновение глаза:

— Приходим мы сегодня с Ваней Гальченко в цех, а еще и сигнала «вставать» не было...

— «Кейстон» смазывать, — про себя как будто хрипнул Воргунов.

Бригадиры рассмеялись. Филька серьезно кивнул:

— Угу. Мы имеем право смазывать наш шепинг?

— Только масло краденое! — сказал Игорь.

Филька повернулся к председателю:

— Витя, я прошу... чтоб меня не оскорбляли.

— Говори, говори, — ответил Витя, — не оскорбляйся.

— Приходим мы с Ваней в цех, давай смазывать. Только мы наладились, зашел Рыжиков с Баньковским, из литейной вышли. Мы скорей за Игорин «Самсон Верке» и...

В комнате совета вдруг раздался треск, звук удара, шум неожиданной возни, крик Зырянского:

— Нет! Я смотрю!

От дверей Рыжиков с силой был брошен прямо на середину комнаты. Он упал неудачно — лицом на пол, и, когда поднял лицо, рот у него был в крови. Все вскочили с места, Захаров закричал:

— Колонисты! К порядку! Зырянский, в чем дело? Брацан, подними этого.

Но Рыжиков и сам поднялся, стоял посреди комнаты и рукавом вытирал окровавленный рот. На руке у него яркая шелковая повязка дежурного бригадира. Зырянский быстро подошел к нему, сильно рванул, повязка осталась у него в руке. Он размахнулся, бросил повязку на пол, зашипел в лицо Рыжикова:

— Даже красную повязку опоганил, сволочь!.. В чем дело? Бежать хотел! Да я за ним с самого утра смотрю. И сел возле дверей, видно, знал, чем пахнет в совете!

— Довольно, Зырянский. Никто ничего еще не знает. — Торский кивнул Фильке. Рыжиков так и остался стоять на середине, трудно было представить себе, чтобы ему кто-нибудь позволил сесть рядом с собой.

Вдруг для всех стало ясно, что Рыжиков — враг, и сам Рыжиков не возражал против этого. Он не сказал ни слова, не протестовал против насилия, он смотрел вниз в тот самый пол, на котором только что расшиб свой мягкий нос. К Фильке теперь все бригадиры обратили напряженные, острые глаза, кто-то подтолкнул:

— Рассказывай, рассказывай!

— Да, мы спрятались за «Самсон Верке» и сидим. А Баньковский и говорит Рыжикову: вчера Беглов с фрезами допоздна возился, они здесь, фрезы. И сейчас же пошли, а отмычек у них... вот столько. Раз, раз, открыли тумбочку Семена и взяли. А потом Рыжиков и спрашивает: продал штангены? А Баньковский отвечает: нет, не продал, это неважно, так и сказал: это неважно! А Рыжиков еще и смеется: ха, говорит, вот потеха теперь пойдет, без фрезов! А Баньковский ничуть не смеется, а строго так говорит: всякая рвань стала заводы строить. И больше ничего не говорил, а только все время был очень злой. А Рыжиков не злой, а смеялся. И ушли. И фрезы понесли, в карманах фрезы понес Баньковский. А мы тогда и шепинг забыли смазать и побежали, Алеше рассказали, а потом и Алексею Степановичу.

Филька кончил и смотрел на Захарова. Захаров взял его за пояс, притя-

нул к себе, и так уже до конца Филька простоял рядом с Захаровым.

Все в совете обратились сейчас к Баньковскому. Он сидел в углу и дрыгал одной ногой, положенной на другую. Торский спросил:

— Что вы можете сказать, Баньковский?

Баньковский поднял лицо, хоть и побледневшее, но вовсе не испуганное:

— Нечего мне говорить, мало ли чего мальчишки набрешут.

Зырянский засмеялся ему в лицо:

— Ему нечего говорить, а нам нечего спрашивать. Надо немедленно произвести обыск у него в комнате.

— А мы имеем право?

— А мы без права. А может, Баньковский разрешит? Вы разрешите, гражданин Баньковский?

И Зырянский спрашивал насмешливо, и насмешливо смотрели на Баньковского колонисты, а все-таки Баньковский ломался:

— Я определенно не возражаю, но только вы и права не имеете. Это, если каждый будет обыскивать...

— Тогда мы без разрешения...

Все вперились взглядами в Захарова, он махнул рукой:

— Нет, этого случая мы не пропустим. Какие там еще разрешения? Вы, Баньковский, пойманы на месте преступления, и с вами мы церемониться не будем.

— А кто поймал? — закричал Баньковский.

— Мы поймали, понимаете, мы? Торский, посылай комиссию для обыска — три человека.

Комиссию сразу наметили: Зырянский, Чернявин, Похожай.

— Отправляйтесь, — сказал Торский, — старшим — Зырянский.

— И Баньковского брать?

— Я никуда не пойду и ключей не дам. И решительно протестую.

Филька воспользовался паузой и произнес басом:

— Иди, Баньковский, не валяй дурака.

Баньковский после этого молча вышел вместе с комиссией.

Только теперь вспомнили все, что на середине стоит с разбитым носом Рыжиков. Захаров негромко сказал:

— Может быть, Рыжиков нам что-нибудь расскажет?

И к общему удивлению, Рыжиков поднял печальное лицо, из тех лиц, которые просят и молят о понимании и сочувствии. Моргая глазами, страдальчески морщился и... и очень много интересного рассказал бригадирам. Может быть, он рассчитывал, что его искренность подкупит колонистов, может быть, хотел всю вину свалить на Баньковского, но темных мест после его рассказа не осталось. И пальто, и занавес, и серебряные часы, и множество всякого инструмента перестали быть таинственными. И французские ключи он подбросил Левитину, и два раза поджигал старый стадион. Рассказывал Рыжиков монотонным, страдающим голосом, без увлечения и без подробностей, но не забывал морщиться и моргать:

— Баньковский сказал: если бы на бригадиров думали! Чтоб у них бригадиры в подозрении были!.. А я согласился. А потом взял у Воленко часы и еще хотел подложить что-нибудь Зырянскому, только Баньковский так говорил все, а я говорю ему: не поверят про Зырянского.

Когда он кончил, Захаров спросил:

— Что же ты... из-за денег?

— На что мне деньги. Это все Баньковский говорил. И про моего отца говорил: отец твой хорошо жил, а теперь ты пропадешь через Советскую власть. Ну а я слушал, конечно, по глупости, и все делал. А мне отец что, я про отца не думаю...

— Так, — произнес Зырянский, — ты меня уже разжалобил. У меня слезы на глазах, видишь?

Рыжиков посмотрел в глаза Зырянского и отвернулся. Ничего он там не увидел, кроме самого беспощадного приговора.

Через час приехал Крейцер, вызванный Захаровым по телефону. Он вошел в комнату, как и раньше всегда входил, бодрый и способный смеяться, но не смеялся, а сказал, отвечая на общий салют:

— Здравствуйте, дорогие! Поймали? Обыск делали? Правильно. Фрезы нашли? И штангены? Хорошо. А давайте-ка я с ними еще по секрету поговорю. Впрочем, я с одним Баньковским — два слова.

В кабинете Захарова он не больше пяти минут поговорил с Баньковским, вышел оттуда и сказал:

— Это только ниточка. А клубочек НКВД распутает. Надо их отправить в город. Алексей Степанович, хороших хлопцев, чтобы не выпустили, человек шесть!

— Выпустить? О, на что угодно, а на это у наших способностей, кажется, не хватит. Зырянский, конечно.

— Я не пойду с Зырянским, — прохрипел Рыжиков.

— Почему?

— Я не пойду. Он меня... он меня убьет.

Крейцер весело повернулся к Зырянскому:

— В самом деле? Алеша!

Зырянский побледнел и сжал губы:

— Я за себя не могу ручаться.

— Здорово, — сказал Крейцер. — Кто же тогда?

— Чернявин...

— Алексей Степанович, я его не убью, а бить всю дорогу буду. За Воленко и за всю колонию.

Крейцер закричал на весь совет:

— Это что такое? Это что за безобразие! Я приказываю: Зырянский, Чернявин, Похожай, кто еще... Брацан, Поршнев...

— Я, — сказал Филька.

— Подрасти!

— Все подрасти и подрасти!

— Подрасти, ничего... и Клюшнев! Вот: шесть человек. Дам записку, доставите этих, и ни один волос у них с головы не упадет, и пальцем никто не тронет. Поняли?

Все шестеро встали как один, подняли руки:

— Есть, товарищ Крейцер!

— То-то же. Убийцы какие, подумаешь! Ну, поздравляю вас, ребята, поздравляю, дорогие! А дайте же мне посмотреть на героев, на самых главных.

И Филька и Ваня стали перед Крейцером, смущенные общим вниманием и своими собственными заслугами перед коллективом.

— Вот эти? О! Ваня Гальченко? Мы с тобой работали вместе! На закладке! А Фильку я хорошо знаю, старые приятели! Молодцы! Жму вам руки от имени Советской власти. И Крейцер крепкой широкой рукой по-настоящему пожал маленькие руки колонистов.

Когда все кончилось, когда увели арестованных, когда прошло бурное и радостное общее собрание, когда уехал Крейцер, Филька и Ваня принесли в кабинет флакон с остатками дорогого масла. Речь опять говорил Филька:

— Мы только два раза помазали, Алексей Степанович. И пускай Игорь не обижается. Мы и «Самсон Верке» его тоже смазывали, а не только свой шепинг.

Захаров долго и серьезно смотрел в глаза мальчиков и сказал им:

— Вы даже представить себе не можете, какие вы замечательные люди! И вы никогда этого не поймете, и это хорошо, по крайней мере, задаваться не будете!

Филя и Ваня не вполне поняли, что сказал Захаров. Они ответили ему, как полагается отвечать заведующему: — Есть, не задаваться!

21. Будем помнить

К концу пришла эта маленькая история в маленьком детском коллективе, в скромной колонии им. Первого мая. Счастливый конец всегда отмечается торжеством, и искренно и открыто торжествовали первомайцы свою победу: действительно, к празднику 7 Ноября не осталось врагов в колонии, ни на производстве, ни в бригадах. Открытыми глазами теперь можно смотреть друг другу в глаза, и не стыдно никому видеть утром два узких флага на башнях главного здания.

В конце октября уехал в Ленинградское военно-морское инженерное училище им. Дзержинского секретарь совета бригадиров Виктор Торский. И когда стали выбирать нового секретаря, Илья Руднев сказал:

— Надо выбрать Игоря Чернявина. Он человек с далеким глазом. Он тогда один говорил, что это Рыжиков — враг, а мы ему не поверили, Игорю. Нам нужен только такой председатель.

И наверное, все так и раньше думали, потому что выбрали Игоря единогласно. Он сдал восьмую бригаду новому бригадиру Санчо Зорину и сел рядом с Захаровым, чтобы вместе управлять трудной работой колонии. И первым делом нового секретаря было возвращение Воленко. Адрес его хорошо сохранился в тайниках четвертой бригады. В Полтаву была отправлена делегация из трех колонистов, не пожалел для этого Захаров никаких денег. Делегация повезла Воленко письменное приглашение общего собрания возвратиться в колонию, деньги на дорогу и новый парадный костюм. С полным правом в эту делегацию включили и Ваню Гальченко, который тогда придумал взять у Воленко адрес.

Воленко возвратился на первый день праздника. Удивлялись, наверное, горожане, почему это первомайцы с демонстрации не домой пошли через Хорошиловку, а в противоположную сторону, к вокзалу. На широкой и красивой вокзальной площади они выстроились. Совет бригадиров и Захаров пошли к самому поезду, а когда они вышли на площадь вместе с Воленко, их встретили знаменным салютом. Двести пар глаз смотрели на Воленко, и не было ни одной пары, в которой не кипели бы слезы. И горожане смотрели

на первомайцев и удивлялись: почему это такой стройный отряд мальчиков и девочек под музыку замер в салюте и почему так заметно у них по щекам сбегают слезы? А потом поняли горожане, что это им показалось: когда дал Захаров команду «вольно» и все бросились здороваться с Воленко, а многие и целоваться, поняли горожане, что у колонистов не горе, а радость сегодня. Воленко прошел по фронту колонистов, тонкие его, строгие губы улыбались и с благодарностью к товарищам, и с гордостью за свою колонию. А когда опять стали колонисты в строй, вышел вперед Игорь Чернявин и, не обращая внимания на зрителей, на праздничную и счастливую, нарядную толпу, сказал:

— Дома будем говорить подробнее. А сейчас просим Воленко принять сегодняшнее дежурство по колонии. Нам будет приятно, если в день великого праздника дежурным бригадиром будет бригадир первой.

И тут же на площади Руднев и Воленко вытянулись перед заведующим. Руднев сказал: — Товарищ заведующий! Дежурство по колонии бригадиру первой бригады Воленко сдал. И Воленко сказал:

— Товарищ заведующий! Дежурство по колонии от бригадира десятой Руднева принял.

И было так радостно всем колонистам услышать голос Воленко, и казалось многим, что все прошлое было сном, и не было никакого Рыжикова, и не было никакого горя у колонистов. И еще радостнее было возвращаться домой через торжественный город, ставить легкую танцующую ногу под счастливый серебряный марш и видеть краем глаза, как любуются люди на тротуарах колонной первомайцев, и гордиться своей удачей в прошлом и своей удачей в будущем. Вечером на собрание приехал Крейцер, поздравлял колонистов с праздником, с возвращением Воленко, а потом сказал:

— Дорогие друзья! Только не успокаивайтесь. На своей шкуре вы почувствовали, как трудно бороться с врагом. Разве у вас Рыжиков не был бригадиром первой? Разве вы не тянулись перед ним и не говорили «есть, товарищ дежурный»? А он вовсе был не товарищ, а если и был дежурным, так это был дежурный враг. Смотрите, вы теперь знаете, что такое враг и сколько он зла может принести. Враг никогда не придет к вам сереньким и скучным. Он всегда будет в самые глаза ваши пролезать, в самую душу проникать, он всегда постарается вам понравиться, он захочет кое-что сделать для вас, чтобы вы считали его своим товарищем. А вы смотрите внимательно, вы уже многому научились. Есть у вас такой Подвесько. Слышал я, он провинился перед вами, а вы его даже не наказали. Правильно, потому что провинился по неопытности и по ошибке. Смотрите и дальше разбирайтесь в этом. И вам это нужно, и Советской стране.

Теперь колонисты за каждым словом Крейцера видели сущность вопроса. Они видели, как опасен и скрытен может быть враг, и они готовились встретить его в жизни с неприкрытой, уничтожающей ненавистью, встретить в самом начале его предательства.

Не прошло и месяца, как вместе со всем Союзом они увидели страшный смертельный взмах вражеской руки и на всю жизнь запомнили это видение.

В этот день Захаров вышел из своей квартиры поздно. Ночью он работал и, уходя спать, сказал часовому, что на поверке не будет. Правда, он слышал сигнал побудки, но не спешил. Выйдя во двор, он по привычке остановился у дверей и бросил общий взгляд на колонию. Было еще темно, но уже красне-

ло небо на востоке. На фоне зари он видел флаги на башнях главного корпуса и... что-то странное происходило с флагами. Один из них вдруг начал опускаться. На фоне красной зари он казался черным, спускаясь, он вздрагивал, и его узкий конец подымался. На середине флагштока он остановился, и начал спускаться второй флаг. Захаров с усилием старался вспомнить: второе декабря... нет... что-то случилось! Он побежал к главному зданию. Среди темных кустов цветников на него налетел Игорь:

— Что такое? Почему флаги?

— Киров... Алексей Степанович! Киров... убит!

— Что... Откуда знаете?

— По радио сейчас только...

Захаров вбежал в здание. Растерянная толпа колонистов забила весь вестибюль. Говорили шепотом, чего-то ждали, на диване плакала девочка. Дежурный бригадир Оксана Литовченко проталкивалась к Захарову:

— Алексей Степанович, не могу дежурить.

— Как это «не могу»?

— Я не могу, Алексей Степанович!

Захаров понял, что от нее толку уже не добьешься. Она упала с рыданиями на диван, повторяя одну и ту же, ставшую уже бессмысленной, фразу: — Ой не могу, ой не могу, Алексей Степанович!

Он стал отстегивать ее повязку. Колонисты смотрели на Оксану с молчаливым испугом, их глаза напряглись в неподатливых поворотах, они хотели быть мужчинами. Захаров отдал повязку Игорю.

— Кому дежурить? — спросил Игорь.

— Дежурить? Захаров забыл, что он хотел сказать. — Дежурить... Ты о чем меня спросил?

— Кому дежурить?

— Ага... — Захаров хотел сообразить, и что-то мешало ему. Он наконец нашел выход:

— Дежурь сам. Понимаешь, сам дежурь. Сейчас... Общее собрание немедленно. Оркестр. Да... Креп пошли ко мне домой... Креп на знамя.

Захаров прошел в кабинет. На всех диванах в комнате совета и в кабинете сидели малыши и молчали, заложив руки между колен. Они сидели тесно и неподвижно. При входе Захарова встали машинально и машинально подняли руки, а потом снова опустились на диван и снова заложили руки между колен. Захаров не обратил на них внимания, сел за стол и задумался. Наконец догадался:

— Расскажите... подробнее, что передавало радио.

Малыши с большим трудом, помогая друг другу, рассказали ему о том, что слышали. Донеслись сигналы общего сбора и сбора оркестра. Малыши сорвались с дивана и побежали в зал, но и на бегу они сегодня были как бы неподвижны. Общее собрание началось в подавленном, тяжелом молчании. Встретили знамя, увитое черным крепом, обернулись к Захарову:

— Товарищи! Страшное горе и страшное преступление... Оказывается, мы даже не знали, какие есть подлые враги, сколько еще злобы и ненависти против нас, против нашего государства, против наших вождей. Теперь вы понимаете, что это такое, товарищи колонисты?

— Понимаем! — ответили как один двести колонистов, ответили негромко, единодушным задумчивым ропотом. И сорок трубачей заиграли

революционный траурный марш «Вы жертвою пали в борьбе роковой...», потом шопеновский марш, марш торжественной скорби. Увитое горестным крепом бархатное красное знамя склонилось. Вышел вперед секретарь совета Игорь Чернявин и сказал:

— Жизнь наша... и наше счастье, товарищи, в наших руках. И из наших рук его хотят вырвать. Стреляют! Сволочи, они убили Кирова, они думали что? Они думали: одних убить, других запугать, третьих обмануть! Они так думали! А для чего? Для того чтобы вернулась старая жизнь, которая им нравится, потому что в той жизни они будут хозяевами, а мы будем у них рабочей скотиной! Мы будем рабочей скотиной? Они не знают, гады, они не знают, что мы уже привыкли быть людьми, настоящими людьми, рабочей скотиной мы теперь не сумеем. Так мы и скажем: синьоры, мы не умеем! Колонисты! Скажите, что я правильно говорю: и сейчас, и когда вырастем, и всегда будем помнить товарища Кирова, и всегда будем помнить, кто его убил и для чего! И не простим, и не пощадим, уничтожим каждого, кто станет на нашей дороге. Только я говорю: не нужно ждать момента, не нужно ничего ждать. Каждый день, каждый час думать об этом. Теперь мы еще лучше знаем, для чего наш завод! Наш завод — это вооружение, это борьба, это новые люди, и такие люди, которые не подкачают и ничего не простят. Нестеренко поехал в авиастроительный, Колос поехал в университет, Миша Гонтарь сел за машину — никто в рабы не пойдет. А этот день будем помнить. Я не знаю, что сказать, я хочу, чтобы этот день, как тревога, понимаете, как сигнал тревоги, мы всегда слышали. Я предлагаю: до той минуты, когда будут хоронить товарища Кирова, пусть наше знамя здесь, возле Сталина, стоит, пусть стоит склоненным, и мы станем с винтовками. Каждый колонист будет помнить, как он стоял на страже возле нашего знамени.

И двое суток стояло бархатное знамя колонии им. Первого мая, и день и ночь через каждые пятнадцать минут сменялись возле знамени парные часовые. Они стояли смирно с винтовками в руках, в парадных костюмах, только воротники белые сняли в знак траура. И до поздней ночи сидели на бесконечном диване в «тихом» клубе колонисты, а пацаны сидели на ступенях к бюсту Сталина и говорили шепотом.

А когда унесли знамя из «тихого» клуба и когда поднялись узкие красные флаги к верхушкам флагштоков и развернулись по ветру, с новой страстью, с новой настойчивостью, с новым разумом бросились колонисты к станкам, к школьным столам, к строгому порядку своего коллектива. Они продолжали идти вперед, они смотрели направо и налево и далеко, далеко видели: теряясь в туманных далях краев и границ, шел вместе с ними все вперед и вперед великий фронт социалистического наступления.

Жизнь продолжается, и продолжается борьба. И продолжается радость, уже отвоеванная в жизни, и продолжается любовь. Игорь Чернявин, у которого большой рот выражает теперь не только иронию, но и силу, Игорь Чернявин идет вперед, и в его руке рука Оксаны. И Ванда Стадницкая — мать и жена, ударница на заводе, идет вперед и улыбается всегда, когда вспоминает прошлые свои неудачи. И Ваня Гальченко и вся четвертая бригада — славная, непобедимая четвертая — серебряным маршем звенит по земле, и другие бригады с ними рядом, великие бригады трудящихся СССР — исторические бригады тридцатых годов.

РАССКАЗЫ

В день Первого мая

Этот, в капитанской фуражке, только что пробил головой заслон из Петьки и появился на переднем плане. Собственно говоря, он стремился поближе рассмотреть проходящие по улице танки, но глаза сами собой поднялись к небу. А на небе творится невероятно чудесное, нестерпимо притягательное для хорошей мальчишеской души! Будущий капитан Северного морского пути очень недалек от мысли: не переменить ли морской путь на славу советского летчика? Слишком уж сильно впечатление, упавшее на его голову, прикрытую капитанской фуражкой!

Вот у Петьки, у того никаких нет вопросов. Он должен быть только летчиком, и как можно скорее. Мертвые петли, штопоры и скольжения вызывают у него в настоящую минуту отнюдь не восхищение. Нет, они вызывают только зависть. Это чувство так сильно у Петьки, что он не заметил даже агрессивно-нахального проникновения на первый план этого самого франта в капитанской фуражке. Легкая досада, конечно, где-то царапает сердце, но некогда заниматься этой досадой. Так недоступны для Петьки небо и стальные ловкие птицы, самой природой назначенные для Петькиной деятельности. Ничего, Петька добьется своего, никакие соблазны не отвлекут Петьку от лётного пути. Еще несколько лет, всего несколько лет!

В кепке, спокойный, довольный жизнью Володя насмотрелся этих аэропланов и дома: он живет рядом с аэродромом. Танки тоже прекрасная вещь, но и танки Володю сейчас не увлекают. Ему просто хорошо. Он занял лучшее место на улице, и в жизни место у него не плохое — он советский школьник. Приятно жить на свете и приятно спокойно ожидать завтрашних дней. К тому же Володя мечтатель, только мечты у него все разные: сегодня одни, завтра другие. Пусть танки с грохочущими взрывами проходят мимо. Они хороши, но не менее хороша была и кавалерия, только что скрывшаяся за углом.

Надя прищурила глазенки на сверкающую стаю самолетов — наших советских самолетов, приветствующих трудящихся в день пролетарского праздника. У Нади радостно на душе, нет у нее ни зависти, ни мечты, чистая свободная радость.

Второй этаж предается главным образом восторгам. У Вани разгона нет настоящего, а то прыгнул бы он прямо в середину эскадрильи, прыгнул бы без всякой цели, от одного только восторга. Ваня сейчас забыл даже

об утренних неприятностях, когда возражал и грубил матери, отказываясь от пальто, отмахиваясь от уговоров, от указаний на холодную погоду...

Коля — тот удрал из дому без пальто, успел обойти все улицы, площади и переулки, устал страшно и от ходьбы и от впечатлений, но сейчас все забыл, забыл даже, что ему холодно. Слишком реально связана его душа с душой того летчика, который идет впереди эскадрильи. Коля уже не различает его крыльев на фоне туманного неба и все следит за ним и мечтает о чем-то неясном и радостном, о какой-то высоте, о каком-то человеческом полете.

Другое дело — Севка. Он никогда не мечтает и не будет мечтать. Он реалист и техник. Его увлекают сложные пути самолетов, и он радуется их удаче, как конструктор находке товарища.

А вся семерка праздничным ярким букетом глядит в лицо Первому мая, в лицо нашему надежному будущему. Не красочные одежды творят эту яркость. Посмотрите, какая радость сверкает перед вами в лицах этих детей, сколько уверенной горячей радости в их движении, сколько новой человеческой свободы в их улыбках!

Несколько часов на канале

Впечатления

Сто двадцать восемь километров трассы канала, и на этом протяжении чего только нет: шлюзы, насосные станции, плотины и дамбы, мосты, гидростанции, электростанции, подстанции, аванпорты, пристани, гавани, водосбросы и водоспады, туннели...

Все это грандиозное дело совершено в четыре года.

Вдумайтесь в этот срок, и для вас станет ясной величина напряжения человеческого гения и человеческого труда.

Вспомните, сколько десятилетий строился Панамский канал и с какими неприличными скандалами, недаром его именем называют сейчас всякое мошенничество больших масштабов.

Канал Волга — Москва — дело колоссального размаха и колоссального успеха, дело нескольких тысяч инженеров и целой армии строителей.

Бедный журналист стоит перед этим величием и пытается охватить его взглядом — затея безнадежная... Тогда журналист берет за пуговицу какого-нибудь доброго местного деятеля и просит:

— Расскажи!

А рука уже судорожно сжимает блокнот.

Многие «собственные корреспонденты» живут в Дмитрове по целым неделям, ходят, смотрят и пишут.

Мельком я слышал:

— Говорят, на теплоходах десять журналистов из Горького едут!

* * *

Мы проехали вдоль канала на машине от Дмитрова до шестого шлюза и дальше. Это, вероятно, немного, всего километров пятнадцать.

Но канал уходит вдаль в ту и в другую сторону, в далекую даль уходит за ним и первая эмоция.

В первый момент поразил меня даже не сам канал. Поразило меня лицо природы. Здесь природа представляется в чрезвычайно жалком виде. Она глядит на вас вскопанным, взорванным, исковерканным и вывернутым лицом. На десятках и сотнях квадратных километров вы видите следы и последние судороги страшной схватки.

Десять минут назад вы видели знакомое и даже милое улыбающееся солнечное спокойствие, зеленую улыбку природы, уютные щетинки рощ, повороты оврагов и нетронутую березовую чистоту.

Ранней весной все это сильно пахнет Нестеровым, примирением, чуточку небесами, немного слезой.

Правда же, вам знаком этот милый комплекс? Мы, старики, очень хорошо разбираемся в нем.

И вдруг... нет комплекса!

Перед вами обнаженное мясо земли, ярко-рыжие глины, взъерошенные остатки рощ. Все это покрыто бесконечным в пространстве прибоем строительной волны.

Подальше высятся еще в лесах башни и кубы сооружений канала.

Но пройти к ним невозможно: целые штабели металла и дерева, балок, рельсов, прутьев, огромные площадки, заваленные самым разнообразным добром, от аккуратных крытых цементных баз до бесформенных нагромождений обрезков, опилок, остатков, каких-то ведер, каких-то мешков.

Бой с природой еще не окончен, еще в этих полях кипит работа, копошатся люди, с трудом поворачиваются лошади, по неожиданным, кривым и ухабистым дорожкам снуют сотни пыльных уставших грузовиков.

Но над бетонной башней насосной станции уже реет знамя победы — Красный флаг СССР.

Наш газик выскакивает из строительного хаоса, поднимается по шоссе на вздыбленный над равниной новенький чугунный мост и... перед нами до самого горизонта живая, полная дыхания, наша родная, величественная Волга. Она уходит от нас аккуратной веселой лентой, вовсе не такой узкой, как казалось по газетным фото.

Действительно, ее ширина в канале — 85 метров по зеркалу. Это не так мало! Кто понимает в метрах, тот сразу себе представит.

* * *

Да, это Волга... Конечно, она здесь очень смирненькая, здесь невозможны никакие шутки и капризы, никакие перекаты и «Телячьи броды», здесь никто не позволит ей вихлять из стороны в сторону и закручивать петли в 200 километров, как это она позволила себе сделать под Самарой.

Человек, положивший природу на обе лопатки, пригласил Волгу пожаловать к городу Дмитрову и дальше, к Москве.

Всякие отговорки ее и уверения, что на такую-то и такую-то горку она взобраться не может, не возымели действия. Мы ей предложили: «Мы можем «подсадить»... Пожалуйста! На восемь метров!»

И «подсадили». Потом еще на восемь. А всего к шлюзу № 6 «подсадили» на 45 метров — легко сказать — Волгу. От шлюза № 6 до шлюза № 7, на протяжении больше чем 50 километров, Волга держится на такой высоте.

А потом мы помогаем ей осторожно спуститься к Москве-реке. Собственно говоря, у нее нет оснований для недовольства. Она мирно покоится в уютных берегах канала. По ее поверхности под весенним ветром уже побежали тоненькие волны и уже успели нарядиться веселыми гребешками.

* * *

Но мы проезжаем три-четыре километра, и перед нами снова хаос борьбы, снова развороченные мускулы земли, снова склады, краны, насыпи, обрывы, откосы и отбросы, снова в центре хаоса высятся бетонные башни «узлов», снова видим над ними победные флаги.

Иногда в этом хаосе дрожат и прижимаются к случайному сараю две-три уцелевшие березки.

Но во многих местах мы видим советских людей за новой работой.

Бой с природой окончен, побежденная земля уступила поле битвы, побежденная Волга пошла туда, куда приказал ей человек. И победитель приступил к украшению природы.

На многих площадках уже протянулись новые древесные насаждения, берега канала почти везде обложены дерном, и не как-нибудь, а «в решетку».

Древние овраги и поля смотрят на эту красоту с удивлением, никогда природа не способна была на такие узоры.

Сотни грузовиков вывозят с полей битв ненужные вещи: трупы павших грунтов, изломанное в бою оружие, рассыпанные кругом залежи праха.

У Дмитрова, на канале — пароход «Плеханов». Это буксир, которому поручили протралить канал. Он неуклюже поворачивается в канале, и эта неуклюжесть кажется неестественной: в канале так просторно...

Мы обгоняем пароход на бело-голубом катере «Чекист».

Высаживаемся, чтобы с берега посмотреть шлюзование.

«Плеханов» как раз входит в камеру шлюза.

Тысячи людей со всей строительной площадки бросились к камере. Побежали и мы.

Впереди закричали «Ура!». Взбираться на еще не отделанную глинистую горку довольно трудно.

Нас обгоняет пожилой бородатый рабочий и говорит сам себе, задыхаясь от бега:

— Дождались! Эх.. смотри, дождались!

О человеческих чувствах

Сегодня такой хороший день! День авиации! Как и все граждане СССР, я горжусь советской авиацией, этим героическим чудом, созданным моею революцией.

Но я имею еще и особенные, так сказать, личные права испытывать эту гордость.

Я хотел бы сегодня пожать руки десяткам моих воспитанников, выбравшим для себя славную дорогу летчика. Но это невозможно сделать: они разлетелись по всему Союзу, пространство для этого народа, как известно, не составляет препятствия.

Но в памяти своей я восстанавливаю лица, характер, повадку и историю каждого из них, вспоминаю их трудный, но бодрый и радостный путь от беспризорности до штурвала воздушного корабля, от дикого и голодного уличного одиночества до уверенного и прекрасного самочувствия советского гражданина.

Я мог бы завидовать им, если бы у нас вообще возможно было завидовать.

Для многих мальчиков путь летчика представляется самым высоким счастьем, самым совершенным путем человека, самым благородным его назначением. Он только несбыточным не представляется. Нужно только одно: нужно захотеть. Я вспоминаю Шуру Чевелия, Митю Анисимова, Васю Дорошенко[1] и многих других. Когда им было по двенадцати лет, их летная душа уже карабкалась на аэроплан. Реально это выражалось в причудливых виражах бумажных моделей, у которых мотор состоит из резинки и постройку которых «лимитировала» эта самая резинка. Когда ребята подросли, бумажные аэропланы перестали удовлетворять их летную душу. В пятнадцать лет они требовали от меня командировки в авиашколу, сердились на меня за отказ, надувались и по часам не разговаривали со мной.

С большим трудом я собрал деньги — колония была далеко не богата — и купил для ребят планер, пригласил инструктора. Они с горячей гордостью завозились вокруг планера, целыми днями прыгали на нем в поле и бросали в лицо и без того ошеломленных товарищей убийственно-специальное слово: «амортизатор»!

Но проходили дни, и планер перестал их радовать. Они снова настойчиво закружились вокруг меня и загалдели о летной школе. Теперь препятствий было гораздо меньше. Математика и русский язык в наших руках. Возраст?

— Антон Семенович! Ну что стоит вам написать: родился в 1910 г, все равно никто не знает, когда я родился. А может, я родился в 1909 г.?

— Постой. Ты ведь сам сказал, когда привели тебя в колонию, что год рождения 1912-й?

— Какой вы странный, Антон Семенович! Я сказал. Вы придаете значение? Мало ли чего я сказал! Был, понимаете, несознательный, и все!

С их точки зрения, это не было препятствием. Страшило их только одно:

— Там, понимаете, так: посадят тебя за стол и говорят: а ну, напиши какой-нибудь стишок! Ты себе пишешь, а они сзади из нагана — бац! И смотрят: если ты хлопнул глазами или кляксу сделал, какой же из тебя летчик? Видите?

Вот этот вымышленный выстрел из нагана их только и пугал. И снова они на меня сердились:

— Ну что вам стоит, Антон Семенович? Вы сами стреляете. А мы будем смотреть: хлопает глазами или не хлопает.

— Да ведь нужно неожиданно.

— А вы и сделайте неожиданно. Зайдите в класс, как будто проверяете, и... бац!

И, хотя я решительно отказывал в организации такого эксперимента, они настороженно следили за мной, когда я заходил в класс во время уро-

ка, и их глаза налаживались, чтобы не хлопнуть, если вдруг бацну из револьвера.

Но я не торопился бахать. Я и без того видел, что они будут летчиками. Каким-то чудом они перезнакомились со всеми летчиками соседней части, принимали их в колонии, облепив жаркими своими телами, водили их по цехам и показывали свои станки со сложным выражением гордости и презрения: гордость потому, что это наши станки, а презрение потому, что это все-таки станки, а не самолеты.

И вот свершилось. В один прекрасный день они уехали со страхом и радостью, жали руки товарищам и целовались, и Шурка, бледнея, говорил:

— Вот чувствует мое сердце: сбракуют! Честное слово, сбракуют!

Они приехали в колонию через полгода в отпуск в голубых петлицах, младшие ребята взирали на них с благоговением, а вечером приходили ко мне поговорить по делу:

— Антон Семенович, там у меня неправильность: я родился вовсе в 1911 г., а там написано: в 1913 г. Это неправильно.

И вот сейчас мои летчики давно уже летают. Они приезжают ко мне с капитанскими петлицами и рассказывают о настоящих технических и человеческих чудесах их жизни.

Они не сомневаются в своем высоком счастье, но они не знают настоящей его грандиозной величины. А я, глядя на них, вспоминаю один случай из моей жизни. В этом случае дело идет тоже о летчиках и о мальчиках, но это было в 1912 г.

Я тогда работал учителем на небольшой узловой станции на Херсонщине. Нас окружала степь, до ближайшего города было 70 верст. На станции школа была организована для детей линейных служащих, дорожных сторожей, стрелочников с полустанков. При школе было и общежитие. Всего у меня под началом было около двухсот ребят, мальчиков и девочек. Жизнь наша протекала более чем скромно: какие приключения могли произойти в херсонской степи в 1912 г.?

И вдруг первого декабря в морозный бесснежный день над станцией закружил аэроплан. Не только мои ребята, но и учителя аэроплан видели впервые в жизни. Конечно, мы бросили уроки и выбежали на широкую площадь перед зданием школы. Аэроплан сделал несколько кругов над нами и вдруг пошел на посадку — прямо на нашей площади. Обрадованные, ошеломленные и даже перепуганные, мы бросились к нему. К нам спустился человек в кожаной куртке, а на куртке блестели золотые погоны поручика. За ним вылез другой — солдат, потом оказалось, что это механик.

Мои ребята пораженными взглядами рассматривали и диковинную машину, и самого поручика. Мы пригласили его в школу.

Выяснилось, что военный самолет по какому-то особенному заданию совершает небывалый в истории перелет Киев — Севастополь. Фамилия поручика была Абронский[2]. В моторе испортилась какая-то часть. Вечером того же дня механик уехал в Киев получить новую часть, а поручик остался жить у нас. И я и ребята близко с ним познакомились, да ему и делать было нечего, только и оставалось пребывать с нами. Сначала нас смущало небывалое общество. С одной стороны, кожаная куртка гостя роднила его с нами, было в нем что-то похожее на паровозного машиниста, с другой стороны, золотые погоны проводили между нами и им какую-то

черту отчужденности, мы не привыкли к таким знатным людям. Видели иногда на станции приезжавшего по делам жандармского ротмистра, но даже старались и не смотреть на него, так это было для нас далеко.

Но поручик оказался настоящим человеком: простым, веселым, добродушным. Мои ребята сдружились с ним очень быстро, и нельзя было не полюбить его: так необычно было видение человека, летающего в воздухе. Для нас не было сомнений в том, что это человек страшной, невиданной еще в мире смелости, человек крайней отваги и человеческой доблести. И, вероятно, это было близко к истине. Мы знали героические имена некоторых погибших летчиков, следили за гибельными подробностями тогдашних первых перелетов. А теперь среди нас находился живой, симпатичный человек, только что совершивший героический прыжок в воздухе. Завтра он получит какую-то там часть и снова поднимется в воздух, чтобы долететь до Севастополя или погибнуть в пути. И то обстоятельство, что поручик не гордился перед нами своим героизмом, что он умел пошутить, поговорить с ребятами, что он запросто разделял с нами наш скромный обед, еще больше увеличивало его человеческую прелесть.

Когда механик привез запасную часть, мы целый день провели у аэроплана. Поручик с механиком целый день провозились у мотора, измазались, утомились, обедать не пошли. Абронский во что бы то ни стало решил вылететь 4-го, чтобы поспеть к параду 6 декабря в Севастополе. Но что-то у него не ладилось, он и 4-го работал над мотором.

Было уже после полудня, когда он кончил ремонт. Мы уговаривали его отложить полет на завтра, скоро должен был наступить вечер. Но он не внял нашим уговорам, очень ласково пожал всем руки, потрепал по щечкам двух-трех малышей и обещал из Николаева прислать нам телеграмму о благополучной посадке.

Он улетел почти в сумерках. Мы с притихшим сердцем проводили глазами исчезающую в небе точку и всей толпой отправились к зданию станции ожидать телеграммы. Сначала делились впечатлениями, потом примолкли, а часов в семь многие девочки начали уже плакать. Около полуночи стало ясно, что с поручиком случилось несчастье. Натирали глаза уже не только девочки. С большим трудом я успокоил ребят и отправил спать.

Но телеграмму мы все-таки получили, только не от поручика, а от его механика. Точного текста я не помню, он сообщал, что аэроплан сбился с пути, совершил посадку в поле, попал в ров, аэроплан разбит, поручик с переломанными ногами находится в николаевском госпитале, механик здоров.

Конечно, ни о каких занятиях не могло быть и речи. В школе было настоящее глубочайшее горе. Многие буквально не находили себе места. Настроение несколько улеглось, когда один из старших учеников предложил сложиться по копейке и послать Абронскому приветственную телеграмму. Так и сделали: у кого нашлась копейка, у кого две, кто уплатил за товарища. В общем, мне пришлось доложить не очень много. Телеграмму написали большую, горячую, полную любви. Послали, а к вечеру получили и ответ: «Спасибо, тронут. Абронский».

А на другой день меня вызвал к себе на соседнюю узловую станцию жандармский ротмистр. Я стоял в его большом кабинете, а он стучал кулаком по столу и шипел:

— Сегодня Абронскому коллективная телеграмма, а завтра кому? Соби-

рать копейки, подписи, собрания?

— Но, ротмистр, военный летчик! Поручик? Как же...

— Не ваше дело, военный или не военный. Я не позволю вам заниматься не вашим делом.

Я был уволен со службы[3]. Оказывается, это не мое было дело и не дело моих учеников выражать какие бы то ни было чувства по адресу даже военного летчика.

Потом мне удалось найти защиту. Я был восстановлен. Но это и не важно. Я не испытываю жалости ни по отношению к себе, ни по отношению к моим ученикам. Мне было жаль поручика Абронского, поломавшего ноги под Николаевом и тем не менее не заслужившего права на человеческую симпатию.

А теперь я вспоминаю и другой случай такого же рода. Он отмечен в газетах так:

«3 сентября 1915 г. возвратился в столицу начальник полярной экспедиции флигель-адъютант Б. А. Вилькицкий. Выйдя из Владивостока 24 июня 1914 г. на «Таймыре» в сопровождении «Вайгача», экспедиция к сентябрю достигла мыса Челюскин, где и зазимовала, пережив сто суток полярной ночи. С большими усилиями, преодолев все ужасы полярной зимы с 50-градусными морозами, Вилькицкий привел оба судна целыми и невредимыми в Архангельский порт.

Прибытие отважного путешественника в столицу прошло незаметно».

Итак, незаметно! А ведь Вилькицкий был флигель-адъютант, адъютант самого царя!

Нет, товарищи советские летчики, вы гораздо счастливее, чем вы думаете, а мы... мы не менее счастливы, чем вы.

В ваших героических взлетах нет этого проклятия прошлого. Вас никто не оскорбит зверской холодностью встречи, никто не остановит на пути к вам горячего чувства восхищения и любви. Это потому, что ваш подвиг не одинок, потому, что он создан усилиями всей страны, ее лучших людей, ее вождей.

Из истории героизма

Это случилось в декабре 1913 г.

Я тогда работал учителем железнодорожного училища на небольшой узловой станции на Херсонщине. Станцию и поселок при ней можно было охватить одним взглядом. Нас окружала степь, однообразная, ровная, молчаливая. А что там было в степи? Два кургана на горизонте, да скрытое в балке село, да на большой дороге столбы и пыльные вихри.

На станции было маленькое депо, так называемое оборотное; работало в нем народу несколько десятков человек, и на самой станции еще меньше — тихое было место, пыльное и бедное.

И школа наша богатством не отличалась. Она была предназначена для детей линейных служащих: путевых и барьерных сторожей, стрелочников с маленьких станций и полустанков. Было у нас много и сирот. Большинство моих учеников жили в общежитии при школе. Все это было организовано в «приютском» стиле: бедно, казенно, угрюмо и неподвижно.

Мы, учителя — а нас было человек восемь, — все свое время проводили с ребятами, впрочем, у нас другого выбора и не было. По старой учительской традиции мы, конечно, предавались прекрасным мечтам: сеяли разумное, доброе, вечное, из года в год делали выпуски и радовались, провожая хлопчиков и девчат в жизнь. А радоваться, собственно говоря, было и нечего: ни в какую особенную жизнь не было путей для наших учеников. Все поголовно они уезжали на маленькие станции и полустанки продолжать ту же степную страду своих отцов.

А мы продолжали свою — учительскую.

Где-то там, далеко, далеко за степями и курганами, на каких-то недоступных концах дорог и проводов, протекала все-таки какая-то жизнь, взбудораженная тысяча девятьсот пятым годом. Она доходила до нас в сборниках «Знания», в изданиях «Донской речи», в «Журнале для всех» и, разумеется, в газетах. И в своем захолустье мы видели серую, свинцовую «обложную» тучу реакции, видели и редкие вспышки молний рабочего движения, крестьянских волнений, подпольной работы революционеров. Не видели, а чувствовали и дыхание новой техники, напряженную борьбу человечества с природой. Все это было дорого и важно для нас, но мы никогда не были свободны от тяжелого ощущения заброшенности и беспросветности.

Слышали мы и читали о первых полетах людей, знали имена летчиков, их удачи и трагические дни катастроф. В их победах много было настоящего человеческого подвига, но даже этот подвиг какими-то чуждыми силами был обращен в далекое для нас и «не наше» дело.

В окнах проходящих поездов мы иногда видели важных господ, с выражением дорожной скуки рассматривающих наши захудалые фигуры. Иногда на их плечах блестело золото, одинаково для нас непостижимое, был ли это генерал или подпоручик. На самой нашей станции появлялся изредка начальник жандармского отделения, усатый, обтянутый рейтузами и мундиром щеголь; один раз он зашел даже в школу, брезгливо заглянул в класс, на полсекунды задержался в дверях учительской и сказал:

— Учителя? Дэ... Ну, прекрасно...

И ушел, сопровождаемый станционным жандармом, до деревянной твердости набитым почтением и фрунтовой выправкой.

В нашем представлении было даже не совсем понятно, как могут эти вылощенные господа летать на аэропланах, слишком уж велико было противоречие между их блеском и скромной настойчивостью летного подвига.

И вот первого декабря в морозный бесснежный день в тишину наших классных занятий ворвался непривычный и непонятный звук мотора. Он с напористым и настойчивым усилием шел на нас все заполняющей волной и наконец поглотил все, звенящим грохотом упал у самых дверей школы и вдруг замер. Мы бросились наружу. По широкой площади перед школой катился прямо на нас крылатый легкий аппарат. Ребята бросились в стороны, а потом испуганными глазами загляделись на невиданное чудо. Аэроплан остановился у самого крыльца здания. Сбоку мы увидели две головы в шлемах, торчащих из крохотной кабины. Мы побежали к ним.

На землю спрыгнул ловкий человек и помахал нам рукой. На его плечах ярко выделялись на черной коже куртки золотые погоны: одна дорожка и три звездочки.

Офицер присел и глянул на колеса. Потом поднялся и сказал мне весело:

— Фу, черт! Счастливо отделались!

Веселый его звонкий тенор все-таки не мог скрыть страшной бледности лица и тонкого вздрагивания побелевших губ. Даже узкие усики над губами вибрировали еле заметно. Меня захватила волна горячей симпатии к этому небесному гостю, мне хотелось и торжественно славить его и пожалеть.

Он прожил у нас три дня, пока его механик съездил в Киев за какой-то частью для мотора. Поручик Яблонский совершал засекреченный перелет из Киева в Севастополь. Посадка ему полагалась в Николаеве, но пришлось сесть на нашей станции, так как в бензопроводе случилась какая-то авария.

Поручик оказался очень простым и милым человеком. На нашей станции все-таки была кое-какая аристократия: начальник участка, начальник станции, следователь. Они устроили в честь его пребывания банкет, но поручик не пил ни вина, ни водки, и устроители банкета были очень разочарованы и с горя напились сами до той степени, какая обычно принята была на нашей станции даже по менее важным поводам. А поручик предпочитал общество моих учеников.

Целый день он проводил в нашей школе, а вечером устраивался в бедном нашем общежитии и рассказывал ребятам жуткие истории о первых полетах аэропланов, о будущих днях авиации, о погибших летчиках. Ни в нем самом, ни в его рассказах не блестели офицерские погоны, он ни разу не назвал ни одного чина, да и свою тужурку повесил у меня и полюбил мой меховой полушубок, более приспособленный для степных ветреных морозов.

Занятия в школе проводились кое-как: ребятам было не до занятий, слишком поразил их воображение этот залетный, простой и веселый гость. Больше всего вертелся возле него Алешка Сидорин, четырнадцатилетний серьезный мальчик, сирота, потерявший отца-машиниста в железнодорожном крушении. Яблонский и сам обратил внимание на Алешку и дошел в беседах с ним до таких тонкостей, что уже и карандаш появился в его руках, и на ученической тетрадке начертил он для Алешки схему аэропланных рулей и еще каких-то хитростей.

Четвертого декабря перед вечером Яблонский закончил ремонт своего мотора. С самого утра провозились он и его механик в аэроплане, а мои ребята и в школу не пошли, а обступили машину тесной толпой, и Яблонский кричал им сверху:

— Ничего, ничего, ребята, полетим!

Он поднялся в воздух очень поздно, уже начало темнеть. Мы уговаривали его отложить полет на завтра, но у Яблонского были свои соображения. Он пожал руки почти всем двумстам моим ученикам, потрепал кое-кого по грустной мордочке и обещал обязательно дать телеграмму о благополучном прибытии в Николаев, куда он должен был прилететь через час.

Мы грустно следили за тем, как еле заметная точка самолета исчезла в декабрьском вечернем небе, а потом всей толпой отправились на станцию ожидать телеграммы.

Телеграмму мы ожидали долго. Сначала оживленно обсуждали яркие подробности последних дней, потом тревожно молчали, а потом девочки начали плакать. Было двенадцать часов ночи, когда я увел грустных ребят

спать. Алешка Сидорин выпросил у меня разрешения остаться на станции, он все-таки продолжал верить в телеграмму.

Она пришла к вечеру следующего дня и была подписана механиком. Он сообщал, что Яблонский сбился с пути и сел в поле, сел неудачно, в ров, разбил вконец машину и сам расшибся: находится в Николаеве в военном госпитале с переломанными руками и ногами.

Редко можно видеть такое широкое и горячее горе, какое захватило моих учеников. Они засели в классах за партами и громко открыто рыдали, не стесняясь друг друга и не оглядываясь. Я очень хорошо понимал их страдания, потому что и у самого щемило в сердце от сознания обидной и глупой несправедливости, от наглого хулиганства жизни, оскорбляющего прежде всего самых лучших, самых смелых и новых людей.

Алешка Сидорин не плакал. Он бродил по школе молчаливый и суровый и все о чем-то думал. Только к ночи он оживился и пришел ко мне с листком бумаги:

— Хлопцы согласны. Вот тут написали, у кого есть, а у кого нет, и так хорошо.

На листке бумаги были в колонку выписаны фамилии и против каждой стояла сумма: три копейки, пять копеек, одна копейка. Алешка объяснил, что это собрано четыре рубля пятьдесят девять копеек, чтобы послать Яблонскому большую телеграмму, в телеграмме все написать.

Я ничего не сказал Алеше, и мы сели писать телеграмму. Она вышла действительно очень большой и подробной. В ней мы не столько обращались к Яблонскому, сколько к глупой судьбе, и требовали, чтобы она с бóльшим уважением относилась к человеческому подвигу. Телеграмма эта обошлась нам в десять рублей, сложились и учителя. Ее отправка успокоила ребят: грустные, но уже без рыданий отправились они спать. А на другой день мы получили и ответ от Яблонского, в котором он благодарил нас и обещал поправиться и когда-нибудь снова к нам прилететь.

Через неделю мы видели на платформе обломки аэроплана Яблонского, которые проследовали через нашу станцию в Киев. А еще через неделю меня вызвал на соседнюю узловую станцию жандармский штабс-ротмистр.

Ротмистр дико глянул на меня:

— Сегóдня сбор денег на телеграмму, а завтра для чего? Сегодня Яблонскому, а завтра кому?

— Господин ротмистр, но ведь...

— Что вы там еще говорите...

— Но ведь... военный летчик! Поручик!

Ротмистр дико глянул на меня:

— Вдолбите себе раз навсегда в голову: военный он или не военный, это вас не касается. Понимаете? Если не понимаете, смотрите, чтобы я не объяснил вам как следует.

— Я понимаю, — тихо сказал я.

Он посмотрел на меня подозрительно и отвернулся:

— Можете идти. На этот раз мы ограничимся увольнением.

Я ушел. Я действительно все понял. Действительно подвиги военных летчиков моей страны не имели ко мне никакого отношения. Пусть, это в конце концов и раньше было ясно. Я не страдал и не жалел себя, но мне до рыда-

ний стало жалко поручика Яблонского. В таком случае, для кого приносит он свою жизнь в жертву? Неужели для жандармского штаб-ротмистра?

Возвратясь домой, я нашел на столе распоряжение немедленно уволить из школы Алексея Сидорина.

* * *

Яблонский погиб во время войны с немцами.

Я сейчас часто вспоминаю этого веселого простого поручика. Его жизнь так характерна для последних лет царской реакции. Так холодно и так неуютно было героям в нашем Отечестве, и поэтому так мало знали люди, что у них есть Отечество. Большому человеческому чувству, чувству любви к Родине, чувству гордости и радости за нее так мало было простора. И сейчас, когда невозможно различить, где кончается героизм отдельного человека и начинается героизм моего народа, когда каждое движение сердца и каждое движение советских самолетов так душевно и так родственно связаны, я благодарю судьбу, что она позволила и мне жить в наше прекрасное, горячее и искреннее время.

Гришка

1

Городишко Мирополье стоял на горе. Из окна вагона он казался живописным: на зеленых склонах кое-где пробивались светло-голубые, светло-зеленые и темно-голубые маковки церквей, а выше всего поднималось из зелени стройное белое здание.

Из окна вагона казалось, что в тени этой зелени рядом с притихшими древними храмами люди живут уютно и мирно, там пахнут ландыши, там свежесть листвы, одетые крапивой и цветами дорожки.

А осенью городок был похож на оперную декорацию: золото, парча и торжественные багряные закаты.

Железная дорога проходила от города в шести километрах; по железной дороге проносилась мимо города жизнь. Но редко, редко кто-нибудь направлялся от станции в его таинственные рощи. Чаще всего проезжал на своей линейке Илья Иванович Пивоваров.

Линейка у Пивоварова новая, ее крылья окрашены в розовый цвет, красил линейку Гришка. Гришка всегда держит в руках темно-красные вожжи и управляет золотистым могучим жеребцом, только потому не взятым на войну, что засекается.

В прошлом году Илья Иванович ездил в губернский центр по делам и привозил оттуда целые ящики товаров, за которыми выезжал на подводе Гаврюшка. Кое-что укладывали и на линейке — галантерею. А в этом году Пивоваров ездит неизвестно за чем, из всех карманов у него торчат газеты, а портфельчик каким тощим уезжает, таким и приезжает.

Пивоварову сорок лет, Гришке шестнадцать.

2

Ранней весной, когда только что оделись вербы, Гришка выехал на станцию за хозяином. Это было гораздо приятнее, чем возиться в конюшне или пере-

кладывать в магазине ящики. Кроме того, Пивоваров был приятный и разговорчивый хозяин, а Гришке только и приходилось с ним поговорить, что по дороге.

Гришка учился в школе и умеет довольно ловко читать, Илья Иванович несколько раз хвалил его. В школе Гришка привык к мировому устройству, даже война не очень нарушила эту привычку. Была, например, японская война, тогда и убили Гришкиного отца. А теперь тоже война, и убили на ней Гаврюшкиного отца — всякому своя очередь. А в Мирополье люди жили без войны, сеяли жито, гречку и коноплю. Одни были победнее, другие побогаче, но все они в представлении Гришки были миропольцами. А уже от Мирополья во все стороны расходился белый свет. Где-то там были города, текли реки, волновались моря, Гришка о них никогда не думал. Высоко где-то царствовал царь, а еще дальше, за лесами, за ветрами и тучами, жили разные боги и святые угодники. И о царе и о боге Гришка тоже никогда не думал, во всяком случае, всем своим нутром чувствовал, что бог и царь Гришкой совершенно не интересуются. Гришка тихонько жил в таком именно мировом устройстве, работал у Пивоварова, получал три рубля на всем готовом. Но вот месяца полтора-два назад царя, говорят, скинули. И в мировом устройстве что-то такое сдвинулось. Гришке, собственно говоря, и дела нет никакого к этому случаю, а все-таки как-то интересно. И хозяин об этом часто разговаривает.

На станции Гришка недолго ждал Илью Ивановича. Он вышел на площадь веселый, румяный, даже подпрыгивал чуточку. Сел на линейку и сказал:

— Поехали.

Гришка чмокнул на жеребца, натянул вожжи, жеребец любил ходить на натянутых.

— Погоняй, погоняй, Гришук, — сказал хозяин. — Теперь некогда молоко возить. Раньше мы с тобой были обыватели, а теперь — граждане. Дела другие пошли, молоко некогда возить.

В город ведет старенькая мостовая. Она называется «замостьем». На замостье булыжник от булыжника на аршин, а между ними разная дрянь и ямы. Кованое колесо провалится в яму — даже жеребец с рыси сбивается, а хозяин хватается за Гришку.

— Ишь ты, дорога называется, черт бы ее забрал. Правили, сволочи, дворцы строили да эполеты цепляли, а дорога хоть завались. Постой, Гришук, вот мы дорогу построим, дай с немцами управиться! Я тебя тогда на такой фаэтон посажу, во! Перышко в шапочку, а в руках не две вожжи, а четыре, пара совсем другое дело!

Гришка представляет себе и парный фаэтон, и красивую шапку, и двух жеребцов в запряжке, а хорошую мостовую не может представить — не видал никогда и вообще предпочитает мягкую, раздольную накатанную ширину полтавского шляха, который выходит из города с другой стороны и по которому ездят в Завирье.

— Пара, конечно, лучше, — говорит он. — А кто теперь будет заместо царя?

— Народ будет, вот кто!

— А народу много.

— Ну, вот и хорошо, что много. Из двух человек один дурак, а другой с роду так. А со всего народу умного легче сыскать. Найдется кому.

Илья Иванович кивает на просторно разместившиеся хаты, стоящие внизу по сторонам высокого замостья, прикрытые вербами.

— Ишь живут! Соломенная жизнь! Привыкли — и живут. На крыше солома, на воротах солома, на плетнях солома, на соломе спит, и в голове, кроме соломы, ничего нету. Другие государства все тебе делают: и часы, и очки, и коверкот разный, и манчестер, а у нас только солому умеют. А здесь построить нужно фабрику, например, сукно делать. Сколько людей кормиться будет! Дело можно какое развернуть. Вот тогда мы с тобой и автомобиль купим.

— Это какой же? — спрашивает Гришка, немного пугаясь такой будущей сложности.

— О! Это, брат, чудо такое: без лошадей едет!

— Как поезд?

— Куда там поезд годится!

Гришка дальше не расспрашивает. Ему все равно, на чем ездить, главное, чтоб харчи были хорошие, а то в последнее время с харчами плохо стало, и хозяин говорит: «Довели Россию».

3

Уже яблоки и арбузы поспели, когда снова выехал Гришка за хозяином на станцию. Илья Иванович вышел на площадь сердитый и даже «здравствуй» не ответил Сел на линейку и сразу в зубах заковырял спичкой. И так до самого моста возился с зубами. И только когда переехали мост, спросил неласково:

— Ну, пролетарий, был на этом собрании? Как там эти... выздоравливающие?

Гришке почему-то не хочется рассказывать о собрании, он вежливо чмокает на коня и отвечает между чмоканьем:

— Был.

— Солдаты разорялись?

— Как вы говорите?

— Солдаты были... Ораторы?

Гришка начинает вспоминать подробности собрания, и к нему приходит охота говорить:

— Солдаты больше говорили, а еще один из Благодухова, здорово так говорил...

— Хе! Здорово, говоришь?

— Здорово говорил!

— А солдатня радовалась?

— Там не только солдаты. Всем понравилось.

— Понравилось? И тебе, значит, понравилось?

Гришка повернул к хозяину улыбающееся лицо. Из-под растрепанного козырька глянули на Пивоварова довольные, ясные глаза:

— Понравилось, а как же? Здорово понравилось!

— Хе! А что ж тебе, например, понравилось?

— Да все.

Гришка оперся черной ладонью на подушку линейки, и жеребец сразу понял, что можно идти шагом.

— И как это, чтобы войну кончать, потому что, говорит, довольно кровь проливали за их, сволочей.

— За сволочей?

— Так и сказал: за сволочей, за буржуев, значит. Довольно кровь проливать. И власть Советам!

— О!

— Ага. Советы, сказал, должны быть для трудящихся. Кто трудится и работает. А кто не работает, того, говорит, к чертовой матери выкинуть.

— Действительно! Выкинуть! Разумный народ!

— Да, он разумный, — подтвердил весело Гришка. — Такой разумный! Прямо все хлопали и хлопали!

— А солдаты что?

— Солдаты больше всех хлопали. А он еще про одного говорил: Ленин, есть такой, и тогда здорово хлопали.

— И ты хлопал?

— Ага.

— А чего ж тебе хлопать, спросить?

— А как же? А я что ж? Тоже... что ж... работаю.

— Да ведь ты Ленина не видел? Какой это такой, скажи пожалуйста, Ленин, тебе какое дело?

Гришка похлопал рукой по подушке, а на лице все то же довольное выражение.

— Ленин за всех трудящихся.

— Дурак ты, Гришка! Он за тебя беспокоится? Где он за тебя беспокоится? За тебя я беспокоюсь. Вон башмаки тебе купил? Купил. Деньги тебе плачу? Плачу. Кормлю тебя? Кормлю. А ты говоришь — Ленин! Где ж? Пускай он тебе картуз купит, скажем...

Гришка поднял глаза на Пивоварова. В серых его зрачках отразились вербы, небо, какая-то радость и какое-то удивление.

— Спасибо вам, это я не говорю. А только он за всех.

— Вот тебе и спасибо. А ему за что спасибо сказать?

— А тот у Благодухова все объяснил: вся власть Советам! Буржуев по шапке, сами будете жить, без буржуев. А там в Петрограде сидит самый главный, Керенский по фамилии, ой и вредный. Ему все воевать и воевать... Кровь проливать.

— Значит, ты мой магазин заберешь? Хозяином станешь?

Гришка удивленно воззрился на хозяина:

— Да что вы, Илья Иванович! Зачем ваш магазин. Это против буржуев. Где Ленин, а где магазин.

Гришкины глаза погасли, он сердито глянул на жеребца: с какой стати шагом плетется и голову даже повесил!

— Но! Задумался!

Ехали молча до второго моста. И тут Гришка спросил:

— А вы видали большевиков? Хоть одного видали?

Пивоваров ответил неохотно:

— Вот добра нашел смотреть! Большевики!

— Интересно посмотреть, какие.

— Подумаешь!

Гришка почуял что-то неприятное в ответах Пивоварова. И вообще с не-

которого времени хозяин ему меньше нравился: не такой веселый и все больше спрашивает, а сам мало говорит. Но сегодня, пожалуй, он и повеселится. У Гришки приготовлены для него городские новости. Может это и не такие важные вещи, как политика, а все-таки интересно.

— А вчера Воротиловка горела! Куда тебе зарево! Ни одной звезды не видно!

— Воротиловка? — быстро спросил Пивоваров.

— Всю ночь горела! Ой и здорово же горела!

— Воротиловка?

— Ага. Мы с Гаврюшкой бегали.

— Много хат сгорело?

— Зачем хаты? Хаты все целые. Панский дом горел.

— Подожди. Шагом. Как ты говоришь?

— Я говорю: панский дом. Хорошо горел!

— Да что такое?

— И солома, и конюшня, и клуни. Все начисто!

— Ай-ай-ай! — задохнулся Пивоваров. — Лошади там такие замечательные! Сгорели?

— Нет! Зачем? Лошади — нет! Лошадей мужики развели. Лошади у мужиков теперь. И машины. И так еще... Организованно! Все в порядке. Ха! Наша пожарная приехала, а они говорят: «Чего приехали? Пускай горит!»

— Ай-ай-ай!

— А чего? — оглянулся Гришка. — Мужики сказали: «Удрали в город, пускай там и сидят, и им спокойнее, и нам без хлопот». Так они и поехали обратно. Не тушили.

— Куда ж они поехали?

— А в свою пожарную и поехали. Куда ж?

— Да нет! Восковы!

— А, господа? Господа в город поехали. Куда ж им ехать? Ха! Да они и не поехали вовсе...

— Что ты говоришь?

— Куда там ехать? Сам Восков, говорят, в одной рубашке удрал. Ребята воротиловские говорят: он всегда без подштанников спать ложился, у панов будто всегда так. Правда это?

— Что?

— Да вот, что паны без подштанников спать идут? Другое бы дело от бедности, а то чего?

— Да брось ты... подштанники... А Ирина Павловна?

— Это барыня? Все целы! Они, как выскочили, так прямо в жито. А потом и пошли. Пешком.

Пивоваров почему-то до самого дома не сказал больше ни слова. Гришка чмокал, чмокал на жеребца, то натягивал вожжи, то отпускал, несколько раз оглянулся, непривычно для него было это молчание. Расстроился хозяин, видно, а может, что-нибудь другое.

— А лошади не сгорели, — сказал Гришка, рассматривая придорожные плетни. — Все в порядке. Коровы, лошади — все как следует...

Но Пивоваров и на это ничего не сказал. Гришка тоже заскучал. А потом сказал нехотя:

— И барыня, и дочка. Все в порядке.

На вербах уже ничего не осталось, а на замостье серая жижа закрыла и булыжники и ямы. Жеребец шел злой, шатался на ямах, спотыкался.

В городе возле управы стояла полусотня солдат. Откуда они взялись и для чего торчали в городе, никто не знал. Говорили, что из этой полусотни будет сделан новый какой-то полк. Правда или неправда это, никто не знал, а казаки гуляли по улицам, ухаживали за девчатами, о войне у них и разговору не было. Едучи на станцию, Гришка думал о казаках, он не прочь был тоже сесть на коня и надеть черкеску. Но это было не самое главное. Самое главное было другое: в Петрограде Ленин выгнал Керенского, довольно ему воевать. Пивоваров, как услышал об этом, так и полетел в губернию. А чего ему лететь, если и так все напечатано в газетах подробно?

На станционной площади насчитал человек двадцать из команды выоравливающих. Они гуляли по площади, заглядывали на пути, собирались по три, по четыре, болтали. С ними было несколько своих парней — миропольских. Гришка часа четыре ожидал хозяина, привязал жеребца к столбику, прислушивался и присматривался к солдатам. Все понимали, что сейчас должны приехать большевики.

Самый знакомый — Власов. Подбородок у него маленький, тонкий, а скулы широкие, усики. Власов гуляет в старенькой шинельке, руки греет в карманах и посматривает на город:

— Вот постой, привезут мне сейчас того-сего. Хоть и не мой город, а поддам кой-кому коленом.

— А чего привезут? Чего привезут? — пристал к нему Гришка.

Власов задвинул руки в карманы по самые локти и смеется:

— Чего привезут? Пуки-туки-буки! Образца девяносто пятого года.

— Это ружья?

— Не ружья, деточка, не ружья — винтовки! Да ты помалкивай.

— Большевики привезут?

— Вот любопытный! а кто ж, меньшевики, что ли? Догадываться надо.

— А скоро привезут?

— Чего?

— Да эти...

— Ох и дурной же ты! Чего? Несознательный какой!

— Да чего я несознательный?

— Дубина просто! Ты ж видишь, что я с голыми руками. И другие. Чего ты орешь? Погулять выйти нельзя на станцию, так сейчас и пристанут.

Подошел пассажирский. Солдаты бросились к вагонам, но оказалось, что большевики не приехали. Гришке так стало досадно, как никогда в жизни не было. Солдаты собирались у входа и тихонько скучали. Но прибежал Власов, зашептал:

— Идет следом поезд! На Благодухов. И трехдюймовка с ними. Минут через двадцать будет. А ты чего здесь, ох и парень же любопытный!

— Какой это?

— Да вот этот, пивоваровский! Вон, бери своего хозяина!

Пивоваров вышел сам не свой, на Гришку и не посмотрел. Подошел к линейке и не садится, а стоит и смотрит куда-то, руку положил на крыло

и пальцами постукивает. Гришка сидит на линейке, ожидает.

Хозяин вздохнул и полез-таки на линейку. Поехали.

— Что в городе?

— А что в городе?

— Не понимаешь, что ли?

— Да и не понимаю...

— Казаки в городе?

— Большое дело — казаки! Пока в городе.

— Как это ты разговариваешь?

Гришка опустил глаза, потрогал кнутовищем сапо́г, промолчал.

— Большевики, говорят, приезжают?

— А что ж?

— Что ж, что ж! Погоняй, чего плетешься?

Гришка ничего не сказал и погонять не стал, куда там погонять? Все равно ямы.

Так и ехали молча до самого моста. А только вздернулись на мост, как оглушительно гакнуло сзади и пошло громом по свету.

Пивоваров ухватил Гришку за плечи.

— Что такое? Господи!

Гришка не успел ответить: оглушительно зазвенело впереди и вспыхнуло в небе белым облачком. Хозяин соскочил с линейки и смотрит на Гришку, а губы дрожат. И жеребец дрожит, ткнулся мордой в перила.

— Гриша! Что такое?

А всмотрелся в Гришу, еще больше испугался: в серых глазах Гришки не отражается сейчас небо, они холодно смотрят на хозяина и улыбаются без шутки.

— Приехали, хозяин.

— Куда приехали? — в суматохе оглянулся Пивоваров.

— К нам, в город, большевики приехали!

И в подтверждение этих слов снова взорвался мир, и снова белым облачком резкий звон разошелся над городом.

Пивоваров бросился к линейке, споткнулся, на четвереньках влез на сиденье.

— Гони! Гриша, гони! Господи!

Взволнованный жеребец загремел по мосту.

— Да куда ж мы едем? На смерть, что ли? Сворачивай сюда. Сворачивай в этот двор...

Гришка потянул правую, линейка чуть не опрокинулась. Круто скатились с замостья и влетели в безворотный двор. В дверях хаты стоял мужик, и возле него бабка крестилась часто.

— Трехдюймовкой бьют...

— Я у вас подожду.

— Ну а как же!

По дороге два солдата. Они быстро шли под плетнями и всматривались вперед. Гришка выбежал из двора.

— Куда ты, черт! — закричал Пивоваров.

Гришка глянул: под плетнями шли все двадцать: у каждого винтовка, и у некоторых и две.

— Власов!

— А! Любопытный! Возьми вон у него!
— Кого?
— Кого, дурень! Кого! Пуки-туки возьми!
— Да ну?! — Гришка присел, может быть, от удивления, может быть, для того, чтобы лучше прыгнуть к винтовке.
— Ты что, сдурел?
— Дай ему, дай! Свой человек.
Гришка ухватил винтовку, сжал в руках перед собой. Его глаза теперь пылали серым, но страшно горячим огнем.
— Власов, а где большевики?
— Ну и глупый ты парень, просто непостижимо! Где большевики! Да ты ж и есть большевик, дурья твоя башка. Да довольно тебе болтать, в бой идем!
Гришка только один раз ошеломленно хлопнул глазами и взял винтовку в правую руку, как и все.
— Гришка! Куда ж ты, сукин сын? Куда?
Гришка оглянулся. Как это он забыл про хозяина?
— Илья Иванович! Да ты ж и есть самый буржуй!
Но Власов в этот момент треснул его между лопатками:
— Долго я тебя учить буду? Баран деревенский! Вперед!
Гришка громко и радостно вздохнул и... пошел вперед.

Случай в походе

Несколько лет тому назад, закончив полугодовой план на своем заводе, коммуна отправилась в поход. В этом году был большой поход, к нему готовились с самой осени. Поход — дело сложное.

В начале июля четыреста коммунаров маршем прошли к вокзалу, взволновали город звоном своего могучего оркестра. За последним взводом малышей шумели три грузовика обоза[1]. На грузовиках сложено все наше имущество: провизия, корзинки с костюмами, чемоданы, даже мелкие вещи, в строю ведь не полагается нести что-либо в руках. Однако в первом взводе все-таки несут чемодан. А в чемодане деньги. За зиму каждый коммунар накопил из заработка несколько десятков рублей чистых сбережений, а некоторые и больше сотни. Деньги эти еще не были выданы коммунарам, а общее собрание так и решило: не нужно их сейчас раздавать, а то растратим, а на Кавказ приедем без денег[2]. Поэтому деньги находились на моей ответственности. Я сложил их в чемодан среднего размера, и они насилу-насилу в нем поместились — пятьдесят пять тысяч рублей, и все пятерками и тройками. С большим трудом закрыл я крышку чемодана, а потом посмотрел на него с грустью:

— Что же это выходит: я должен весь поход носить этот чемодан?

Председатель совета шестнадцатилетний Шурка Неварий попробовал чемодан на вес и завертел головой:

— Действительно: тут пуда полтора. А как же быть?

И другие ребята задумались. Кто-то сказал:

— Пятьдесят пять тысяч рублей — не шутка. А у нас народ разный есть.

Народ в коммуне был и в самом деле разный. Почти все пришли в комму-

ну из беспризорности, некоторые и тюрьмы попробовали. А здесь большие деньги — большой соблазн.

Думали старшие и решили: отдать чемодан с деньгами на хранение первому комсомольскому взводу, пускай как хотят, так и управляются с ним.

Первый взвод не уклонился от ответственного поручения, и поэтому в их рядах всегда болтался у кого-нибудь в руках черный чемодан среднего размера.

Поход был большой. Девятьсот километров проехали поездом до города Горького, в Горьком дня четыре гуляли, побывали в Балахне, на автомобильном заводе, по городу сделали маршей не меньше, как километров на сорок. И всегда в первом взводе немного портил строй этот самый чемодан.

Потом мы заарендовали пароход и поплыли вниз по Волге. Плыли долго, не спешили, останавливались в каждом городе. На пароходе я начал ребятам выдавать деньги. Выдавал понемножку, чтобы и на Кавказ осталось, но все же за десять дней плавания роздал восемнадцать тясяч пятьсот сорок один рубль двадцать пять копеек. При каждой раздаче составлялся список, и в нем ребята расписывались. Списки эти я складывал в другой чемодан, в котором находилась наша походная канцелярия. Этот чемодан тоже находился при первом взводе, только его не носили в строю, а сдавали в обоз.

В Сталинграде мы распрощались с пароходом и сели в поезд, чтобы ехать в Новороссийск. Поезд нам дали плохой и почему-то без освещения. Я поместился в вагоне первого взвода. Проверив караулы в каждом вагоне, я заснул. А разбудили меня рано утром общее волнение и крики в вагоне. Меня тормошили, и я еще не успел проснуться, как мне все хором закричали: только что, когда поезд отошел от какой-то станции, один человек вскочил в вагон, закричал что-то, пробежал к другому выходу, по дороге схватил чемодан и выпрыгнул вместе с ним на ходу.

— Чемодан?

— Да, чемодан. Только не тот. Он хотел, видно, с деньгами, а ухватил другой... с канцелярией.

— А где это ребята?

— Да почти все попрыгали.

— Куда попрыгали?

— А за ним. За вором попрыгали.

Поезд шел на последнем перегоне к Новороссийску. В этом городе мы стояли два дня, собирались сесть на пароход. И два дня с нетерпением ждали возвращения первого взвода. Ребята пришли только к вечеру второго дня, голодные, уставшие и подавленные неудачей. Вор, как только спрыгнул с поезда, бросился в лесок и как сквозь землю провалился. Коммунары исследовали все окрестности Новороссийска, сделали не меньше сотни километров, но ничего не нашли.

Собственно говоря, грустить было мало основания. В чемодане ничего особенно ценного не было. Но вдруг я вспомнил, что в нем лежали списки на полученные ребятами деньги. Выходило так, что я не мог отчитаться в расходе восемнадцати тысяч рублей.

Я собрал совет и объяснил ребятам затруднительность моего положения. Ребята задумались. Шурка сказал:

— Да. Дело скверное. Надо новые расписки взять... только много есть таких... Неправильно напишут... как будто меньше получили... напишут.

Но у меня другого способа и не было. На общем собрании я просил ребят, чтобы каждый написал на отдельном листке бумаги расписку на все деньги, полученные в дороге.

Поздно вечером в совете стали приводить эти расписки в порядок. Все-таки их было четыреста.

Расписки разложили в маленькие папки по взводам и отдельно подсчитали каждый взвод. Шурка сидел как на иголках и шептал:

— От интересно... все ж таки... советские люди... а накроют, честное слово, накроют.

Помолчит немного и опять волнуется:

— Я так думаю, рублей на пятьсот накроют вас, Антон Семенович.

Кто-то возразил ему:

— Нет... рублей на сто, больше не накроют.

Перед Шуркой на столе лежит чистая тетрадь, и на ней огромными цифрами написано: 18 541 р. 25 к.

Эта цифра была взята из моей записной книжки, где я записывал все расходы по походу.

Скоро взводные итоги были проверены и записаны. Шурка взял карандаш, чтобы подсчитать общий итог, раза два просчитал цифры копеек и вдруг бросил карандаш:

— Не могу, честное слово, не могу. Считай ты, Колька!

Колька взгромоздился на стул и начал вслух:

— Три да четыре — семь, да пять — двенадцать, да десять — двадцать один...

Он записал первую цифру итога: 5.

— Правильно! — заорал кто-то. Все промолчали.

Через две минуты рядом с пятеркой появилась новая цифра — 2.

— Здорово, — закричал тот же голос.

— Да чего ты орешь? — рассердился Шурка. — Подумаешь, здорово! В копейках никто не наврет. Считай дальше!

Колька просчитал и прошептал чуть слышно:

— Шесть.

— Сколько?

— Шесть.

— Не может быть, считай сначала, да считай правильно! Чего ты с ногами на стуле сидишь? Сядь, как человек!

Колька сел, как человек, и осторожно, нажимая на каждом итоге, просчитал цифру единиц.

— Шесть.

— От жулики! — сказал Шурка. — Ну черт с ними, пиши шесть.

Колька написал рядом с копейками: 6.

— Ну, и народ же какой поганый! — произнес со злостью Шурка и глянул за окно. Там стояла толпа коммунаров, и один поднял к Шурке напряженное лицо:

— Шура, ну что? Правильно?

— Где там правильно? У вас разве может быть правильно? Сказано, беспризорники!

За окном затихли.

У Кольки вдруг рядом с шестеркой появился дикий и неожиданный ноль.

— Что такое? — Шурка бледнел все больше и больше. — Считай еще раз.

Но и проверка не изменила ужасной картины: ноль. Шурка махнул рукой и поднялся из-за стола:

— Я не могу. Я ухожу.

Я удержал его за руку. Он стал в безразличной позе за спиной Кольки и боком следил за его карандашом. Карандаш вдруг медленно и слабо начертал в столбике сотен 2.

Колька вспотел и откинулся на спинку стула:

— Два. Двести, значит.

— Еще раз! — громовым голосом заорал Шурка.

Колька стремглав бросился к бумаге, но считал основательно, медленно, громко:

— Три да семь — десять, да еще четыре — четырнадцать, да девять — двадцать три, да четыре — двадцать семь, да пять — двадцать девять.

Шурка быстро поднял руку и стукнул Кольку по голове:

— Да что же ты со мной делаешь? Каких девять, каких девять? Два.

Никто не возразил против расправы. Колька встряхнул головой и пошел дальше. Под цифрой сотен стала пятерка.

— Фу! — вздохнул Шурка. Все улыбнулись.

Все остальное было правильно. Общая цифра вышла: 18 506 р. 25 к.

Все устало замолчали. Кто-то сказал:

— Значит, тридцать пять рублей. Ну, это еще ничего.

Грустно все-таки задумались. Колька мечтательно смотрел на свой итог и, как будто про себя, сказал:

— А все отдали бумажки?

Шурка скучно посмотрел на него:

— Все.

И вдруг открыл глаза и хлопнул себя по лбу:

— Ах я старый дурак, растяпа! На!

Из бокового кармана он выхватил бумажку и бросил Кольке. На ней была написана расписка в том, что Александр Неварий получил в счет заработка тридцать пять рублей.

Все громко и радостно засмеялись. Шурка подбежал к окну и заорал:

— Правильно! Тютелька в тютельку! Копейка в копейку!

За окном дико заверещали «Ура!».

Шурка сидел и улыбался, а потом сказал спокойно и уверенно:

— Собственно говоря, иначе и быть не могло.

Премия

1

За городом через речку переброшен железный мост, а потом прямая как стрела устремилась к лесам на горизонте новая асфальтированная дорога. Леса на горизонте вовсе и не леса, а небольшие посадки по сторонам дороги.

За ними снова степь, а в степи совхоз им. X Октября. В совхозе много построек, и все каменные, а самая лучшая постройка — свинарня, в которой работает Евдокия Петровна Погорелко. Есть еще в совхозе маленький флигель, обсаженный кустами акации. Там в одной из комнат сидит новый директор, Семен Иванович, о деятельности которого разные люди в совхозе выражаются по-разному. Главный бухгалтер говорит:

— Это вам не старый директор! Этот покажет работу!

Кладовщик вертит головой и произносит с восхищением:

— Ох, и жмет! Ох, и жмет!

А старый сторож Василий Нестерович и раньше никогда не восхищался, и теперь спокоен:

— Новые начальники, они всегда хорошие. Я-то при чем? Пускай себе новый, пускай себе старый.

Евдокии Петровне Погорелко некогда выражать свое мнение о директоре. Она стоит перед его столом и вытирает глаза уголком старенького фартука. Нельзя сказать, что она плачет, просто слезы сами собой появляются в глазах. А глаза у нее тоже не молодые, они внимательно и доверчиво смотрят на нового директора Семена Ивановича, они ожидают от директора справедливости:

— Пришли и взяли, говорят: «недоразумение». Разве ж может быть такое недоразумение? А потом говорят: директор приказал.

Семен Иванович, молодой, с ежиком на голове, неумело морщит лоб и старается отвернуться.

— Говорят: «директор сказал», — а я им говорю: «Врете, не может быть такого закона — премировали, а потом отнимать». И не отдаю. А они схватили и давай тащить. А я говорю: «Бандиты вы, а не товарищи». Так еще, говорят, ответишь за оскорбление. Есть такой закон, товарищ директор?

Семен Иванович — новый директор, и поэтому на его плечах лежит тяжелое бремя ликвидировать все несправедливости и беззакония, бывшие при старом директоре. И он говорит Евдокии Петровне спокойным, рассудительным голосом:

— В том-то и дело: закон! Вы присвоили государственного поросенка, это, по-вашему, — закон?

— Да не присвоила я, что вы батюшка? Премировали меня, под самое Первое мая премировали! Три месяца у меня поросенок живет, и кормила его, и все знали про это.

— Кто знал?

— Все знали, весь совхоз знал.

— А документы где? Написано где-нибудь, что вас премировали?

— Да где-нибудь, может, и написано! Разве я знаю?

— Приказ где? В приказе сказано, что вас премировали? Не сказано, и не знает никто.

— Был приказ, батюшка, при мне, на моих глазах приказано. Приехали они, директор Николай Александрович и начальник городской... тот.. как его... Никитин товарищ, приехали, посмотрели все, и так им понравилось, так понравилось, чистота какая, и поросята какие! Никитин товарищ и сказали: премировать этого работника за его образцовую работу этим поросенком. И показали на поросенка. А директор Николай Иванович засмеялись даже и меня так по плечу, говорят: «Она у нас лучшая ударница».

Евдокия Ивановна даже улыбнулась директору, рассказывая об этом случае накануне Первого мая. Но директор не улыбнулся. Директор снова наморщил лоб, помолчал и крикнул в другую комнату:

— Товарищ Ракитин!

Евдокия Ивановна доверчиво оглянулась. Вошел Ракитин, главный бухгалтер, толстый, с глазами подслеповатыми, недовольными. Он сразу догадался, в чем дело.

— Это насчет поросенка?

— Что здесь у вас делалось? — возмущенным голосом сказал директор и с укоризной посмотрел на Ракитина. — Вы знали, что она премирована поросенком?

— Боже сохрани! — сказал главный бухгалтер. — Никто ничего не знал. Когда вы были премированы?

— Да под самое Первое мая. Помните, еще как на митинг собирались, вы меня еще поздравляли, сказали: «Видишь, при Советской власти ударную работу награждают!»

— Я вас поздравлял? Бред, совершеннейший бред!

— Как вы сказали, батюшка?

— Бред, говорю, сон приснился!

Чего-то не поняла Евдокия Ивановна в этих словах, опять засмотрелась на директора, ожидая от него справедливости.

— Всё, — сказал директор, — идите.

— А поросенка забрать можно?

Директор пожал плечами, главный бухгалтер сочувственно просиял улыбкой, товарищеским голосом сказал Евдокии Ивановне:

— Товарищ Погорелко! Не может быть такого премирования. Нужно акт составить было, в приказе написать.

— Так вы напишите, товарищи, написать всегда можно: так и так, за ударную работу...

Главный бухгалтер все свои зубы показал директору, и директор ответил ему вежливой гримасой, которая обозначала только одно: как мало понимает Евдокия Ивановна в деле бухгалтерской законности.

А в это время открылась дверь и целая тройка деловых оживленных мужчин ввалилась в кабинет директора. Евдокия Ивановна отступила к холодной печке, долго стояла, думала, и слез у нее теперь уже не было. Никто не заметил, как она вышла из кабинета и побрела через двор к своей свинарне.

2

Евдокия Ивановна живет в старенькой избе у самого въезда в совхоз. А рядом с избой крытый соломой сарайчик, и в нем осиротевшая загородка, где еще так недавно жил веселый чистенький поросенок. Зовут поросенка Шалуном. Он и теперь живет на свете, только эта жизнь протекает в большой теплой и светлой свинарне совхоза. Он и теперь отзывается на свое имя, и теперь считает, что имеет к Евдокии Ивановне особое отношение. Когда она подходит к станку, он небрежно расталкивает толпу своих сожителей, таких же четырехмесячных красавцев, как и он, и задирает к ней оживленную благодарную мордочку. Его маленькие глазки способны выразить очень многое, и понимать их умеет только Евдокия Ивановна. Она читает в глазах

Шалуна и любовь, и ребячью шутку, и память о разных деликатесах, которыми иногда баловала его Евдокия Ивановна. Она напоминает ей те счастливые четыре месяца, когда Шалун был не простым поросенком, а премией за ударную работу, когда она могла с гордостью рассказывать всем о случае накануне Первого мая, когда люди слушали этот рассказ с интересом, а если и завидовали немного, то зависть у них была хорошая. Все хорошо знали, какая замечательная работница Евдокия Ивановна, как она знает и любит свое дело, какие образцовые поросята из месяца в месяц выходят из ее питомника. Все знали еще и другое: Шалун никогда не станет обыкновенной свиньей, которую можно зарезать и съесть, он всегда будет другом Евдокии Ивановны и всегда будет первомайской премией за ее ударную работу. И так было потому, что и сама Евдокия Ивановна не могла иначе смотреть на Шалуна.

Теперь стало иначе. Скоро Шалун перейдет в отделение для взрослых свиней, а премией он перестал быть две недели назад. И вставало перед ней трудным вопросом: были ли в ее недавней жизни эти четыре месяца, когда она считалась премированной ударницей и когда ей все немного завидовали, когда живым доказательством ее успеха был веселый чистенький Шалун?

Евдокия Ивановна работала по-прежнему. В ее отделении и теперь было что показать: и бело-розовые животики поросят, и сухой пол в проходе, и свежую солому в станках, и тишину, и даже приятный запах во всем отделении. И наверное, в бумагах было написано, а если не в бумагах, то в памяти людей, что не было у Евдокии Ивановны никаких скандалов, ни повальных смертей, ни голода, ни холода. Все шло по-прежнему, только глаза у Евдокии Ивановны стали грустные да иногда посмеивались над ней мужчины:

— Премировали, значит, тебя! Ха!

В этих словах, может быть, было и сочувствие. Не было сочувствия только у разных начальников. Кладовщик — тот прямо говорил:

— Нахально премию себе приспособила. А Семен Иванович — человек такой: прижал моментально.

И завхоз чего-то радовался:

— Не каждый может вообразить себя ударником. Для этого постановление нужно.

Директор Семен Иванович часто заходил в отделение, одобрительно посматривал на поросят, разговаривал вежливо и даже хвалил иногда Евдокию Ивановну, а один раз сказал с досадой:

— Эх, Евдокия Ивановна! Как же так можно: получить премию и не оформить. И никто ничего не знает: ни бухгалтер, ни завхоз, ни кладовщик, разве так можно?

Евдокия Ивановна ничего на это не ответила, пожалуй, лучше было забыть обо всем этом.

3

В конце августа приехал в совхоз новый городской начальник, товарищ Голубченко. Другие здорово волновались, когда узнали о его приезде, а Евдокия Ивановна была спокойна: все у нее в порядке, придраться не к

чему. В отделение зашли целой кучей: и Голубченко, и Семен Иванович, и главный бухгалтер, и завхоз с кладовщиком. Голубченко сказал весело:

— Ну, здравствуй, хозяюшка! Как дела?

Евдокия Ивановна скромно ответила:

— Обыкновенно дела, живем.

Голубченко хорошо осматривал, зашел в каждый станок, многих поросят просто руками попробовал, за ушами посмотрел, за хвостики подергал. Сначала молчал, а потом улыбался, а когда дошел до конца, обернулся ко всем и засмеялся даже:

— Прямо скажу: класс! Настоящая работа, квалифицированная! Гордиться можете таким поросятником. Как вас зовут?

— Погорелко.

— Имя и отчество! Для таких работников мало Погорелко. Имя и отчество все должны знать, весь совхоз!

Завхоз зашел сбоку и ответил убежденно:

— Так и делаем, так и делаем: Евдокия Ивановна зовут!

— Евдокия Ивановна? Давно работаете, Евдокия Ивановна?

— А девять лет.

— Сколько раз премированы?

Испугалась Евдокия Ивановна, даже побледнела, косо глянула на главного бухгалтера. Но главный бухгалтер дрыгнул одобрительно головой, и глаза у него сделались довольными:

— Недавно была премирована за ударную работу поросенком.

— Это работа образцово ударная. Единственное отделение в совхозе. Продолжайте, Евдокия Ивановна, продолжайте. Я пришлю к вам из других совхозов посмотреть. Покажите им...

Уходя, Голубченко пожал руку Евдокии Ивановне и пожелал ей дальнейших успехов. А когда он уехал, директор Семен Иванович молча посмотрел на главного бухгалтера и ушел к себе.

4

— Ну, — строго произнес Семен Иванович, — как вы смели врать, что она не была премирована! Бред, говорили, сон! Немедленно составьте акт!

Главный бухгалтер пожевал сухими губами и сказал:

— Акт вот у меня. Можете получить.

Евдокия Ивановна взяла в руки бумажку, посмотрела на директора внимательно и доверчиво улыбнулась:

— Спасибо.

— И поросенка можете сегодня взять. Сейчас же.

5

Через неделю Семен Иванович, когда зашел в поросятник, спросил:

— Взяли вашего поросенка?

— Да... пускай здесь живет. Ему и здесь хорошо.

— Не годится, Евдокия Ивановна, не годится. Раз премировали, нужно получить.

— А у меня бумажка есть, Семен Иванович. Называется «грамота».

А он пускай здесь живет. И подрос к тому же, уже перевели его.

— Так как же... надо же получить премию.

— Я бы вот этого маленького взяла, Семен Иванович. Вот этого.

Семен Иванович посмотрел на копошащееся в соломе розовое существо, пожал плечом:

— Хорошо... Я скажу.

6

Главный бухгалтер стоял перед столом директора и застенчиво говорил:

— Как же она может взять маленького, если акт составлен маем месяцем, а сейчас август месяц? Это невозможно будет провести.

Директор встал за столом, приблизил свой ежик к подслеповатым глазам главного бухгалтера и прошипел:

— Знаете что? Черт бы вас побрал! Переделайте май на август! Поняли?

Главный бухгалтер прошептал, удаляясь:

— Попробуем.

Доктор

Давно-давно, еще в начале нэпа, его, Ваську Корнеева, привел в колонию милиционер. Васька шествовал рядом с милиционером, засунув руки в карманы, с пренебрежением оглядывался на придорожные бурьяны. С таким же пренебрежением он потом стоял перед моим столом и руки все держал в карманах. Я в то время был еще неопытен и в глубине души побаивался Васькиного хмурого недружелюбия. Начал с формального вопроса:

— Сколько тебе лет?

Васька прохрипел в сторону:

— Шишнадцать...

Все же меня обижало его обращение, и я спросил:

— Чего ты задаешься, Корнеев? Чего ты куражишься?

Васька повел плечом, но его голубой глаз осторожно наладился, чтобы рассмотреть меня. Рассмотрел и снова в сторону:

— Ничего я не задаюсь...

— Ты знаешь, куда пришел?

— Пришел! Не пришел, а привели. Ну и пусть!

— А ты куда хочешь?

— Хочешь? Я три года с Красной Армией ходил...

— Врешь!

Он вдруг подарил меня настоящим активным вниманием, даже одну руку из кармана вынул:

— Не вру! Врешь! Ну не три года, а все равно... В Перекопе был. Били буржуев...

— А ты, выходит, трудящийся?

— А чего я буду трудящийся? С какой такой стати? Досадно... конечно...

— Ты это... с досады в магазин залез?

Васька не ответил на вопрос, последний раз махнул пренебрежительно

рукой и засунул ее в карман. Я из последних сил зарядил себя «педагогическим подходом»:

— Оставайся у нас в колонии. Сделаешься настоящим трудящимся... образование получишь.

— Слышал, — перебил меня Васька. В его речи было не столько голоса, сколько блатного профессионального ларингита. — Слышал. Все уговаривают: трудися, трудися. А почему буржуев никто не уговаривает?

Он отворачивался, надувался, вообще «обмануть» его было трудно. Я тоже «надулся»:

— Тоже — философ! Посидишь в допре несколько раз, опомнишься. Никто тебе не позволит по магазинам...

Он неожиданно размяк, грустно задумался.

— Это, конечно, в допре не мед, и на воле не мед, а только зло берет, товарищ заведующий: не успел, понимаешь, родиться, нá тебе — несчастная судьба!

Васька жалостливо морщил лицо и колотил грязным кулаком по груди, прикрытой полуистлевшей, некогда розовой тканью. Я смотрел на него без особенного восхищения: привык уже к таким романтическим декламациям. Все-таки я повторил приглашение:

— Оставайся в колонии, Корнеев.

— Оставайся! А чего я здесь буду оставаться? До чего вы меня доведете, товарищ заведующий? Вы меня доведете: буду я сапожником. Или, к примеру, кузнецом... Это тоже не мед, товарищ заведующий!

Собственно говоря, этот Корнеев попадал не в бровь, а прямо в глаз. В колонии действительно не было никакого меда, это обстоятельство меня самого давно удручало.

И, кроме того, совершенно верно: я мог предложить только сапожную мастерскую и кузницу. Но неприлично было уступить первому философу с улицы:

— Советская власть буржуям ходу не даст. А до чего я тебя доведу? Образование получишь.

— И что с того, товарищ заведующий? Что с того образования? Бумажки переписывать?

Я ответил несмело, отражая в словах мою легкомысленную педагогическую мечту:

— Доктором будешь![1]

Васька доверчиво захохотал, размахивая руками, вообще веселился.

— Доктором! Эх, и сказанули, товарищ заведующий! Вы еще скажете: ученым будешь! Думаете: он дурак, поверит, красть перестанет.

Он ушел от меня с веселым, оживленным лицом, высокомерно посмеиваясь над моей простодушной наивностью.

* * *

Прожил в колонии недолго, всего около двух месяцев. Работал плохо, лениво. Лопата или топор в его руках казались сиротливыми, оскорбленными вещами, и с началом рабочего усилия всегда рождалось в его лице скучное отвращение. К воспитателям он относился с холодным презрением, а ко мне — с презрением веселым:

— Здравствуйте, товарищ заведующий. Вот смотрите: на доктора выхожу! А, чтоб вас...

А потом наступило утро, когда он исчез, и вместе с ним исчезло почти все инструментальное оборудование кузницы: молотки, гладилки, метчики, клуппы. Так обидно нам было за нашу и без того бедную кузницу, что не оставалось у нас свободной души пожалеть о пропавшем человеке Ваське Корнееве. Старший инструктор пришел ко мне серый и похудевший, дергал закопченный ус:

— Увольнения прошу. Если бы он знал, подлец, как эти метчики добываются...

Это было в июле. А в августе снова привели Ваську Корнеева. Когда ушел милиционер, Васька стал перед столом и уже приготовил обиженно-пренебрежительную рожу, но он ошибся: теперь в моей душе и капельки не осталось «педагогического подхода» и не боялся я Васькиной хмурости.

— Можешь уходить на все четыре стороны[2]. Пожалуйста!

Я широко открыл дверь кабинета, выводящую прямо во двор.

Его голубые глаза трепетно ожили, он глянул на меня с испуганным удивлением.

— Уходи, — повторил я, — уходи!

Он протянул вперед подставленную ковшиком просительную руку:

— Товарищ заведующий! Куда же я пойду?

— Куда хочешь!

На его лице, как и тогда, заиграли блатняцкие жалобные мускулы, кулак приблизился к груди.

— Как же это можно... человека... на все четыре стороны? Пропадать, значит? Да? Пропадать?

У меня не было к нему никакой жалости:

— Пропадай! Какой ты человек? Распелся тогда: буржуи его обидели! А потом взял и обокрал товарищей! Какой ты человек? Нечего жалобную рожу корчить, иди к чертям! На волю! Пожалуйста!

Он вышел на высокое крылечко, но не спустился вниз по ступеням, а прислонился к перилам, задумался. Я закрыл дверь. Через полчаса она потихоньку открылась и Васька влез в кабинет. Так же тихо Васька прикрыл ее и остался там, у двери. Я спросил его минут через десять:

— Чего тебе нужно?

Он решительно шагнул к столу:

— Товарищ заведующий! Помните, говорили: «доктором будешь»? Помните?

— Нет.

— Товарищ заведующий! Будь я гад, на части разорвусь... что хотите! Я понимаю: вам, конечно, не мед, если вот такие, как я... с кузницей! А только... землю буду есть, а доктором буду! Вот увидете!

Я прислушался. В его голосе ничего не было блатного, никакой романтики. На меня смотрели страстные и жадные человеческие глаза.

— Ступай в спальню, — сказал я. И он поспешно, с деловой озабоченностью метнулся к дверям.

* * *

С тех пор прошло много лет. Васька Корнеев давно окончил медицинский институт и... исчез из моего поля зрения. В то время когда другие колонисты, уйдя из колонии, совершая и первые, и вторые, и последующие свои

жизненные марши — то в вузах, то в Красной Армии, то на фабриках и заводах, — всегда вспоминали и меня, и колонию, писали письма, приезжали на свидания, Корнеев просто потерялся в просторных границах СССР, и даже слухов о нем доходило мало. Глухо, с промежутками в два-три года, из десятых уст доносились неясные отрывки Васькиной биографии, назывались города, поезда, пароходы, где Ваську встречали, — это все.

Я имел право обижаться на него, но в то же время всегда помнил, что и в колонии Васька не отличался нежностью. Свое обещание сделаться доктором он выполнял с великим, совершенно героическим напряжением. И в грамотности и в развитии он далеко отстал от сверстников, каждый абзац каждого учебника он брал медленной, непосильной осадой — в поте лица, в бесконечном повторе, на границе изнеможения. И улица, и бродяжничество, и «воля», и недоверие к людям, рецидив дикого, хмурого одиночества всегда тянули Ваську куда-то назад. Я видел, с каким отчаянным, молчаливым упорством Васька совершал работу преодоления. И, за исключением только одного случая, он никогда «не пищал», не просил снисхождения, не склонялся на чей-нибудь жилет. Но очень вероятно, что он ненавидел меня втихомолку, ненавидел за тяжесть собственного обязательства, выданного на мое имя[3]. И, может быть, поэтому он никогда не приближался ко мне душевно, никогда дружески не захотел раскрыться, да и к товарищам относился с хмурой сдержанностью, точно обозначая межу между дисциплиной и дружбой. И только один раз он откровенно упал духом, когда уже был на первом курсе медицинского института. Он пришел ко мне подавленный и смущенный и сказал, не глядя в глаза:

— Не могу. Не хватает силы. Все равно не выдержу. Придется бросить.

Я молча смотрел на него. Он слабо улыбнулся и произнес со стесненным юмором:

— Это... учеба эта... не мед — кожа болит, так тяжело. Это совсем не мед.

Я долго молчал, раздумывая. А потом ответил ему коротко:

— Нет. Институт ты закончишь.

Он ушел от меня грустный и подавленный, и я не был уверен в том, что не совершил преступления.

А закончив институт, он исчез. Профессора института отзывались о нем горячо: очень талантливый врач, будет хорошим хирургом, человек мыслящий, совсем не ремесленник. И я успокоился. А что забыл меня и товарищей — тоже бывает, у всякого своя ухватка.

Да я и сам начал о нем забывать, и вдруг после многолетнего отчуждения я получил от него письмо:

«Я не писал Вам никогда, не знаю почему, а сейчас душа просит. Это потому, что я — победитель. Вот когда и мне довелось одержать настоящую победу. Ничего, что я врач, трудно у нас разграничить, кто сделал больше, кто меньше. Я участвовал в защите Хасана как хирург, но все равно — я участвовал в этой великолепной организации, и я сейчас торжествую — я победитель. Когда они полезли на нас, япошки, я, понимаете, как-то так оглянулся и увидел, что это они лезут на весь наш двадцатилетний путь, на мой тяжелый путь освобождения. Признаюсь Вам, одному Вам: мне показалось, если они нас побьют, они отнимут у меня мое человеческое достоинство. Они лезли на нас пьяные, и у них неплохая артиллерия. Но что мы с ними сделали! С каким прахом мы их смешали! И так это прекрасно: у нас

был не только энтузиазм, у нас был хороший расчет. В общем это далеко не мед — встретиться с нашей Красной Армией на боевом поле!

Я торжествую, дорогой, и я должен Вам об этом написать. И конечно, я так благодарен Вам за то, что Вы дали первый толчок. А теперь я победитель, и мне очень весело, хочется много жить, хорошо жить. И говорят, знаете что? Говорят, что я хороший хирург. Крепко жму Вашу руку и поздравляю с победой.

Ваш Василий»[4].

Домой хочу

(Рассказ бывшего колониста)

1

Вот вы говорите: характер. Характеры бывают разные, а какой лучший, какой худший — это вопрос. Расскажу вам, например, о Сеньке Дружнове.

К нам в колонию он даже, собственно, не пришел, а его привели... привела старенькая-старенькая бабушка. Что это за такое дело, когда человека приводят разные родственники: маменьки, бабушки, тетеньки?

Человеку тринадцать лет, а он, как теленок, бредет, его бабушка подгоняет! И поэтому, когда пришел Сенька, колонисты посмотрели на него с осуждением и каждый подумал: «Известный тип — маменькин сынок!»

Сенька стоял посреди кабинета заведующего и молчал. Но Сенька молчал как-то по-своему. И физиономия у него была ничего, можно сказать, даже приличная: глаза черные, а сам румяный, щекастый. Только волосы в беспорядке, видимо, Сенька и понятия не имел, что такое парикмахер: деревня! А на ногах лапотки, это уж действительно мода, кто же теперь лапти носит? Бедный, может, очень; тогда, конечно, ничего не поделаешь.

Нас, колонистов, помню, порядочно набралось в кабинет, молчим, рассматриваем и Сеньку и бабушку. Бабушка старая, худая, высокая, говорит не спеша, останавливается, слезы вытирает, как же ее не слушать?

— Привела... внучка, — говорит она заведующему, — возьми к себе, родной, пускай у тебя живет. А то, видишь, стара стала, сколько я там проживу, а ему куда деваться? А тебя господь наградит, пускай у тебя живет. И я умру... спокойно...

Бабушка подвинулась ближе к внуку, тронула его за плечо, подтолкнула к заведующему. Проделала все это, отступила, успокоилась, поправила платок на голове; смотрит и ждет, не решения ждет, а просто должен же и заведующий что-нибудь сказать по такому важному случаю. И колонисты все обратили лица к заведующему: что он скажет. Заведующий встал, поклонился и сказал серьезно:

— Спасибо вам, товарищ. Внука оставляйте. Будет у нас жить. Вы не беспокойтесь, человеком станет. А вы тоже живите, зачем вам умирать, умереть всегда успеем, живите себе на здоровье и приезжайте к нам в гости... Колонисты нашли такой разговор вполне правильным. И бабушка была довольна, даже улыбнулась.

— Военные, что ли, у тебя люди выходят?

И на нас кивнула — это мы, значит, военные.
Заведующий ответил:
— И военные и разные: и доктора, и рабочие, и летчики. Кто куда хочет...
Бабушка вдруг загрустила, руку — к глазам, слезы у нее:
— Он... Сенюшка-то, все говорит... летчиком буду...
И тут стало видно, что бабушке трудно с Сенькой расставаться.
И нам это видно, и заведующему, и всем жалко бабушку, а Сенька как будто неживой. Стоит, чуть-чуть склонился, смотрит кто его знает куда — на пустую стену, — глазом не моргнет, лицо красное. Разбери, чего ему нужно. Давно у нас не было такого неповоротливого человека!
Заведующий у него спрашивает:
— Ты грамотный?
А он даже и не отвечает. Хоть бы моргнул или пошевелился как-нибудь. Бабушка за него ответила:
— Грамотный, как же! В пятый класс ходил...
Заведующий не стал больше расспрашивать, распорядился бабушку накормить обедом и отправить на нашей линейке на станцию, а когда уедет, Сеньку к нему привести.
Девчата и хлопцы окружили старуху — понравилась она всем, — потащили в столовую, а Сеньку пришлось за локоть поворачивать: побрел за ней. И пока бабушка обедала, Сенька сидел на стуле боком и смотрел куда попало, ни одного слова не сказал; не могли даже понять, есть ли у него какой-нибудь голос.
Потом бабушку усадили на линейку и повезли на станцию. А Сенька совсем как деревянный, насилу поставили его перед заведующим как следует. Смешно было на него смотреть; хлопец с виду правильный, даже красивенький, а души никаких признаков. И заведующему на вопросы не отвечает, только на один вопрос и ответил.
Заведующий спросил:
— Так летчиком... хочешь... Семен?
Вот тут он и ответил:
— Угу!
Заведующий и говорит:
— Ну, он потом обойдется. Дежурный, веди его куда следует.
Дежурил в тот день Виталий Горленко. Подошел Виталий к Сеньке, заметил что-то, просунул руку за воротник и вытащил... крестик, маленький, черненький какой-то, на черном шнурке. Виталий рванул, оборвал всю эту святыню, швырнул куда-то в угол дивана, да как заорет:
— Что это!.. Предрассудки такие на шее носишь!
Мы даже ахнуть не успели. А Виталий покраснел весь, прямо дрожит от злости.
— Летчиком он будет! Никакой самолет не выдержит, если крестов навешать!
Сенька пришел в себя. Повернулся всем телом градусов так на 35, не больше, глянул в то место, куда крест полетел, и вдруг как заревет. То молчал-молчал, а тут — на тебе — такой голосина, да звонко так, с захлёбом. Стоит, как и раньше, без движения и воет. Мы засмотрелись на него с удивлением: до чего человек дикий! Заведующий напал на Виталия, почему, го-

ворит, так нетактично: оборвал, бросил, объяснить нужно... А Сенька все стоит и ревет. Даже Виталий испугался, до каких же он пор будет кричать. Заведующий начал было:

— Дружнов, успокойся! Послушай...

А Сенька еще выше на полтона взял.

— Ну и характер, — сказал тогда Виталий. — Но все равно креста не отдам! Колонист, и с крестом!

Тут наконец Сенька заговорил. Не то, что заговорил, а тоже по-своему: повернулся обратно на 35 градусов к заведующему и заладил с растяжкой, с рыданием:

— Домой хочу! Домой хочу!

И еще раз, и еще раз, да все одинаково, на особый лад, по-деревенскому, на «а»:

— Дамой хачу!

Заведующий выставил нас из кабинета, а сам его ублажать.

А мы вышли в коридор и долго еще слышали, доносилось до нас сквозь дверь:

— Дамой хачу!

Народ у нас был боевой. Много видели на своем веку, удивляться не умели. А тут, честное слово, стоим в коридоре и глазами друг на друга хлопаем. Виталий говорит:

— Фу ты, дьявол! Даже перепугал меня! Вы видали когда-нибудь такое?

— Какой вредный пацан! — сказал Шурка Просянников. — Это он все из-за креста!

А Владимир Скопин — он у нас очень умный был человек — не согласился:

— На чертей ему крест! В лаптях ходит! Ты думаешь, это он из-за религии?

— А как же?

— Да нет! Характер такой! Самостоятельный. С виду тихоня, а глотка: «Да-мой ха-чу!»

2

Что вы думаете о таком характере? Можно сказать, вредный действительно, и с таким человеком жить, ну его? А у нас у всех, сколько ни есть колонистов по свету, нет лучшего друга, как Сенька. Вот вам и характер.

С тех пор десять лет прошло, а может, немного меньше. Вспомнить то время, десять лет назад! Дикости у нас тогда куда больше было. Если сравнить, скажем, сегодняшнюю культуру и как тогда было. А все-таки Володька Скопин был прав: в Сеньке никакой дикости не было, хоть по какой-то там глупости крест и висел у него на шее. Этот крест, наверное, бабушка повесила. Думала: раз в колонию ехать, надо как можно лучше. На ноги лапотки, на шею крест, вроде как парадный костюм.

Заведующий с Сенькой долго тогда разговаривал с глазу на глаз. О чем они говорили, так мы и не узнали, а только потом ни заведующий, ни Виталий Горленко, да и никто вообще про тот крест не вспоминал. Так, будто его и не было.

Мы прожили с Сенькой в колонии пять лет, а после разъехались, кто в вуз, кто в командиры, кто в летчики. Только у нас принято: всегда встреча-

емся, письма пишем, друзьями остались, а лучший друг у всех — Сенька Дружнов.

Характер у него всегда был одинаковый, молчаливый. Можно по пальцам пересчитать, сколько Сенька за нашу совместную жизнь слов сказал.

Но не думайте, он не уединялся, не прятался, бирюком никогда не был. Где компания, там и он. А ребята, знаете какие болтуны бывают: говорит, говорит, трещит, вертится туда-сюда, и смеется, и зубы скалит, и хвостом, и крыльями — сорока, настоящая сорока. Другие, допустим, поменьше разговаривают, а все-таки... А Сенька как-то умел без слов. Стоит, слушает, к тому чуть-чуть повернется, к другому. С лица он всегда был румяный, брови густые, черные. Как-нибудь там егозить или суетиться он никогда не умел. И смеяться как будто не смеялся, а все-таки смотришь на него и видишь: улыбается человек, а почему видишь, ни за что не разберешь: по краскам что ли, по румянцу, а кроме того, и губы у него иногда морщились. Думаешь, сейчас что-нибудь скажет, но только это редко бывало, чтобы он в самом деле сказал.

Мы любили ходить слушать, как Сенька перед заведующим «отдувается». Приходилось все-таки.

Заведующий говорит:

— Это ты неправильно сделал, результаты нехорошие получились.

А Сенька?

А Сенька молчит.

Заведующий присмотрится к нему и снова начинает:

— Надо лучше разбираться, товарищ Дружнов, нельзя так... Надо точнее, гораздо точнее, понимаешь?

Молчание.

— Понимаешь?

И вот Сенька наконец отвечает:

— Да.

И заведующий на него смотрит, и мы смотрим, и видим, что в этом одном слове Семен больше сказал, чем другой в целой речи наговорит. Видно, что Семен действительно согласен, что он все понимает. Не такой он человек, чтобы зря свое «да» потратить.

Учился Семен на «отлично» и работал по-стахановски. А если приходилось ему где-нибудь старшим быть или бригадиром, так уже кругом никаких разговоров не было. Хватка у него была железная: посмотрит только удивленно, поднимет одну бровь, и каждый понимает, что разговоры кончены.

В этом году он приехал в Москву, а нас здесь целая колония бывших колонистов. И вдруг узнаём, едет Семен Дружнов получать орден. Конечно, чествовать. Встретились, обнимались, целовались и спрашиваем, за что орден. А он молчит.

— Да говори, это же ни на что не похоже!

Пришлось ему все-таки разговориться:

— Да... за боевую подготовку.

— Ну?

— Я же сказал.

— Ничего ты не сказал... Какая боевая подготовка? Что ты делал? Летаешь? На чем летаешь?

— Эсбэ.

— Скоростной, бомбардировщик?

— Угу.

— И что?

А он поднял руку, повертел пальцем в воздухе; пойми, что это значит: мертвая петля, или штопор, или какое-нибудь там скольжение. Так ничего и не добились. Не за один день, постепенно все-таки кое-что выяснили: отпуск у него на два месяца; бабушка его еще жива и живет с ним при каком-то аэродроме; хочет Семен побродить по музеям, по Москве. Мы вообразили, что он нуждается в нашей помощи. Но однажды он остановился против одной церкви на Ордынке, посмотрел, помолчал и вдруг говорит:

— Шестнадцатый век, вторая половина.

Мы прямо в восторг пришли, хором потребовали объяснений, кричали, просили, но добились только одного слова:

— Шатровая.

Показал рукой и пошел дальше.

Больше всего приставал к нему Виталий Горленко. Виталий теперь авиаконструктор, до зарезу ему нужно было узнать мнение Семена насчет новой конструкции самолета. На разные лады расспрашивал:

— А может, так удобнее? А если отсюда залезть? А с этой стороны неудобно? А если такое приспособление?

Семен внимательно выслушал все его вопросы, потом молча достал карандаш и бумагу, оглянулся, дернул Виталия за рукав и потащил его в самый дальний угол. А ведь мы его друзья уже десять лет. С Виталием он, представьте себе, разговаривал долго, доносились до нас отдельные непонятные слова: «угол перемещения», «инерция будет мешать». Кончили они совещание, мы и говорим:

— Что ж, ты нам не доверяешь?

— Доверяю, — говорит.

— Так почему?

Подумал немного, улыбнулся даже, сказал:

— Доверяю, что из любопытства спрашивать не будете.

Видите, какая речь!

Однажды мы его поддразнили. Фашисты, говорим, теперь вооружаются, как ты на это смотришь? Настроят бомбардировщиков, плохо нам придется.

Тогда он целую речь сказал, первую, может быть, речь, какую мы от него слышали.

— Понастроить они могут... Только... люди у них какие. Можно послать сто бомбардировщиков, и ни одна бомба в цель не попадет. А рассеивание... знаете какое? До десяти километров.

— Ну, так что? А у нас?

Семен неохотно хмыкнул, даже отвернулся, из скромности, конечно.

— Да говори!

— У нас... другое. Можно... двенадцать бомб посадить в одну точку. Точность прицеливания — очень важное дело.

— И что?

— Ничего... ничего не останется.

Вот тут только мы начали догадываться, за что он получил орден. Мы представили себе Семена в деле, на высоте семи или восьми километров

в тот момент, когда он прицеливается, когда он собирается спустить на врага двенадцать, или сколько там, бомб. Мы представили себе его добродушно-румяное лицо, его спокойно-уверенную точность, его прищуренный глаз. Мы хорошо знали, что, уничтожив врага, он ничего не изменит в этом лице, он не захочет и тогда сказать ни одного слова. А может быть, он тогда и позволит себе сказать свое любимое «угу». Во всяком случае, это будет хорошо сказано.

Семен прожил у нас только двенадцать дней. Получил какое-то письмо и собрался на вокзал. Мы спросили, в чем дело. И неожиданно для нас он ответил:

— Дамой хачу.

Мы узнали старые нотки, это самое деревенское «а», стало как-то тепло на душе.

— Домой? Где же это?

— Там... Аэродром... Поведем наше звено на первое место. Поеду... домой.

И уехал.

У нас на Украине о некоторых характерах говорят: «Комусь кыслыци сняться». Это значит: кому-то плохо придется. Если фашисты вздумают полезть на нашего «дамой хачу», пускай им лучше заранее снятся кислицы.

Вот какие интересные бывают на свете характеры![1]

Преподаватель словесности

С юношеских наших дней отдельная, какая-то особенная, светлая и тревожная память осталась о «Слове». Существовал некий «законный» Парнас: русская литература в нашем представлении начиналась с конца XVII в., а до того — многовековое однообразное протяжение несчастья, нищеты и косноязычия. И вдруг вспоминали о «Слове», вспоминали с неожиданным, непонятным удивлением, с необъяснимой теплотой и благодарностью неведомому чудесному поэту, полному страсти и очарования, искренности и красоты, мужества и торжественности.

Собственно говоря, в то время мы не могли различить, объясняется наше впечатление могучей силой самого «Слова» или силою души Мефодия Васильевича Нестерова, нашего преподавателя словесности.

Был это преклонных лет человек, блестел лысиной и серебром в бороде, и борода у него была спутанная, милая, стариковская. Но отличался он от всех преподавателей удивительным выражением достоинства и человеческой простоты, и мы любили в нем это выражение и прощали старику и строгий взгляд поверх очков, и суровость требований.

Доходили до нас слухи о тяжелой и неудачной его карьере, об одиноком его учительском демократизме, но сам он никогда о себе не говорил. Мы в то время еще не вполне ясно различали за его фигурой великие тени революционных демократов, страстных патриотов своей родины — Чернышевского, Добролюбова, Некрасова.

Старик читал всегда стоя за кафедрой, предпочитал простую, точную речь, в которой редко встречалось открытое горячее слово. Но зато в его мимике было столько эмоций и правды, столько ума, то восхищенного, то осуждающего, то сомневающегося, столько сдерживаемой силы души, что

мы не способны были оторваться от его лица. Читая нам, он сам жил горячо и глубоко, хотя и не хотел показывать нам эту свою настоящую, человеческую жизнь. Не хотел почему-то показывать и сдерживался, может быть, еще и потому, что уже сорок лет читал он литературу юношам, и уже неловко было ему волноваться перед ними.

Но все-таки мы два раза видели, как он плакал во время лекции. Первый раз это было, когда он говорил о «Песне про купца Калашникова», но тогда он плакал скромно и старался показать, будто у него глаз засорился. А передавая «Слово о полку Игореве», он плакал свободно и доверчиво, и мы одновременно преклонились и перед его стариковской слезой, и перед силой «Слова». Он умел так рассказывать о нем, что его слезы глубоко волновали нас.

Начинал говорить о «Слове» Мефодий Васильевич неожиданными словами:

— Мы с вами уважаем гражданскую литературу, такую литературу, когда к нам обращается не только поэт, но и гражданин, когда он зовет нас, волнует, побуждает к действию... Представьте себе, такой поэт, великий поэт, страстный, настойчивый, жил в XII в. и оставил нам свой горячий призыв, призыв гражданина! Юноши, если кто-нибудь когда-нибудь перед вами начнет поносить гражданскую поэзию, напомните ему «Слово о полку Игореве». Впрочем, давайте читать.

Он поправлял очки, подносил книгу к близоруким глазам и, уже волнуясь, приступал к чтению. Читал он просто, без приемов декламаторских, но он умел незаметно вложить в каждое слово столько чувства, такую убежденность, что древнее слово неожиданно хватало за сердце.

«А мои ведь куряне опытные витязи: под трубами повиты, под шлемами укачаны, концом копья вскормлены; дороги им известны, овраги им знакомы; луки у них натянуты, колчаны открыты, сабли отточены...»

Мефодий Васильевич опускал книжку, смотрел на нас строго поверх очков и говорил глухо, сберегая старые силы.

— Видите, были люди, доблестные люди, сильные, воспитанные для борьбы... Юноши, эти люди были мужественны, и они знали, что за ними стоит Русская земля. Знали, семь веков назад знали, знали, может быть, не хуже, чем мы с вами. Смотрите, как они умирали.

Он читал дальше:

«С утра до вечера, с вечера до рассвета летят стрелы каленые, гремят сабли о шлемы, трещат копья харалужные...

...На третий день к полудню пали стяги Игоревы!»

Читая это, старик уже плакал, плакал странно: в его голосе не было слышно слез, они сбегали из-под очков и терялись в спутанной седой бороде.

Он снова опускал книгу, снова смотрел на нас, и мы не могли оторваться от его лица. Он спрашивал у нас сурово, как будто и мы виноваты в чем-то:

— Отчего? Отчего погибли эти доблестные сильные люди, любящие свою Русскую землю?

Так же сурово, с неотразимым осуждением он читал дальше: «...ибо говорил брату: «Это мое и то мое же».

«Не победоносным ли брежием себе волости вы расхитили? К чему ваши золотые шлемы, и копья польские, и щиты?!»

Старик уставал от горя и сдержанности, он опускал голову и говорил тихо:

— Юноши! Много страдания у этого поэта. Это было трудно видеть, как погибает Русская земля, как погибают доблестные люди от эгоизма, от жадности, от разделения: «Это мое и то мое же». Так погибала красивая, богатая, мужественная Русь. Может быть, и сам поэт погиб где-нибудь в половецких степях.

Он отдыхал снова, потом говорил сухо и спокойно последние слова:

— Видите: более семисот лет тому назад так сильно, с убеждением, с чувством поэты призывали русских людей к единодушию, к защите родины. А против них стояли не только половцы, стояли и свои хищники, грабители, насильники — Гориславичи и другие. Видите? Ну вот. Вы все поняли? Вы поняли, как это было?

Мы отвечали ему, преодолевая волнение:

— Поняли, Мефодий Васильевич! Спасибо вам.

Тогда он улыбался просто, по-домашнему:

— Ну и хорошо. Я так и думал, что вы поймете, юноши!

Новые годы

Большую жизнь прожил Илья Павлович — пятьдесят пять лет. Правда, и дальше жить охота, и сил еще много, а все-таки длинная жизнь осталась позади. Было когда-то и детство, мальчишки, девчонки — все это вспоминалось в тонком дрожащем тумане: было или не было — далеко-далеко что-то неясное мерещится. После революции двадцать один год, а ведь еще и до революции была какая-то жизнь. Странно было теперь вспоминать эту жизнь до революции, иногда она сама бередила память, но ничего приятного не нагадывала, да и тяжелое забывалось, а вспоминались почему-то извозчики. Никак нельзя объяснить, почему они приходили на ум: Илья Павлович никогда на извозчиках не ездил, а тем не менее как вспомнится старая Россия, так обязательно извозчики на первом плане. У одних колеса черные, у других красные. Они то стоят целыми вереницами в переулках, то грохочут по улицам. Шуму от них много, а темпы слабые: все кажется, будто он на одном месте едет.

В жизни Ильи Павловича много было и перемен, и событий, и радости, и горя, как будто все видел и все испытал, а все-таки сейчас Илья Павлович внутренне смущался и посмеивался: такого, как сегодня, кажется, еще никогда не было. С одной стороны, как будто это и шутка, а с другой стороны, на душе непривычно хорошо. Илья Павлович тайком поглядывал на старуху Марину Семеновну. Да какая же она старуха! Она вовсе не смущается, хлопочет, перебегает из комнаты в комнату, каждый раз спотыкается на коврике, положенном на пороге, и каждый раз улыбается виновато: это она случайно зацепилась, а вообще она может прыгать из комнаты в комнату сколько угодно.

Собственно говоря, ей и бегать нечего. Все сделано, все приготовлено, а если что и осталось сделать, так это такая легкая, завершительная работа, что даже приятно ее отложить. Например, нужно открыть бутылку кагора и бутылку портвейна. Илья Павлович давно разыскал пробочник — замечательный пробочник, никелированный, павловской работы, сделанный

очень хитро: он потихоньку вытаскивает пробку из горлышка, можно остановить ее в любом положении, а когда нужно — в самый хороший момент — просто рукой бери и открывай.

За накрытым столом сидит и все приглаживает лысину дядя Нечипор. Дядя Нечипор никогда не работал на заводе, а все больше по разным делам: и бухгалтером был, и корректором, и статьи писал о куроводстве, вообще был человеком деловым и боевым и все-таки всегда назывался дядей Нечипором, потому что он и действительно есть дядя Марины Семеновны. Когда-то он жил на Украине, с тех пор так уж и называли его по-украински — Нечипор. Сейчас дядя Нечипор на пенсии, но бодрости у него еще много, язык, как и раньше, острый, а если выпить и закусить, всегда на первой линии огня.

Сейчас дядя Нечипор сидит за столом, но на пузатый графинчик даже и не смотрит, а смотрит на елку, и хотя все понимает старый, а все-таки спрашивает:

— Какими же причинами следует объяснить такое противоестественное зрелище: люди мы подтоптанные, порох из нас сыплется, можно сказать, целыми килограммами, а тут тебе говорят: скидай, детка, пиджак и танцуй кругом елки.

Илья Павлович запустил пальцы в грудной карман праздничного пиджака, а Марина Семеновна, маленькая, шустрая, веселая, вдруг прекращает свое буйное движение из комнаты в комнату и замирает, подняв глаза к стеклянной верхушке елки. Илья Павлович с молчаливой иронической торжественностью протягивает дяде Нечипору телеграмму:

— А-а! — говорит дядя Нечипор, проводит пальцем по усам и берет телеграмму другой рукой. — Документ на этот случай имеется?

Он далеко отводит руку с телеграммой и читает громко:

— Получил отпуск три дня приеду тридцать первого вечером с Варей Панченко целую Митя.

Прочитав телеграмму, дядя Нечипор, или, скорее, дед Нечипор, долго еще смотрит на нее с мудрой стариковской насмешкой, медленно наклоняет голову то вправо, то влево и говорит играючи:

— Если я правильно разбираюсь в действительности, то сейчас должен ввалиться в хату этот самый Митя — тяжелый бомбардировщик. Так. Но здесь упоминается предмет более нежный — Варя Панченко. Хе! В моей номенклатуре сей предмет не значится.

Марина Семеновна смотрит на дядю Нечипора сложным взглядом: действительно, Варя Панченко — предмет удивительный и неизвестный, но как раз для этого предмета и елка поставлена, и притаился в ее ветвях белый и пухлый Дед Мороз, и лежит в комоде шелковая красная косынка — первый подарок Митиной избраннице. По всем этим причинам Марине Семеновне ни в чем не хочется сомневаться и хочется радоваться.

— Ничего, дядя Нечипор, если Митя выбрал,— значит, и для нас хороша будет.

Илья Павлович стоит боком к дяде Нечипору, заложил руки за спину. Сутулые его плечи в праздничном пиджаке думают неподвижно, глаза засмотрелись на стеклянного петушка с двумя перьями вместо хвоста и тоже думают. Дядя Нечипор резко повернулся, локтем описывая дугу над столовым прибором, потом положил локоть на стол и свесил седую

голову. Может быть, так удобнее думать дяде Нечипору. Он пошатывает одной ногой, положенной на другую, из-под штанины выглядывает старенький мягкий ботинок, и по ботинку этому видно, как много дядя Нечипор истоптал дорог на своем веку.

— Новый год! Новые годы, — задумчиво произносит дядя Нечипор. — А черт его знает, действительно новые. Вот он тебя депешей информирует: Варя Панченко, и никаких гвоздей! Как вспомнишь наше время, а, Илья Павлович? Сколько я дипломатии истратил, пока женился на покойнице Наталке, сколько дипломатии! Теперь вспоминать приятно, конечно, а если подумать, что я такое был? Писарчук в волостном правлении. А интересно, чи есть теперь такие писарчуки, чи, может, нет. Наверное, нету таких. Наталчины родители, можно сказать, ответили мне в вызывающем тоне: не видать тебе Наталки и... никаких гвоздей!

Дядя Нечипор поднимает голову и смеется, смеется радостно; очень возможно, что ему и в самом деле приятно вспомнить, как отказали ему Наталкины родители. Дядя Нечипор смеется, разводит руками.

— Новые годы! Митька! Что такое Митька? Господи, боже мой, дело ясное: неразумная молодость, молокосос, если прямо говорить, куда ему против нас... А потом «посмотришь с холодным вниманьем вокруг» — тяжелый бомбардировщик и ...

Илья Павлович быстро обернулся к старику, хохочет:

— И никаких гвоздей!

Дядя Нечипор панически поднял руки:

— Да! — руки дяди Нечипора бессильно упали вниз. — О каких гвоздях может быть разговор? Никаких гвоздей! Ежели он на тебя сверху прицелится, этот молокососный молодой человек, какие же могут быть возражения против Вари?

Дед встал со стула, он сейчас в ударе. Смотрит он в одну точку, куда-то на нижние ветки елочного дерева, но в его глазах кудрявится искрящийся умный восторг:

— Насчет Вари Панченко вопрос исчерпан, ежели они, молодые люди, шныряют прямо в небесах, кувыркаются, мертвые петли... а захочется ему — на Северный полюс, на Дальний Восток... При такой ситуации чувствую, что родительское благословение остается втуне...

Марина Семеновна любовно наблюдает игру дяди Нечипора. Она спокойно в каком-то богатом отдыхе любуется и дядей Нечипором, и нарядной елкой, и накрытым столом, а ее душа поместилась где-то поближе к уху и прислушивается, не закричал ли звонок в передней, не пора ли бежать открывать Мите, целовать Митю и... Варю Панченко, неожиданную, неизвестную, но такую уже родную и долгожданную.

Илья Павлович левой рукой зачесал правый висок — сложные дела делаются на свете, — приятно посмотреть игру дяди Нечипора, но где-то в глубине души надоедливо токует маленькая-маленькая тоска: что это за Варя и почему в таком пожарном порядке она возникла в его жизни?

Дядя Нечипор в последний раз взмахнул рукой и закончил игру. Он снова сидит у стола, и снова низко склоняется его седая голова. Видно, не так легко дяде Нечипору отказаться от прошлого.

— А все-таки скажу я вам, молодые люди. Было и в старом кое-что доброе. Вот хоть бы и в такой вечер — Новый год! Парубки, девчата,

на небе, конечно, звезды и над звездами... черт его знает, что-то вроде бога, ну, да это неважно. А щедривки* какие, ой, какие щедривки!

Дед помолчал, помолчал, собрался с силами и запел потихоньку, но правильно запел, душевно:

Щоб и хлиб родывся,
Щоб и скот плодывся,
А щоб ты ж, наш пан хозяин,
Та ни в чим не журывся...

— Да... щоб не журывся, значит, — сказал дед как будто про себя.

— Это кто же такой, пан хозяин? — спросил Илья Павлович.

Дядя Нечипор словно не расслышал вопроса, сидел, думал и про себя, наверное, пел щедривку дальше. Но неожиданно сказал негромко, задумчиво:

— Пан хозяин кто? В том-то и дело, что пан хозяин — это первейшая сволочь. К бедному мужику щедровать не ходили...

— А как же звезды и тот самый... вроде бога?

— А звезды сами по себе, ну... и черт с ними!

Дядя Нечипор вдруг затосковал. Встал со стула, подошел к елке вплотную, погрузил неслышный стариковский взгляд в переплет ее затихших ветвей, коронованных сейчас наивно-очаровательным блеском золотой и серебряной мишуры.

— А все-таки... это мы, старики, придумали елку. Значит, хотелось людям радости, если придумали. Нельзя без радости жить.

Марина Семеновна подошла ближе, сложила руки на фартуке:

— И я так подумала, дядя Нечипор. Для Мити, само собой, елка ни к чему... он мужчина... теперь мужчины серьезные, не любят пустяков. А я подумала: для Вари будет приятно, да и мне хорошо, в детстве я не видела елок. Хоть на старости Новый год по-настоящему встретить.

Дядя Нечипор аккуратно выслушал Марину Семеновну и вдруг энергично заинтересовался:

— Да какая же она есть, эта самая Варя Панченко? Анкетные данные... хоть самые минимальные...

Марина Семеновна не ответила, не хотелось ей ничем разбавлять сегодняшнюю радость. Посмотрела на мужа, а Илья Павлович нарочно занялся бутылкой кагора и ответил в другом тоне:

— Хороший штопор. На нашем заводе тоже такие штопоры будут делать. Ширпотреб...

Дед не унимается:

— Штопор — нужная вещь для широких масс, это правильно, а все-таки Варя Панченко в смысле елки может и не подойти. Потому, что ваш брат, прекрасный пол, тоже летает, и довольно далеко. Какая же у них нежность?

Илья Павлович осторожно ввинчивал штопор, сердито следил за его работой и со штопором разговаривал:

— Летает... А что ж ты думаешь? Еще и не так полетит. А нежность... само собой, при них останется. Нежность — это специальное дело. Ох, и што-

---

* *Щедривки* — колядки.

пор же замечательный! И женщины другие, и все другое. А елка... может, и лишняя.

Дядя Нечипор обернулся к елке с таким видом, словно попрощаться хотел с этим чудесным старинным изобретением. Обернулся и так засмотрелся, что не обратил даже внимания на сильный, веселый звонок в передней. Марина Семеновна, как ребенок, вылетела из комнаты. Илья Павлович нацелился было острием штопора в горлышко портвейна да в таком положении и задержался на несколько секунд. Потом не спеша поставил бутылку на стол, а штопор — мелкая вещь — запутался между пальцами и долго вертелся между ними, когда Илья Павлович стоял уже в передней.

Митя швырнул фуражку на сундучок и бросился к матери.

— Ой, родной мой, здравствуй, да какой же ты холодный, — мать улыбалась, чтобы не плакать. Страстно хотелось ей все смотреть и смотреть на румяное, совсем еще детское лицо сына, на ясные глаза и темный пушок на верхней губе, а в то же время не могла она оторваться от фигуры, торчащей у самых дверей. Суматошливая, напуганная радостью мысль никак не могла понять, что такое неладное происходит у дверей. Митя вспомнил:

— Мама! Привез, смотри, самый лучший друг! Самый лучший!

Улыбаясь приветливо, мать пошла к гостю, Митя обнял отца. В дверях комнаты стоял дядя Нечипор и разглаживал усы, приготовляясь к лобзаниям. И только тогда мать спросила:

— Митя, а где же эта... где Варя?

Не опомнившись еще от тепла и ласки, сын спросил с механическим удивлением, как эхо:

— Варя?

— Ну да, Варя Панченко? В телеграмме же написано...

Митя обалдел на короткое время, округлил глаза, взмахнул рукой. Захохотал и гость, вытаскивая руку из рукава.

— Мама! Ваня Панченко! Ваня, а не Варя! Вот это ж он и есть, Ваня Панченко — старший лейтенант и танкист.

— А в телеграмме?

— Наплевать на телеграмму. Он же живой — Ванька, вы же видите, что это ни в коем случае не может называться Варей.

В таких случаях и смеются, и удивляются, и торжествуют долго. И дядя Нечипор никак не мог прийти в себя, и все замахивался рукой из-за уха, и приседал от веселья. Илья Павлович моментально вспомнил, что в руках у него штопор и нужно рано или поздно открыть бутылку портвейна. Марина Семеновна смеялась меньше всех, потому что в ее душу налезли всякие мелочи: елка, Дед Мороз, петушок, шарики, свечи и... косынка, ну что ты скажешь, шелковая красная косынка в комоде! Слабым-слабым светлячком промелькнула мысль: может быть, о косынке не вспомнят. Глянула на Илью Павловича: хитро вздрагивает седеющий стриженый ус. Но в этот момент произошло снова неожиданное: Митя с разгона налетел на елку, замер и рот открыл. А потом завертелся по комнате, подхватил мать на руки, и не разберешь, обнимает ее или на руках носит.

— Мамка! Это для меня елка? Батько! Красавцы мои! Да как же вас благодарить! Ванька, ты понимаешь, до чего это... ах ты черт, до чего это шикарно!

Ванька стоял неподвижно перед елкой и радовался, совершенно забыв, что он танкист и старший лейтенант. Серые Ванькины глаза с откровенной негой переходили от Деда Мороза к черной обезьянке, к желтенькому попугаю, скользили по золоту цепей, искали новое, неожиданно милое среди нарядной тишины ветвей.

И дядя Нечипор на свет народился; теперь нужно было видеть все: и елку, и Митю, и Ваню Панченко, — нужно было говорить, говорить, вылить чувство, размахнуться молодой душой. Заходил дед, затопал по комнате, ухватил Митю за пояс:

— Так это твой друг такой?

— Друг, дядя Нечипор, — ответил Митя, просовывая голову к самому стволу елочного дерева, — настоящий, понимаешь, друг. Мне даже сны Ванькины снятся.

— Да что ты!

— А как же? Ты послушай только, дядя Нечипор: вдруг на́ тебе! Приснился мне танк. Почему? На каком основании танк? Здоровый такой, с пушками. А потом догадался: это Ванькин сон приснился.

Дед хохотал, ходил вокруг Вани Панченко, дергал ус:

— Танкист! Это значит... стреляет?

— Ого!

— Ты на небе, а он на земле?

— Во, во!

— И в человецех благоволение?

— Кому благоволение, а кому — лучше не лезь.

Дядя Нечипор вдруг опомнился, с досадой оглянулся на хозяина:

— Илья! От... смотри ж ты! Мы с тобой говорили, говорили, а про фашистов и не вспомнили!

Илья Павлович уже наклонял графинчик над рюмками и добродушно посмеивался:

— Это ты, дядя Нечипор, развел канитель: щедривки, звезды разные, нежности, а я про них, проклятых, фашистов этих, всегда помню. У меня и сын, видишь, и гость... в одном направлении. Ну, хлопцы! Без пяти двенадцать.

Встретили Новый год, да и как же его не встретить, если он без подделки, по-настоящему новый, как сказал дядя Нечипор после энной рюмки. Он много еще хороших, умных мыслей высказал, потому что понимал, в чем дело: «Елка... это хорошо придумано, а впрочем... допустим, мелочь. Ну, а если мелочь, отдавать ее фашистам или не отдавать?» Бомбардировщик и танкист посмотрели внимательно на елку. Она в эту минуту словно из скромности притаилась в углу комнаты, тихо мерцали свечи, и тихонько поблескивали ее праздничные глаза. Ваня Панченко посмотрел Мите в глаза и засмеялся. Митя положил деду руку на плечо:

— Дедушка, милый! Слыхал? Ни одного вершка, а не то что целую елку! А эту елку к тому же мать организовала, к ней, брат... пусть лучше не лезут!

Дед замолчал, долго пристально-ласково смотрел на Марину Семеновну, потом сказал ей в утешение:

— А косынка? Косынка... она потом пригодится... бывает так, что телеграммы... они не всегда врут, телеграммы.

Авторские материалы к повести «Флаги на башнях»

Глава «На всю жизнь»

Игоря здорово проработали на комсомольском бюро. Сначала он топорщился и угрюмо настаивал на своем, но потом принужден был согласиться: он поступил неосмотрительно, в подобных случаях нельзя выступать партизаном, не поговоривши в бюро, не посоветовавшись с товарищами. Он согласился выступить на общем собрании и сделал это без судорог:

— Я погорячился и обидел товарища необоснованным подозрением. Прошу Рыжикова простить меня.

Рыжиков ответил с добродушной миной:

— Ничего. Я не обижаюсь.

Так этот случай разрешился более или менее благополучно. Кражи вдруг прекратились, и многие склонны были объяснить это тем, что Левитин попался и теперь уже красть не будет. Колонисты продолжали свое наступление, но все понимали, что первой бригаде нанесен чувствительный удар, от которого она так скоро оправиться не может.

Игорь Чернявин быстро оправлялся от пережитых потрясений, да и жизнь помогала: колонисты уважали его даже больше, чем раньше, фронт колонистского наступления проходил уже на линиях сентября, новый завод был накрыт крышей, и начинали устанавливать станки.

А в один из выходных дней случилось... случилось счастье! Игорь сидел в парке на диване и читал «Двенадцать стульев». О. Бендер! Еще год тому назад Бендер мог привести его в восхищение. А сейчас Игорь рассматривал его опытным комсомольским взглядом и понимал, что Бендер человек несчастный. Он так увлекся чтением, что свободно мог бы не заметить, кто там уселся рядом с ним на диване, мог бы, конечно, не заметить, если бы это была не Оксана. А сейчас он густо обрадовался, бросил книжку на траву, протянул к ней руку. Оксана была в белом выходном платье, она... но разве можно словами описать Оксану? У нее смуглый румянец, и загар, и краска смущения, и синевато-золотой блеск в глазах, и пушистый ореол каштановых волос... Игорь задохнулся, и что-то в его душе махнуло рукой, закрыло глаза и бросилось очертя голову... нет, не в пропасть, а куда-то в глубину неба на раскаленную сковородку солнца, все равно, куда! Игорь вдруг перестал ощущать деревья, кусты и дорожки парка, за парком здания колонии и в парках, и в зданиях милые бригады колонистов — все перестало существовать в мире, потому что на скамье, на краю скамьи сидела в белом платье Оксана, — она — Джульетта, и ей нужно сейчас сказать, все сказать...

Оксана начала было:

— Игорь, я иду в город...

Но Игорь не расслышал ее слов.

Город... это что такое город?..

— Оксана! Слушай, Оксана! Ведь я тебя люблю! Я тебя страшно люблю! Всю жизнь любить буду, всю жизнь, ты слышишь, Оксана?

Он крепко сжал пальцы одной руки, своей руки, а вовсе не руки Оксаны. Он наклонился к ней и старался заглянуть в глаза. Она не испугалась и не удивилась. Она так же сидела на краю скамьи в белом платье и неслышно дышала, чуть-чуть приоткрыв губы, в ее глаза заглянуть было невозможно. Игорь до боли выгнул пальцы своей левой руки, но боли не заметил: мир колебался вокруг него и сверкал каждой своей частичкой.

Игорь так мало, так скучно сказал Оксане о своей любви, он хотел еще что-то прибавить, но Оксана вдруг поднялась со скамьи. Было видно, что она хочет бежать, но ее глаза успели еще посмотреть на Игоря. И посмотрели.

Игорь теперь понял, куда он летит: он видел мгновенный взмах ресниц, открывший синевато-золотые просторы и влажное сияние зрачка, и видел благодарную ласку и набегающую слезу, и Игорь именно в этих глазах утонул и захлебнулся счастьем. Ему на миг показалось, что счастье в том, как Оксана сказала срывающимся голосом:

— Ой, Игорь, милый, не говори так, не говори так...

Оксана закрыла руками лицо, быстро повернулась и исчезла. Убежала она или просто спряталась за соседней группой кустов — нигде не мелькало ее белое платье. Игорь стоял у скамьи и глядел на брошенную на траву книгу.

Без раздумья и без ощущений он благодарил себя за высказанные слова любви и Оксану за ласковый взгляд. Потом поднял глаза и крепко сжал губы: мир восстанавливался вокруг него. Небо было синее и далекое, а на земле в летнем могуществе стоял парк, а за парком Игорь чувствовал здания колонии, и в зданиях милые бригады колонистов.

Игорь улыбнулся и поднял книгу. Он сделал это уверенным сильным движением. Он понял, что сегодня началась жизнь и для жизни впереди цветущие дороги. По ним он пойдет вместе с Оксаной. Они будут идти и улыбаться друг другу, они будут идти, взявшись за руки. Ромео — это, извините, совсем не то...

Вечером, после рапортов, он встретил Оксану в коридоре и сказал просто:

— Ты убежала... А зачем ты убежала? Мне нужно поговорить с тобой.

Оксана улыбнулась так, как будто разговор шел о прочитанной книжке:

— Мне было чего-то стыдно. Я потому и убежала.

В коридоре никого не было. Оксана поставила локти на подоконник и лукаво посмотрела на Игоря:

— Ты все уже сказал, тебе больше нечего говорить.

Игорь и свои локти поставил рядом. Их плечи коснулись. Длинный рот Игоря сделался теперь по-настоящему ироническим. Он сказал с прежним своим насмешливым задором:

— Миледи, вы ошибаетесь. У меня хватит говорить вам... на всю жизнь.

В окно светил яркий фонарь. Лицо Оксаны сделалось серьезным:

— Знаешь что, Игорь, скажи... сейчас, еще раз...

— И скажу: я тебя люблю, Оксана.

— И еще дальше...

— Я тебя страшно люблю.

Оксана, подпирая голову рукой, повернула к нему внимательное лицо. У Игоря дрожала нижняя губа, но рот был по-прежнему иронический.

— Игорь, знаешь что? Это, может, тебе кажется так?

— Нет, Оксана, я же тебе сказал — на всю жизнь.

Кто-то пробежал сзади них по коридору, они молча смотрели друг на друга.

— Миледи, это несправедливо: я все говорю, а вы ничего не говорите.

— А ты хочешь, чтобы я тебе сказала?

— Ужасно хочу, ужасно, Оксана!

— Ой, какой ты смешной!

— Почему я такой смешной?

— Потому что... потому что... я тебя дуже люблю, и уже давно, давно.

Игорь зажмурил глаза и хотел дальше слушать. Но Оксана ничего больше не сказала, а когда Игорь открыл глаза, он увидел ее улыбающийся взгляд и руку, протянутую к нему на подоконнике. Он взял эту руку и спросил:

— Оксана, на всю жизнь?

Она кивнула головой. Они стояли и смотрели друг другу в глаза. И, не отрывая взгляда, Оксана сказала:

— Ой, какой же ты, Игорь, тебе, наверное, целоваться хочется!

— Хочется, — прошептал Игорь.

Оксана приблизила к нему плечо и зашептала горячо:

— Нельзя, Игорь, целоваться, нельзя, дорогой мой! Если будем целоваться, стыдно будет в колонии жить. Колония ж наша, родная ж, наша колония, а мы с тобой, какие мы с тобой люди будем, разве ж можно, чтобы в колонии целовались?

— Один только раз...

Теперь Оксана держала его руку:

— Ой, не надо, миленький Игорь, а кто его знает, как с одного раза будет, а может, потом еще больше захочется.

— Ну, я тебе руку поцелую.

— Поцелуй вот сюда, только один раз, смотри ж, Игорь, один раз...

При фонаре было видно, как она покраснела. Помолчали, дружно глядя в окно, и Оксана опять зашептала:

— Ты сказал: на всю жизнь, так мы еще успеем, хорошо, мой милый? Хорошо? Давай учиться, давай колонии поможем, нехай будет счастливая наша колония, хорошо? А потом поедем в Москву, хорошо? В студенты, родненький мой, в студенты поедем: я на биологический, а ты на какой? Ты, мабудь, на литературный?

На каждое ее «хорошо» Игорь отвечал счастливым, глубочайшим движением души, только слов ему не хватало.

Фрагменты глав «Флагов на башнях»

К части первой

(1)* — А я буду работать. Все равно буду работать.

Рыжиков гребнул еще раз солому из стога, помял ее ногами, растянулся:

— Кто работает, тот еще скорее пропадет. Думаешь, работать — это легко?

— А зачем Советская власть? Зачем, если не работать?

— Понес — Советская власть. В Советской власти тоже понимать нужно. Ей, конечно, выгоднее, чтобы все работали, она и заставляет.

— Кому это выгоднее?

— Да Советской же власти!

— А кто это?

— Вот дурень: кому это да кто это? Советская власть и есть. Тот, кто начальник. Ему с ворами беспокойство, а лучше, чтобы все работали. Загнали на работу, и сиди там.

— А если бы все были воры, так тогда как? Тогда Советской власти не нужно?

— Оставь ты, завел: власти, власти!

— Тогда один вор у другого украл бы, а потом тот у того, а потом еще третий, правда? Все крали бы, и ничего не осталось бы. Правда?

— Ложись уже.

— Я ложусь.

Ваня под самым стогом, наклонившись, устраивал для себя гнездышко.

— А если все воры, так кто будет булки печь? А кто будет тогда ботинки чистить? Тоже воры, да? А они не захотят. Они скажут: пускай кто-нибудь булок напечет, а мы только красть будем. Правда?

Рыжиков заорал на Ваню:

— Спи! Пристал, как смола!

Ваня замолчал и долго думал о чем-то. Потом улегся уютнее. На небе горели звезды. Соломенные пряди казались черными, большими конструкциями.

Уже засыпая, Ваня сказал вслух:

— Пойду к этому... к Первому мая.

(2) Ночевал он в той же соломе, и в первые две ночи его никто в ней не заметил. После третьей ночи он проснулся ослабевшим от двухдневного голода, вставать ему не хотелось. И тогда он увидел над собой удивленное лицо старой женщины.

— Кто это здесь? А?

— Что?

— Мальчик какой-то. Что ли, беспризорный?

— Нет, я не беспризорный...

---

* Здесь и далее цифра обозначает порядковый номер фрагмента.

— Не беспризорный, а ночуешь в соломе. Нехорошо так. Где твои родные?

— Родные? Это кто, отец, да?

— Отец, мать... Где они?

— Они уехали.

— Уехали? А тебя бросили?

— Они уехали, а только они не отец и мать.

— Чудно ты говоришь. Бледный ты какой, больной, что ли?

Ваня просто поправил ее.

— Нет, не больной, а только... голодный очень.

И улыбнулся, сидя в соломенном гнездышке, сложив по-турецки ноги.

— Голодный... — старушка потирала руки в смущении, потом заторопилась, прошептала:

— Беда, какая беда! Пойдем я тебе хлебца дам, что ли?

Ваня пошел за ней к хате. В хате было чисто и просторно: блестели недавно крашеные полы. На лежанке, накрытой самодельным вязаным ковриком, сидели двое мальчиков года по три-четыре и, надувая щечки, играли деревянными кубиками. Увидев Ваню, они не успели даже принять руки от кубиков, загляделись на него испуганно-внимательными глазенками. Ваня стоял у порога и смотрел, как бабушка торопливо открыла низенький шкафчик, достала из него половину ржаного хлеба. Она приложила хлеб к груди и большим ножом начала резать, потом подумала, наметила кусок побольше и отрезала. Спрятала хлеб и нож и только тогда протянула отрезанный кусок Ване. Ваня принял кусок двумя руками, такой он был большой. Бабушка стояла и смотрела на Ваню печальными глазами. Мальчики на лежанке так и не пошевелились: пальцы их все держали кубики, глаза все смотрели и не могли оторваться от гостя, кажется, они ни разу не моргнули с той минуты, когда он вошел.

Ваня сказал:

— Спасибо.

— Ну а дальше как? Ты пошел бы куда? Приюты есть такие, детские дома называются. Попросил бы, что ли?

— Я попрошу. — Ваня ответил деловито-спокойным голосом, рассматривая огромное свое хлебное богатство. — Я пойду в колонию Первого мая, там, говорят, прилично.

— Ишь ты какой! Прилично! Да тебе какую-нибудь, все равно. А то еще придумал: прилично.

Несмотря на голодный желудок, Ваня не согласился с бабушкой. Хлеб остался у него в одной руке, а другую руку он поднял к плечу:

— Бабушка! Это вовсе не я придумал, а все так говорят.

Его глаза загорелись забавной решительностью во что бы то ни стало убедить бабушку. Но бабушка и не спорила.

— Так ты пойди. Пойди, голубок, что ж тебе так страдать. А красть ты не умеешь, видно. Правда?

Ваня быстро глянул в окно, немного суматошливо нашел правильный ответ и только тогда обратил оживившиеся глаза к бабушке:

— Я так думаю, что я сумел бы, только я не хочу красть. Я, понимаете, не хочу.

— А ты, что ж... когда-нибудь стащил у кого, что ли?

— Нет, еще никогда.

— Так, значит, и не умеешь. Какой же там умеешь!

Ваня не сдавался, он начал уже и хлебом жестикулировать:

— Разве это нужно уметь? Это совсем нельзя сказать «уметь». Если ботинки чистить, так нужно уметь.

Бабушка улыбнулась ласково:

— Чего это мы разговариваем все? Ты кушай хлеб, кушай.

— Я там... в соломе. Там...

— Ну, это, как тебе лучше.

— До свиданья.

— До свиданья. А как же тебя зовут?

— Ваня Гальченко.

— Ишь ты, фамилия у тебя какая! Гальченко. Ты, Ваня, не бойся. Если не скоро найдешь эту самую колонию, так заходи. Хлеб у нас всегда есть.

Мальчики на лежанке зашевелились. Один из них взволнованно забегал глазенками по комнате, бросил наконец свои кубики:

— Баба! А почему он такой?

Ваня открыл дверь и не слышал, что ответила бабушка на этот важный вопрос.

Возле соломы съел Ваня половину хлеба, а вторую половину запрятал. Он не чувствовал

себя способным когда-нибудь зайти к бабушке и попросить хлеба. За два дня, истекшие после катастрофы, Ваня обошел весь город, несколько раз заходил на рынок, прохаживался мимо столиков и киосков, в закоулках рынка и на второстепенных улицах он видел просящих старух, калек и детей, и тогда решил, что протягивать руку и просить, как они, долю... он никогда не будет.

Все-таки Ваня хотел найти работу. Какая именно должна быть работа, Ваня не знал и даже не думал об этом. Он находил много рабочих мест в запущенных парадных ходах, в кое-как сбитых деревянных пристройках. Прямо на улице сидели сапожники и заливщики галош, в закопченных, покосившихся хибарках стучали жестянщики, арматурщики. Ваня подходил к ним, прислонялся к притолоке — и, постояв, уходил. У всех у них был инструмент, у него инструмента не было, и выхода из этого положения он не мог найти!

На другой день после знакомства с бабушкой Ваня остаток хлеба тоже поделил на две части, хотя это было трудно сделать. Но впереди все было очень неопределенно, и Ваня не хотел снова два дня голодать.

(3) Ты далеко едешь, пацан?

— Я? Я никуда не еду. Я здесь живу, в этом городе.

— Здесь живешь? А как же так у тебя затруднение с деньгами вышло?

— Вышло так... Ночевать негде. А сегодня дождь.

— Это не годится: ночевать негде и денег нет. Это называется прорыв на всех фронтах. Ты, брат, иди в колонию.

— Я поеду в колонию Первого мая.

— А? Ты знаешь колонию? У меня брат там.

— В колонии Первого мая?

— В колонии Первого мая.

Ваня горячо обиделся. Оказывается, все-таки есть на свете колония Первого мая, и вот перед ним сидит живой человек — брат! Ваня вскрикнул и затаращил возмущенные глазенки:

— Так не отправляют, понимаете! Я и в комонес ходил, и в этот, как его... спон. Не отправляют — и все!

Красноармеец рассмеялся, как смеются люди, увидевшие подтверждение своих догадок:

— Правильно говоришь: комонес и спон! И я там бывал...

Он обратился к товарищу:

— Неделю ходил. Как меня взяли в Красную Армию, братишка у меня — двенадцать лет, вот такой самый. Куда девать? Надо пристроить. Туда-сюда. Говорят, хорошая колония Первого мая. Иди в колонию. Пошел я. Целую неделю ходил. Не сочувствуют мне, толкую свое. А потом в спон. Ну, там взяли брата, отправили, где-то такой детский дом, Воробьевский какой-то. Думаю, устроил все-таки. А в полку получаю от Петьки одно письмо, другое письмо, третье. Пишет мне все по одной форме: не буду здесь жить, не хочу. И скучно, и пища плохая, и наряд плохой, и воспитатели у них какие-то не такие... Я ему пишу: держись, браток, держись. А он мне свое. А потом получаю письмо от заведующего. Так и написано: ваш брат Петька Кравчук — дезорганизатор, оскорбляет всех, курит, на уроки какие-то веревки носит. Что такое? Какие, думаю, веревки. Сколько я с ним жил, никаких веревок не было, а тут веревки. Я ему написал про эти веревки и про оскорбление, строго так написал. Да. Ответа долго не получал. А потом мне Петька и написал: меня, как дезорганизатора, отправили в колонию Первого мая, теперь я живу здесь, и ты не беспокойся. А потом, как начал писать, как начал, вижу, выходит мой Петька на дорогу. А теперь вот приехал в командировку, пошел к нему, посмотрел — советская жизнь! Строго у них, очень строго, прямо по ниточке ходят, а молодцы народ! Петька что, тринадцать исполнилось, а он уже все понимает, и знаешь, так... цену себе знает. Говорит мотористом буду, мотористом, не иначе. И будет!

Красноармеец закончил рассказ, посмотрел на Ваню, глаза у него щурились. Ваня сказал с решительной мечтой:

— Я пойду... в колонию Первого мая.

— Ты добивайся, брат, добивайся. Если захочешь, добьешься...

К части второй

(1) Но однажды и Ванда разговорилась с Олей. Они сидели в парке на скамье. Ванда спросила:

— Эти девочки, которые в колонии живут, они откуда?

— А девочки у нас из разных мест.

— А почему они здесь живут?

— Тоже по-разному... Вот у Клавы давно родители умерли, а у меня есть и отец и мать. Только отец больше не работает, а мать похлопотала, меня сюда и приняли.

— А такие девочки... беспризорные есть?

— Наверное, есть.

— А разве ты не знаешь?

— Я не знаю. Да у нас никто не знает.

— А как же так?

Ольга удивленно посмотрела на свою подшефную:

— Тебе разве не все равно?

— Конечно, интересно.

— А мы даже и не думаем об этом. И некогда думать. То то, то другое, всегда некогда. А зачем про это думать, разве не все равно? И мальчишки тоже. К некоторым родители приезжают, а то письма получают, а есть и такие, которые не получают. А только мы этим не интересуемся. И Алексей Степанович говорит, не нужно на это время тратить.

— А может, я — беспризорная?

— Ну, так что?

— Может, я на улице жила?

— На улице? У нас девочки не живут на улице. Мальчики бывают, если очень балованные. А девочки нет. Если у кого родители умрут, так сейчас же в колонию.

— А я знаю, что есть: просто девочки и живут на улице.

— Может быть, и есть. Только все равно. Поживет немного, а потом, все равно, в колонию. И те — колонистки, и те — колонистки.

Так Ванда ничего нового и не узнала в этом разговоре.

(2) Каждый день начинался щедро, и казалось, лучше этого дня еще не бывало дней. А потом выходило, что день этот обыкновенный, но это было вовсе не хуже, потому что и обыкновенное было прекрасно.

Зима уже тем хороша, что впереди стоит весна, а ничто так не украшает человеческую жизнь, как перспектива впереди. А у колонистов впереди была не только весна. Как это трудно посчитать, что стоит впереди у колонистов! Они и не считали, но видели и дали, и горизонты, и уходящие к горизонтам пути, украшенные радостью. А каждый день, как будто из лесу, к ним выбегали надоедливые мелочи и неприятности, привередливые, цепкие пустяки. Толпа всей этой дребедени до самого вечера суматошилась перед глазами колонистов, лезла в глаза, набивалась в уши, кричала и вопила о своем сегодняшнем важном значении. Лопались пасы, желтым дымом задыхалась литейная, плохой бракованный лес раздражающими занозами и сучками поперек горла становился в машинном отделении, лишней копейкой, которую нельзя было истратить, просачивалась во все дневные щели нужда. Это была нужда особенная, трудная[1].

К части третьей

(1) Март подходил к концу, но снегу было много, и каток работал по вечерам, как и в январе. А по выходным дням колонисты становились на лыжи, бродили далеко в лесу. Полюбил лыжи и Рыжиков. Его дела здорово поправились в колонии, только со стороны четвертой бригады он встречал упорное недоверие.

После истории с «Дюбеком» Рыжиков стал присматриваться к пацанам и везде встречал их настороженные взгляды. Ваня Гальченко и Бегунок, безусловно, были главарями этой группы. Сначала Рыжиков думал, что все это дело затевается Чернявиным, но Чернявин делал такой вид, как будто он Рыжиковым совершенно не интересуется. За зиму только два раза Рыжиков имел с ним маленькие столкновения, но в них ничего нового не было: Игорь, по своей привычке, показал себя защитником обиженных.

(2) Шесть дней колонисты не могли опомниться, а на седьмой день привезли палатки. Шесть дней и Захаров без улыбки не проходил по колонии, и все встречали его особенно приветливым салютом и огненными взглядами.

«Старики» хорошо знали, что в это время Захаров не прощает самого маленького проступка, такой уж у него характер: смеется, шутит, зубоскалит и в то же время рассыпает направо и налево наряды и аресты. Пояс плохо надет, ботинки не начищены до полного блеска, бумажку бросил в цветнике, закурил в здании — лучше не попадайся на глаза, влепит что нужно и еще радуется:

— Попался? Я тебя давно хочу взгреть, да никак поймать не могу.

И еще удивительно, что никто на него не обижается, со смехом отвечают:

— Есть один час ареста! — и продолжают с ним разговаривать, как ни в чем не бывало[2].

План сценария

Основная тема. Борьба детского коллектива (советского коллектива) за человека, за культуру, за новую жизнь и одновременно с этим за новую культуру воспитания.

Подтемы: а) рост и социализация отдельной личности разной степени сопротивляемости; б) рост и организация коллективных связей, новой дисциплины, новых стремлений; в) рост общественной ценности коллектива; г) рост и упражнение — изобретение новых педагогических приемов, материализация педагогики[1]; д) общий мажор, радость советской жизни; е) рост материального богатства и культуры; з) никаких нервов не нужно.

Сюжет. Сюжет заключается в переплетении нескольких лиц, которые в конце концов находят свою личность в коллективе[2]. Эти лица составляют основную группу взаимно сталкивающихся людей, тянущихся друг к другу и взаимно отталкивающихся.

Центральные сюжетные линии. *А, Б, В, Г* — группа всех четырех встречается на небольшой станции[3].

Г чистит сапоги. Он ушел из дома от мачехи и побоев отца, но не хочет быть вором, а в детских домах ему не нравится. Он умный, веселый, уважает труд людей. Ящик он сделал сам, а 15 рублей ему дал дядя. Но чистить сапоги ему не нравится. Он готов искать лучшего. С ящиком он приходит в колонию.

А на этой же узловой станции получает по переводам. Это человек прежде всего беспринципный, но веселый и умный. Энергии у него много, но работать он не умеет. Терпеть не может грязи.

Б — самый испорченный, лживый, осторожный и хитрый вор. От воровства избавиться не может. Крадет даже у беспризорных.

15 действующих лиц. Центральная сюжетная группа. *А* — тип Захожая-Огнева: бодрый, умный; *Б* — тип Иванова-Ужикова; *В* — тип Веры Березовской; *Г* — тип Вани Зайченко: активный, боевой.

Центральная внесюжетная группа. *Д* — тип Лаптя; *Е* — тип Наташи Петренко; *Ж* — тип Ужикова Марка; *З* — тип Маруси Левченко; *И* — тип Зырянского; *К* — тип Федоренко; *Л* — тип Синенького; *М* — тип Марка Шейнгауза.

Центральная внесюжетная группа. *Д* — тип Лаптя: юмор, ум; *Е* — тип Зырянского: страсть; *Ж* — тип Наташи Петренко: спокойствие, душа; *З* — тип Синенького; ясное детство; *И* — тип Романова Петра: острый, умный, проказник.

Оттеняющая группа. *К* — тип Шейнгауза: мечтательный, задумчивый; *Л* — тип Сатина: правдолюб, страсть; *М* — тип Боярчика: техник, друг; *Н* — тип Миши Овчаренко: балда; *О* — тип Галатенко: лентяй; *П* — тип Перца: хулиган.

Взрослые. Завкол, Отченаш, Коган, Воргунов, Белоконь, Воробьев — шофер, Сильвестров — телеграфист, Торская — воспитательница, Перский — воспитатель, Троян — инженер.

Дополнительные. Лаптенко — беспризорник.

Характеристика персонажей

1. *Гальченко Ваня.* Чистое бледное личико. Веселый и живой. Серые глаза. Русые волосы.

2. *Игорь Чернявин (Черногорский).* Насмешливый, ехидный, большой рот и веселые глаза. Худой и длинный.

3. *Стадницкая Ванда.* Белокурые волосы. Хорошенькие серые глаза.

4. *Рыжиков Гриша.* Рыжие волосы. Угрюм. Некрасив и неприятен. Зеленые глаза.

5. *Кравчук Петька.* Серьезный, лобастый. Чубчик выходит на лоб и закругляется спиралью. Иногда говорит басом...

6. *Бегунок Володя.* Румяный, хорошенький. Вторая труба (в оркестре. — *Сост.*).

7. *Воленко Сергей.* Тонкое лицо, очень интеллигентное и бледное. Тонкие строгие губы.

8. *Торский Витя.* Человек серьезный и бывалый.

9. *Захаров Алексей Степанович.* Лысеет. Пенсне. Стриженые усы. Детская улыбка...[1]

11. *Никола Иванович Душин.* Хорошо одет, аккуратно, очень вежлив. Чисто выбритые щеки, седые усы, умело, кокетливо подкрученные.

12. *Нестеренко Вася.* Доброжелательное лицо, полные губы, круглые щеки, серые с поволокой глаза, пушисто раскиданная русая прическа, неповоротлив... Мягкий баритон — десятый класс.

13. *Рогов.* Аккуратное, чистенькое, умное личико блондина. Привержен к одной учебе, лишь на производстве — приобщение к пацанам, сборочный цех.

14. *Гонтарь Миша.* Слесарь по ремонту, пятый класс. Низкий лоб. Жесткие волосы... Неряха. Не любит строя. Хочет быть шофером...

15. *Акулин Петр.* Простенькое лицо, худое, простого деревенского румянца, спокойное и ровное без улыбки. Хочет быть летчиком. Токарь лучший, восьмой класс.

16. *Остапчин Александр.* Большие карие красивые глаза... В токарном, бригадир.

17. *Зорин Санчо.* Живой, подвижный... Горячий... Восьмой класс. Шеф Олега. Сборочный цех.

18. *Лиственный Сергей.* Излишняя любовь к чтению. Сборочный цех.

19. *Савченко Харитон.* Вялость характера. Широкоскулый, нескладный.

20. *Яновский Борис.* Кудрявый, красивый, улыбающийся брюнет. Наклонность к запирательству и брехне.

21. *Середин Всеволод.* Пижонство. Сборочный цех. Чистое лицо. Закидывает назад голову.

22. *Горовой Даниил.* Медвежья неповоротливость, неуязвимость.

23. *Оришкина Клава.* Хорошенькое, нежное, чуть-чуть полное личико. Темно-русые кудри... Хорошие серые небольшие глаза. Замечательно красивый голос.

24. *Касаткин Семен.* Тоненький, белокурый...

25. *Горохов Руслан.* Коренастый, стриженный под машинку. Очень простое, прыщеватое, носатое лицо. Нос красивый, разные зубы. Работает на шипорезном.

26. *Блюм Соломон Давидович.* Полный, с брюшком, круглая голова, обритая.

27. *Волончук.* Скучный, нескладный...

28. *Оксана.* Кожа темно-розовая, карие глаза, темно-каштановые волосы. Черные брови. Лоб, суживающийся наверху.

29. *Зырянский Алексей (Робеспьер).* Хорошо сложен... Умные веселые глаза... Выразительные губы.

30. *Штевель-мастер.* Широкий, плотный, румяный, серые глаза.

31. *Лида Таликова.* Полное, чуть тронутое веснушками, но милое лицо. Ярко-золотые волосы.

32. *Филька Шарий.* Широколобый...

33. *Люба Ротштейн.* Аккуратная, розовая.

34. *Марк Грингауз.* Большеголовый, черноволосый.

35. *Поршень.* Изящный...

36. *Виктор Денисович Лошаков.* Веселый, старый.

37. *Жан Гриф.* Черноглазый, красивый юноша...

Комментарии

Флаги на башнях
(с. 7—314)

Впервые было опубликовано по частям: Красная новь, 1938, № 6, 7, 8. Печатается по изданию: *Макаренко А. С.* Сочинения: В 7-ми тт. Т. III.—М.: Изд-во АПН РСФСР, 1957. (Ред. коллегия: И. А. Каиров (гл. ред.), Г. С. Макаренко, Е. Н. Медынский).

Работу над «Флагами на башнях» А. С. Макаренко начал весной 1937 г., во время завершения «Книги для родителей». Произведение первоначально было задумано как роман «Ворошиловцы». 25—30 апреля 1937 г. был составлен примерный список действующих лиц, выработан общий план книги, произведена подборка материала по ее отдельным частям, началась разработка сюжета и эпизодов первой части (ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 18, л. 2). Затем в работе наступил перерыв. Она была продолжена в марте-апреле 1938 г. в Малеевке и Москве (там же, л. 18—22, с об.). В книге планировалось шесть частей (там же, л. 27—36).

Этот замысел А. С. Макаренко, по-видимому, в начале 1938 г. реализовал в сценарии без заглавия (ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 45)*. Сохранился развернутый сценарий в двух тетрадях (относящийся, вероятно, к 1932—1934 гг.) — автограф А. С. Макаренко (там же, ед. хр. 46, 47), где на с. 11 им отмечено: «Продолжение 2-го варианта». Сбитая нумерация эпизодов сценария показывает, что этот тематически последовательный материал составлен из двух частей, относящихся к различным вариантам работы. Здесь развивается тема «Ворошиловцев», произведение подразделяется на четыре части. Имеется также машинопись, идентичная автографу (там же, ед. хр. 48 и 49). На титульном листе (ед. хр. 49) редакцией, которая в свое время готовила этот материал к изданию, дано наименование: «Колонисты».

«Флаги на башнях» представлены также в рукописи А. С. Макаренко под названием «Колонисты. Роман», датированный 8 января — 18 марта 1938 г. (ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 19 и 20). Автограф содержит неполную первую часть произведения (главы 9—32, начиная с главы «Козлы») и состоящую из 19 глав вторую часть (глава 20 отсутствует, глава 21 «Окончание» не завершена). Здесь впервые появляется словосочетание «Флаги на башнях» в качестве наименования 10-й главы первой части, которое стало затем названием 17-й главы третьей части и всего произведения в целом.

Рукопись воспроизведена и дополнена в машинописи «Флаги на башнях. Роман», с правкой А. С. Макаренко (ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 1, ед. хр. 15—17). Здесь не две, а три части. Часть первая состоит из 32 глав, вторая — из 30, третья — из 22. В третьей части имеется глава «На всю жизнь», 11-я по счету, она идет после главы «Здорово кричит», за ней следует «Разгром». Наименования глав впечатаны после того, как был отпечатан весь текст. Глава «Не может быть!» (без номера, ед. хр. 16) представлена в двух машинописных вариантах, но с идентичными текстами (л. 217—225 и 226—241). В конце машинописи отмечено: «Москва — Ялта. 1938». Этот текст и был опубликован в журнале «Красная новь».

Изучение указанных источников показывает, что новое произведение зарождалось как повествование о трудовой колонии им. М. Горького и развитии ее коллектива в трудовой коммуне им. Ф. Э. Дзержинского. Есть основания полагать, что разработка этого замысла относится к 1932—1934 гг.

На это указывает эволюция в изображении центральных героев «Флагов на башнях». Образ Игоря Чернявина совпадает с образом Олега Огнева в «Педагогической поэме», фамилия и имя которого в планах произведения постепенно изменяются: Олег Черняев — Игорь Чернявин

---

* Подробнее об этом см. с. 367, 373 наст. изд.

(см.: ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 18, л. 7). Также Вера Березовская затем становится Верой Стадницкой и далее — Вандой Стадницкой.

В сценарии колония им. К. Е. Ворошилова изображается как сельскохозяйственная колония, в которой развивается производство промышленного типа. В сценарии одним из главных является образ Наташи Петренко, введенный во вторую часть «Педагогической поэмы». Туда же перешли эпизоды: первомайский поход под дождем, живая статуя на сцене театра и др. Ведущий образ в сценарии — Олег Огнев. Его неудачная работа на пахоте (посеве) — эпизод, также перешедший в «Педагогическую поэму». В сценарии действуют и другие герои этого произведения: Коган, Перский, Перец, Отченаш, Зайченко, Сильвестров.

Сценарий написан вслед за «Маршем 30 года», в наименовании планируемых глав чувствуется стиль этого произведения (ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 18, л. 11). Далее работа А. С. Макаренко сосредоточилась, по-видимому, на повести «ФД-1», где была использована «Симфония Шуберта» и другие темы (там же, л. 21—22, с об.). Ряд эпизодов «ФД-1» в измененном виде вошел во «Флаги на башнях», один отрывок использован в третьей части «Педагогической поэмы» (см. комментарий к «ФД-1» в т. 2 наст. изд.). Образы Воргунова, Трояна, Григорьева, Белоконя и других раскрылись в пьесе «Мажор».

Основной материал сценария определил содержание «Флагов на башнях». Это произведение является художественным и в то же время исторически верным отражением воспитательной работы и жизни детского коллектива в трудовой коммуне им. Ф. Э. Дзержинского. В книге коммуна называется колонией им. Первого мая. После выхода в свет «Педагогической поэмы» А. С. Макаренко, вероятно, считал художественное описание истории колонии им. М. Горького исчерпанным.

По своему содержанию «Флаги на башнях» следуют за «Маршем 30 года», освещая жизнь и деятельность коммуны дзержинцев в 1931 г., включая начало работы коммунарского завода электроинструмента, открытого в 1932 г. Хронологические рамки «Флагов на башнях» совпадают с периодом, описанным в повести «ФД-1», при жизни А. С. Макаренко не опубликованной. История трех указанных произведений показывает, как педагог-писатель в изображении коммуны шел от жанра документального очерка к роману, повести*.

Первая часть «Флагов на башнях» была написана в начале апреля и вторая — в начале мая 1938 г. Третью часть произведения А. С. Макаренко начал писать в Москве в мае и завершил в Ялте в первой половине июня этого года.

Для отдельного издания он подготовил «Флаги на башнях» с редактором Ю. Б. Лукиным. Редактирование текста было закончено в конце марта 1939 г. Книга вышла в свет через несколько месяцев после смерти автора (произведение было сдано в набор 11 апреля и подписано к печати 8 июля).

Текст для отдельного издания был значительно изменен: произведены перестановки некоторых глав, в ряде случаев им даны новые названия. Перестановки имеют место и в самом тексте, отдельные эпизоды сокращены. В результате сокращения и объединения четырех глав в две число глав в первой части произведения сократилось с 32 до 30. В начало второй части поставлена новая глава «Не может быть!», в которой сформулированы некоторые принципиальные положения советской педагогики**. Из третьей части изъята глава «На всю жизнь», на которую особенно нападали литературные критики ***.

Повесть «Флаги на башнях» — литературный памятник трудовой коммуне им. Ф. Э. Дзержинского. Как и предшествующие произведения А. С. Макаренко, книга основана на документальном материале и имеет автобиографический характер. Вместе с тем «Флаги на башнях» — художественное произведение, здесь есть и обобщение, и типизация, и художественный вымысел. Поэтому нельзя ставить полного знака равенства между тем, что происходит в коммуне им. Дзержинского, и тем, что А. С. Макаренко изображает в колонии им. Первого мая, хотя основной документальный и педагогический материал их совпадает.

Среди подготовительных материалов книги — составленный А. С. Макаренко список персонажей и воспитанников по десяти отрядам с указанием прототипов: Воленко-Ермоленко, Радченко-Грушев, Левитин-Локтюхов, Поршнев-Салько, Горский-Торский, Брацан-Працан, Зырянский-Землянский, Кравчук-Одарюк, Шарий-Куслий, Каширина-Борискина, Ротштейн-Красная, Литовченко-Брегель, Мятникова-Сыромятникова, Круксов-Куксов, Грингауз-Швед,

---

* В рукописях, а также в первом издании 1938 г. (в журнале «Красная новь») А. С. Макаренко называет свое произведение романом. В отдельном издании 1939 г. оно названо повестью. Это последнее определение литературной формы принято и для настоящего издания.

** Подробнее об этой главе см. 370 с.

*** См., например, пародию А. Флита «А. Макаренко. Дети в сиропе: Фрагменты «медового романа» (Литературный современник, 1938, № 12, с. 226—227).

Нестеренко-Федоренко, Гонтарь-Чарский, Зорин-Сопин, Савченко-Харченко, Горовой-Долинный, Синицын-Соколов, Гриф-Лиф. Чернявин значится как Огнев, прототипом которого был Агнивцев*. Рыжиков, Иванов, Гальченко даются без указания на прототипы (ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 18, л. 4—6, с об.). Есть также сведения, что в образе Огнева отразились черты Захожая, прототип Ужикова — один из Ивановых (там же, ед. хр. 45, л. 4).

Эпический характер повествования — характерная особенность «Флагов на башнях», тесно связанная с реализацией в деятельности коммуны дзержинцев нового основополагающего педагогического принципа — прочной связи воспитания с жизнью и борьбой советского народа, практикой коммунистического строительства. Типизация явлений в этом произведении базируется на соотношении идейно-нравственного содержания жизнедеятельности трудового воспитательного коллектива с характерными особенностями советской действительности эпохи 30-х гг.

Образ флагов на башнях — олицетворение советского энтузиазма, ударничества, героической борьбы за социализм. В этом образе воплощается сущность коммунистического воспитания, его неиссякаемый оптимизм и динамизм, высокие стремления коллектива к новым завоеваниям в преобразовании мира на коммунистических началах. «Флаги на башнях в солнечный день. Победа. Счастье победителей. Строй победителей. Законы победы. Диалектика радости. Maestoso** Гимн. Торжественная проза. Проза о торжественном. Мажор» — так А. С. Макаренко охарактеризовал общий замысел произведения, его идейно-художественную направленность (ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 18, л. 9). Во «Флагах на башнях» изображается новое историческое явление: полноправное детство, социальная зрелость юности в Советском Союзе.

В отличие от «Педагогической поэмы», где на фоне общественных условий 20-х гг. А. С. Макаренко показал поиски в педагогике новых путей, зарождение и развитие коллектива как новой формы организации воспитательного процесса, — «Флаги на башнях» повествуют о том, как воспитательный коллектив, в многолетнем опыте выработавший эффективные способы воспитания, активно приобщается к социалистическому строительству, становится мощным фактором коммунистического воспитания.

Необходимо было большое искусство писателя в передаче не только внешнего, но и внутреннего облика главного героя произведения — коллектива воспитателей и коммунаров, единого педагогического коллектива: «Как всякий герой литературного произведения, коллектив в книге живет полной жизнью — борется, страдает, радуется, любит, ненавидит. Картины, изображающие повседневную, даже будничную деятельность коммунаров, полны эмоциональности. В них пестрыми красками играет написанный кистью жизнерадостного художника необычайно выразительный портрет многоликого главного героя книги...»*** Рост общественной ценности детского коллектива в борьбе за новую жизнь — это главное направление «материализации педагогики» и превращения воспитания в легкое и счастливое дело, «когда никаких нервов не нужно» (ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 45, л. 2). «Счастливый коллектив в счастливом обществе» — так А. С. Макаренко сформулировал основную тему произведения (*Макаренко А. С.* Соч.: В 7-ми т. Т. III. — М., 1957—1958, с. 442). Она с большой силой звучит и в «Педагогической поэме», но во «Флагах на башнях» счастье выражается уже «не в такой напряженной борьбе с явными препятствиями, с явными врагами, а в борьбе тонкой, в движении внутренних человеческих сил, часто выражаемых внутренними, еле заметными тонами» (там же, с. 442—443). Тема воспитания счастливого человека, неразрывно связанная с формированием его потребностей и всесторонним развитием способностей личности в социалистическом коллективе, является стержневой и в «Книге для родителей», оказывается в центре внимания А. С. Макаренко при обращении к идейно-нравственным основам воспитания в статьях и выступлениях последних лет его жизни.

«Флаги на башнях» — повесть о советской действительности как о ведущем воспитательном факторе, о подлинном гуманизме и красоте свободной человеческой личности, развившейся в высокоорганизованном коллективе, где дети — это «прежде всего граждане». «И чем больше гражданский долг связывается с их ростом и воспитанием, тем более полноценные воспитываются из них люди...» (там же, с. 443). Романтика труда, борьбы и дисциплины — основной поэтический мотив повести. Как и «Педагогическая поэма», «Флаги на башнях» проникнуты «замечательной *новизной* всего изображаемого, замечательной свежестью восприятия нового в действительности; все это усилено именно тем, что перед нами раскрываются свежесть, радость, новизна

---

* См.: «Типы и прототипы» в т. 3 наст. изд.

** Maestoso (ит., муз.) — обозначение величественного, торжественного характера исполнения.

*** *Лукин Ю.* Реют алые флаги. — В кн.: *Макаренко А. С.* Флаги на башнях. М.: Московский рабочий, 1980, с. 423.

детского восприятия, детского открытия законов нового, социалистического общества, разума и красоты этого нового общества»*.

Книга продолжает линию «Педагогической поэмы»: «поставить ребром вопрос о стиле, тоне советского воспитания» (*Макаренко А. С.* Соч.: в 7-ми т. Т. V.— М., 1958, с. 372). Это произведение о кардинальном изменении идейно-нравственных основ воспитания при советском строе. В единстве со всем советским народом, в активном служении Родине, верное Красному знамени мужал и развивался коллектив дзержинцев, и «шел вместе с ними все вперед и вперед великий фронт социалистического наступления» (с. 312 данного тома).

В отличие от «Педагогической поэмы» повествование во «Флагах на башнях» ведется не от первого, а от третьего лица — заведующего колонией Алексея Степановича Захарова (как это было, к примеру, в написанной ранее пьесе «Мажор»). По-видимому, это объясняется следующими особенностями книги: «...повесть описывает уже не процесс мучительных исканий, не первые и зачастую неверные шаги молодого педагога, не трудное рождение нового воспитательного коллектива, как в «Педагогической поэме», а блестящий результат долголетних усилий, многообразного ценнейшего педагогического опыта, совершенную педагогическую технику, мощный коллектив, давно освободившийся от острейших противоречий внутри себя, великолепные традиции и опыт этого коллектива. Изображая всю меру достигнутого коллективом и педагогом, руководившим коммуной, автор, естественно, чувствовал бы себя стесненным, если бы вел повествование от первого лица»**.

Трудовой коллектив коммуны им. Ф. Э. Дзержинского — это воспитательный коллектив, в котором А. С. Макаренко художественно обобщил основные свойства коллектива советских людей того времени. Славная, непобедимая четвертая бригада колонистов «серебряным маршем звенит по земле, и другие бригады с ними (ней. — *Сост.*) рядом, великие бригады трудящихся СССР — исторические бригады тридцатых годов» (с. 312 данного тома).

Книга повествует о том, как личность находит себя в коллективе, воздействие которого неотделимо от формирования самых разнообразных индивидуальностей. А. С. Макаренко показывает, как каждый по-своему приходит к полноте слияния с коллективом. В повести изображена филигранная отделка, «шлифовка» личности в коллективе, как выразился автор, здесь раскрыты часто тончайшие стороны, моменты во взаимоотношениях личности и коллектива, в отношениях людей друг с другом. В этом плане очень интересен образ Игоря Чернявина, одного из главных героев произведения. Глубока тема духовного роста Игоря, понявшего всем существом, что его прежняя свобода, свобода анархического своеволия, была на самом деле рабством, а то, что казалось ему рабством — труд, дисциплина, — является подлинной свободой. Ему захотелось стать своим в этом коллективе, активно включиться в его жизнь.

Повесть о трудовой коммуне им. Ф. Э. Дзержинского, запечатлевшая высший этап творческой деятельности А. С. Макаренко — педагога и писателя, отразившая качественно новые общественно-педагогические условия в период победы социализма и упрочения социалистического общества в СССР, — не сразу по достоинству была оценена литературной критикой.

В конце 1938 г. некоторые литературоведы выступили со статьями, в которых «Флаги на башнях» рассматривались как «мечта» А. С. Макаренко, оторванная от жизни утопия, «надуманность и фальшь», воплощение сомнительных педагогических и художественных принципов***. При этом не исключалось, что в повести изображен замечательный трудовой коллектив, «его люди интересны и содержательны, устройство колонии и ее распорядок необычайно любопытны и поучительны»****. Несомненный интерес вызывало «сочетание настоящего дела и дисциплины с элементами интересной игры»*****. Уважение к литературно-критическому анализу «Флагов на башнях» М. Лоскутовым****** А. С. Макаренко засвидетельствовал в письме в «Литературную газету» Войтинской (ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 299, л. 2).

В ответ на необоснованную критику повести «Флаги на башнях» 13 февраля 1939 г. в Московском клубе писателей с участием А. С. Макаренко состоялся диспут. Выступившие на нем писатели, критики, деятели искусства и педагоги единодушно отметили художественное новаторство произведения, оригинальность и смелость в постановке проблем коммунистического воспитания, социалистический гуманизм и философско-этическую основу макаренковского

---

* *Ермилов В. В.* О традициях советской литературы. — М., 1955, с. 82.

** *Лукин Ю.* Реют алые флаги, с. 421.

*** См., например, нигилистическую рецензию А. Рагозина «Флаги на башнях» (Литературное обозрение, 1939, № 1, с. 9—14).

**** *Левин Ф.* Четвертая повесть А. С. Макаренко. — Литературный критик, 1938, № 12, с. 151.

***** *Там же.*

****** См.: Лит. газ., 1938, 15 дек.

творчества. В. Ермилов утверждал, что книга педагога-писателя ему представляется как «сгусток советской действительности», в ней «воздух, которым живут наши дети». Идея произведения заключается в том, что оно выступает против «пережитков либеральной педагогики и ратует за педагогику социальную, элементы которой содержит вся наша советская действительность»*.

Летом 1938 г. А. С. Макаренко по «Флагам на башнях» написал киносценарий, послал его в сценарный отдел Одесской киностудии, с которой ранее был заключен договор о подготовке фильма для детей и юношества. В письме работнику этой киностудии Р. Ромицыну 1 июля 1938 г. он писал, что у режиссера М. А. Барской он «нашел понимание темы и чувство той воспитательной концепции, которая представлена в сценарии»**. Здесь же говорилось, что «вся композиция деталей в сценарии не выдумана, а взята из жизни»***.

Однако киносценарий не был принят. А. С. Макаренко объяснял это решение отходом своего сценария от тематических, сюжетных и идейных стандартов, «которые приняты в нашей кинематографии и от которых почему-то мы никак не можем избавиться»****. Особенно его возмутила тенденция к рассмотрению его произведения в свете тематики пьесы Н. Погодина «Аристократы» и кинофильма «Путевка в жизнь»: «Я изображаю... активный детский коллектив в моменты наивысшего и красивого подъема его жизни, изображаю настоящий, живой уголок социализма, в котором, как в фокусе, отображаются все явления нашей «взрослой» жизни... Я рассчитывал, что такой уголок жизни, показанный детям, даст очень много живых политических и этических толчков для их духовного развития, сообщит им начала того советского благородства, которое так необходимо»*****. По его словам, в сценарии действуют «нормальные» дети и юноши, и тема их «перековки», перевоспитания вообще не поднимается.

Первую попытку создания киносценария о коммуне им. Ф. Э. Дзержинского А. С. Макаренко предпринял в середине ноября 1932 г., это должен был быть «большой фильм» из 5 частей******. О работе над этим киносценарием А. С. Макаренко говорил 21 апреля 1937 г. в одном из своих выступлений (см.: *Макаренко А. С.* Художественная литература о воспитании детей. — Соч.: В 7-м т. Т. V. М., 1958, с. 379).

Хотя «Флаги на башнях» впервые были напечатаны в журнале «Красная новь», А. С. Макаренко писал это произведение для Детгиза, но там оно не было опубликовано. Первая часть книги была получена Детгизом 5 апреля 1938 г. Вторую часть автор направил в это издательство 4 мая. Редакция решила, что повесть необходимо переработать: показать «перековку» героев, «не видно вообще отдельных личностей, а все коллектив и коллектив» и др. ...******* Основной причиной, побудившей автора «потребовать рукопись обратно», было убеждение в том, что редакция толкает его на путь изображения коллектива как механической суммы личностей.

В письме В. Н. Колбановскому 12 ноября 1938 г. А. С. Макаренко говорил: «Я писал их («Флаги на башнях». — *Ред.*) по заказу Детиздата для старшего (вероятно, школьного. — *Ред.*) возраста. Это определило очень простой тон и почти полное отсутствие словесного орнамента... Еще не прочитав книжки, они (работники Детиздата. — *Ред.*) уже смотрели на нее с презрением. Эти люди, конечно, не могут пропагандировать дисциплинирование... В общем, я с ними не помирился, а «инфантильность» книги все-таки осталась, это меня немножко удручает» (ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 266).

В этом письме А. С. Макаренко отразил существенное в своей педагогической и писательской позиции: «В общем я доволен, что эта книга вызывает такие разноречивые отзывы. Это значит, что книга живая. Но интересно, что наша читающая публика иногда не способна верить идиллии... Поэтому, возможно, что этот мой выстрел не всегда попадает в цель: нарисовать идиллию, основанную не на добром сердце, а на дисциплине и организации. Дисциплину они (работники Детиздата. — *Ред.*) представляют себе исключительно как результат добрых намерений» (там же; см. также: *Макаренко А. С.* Идиллия или социализм?. — Соч.: В 7-ми т. Т. II. М., 1957, с. 444—446; т. V. М., 1958, с. 263.)

---

* *Пельсон Е.* Флаги на башнях...— Лит. газ., 1939, 13 февр.

** *Гордин Л. Ю., Долгин Е. С.* Счастливый детский коллектив. — Учит. газ., 1969, 13 марта.

*** *Там же.*

**** *Там же.*

***** *Там же.*

****** См.: *Балабанович Е.* Макаренко. Человек и писатель.— М., 1963, с. 401.

******* *Ніжинський.* Життя і педагогічна діяльність А. С. Макаренка: Творчий шлях. — Вид. 2, пер. и доп.— Київ, 1967, с. 201—205.

Защищая реализованные во «Флагах на башнях» художественно-педагогические принципы, А. С. Макаренко 29 января 1939 г. написал открытое письмо критику Ф. Левину, который пытался противопоставить это произведение «Педагогической поэме», а «Книгу для родителей» называл собранием «притч». Это обращение А. С. Макаренко было опубликовано «Литературной газетой» 26 апреля 1939 г., после смерти писателя.

В письме он подчеркивал, что то или иное восприятие действительности, позиции художника определяют его эстетические представления, различное понимание смысла художественного творчества, тематики произведения и существа поэтических средств. Полемика вокруг «Флагов на башнях» стала превращаться в спор о многообразии путей связи литературы с жизнью на основе метода социалистического реализма, в новых социально-экономических условиях, когда победил социализм и встала задача его упрочения и развития. Вместе с тем это была дискуссия о новаторстве в педагогике, качественном изменении характера воспитания в связи с возникновением новых общественных требований к нему и с усилением роли воспитания в социалистическом обществе.

А. С. Макаренко показал, что ему навязывается тема, отражающая пройденный этап общественного и педагогического развития с определенной тенденцией: «искалеченные беспризорностью» дети, мучительная работа по их «исправлению», беспомощность педагогики. Этой теме он противопоставил подлинно реалистическое изображение действительности: «...впервые в истории родился настоящий человеческий коллектив, свободный от неравенства и эксплуатации», в самой жизни возникла новая тема — «счастье в борьбе, в коллективных напряжениях, в требовательной и даже суровой дисциплине, в труде, в тесной связанности с Родиной». Фактом педагогической действительности стал советский, социалистический воспитательный коллектив, «вооруженный тончайшей педагогической техникой». На этом основана идейно-тематическая направленность произведения — изображение «счастья и поэзии детской жизни» (см.: *Макаренко А. С.* Соч.: В 7-м т. Т. III. — М., 1957, с. 451—453).

В русле борьбы против закостенелых канонов в художественной литературе, педагогической науке и практике следует рассматривать и главу «Не может быть!», которую А. С. Макаренко написал в последние дни своей жизни (к концу марта 1939 г.). Включение в повесть этой главы усилило научно-педагогическую значимость произведения, его полемическую заостренность.

Общий для идейных противников А. С. Макаренко в литературе и педагогике аргумент «не может быть» — яркий показатель абсурдности их попыток встать на путь новых эстетических и педагогических требований, обусловленных коренными изменениями в системе общественных отношений, всесторонним развитием и углублением коллективных явлений. У «старомодных эстетов» нет главного — веры в лучшее будущее общества и личности.

Центральное место в главе заняли темы исторического оптимизма и подлинного гуманизма как начало начал в создании новой педагогики и эстетики на основе коммунистической идеологии и морали. «Прекрасный порыв в будущее» вдохновлял А. С. Макаренко — педагога и писателя в его творчестве, в создании «педагогики завтрашнего дня». Великая Октябрьская социалистическая революция открыла «горизонты мира», расчистила место «для новой эстетики и для нового оптимизма». Советская педагогика рождалась «на всей территории Союза», «в живых движениях людей, в традициях и реакциях реального коллектива, в новых формах дружбы и дисциплины» (с. 100 данного тома).

В главе «Не может быть!» А. С. Макаренко отчетливо показал общественно-политические истоки своего новаторства: «...от всех событий в стране, от каждой печатной строки, от всего чудесного советского роста, от каждого живого советского человека приходили в колонию идеи, требования, нормы и измерители» (с. 100 данного тома). Он сформулировал важнейший вывод о том, что здоровая жизнь детского коллектива вытекает из всей советской действительности. На этом основана принципиально новая методика воспитания (педагогика параллельного действия): дети не только объект воспитания, это «живые жизни, и жизни прекрасные, поэтому нужно относиться к ним, как к товарищам и гражданам, нужно видеть и уважать их права и обязанности, право на радость и обязанность ответственности» (с. 100 данного тома).

С глубоким пониманием диалектики, законов общественного, педагогического и эстетического развития А. С. Макаренко обратил внимание на противоречивый характер становления нового в ожесточенной борьбе со старым, отжившим. «Нет такого положения, к которому старое не сумело бы приспособиться». Новое рождалось «в густом экстракте старого... старых привычек и старых образцов счастья». Старое может «наряжаться в новые одежды и новые слова», «сочинять законы воспитания» и даже становиться на защиту «советской педагогики» (см. с. 99 данного тома).

После смерти А. С. Макаренко борьбу с теми, кто пытался отрицать или принизить его вклад в советскую литературу и педагогику, продолжили его воспитанники. В апреле 1939 г. по поручению бывших колонистов-горьковцев и коммунаров-дзержинцев группа воспитанников: С. Калабалин, А. Тубин, Л. Салько, В. Клюшник и Е. Ройтенберг — обратились с письмом в «Литературную газету» и критику Ф. Левину. (Авторы письма стали офицерами Советской Армии, участниками Великой Отечественной войны. А. Тубин и Е. Ройтенберг погибли на фронте.)

Не соглашаясь с утверждениями критика, они доказывали, что описанная во «Флагах на башнях» колония им. Первого мая — это художественное изображение реально существовавшей Харьковской трудовой коммуны им. Ф. Э. Дзержинского, созданной А. С. Макаренко и воплотившей характерные особенности его 15-летней при Советской власти творческой педагогической деятельности. Ее результат — сотни достойных граждан нашей Родины, работников различных отраслей народного хозяйства, военнослужащих. Сомнение в достоверности содержания произведения означает неверие в наши достижения, это попытка умалить значение и огромные возможности коммунистического воспитания (см.: *Макаренко А. С.* Соч.: В 7-ми т. Т. III.— М., 1957, с. 463—469).

В апреле 1939 г. высокая оценка последнему художественно-педагогическому произведению А. С. Макаренко была дана на заседании Президиума Союза советских писателей. А. Фадеев, К. Федин, А. Караваева осудили статью Ф. Левина за отступление от принципов и норм литературной критики. Была подтверждена верность «Флагов на башнях» правде жизни, ценность этого произведения в литературе социалистического реализма*.

Произведение, завершающее литературную деятельность А. С. Макаренко повествованием о социалистическом трудовом воспитательном коллективе, всесторонне развившем свои многообразные функции в целях эффективного воспитания личности нового типа, активного и сознательного строителя коммунизма, — глубоко современно. Яркая идейно-политическая целеустремленность и богатое педагогическое содержание этой книги подняли ее на уровень предвидения глубоких преобразований системы образования и воспитания в период развитого социализма. К новым поколениям советских педагогов обращены слова неутомимого борца за идеалы коммунистического воспитания, звучащие с последней страницы «Флагов на башнях»: «Жизнь продолжается, и продолжается борьба».

[1] Далее следует: «Он смотрел вверх широко открытыми глазами, и в глазах сами появляются слезы» (Красная новь, 1938, № 6, с. 44)**.

[2] Далее следует: «У него ясный, звонкий голос, очень часто, в самых выразительных местах, повышающийся до писка» (№ 6, с. 45).

[3] Далее следует:

«— Разве я человек? Мне только двенадцать лет.

— Поедем вместе в город? — наклонился к Ване Игорь» (№ 6, с. 45).

[4] Далее следует:

«—А я вот грамотный, а буду работать, — запищал Ваня и поднял руку вверх.

— Во! Работник! Откуда ты такой? — Рыжиков мазнул Ваню рукой по губам. Ваня вскочил с подставки, вытер губы, гневно посмотрел на Рыжикова. Ванда задумалась над чем-то своим» (№ 6, с. 51).

[5] Далее следует: «Он шел один по «своей» улице, и так ему было досадно, что нельзя больше чистить людям ботинки, а нужно думать, где ночевать» (№ 6, с. 56).

[6] Далее следует:

«— Ты еще не привык.

— Я не хочу привыкать. Я и завтра пойду чистить. А потом пойду к этому... К Первому мая» (№ 6, с. 57).

[7] Далее следует: «Игорю Чернявину не нравилось в приемнике: народ здесь был случайный, кормили плохо, было скучно» (№ 6, с. 58).

[8] Далее следует: «Эту вечно новую жизнь он приветствовал улыбкой своего большого рта и веселым ироническим взглядом» (№ 6, с. 58).

[9] Далее А. С. Макаренко иронически описывает работу педологического кабинета по «обследованию» детей, их «предрасположенностей». Лженаучная теория и практика педологии была осуждена в постановлении ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 г. «О педологических извращениях в системе Наркомпросов».

---

* См.: Лит. газ., 1939, 26 апр.; отзывы читателей о книге хранятся в ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 1, ед. хр. 74.

** Далее в круглых скобках будет указываться номер журнала «Красная новь» и страница.

[10] *Тест* (от англ. test — проба, испытание) — стандартное задание для выявления различных психических свойств человека.

Корреляция (от лат. correlatio) — понятие, характеризующее соотношение, взаимосвязь явлений. Педологи утверждали, что между различными психическими функциями ребенка есть постоянная, раз навсегда предопределенная связь.

[11] Система трубных сигналов служила для организации жизни и деятельности коллектива коммуны им. Ф. Э. Дзержинского. Существовали сигналы: знаменный салют (на работу), общий сбор, сбор командиров, общее собрание, сбор оркестра, утренняя поверка, все в столовую, с работы, спать, вставать и др. Это одно из средств создания мажорного стиля и тона жизнедеятельности коллектива, развития его культуры и эстетики. Ноты некоторых сигналов см.: Архив А. М. Горького ИМЛ им. А. М. Горького АН СССР, ДПГ-20-95-1.

[12] В колонии им. М. Горького и коммуне им. Ф. Э. Дзержинского существовал институт дежурных командиров. Как представитель центрального органа самоуправления коллектива (совета командиров), дежурный командир обладал большими полномочиями при организации текущей работы коллектива в течение дня. Он ведал подачей сигналов по распорядку дня, контролировал соблюдение правил внутреннего распорядка, работу столовой, осуществлял проверку трудовой деятельности воспитанников, прием гостей, новых воспитанников, участвовал в проведении общих собраний, подготовке приказов и др.

Институт бригадиров (руководителей производственных бригад) возник в коммуне дзержинцев в условиях промышленного производства. Как подразделение коллектива бригада функционировала лишь во время работы. Совет бригадиров решал текущие производственные вопросы. Их основательное и перспективное решение было прерогативой совета командиров.

[13] Далее следует: «Он рукой показал на вход в здание. Чуть-чуть покраснев от такой вежливости, Игорь заторопился, и еще больше покраснел, когда часовой вытянулся, пропуская мимо себя дежурного бригадира» (№ 6, с. 64).

[14] Здесь и в некоторых других местах повести (в разговоре работников Наркомпроса с Володей Бегунком — с. 102 данного тома и др.) имеется в виду важнейший принцип, которого придерживался А. С. Макаренко, — не интересоваться прошлым своих воспитанников, проявляя необходимую деликатность и такт. Всякие разговоры о недостойном прошлом запрещались, его забвение способствовало ориентировке на сегодняшний и завтрашний день коллектива и личности. Однако это не исключало знания педагогами прошлого воспитанников.

[15] Далее следует: «Игорь Чернявин смотрел на дежурного с уважением» (№ 6, с. 67).

[16] Далее следует: «На этом месте у него в глазах снова появились слезы, и он нарочно остановился перед афишей и читал ее, чтобы никто не увидел слез» (№ 6, с. 68).

[17] Далее следует: «Жизнь показалась вдруг страшно интересной. Игорь представил себе — вот он будет бригадиром и ему надо принимать новенького. Хватит ли у него силы сказать всем товарищам правду в глаза?» (№ 6, с. 84).

[18] В практике колонии горьковцев и коммуны дзержинцев вновь прибывшим воспитанникам давалось два дня отдыха для осмотра учреждения и знакомства с его традициями, товарищами, для чего обычно выделялся один из старших воспитанников. Следующие два дня отводились для устройства в школу и на работу, в один из отрядов. Эти меры играли важную роль в формировании уважительного отношения не только новичка к коллективу, но и коллектива к новому своему члену. Так определялось подходящее место новенького в коллективе, учитывались его индивидуальные особенности. Как правило, вновь прибывшие уже на второй день находили себе работу, товарищей, и это подтверждалось затем официальным решением совета командиров о зачислении в соответствующий отряд. При значительном пополнении из новичков составлялись временные отряды.

[19] Учитывая длительность обучения игре на духовых инструментах и невозможность быстрой замены при уходе музыканта из оркестра, в опыте колонии им. М. Горького и коммуны им. Ф. Э. Дзержинского действовали правила: оркестр составляет отдельный отряд, добровольное поступление в него сочетается с подпиской о пребывании в оркестре определенное время, выход из оркестра разрешается через три месяца после подачи заявления об этом.

[20] *Пропилеи* (гр. propylalia) — галерея или колоннада перед входом в город, здание, на какую-либо территорию.

[21] *Робеспьер, Максимильен (1758—1794)* — деятель Великой французской буржуазной революции, один из главных вдохновителей революционной политики якобинцев.

В коммуне им. Ф. Э. Дзержинского Робеспьером называли А. Н. Землянского, который при обсуждении серьезного проступка какого-либо коммунара на общем собрании, совете командиров обычно предлагал крайнюю меру: исключить из коммуны, «выгнать».

[22] Строгая и сознательная, добровольная дисциплина в колонии им. М. Горького и коммуне им. Ф. Э. Дзержинского — одно из важных проявлений глубокого демократизма всей системы коллективной организации и управления в этих учреждениях. Здесь воедино сливались педагогическое руководство и самоуправление, последовательно осуществлялся принцип взаимосвязанных полномочий, тесно переплетались функции постановления и исполнения, распоряжения и подчинения, исключалась возможность возникновения «командной касты». Такая дисциплина и организованность — показатели зрелого коллектива, в полной мере обеспечивающего свободное, творческое развитие личности, ее индивидуальных особенностей.

[23] Далее следует:

«— Петька Кравчук? — закричал Ваня.

— Знаешь?

— Я брата твоего видел... на станции...

— У него и брат замечательный: красноармеец! Да ты посмотри, какие богатыри!» (№ 6, с. 113).

[24] Далее речь идет о руководимой А. С. Макаренко трудовой колонии им. М. Горького, располагавшейся в 9—10 километрах от Полтавы (см. т. 3 наст. изд.).

[25] Далее приводятся строки из стихотворения «Эти бедные селения...» Ф. И. Тютчева (1803—1873).

[26] Порядок и церемониал приема в коммуну 13 ноября 1931 г. большой группы беспризорных был предусмотрен специальным приказом по коммуне (ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 388, ч. III; см. также: *Макаренко А. С.* Соч.: В 7-ми т. Т. V.—М., 1958, с. 254—256, 379—382).

[27] Далее следует: «Работа на шишках была особенно приятна Ване потому, что с каждым днем он догонял Фильку, который делал за четыре часа работы сто двадцать штук, причем шишки у него никогда не разваливались» (№ 7, с. 17).

[28] *Пикколо* (ит. piccolo, букв. маленький) — название наименьшего по размерам и самого высокого по звучанию музыкального инструмента. Чаще всего так называют малую флейту.

[29] *Эсный бас* — духовой музыкальный инструмент, настроенный в тоне си-бемоль (букв. обозначение Es).

[30] *Ребусник,* «стензадачник» — созданная в коммуне им. Ф. Э. Дзержинского форма организации культурного отдыха, способствующая развитию творческих способностей воспитанников на основе длительного соревнования в решении многообразных задач и выполнении практических заданий разного типа (см.: *Макаренко А. С.* Соч.: В 7-ми т. Т. II, V . — М., 1957—1958).

[31] Далее следует: «Ванино сердце было переполнено счастьем. Счастье шло и от утра, и от цветников, и от этой спальни, которую Ваня сегодня решил довести до блеска, счастьем веяло и от Володи, потому что Володя встретился с ним на улице, потому что Володя был несказанно прекрасен, он вставал раньше всех в колонии и всех будил, он каждое утро входил в спальню с поверкой и с привычным изяществом салютовал рапорту, он всех знал, и все его любили, а Ваня больше всех» (№ 7, с. 20).

[32] Далее следует:

«— Он меня научил и как пол натирать, и как цветы поливать, и гардины, и зеркала, и окна — все!

— Большому кораблю — большое плавание, — сказал с грустью Игорь и отправился в парк» (№ 7, с. 21).

[33] Далее следует: «Попросил:

— Будьте добры, вытрите пыль на ботинках.

— Да мы на машине...

— Пожалуйста, очень прошу.

И он проводил их к месту, где вытирали ноги.

— Ну что ты с ними сделаешь, — воскликнула первая женщина. Ванда улыбнулась Касаткину благодарно и застенчиво. Сделав все что нужно, они пошли по коридору» (№ 7, с. 24).

[34] Далее следует: «Виктор Торский рассматривал Рыжикова с деловой строгостью:

— Правильно. Только утопить!

Рыжиков заметался взглядом по комнате, но так заметался, чтобы не встретить ни одного взгляда присутствующих:

— Да что вы, хлопцы! Разве я...

— Знаю вас, синьор!

Рыжиков страдальчески поморщился. Тяжесть этих подозрений была для него непосильна» (№ 7, с. 27).

[35] *Суппорт* (фр. support) — часть станка, служащая для закрепления и перемещения режущего инструмента.

[36] *Шабровка* (шабрение) — выравнивание поверхности металлических изделий соскабливанием очень тонкой стружки.

[37] *Форсунка* — приспособление для наиболее совершенного сгорания топлива с помощью его распыления.

[38] *Опока* — ящик без дна, рама для заливки металлом земляной литейной формы.

[39] Энциклопедический словарь *Брокгауза и Ефрона* — крупнейшая дореволюционная русская универсальная энциклопедия, выпущенная акционерным издательским обществом Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон.

[40] Далее следует: «Картошку он очень любил, но то была другая картошка, на тарелке, а сейчас он видел картошку в непривычном виде, видел, кажется, первый раз в жизни и не был даже уверен, что это именно картошка. Оксана пошла дальше по меже, оттуда спросила...» (№ 7, с. 32).

[41] *Андреевская лента* — лента старейшего и высшего в дореволюционной России ордена Андрея Первозванного.

[42] Далее следует: «...напротив, было весело и радостно, а если бы Алексей Степанович дал ему два наряда, то, наверное, было бы еще веселее» (№ 7, с. 43).

[43] В главе рассказывается об одной из применяемых А. С. Макаренко форм индивидуального морально-психологического воздействия, смысл которого он раскрыл в одном из своих выступлений (см. *Макаренко А. С.* О моем опыте. — Соч.: В 7-ми т. Т V. М., 1958, с. 269—270).

[44] Далее следует: «Лицо у Захарова, как у ребенка» (№ 7, с. 46).

[45] *Кабинет* — место работы «педагогического центра» коммунарского коллектива, где было рабочее место А. С. Макаренко, секретаря совета командиров, главного дежурного и др. О воспитательном значении такой организации руководящего центра коллектива и о распорядке, стиле работы кабинета см.: *Макаренко А. С.* Соч.: В 7-ми т. Т. II.— М., 1957, с. 75—80; т. V. — М., 1958, с. 50—53.

[46] Далее следует: «... второй час ареста — неправильно, хотя и первый час тоже неправильно» (№ 7, с. 48).

[47] Далее следует: «Как тяжело, как тягостно у них на душе!» (№ 7, с. 53).

[48] *Лысенко, Николай Витальевич (1842—1912)* — украинский композитор и дирижер, основоположник национальной музыкальной школы.

[49] Далее следует:

«— Петя, это же ничего, правда?

— Что, «ничего»?

— А вот это: выговор перед строем?

— Ого! Хорошо «ничего»! Это... ты знаешь... это такая штука! Здорово взгрели... я думал, будет легче» (№ 7, с. 56).

[50] Далее следует: «...а потом было так радостно, когда Ваню отпустили. На другой день Ванда застала Ваню одного в спальне четвертой бригады и застенчиво и ласково обняла его голову, заглянула в его глаза:

— Ванюша! Замучили тебя вчера?

Ваня благодарно поднял к ней глаза, но удивился:

— Нет, почему замучили? Помучили немножко, а только иначе нельзя: вопрос серьезный» (№ 7, с. 58).

[51] Далее следует: «...это моя сестра! Моя сестра — Оксана!»

[52] Далее следует:

«— Да! Я буду ее шефом. Потому что ей хуже жилось, чем мне. Она — батрачка» (№ 7, с. 64).

[53] Отношения мальчиков и девочек в колонии горьковцев и коммуне дзержинцев строились по типу большой семьи, прежде всего как товарищеские отношения. Уважение к серьезному чувству влюбленности сочеталось с тенденцией к сдерживанию преждевременного развития половых влечений. Этому способствовала обстановка больших трудовых и физических напряжений, интенсивная образовательная работа, разнообразие культурно-массовых занятий, строгий распорядок и дисциплина в коллективе, а также развитое общественное мнение. О половом воспитании см.: *Макаренко А. С.* Соч.: В 7-ми т. Т. II, IV, V. — М., 1957—1958.

[54] *Эрликон* — токарно-винторезный станок.

[55] *Умформер* (нем. Umformer) — электрическая машина для превращения переменного тока в постоянный.

[56] Далее следует: «Ванда слушала-слушала учителя и не вытерпела:

— Ой, Оксаночка, до чего учиться не хочется!

Оксана крепче прижалась лицом к подруге.

— Учиться! Ванда, это ведь такое счастье!

— Ну хорошо... Я тоже... Я буду для тебя, хорошо?

— Вот спасибо...

Учитель сказал:

— Девочки, не нужно разговаривать.

Ванда улыбнулась учителю:

— А если очень важное?» (№ 7, с. 68).

[57] Знаменный отряд в коммуне им. Ф. Э. Дзержинского составлялся из самых заслуженных и авторитетных коммунаров. Они олицетворяли честь и достоинство коллектива, пользовались высоким доверием, некоторыми привилегиями. Избранные в состав этого отряда оставались в нем до конца пребывания в коммуне. При двух знаменах коммуны отряд состоял из 4 знаменосцев и 4 ассистентов (половина из них — запасные).

[58] Далее следует: «Возвратились из города к вечеру, голодные, уставшие, счастливые. И за поздним обедом, и вечером в клубе, и в спальнях долго вспоминали и спорили о подробностях» (№ 7, с. 69).

[59] Далее следует: «Игорь посмотрел бригадиру в лицо: полные румяные губы, серые, медлительные глаза показались сейчас родными, и, может быть, это действительно был не бригадир, а старший брат, которого никогда у Игоря не было» (№ 7, с. 75).

[60] Говорится об аквариуме. *Африканский циклозон* — тропическая рыба.

[61] Далее следует: «Ее губы извивались в гневе, но голосом она владела и видела краем глаза, что близко нет никого постороннего. Рыжиков ничего не видел. Он...» (№ 7, с. 81).

[62] *Макдональд, Джеймс (1866—1937)* — государственный и политический деятель Великобритании, один из лидеров лейбористской партии.

[63] *Пилсудский, Юзеф (1867—1935)* — польский политический деятель, с 1926 г. диктатор Польши.

[64] *Мейерхольд, Всеволод Эмильевич (1874—1940)* — известный деятель советского театра, актер и режиссер.

[65] Далее следует: «...они не могли согласиться на такую несправедливость. Совет бригадиров постановил не раздувать это дело. Хорошо. Совету бригадиров, может быть, и виднее, четвертая бригада подчинилась постановлению совета. Но у четвертой бригады есть глаза, уши, ноги и руки, и все это находилось в полном распоряжении четвертой бригады и могло действовать, не мешая совету бригадиров» (№ 7, с. 97).

[66] Далее следует: «Игорь понял, о чем шел разговор. Зырянский открыто говорил, что он не допустит никаких ухажеров в колонии» (№ 8, с. 60).

[67] Имеются в виду «Кавказские эскизы» М. М. Ипполитова-Иванова (1859—1935) — советского композитора и музыкального деятеля, народного артиста РСФСР.

[68] В коммуне практиковались различные формы связи с выпускниками, оказания им материальной помощи и моральной поддержки. О порядке назначения пособий и стипендий выпускникам см.: *Макаренко А. С.* Соч.: В 7-ми т. Т. V, VII.— М., 1957—1958.

[69] *Вагранка* — заводская малая печь для плавления чугуна.

[70] Говорится о драме «Царь Федор Иоанович» русского поэта и драматурга А. К. Толстого (1817—1875).

[71] «Гибель эскадры» — пьеса украинского советского драматурга А. Корнейчука.

[72] Далее следует: «Рыжиков тоже чувствовал себя не вполне победоносно. С собрания он ушел скучный, на лестнице обогнал Чернявина с Ваней, оглянулся и сказал глухо:

— Вы все копаете против меня... Хорошо... копайте!

Чернявин прищурил один глаз:

— Синьор, не портите себе нервы! Берегите здоровье! Не переутомляйтесь!

— Ничего... Все равно, не закопаете... раз я правильно делаю, не закопаете!

— Не беспокойтесь, синьор, не беспокойтесь: закопаем, если будет нужно» (№ 8, с. 106—107).

[73] Далее следует: «Только тот, кто поработал на старом производстве Соломона Давидовича, мог постигнуть величественную прелесть нового завода, а колонисты все поработали» (№ 8, с. 119).

Далее следует: «Возле этого магнитного стола Игорь и уроки готовит, и отдыхает. Даже образ Оксаны чуточку потускнел в сравнении со станком» (№ 8, с. 122).

Авторские материалы к повести «Флаги на башнях» (с. 357—364)

Глава «На всю жизнь», опубликованная в первом издании «Флагов на башнях»

Печатается по тексту журнала «Красная новь», 1938, № 8, с. 89—91.

Фрагменты глав «Флагов на башнях»

Впервые опубликовано: Красная новь, 1938, № 6, 7, 8.

[1] В этом небольшом фрагменте выразительно показано, как радостные перспективы, стоящие перед коллективом, помогают ему пережить трудности повседневных трудовых будней.

[2] В периоды радостных для коллектива дней А. С. Макаренко считал необходимым предъявлять повышенные требования к своим воспитанникам, точно так же, как он предъявлял повышенные требования к своим лучшим колонистам, особенно к активу, к командирам.

План сценария

ЦГАЛИ СССР, ф. 33, оп. 4, ед. хр. 45.

Автограф А. С. Макаренко с заголовком «Сценарий». Без даты, с пояснительной запиской Г. С. Макаренко: «Крым, Ялта. Весна. 1938 г.». К сценарию «Флаги на башнях». Приписка В. Е. Гмурмана: «Предположительно». Публикуется впервые.

[1] *Материализация педагогики* — выражение, которым А. С. Макаренко обозначает овладение диалектико-материалистическим подходом к познанию педагогических явлений. Объективной основой коммунистического воспитания в его творчестве становится жизнедеятельность трудового воспитательного коллектива, тесно связанного с жизнью и борьбой советского народа за коммунизм. На этом пути, «не заметном для глаза», воспитание превращается в «легкое и счастливое дело» (*Макаренко А.С.* Соч.: В 7-ми т. Т. V. — М., 1958, с. 379, 439—440), когда «никаких нервов не нужно» (с. 367 данного тома).

[2] Высказывание *находят свою личность в коллективе* — одно из проявлений в научно-педагогической деятельности А. С. Макаренко марксистско-ленинского тезиса о том, что только в коллективе человек получает средства для всестороннего развития своих задатков и, следовательно, только в коллективе возможна свобода личности.

[3] Характеристика персонажа, обозначенного автором буквой *В*, в тексте отсутствует.

Характеристика персонажей

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 18, л. 13—14, с об. Автограф А. С. Макаренко. Публикуется впервые.

[1] Пункт 10 в тексте отсутствует.

Рассказы (с. 314—356)

В день Первого мая

Впервые опубликовано под псевдонимом Андрей Гальченко: Лит. газ., 1937, 1 мая. Заголовок «В день Первого мая» дан редакцией при публикации в изд. *Макаренко А. С.* Соч.: В 7-ми т. Т. VII.— М., 1958.

Этот рассказ — яркий пример глубокого проникновения А. С. Макаренко в детскую психологию на основе «проектирования личности». Индивидуальное своеобразие ребенка здесь характеризуется в его отношении к своему будущему. Показана особенность советского детства — его тесная связь с жизнью общества, устремленность в будущее социалистической страны.

Несколько часов на канале

Впервые опубликовано: Лит. газ., 1937, 1 мая.

Здесь выявляется характерная черта художественного и педагогического творчества А. С. Макаренко: восхищение человеком труда и его прославление, пафос созидания.

О человеческих чувствах

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 63—64. Автограф без названия (неполный текст) и авторская машинопись (2 экз., без заголовка и с наименованием «Из истории героизма»), а также машинопись с редакторской правкой. В машинописях автограф неизвестного лица: «Т. Румянцевой. Журнал «Октябрь». Впервые опубликовано с некоторыми сокращениями: Красная звезда, 1937, 18 авг.

А. С. Макаренко в этом рассказе отражает качественно новое в советской общественной жизни и в коммунистическом воспитании чувство коллективизма, социалистического патриотизма и интернационализма, счастье единства людей, «уверенное и прекрасное самочувствие советского гражданина». Тема подвига, самоотверженного служения Родине доминирует в его литературной и педагогической деятельности, опираясь на идею широких возможностей человека в свободном выборе своего жизненного пути.

[1] Приводятся подлинные фамилии и имена воспитанников А. С. Макаренко. Впоследствии — участники Великой Отечественной войны, орденоносцы.

[2] Фамилия Абронский дается по авторской машинописи.

[3] А. С. Макаренко работал учителем русского языка, литературы, черчения, рисования и воспитателем в двухклассном железнодорожном училище на ст. Долинская Южных железных дорог Херсонской губернии с осени 1911 г. до осени 1914 г.

Из истории героизма

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 60. Автограф (с заголовком «Летный», 1 л.) и авторская машинопись (с заголовком-автографом А. С. Макаренко «Из истории героизма»). Впервые опубликовано: Ленинградская правда, 1937, 27 авг. (под названием «Случай из прошлого»).

Рассказы «Из истории героизма» и «О человеческих чувствах» написаны на один сюжет и опубликованы одновременно. А. С. Макаренко рассматривал их, по-видимому, как самостоятельные произведения.

Гришка

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 58—59. Автограф А. С. Макаренко (неполный текст) и машинопись (с заголовком «Три разговора»). Впервые опубликовано: Смена, 1937, № 9—10.

Вероятно, это первый рассказ, написанный А. С. Макаренко специально для молодежи, школьников.

Случай в походе

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 13, 65. Авторская машинопись (с правкой А. С. Макаренко) и машинопись. Впервые опубликовано: Колхозные ребята, 1937, № 10.

В основу рассказа положен случай, имевший место во время летнего похода коммуны им. Ф. Э. Дзержинского в 1933 г. Здесь А. С. Макаренко поставил на первый план роль честности в жизни коллектива и личности. Безусловная честность в коллективе дзержинцев формировалась как одно из проявлений товарищества, чести и достоинства человека.

[1] Во время походов в коммуне действовала повзводная организация, учитывающая в первую очередь возраст коммунаров.

[2] Речь идет о деньгах, выдаваемых коммунарам на руки. Основная сумма заработанных ими денег хранилась на личных сберкнижках и выдавалась при выпуске из коммуны.

Премия

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 71. Авторская машинопись с заголовком-автографом А. С. Макаренко. Впервые опубликовано: Молодой колхозник, 1938, № 5.

Рассказ проникнут глубоким уважением к будничному труду, к скромному рядовому труженику, человеку большой души. В то же время это резкая критика бюрократизма, формализма в трудовом соревновании, несправедливости в оценке труда работника. Положенный в основу

рассказа эпизод нашел отражение в подготовительных материалах комедии «Забота о человеке» (ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 56, л. 1—4).

Доктор

Впервые опубликовано: Медицинский работник, 1938, 29 нояб.

Прототипом Васьки Корнеева явился Н. Ф. Шершнев, воспитанник колонии им. М. Горького, затем работник коммуны им. Ф. Э. Дзержинского (прототип Николая Вершнева в «Педагогической поэме»). Н. Ф. Шершнев был среди первостроителей г. Комсомольска-на-Амуре, заведовал там Горздравом, а потом стал почетным гражданином города. Умер Шершнев в 1978 г. Одно из писем А. С. Макаренко к Н. Ф. Шершневу см.: *Макаренко А. С.* Соч.: В 7-ми т. Т. VII. — М., 1958, с. 461—462.

[1] В педагогической деятельности А. С. Макаренко огромное значение имела профессиональная направленность образования и воспитания с учетом индивидуальных склонностей воспитанников. Этим определялась структура воспитательного коллектива, основной ячейкой которого был первичный коллектив — постоянный производственный отряд, основа получения производственной квалификации. Временные сводные отряды помогали решению различных стоящих перед коллективом трудовых задач, давали общую трудовую подготовку.

[2] Принцип добровольности пребывания в коллективе, сочетающийся с добровольным принятием воспитанника в коллектив, — важнейший принцип организации воспитательного коллектива в опыте А. С. Макаренко.

[3] На данном примере видно, какую большую роль в педагогической практике А. С. Макаренко играли моральное стимулирование, нравственные основы воспитания, его направленность на формирование достоинства, чести и долга человека.

[4] Текст письма был написан А. С. Макаренко на основе подлинного, полученного им от одного из своих воспитанников, участника боев с японскими захватчиками у о. Хасан.

Домой хочу

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 72. Авторская машинопись с правкой Г. С. Макаренко и подписью-автографом А. С. Макаренко. Впервые опубликовано с некоторыми сокращениями: Дружные ребята, 1939, № 3.

Восхищаясь ярким индивидуальным своеобразием характера одного из своих воспитанников, А. С. Макаренко в этом рассказе отражает свойственное его педагогической системе сочетание индивидуализации воспитательного процесса с формированием общих для всех советских людей типичных черт социалистической личности, и прежде всего коллективизма и патриотизма, готовности к защите Родины.

[1] В авторской машинописи рассказ заканчивается словами: «Разные бывают характеры, а если они все в одну точку, каждый по-своему, конечно, тогда значит, все характеры хорошие».

Преподаватель словесности

Впервые опубликовано: Лит. газ., 1940, 30 марта. Написано, вероятно, в апреле-мае 1938 г. в связи с 750-летием «Слова о полку Игореве».

В образе Мефодия Васильевича Нестерова, надо полагать, А. С. Макаренко отразил черты своего школьного учителя Григория Петровича Каминского.

Новые годы

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 69. Авторская машинопись с заголовком-автографом А. С. Макаренко. Впервые опубликовано: Московский комсомолец, 1941, 1 янв.

Рассказ А. С. Макаренко о новогоднем семейном празднике — это повествование о молодости советского общества, о гуманизме и радости единения старшего и младшего поколений, родителей и детей, о верности дружбе и ответственности молодежи за будущее страны.

Указатель персонажей*

«Флагов на башнях»

* Полужирным шрифтом выделены страницы текста, на которых даны характеристики персонажей. См. также «Характеристика персонажей» (на с. 364 данного тома).

Указатель имен

Содержание

Часть третья

Рассказы

Антон Семенович Макаренко

Педагогические сочинения. В 8-ми т. Т. 6

Составители:

Маргарита Дмитриевна Виноградова,
Анатолий Аркадьевич Фролов

Зав. редакцией **Ю. В. Василькова**
Редактор **Т. С. Головачева**
Художник **В. Е. Валериус**
Художественный редактор **Е. В. Гаврилин**
Технический редактор **О. В. Журкина**
Корректоры **В. С. Антонова, В. Н. Рейбекель**

НБ № 882

Сдано в набор 28.05.84. Подписано в печать 26.11.84. А11196. Формат $70 \times 90^{1}/_{16}$. Бумага кн. журн. Печать офсетная. Гарнитура школьная. Усл. печ. л. 28,08+0,58 вкл. Уч.-изд. л. 31,70. Усл. кр.-отт. 29,54. Тираж 50 000 экз. Заказ 682. Цена 1 р. 60 к.

Издательство «Педагогика» Академии педагогических наук СССР и Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
Москва, 107847, Лефортовский пер., 8

Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфический комбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Калинин, пр. Ленина, 5.